

Дора Штурман и Сергей Тиктин

СОВРЕМЕННОИКИ

Дора Штурман и Сергей Тиктин

С О В Р Е М Е Н Н И К И

Издательство

ЛИРА

ИЕРУСАЛИМ

1998

Авторы искренне благодарят Федерацию писателей Израиля, её русскоязычную секцию, Президентский Фонд "ו'ו' ׀לד" и Фонд журнала "Голос Зарубежья" за помощь в издании этой книги.

© Д. Штурман

© С. Тиктин

Дора Штурман и Сергей Тиктин

С О В Р Е М Е Н Н И К И

ВВЕДЕНИЕ

Воспоминаний сейчас выходят тьмы и тьмы.

Мы не берём на себя непосильной задачи представительного обозрения этих работ. Свой круг, свой слой, эволюцию и преодоление нами своей советскости мы попытались описать в очерках "Тетрадь на столе"*, "Моя школа"** , "Харківська трагедія"*** (укр.), "Дети Утопии"****, "Из тумана холодного прошлого"*****, "История одной защиты"***** и др. Естественно, что нам интересно сравнить свой путь (мы подразумеваем также и своих друзей) с путями наших современников и примерных ровесников. У нас нет оригинальных документов их жизней: воспоминания *post factum*, без архивов тех лет, без старой переписки, без направленных дневников – не документы, а их ретроспекция. Но всё же они свидетельствуют и о времени, и о свойствах призмы, сквозь которую пропускаются. За неимением свидетельств более точных приходится рассматривать их. Самораскрытие и умолчание, исповедь и забота о ретроактивной исторической позе в их совпадениях и противоречиях немало говорят о человеке и о временах его жизни.

В литературе русского Зарубежья мемуары шли лавиной всегда, особенно в пору "первой эмиграции" с её досоветским опытом и культурой, с её переживанием и осмыслением двух революций, с её бесценными документами и историко-анали-

Д Штурман "Время и мы" NN 52-53, 55 Тель-Авив 1979

Д Штурман Изд "Overseas Publication Interchange, Ltd " Лондон 1990

Д Штурман "Сучасність" Ч II (239) Мюнхен 1980

Д Штурман "Новый мир" NN 9-10 М . 1994 См последнюю, шестую часть этой книги

С Тиктин Мемуарный архив Центра по изучению республик бывшего СССР и стран Восточной Европы Еврейский университет в Иерусалиме 1980

С Тиктин Там же

тическими работами. Во "второй волне" меньше было известных писателей и мыслителей. Но она была семейно теснейше связана с дореволюционной Россией (прошло всего четверть века после 1917-го, когда её выплеснуло войной за рубежи родины). И в ней был количественно весом народный (крестьянский, раскулаченный, казацкий) слой, чего никак не скажешь о "третьей". "Вторая волна", в старшем своём поколении помнящая о прежней России, впервые вынесла на свет из глубины достаточно долгий опыт и живые реалии советской "чёрной дыры".

Позднее возник Тамиздат (печатный станок Самиздата) – немногочисленные, но потрясающие голоса полувекковой уже бездны. Наконец, пришла "третья волна" – первая массовая легальная эмиграция из СССР. Её литература, её публицистика, её мемуаристика – первый словесный слепок нового мира во всех его человеческих типах. Это был фактически уже сам "новый мир", собственной персоной, но с двумя оговорками: преобладание горожан ("образованщины") и евреев. Но не исключительное преобладание евреев: среди вырвавшихся на Запад (не в Израиль) много было (и становится с каждым десятилетием всё больше) смешанных, а также украинских и русских семей. Пожалуй, здесь мы впервые и встретились с воспоминаниями людей полностью советского времени, часто с тюремным, лагерным, ссыльным, диссидентским опытом уже постсталинской эры.

В диссидентском Самиздате и Тамиздате появлялись работы, очень различные по уровню мужества в самораскрытии, по дарованию, по богатству опыта.

Соблазнительно рассмотреть добротные, профессионально сделанные автопортреты опоминающихся от долгой летаргии представителей советского образованного слоя. Интересно познакомиться с их самооценкой, с их видением себя во времени и времени в себе. Не менее симптоматично и их отношение к выдающимся современникам, о которых мы тоже поведём речь в нашей книге. Все её части обсуждались, редактировались, а часто и писались нами совместно.

Д. Штурман

С. Тиктин

I. СОВОК В РАЗРЕЗЕ

Не мной придумана пренебрежительная кличка – "совок". Она возникла в среде, когда-то оскорбившейся именем "образованщина", построенным Солженицыным по аналогии с "интеллигентщиной" (Сб. "Вехи" и "Из глубины"). И возникла, естественно, не как самоназвание, а как обозначение типического (не пишущего, не размышляющего, не творческого – короче, массового) своего современника. И прижилась – отнюдь не в узкой среде. Круг, давший этому слову жизнь, произносит его с некоторым оттенком высокомерия: "совок" – это "советский простой человек". А изобретатели терминов не просты. Однако, чем глубже мыслит произносящий его, тем больше звучит в этом слове горечи. Нам всем, выросшим, созревшим и (нередко) состарившимся в СССР, впору произносить его как самоназвание. За очень редкими исключениями. Так или иначе, слово выжило и стало известным всему миру. Его даже иностранцы не переводят и не расшифровывают, а транскрибируют. Оно обозначает человека, выросшего, сложившегося, созревшего в советское время. "Типичский характер в типических обстоятельствах" времени, ранее (до семнадцатого года) непредставимого, а в наши дни – с трудом постигаемого и изучаемого. Не скажу, чтобы этот характер сегодня массово себя изживал. Чаще – он трансформируется для выживания в новых и абсолютно для него неожиданных условиях. Предсказывали всю (скажем так) сложность этих условий лишь немногие, лишь считанные единицы.

"Совок" обрёл за почти столетие свою иерархию (культурную, образовательную, профессиональную, бюрократическую, совестную), свое цензовое и психологическое расслоение. У него появились свои летописцы и аналитики. Они исследовали менталитет "совка" извне (реже) и изнутри (чаще) этой антропологической популяции.

Ниже читателю предлагается одна из таких попыток.

Книга "И сотворил себе кумира" Льва Копелева издана в 1978 году /"Ардис", Анн Арбор, США; все неоговорённые цитаты из этой книги/. Достаточно близко к нашему времени для того, чтобы много вынесший (война, тюрьма, лагерь, советская "воля" разных эпох, вплоть до брежневской), немолодой, образованный человек мог окинуть взглядом и осмыслить свою дорогу. Постараемся прочитать эту книгу как можно беспристрастной и ближе к тексту. Заранее прошу простить мне обилие цитат. Во-первых, я боюсь оборванных, незавершенных отрывков: точка, поставленная не на месте, может исказить смысл до обратного. Во-вторых, не хочу огрублять портрет, обеднять его, страшусь упустить существенный штрих.

Надеюсь, что избыток цитат не будет воспринят как плагиат: голос автора мемуаров и мой голос не образуют дуга.

На книге – дата: 1960 – 1977. Значит, она писалась семнадцать лет. Времени для осмысления материала и для коррекции взглядов было достаточно. Тем более, что дописана она в начале седьмого десятка лет жизни. А открывающее эти воспоминания обращение к читателям ("Вместо предисловия") дописано **после окончания книги** – в качестве её заключительных выводов. Следовательно, нам предложен автором отнюдь не промежуточный этап осмысления собственной жизни, своей эпохи, а зрелые мировоззренческие выводы из основной и наиболее активной части жизненного пути. Так и будем эту книгу рассматривать.

Лев Копелев старше меня на одиннадцать лет. Но почему же то, что он пишет о 1920-х – 1930-х годах, отзывается во мне таким живым современным чувством протеста? Ведь не моложе, а старше нас обоих был генерал Петро Григоренко. И долгое время его путь был путём ортодоксального коммуниста, да ещё военного. Но нет в его почти восьмисотстраничных мемуарах ни одной диссонансной ноты к моему совершенно иному внутреннему и, разумеется, внешнему пути. Кроме названия ("В подполье можно встретить только крыс". **Не только**), всё повествование Григоренко звучит для меня исповедью близкого человека. Чтение же книг Льва Копелева (в данном случае речь идёт лишь об одной из них) то и дело вызывает у меня чувство недоумения.

Если окинуть общим, минуя детали, взглядом ту эпоху, когда мне было четырнадцать–шестнадцать, а Льву Копелеву – двадцать пять–двадцать семь лет (в том же Киеве, в том же Харькове), то в его оглядках на прошлое немало общих для нас впечатлений. Добавлю, что и отправной социальный "этаж" был у нас достаточно близкий, и происхождение одинаковое (еврейское). Откуда отзвуки очень давнего, очень болезненного спора? Даже не спора: отголоски давнего острого чувства "сомнения в себе, сей пытки творческого духа," и одновременно – сомнения в своём оппоненте, в его то ли зоркости, то ли слухе, то ли искренности.

«Сегодня мы знаем, как наши тогдашние идеалы и мечты постепенно преобразились в унылое доктринёрство или в бесстыдную ложь.

Но и сейчас я думаю, что тогда и впрямь жила, жарко дышала молодость. И не только телячья молодость моих ровесников, а **молодость века**. Утро эпохи, которую мы сейчас доживаем.

Были ещё молоды надежды миллионов людей, были молоды научные открытия и политические верования, сулившие счастье всему человечеству. Были молоды поэты, художники и музыканты, которые возвещали начало новых времён и новых миров.

Мы вслед за Маяковским величали нашу страну "землёй молодости". И как весёлое заклинание твердили стихи Николая Асеева:

Что же мы, что же мы, неужто размолочены?
Неужто нашей юности конец пришел?
Неужто мы седыми сквозь зубы зацедили?.. /стр. 7/.

Замечу (мимоходом), что вероучения, озарявшие отблесками пожаров нашу юность, были не молоды, а стары, как мечты человечества о молочных реках в кисельных берегах. А заря, освещавшая юность Копелева, была скорее отблеском пожарища, чем восходом солнца. Но сейчас речь не о корнях утопий, которые кружили нам головы.

Я вспоминаю, откуда это моё чувство – чужеродности при стольких общих корнях и первичных воззрениях. Во вступительном монологе Копелева ("Вместо предисловия") отсутствует одна нота, доминировавшая в мироощущении моих друзей и моём. Одна нота, но щемящая и неотступная, омрачавшая самые эйфорические переживания нашего с Копелевым общего отроческого и юношеского большевистского "ренессанса". Это была грызущая нота сомнений. Иногда – сомнений в себе: почему мы временами не видим того прекрасного, что видят другие (такие, как молодой Копелев)? И, напротив: почему мы видим столько плохого, чего они не видят? Глаза у нас, что ли, по-другому устроены? Но чаще мы сомневались в эпохе и том, что она несла: если всё так прекрасно, то почему столько ужасного вокруг? "Они" (наши ровесники и почти ровесники) стояли перед нами живой укоризной, чуждым всяких сомнений единым ортодоксальным фронтом. И вызывали у нас попеременно ощущение то нашей неполноценности и слепоты, то их ограниченности и чёрствости. В их искренности мы как правило не сомневались, и не напрасно: они на всю жизнь сумели себя убедить, что были искренними. Разница между нами состояла в том, что они умели – от всей души (или почти от всей души) не видеть неудобных для их энтузиазма сторон реальности. Мы – не умели, хотя нам от всей души хотелось этому научиться. Это нас и мучило, это нам мешало быть юными и беззаботными. Часто нам казалось, что правы они, а не мы, что виновата не жизнь, а наше дурацкое неправильное зрение. Копелев "узнал", что реальность была не идеальна **сегодня** (1960 – 1977), а нас это подозрение изводило **тогда** (1933 – 1944). И это невероятно, это странно и удивительно, потому что он участвовал в коллективизации (когда мы были детьми), в охоте на "врагов народа" (когда мы были подростками). Он был на фронте и сидел в лагере. К этому времени мы успели его догнать: наши одноклассники воевали и гибли, а мы попали в тюрьму и в лагерь.

Правда, вплоть до "сороковых роковых", мы чаще решали спор в пользу "советской действительности". Но сомнения возвращались со всё большей силой, и знаменитые съезды (XX и XXII) откровением для нас уже не стали. Я гораздо раньше пришла в юношеских стихах к выводу, "что правда не живёт такою ложью, что правота не может так звереть".

Но всё же "они" (Копелев и его "мы") долго были для нас живым и мучительным укором. Потому мне, вероятно, и больно читать, как легко и энтузиастически он отпускает своему поколению его "слепоту" и его соучастие в преступлениях, о чём ниже. Больше того: страшная эта эпоха продолжает оставаться в его глазах романтической, окруженной ореолом беспечной молодости.

Ещё один резкий диссонанс: еврейство его семьи (себя он евреем не чувствует) изначально воспринимается Львом Копелевым психологически крайне дискомфортно. Интонация первых же его реплик о собственной матери, звучание её голоса, схваченное придирчивым слухом, естественней были бы в несколько отчуждённых наблюдениях просвещённого путешественника над экзотическими туземцами, чем в воспоминаниях родного сына. Хорошо переданная угодливость и переметчивость матери (от силы к силе, от собеседника к собеседнику, иногда – без нужды, на всякий случай) раздражают Копелева поныне. А ведь всё это – привычный, вневшийся страх за детей, за близких. Как не понять её? И вот ведь какой эмоциональный казус: у Бабеля те же еврейские местечковые интонации звучат свидетельством близости, родственности, хоть он и смотрит часто на своих персонажей – евреев **вроде бы** с другой стороны, из другого человеческого потока; нередко они его умиляют, иногда смешат. Копелева же они раздражают. Он словно бы спешит обозначить свою к ним непричастность, свою инаковость. **Это у его матери** такие малоприятные заискивающие интонации; **это у неё** – определённые компрометантные речевые приметы, а не у него. Таково моё читательское впечатление. Отделаться от него мне не удалось: книга подтвердила его не раз, хотя Копелев и обмолвился где-то о своей "кровной связи с еврейской роднёй". Мысля в юности так же космополитично, как Лев Копелев, и не обретая с годами никаких национальных фобий и предрассудков, я никогда не теряла и не теряю исконного ощущения, что я – еврейка. И это нисколько меня не унижает. В моём ощущении каждый антисемит каждого еврея бьет по моей щеке. И я, в меру всех своих сил, вмешиваюсь и протестую.

Мы с Копелевым читали в детстве одни и те же книги. Ещё до того, как мы переступили (правда, в разные годы) школьный порог, нашими святынями (через наших репетиторов) успели сделаться кумиры русской интеллигенции. И в литературе, и в истории. Потом пришла советская школа, и на фундамент русской интеллигентско-народнической и переводной гуманистической литературы лёг новый пласт – советский.

Если советская интеллигенция русского и украинского происхождения была вынуждена, в большинстве своём, ориентировать своих детей на этот культурный пласт (с дозволенными элементами дореволюционной культуры), то еврейская, в подавляющем своём большинстве, отрубилась своё национальное культурное прошлое начисто. Она и до революции, в значительной части своей, на это шла – ради места в жизни. А уж после революции – тем более. Ограничения для неё в общесоветском образовании и в самореализации были на целое тридцатилетие сняты. Еврейская же культура постепенно оказалась под запретом.

Но одни просто поплыли по мощному течению, не проникаясь при этом антипатией к своим корням, а других эти корни тяготили и раздражали. Копелев принадлежал к последним.

Поразительно, до чего польские и украинские дети и их родители ближе маленькому Лёве, чем случайно увиденные местечковые евреи и их дети (тогда они ещё существовали; теперь на Украине нет и реликтов). Для друзей-поляков он даже срывает со стены и сжигает революционный антирелигиоз-

ный плакат (**свою святыню**). Евреи же из местечка вызывают недоумение и отталкивание. Впрочем, странно ли? Ведь та же не слишком авторитетная, однако, всё же любимая мама говорила в своё время о новых соседях по дому:

«Настоящие местечковые жидки; моются, наверно, только раз в неделю» /стр. 28/.

Ей так хотелось отделить своих детей, которые моются каждый день, от этой смешной, тёмной, **угрожаемой и родной** массы и прислонить их к сильному (но такому, Боже мой, чужому) плечу. Так страстно хотелось избавить своих детей от изгойства, от страха... Ну, что, разве этим бедным местечковым пришельцам станет хуже, если она скажет несколько слов о них гоим? Не станет. А её детей, может быть, примут за "своих". **Один из** материнских синдромов рассеяния – перетаскивание своих детёнышей в другую нору, **внешнее** отречение "страха ради иудейска". И одновременно – скрытое, тайное, неистребимое стремление внутренне как-то сохранить их евреями. Всё это Копелев воссоздал великолепно – против собственной воли. Разница между сыном и матерью, пожалуй, в том, что сын стыдился родства со своей исходной средой, и стыдился за мать, и стыдился этого своего стыда, а мать ничего не стыдилась. Она инстинктивно пыталась отвести от своих сыновей злую руку – можно ли этого стыдиться, не обладая интеллигентской рефлексией?

Вот мальчик Лёва в компании друзей-поляков встречает стайку еврейских мальчишек из глухого местечка (в 1920-х – 30-х гг. на Украине такие ещё были):

«Мне было жалко этих оборванных, тощих, бледных пацанов и неприятно смотреть на них, слушать их. К тому же было ещё и стыдно перед Серёжей, и Казиком, и кучером. Ведь эти ребята говорили на том же языке, что и мои дедушки, бабушки, а иногда и родители. Они были мне как-то сродни. Но я стыдился их, и ещё мучительнее стыдился этого своего стыда» /стр. 57 – 58/.

Впрочем, ребята из местечка вовсе не были безобидны: попытки "юного коммуниста" их просветить вызвали агрессивную, задиристую реакцию, напоминающую мне религиозные кварталы Иерусалима. **Они тогда ещё не боялись быть самими собой.** Вскоре их разными способами поглотит небытие. Религиозные кварталы Иерусалима – **не моя улица** вечного города. Но я рада, что у детей религиозных кварталов, как и у мальчишек исчезнувшего местечка ("штеттла"), нет чувства неполноценности и приниженности. У Копелева же неприязненным и, в моём ощущении, унижительным отталкиванием от родных корней пронизаны все детские воспоминания. Так, по пути к пионерско-комсомольскому атеизму, он прошел через детское наивное православие няни Полины Максимовны, через лютеранство своих бонн-немок. Но иудаизм отпечатался в его памяти тёмной, узкой обрядностью бабушек и слепым суеверием матери. Трудно его в этом

винить: бабушки были простонародны, у них не было доводов в свою пользу. Кроме того, над православной няней и лютеранскими боннами не нависали изгойство и страх за Лёву.

То, от чего осталась лишь память о непонятных бабушкиных обрядах и о маминим суеверии, о её заискивании перед "чужими", не могло привлечь способного, романтического и честолюбивого подростка. Да ещё если он кожей чувствует неприязнь большого мира к среде, из которой вышел. Противопоставить этой антипатии ему нечего. Домашние ему в этом смысле ничего не дали. На учителей ему тоже не повезло. А может быть, это его зрение было таким избирательным? Я тоже всё это видела. И в доме деда (отца моей мамы), и у дедушек и бабушек моих друзей, и вижу во многих домах в Израиле. Но **нигде** трёхтысячелетний ритуал не выглядел и не выглядит ни антиэстетичным, ни бездуховным, как довелось видеть Копелеву. Вот его еврейские воспоминания:

«Самым важным праздником была Пасха. Все дети и внуки должны были приходиться на "сейдер" – пасхальный ужин. Мужчины сидели за столом в шапках* – у нас дома такое считалось неприличным. В церквах, в кирхе и в костеле полагалось снимать шапку. Это была понятная вежливость перед Богом. ...подробности пасхального ритуала, хотя и не казались мне такими некрасивыми, как шапки за столом, и такими досадными, как отсутствие хлеба, всё же не внушали благоговения. Бабушка, главная представительница еврейского Бога, была необъяснимо сурова и к тому же явно не любила мою маму. Как правило, после каждой их встречи у матери с отцом возникали перебранки. Если мы с братом ещё не спали, родители старались говорить по-еврейски, но словосочетание "дайне маме" было понятным и производила его мама то с ненавистью, то с насмешкой. Отец распался, орал "дура", иногда слышались шлепки пощёчин. Она истерически кричала "убийца!" и проклинала весь его род. Мы с Саней начинали реветь, и отец уходил, с грохотом швыряя входную дверь.

Так, Бог нашей родни, Бог тех бородатых стариков в длиннополых сюртуках, которые толпились у синагоги, разговаривали нараспев и размахивая руками, не вызывал у меня ни любви, ни почтения.

Мама иногда говорила насмешливо или презрительно: "Тише, что за гвалт, не устраивайте тут синагогу..."

– "У такого-то или такой-то противный акцент..."

– "Умойся, ты грязен, как местечковый капцан..."

– "Сними шапку, ты не в хедере..."

– "Не размахивай руками, как остерский жидок..." (в Остре родился отец и жили многие его родственники).

* Не в шапках, а в легких ермолках – кипах /Д Ш /

Она же с гордостью уверяла, что её семья из старого раввинского рода, тогда как отцовская – безграмотные шикеры*, солдаты, сапожники и, в лучшем случае, мелкие лавочники. Отец обижался, сердился и возражал, что она всё выдумывает, что её дед был балагулой** (извозчиком), а отец – конторщиком у помещика. А его родные плевали на любых раввинских предков. Они честно зарабатывали свой хлеб мозолистыми руками на мельницах и в мастерских» /стр. 65 – 66/.

Но вместе с тем:

«Когда мама ссорилась с отцом, то каждый раз напоминала, что у него одна сестра крещеная, а брат – бандит и женат на "шиксе" (то есть, не еврейке) – и кричала, что его мать – ханжа, но своих "гойских" родичей любит и только её, мою маму, ненавидит и попрекает нечистой посудой.

Слова "антисемит", "юдофоб" для неё были бранными, пугающими. Боннам, домработницам и знакомым она объясняла, что есть, мол, евреи, и есть жиды; еврейский народ создал великую культуру и много страдал; Христос, Карл Маркс, поэт Надсон, доктор Лазарев (лучший детский врач Киева), певица Иза Кремер и наша семья – это евреи, а вот те, кто суетятся на базаре, на черной бирже или комиссарствуют в Чека, – это жиды; жаргон – это испорченный немецкий язык, он уродлив, неприличен, и ее дети не должны его знать, чтобы не испортить настоящий немецкий язык, которому их обучают. А древнееврейский*** – это прекрасный культурный язык. Сама она его не знала, но соглашалась с бабушкой и дедушкой, которые требовали, чтобы нас с братом учили древнееврейскому» /стр. 66 – 67/.

Остаётся спросить: какое отношение имеет культура взаимоотношений в копелевской семье к еврейской религии, к еврейскому Богу и вообще к чему бы то ни было, кроме самой этой семьи?

Мальчика пытались учить ивриту, но ему не повезло на учителей. Вот две из нескольких таких попыток:

«...Илья Владимирович Галант был до революции профессором истории в Киевском университете. Но в те голодные годы он давал частные уроки иностранных языков и древнееврейского. Он казался мне очень старым, был рассеян, неряшлив; забывал то снимать, то надевать калоши; его пиджак был постоянно осыпан папиросным пеплом, он крутил тоненькие папироски дрожащими узловатыми пальцами. Пенсне на тонком шнурке то и дело падало с большого сине-сизого носа, и на дряблых щеках топорщилась серая щетина. Начал он меня

* Пьяницы (идиш)

** "Балагула" – "Бааль агала" (иврит) – "хозяин повозки"

*** Иврит

учить древнееврейской грамоте; она оказалась такой же скучной, как гаммы Байера, которые я разучивал, долгими часами брэнча на пианино. И сразу же не понравилось, воспринималось как нелепость, чтение шиворот наиворот, справа налево.

...Новым учителем стал студент, который должен был обучать меня и древнееврейскому, и музыке. Долговязый, худой, очкастый, он постоянно утирал свой розовый нос грязно-серым платком. Не помню, как он учил меня религии и что говорил о Боге. Главным в его уроках были уверения, что все евреи должны уехать в Палестину и создать своё государство. Он учил меня петь сионистский гимн и печальную песню на слова Фруга "Друг мой, я вырос в чужбине холодной, сыном неволи и скорби народной. Два достоянья дала мне судьба - жажду свободы и долю раба."

Но в то время я уже стал юком, * умел петь "Интернационал" и был убежден, что сионистских скаутов-маккабистов надо лупить так же, как "белых" поксовцев и "жовто-блакитных" токсовцев.

Нового учителя я так невзлюбил, что даже не запомнил его имени. Впрочем, и занятия состоялось немного. Несколько раз он больно щелкал меня по темени за то, что я не выучил заданного. Когда я сказал, что не хочу ехать ни в какое еврейское государство, он назвал меня идиотом, повторяющим чужие слова. Обиженный, обзленный, я сказал ему:

- Если вы такой умный, чего же вы живёте в Киеве и учитесь в киевском университете? Уезжайте в свой Эрец Исраэль, а я хочу остаться в Киеве. Это мой город. Я здесь родился...

Тогда он стал по-настоящему лупить меня и драть за уши. Я орал и отбивался... Мама кричала: "Убийца! Зверь! Я не позволю трогать моего ребёнка грязными лапами. Чтоб ноги вашей не было в моём доме, сопливый меламед!" - и ещё что-то ругательное по-еврейски.

Он злобно отвечал ей по-еврейски и ушел, рывком захлопнув дверь» /стр. 68 - 69/.

До сионизма ли после этого будет?

Копелеву (как и Багрицкому) не повезло со впечатлениями семейными, детскими. Возможно, я не вправе его судить, ибо мне в этом смысле, напротив, повезло. Ни от отца, ни от матери, ни от дедушек и бабушки, ни от теток и дядей я не слышала ни одной самоуничижающей и унижительной ноты. Все они хорошо знали идиш и часто им пользовались. До революции (в детстве) они учили иврит. Но и гимназию успели закончить - все, кроме самых младших. При этом дедушка по матери сохранил до конца жизни (1941) свой еврейский быт, религиозные книги и обрядность. Он жил в семье сына, и невестка **только для него** выполняла вплоть до дня его смерти все сложные еврейские бытовые обычаи. Второе поколение (мои родители, их братья и сестры) имело хорошее русское образование, в большинстве

* "ЮК" - юныя коммунист, "ПОКС" и "ТОКС" - отряды скаутов разных ориентаций

своём высшее. И смешанные семьи. При политической, а не национальной в причинах своих эмиграции наша еврейско-русско-украинская семья выбрала Израиль. В Советском Союзе мы жить более не могли, а в остальном мире только Израиль не был нам всем чужим. А Копелев (был молодцу не в укор), оставляя СССР по причинам политическим же, эмигрировал в Германию. Он и в детстве любил Украину, Россию и Германию, а собственные истоки вызывали у него глухое отталкивание. Впрочем, не такое уж и глухое: он и сам его осознавал:

«Своенравная сила памяти – тот "холодный ключ забвения", что исцеляет боль сердца, – помогала мне ещё в детстве **стремительно забывать все, что было не по душе**: "Пряник шоколадный", монолог царя Бориса, те несколько музыкальных пьес, которые я уже было играл наизусть, и даже нотную грамоту. Так же прочно забылась еврейская азбука и почти все слова, кроме тех немногих, которые запали на самых первых уроках Ильи Владимировича: "бейс" – дом, "йолед" – ученик, "эрец" – земля...* Все прочее словно выдуло, вымело начисто» /стр. 89; выд. Д.Ш./.

Итак, Лёва Копелев

«...не успел поверить в сурового еврейского Бога. И как-то неприметно отвык от величественного, нарядного православного Бога. А лютеранский Бог, менее пышный, но более снисходительный, почти семейный "либер Готт", легко уживался с той светлой обезличенной религией добра, которую внушали уроки Лидии Лазаревны и Ильи Владимировича.

Когда я впервые прочёл "Песню радости" Шиллера –

Brüder, über im Sternenzelt
Muss ein lieber Vater wohnen,**

– то воспринял это как ликующую истину, как выражение наивысшего смысла жизни. Моим Богом стал добрый отец всех людей, всех племен и народов, – Бог Льва Толстого и "Сна Макара", Шиллера и Диккенса.

Ему был сродни Христос из немецких пересказов Евангелия и Сакья Муни из стихотворения Мережковского, который падал ниц перед голодными и нищими. Этот единый и многоликий Бог помогал мне

* Память Льва Копелева его подвела дом – бейт (или бант), мальчик – иллед, ученик – тальмид Эрец – земля, страна – это верно. Впрочем, может быть, его учили не ивриту, а идишу?

** Братя, над нами в звездном шатре
Должен жить любимым Отец

избавляться от смутных мыслишек, от темных чувств, порождающих неприязнь к людям, которые говорят на другом языке, верят другим богам, живут по другим обычаям, принадлежат иному роду-племени» /стр. 69 - 70/.

От неприязни к своему роду-племени он, по-видимому, не избавлял. Но и этот универсальный Бог, явная антитеза узкого Бога праотцев (а главное - дедушек, бабушек и глупых учителей), был обретен ненадолго:

«...самым значительным событием 1923 года, двенадцатого года моей жизни, стала потеря Бога.

Утерял я его, увы, при самых несерьезных обстоятельствах. Несколько одноклассников пришли ко мне в гости. Мы стали играть в прятки - и Зоря, с которым мы вдвоем заползли под кровать, в душном запахе пыли и старой обуви, сообщил мне, что Бога нет. Меня знобило от скорби и ужаса. Зоря говорил шёпотом, серьезно, убежденно. Он узнал это от своего старшего брата и ещё от каких-то заслуживающих доверия лиц» /стр. 70/.

А вскоре Лев Копелев, по его словам, снова "поверил, но уже совсем в других богов."

Примечательно, что Сталин вызвал у начитанного юноши Лёвы Копелева наибольшее доверие в партийных спорах второй половины 1920-х годов. Как и пролетарский поэт Демьян Бедный в поэзии: простоват, но всё понятно.*

Достаточно рано проникает в сознание юного Копелева любимая идея революционных демократов и особенно (без всяких уже сомнений и оговорок) большевиков: цель оправдывает средства. Безотносительной морали и нравственности не существует. Ещё живы в сознании общие с "ревдемами" кумиры, общий идеализм. Но всё сильнее чувствуется и, главное, всё чаще предопределяет поступки абсолютный большевистский нравственный релятивизм, принципиальная нравственная беспринципность.

Один раз Лёва против соблазна цели, оправдывающей все средства, сумел устоять: отказался от еврейского религиозного обряда "бар-мицва", из-за чего лишился обещанного дедом в виде компенсации за уступку велосипеда. Некоторые друзья по пионерской "ячейке" (более зрелые) уговаривали его согласиться: ячейка нуждалась в транспортном средстве. Однако Лев покритиковать душу не согласился, взятки от деда не принял, чем поверг в уныние всё старшее поколение семьи.

Знать бы тогда Льву Копелеву, кто есть Ефим Придворов, и прочитать бы его оду, посвященную Великому князю Константину Романову /К Р / "Гречи, моя лира Я песню слагаю апостолу мира царю Николаю..." Мы, конечно, тоже не знали, но в корифеях поэзии Демьяна не числили

Но ведь на высоком историческом и политическом уровне тот же постулат (цель оправдывает средства) не выглядит столь примитивно-отталкивающим. Поэтому Лев не находит серьёзных возражений против доводов своего двоюродного брата Марка, когда тот внушает ему:

«В политике нельзя исходить из личных симпатий или антипатий. Ленин очень любил Мартова и Засулич и неприязненно относился и к Троцкому и к Сталину, однако он боролся против тех, симпатичных, а эти были его соратниками; Ленин дружил с Зиновьевым и Каменевым, но в Октябре мог их расстрелять, а после Бреста мог шлепнуть даже Бухарина, хотя сам называл его любимцем партии. Политика имеет свои законы, свою мораль. Там не так, как в футболе, на пионерских сборах или в картине "Красные дьяволята", – эти за красных, те за белых, всем все ясно... Политика – дело грязное. Уже революцию нельзя делать в белых перчатках, а после революции все оказывается ещё труднее и куда сложнее. Когда брали Бастилию, был сплошной восторг и ликование... Потом "чудо 4-го августа" – аристократы братались с буржуа, всеобщее умиление. А через два-три года все резали друг друга; потом перегрызли и сами революционеры; вожди пошли на гильотину. Ты не читал Анатоля Франса "Боги жаждут"? Прочти и подумай, это очень правдивая, очень умная книга» /стр. 108 – 109/.

Мы тоже читали запоем Франса – в восьмом классе (1938). Но для нас "Боги жаждут" и "Восстание ангелов" были скорее доводом против релятивизма морали, чем наоборот. И то, что Бог и Сатана, меняясь местами, меняются и ролями, нас ужасало, хотя мы принимали обоих только как символы, как историческую аллегория.

Постулат совершенной моральной беспощадности (отождествление нравственности с политической пользой) на долгие годы Копелевым принимается как руководство к действию.

Вскоре своеобразной религией Копелева становится интернационализм. Он определяет его не как "безнационализм", а как "связь между нациями", союз между ними. Какой же из частей этого союза принадлежит он сам? В любой из близких ему национальных культур (кровно близких, ситуационно близких, избирательно близких) корни его неглубоки, связи – поверхностны. Они почерпнуты из литературы, наработаны одной короткой ещё жизнью.

Приходится избрать некую фантомную общность – "советский человек". Точнее – не столько фантомную, сколько *частичную*, такую же рукотворную и бесплодную, как увлекший Копелева на время искусственный язык эсперанто.*

* К слову какое странное созвучие – Всемирный безнациональный союз – Сеннациция Ассоцио Тутмондо – САТ. член САТ зовётся на эсперанто **сатано**.

Когда Копелев пыгается определить свою национальную принадлежность, возникает болезненная путаница.

Конечно, простого, лёгкого и комфортабельного ответа на этот вопрос для еврея нет. Не только для еврея, но в данном случае речь идёт о еврее. Для большинства народов вопрос "кто я?" может звучать в этническом плане вполне безобидно. Для большинства евреев это сложный (по меньшей мере) вопрос. Просвещённый XX век уже ответил на **любую** самоидентификацию евреев благопристойным и непристойным антисемитизмом, погромами, крематориями, "безродным космополитизмом", палестинским сопротивлением и т. д. Вглядитесь, какую страшную сумятицу в душе интернационалиста, принадлежащего всем народам, кроме своего (несмотря на "неразрывную связь с еврейской родней" – родней, но не народом), это порождает:

«Всегда я любил Украину. И не могу разлюбить. Уже до конца. Но не было такого дня и часа, когда бы я чувствовал себя украинцем.

К началу тридцатых годов я уже понимал, что эсперантистские мечты о безнациональном человечестве – бесплодная утопия.

Однако на вопрос о национальности я тогда отвечал не колеблясь: "советский". И верил, что это – объективная историческая истина и вместе с тем – моя личная правда. Потому, что всерьёз полагал, будто я-то и есть один из новых советских людей.

Ведь любя и Россию, и Украину, я вместе с тем был интернационалистом. Немецкий язык и немецкая словесность были мне с детства – родственно близки. Этому несколько не мешало ощущение неразрывной связи с еврейской родней. Знакома и мила мне стала Польша – страна Мицкевича и Сенкевича, страна моих соборских друзей. Но также и Франция – страна Гюго и Дюма, якобинцев и коммунаров; Англия Диккенса, Вальтер Скотта, Уэлса; Америка Марк Твена, Джека Лондона, О'Генри; Чехословакия Гашека и Чапека; Китай, где сражались красные армии; Индия Киплинга и Рабиндраната Тагора; Япония, в которой жили такие пылкие эсперантисты, что они даже создали свою особую религию...

Когда ввели паспорта, вопрос о национальности впервые был задан мне официально, моим государством.

Секретарь комсомольского комитета удивился, что я "записася" евреем.

– Ты что, сдурил? Ты ж ни говорить, ни писать по-еврейски не умеешь! Ты должен писаться украинец: ты ж украинскую школу кончил, вирши по-украински пишешь. Я вот написался русский, хотя батьки – украинцы. Но я русскую школу кончал, по-русски лучше умею и говорить и писать. Ну, и ты можешь в крайности писаться русский, ты ж одинаково умеешь...

Я возразил, что до тех пор, пока я знаю, что могу услышать упрек: "Ага, стесняешься, скрываешься...", я буду числиться евреем» /стр. 136 – 137/.

Ну, а не получая таких упреков, кем числиться? По Маяковскому – "есть такая нация – социалистичья". Так ведь нет же ее, "такой нации".

Не позавидуешь. Интернационализм – это идеология твоего содостоинства с другими народами – со всеми народами. Но в этом содостоинстве – от какой печки начинать плясать, если нет у тебя своей преимущественной родины, пусть духовной или обретенной?

* * *

Трудность овладения материалом, предлагаемым читателю Копелевым, состоит в том, что он вольно или невольно смешивает свои представления разных возрастов, разных эпох. Создается впечатление, что уже тогда, в ранние сталинские времена, ему была свойственна некоторая ересь в национальном вопросе, во взгляде на коллективизацию, на раскулачивание, на красный террор. В действительности же одна-другая беглая фраза показывает, что всё это – приобретения более позднего возраста, адресованные прошлому *post factum*. Тогда же – до войны и ареста – ортодоксальность была безупречной: "колебался вместе с линией партии" – по анекдоту.

Как это почти всегда бывает, ретроспективное осмысление прошлого так тесно переплетается с реальным прошлым, что тогдашнего доарестного Льва Копелева приходится восстанавливать как некий археологический пласт, отделяя иновременные наслоения. Подите – разберитесь, что тут – тогдашний взгляд на события, а что – критическая ретроспекция:

«В 1934 году Сталин самолично начал травлю Покровского и Демьяна Бедного, обличенных в недостатке патриотизма. Тогда же был принят закон "Об измене родине". Впервые это понятие стало официальным. Новый школьный учебник (Шестакова) восторженно описывал даже тех царей и князей, которых осуждали и Соловьев и Ключевский.

Этому повороту и в пропаганде, и в исторических исследованиях, решительному отказу от антинационального нигилизма я сперва только обрадовался. Партия подтверждала и утверждала то, что я чувствовал с детства и начал сознавать в юности» /стр. 143/.

Какой "антинациональный нигилизм" отталкивал до этого Копелева? Антирусский? Антиукраинский? Наверняка ведь не антиеврейский. Не очень понятно. Но – продолжим:

«Восстанавливались понятия **родина, патриотизм, народ, народный**. Именно восстанавливались: раньше они были опрокинуты, низвергнуты. Всего лишь за несколько лет до этого их затапывали особенно решительно и заменяли понятиями "социалистическое отечество всех трудящихся мира", "советский патриотизм", требуя ко всему классового, партийного "подхода". И одновременно восстанавливались и обновлялись понятия **гуманизм и демократия**» /там же/.

Но ведь это затапывание конкретно-национальных чувств и замена их безликой "советскостью" до сих пор и были для Копелева наиболее естественны и привлекательны!

«...Но все это были дымовые завесы, за которыми начинался крутой поворот в государственной политике, в идеологии.

Уже шли массовые аресты "врагов народа"; тюрьмы всех городов были переполнены. Огромные пространства тайги и тундры были владениями тайной империи ГУЛАГ – втрое, вчетверо более обширной, чем вся Европа.

Голод, избияния, пытки, расстрелы по решениям заочных судов – стали повседневным бытом. Так же, как толпы скорбных, заплаканных женщин у тюремных ворот, у справочных отделов НКВД...» /стр. 143/.

А это когда стало для Копелева явным и, главное, осуждаемым? Ведь недавно он сам с молодым комсомольским задором помогал гелеушнику громить "врагов". Какой Копелев произносит три последних абзаца?

Но в другом рассказе о прошлом это соотношение Копелева вчерашнего и Копелева 1960–1977 годов несколько проясняется:

«Эммануил Казакевич, приехавший в 1937 году из Биробиджана, рассказывал о том, как оттуда за два дня вывезли в Среднюю Азию всех корейцев, в том числе и членов партии и комсомольцев, и работников НКВД; и тех, у кого были русские жены или мужья.

Он рассказывал об этом без гнева и осуждения; и я слушал так же. Обидно, что пострадали многие ни в чём не повинные люди; большинство из них, конечно же, были "свои", братья по классу. Но ведь японские шпионы и диверсанты укрывались, выдавая себя за корейцев или китайцев, либо забрасывали к нам агентов из зарубежных китайцев. Это угрожало всей стране, сотням миллионов. Значит, приходилось утеснять сотни тысяч.

...Были расстреляны Бела Кун – вождь венгерских Советов 1919 года и Гайнц Нойманн – заместитель Тельмана; погиб в тюрьме Фриц Платтен – швейцарец, который приехал в апреле 1917 года вместе с Лениным, а зимой 1918 спас ему жизнь, прикрыв его от обстрела и сам был ранен. **Их всех называли "вражескими агентами"**.

...Нам доказывали наши вожди и наставники, пылкие ораторы, талантливые писатели и официальные судебные отчёты (**они еще не вызывали сомнений**), что старые большевики, бывшие друзья самого Ленина, из-за властолюбия или корысти стали предателями, вдохновителями и участниками гнусных злодеяний. А ведь они когда-то были революционерами, создавали советское государство...

Что мы могли этому противопоставить? Чем подкрепить пошатнувшиеся вчерашние идеалы?

Нам предложили позавчерашние – **Родина и народ**» /стр. 144 – 145; вид. Д.Ш./.

Итак, новая национальная политика была принята "без гнева и осуждения", без сомнений, но не всей душой:

«Не избежал и я тлетворного влияния великодержавных амбиций в годы войны и позднее. К счастью, воспринимал их все же не безоговорочно – за что и попал в тюрьму. И проникали они в душу не слишком глубоко, не укоренялись, а позднее легко отпадали мертвой шелухой. Им противодействовали неизбитые юношеские представления о равенстве всех народов – представления столько же обдуманые, осознанные, сколь и непосредственные, укорененные в подсознании, в мироощущении.

Поэтому, даже став искренним приверженцем Сталина, я все-таки не превратился в последовательного сталинца, – то есть в холопа, уже вовсе беспринципного, бессовестного, готового на любые злодеяния. И никогда не мог, ни душой, ни рассудком поверить, что у нас больше врагов, чем друзей, что идейных противников надо не убеждать, а убивать. Такой спасительной незавершенностью и непоследовательностью моего духовного и нравственного вырождения я обязан хорошим людям, хорошим книгам – многим добрым силам, в том числе и ребяческому увлечению эсперанто.

Мечта о **безнациональном** содружестве людей утопична. Отказ от нации так же ирреален, как отрыв от земного притяжения. Невесомость космонавта – недолгая, искусственная "свобода" от земли. Тем радостнее потом возвращение к естественной весомости, к земному притяжению, к земным тяготам» /стр. 146/.

Куда возвратился Копелев из состояния безнациональной невесомости, к земному притяжению какого народа, я так и не поняла. Во всяком случае, сионизм, – стремление евреев создать для гонимых и убиваемых соплеменников мало-мальски надёжное убежище **на части земли** их далёких предков, – он ставит в совершенно не соответствующий ему ряд:

«Тогда же возникали и ширились новые мифы: панславизм, пангерманизм, антисемитизм (уже не религиозный, а расистский), **сионизм**, воинственно-шовинистические движения в Германии, Италии, Франции, Японии и других странах» /стр. 147; выд. Д.Ш./.

Что же владело в данном случае Копелевым?

Глухое невежество, абсолютное непонимание того, что происходит в Израиле (происходило в Палестине с конца прошлого века)? В Европе – в просвещенном XX столетии? Или то же не слишком доблестное стремление закрыть глаза, отмежеваться, спрятаться от горькой и трудной судьбы, что и в детстве?

* * *

И классы, и друзья, и учителя (в Киеве, в Харькове) попадались Копелеву какие-то слишком уж примитивные. Либо полуграмотные, либо слепцы, либо невежественные фанатики.

В моих и запорожской, и харьковской школах над такими дремучими учи-

телями издевались. Иные же – лучшие – оставались в памяти на всю жизнь – своей образованностью, умением её передать и способностью обойти казённую ложь. Мы и после школы с ними встречались.

А Копелев пишет:

«Обществоведение нам преподавал Владимир Соломонович Г. Он был и постоянным докладчиком на всех торжественных собраниях, ораторствовал на заседаниях старостата и на пионерских сборах.

Во время уроков он расхаживал по классу или стоял, впившись в спинку стула, раскачивал его, а в особо патетические моменты встряхивал и даже стучал об пол.

– Смертельно усталые. Р-разутые. Оборванные. Голодные красноармейцы. С одними винтовками. У многих – не больше обоймы. Понимаете? Только пять-шесть патронов. Главная сила – штык. Но штурррмовали неприступную твёрррдью. Перрекоп. Туррецкий вал. Укрепления по последнему слову.

...По грудь в ледяной воде. Почти без артillerии. Несколько трехдьюмовок. На каждую не больше полдюжины снарядов. Но главное: Внезапно! Бесстрашно! Стр-ремительно! Сокрушая все на пути!! И... прорррыв! Паника. А мы: "Даешь Крым!! Врангеля в Чёрное море!"

Мы прозвали его "Володька Горлохват". Но даже насмешничая, считали его непререкаемым авторитетом. Ведь он и сам участвовал в гражданской войне. Шестнадцатилетним ушел в Красную Армию, был ранен» /стр. 157 – 158/.

И приводит целые страницы воспоминаний о Горлохвате, о диких его высказываниях, о его глубоком влиянии на учащихся, в том числе и на самого Копелева.

Замечу попутно: у нас (в том же Харькове) беспомощных учителей ускоренного выпуска, жен начальства, приходивших в конце 1930-х годов на смену уволенным или репрессированным коллегам, беспощадно (даже чересчур беспощадно) травили. А подобному Горлохвату сумели бы устроить веселую жизнь. На его уроках гудели бы закрытые рты, незаметно менялись бы местами парты, летала бы пущенная резинками жеванная бумага. Ему говорили бы самые невинные вещи издевательским тоном. Мы были очень изобретательны в истязаниях неуважаемых учителей. А что его низкопробный гражданский пафос нас не увлёл бы, я знаю из опыта.

Впрочем, может быть, одиннадцать лет разницы много значат? За эти годы появился и вырос наш скептицизм.

Николай Михайлович Баженов, о котором Копелев пишет ниже, читал и нам – в университете – современный русский язык. Наши ребята и его сын были мобилизованы на второй день войны. Николай Михайлович прервал экзамен, чтобы дать нам с ними проститься. Но о своих любимых поэтах он уже с нами не говорил. И не случайно перешел с истории литературы на грамматику. Был он и в пожилом возрасте изумительным учителем и человеком большого обаяния. Копелев вспоминает:

«Мои литературные вкусы, увлечения, пристрастия в первые харьковские годы развивались под самыми разными влияниями, иногда и противоположными. В школе и еще долго после школы главным было влияние Николая Михайловича Баженова; он преподавал русскую литературу и руководил театральным-литературным кружком "Слово". В этом кружке он с ближайшим помощником Витей Довбищенко (который впоследствии стал режиссером) инсценировал поэмы: "Лейтенант Шмидт" Пастернака, "Степан Разин" В. Каменского, "Дума про Опанаса" Багрицкого, "Хорошо" Маяковского, "Пугачев" Есенина.

Николай Михайлович и на уроках настаивал, чтобы мы учили наизусть как можно больше стихов, - Пушкина, Лермонтова, Некрасова. В отличие от моих первых словесников, - Лидии Лазаревны и Владимира Александровича, он был не восторженным проповедником, а мягко настойчивым просветителем.

Русобородый, с густыми длинными волосами, как у священников или на очень старых снимках, сутулый, близорукий, он казался нам образцом русского интеллигента 19 века. Его речь, правильная, великорусская, необычно и даже несколько театрально звучала на фоне наших киевско-харьковских хэкающих и экающих полуграмотных говоров. Ведь мы произносили "газета", "гений", "говорить", "зеркало", "сэрце", с трудом избавляясь от южных "уличных" ударений "портфель", "мóлодёжь", "документы", "автобýс". Завязтые говоруны шеголяли еще и особым трибунным жаргоном с уже вовсе несусветными ударениями: "по-товарищески", "наверно́е", "о́тцы и ма́теря" ... Ни разу я не слышал, чтобы Николай Михайлович кричал, бранил кого-то и вообще высказывал громкие чувства. Не запомнил никаких его поучений или наставлений. Но многие стихи Пушкина, Пастернака, Асеева, Багрицкого и доньше, полвека спустя, звучат во мне его голосом» /стр. 165/.

Мы были, правда, существенно грамотней, русским владели лучше. "О́тцы и ма́теря" были в нашей среде невозможны. Николай Михайлович нам стихов уже не читал. Но с мягкой и несколько усталой насмешливостью он исправлял наши промахи, отметал наши слабости и пристрастия. И очень быстро замечал тех, кто способней и восприимчивей, стараясь дать им как можно больше. Очень жаль, что он не читал нам литературы и не вёл ни одного кружка. Рассказ Копелева приоткрыл мне, какие богатства он не мог нам передать, отнюдь не случайно отказавшись от своего предмета: грамматика была нейтральной литературы.

Читая Копелева и вслушиваясь в размышления его и его товарищей, можно, конечно, сделать скидку на время, на возраст - на эпохальное недомыслие и недоразвитие. Но эпизод с Андреем Белецким, рассказанный Копелевым ниже, мешает рассуждать столь примирительно.

Андрей был старшим сыном профессора А. И. Белецкого, будущего академика АН УССР. Я изредка бывала в его семье: акад. Белецкий прочитал мои детские стихи в харьковском молодёжном журнале "Ленинские всходы", ответил открытым письмом и стал приглашать к себе домой, дарить книги,

руководить моим чтением. Его младший сын Платон, Тосик, мой ровесник, учился в одной школе с моими друзьями. Но вернёмся к эпизоду с Андреем Белецким. Андрей писал стихи (как и Копелев). Они состояли в одном и том же заводском литобъединении.

«Однажды Андрей сказал, что прочитает новые стихи, и вынул из портфеля несколько аккуратно исписанных листков.

- "Персей и Андромеда".

И заскандировал негромко, гундосо, но внятно.

Потом начали обсуждать.

- Грамотная поэмка, вполне грамотная, даже сильная. Но такое уж явное влияние футуристов! Прямо как "Пощечина общественному вкусу" или "Садок судей". И слишком навязчивы аллитерации. "Частая сеча меча, сильна разяща плеча..." Да это же чистойшей хлебниковщина, вроде "Смейтесь, смехачи". На сегодняшний день - устаревшие фокусы...

- Тут говорили про Хлебникова, но я не согласен: считаю, что это подражание раннему Маяковскому. Помните: "Прожженный квар-тал... рыжий парик... непрожеванный крик."

- По-моему товарищи явно перехваляют. Стишки беспомощные: "...чуть движа по земле свой труп" - чепуха совершенная! Никакие здесь не футуристические влияния, - а самая вульгарная есенинщина, только с классическими узорами. Персей, видите ли, и Андромаха... Ну, и пусть Андромеда - какая разница?! А все откуда? "Черный человек, черный, черный... Черная книга" и тэдэ и тэпэ.

Я хотел вступить за Андрея. Стихи мне в общем понравились. Сравнения с Хлебниковым казались убедительными. Сердили разносные отсылки: "упадочный... чуждый... кабинетное рифмоплётство, дешёвый модернизм, северянинщина..." Но только защищать значило бы лицемерить. Стихотворение было и впрямь очень далеко от нашей жизни, стилизовано под старину.

Пока я собирался, председательствующий Сергей объявил:

- Товарищ Белецкий просит слова в порядке ведения.

- Большинство критических высказываний, так сказать, о подражательности. Ссылаются на футуризм, имажинизм... Тут называли Белого, Хлебникова, Маяковского, Есенина и даже, кажется, Северянина. Это весьма интересно. Некоторые суждения, так сказать, несомненно, оригинальны. Но я вынужден принести извинения; должен повиниться. Дело в том, что я позволил себе некоторую, так сказать, мистификацию. Хотел экспериментально проверить степень, так сказать, объективности и компетентности в нашей критике. Я прочитал отрывки из поэмы, которую сочинил другой автор, который весьма, так сказать, далёк от футуристов, от символистов, от Северянина...

Он достал из портфеля большой красный с позолотой том дореволюционного издания.

- Вот видите, Гаврила Романович Державин. Написано в 1807-м году...

Хохотали все, особенно зычно те, кто, как я, не участвовали в обсуждении. Но звучали и гневные возгласы.

- Это издевательство! Хулиганство! Зазнайство интеллигентское! Он себе мозоли насадил над книгами и насмехается с тех, кто не такие образованные.

Серёжа стукнул по столу карандашом, потом кулаком.

- Довольно! Тише! Хватит! С этим вопросом покончили. Переходим к следующему пункту. О поведении товарища Белецкого поговорим отдельно другим разом» /стр. 197 - 198/.

Знаменательное столкновение: заводские газетчики и литстудийцы, завтрашние столпы образованщины, её стажеры, столкнулись с начитанным и ироничным юношей, готовящим себя к научной деятельности, выросшим к тому же в потомственно и элитарно интеллигентной семье. Белецкие (оба: и отец, и сын) вынуждены будут приспособиться к запросам времени и выживут. Отец сделает большую карьеру. Но глубокая просвещённость никуда не денется. Как и у друга юности Андрея Платонова - Романа Самарина, члена того же литературного кружка, человека весьма рафинированного (Роман поведал Копелеву семейную тайну: его мать, «милая круглолицая Юлия Ивановна, происходила по прямой линии от Готфрида Бульонского»^{*}). В сравнении с ними, даже и сдавшимися, отчётливо проступает невосполнимая ущербность первопоколенной советской образованщины - ущербность прежде всего культурная. Интеллигент в первом поколении всегда наделён тяжелыми комплексами, ибо не может не сознавать, что за ним нет семейной культурной традиции, мощного слоя накоплений, бессознательно и сознательно усвоенных в детстве. Нет начал, для его ровесника из потомственной интеллигентной семьи настолько естественных и органичных, что их своевременное усвоение неощутимо, как дыхание. Интеллигент в первом поколении вынужден воспринимать всё: от умения пользоваться столовым прибором и носовым платком до высот культуры - сознательно, вкладывая в это огромный труд, чего не делает его потомственно интеллигентный товарищ, для которого навыки культуры - условный рефлекс, доведенный до уровня безусловности. Что ж, тем больше чести "первопоколенцу". Но перенесите всё это в обстоятельства, в которых ведущую роль (в культуре!) играет не добросовестный "первопоколенец" и не потомственный интеллектуал, а малограмотный политический надзиратель, коммунист-"выдвиженец". Именно в такой обстановке и была разыграна Андреем Белецким его язвительная мистификация. Достаточно смело.

Первый король Иерусалимского королевства созданного крестоносцами в конце XI - начале XII вв

Есть свидетельства, что Роман Самарин, профессор, доктор филологических наук, стал не только жестоким и циничным приспособленцем, но и штатным доносчиком /В частности, см Н Янович "Институт мировой литературы в 1930 - 1970-е годы" "Память Исторический сборник" Вып 5, стр 83 - 162 Москва 1981, Париж 1982/ Что ж, "великая эпоха" широчайше использовала людей "способных очень способных, на все способных" /прим Д Ш /

Копелев же – не то и не другое: не рафинированные Андрей Белецкий и Роман Самарин, и не какой-нибудь Ваня Горяшкин с Холодной горы, полу-грамотный сын владельца колбасной фабрики, вчерашнего крестьянина, завтрашнего ссыльного. Копелев успел получить какие-то начала образования – от своих бонн, от первой учительницы, из бессистемного, обильного чтения, но... Это начальное образование осталось зачаточным и хаотическим, произошла пересадка в советскую школу. Возникла и здесь такая же межеумочность, такая же половинчатость, как в национальной самоидентификации. И сохранилась на всю жизнь.

* * *

Повествование о коллективизации, которую Копелев частью наблюдал непосредственно, а частью – глазами коллег-коллективизаторов, дано сначала достаточно скупое и спокойное. Оно почти лишено осуждающих и покаянных интонаций, словно бы звучит **из того времени**, а не осмысляется ретроспективно. Позже появятся иные интонации и акценты. Так же даны и портреты знатных украинских большевиков: Скрипника, Постышева, Затонского, и работа в заводской радиогазете. Одна нота говорит о некоей двойственности: **тогда** Копелев казался себе в окружении большинства своих товарищей по комсомолу интеллектуалом – **теперь** он осознаёт, что был "полуграмотным, напористым газетчиком", истово увлечённым именно сегодняшним, сейчасным, даже сиюминутным "боевым делом".

Что ж, такими и были в те годы "работники пера и топора", энтузиасты "кузницы кадров", предназначенные для скоростной серийной отковки "советского человека".

Порой легко разделить два голоса: Копелева тех лет, о которых идёт рассказ, и Копелева 1970-х годов.

Вот первый из них:

«Даже в самых сокровенных мыслях я отождествлял себя с той партией, в которой формально еще не состоял. И готов был подчиниться самой суровой дисциплине, самой взыскательной цензуре» /стр. 221/.

А вот второй (точнее – дуэт), ибо **никогда** Копелев не бывает вполне свободен от духовного тавра своего ортодоксального прошлого:

«Хотя без этого, вероятно, работал бы много лучше и с большей пользой для той же партии. Слепая готовность к самоотречению, к безоговорочному послушанию, отказ от всех искушений свободы впоследствии приводили меня к мучительным схваткам с совестью, к трудным борениям с самой собой» /там же; выд. Д.Ш./.

И тут же совершенно, казалось бы, немислимый переход:

«Покорность всеохватному партийнодержавию не только оскоточила мысли и души верноподанных партийцев, но, в конечном счёте, ве-

да к исчезновению самой партии. Остатки ее живых сил были разгромлены уже к 1938–39 гг. Основы ее идеологии разрушались на протяжении всех последующих лет» /там же; выд. Д. Ш. /.

Итак, зло получило высшее своё выражение в том, что политика Сталина разрушала партию, разрушала "основы ее идеологии".

Какой Копелев это говорит? Тогдашний или пишущий эти строки?

Или нижеследующие рассуждения :

«Пропась между названиями и сущностью, между словами и делами становилась все шире и глубже.

Сегодняшняя КПСС в отличие от РСДРП (б) и РКП (б) уже не партия и даже не идеологическая в обычном смысле этого понятия организация, а мощное административное учреждение, так сказать, церковнообразное, административное и полицейское. Оно становится все более массовым, громоздким, иногда почти аморфным, но остается достаточно централизованным и мобильным. Через него действуют главные силы, управляющие всей страной. Но в нем уже почти не найти и следа тех наивных революционных мечтаний, тех самозабвенных, искренних – часто убийственных и нередко самоубийственных – порывов, которые будоражили нашу молодость» /стр. 221 – 222/.

Было когда-либо вообще время, когда "пропась между названием и сущностью, между словами и делами" – в РСДРП (б) ли, в РКП (б) ли, в ВКП (б) ли, в КПСС ли – отсутствовала? Имела ли хотя бы какую-то ценность оплакиваемая Копелевым идеология? В чем программа партии была реальной и соответствовала ее делам? Когда партия не совершала преступлений? **О чем Копелев постальгирует? Всё это было убийственным и самоубийственным миражом:** и то, чем руководствовались убийцы, и то, что могли бы противопоставить им преданные той же идее жертвы. Но Копелеву, кажется, это так и осталось не ясно.

С удивительным простодушием, без тени ужаса и раскаяния (может быть, этого требует объективность воспоминаний? Но нет: выдала бы хоть интонация), воспоминатель рассказывает о постоянном сотрудничестве молодых активистов с ГПУ и об одной из их общих жертв Феде Терентьеве. Старший друг, Илья Фрид, познакомил Копелева

«с начальником заводского ГПУ Александровым, который постоянно бывал на заседаниях парткома, на цеховых собраниях, заходил и в редакцию. Он, как и большинство ответработников, носил защитную гимнастерку без петлиц и знаков различия, хотя все говорили, что у него два ромба – заслуженный чекист. На собраниях он сидел молча, изредка что-то записывал. А в редакции или у себя в кабинете, куда иногда приглашал нас и поодиночке, и группами, спрашивал или советовал деловито, без командирского тона.

- Вот твоя заметка "Головоотяпство или вредительство" чересчур, брат, зубастая. Не разобрались вы, ребята. Мастер там еще и месяца нет, как назначен. А вы сразу - шарах! "Головоотяп-вредитель"! Надо бы теперь подбодрить как-то. А вот насчёт брака в литейном - дело посерьезнее. Тут приглядеться нужно. Кто там рабкоры? Надежные? Раковины в хромоникелевом литье могут быть и не случайные. Может, там кто-то что-то колдует в составе или в формовке или в режиме литья. Но только вы не спешите сразу писать и горланить. Тут нужно по-умному, по-хитрому. Чтоб узнать все подробности. Нужно с кем следует поговорить запросто, по душам. С ИТР у вас связи есть?.. Жаль. А кто из ваших активистов в сварочном в прошлую смену работал? В ту ночь очень уж много брака наварили. Надо бы пошуровать. Вот видите, я вам сигнализирую, как настоящий рабкор. Так уж и вы старайтесь мне помогать. Каждый коммунист, каждый комсомолец должен быть чекистом. Тем более тут, у нас. Не булки печем, даже не сеялки-веялки мастерим.

Однажды Александров вызвал нас с Фридом вдвоём для секретного разговора. Предстояли выборы в горсовет. Мы должны были изучить подрывную деятельность идеологических противников в цехах, нет ли где троцкистской пропаганды, а главное - продумать, как можно провалить на выборах самого опасного заводского бузотера Федю Терентьева.

Он был бригадиром слесарей на сборке дизелей. Сам Федя - мастер сверхвысшего класса - и все его бригадники работали безупречно, с ювелирной точностью. Но он не принимал в бригаду ни членов партии, ни комсомольцев.

...В 1930-31 годах на заводе часто бывали Петровский, Скрыпник, Косиор, Якир, Любченко. После работы в обеденные перерывы созывались митинги. Знатный гость, случалось, спрашивал: "А Федя Терентьев здесь?" И тогда из толпы на заводской площади или из задних рядов в большой заводской столовой звучал уверенный голос: "Здесь, здесь, Григорий Иванович, и вопросы у меня к тебе есть..."

Пробегал весёлый шумок.

...Изучать его "подрывную" идеологию было нечего. Да и сам Александров знал о нем достаточно. Он распрашивал больше о том, как относятся к Терентьеву рабочие, кто с ним дружит, кто враждует. И очень обрадовался, когда Илья придумал способ провалить Федю на выборах. Мы подучили наиболее опытных активистов-рабкоров предложить его кандидатуру в общезаводскую избирательную комиссию. На цеховом собрании за него проголосовали все, а в комиссии выбрали заместителем председателя. Но когда стали выдвигать кандидатов в горсовет и Федю назвали в числе первых, то в заводской газете появился фельетон "Бузотер сам себя избирает" и карикатура - усатый, носатый Федя подтягивает себя на блоке с надписью "Избирательная комиссия" к вышке "Горсовет".

Уходить из комиссии ему было поздно, и на выборных собраниях ему давали обоснованный законный отвод... Так в 1931 году, впервые после 1920 года, Федя перестал быть членом горсовета.

В тот день он пришел к нам в редакцию хмурый; но казался не столько сердитым, сколько удивленным, и говорил даже с известным оттенком уважения:

- Так это, значит, вы, рабкоры-писаря, меня облапошили? Здорово вы, сукины сыны, провалили Федю в горсовет... Все теперь! Не могу уже, значит, помочь рабочему человеку переехать в квартиру из барака или подвала. Не могу спасти от мильтонов наших паровозников, если кто выпьет лишнего. И сам не могу уже больше бесплатно в трамваях ездить. Выперли из горсовета последнего настоящего представителя рабочего класса. Теперь останутся одни товарищи наши начальники и товарищи молчалиники. * Кто за? Кто против? Кто воздержался? Поднимают все руки сразу. Принято единогласно...

...Годы спустя в Москву доходили противоречивые слухи: Феде дали десять лет без права переписки. Федя уехал в Челябинск и там процветает. Федя в лагере, начальником мастерских. Федя спился и повесился...

Мы провалили Федю, и нас похвалили в парткоме завода. Секретарь сказал, что редакция "Харьковский паровозник" хорошо организовала рабкоров на борьбу против последователей троцкизма и троцкистской контрабанды» /стр. 224 - 229/.

Я потому такую длинную привожу цитату (правда, со многими сокращениями, хотя и жаль), что хочу проверить себя: не пристрастна ли я? Может быть, читатель отыщет здесь нотки раскаяния - в сотрудничестве с чекистом, в погублении товарища? Да и не один такой Федя был на карандаше у чекиста, и не единственный раз чекист обратился за помощью к "молдняку".

Мой слух покаянной дрожи в голосе Копелева (в полном, не сокращённом для цитации тексте) не отметил. С чекистом сотрудничали изобретательно, с огоньком. "Нам объяснили...", "Нам объясняли..." - это очень частые обороты в повествовании Копелева. К примеру, в 1931 году:

«Нам объясняли: теперь уже ни троцкисты и никакие другие раскольники не решаются выступать открыто против победоносной генеральной линии, против ЦК. Они стали действовать "тихой сапой", потаенно распространяют слухи, шепотом возбуждают сомнения. Они кричат о своей преданности партии и Советской власти, притворяются энтузиастами, но при этом стараются дискредитировать вождей, подорвать доверие к промфинпланам, к партийным установкам... И мы убеждались, что необходимо стать бдительнее, необходимо приглядываться, прислушиваться, принохиваться к любому, кто может

* Ср у Галича "А молчалиники вышли в начальники..." Если не случайная ассоциация Копелева, то - силён Федя /Д III /

быть заподозрен в подобных намерениях и особенно взыскательно проверять публичные выступления, каждое печатное слово.

Так, едва приметно для самих себя, мы ускоренно готовились – идеологически, психологически и морально готовились к новому режиму цензуры, все более жесткой и придиричливой. И становились добровольными цензорами для своих товарищей, для самих себя.

...были среди нас и неподдельно убежденные, бескорыстные ревнители "чистой" идеологии. И они тоже пристрасно вслушивались, вчитывались, а не кроется ли в словах этого красная или того скромно-смирненного автора какая-то вредная, тлетворная мыслишка, дурной намек, провокационная недомолвка...

Таким был Илья Фрид, таким и я старался быть...» /стр. 230 – 231/.

Но вот включается голос Копелева 1970-х годов. Здесь начинает звучать **словно бы** раскаяние? Нет: самооправдание, индульгенция, скидки на объективные обстоятельства:

«Все это я записывал, пробираясь сквозь чащу давних и недавних воспоминаний, часто тягостных, иногда постыдных... Нелегко, мучительно смотреть сквозь них на былых друзей и наставников, на самого себя – тогдашнего.

Нелегко восстанавливать и ещё труднее объяснять сколько-нибудь беспристрастно (возможно менее пристрасно) наши тогдашние мысли, чувства, восприятие людей и событий.

Но я не могу согласиться с теми историками и беллетристами, для которых наше тогдашнее общество* – это жалкое человеческое крошечное, бездуховное, "богооставленное", а все тогдашние комсомолцы, партийцы и вообще деятельные участники развития страны – трусливые, своекорыстные обыватели, тупые или фанатизированные глупцы-невежды, либо циничные, бессовестные негодяи, карьеристы, властолюбивые изуверы, злокозненные инородцы, ненавидевшие Россию, и просто "слуги антихриста".

Рассказывая сегодня о том, **что и как** помню, я убежден, что новый исторический и нравственный опыт не должен задним числом видоизменять ни события, ни людей, ни мое тогдашнее к ним отношение. Не хочу никого и ничего оправдывать, но не хочу и обвинять безапелляционно. Нет, мои современники-соотечественники были и разнообразнее и сложнее, чем их представляют любые идеологические схемы – и "правые", и "левые", и "усредненные".

А я только свидетельствую. Насколько могу нелицеприятно и правдиво» /стр. 231 – 232/.

Так ведь о том и свидетельствую, что были вы, – в самом лучшем случае, – "фанатизированные глупцы-невежды" (определение наиболее безобидное

* Почему все "общество", когда речь идет только о вас – о его "авангарде"? /Д Ш /

и подходящее из вышеперечисленных). Допустим, что не злокозненные, а задуренные. Не одни инородцы: хватало среди вас и украинцев, и русских. Да и "инородцы" отсюда же родом, а не из Палестины. Но от того, что фанатики и что невежды, куда же денешься? И еще от того, что **правды** вы не хотели ни видеть, ни слышать. Как не хотите и по сей день, в этой книге. И о каком "новом историческом опыте" может идти речь, если спор – о прошлом?

Я – то помню многоголосье тех лет в отроческой, в юношеской, в молодежной среде – несмотря на все "выбраковки", на все доносы. Впрочем, и доносчиков среди нас было крайне мало, поразительно мало. И больше – вынужденных или случайных (запуганных или проговорившихся), чем идейных (таких просто не знаю).

В том же Харькове и в такой же национально пёстрой среде, по возрасту – в более полной мере (с рождения) воспитанники советских детских садов и советской школы, выросшие без бонни и гувернанток, тоже пионеры и комсомольцы, тоже веровавшие в коммунизм, мы все же считали подлостью донести о каком-то разговоре. Мы не верили "в справедливость тогдашних судебных процессов". Копелев пишет о "шахтинском деле" и о процессе СВУ (Сплка Визволення України, 1930):

«Мы с Колей и другие ребята, обсуждая ход суда и приговор, были совершенно убеждены в преступности этих недобитых петлюровцев, в справедливости и великодушии советского правосудия.

...Нас юридически, пропагандистски и психологически готовили к тому, чтобы считать преступлением любое несогласие с политикой властей. Записанные в личном дневнике, либо высказанные в разговоре "идеологически вредные" суждения, религиозные взгляды, мечты о национальной независимости, о свободе слова и т.п. и уж, конечно, любые связи с жившими за границей родственниками, друзьями, коллегами означали прямые угрозы государству и веские доказательства причастности к еще более страшным злодеяниям – к вредительству, шпионажу, террору...

...На ХПЗ я не помню дел о вредительстве. **Хотя мы очень старались – явно и потаенно – выискивать, как тогда говорили, "конкретных носителей зла"**, виновников неполадок, прорыва, брака и т.п., но ни разу не обнаружили злонамеренных саботажников» /стр. 237; выд. Д.Ш./.

"Мы очень старались" найти, на кого бы нам донести... Боюсь, что для этого надо было уже и тогда быть или очень неумным, или очень неразборчивым в средствах. Для нас, подростков, это признание, услышь мы его тогда, сделало бы Копелева нерукопожатным. Повторяю снова: мы были комсомольцами, мы были моложе Копелева. Сознательно воспринимали мы только процессы середины 1930-х годов. Но ни тогда, ни позже ни один из тех, кого я могу назвать своим товарищем (не то что другом), не выискивал, кого бы уличить и предать. Разногласия, самые крайние, воспринимались как нечто естественное. В том же Харькове, в водовороте

тех же событий, мы понимали, что поводов для сомнений более, чем достаточно, и что у думающего человека всегда есть право сомневаться в чём бы то ни было. Даже Маркс (а он еще был для нас вне критики, да мы его и не читали тогда) назвал в домашней анкете любимым своим изречением слова: "Всё подвергай сомнению". Даже Горький (наш в то время кумир) писал в поэме "Человек" (мы ею зачитывались): "Сомнения, вы только искры мысли. Сама себя собою испытывая, она родит вас от избытка силы и кормит вас своей же силой." Мы вспоминали песенку Беранже (в переводе Курочкина) и не допускали, чтобы это было о нас: "Тише, тише, господа: господин Искарриотов, патриот из патриотов, приближается сюда!.." Когда нас арестовали (1944), доносчики были тайными и действовали не по своей воле, а под страшным давлением. Об этом рассказано в другом месте.

Я думаю, что главную роль в победе фанатизма над совестью сыграло в судьбе молодого Копелева отсутствие уважения к традиционным нравственным ценностям, безразлично, старо- или новозаветным. Отсутствие даже смутных начал безотносительной морали. Их не могло не быть у христианских ли, у иудейских ли бабушек и дедушек. Но Копелев своих в упор не видел, не хотел видеть, не вслушивался, не слышал. Он ничем не был защищён, ничем не был вооружен против внушаемой ему партийной "морали".

* * *

Видеть то, что Копелев увидел в 1932 году на хлебозаготовках, и говорить то, что он там говорил, не повесившись по возвращении, мог только очень фанатичный коммунист. Или очень поверхностный, глубоко равнодушный к людям, совершенно бесчувственный человек. В данном случае первое вероятней второго. Эти страницы лучше не перечитывать. Но - всё же, всё же:

«Было мучительно трудно все это видеть и слышать. И тем более, самому участвовать. Хотя нет, бездейтельно присутствовать было ещё труднее, чем когда пытался кого-то уговаривать, что-то объяснять... Я уговаривал себя, объяснял себе. Нельзя поддаваться расслабляющей жалости. Мы вершим историческую необходимость, исполняем революционный долг. Добываем хлеб для социалистического отечества. Для пятилетки.

Оставалось только заботиться, чтоб не было "излишних" жестокостей, чтоб чересчур азартный хлопец-активист не лез с кулаками на женщину, которая крестом легла на сундук: "Не отдам!" И чтоб изъятое добро было точно описано в двух экземплярах. Ведь условием такого изъятия было: сдашь хлеб, вернем все, что забрали.

Мои сомнения, совесть и простые чувства сострадания, жалости и стыда подавлял, так сказать, рационалистический фанатизм, но питали его не только умозрительные газетные и книжные источники. Убедительнее были те люди, которые в моих глазах воплощали, олице-

творяли нашу правду и нашу справедливость, те кто своей жизнью подтверждали: необходимо, стиснув зубы и стиснув сердце, исполнять все, что велит партия и Советская власть» /стр. 257 - 258/.

Ему, правда, "было стыдно до тошноты", когда он держал медвежьим захватом женщину, над которой издевался уполномоченный (**выдавливая изо рта** справку об аборте, которую та пыталась проглотить; аборт сделала после двухлетнего отсутствия мужа, в доме свёкра). Ему "и сейчас стыдно". Но - **держал**. Из идейных соображений. Пока Сталин не приказал на время приотпустить ("Головокружение от успехов"). Уехали из села всё-таки с чувством выполненного долга и не потеряв аппетита (а селу предстояло в недалёком будущем пухнуть и вымирать с голоду).

«В Миргороде мы впервые за долгое время по-настоящему обедали. В столовой райкома нам дали мясной борщ, гуляш и хлеб - не кукурузный, не ячменный, а ржаной. Наши продовольственные карточки были в деревнях ни к чему. А в Миргороде нам сразу выдали по целой буханке хлеба. Сыроватый, с закальцем и с отстающей верхней коркой, но все же настоящий хлеб. Получили мы еще по куску сала, несколько банок консервов - бычки в томате, - сахар и конфеты - липкие комья карамели. Без карточек мы купили полдюжины пива. И, погрузившись в поезд со всеми этими сокровищами, мы сразу же почувствовали, что несмотря на великолепный обед очень голодны. Поезд был почтовый, тащился долго, и пировали мы блаженно» /стр. 269/.

А ниже - голос Копелева конца 1970-х годов. И в нем - ложь, потому что все всё тогда **знали**, а значит и "роковые вопросы" ставились думающими людьми всех возрастов **уже тогда**, хотя бы себе самим. Все и всё знали: на Украине, в Поволжье, в Казахстане... Копелев же **видел и совершал**, но вопросов не задавал - ни себе, ни другим. И оправдывается, что знал не всё. Я, десятилетняя, городская, ухоженная и сытая, - знала. И отец мой, врач, свозивший опухших детей из сёл, - знал и потому сунул голову в петлю. А Копелев нам в 1977 году объясняет:

«О зиме последних заготовок, о неделях* великого голода я помнил всегда. И всегда рассказывал. Но записывать начал много лет спустя. ...Оживали умершие боли и радости. И проклевывались вовсе новые мысли.

А когда я переписывал черновики и когда читал друзьям, возникали вопросы. Давние - казалось, уже навсегда припечатанные ответами, поднимались со дна, как рогатые мины старой войны, ржавые, но еще опасные. И совсем новые выныривали неожиданно. Вопросы к истории, к современности, к самому себе.

Как все это могло произойти?

Кто повинен в голоде, погубившем миллионы жизней?*

Как я мог в этом участвовать?

...Но прав Гете:

И если истина вредна,

Она полезнее обмана.

И если ранит нас она,

Друзья, целебна эта рана» /стр. 270/.

Целебна? Излечима ли – вот в чём вопрос. И не одному человеку она нанесена, а целым народам, тотально загубленным и губившим. Чтобы не возникло сомнений в том, какому народу (русским, украинцам, евреям, "большому", "малому"), уточню: всем народам СССР, во всех их слоях. Ибо уничтожающий и растлевающий – это тоже погибший.

Сказать по совести, я не понимаю, зачем через сорок – сорок пять лет Копелев скрупулёзно **подсчитывает**, была ли целесообразна коллективизация. Всё это давно подсчитано и доказано и в книгах, и в жизни. Но если бы даже и была целесообразна – с экономической точки зрения? Дикое допущение, но – допустим. Повышение уровня жизни **выживших** или будущих поколений (которого, повторим, **не было и не будет**) оправдало бы геноцид миллионов и их детей? Людоедство, вырождение и одичание? И это – после столетних споров о принесенной в жертву великой цели старушке-процентщице и терзаниях Раскольниковца, после мучительных дискуссий о слезе замученного ребёнка и возвращении билета Богу?

Сводя цифры, весьма, впрочем, сомнительные и приблизительные, хотя и достаточно жуткие, Копелев заключает:

«Однако ни тогда, ни позднее я не ощущал этих противоречий»
/стр. 274/.

Можно сказать? Во-первых, никаких противоречий не было. Всё было однозначно губительно. Во-вторых, не ощущал, потому что не хотел ощущать. Старался, стремился не ощущать. Привык уходить от того, что берedit душу, разрушает чувство правоты и силы. Это подсознательное стремление долго было сильнее сознания. И сейчас, в этой книге, его пережитки (его разлагающиеся останки) заставляют подводить под горячайшие признания тьмы оговорок, облегчающих совесть.

Это ведь и не лирический монолог Копелева – это, действительно, "голос из хора", крик, "шопот и лепет" сотен тысяч уст: "мы не знали", "не видели", "не понимали"... Спрашивается, **что надо было особого знать**, чтобы не держать за локти женщину, у которой изо рта выжимали недожеванную бумажку? Что она могла прятать: план уничтожения советской власти? Расположение захоронок зерна (которого уже не было)?

* Странным для 1960-х – 1970-х гг. вопрос /Д Ш /

Какой убийственный для светлого будущего документ, ради которого следовало будить в себе зверя и подавлять человека?

Эти вопросы должен был бы задавать себе Копелев, а не я – ему. Как задал их себе в какой-то момент, например, генерал Григоренко. Задал без всяких скидок: на уловки, на поблажки себе этот рыцарь без страха и упрека был органически неспособен. Таким прожил – таким и умер.

Итак, эта подосознательная ретроактивная самозащита незнанием – не личное свойство Льва Копелева. Это рефлекс целой генерации, позволившей раскаянию проявиться тогда, когда некоторое прояснение истинной сути событий стало почти безопасным. Одни пошли в своём покаянии дальше других, начали его раньше, чем "говорящее меньшинство" их слоя. Другие медлили – уже до смешного, до неприличия. Видно, страх или стыд господствовал над прочими чувствами, и это тоже понятно. Слишком тяжёлый пресс формал их души и их инстинкты. Я и сейчас, в середине 1990-х годов, получаю письма, в которых (± 5) семидесятилетние доктора наук, в том числе и гуманитарных, сообщают мне, что мои книги, **сегодня прочитанные**, помогли им прозреть. А что в этих книгах есть такого, чего бы они не знали раньше (пусть без анализа и выводов)? Если они не познакомились с тюрьмой и лагерем на собственном опыте, то без конца переживали их как возможность. А я не знаю, что разрушительней для личности: кошмары, гнетущие воображение, или грянувшая беда?

На фоне нынешних писем такого рода следует отдать должное Копелеву: его книга написана тридцать лет назад и опубликована за границей в 1978 году. Когда мои теперешние корреспонденты зарабатывали свои учёные степени и звания, Копелев уже находился в тюрьме. Но, с другой стороны, тем противоестественней выглядит в его случае психологический синдром политизированной образованщины: "верил, не знал, не видел, не понимал". **Субъективно** его пионерские, комсомольские и раннепартийные воспоминания остаются светлыми и ликующими. **Объективно** (после разоблачений XX и XXII съездов и всего пережитого и прочитанного) ликовать стыдно, порой – невозможно. Поэтому светлые воспоминания перебиваются и перемежаются корректирующими и искупающими их оговорками.

Приведу один из примеров этого метания из крайности в крайность (описанное происходит в **1932 году**, в разгар сельского голодомора и коллективизации):

«В конце октября 1932 г. меня послали в Москву на совещание в редакции журнала "Рабселькор". Наде разрешили взять отпуск за свой счёт.

И мы впервые увидели Москву. Мы шли в мавзолей и в Третьяковскую галерею, в музей Революции и в домик Толстого торжественно возбужденные, как паломники, добравшиеся до заповедных святынь.

...Вечером, сэкономив на ужине, мы пошли в кинотеатр "Ударник". И это был праздник. Огромное новое здание – строим уже не только заводы! – двухъярусный кинозал, невиданное величие. Мы смотрели фильм "Встречный" и восприняли его как прекрасное искусство, необычайно правдиво отразившее драматизм нашей жизни. Пес-

ню Шостаковича "Нас утро встречает прохладой..."* мы оба запомнили сразу и навсегда.

Сегодня в мире все новых, все более разнообразных потребностей и взыскательных потребителей наши тогдашние радости могут показаться наивно-убогими. Но в моей памяти осенние дни 1932 года в Ялте и в Москве остались неостудимо, ликующе праздничными» /стр. 277/.

И о тех же ликующе-светлых, счастливых временах двумя страницами ниже тот же раб-селькор (прошу прощения за лежащий на поверхности каламбур) пишет:

«6 декабря Совнарком распорядился "заносить на чёрную доску деревни и колхозы, не выполнившие плановые обязательства по сдаче хлеба". В таких деревнях надлежало "немедленно прекратить торговлю... вывезти все наличные товары из кооперативных и государственных лавок".

К этому правительственному распоряжению годился бы эпиграф: "Сарынь на кичку! Руки вверх! Хлеб или жизнь!"

7 декабря ВЦИК постановил изъять из ведения сельских судов все дела "О хищении общественного имущества". За сельскими судами оставалось право судить только мелкие кражи (на сумму не свыше 50 рублей) и только личной собственности.

Это было несколько запоздалое постановление к закону от 7 августа. Сельские суды не могли приговаривать к смерти и к длительному срокам заключения. А каждый посягнувший на государственную или колхозную собственность - на хлеб! - был потенциальным смертником.

...27 декабря ЦИК издал постановление о паспортах, которые вводились для горожан, чтобы "лучше учитывать население", "разгрузить города" и "очистить их от кулацких уголовных элементов".

Мой отец и некоторые старики на заводе были недовольны, говорили, что паспорта - подражание царской, полицейской бюрократии; я спорил, возмущался, - как можно даже сравнивать?

А ведь то закладывалась одна из административно-правовых основ нового крепостничества и беспримерной тоталитарной государственности. "Кулацкими элементами", от которых надлежало очищать города, оказались все крестьяне, уезжавшие из деревни без особого разрешения местной власти. Паспортный режим снова "прикрепил" крестьян, как это было до 1861 года.

...Все средства пропаганды, все силы районной администрации, партийного и комсомольского аппарата, суды, прокуратура, ГПУ и милиция должны были устремиться к одной цели - добывать хлеб» /стр. 279 - 280/.

* На слова поэта Б. Корнилова, впоследствии погибшего в лагере /Д Ш /

О том, какими средствами его (с участием Копелева) добывали, мы уже вспоминали. Но ведь всё то, что Копелев видит **теперь**, было видно **тогда!** Он цитирует не нелегалщину, не архивы, не зарубежные издания, а открытое (особенно для "актива") **законодательство**. И ему было не девять лет в 1932-м, а двадцать. Он побывал в селе, он всё видел **своими глазами**. Воспоминания об этом годе должны быть ужасными. Они ужасны у меня, тогда - девяти-десятилетней: няня шлёт в село пачки желудёвого "кофе" - на лепёшки; в кабинете отца живут опухшие или иссохшие дети (он ищет для них места в детдомах), вызовы отца в ГПУ - на целые ночи, его самоубийство... А в памяти Копелева - "осенние дни 1932 года в Ялте и в Москве остались неостудимо, ликующе праздничными".

Что ж, каждому - своё... Страница за страницей идёт пересказ общеизвестных исторических событий и документов. Но там, где, казалось бы, должно появиться, в качестве вывода, горчайшее самообвинение, - там возникает очередная самооправдательная оговорка:

«ЦК ВКП(б) отстранил секретаря Харьковского обкома Р. Терехова - того самого, который в ноябре требовал отнимать у колхозников полученный ими за работу хлеб, а в январе отнял посевное зерно в Поповке, привёл в отчаяние Бубыря и наших селькоров.

Партия изгоняла зарвавшегося чинушу, "перегибщика", одного из тех, кто был непосредственно повинен в начинавшемся голоде. Это убеждало в правильности других решений и других расправ с теми, кого объявляли виновниками всех бед.

И мы продолжали верить нашим руководителям и нашим газетам. Верили, вопреки тому, что уже сами видели, узнали, испытали» /стр. 286/.

Снятие с должности одного негодяя перевешивает массу собственных впечатлениями. **Почему?** Потому ли, что так легче? Или потому, что в этом костре уничтожений есть и собственное поленце? Почему **после всего** нет глубоких аргументированных объяснений ни своей слепоты, ни своих запоздалых и неполных прозрений?

Понятно, что невозможно было принять без раздражения и гнева "Раскаяние и самоограничение", "Образованщину", "Наших плюралистов". Ведь они били по самым больным местам. А также по поступкам и мыслям **себе** достаточно легко **прощённым**. "Мы были искренними, мы от души заблуждались" (и то, как можно понять, заблуждались далеко не во всём). А Солженицын бередит раны и старые шрамы. Ведь ещё с фронта будущий солагерник Копелева писал другу (и отсылал военно-полевой почтой!) откровенные письма о преступлениях "пахана", о своих сомнениях и неортодоксальных выводах. А Копелев говорит о тех же днях:

«В морозно-туманное утро 7 ноября, сразу после жестокой бомбежки, еще струилась земля из потрясенного перекрытия землянки, заужжал полевой телефон: "Давай, включай радиу, в Москве парад!" И я услышал знакомый голос с грузинским акцентом, интона-

ции спокойной уверенности и слова о победе "через полгода-годик", и совсем необычные, благословляющие слова "пусть осенит вас великое знамя..."*

В памяти не остывали боль и ужас 33-го и 37-го годов; я помнил, знал и даже в какой-то мере понимал, как он раньше хитрил, обманывал нас, лгал о прошлом и о настоящем, когда мы вместе с Гитлером громили и делили Польшу, когда постыдно воевали в Финляндии. И все же я опять поверил ему так же, как мои товарищи. И верил даже больше, чем когда-либо раньше. Потому что, пожалуй, именно тогда впервые испытал к нему сердечную, родственную привязанность. Раньше было только уважение, рассудочное, временами боязливое, – непроницаем, непредвидим, суров, жесток, – но именно только уважение к тому, кого считал гениальным "хозяином", лучшим из возможных вождей моей страны и добрых сил мира.

Этой веры и даже этой сердечной приязни не могли разрушить и долгие годы тюрем и лагерей, и все новые кошмары послевоенного великодержавия, расправы с целыми народами, с бывшими военнопленными, с "пособниками клики Тито", с космополитами, с "повторниками".

Понадобилось несколько лет уже после первых разоблачений "культы личности", когда я настойчиво передумывал собственные воспоминания, "выдавливая из себя по капле" мировоззрение и мироощущение, идеологию и психологию рабского доктринерского мифотворчества, чтобы я стал, наконец, понимать какого уродливого пигмея вообразил пригожим великаном, как непоправимо губительны были тогдашние наши, – мои, – диалектические иллюзии и слепое доверие» /стр. 288/.

"Через несколько лет после разоблачений 'культы личности'" – не означает ли это – в относительно безопасное время, в дозволенной плоскости?

Ведь старик-отец, агроном дореволюционной выучки, терзался происходящим **уже тогда**. И дома ни он, ни друзья-коллеги его не молчали об этом:

«Отец был мрачен и сразу накинулся на меня.

– Все гибнет! Понимаешь? Нет хлеба на селе!.. Не в Церабкоопе, не в городском ларьке, а на селе! Умирают от голода хлеборобы! Не босяки беспризорные, не американские безработные, а украинские хлеборобы умирают без хлеба! И это мой дорогой сынок помогал его отнимать. Головы надо было отнять у тех, кто приказывал. Сраной метлой гнать правителей, что Украину довели до голода» /стр. 290/.

Можно привести ещё множество выдержек из филиппик отца Копелева. В спорах с сыном у старшего – ни шор на глазах, ни идеологического пси-

* Насколько мне помнится, эта фраза звучала так "Пусть осенит вас знамя великого Ленина" /Д Ш /

хоза. Человечность и трезвость взгляда. Младшего понимали минутами – отцовская боль, его трезвые доводы. Но ведь он привив идеологически не доверять родителям, не продолжать их: он был другой – новый. Он подавлял в себе ветхого Адама.

И не только в семье Лев Копелев отстаивает свою правоту. Если принимать, в главных чертах, Рубина за Копелева, а Нержина и Сологдина за Солженицына и Панина, то сколько пыли затратили последние на споры с первым "о времени и о себе" в 1940-х годах, уже в лагере. И, насколько я помню, Солженицын и Панин в оценках Сталина и "совлашки" ни разу так и не сбились. Причём задолго до XX съезда и верховных "ату его". Так что ссылка Копелева на эпохальную ограниченность и слепоту не работает. Эти качества были, во-первых, личными, во-вторых, – сословными. Солженицын и Панин в основном типе советского образованца не уместались уже в 1940-х годах.

Интересная возникает закономерность: друг и учитель Копелева Илья Фрид исключён из партии из-за голосования в пользу оппозиции; его из-за этого бросает жена. Он меняет место жительства – и тем пуще активничает, в том числе выполняя секретные (сексотские) задания органов. После убийства Кирова – арестован.

В 1936 году Копелев исключён из комсомола, но добивается восстановления. В 1947 году, оправданный после короткого следствия трибуналом Московского военного округа, он будет добиваться полной реабилитации. Эта попытка приведёт его в лагерь всерьёз и надолго.

Партия этих людей выталкивает, а они изо всех сил рвутся обратно – в её ряды, доказывая ей словом и делом свою преданность. Чему? Кому? Партии, творящей столько зла, с какой стороны к ней ни подойди: хоть с общественной, хоть с чисто личной? Если даже продолжать от всей души верить в идеалы и цели теоретического коммунизма, то разве не видно, что **эта партия** высоким идеалам служить не может: у неё руки в крови по локоть.

Какая безнадежная невменяемость в стремлении – чего бы это ни стоило – "оставаться в рядах"!

Иногда невероятно трудно отделить в таком изъязвленном времени повествовании первичный отклик от последующих наслоений. В следующем отрывке – что первично, а что вторично?

«19 февраля 1933 года Сталин произнес длинную речь на всесоюзном съезде колхозников-ударников. Он говорил о голоде 1918 – 1919 годов, "когда рабочим Ленинграда и Москвы в лучшие дни удавалось выдавать по восьмушке фунта черного хлеба и то наполовину со жмыхами".* И это продолжалось не месяц и не полгода, а целых два года. Но рабочие терпели и не унывали, ибо они знали, что придут лучшие времена... Сравните-ка ваши трудности и лишения с трудностями

* Восьмушка – т.е. 50 граммов! Этой абсурдной брехни никто не исправил в последующих изданиях в течение двадцати лет так же, как и "досрочное переименование" Петрограда /прим Копелева/

и лишениями, пережитыми рабочими, и вы увидите, что о них не стоит даже серьезно разговаривать".

В эти дни умирали уже сотни тысяч крестьян.

Умирали в пустующих селах, на дорогах, на городских улицах. Уже голодали Украина, Кубань, Поволжье.

Но он утверждал, что об этом **не стоило "серьезно разговаривать"**. И мы не разговаривали.*

Не только потому, что уже опасно было сомневаться и тем более опасно критиковать речи Сталина. И не только потому, что одной из страшных примет массового голода было ощущение бессилия, обреченности (ещё за два-три года до этого, в начальную пору коллективизации, в иных местах бунтовали. Но к весне 1933 года деревня была смертельно парализована).

Мы не возражали, убежденные, что бедствие произошло не столько по вине партии и государства, сколько из-за неизбежных "объективных" обстоятельств, что голод вызван сопротивлением самоубийственно-бессознательных крестьян, вражескими происками и неопытностью, слабостью низовых работников.

В той же речи Сталин торжественно обещал "сделать всех колхозников зажиточными".

Когда именно бескорыстное стремление поддерживать Сталина, чтобы сохранить единство партии, чтобы предотвратить опасность троцкистского бонапартизма, чтобы оттеснить честолюбивых сановников и косных партийных "стариков", переросло в безоговорочную холопскую покорность новому самодержцу, кровожадному параноику?

Ответить на эти вопросы по-настоящему я не могу» /стр. 299 - 300/.

А не была ли эта безоговорочная покорность **изначальной**? Не она ли служила первым условием допуска "в ряды"?

Этот отрывок порождает в читателе-современнике ряд недоуменных вопросов. К примеру: "...одной из страшных примет массового голода было ощущение бессилия, обреченности (ещё за два-три года до этого, в начальную пору коллективизации, в иных местах бунтовали. Но к весне 1933 года деревня была смертельно парализована)". Кто испытывал "чувство бессилия, обреченности"? Копелев, когда ездил с юной женой в Москву и пел с ней "Песню о встречном"? Кто смертельно парализовал деревню? Не вы ли под командованием своих бубней? **Вы и тогда** ощущали "страшное бормотание смерти" - сквозь речи Сталина и демагогию Постышева? Или **теперь** ощутили? Ведь последний хлеб у голодных детей был отобран **вами**.

А мы - разговаривали /Д Ш /

Какой "переход количества в качество" имел место, если уже к 1921 году только Кронштадт да крестьянские войны заставили Ленина разжать душающую руку и дать НЭП? Когда вы, наконец, распознали в себе (а не в Постышеве, о котором идёт здесь речь) не коммунистический энтузиазм, а безоговорочную холопскую покорность? Когда увидели в гении всех времен и народов "кровожадного параноика"?

И главное: "торжество революции", "благо социалистического отечества", роковые штампы Утопии-Оборотня, перестали, наконец, быть вашими фетишами или и в 1978 году ещё нет?

Вот картина, которую Копелев видел сам и не взбунтовался, не повесился, не сошел с ума, не стал писать откровенно "в стол", а долгие годы оставался "без лести преданным" ("торжеству революции", "благу социалистического отечества"):

«Тащатся двое саней. Их валко тянут понурые ребристые клячи. Бредут трое возчиков. Поверх шапок навязаны, как башлыки, не то куски дерюги, не то бабьи платки. Грязно-рыжие кафтаны туго перепоясаны тряпичными жгутами. Шагают, медленно переставляя ноги, завернутые в мешковину.

В одних санях лежат два продолговатых куля, накрытые мешком и рогожей. Другие – пусты.

Они минуют слепые хаты; окна забиты или заставлены досками. В других окна целы, но двери распахнуты и обвисли. Видно, что никто не живет.

Подваливают к хате с дымящей трубой. Старший возчик стучит в окно.

- У вас е?

- Ни, слава Богу, нема...

У следующей хаты тот же вопрос. Тот же ответ. И еще у одной. Подъехали к хатенке с облезшей штукатуркой и бездымной трубой.

- Прыська же вчора живая була.

- Була. А сегодня, бачь, не топить.

Молодой возчик, закутанный по-стариковски, идет в хату. Лошадки тянутся к тыну. Грызут прутья. Парень возвращается.

- Ще дыхае. На печи лежит. Дал ей воды.

Минуют еще два двора.

Большая хата с чистыми, недавно белеными стенами. И солома на крыше светлая, едва начала темнеть.

- У вас е?

Из-за окна слабый, бесслезный женский голос.

- Е. Тато померлы цю ночь.

- То несить...

- Сил нема. Я ж одна с детьми.

Возчики переглядываются. Идут втроем. Выносят на мешке худое тело. Лицо закрыто полотенцем.

Женщина прислонилась к косяку. Обвисло накиннутый платок, угасший взгляд. Медленно крестится.

Тело кладут на вторые сани. Накрывают. Ещё один продолговатый куль.

За селом кладбище. На краю у леса – длинный ров, наполовину засыпанный землей и снегом, – братская могила. Без креста»* /стр. 301/.

А затем Копелев 1977 года цитирует С. Максудова 1976 года, который тоже кого-то цитирует...

И – то ли в утешение себе и читателю, то ли иронически – дополняет выше приведенный сюжет:

«Но весной хоронили уже в отдельных могилах. И в гробах. Уми-
рали все реже. Во второй половине мая целыми неделями не было по-
хорон» /стр. 304/.

Набросав ещё несколько страшных картинок (об издевательствах над предполагаемыми владельцами золота – в тюрьмах; об истязаниях политиче-
ских – с 1918 года – он не знал), Копелев заключает:

«Все это были поганые, жестокие дела. Однако неизбежные. Ведь и хлеб и золото необходимы стране. А прятать драгоценности могли только своекорыстные, классово чуждые людишки. Конечно, случались ошибки; страдали и вовсе ни в чем неповинные. Это плохо. Такого следует избегать. Но из-за отдельных промахов нельзя же прекращать широкое наступление на фронтах пятилетки.

Нет, я не поддавался сомнениям и колебаниям. И добросовестно редактировал и сам сочинял статьи, репортажи, заметки о борьбе против вражеской идеологии и философии, в политэкономии, в истории: обличал "меньшевистствующий идеализм" Деборина, "механическую метафизику" Бухарина, "ползучий эмпиризм" Сарабьянова, примиренчество к "субъективистской" теории относительности Эйнштейна и т. д. и т. п. Думал ли я о том, насколько справедливы были эти грозные обличения?

Если иногда и задумывался, то бесплодно» /стр. 309/.

Интересно знать, почему "бесплодно"? И почему лишь "иногда"?

Скорее всего потому, что, не давая сомнениям дальнейшего хода, спешил подавить их заблаговременно – пока не просочились наружу.

Копелев говорит о "малой правде" факта и о коммунистической "всемирно-исторической правде" как **об открытом им тогда для себя выходе** из противоречий между словом и делом. Что ж, был и такой выход. Его не надо было изобретать: совписы твердили о нём на все лады. Какое-то время эта уловка могла работать. Я тоже пыталась ею воспользоваться – не удалось. Может быть, на очень короткое время. Правда и то, что искрен-

^х В диалогах сохраняем правописание автора /Д Ш /

ней может быть и безнравственность. Но нравственность неискренней быть не может. И относительно она тоже не может быть. Материалисту трудно найти надёжные опоры для нравственного чувства, ибо его критерии (пользы, добра, целесообразности) легко поддаются лексическим манипуляциям. Нравственность безотносительна и бескорытна. Её критерии заданы не нами. На земле им следуют **абсолютно** только святые. Но, если не стремиться к её критериям изо всех сил, мы, люди, убьём друг друга. Копелевым, в этой книге – по крайней мере, безотносительные моральные максимы не обозначены. И это внушает серьёзные опасения относительно метаморфозы, которую он пережил. Заповедь "не солги" подменило во многих местах его воспоминаний лукавое "умолчи", "не додумывай", "умой руки".

* * *

Копелев выражает надежду, что потомки будут жить лучше, нравственной, благородней, чем мы. Он верует в человека. И при этом он отрицает как "сверхреальные божественные истоки" смысла человеческой жизни, так и "мнимо-реальные кладези научного глубокомыслия". А в поддержку себе он цитирует Лао Цзы, Конфуция, Евангелие и Короленко:

«Человек возник во мгле миллионолетий. Он был жесток и мило-серд, безрассуден и мудр, подл и благороден. Он* возвестил: "Воздай за вражду благодеянием" (Лао Цзы); "Не причиняй другим того, чего не хотел бы, чтобы причинили тебе" (Конфуций); "Любите врагов ваших... благотворите ненавидящим вас" (Матфей, 8, 44); "...теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше" (Коринф., 13, 13). Человек разрушал и творил, отчаивался и надеялся, губил и спасал...

Сегодня я убеждён: никто не может предсказать и никто не может предписывать будущие пути человечества. Вслед за Владимиром Короленко я повторяю, "что **не сотвори себе кумира** – великая истина и что народа, как мы себе его часто представляем, единого и неразделимого, с одной физиономией, – нет. А есть миллионы людей, добрых и злых, высоких и низких, симпатичных и омерзительных. И в этой массе, – в это я глубоко верю, – все больше и больше распространяется добро и правда. И значит нужно служить этому добру и правде. Если при этом можно идти вместе с толпой (это тоже иногда бывает) – хорошо, а если придется остаться и одному, что делать. Совесть – единственный хозяин поступков, а кумиров не надо." (1893)» /стр. 334 – 335/.

Но первые три источника (Лао Цзы, Конфуций и Евангелие) имеют безотносительную неколебимую систему отсчёта добра и зла, синонимичную

* Он, человек – а не Источник, пребывающий выше него /Д III /

Десяти Заповедям... Они утверждают, что их система отсчёта надличностна (объективна) и одновременно должна быть духовно-личностной (субъективной). Не имея первого и не обретя второго качества, она не спасёт. Короленко же говорит о "добре и правде", о "совести", **не имеющих надличностного безотносительного источника и критерия**. Каждый волен их толковать по-своему. И потому Короленко через двадцать пять лет придёт вступить в предсмертную переписку с Христианом Раковским, вымаливая у него жизни невинных, а потом и Раковскому – сгинуть в сталинской мясорубке. Утверждение, что **никто не может предсказать и никто не вправе предписывать будущие пути человечества**, – типичный реактивный рывок сознания, едва-едва выходящего из тисков жесточайшей регламентации. Эта регламентация была задана не Богом, не совестью, даже и не убеждениями, а тайной и явной полицией. Утверждение, мною выделенное, – скрытая полемика с бывшим другом и союзником. И это – не столько спор с его взглядами, в которые Копелев не даёт себе вдуматься, сколько со своим произвольным истолкованием его взглядов. А главное – оказалось, что друг был прав, когда почувствовал ложь идеалов, владеющих Копелевым, и не просто отверг их, а ощутил наличие идеалов иных. И не ошибся. Последнее очень трудно перенести. А потому лучше прибегнуть к испытанному приёму: не додумывать до конца. Остаться при произвольных лоскутных умствованиях, но не большевистского уже, а общегуманистического толка.

Но речь сейчас не об этом. Речь идёт, в основном, о том, что в исповеди Копелева каждое полупризнание и полупокаяние имеет гомеопатическую примесь самоизвинения и самооправдания (время, обстоятельства, великая иллюзия, плохие вожди).

И всё-таки название книги оставляет надежду: "И сотворил себе кумира". Это начало опамятования. Если сам человек не доходит в своём опамятовании до полного "возврата дыхания и сознания", то следующий за ним или рядом идущий – дойдёт. Это, однако, будет уже другая повесть.

* * *

Первая часть "Современников" была написана в 1993-м году. В июне 1997-го Льва Копелева не стало. Я перечитала "И сотворил себе кумира" наново, но не сумела ничего изменить в своём восприятии его книги, опубликованной в 1978 году. Впечатление осталось прежним. По всей вероятности, те, кто знал Копелева не только по его публикациям, видят его иным. Я не буду с ними полемизировать. Каждую книгу создают написавший и прочитавший. Поэтому книг столько, сколько у них читателей. Для меня иное прочтение мемуаров Льва Копелева осталось невозможным.

* * *

II. "ЧИТАЙТЕ, ЗАВИДУЙТЕ..."

Раиса Орлова пишет в введении к своей книге "Воспоминания о не-
прошедшем времени" /США, Анн Арбор: Изд. "Ардис". - 1983/:

«Стремление понять вело... прежде всего к покаянию» /стр. 11; все
последующие ссылки на эту книгу/.

В своих воспоминаниях о том же времени ("Дети Утопии") я писала, что
моих друзей и меня стремление понять вело прежде всего к изучению теоре-
тических истоков происходящего. Ибо - в чём же каяться, не поняв, с кем
праота и правда? Поначалу (1930-е - 1940-е годы) мы ещё толком не
знали, каяться ли поколению наших отцов и старших братьев, а за ними и
нашему или гордиться собой. Убеждение, что долг велит прежде всего разо-
браться в происходящем и его истоках, нас и спасло. К счастью, оно воз-
никло достаточно рано. Нам ещё не в чем было особенно каяться, кроме
собственной глупости. К Раисе Орловой, как и ко Льву Копелеву, стремле-
ние **понять** пришло только в "оттепельные" годы. К тому времени им уже
было в чём каяться. Удивительно, что стремление понять не повело их
прежде всего к теоретическим, книжным истокам их мировоззрения. Ведь
они, казалось бы, книжники, интеллигенты. Ведь именно преданность идее
предопределяла, по их мнению, всё то, в чём надо или не надо каяться.
Не надо - в том случае, если идея верна. А может быть, потому их и не
занимает ревизия идеи, что они изначально служили не столько идее,
сколько режиму, объявившему себя носителем её? Забегая вперёд, замечу,
что к беспристрастному исследованию основ своего "дооттепельного" веро-
рождения они так и не пришли. Никогда. В моих глазах, это аномальная
линия поведения для убеждённого и усомнившегося человека.

В мемуарах наших советских современников интересней всего процесс их
опамятования. Национальный момент здесь вторичен: мы видели, как много
украинцев и русских шли рядом с Копелевым. Не меньше русских и в ранних
дружеских кругах Орловой. Еврейство вносит в симфонию определённых
кругов этого поколения лишь некоторые дополнительные краски и ноты. Но
об этом - позже. Мемуары Орловой приковывают внимание читателя ярко-
стью самовыражения, искренностью, нарастающей к концу книги. Но...
Открываешь вступление, и сразу же возникают вопросы. Р. Орлова пишет
об эпохе XX - XXII съездов КПСС:

«Верила я в то время в "коммунизм с человеческим лицом", ещё
не зная этого словосочетания.

То, что я писала, ещё не противоречило ни тому, как я жила, ни тому, как жили все вокруг меня. Но со временем я всё больше отстранялась от общей "генеральной" линии" /стр. 11/.

Неужели **все** вокруг Раисы Орловой жили в годы выхода в свет "Одного дня Ивана Денисовича" соответственно "генеральной линии"? И вообще – **когда** так жили **все**? Или "все" – это в данном контексте лишь условное, кастовое обозначение?

Я не знаю, однако, настолько узкого круга, по отношению к которому эти слова были бы тогда справедливы. Правда, выше областных кабинетов я не залетала, даже по делу.

Многие, очень многие не понимали, что происходит (многие – понимали). Некоторые готовы были предложить свою "генеральную линию", чаще – не менее тупиковую, чем победившая. Но это "все" сразу включает нас в подспудное самооправдание, встающее за самообвинением: "все" колебались вместе с "генеральной линией", и Раиса Орлова тоже.

«Оглядываться назад (в тридцатые, да и в шестидесятые годы) трудно, но я заставляю себя оглядываться.

Некоторые из окружающих меня людей не сочувствуют тому, что я не могу отделаться от своего прошлого, что оно меня мучает, что ко многим его страницам я испытываю и отвращение.

Они говорят:

– Ты же действительно искренне верила, не ведала, что творила, в чем участвовала, значит на тебе и нет вины.

Как соблазнительно согласиться. Но нельзя. Я обязана жить со своим прошлым, не забывать, совладать с ним. Изменить его не дано, но чтобы преодолеть его – стараюсь увидеть его таким, каково оно было» /стр. 12/.

В этом "не ведала, что творила, в чём участвовала" (во вполне зрелом возрасте), – опять-таки есть лёгкий намёк на отпущение грехов. Ведь это слова людей, хорошо знавших автора, всю его жизнь. Но автор не хочет воспользоваться амнистией, на которую, вроде бы, имеет право. А я не верю в это всеизвиняющее неведение.

В тех кругах и учреждениях, где вращалась и работала Раиса Орлова, с её уровнем образования и начитанности совсем уж не видеть, чему и кому ты служишь, можно было только при очень сильном желании оставаться слепой. Плотно зажмуривая глаза. И, кроме того, это не оригинальный мотив: он у нас на слуху все эти долгие годы – со второй половины 1950-х годов и доньше. Его варьируют бесконечно, но суть одна: не знали, не видели, не понимали. Но были при этом не токарями-слесарями, не колхозниками-совхозниками, а профессиональными гуманитариями, деятелями умственного труда. В этих оговорках звучит не жажда жестокой, но целебной исповеди, а подсознательная, но жгучая потребность воссоздать "механизм прошлой веры" /там же/ в таком ракурсе, чтобы его можно было **не слишком стыдиться**.

Чего было больше: слепой (трудно объяснимой в мыслящем человеке) веры или рефлекторного самосохранительного конформизма – вот в чём вопрос.

К 1983 году, когда в "Ардисе" были опубликованы воспоминания Раисы Орловой, дописанные в 1982 году, книг, беспощадно и точно препарированных и анализировавших советское прошлое и настоящее, **своё** прошлое и настоящее, вышло в свет немало. Однако в каждой литературной исповеди отпечатывается не только время, но и человек, сегодня её пишущий. Р. Орлова дала своей книге талантливое название: "Воспоминания о непрощедшем времени". Автора уже нет, но книга остаётся живым сплавом времени, которого не бывшим не сделать, и человеческой жизни, от этого времени неотделимой. Эта исповедь – как дактилоскопия, которая воспроизводит неповторимый рисунок кожи, не зависящий от намерений испытуемого. Любые мемуары, прочитанные их современником, воспроизводят в его сознании рисунок души во времени (души и времени). Одновременно читающий видит себя в том же времени. Не может не видеть. И сколько бы ни силился, не может не сравнивать двух ретроспекций: своей и автора мемуаров. Поэтому мемуары сейчас и читаются охотней, чем, за редкими исключениями, художественная проза.

Воспоминания – жанр лиро-эпический. Не важно, что люди не всегда говорят о себе правду. Там, где в лирику вторгается эпос, а в правду событий – домыслы толкований, возникают швы. Природа этих швов – такое же свидетельство времени (и печать личности), как сваренные ими куски живой жизни.

Подводя первый итог страшным десятилетиям сталинского террора, Орлова пишет:

«Все пытаюсь понять то непостижимое явление – как можно было верить?» /стр. 63/.

Что ж, это закономерный и очень важный вопрос. Действительно, как и, главное, чему, во что можно было верить? И как долго?

Хотелось бы услышать от наших более счастливых, чем мы, почти-сверстников исповедь без увёрток. Как им, не менее политизированным, чем мы, не менее ангажированным идеей "коммунистического далека", чем мы, удалось прожить 1930-е – 1940-е годы, не усомнившись? А если их и посещали сомнения, то чем их удавалось нейтрализовать и подавлять? В очерке "Дети Утопии" я рассказала, как (примерно с пятнадцати-шестнадцати лет) производили подобную операцию мы. А они? Ведь они были и старше, и ближе к центру событий, чем подростки-провинциалы.

Вот что Орлова говорит о гибели первого мужа на войне:

«Тогда я еще не знала о другом горе, когда теряешь близких, но даже плакать о них смеешь только тайком» /стр. 56/.

Тогда не знала? Это в 1942-го году? А нижеследующее – о каких временах? Разве 1937-й ... (так названа глава) не предшествовал 1941-42 годам?

«Мне было девятнадцать лет. Я училась на втором курсе филологического факультета ИФЛИИ. Мой малый мир еще не был затронут. Посадили А. Халатова, начальника моего отца. Папу выгнали с работы, он ходил убитый. Едва ли не всю зиму я просыпалась в 3–4 часа и лежала без сна, прислушиваясь к звонкам и стукам. Боялась. Теперь понимаю – сколько людей не спало. И скольких увели...

Тем временем в институте шли комсомольские собрания. Исключали из комсомола "за потерю бдительности". Протестов почти не было. Помню, что вышла Нина Витман, девушка с длинными косами, и тихо, но очень твердо сказала: "Мой отец не виноват". – "Откуда ты знаешь?"

Агнеса Кун сказала, что её муж, арестованный поэт Антал Гидаш, ни в чем не виноват.

Подошел и наш черед. Я была членом бюро факультета.

Нас вызвали к секретарю парткома института Волгину. И он сказал, что мы обязаны исключить Муралову и Ганецкую из комсомола. Многих похожих я перевидала с тех далеких пор, но он был первым.

Елка Муралова – племянница Николая Муралова, обвиняемого на процессе. Отец ее был заместителем наркома земледелия. Тоже был арестован.

Отец Ханки Ганецкой, один из основателей польской партии, друг Ленина. В последние годы – директор музея Революции. И его арестовали.

Мы твердо сказали Волгину, что за Елку мы ручаемся.

– Ни за кого нельзя ручаться.

Нас учили не верить глазам, ушам, поступкам. Не верить своим чувствам, своему разуму.

Ханку мы уже не защищали, мы ее не очень любили, она казалась барыней, но при чем тут политические обвинения?

...За словом "посадили" для меня возникла черная пустота, пропасть, откуда нет возврата. Страшно было заглядывать.

...Быстро оборвались сомнения и робкие попытки протеста. Значит так положено: лес рубят – щепки летят...

Стоим мы с папой в большой комнате у радиоприемника – опять передавали что-то о бдительности, – и он спрашивает: "А если меня арестуют?" И я, не подумав ни мгновения: "Я буду считать, что тебя арестовали правильно". Сказала, и пол под ногами не содрогнулся, и не было ни пламени, ни серы, ничего... Бог меня помиловал, и отца не арестовали.

Принял ли он мои чудовищные слова как должное? Он и сам говорил, что по-другому нельзя.

А может быть, надеялся не на такой ответ? Иначе не спросил бы...

...И в те годы не было рядом со мной человека, который думал бы по-иному. То есть они существовали, и где-то совсем близко, но я-то их не видела, не слышала. И естественно, они ко мне не стремились, а то и не доверяли мне. Был любимый и любящий муж, бы-

ли любимые и любящие друзья, родные. Но не было никого, кто попытался бы переубедить, кто увел бы с собрания: "Не голосуй. Пусть хоть не твоими руками." Нет, все было и моими руками. Мертвое молчание, мертвый крик, все "за".

...Как-то мы с Агнесой подходили к моему дому, и она прочла мне строки Гидаша, посланные из лагеря:

"С какими варварскими страданиями
Вытаскиваем мы из варварства человечество".

Долго я жила этими стихами. Главное ведь "вытаскивали из варварства".

Все это казалось не очень реальным - стихи оттуда, письма, телеграммы, как от матери Агнесы, вечером 7 ноября 1939 года, когда читали Блока и Тютчева и все думали - что-то должно случиться.

Реальной была большая очередь в прокуратуре, куда я ходила с Агнесой. Однако, уйдя оттуда, старалась поскорее забыть. Реальными были забытые двери в бывшем Доме правительства на улице Серафимовича /стр. 60 - 63/.

Это - 1937 год. И это не только полностью опровергает свидетельство неведения 1942 года. Это ещё и поражает бестактным отсутствием вкуса, слуха: как можно в свидетельстве о **собственном первичном опыте**, насыщенное **тогдашними** своими оценками (пусть - дикими, но органичными), вставлять походя, между делом, оценки **сегодняшние**, совершенно неорганичные остальному тексту? Вставлять, не отделяя прошлого от его коррекции:

«Но в то же время читали Маркса, Ленина, Сталина, казалось что раздвигается мир, учимся думать, творчески воспринимать марксизм. Удивлялись **стройности и четкости "Краткого курса"** - **этой фальсифицированной истории страны и партии**. Книга содержала философские и **правственные - безнравственные** - представления, все, что должен был знать каждый гражданин страны. Она выполняла функцию настольной библии того времени. Я понимала, что у Маркса и Ленина мысли значительнее, сложнее и глубже, но ведь зато эта книга для всех» /стр. 63; вид. Орловой, жирным шрифтом вид. Д. Ш. /.

Короткая фраза в воспоминании о разговоре с отцом ("Он и сам говорил, что по-другому нельзя") объясняет многое. Каков должен быть отец, чтобы так сказать дочери, готовой его предать? Либо крайним фанатиком, либо приспособленцем без всяких ограничений. Я рассказывала о самоубийстве своего отца ("Тетрадь на столе"). Самоубийство, согласно христианскому вероучению, страшный грех... Но как рассудить, если человек, не ведая меры своих сил, самоубийством спасает себя от предательства, друзей и близких - от возможной расправы, а детей своих - от бесчестия?

Непрерывно звучит в книге несовместимо-двухипостасное авторское "я" (иногда - "мы").

С одной стороны, постоянная нота в повествовании Орловой - "mea culpa": закрывала глаза, не хотела видеть и понимать. Естественно, что зрячие люди ей не доверяли.

С другой стороны, - верила, не знала, не понимала.

Правдоподобней другое свидетельство автора: "видела, но старалась об этом забыть".

Но забывать нам не позволяли - ни начальство, ни окружение, ни печаль, ни сам Архипелаг: ведь он присутствовал **всюду**. Орлова сама об этом свидетельствует.

В книге всё время присутствует некий зазор. Он расположен между «старалась об этом забыть» и «Все пытаюсь понять то непостижимое явление - как можно было верить?»

Если всё-таки "можно было верить", то нечего было и забывать. Впрочем, здесь мешают ещё две неопределённости: **что** забыть и **во что** верить? Верить в социализм как таковой? В Маркса - Ленина - Сталина? В Маркса - Ленина? В Маркса? Верить, что всё к лучшему в нашем лучшем из миров, убеждая себя, для успокоения сердца, что лес рубят - щепки летят? Замечательные "палочки-выручалочки" - эти "щепки": чуть не в каждом запоздалом прозрении - на них ссылка. Откровенная или подспудная. Мои друзья и я прошли через все эти фазы по пути к прозрению. Но - в ранней юности. А Орлова?

«Нам еще не сказали, что Горького убили врачи - в эту ложь я поверю через два года, она понадобится, чтобы объяснить уничтожение всех, кто окружал Горького: Левина, Хольцмана, Крючкова и других, врачей, секретаря.

Но о том, что все это бессовестное вранье, я узнаю двадцать лет спустя» /стр. 64 - 65/.

Господи, почему мы, несколько друзей-одноклассников, почувствовали, что это ложь, в седьмом классе? Самое главное вот ведь в чём: верить в нелепую, фантазмагорическую ложь нужно, чтобы оправдывать и другие убийства. Однако одно уже то, что бесчисленные убийства вчерашних своих вождей и кумиров молодые люди могут принимать как нечто естественное, успокаиваться на шитых белыми нитками (по чёрному) "объяснениях", - не чудовищно ли?

Симптоматично: автор воспоминаний говорит о Набокове и об Андре Жиде:

«Книга Жиде очень опасна потому, что она написана с искренним желанием не только понять, но и одобрить. Опасна потому, что в ней тонко и талантливо запечатлены те сомнения, которые одни заталкивали внутрь (среди советских людей, окружавших Жиде, таких вероятно, было немало), другие выкорчевывали и ростки сомнений, но было **что** выкорчевывать. И хорошее, и дурное он отсчитывал от ми-

ровой революции – такой, какой она мерещилась ему и многим иным интеллигентам Запада.

Владимир Набоков в автобиографической книге "Чужие берега" пишет: "За очень немногими исключениями все либерально настроенные творческие люди – поэты, романисты, критики, историки, философы и др. – уехали из ленинской и сталинской России. Те, кто так не поступил, либо угасали, либо калечили свои таланты, принимая политические требования государства. То, чего никогда не удавалось достичь царям, – полностью согнуть умы по воле государства, – было сразу же достигнуто большевиками, когда основной контингент интеллигенции уехал за границу или же был уничтожен".

Историческая тенденция такова, но слово "сразу", по-моему, тут неточно. Не сразу и не полностью.

И противостояло этой тенденции иное – упрямое прорастание культуры вопреки страшному давлению.

Обвинение Набокова – извне, обвинение Жида – изнутри» /стр. 67/.

Угадано с "точностью до наоборот": Андре Жид – **гость**, а Набокову Россия остаётся **родиной**. Пленённой, заблудшей, изувеченной, обезумевшей, **но родиной**. Однако первый (француз) опутан лево-прогрессистскими и социалистическими иллюзиями, а второй (русский) начисто их лишен. Он точен и трезв, хотя боль его куда острее и неотступней. Но левый прокоммунистический либерал Андре Жид Р. Орловой гораздо ближе даже теперь, когда она пишет эти воспоминания, чем яростный антикоммунист Набоков. Боль за социализм – их общая боль, тогдашнего Жида и нынешней Орловой. А набоковское абсолютное неприятие советчины её коробит. Тот – свой, этот – чужой.

«Сомнения Жида, сомнения Роллана (они все еще закрыты в его дневниках, в наших спецхранах, за семью печатями), сомнения Брехта ("А что если трибунал неправ?" – спрашивает Брехт в стихотворении о расстреле Сергея Третьякова) – это и наши сомнения» /стр. 68/.

Ну, какие уж тут сомнения, если страницей раньше сказано:

«Если бы мне тогда сказали, что кто-то, пусть хоть сто раз знаменитый, сравнивает нас с фашистской Германией, я могла на это ответить только "сам фашист"» /стр. 66/.

Сомнения возникли гораздо позже, в другую эпоху. Но память услужливо переносит их в прошлое.

А мы с Леночкой Поярковой, моей ровесницей и подругой, шептались, холодея от ужаса, в нетопленном студенческом общежитии КазГУ зимой 1942–43 гг. о страшном сходстве сражавшихся насмерть режимов.

К счастью, Леночка уехала из Алма-Аты на год раньше, чем меня посадили. Наши мальчишки тоже были на фронте, и один из них, Женя Пакуль, был уже убит.

О том, как могла отреагировать на наши аналогии тогдашняя Рая Орлова, мне страшно подумать.

Кстати, московские дневники Роллана и его письма к Сталину уже опубликованы. Это тексты ещё более страшные и низкие, чем "Москва 1937 года" Фейхтвангера и "Сталин" Барбюса.

* * *

В каждом абзаце "Воспоминаний о непрошедшем времени" поёт целый хор диссонирующих голосов, скрежещет вразнобой целый оркестр. Вчитаемся:

«А может быть, часть нашего самооправдания – если такие люди верили, чего же нам тогда стыдиться?»

Есть чего стыдиться. Они приезжали на время, их всячески ограждали от действительности. Надо было обладать огромной пронизательностью, умом, чуткостью, чтобы прорвать завесу. Каждому из них – Жиду в том числе – демонстрировали, как их переводят, издают, знают, любят. Их, действительно, переводили, знали, издавали, любили. Фимиам был частью завесы. Трудно писателю против этого устоять.

А мы здесь жили.

Это наша, не их страна, это наш, не их народ – подвергались неслыханным гонениям. Это наши, не их соотечественники исчезали сотнями, тысячами, миллионами.

Опыт Андре Жида помогает понять свои и чужие заблуждения. Понять, но никак не оправдать.

1970 – 1975» /стр. 68/.

Как помогает визитёрский опыт понять собственные заблуждения, – этого я совершенно не способна постичь.

Андре Жид – гость, и гость заранее ангажированный тем, что предполагает увидеть. Он был настроен на восхищение. И всё-таки не удалось его полностью обмануть. Кое-что он сумел и успел заметить. Раиса Орлова – абориген. Допустим, она не заметила коллективизации: деревня была далеко; голодных к столице не подпускали. Но в годы, о которых идёт речь, коса "большого террора" выкашивала уже её луг.

Живя здесь, как можно было не замечать исчезновения соотечественников? Не удручаться этим, даже не озадачиваться?

«У многих есть своя деревня. Та общность людей, где их знали маленькими, где помнят детские выходки, где осуждают и прощают по своим особым законам, где существует свой язык, свой жаргон, непонятный другим... Свой двор, свой клан, своя коммуна, своя рота.

Где же моя деревня? Кто (кроме близких, а я сейчас говорю о дальних) гордится моими успехами и огорчается моими поражениями?»

Оглядываясь назад, я думаю, что такой моей деревней стал для меня и многих других институт. ИФЛИ. Не только потому, что мы, выпускники, люди одной профессии, и мне приходилось по работе встречаться, сталкиваться с бывшими сокурсниками. Но и потому, что нас связывает юность, счастливая, бездумная и единственная.

Институт был создан в сентябре 1934 года и просуществовал восемь лет; во время войны факультеты ИФЛИ слились с МГУ.

Его называли "коммунистическим лицеем". Подобно своему знаменитому предшественнику, он готовил к государственному поприщу, к служению отечеству» /стр. 68 – 69/.

В ИФЛИ выкосили к моменту его закрытия добрую половину родителей, многих преподавателей и немало студентов.

Слово "отечество" всплыло в войну. До того отечество заменяли "диктатура пролетариата" и "мировая революция".

"Коммунистический лицей" готовил гуманитарно (история, философия, литература) – идеологическую элиту для коммунистического государства. Эту элиту умело натаскивали и хорошо селекционировали. Перечитайте посвящённые этому горе-лицею странички: как прочно запомнилось всё, что казалось светлым; как мало уделено места страшному; как приблизительно (а порой и неверно) схвачены люди. Как свойственно автору роющее чувство его эпохи ("единица – вздор, единица – ноль"): муравьи и пчёлы не считают потерь.

«Для многих из нас институт стал малой родиной. Не только не противопоставленной, но тысячами нитей связанной с большой родиной. А вместе с тем и отдельной, относительно устойчивой общностью, со своими обычаями, даже со своим языком и, безусловно, со своим складом характера.

...Малая родина густо населена, она укрепила ощущение связей с людьми, ответственности за других. Это ревнивое чувство осталось надолго, может быть, и до сегодняшнего дня – кто как себя ведёт? Как выступает? Какие книги пишет? Не закружили ли голову высокие посты? Не пригнули ли голову неудачи, несчастья?

В ИФЛИ было много одаренных юношей и девушек.

...Был у нас к этому времени уже немалый отрицательный опыт коллективного поведения, только мало кто осознавал опыт комсомольских собраний в 1937–1938 годах, где студенты один за другим отрекались от арестованных отцов и матерей.

...В тайге строили город Комсомольск. Я не могу в своей молодости найти более точного, зримого представления об идеале. Эта пьеса была о моей несостоявшейся, а у других, у лучших – состоявшейся жизни, о которой я мечтала.

...И все же, какая в этом огромная радость, знать, чувствовать – это твое, кровное, это строят твои товарищи для других твоих товарищей, это общее дело, чистое, честное, и строится все чистыми руками. Преодоление наивной романтики – так казалось и авторам, и ис-

полнителям, и зрителям – состояло в том, чтобы были показаны трудности. На сцене, как и в жизни, нехватало еды, жилья, палаток и т.д. Слабые люди этих бытовых трудностей не выдерживали.

В действительности – это я только сейчас понимаю, в самом спектакле были и разные стороны большой лжи: "враги народа", разоблачаемый троцкист, кулаки. Но я-то воспринимала каждое слово со сцены, каждое движение как истину» /стр. 71 – 73; вид. Д.Ш./.

Вот такой компот. "Малая родина..., где студенты один за другим отрекались от арестованных отцов и матерей". Впору писать "Страсти по ИФЛИ". Нет, зачем же? "Город на заре", сценическая романтика Комсомольска-на-Амуре. Зависть к достойным "Города на заре". А строили его – арестанты. Правда, об этом конкретном факте можно было тогда не знать.

Куры продолжают клевать зерно, пока хозяин ловит одну, другую и рубит им головы. Кудахчет та, которая бьётся в его руках. Но ей зажимают клюв. Тем не менее – об ужасе, ожидающем ещё своего Шекспира, – мимоходом, вскользь, по касательной. О "Городе на заре" – восторженный **ностальгический** монолог. Время написания – 1961 – 1979.

Уже не студентка, уже сотрудница ВОКСа, организации чётко подведомственной и целенаправленной. Уже столько отловили и изъяли люди Хозяина... "Но я-то воспринимаю каждое слово как истину". Уму непостижимо...

«В пьесе Светлова "Двадцать лет спустя" комсомольцы времён гражданской войны пели об эстафете, которую они передадут... далёким дням шестидесятых лет...

В наших руках тогда, в начале сороковых годов, эта эстафета была. И мы не сомневались в том, что передадим ее следующим поколениям. Но история рассудила иначе» /стр. 74/.

Господи Боже мой! Какая же была у вас в руках эстафета "в начале сороковых годов"? Вы вдумались хоть однажды (напоминаю: 1961-1979) в суть и смысл этой эстафеты? Что имели вам передать комсомольцы 1920-х годов, у которых, в отличие от вас (в 1978 году – пятидесятилетних), ещё было право **не понимать, мечтать и верить?** Если бы ещё погибнуть тогда или на фронтах Великой Отечественной и не увидеть всего последующего, не успеть, не суметь разобраться по молодости... Но в 1961-79 годах можно ли без комментария говорить об эстафете, перенятой у спившегося Светлова?

"История рассудила иначе..." Что означает сей псевдоним – "история"? Где были мы, пока она судила? Кто её делал, историю, которая "рассудила"? И **когда** она "рассудила": тогда ли, когда отправила автора воспоминаний на службу в подразделение, условно именовавшееся ВОКС, или тогда, когда заставила его заговорить попеременно то о вине, то о неведении?

Копелев ездил в 1932 году на хлебозаготовки. В нём они хотя бы оставили неприятный осадок (скоро, впрочем, заболтанный злободневной риторикой). Орлова о коллективизации почти не помнит (она и не видела

ничего, кроме газет). Зато вплоть до конца 1970-х годов она ощущает "свежесть" в заезженных партийно-комсомольских штампах. Цитируется стандартно-патетическое выступление некоей Ани. Далее сказано:

«Если исследовать статистически газетный язык тех лет, словосочетания "самый(ая, ое) лучший(ая, ое) в мире", "впервые в истории человечества", "только в нашей стране", вероятно, окажутся среди наиболее частых. Но и сегодня, перечитывая эту речь, я вижу, что она тогда сказала об этом свежо, не штампованно. Это и личная одаренность и безусловная искренность. Кому из восемнадцатилетних чуждо стремление "бегать, рисовать, играть лучше всех, быстрее всех, красивее всех!"

Да разве только в юности? Ведь к 35-му году у нас были заслуженно первые места во многих областях человеческих знаний. Расширилась Вселенная. Одно за другим совершались открытия мирового значения.

Анина речь дышала не только субъективной искренностью. Ей удалось выразить время» /стр. 75/.

"Время", а не лживую его риторику?

Но продолжим цитату:

«Вскоре многих первооткрывателей арестовали. Н. Вавилова убили голодом, окружающих сломали, сами открытия затоптали. Чтобы десятилетия спустя либо открывать вновь, либо использовать зарубежный опыт.

Когда я прочитала в старой газете речь Ани и в 1963 году приступила к этой главе, мне сначала внутренне необходимо было перечеркнуть ее пафос. Перечеркнуть для себя, в себе, она была неотъемлемой частью меня прежней. А потом, прожив годы, почувствовать: нет, только перечеркнуть недостаточно. Пытаюсь проникнуть еще хоть на один слой глубже. В ту непостижимую или бесконечно сложно постижимую закономерность: время было не только тлетворное. Оно рождало и плоды.

Был в речи Ани М. так же, как в самом времени, отблеск зарева, отблеск веры: люди могут достичь многого, могут быть первыми. Могут – значит, должны.

В Колонном зале с трибуны была провозглашена наша общая уверенность – этим первым поколением счастливых и будем мы.

В конце ее выступления шли приветствия вождям – Бубнову, Кагановичу, Хрущеву, Булганину, "еще привет тому, который любимее всех, чье имя – синоним великих побед – родному Иосифу Виссарионовичу. Ему дружное, молодое, солнечное, радостное десятиклассное ура!" Тут овация.

...В зале было, вероятно, 10–15, пусть 50 человек, которые думали по-иному, позволяли себе думать по-иному, говорить с ближайшими друзьями, с родителями, читали ещё сохранявшуюся в иных до-

мах, до больших пожаров 37–38-го годов, иную литературу. Но настроение подавляющего большинства в этом зале, да и во многих местах за его пределами, Аня выразила.

Если бы на трибуну Колонного зала тогда, в 1935 году, вышел человек, осмелившийся говорить о голодающих, согнанных со своей земли крестьянах, о рабочих в промерзших бараках, вымирающих от эпидемий и непосильного труда, о концентрационных лагерях (ведь прошло уже восемь месяцев после убийства Кирова, а в Ленинграде и в других городах шли новые, очередные чистки), скажи этот человек о липовых процессах вредителей, об арестах агрономов, микробиологов, славистов, о гибели целых отраслей науки, где мы могли быть, уже становились действительно первыми, о разрушении церквей и арестах священников, о лживости пропаганды, – ему не поверили бы, его освистали бы, прокляли бы...

Его слова не убедили бы, даже если допустить невероятное – что ему удалось бы эти слова произнести» /стр. 75 – 77/.

Свидетельствую "за того парня": обыкновенные ребята не освистали бы, не прокляли бы и даже не донесли бы. Другое дело, что на собрание в Колонном зале были отобраны специально селекционированные и проинструктированные активисты. В КазГУ по моему "делу" нашлись лишь два доносчика, и то, запуганных и зашантажированных. В ИФЛИ учились (правда, позже Орловой) несколько моих чуть старших подруг. Они сомневались так же, как и я. Из главы в главу, как некий вводный фрагмент, повторяется один и тот же по смыслу рефрен: "...мы ничего не знали. И если бы нам сказали, не поверили бы". Да знали вы, знали: хватали людей и у вас под носом, из ваших домов, из ваших рядов (сами же и вспоминаете об этом). Вы утверждаете через сорок лет, что тогда

«Такого молодого правдолюбца на месте растоптали бы сами ребята. Не потребовалось бы никакого вмешательства "органов"» /стр. 77/.

Прикажете принимать это "на месте растоптали бы" как гиперболу? Как эмоциональное преувеличение? Или дословно? Не верю: это ретроспективное распространение своей и своих друзей малопочтенной позиции на "молчаливое большинство", которое романтикам и активистам справедливо не доверяло и с ними не откровенничало. Понимали всё до конца лишь немногие, но сомневалось и мучилось – большинство. Да Орлова и сама себя опровергает на каждом шагу:

«Март сорок девятого года. Утро. Внезапно пришли Гидаши. Это необычно: с утра они садились за письменные столы.

Шепотом:

– Арестован Старцев.

Я была аспиранткой ИМЛИ. В том же секторе, где раньше (до того, как я поступила в аспирантуру) работал американист Старцев.

- Будь очень осторожна, ни с кем не разговаривай, никому не доверяй. Время серьезное, тебе грозит опасность. Лучше куда-нибудь уехать, либо забиться в нору.

Куда же мне уезжать из дому? Да и не ощущала я непосредственной опасности» /стр. 87/.

Интересно, почему? Еврейка, гуманитарий, бывшая сотрудница ВОКСа, знакома со множеством репрессированных... Как не почувствовать опасно-сти на фоне вновь обострившегося террора (да и не прекращался он нико-гда)?

«В пятьдесят четвёртом году ко мне в руки попала первая самиздат-ская (слово вошло несколько позже) тетрадка – поэма Твардовского "Теркин на том свете". Многие сразу же запомнила наизусть, читала везде, и у Гидашей тоже.

У них вместо радости, с которой встречали эти стихи мои предшест-вующие слушатели, холодный душ. Агнеса олимпийски спокойная и олимпийски непогрешимая:

"Что тебе тут нравится? Кукиш в кармане. Интеллигентская фрон-да."

"Интеллигентская фронда" – это мы будем слышать на протяжении жении двух десятилетий. По разным поводам. От разных людей» /стр. 89/.

Естественно: вы и начали-то фрондировать лишь тогда, когда смертель-ная опасность для фрондеров отпала. И вы не пошли глубже фронды: не проверяли всерьез истоков своих воззрений, не отвергали строя и учения как таковых, а лишь – после XX и XXII съездов – "осудили сталинщину", ко-торая была уже осуждена "внутренней партией" – самим ЦК.

«Была в ИФЛИ ... девушка в кожаной куртке и красной косынке, тоже из прежней высокой номенклатуры – дочь наркома Ирина Гринь-ко.

...Тридцать седьмой год. Бывший нарком финансов Гринько среди обвиняемых на процессе "правотроцкистского блока". У нас митинг, как везде. Не решаюсь смотреть туда, где стоит Ирина, и не могу не смотреть. Так и осталось в памяти ее черное лицо.

Студенты и преподаватели ИФЛИ, как и все трудящиеся нашей страны, единогласно требуют расстрела подлых изменников. Я голо-совала вместе со всеми.

И она поднимает руку, и она за то, чтобы ее отца расстреляли» /стр. 91/.

А Вера Пирожкова, дочь профессора математики, известного в провин-циальном Пскове всем, в 1936 году, в седьмом классе, не подняла на классном собрании руку за расстрел очередных "врагов народа", людей, глубоко и сознательно ей чуждых (в её семье коммунистов не жаловали). Она была против смертной казни в принципе и себе не изменила. Рая

Ярославская (Харьков, 1938 год, восьмой класс) положила на стол комсомольский билет, когда у неё потребовали осуждения арестованных родителей. Правда, их выпустили – в бериевскую "форточку" 1939-го, и Раю в комсомоле восстановили. Вообще, в наших классах арестовали чуть не треть родителей, но отречения больше ни от кого не потребовали. Одну из наших подруг, оказавшуюся без обоих родителей, увезли в спецдетдом. Остальные остались в Харькове: кто – с матерями, кто – у родственников, кто – с бывшей няней. И мы продолжали с ними дружить. Но вернёмся к Раисе Орловой.

Как мало от себя и от своих друзей требуется, сколь многое себе и своим друзьям прощается!

В Венгрию Гидаша (дочь Бела Куна с мужем)

«поехали в первый раз ненадолго. Вернулись очень возбужденные. Агнеса не ожидала, что Гидашу это окажется так необходимо. Отца она любила. Об отце помнила. Но **дочерью Бела Куна** в то время можно было стать снова только в Венгрии» /стр. 94, выд. Орловой/.

Напомним: Бела Кун сгинул в "большом терроре". Вот что сказано о нём в знаменитом исследовании Р. Конквеста "Большой террор" (Edizioni Aurora, Firenze. 1974. Стр. 796 – 797):

«В своё время, в дни революции в Будапеште, Бела Кун развязал беспощадный террор. Позже, бежав к большевикам после поражения революции, Бела Кун получил руководящий пост в Крыму, только что отвоеванном у Врангеля. Здесь он проявил себя столь жестоким, что даже Ленин потребовал его снятия и объявления ему выговора. Бела Куна перевели в Коминтерн, и известно, что он несёт ответственность за провал коммунистических выступлений в Германии в 1921 году. Виктор Серж в своих мемуарах описывает Бела Куна как **"воплощение интеллектуального убожества, нерешительности и авторитарной коррупции"**» (выд. Орловой).

Зять его – Антал Гидаш – долго был в заключении; жена тоже пострадала в те годы. Реабилитация вернула их в ряды партийно-идеологической элиты общесовлагерного значения. Они возвратились в Венгрию, где не были больше тридцати лет, именно в этом качестве. Но – продолжим (в отрывках) рассказ Орловой:

«Наши друзья, навещавшие их в Венгрии, рассказывают об их одиночестве. Гидаша не считают там первым поэтом, как привыкли считать мы здесь. Есть и явные недоброжелатели, называющие их "агентами Москвы"».

Мы тем временем начинаем узнавать о Куне – совсем не то, что слышали в юности: о беспощадном реввоенсоветчике, который вместе с Землячкой залил кровью Крым, приказал расстрелять белых офицеров, добровольно сложивших оружие, когда он дал им слово, что им сохраняют жизнь. Мне рассказывали, что он продолжал свирепые рас-

правы и позже, когда приезжал в Крым. В частности, когда начались расстрелы заложников после убийства Кирова.

...Тогда и возникла мысль - Лева должен написать о Гидаше. У них - избирательное родство, это Левина внутренняя тема, лучше него никто не напишет.

С поразительной быстротой был заключен договор в издательстве "Советский писатель". Лева учил венгерский, чтобы услышать звучание подлинника. Гидаш часами рассказывал ему свою жизнь (кое-что из этих рассказов он сам потом опубликовал). В каждый их приезд Лева читает им написанные главы. Агнесе и герою нравится. Меньше нравится в издательстве. Там хотят "выпрямить" биографию, ареста словно и не было.

В 68-м году, когда Льва за письмо в защиту арестованных исключили из партии, уволили из института, все его работы, в том числе и рукопись о Гидаше, уже подписанную Главлитом, запретили, набор рассыпали.

Там были и хорошие куски: ранняя биография отца, само зарождение поэзии, некоторые размышления о стихах. Как бывает с авторами таких монографий, Лев влюбился в своего героя. Он "вчитал" в жизнь и в стихи Гидаша больше поэзии, больше доброты, больше щедрости. Тем самым невольно изменил масштаб, пропорции сместились.

В этой рукописи запечатлена и часть нашего общего прошлого. Тогда еще не до конца преодоленного (преодолимо ли оно до конца?). Думаю, что сегодня многое в рукописи о Гидаше перечитать не хотелось бы.

Во время этой работы, в 1965 - 1967 гг., мы по-новому сблизились» /стр. 93 - 94/.

А кто же они такие были, если не агенты Москвы? Выше сказано: "Отца она любила, об отце помнила". Более того: **"Она хотела оставаться дочерью Бела Куна"**. Это - ее забота. Но она, несомненно, узнала об отце всё то же, что и Копелевы. И уж никак не позже, чем они. И она упорно решила оставаться среди "подельников" отца - по его истинным, а не изобретенным в сталинской ЧК преступлениям, по "мокрым делам" доарестных лет. Среди порабитителей своей родины, в их платном идеологическом авангарде. Зачем же поддерживать с ними связь? И не только дружескую, частную, но и профессиональную.

Заметьте: это - не комсомольская юность, это 1965-67 годы. Уже вполне можно по-новому перечитать свои рукописи. Материала для этого накопилось достаточно. Но - не хотелось бы. Душевный комфорт, как всегда, дороже. Вполне по-советски, по партийной схеме, Лев Копелев "'вчитал' в жизнь и в стихи Гидаша больше поэзии, больше доброты, больше щедрости. Тем самым невольно изменил масштаб, пропорции сместились".

"Он 'вчитал' в жизнь..." (вместо "он **вписал** в жизнь своего героя...") - это замечательное словотворчество. Оно обозначает, что убедил в неправде

сначала себя самого, чтобы потом убедить читателя. Субъективно честная и красивая ложь, формула искреннего двоедушия. Естественно, что перечитывать не хотелось.

Более того: во время работы две супружеские пары "по-новому сблизились". Но – на старой основе, ибо Гидаши откровенно не намеревались меняться.

Отношения Копелевых с Гидашами в конце концов прекращаются. Но связанный с этими отношениями текст Орловой блистательно воспроизводит противостоющую логику и нравственный климат, господствовавший уже после всех знаменательных писем, съездов и реабилитаций в этом несколько психологически поврежденном кругу. Пожалуй, вплоть до того, как она, эта группа, по возрастным причинам стала сходить с авансцены.

У Копелевых не было ни официального статуса Гидашей, ни их славного прошлого. Додумывать до конца и им не хотелось, но всё-таки жизнь, биография Льва, его связи, дети, их окружение вводили обоих всё дальше от когда-то общей системы отсчёта. Им и Гидашам становилось всё более не по пути. Отсюда – сумятица, ниже цитируемая:

«Случались размолвки.

– Это правда, что ты писал и выступал в защиту Даниэля и Синявского? Лева, ты потрясающе наивен. Сидеешь, а все тот же мальчишка. Не пора ли, наконец, повзрослеть?

...Я уже и раньше не внимаю всему, сказанному Агнесой, безропотно, все чаще противостою открыто.

...Нам и раньше многие пытались "открыть глаза" на Гидашей. Зряшное это занятие. Связи с людьми, особенно тянущиеся с юности, нечто органическое. И то, что должно отмереть, – отмирает в свое, для каждого свое, время. Если доживешь. Решение приняли они.

...Разумеется, становилось все труднее встречаться и с нами, и с функционерами Союза писателей, ЦК комсомола и партии.

Они восторженно приняли "Крутой маршрут" Евгении Гинзбург и противопоставляли ее книгу произведениям Солженицына, которого не принимали совсем.

...Гидаши ушли из нашей жизни в 1975 году. После того, как в США была издана книга Льва "Хранить вечно".

Я спросила однажды у нашего общего с ними знакомого, почему они перестали нам писать, звонить.

– Отношения с вами их давно уже стесняли.

Книги и некоторые поступки Льва могли отдалить нас от многих знакомых и друзей, которые оставались, хотели оставаться в прежнем мире. Однако лишь очень немногие отдалялись, отделились. Поэтому уход Гидашей ударил.

Одно из писем Агнесы 1942 года заканчивалось словами: "Не забывай меня, Раечка!"

Много лет спустя она сказала мне:

- Твое стремление вспоминать все, связывать начала и концы, попытки найти связи, единства - это разрушительное стремление. В трагическом мире невозможна гармония и нельзя к ней стремиться.

Она снова оказалась права.

И сейчас, думая о ней, я пытаюсь "соединять начала и концы". Уйдя из моей жизни, она не ушла из моей памяти. И во мне временами просыпается боль, которую зовут Агнеса» /стр. 95 - 96/.

Несомненно, все эти сближения и разрывы для Раисы Орловой осложняют ее сердечное постоянство, верность старым привязанностям, боль отрыва от них. В конце концов, многие ли наши привязанности предопределяются ся тождеством взглядов? Родные, родственники, друзья, особенно - давние, связаны с нами бесчисленными иррациональными нитями, вросшими в плоть души. Это наша биографическая и душевная органика. Но есть границы, дальше которых идти невозможно. И у каждого эти границы - свои.

* * *

Итак, ВОКС - Всесоюзное Общество Культурных Связей (имелось в виду - с границей). В том, что ВОКС - это филиал Министерства Правды, полностью подконтрольный Министерству Любви, никто, по-моему, в мало-мальски эмансипированной среде не сомневался задолго до того, как в Самиздате возник Орвелл. Тогда (и всегда) говорили проще: "органы". ВОКС был подразделением и прикрытием "органов". У него было много сложных и тонких функций как в сфере идеологии, так и в смежных областях внедрения в мир. Орлова, проходя бесчисленные собеседования и заполняя бесчисленные анкеты, вроде бы и не подозревает (подозрение загнуто достаточно глубоко), что идет на работу в "органы" - в их международный канал влияния, действующий по линиям "культурных связей". Точно так же Копелев не подозревал, что стучит, беседуя по душам с заводским уполномоченным ГПУ и травя людей по его указке. Орлова так наивна, что и в 1970-х годах верит в открытость и искренность руководителя ВОКСа Кеменова. Она называет ВОКС **элитарным** государственным учреждением. Что, по её мнению, служило элитообразующими признаками при формировании подобного рода "элит"? По каким признакам отбиралась "элита" для ВОКСа?

Я полагаю, что элитными качествами, в данном случае, были: знание языков, начитанность в левоориентированном и левом пластах иностранной литературы, абсолютная политико-идеологическая лояльность и готовность в "международных контактах" по указке начальства **на всё**. Лояльность должна была оставаться безупречной при любых изменениях верховного курса ("колебаться вместе с линией партии").

Раиса Орлова и в 1970-х годах называет ВОКС "элитарным учреждением". И как об открытии пишет о том, что ВОКС оказался учреждением не общественным.

«Хотела быть, как все. А попала в элитарное заведение. Даже само название никому не понятно.

Всесоюзное? Да. Общество? Нет. Государственное учреждение, маскирующееся под общество, потому что подобные организации в других странах, действительно, общественные» /стр. 104, выд. Орловой/.

А разве что-либо в СССР не было государственным, как бы оно ни именовалось (общество, артель, колхоз)? Да ещё в такой деликатной сфере, как связи с антимиром? Ведомственная принадлежность ВОКСа не определялась разве одним уже количеством и качеством анкет, которые предлагалось заполнять поступающим на работу? Это после ифлийских гонений на детей расстрелянных коминтерновцев Орлова оставалась такой наивной? Почитайте дальше:

«**Культурной связи** с заграницей (выд. Орловой)? Отчасти.

Ведь "связь с заграницей" тогда - словосочетание зловещее. Из статей о бдительности, из стенограммы процессов. (Позже узнала, что из приговоров.) Но мы-то - дозволенная, официальная связь. Наша.

Пытаемся связать хороших людей здесь с хорошими людьми там. Помочь им понять друг друга.

...Мне довелось слышать в ВОКСе людей поистине замечательных. Слушательницей я оказалась плохой, запомнила мало. Но блистательные фейерверки ума и таланта Сергея Эйзенштейна - он постоянно приходил к нам за книгами - или Соломона Михоэлса не могли пройти уж совсем зря.

Задолго до того, как советские читатели прочитали роман "Падение Парижа", я в 1940 году в ВОКСе слушала Эренбурга. Он четыре часа рассказывал, и передо мной возникало победоносное вступление немцев во Францию, эвакуация (не впервые ли я тогда услышала это слово?!), убитые, раненные люди, недоенные коровы...

Но больше всего я получила от своих сверстников. Многие были подобно мне весьма невежественны, и мы сообща пытались ликвидировать культурную безграмотность.

Своих я не стеснялась. Мы отчаянно - как в институтские годы - спорили, хотели понять, нас часто уводило на ложные пути.

Мы вместе одно теряли, другое постигали.

Видимо, не случайно из ВОКСа вышло десятка полтора докторов наук, я говорю не об ученой степени, а о специалистах, о вкладе в науку. Не случайно и то, что среди самых близких друзей, с которыми я прожила жизнь, остались и воксовцы...

В ВОКСе я одновременно училась и разучивалась. **Разучивание было прежде всего нравственным.**

Посылаем за границу статью. Скажем, о литературе. Мы могли говорить между собой и с автором о чем угодно: хорошо или плохо написана, талантлива или бездарна, подходит ли для заграницы. Но

не помню случая, чтобы возник спор: правдива ли статья? Соответствует ли реальности?

...Мы реферировали поступающую в спецхран ВОКСа иностранную прессу. Составляли особые бюллетени. Хотели внести некую разумность в процедуру: к нам поступали бюллетени из других учреждений – из ТАСС, во время войны – из Совинформбюро. Мы многократно предлагали отменить дублирование, чтобы ВОКС – и только ВОКС – занимался культурной жизнью за рубежом. Но все это было тщетно: дублирование продолжалось. Я была в привилегированном положении – я читала, могла прочитать в иностранных книгах, статьях о том, что происходило у нас и в первые годы революции, и в 1930-м, и в 1937 – 1938-х, да и в то самое, военное время.

Еще до войны я стала читать подлинные тексты речей Лея – начальника Трудового фронта у Гитлера. Меня удивляло постоянное обращение к рабочим, к пролетариату, слово "товарищи", проклятия англо-американскому (и жидовскому) капиталу. Удивляло, но ни на мгновение не родилась мысль о сходстве.

Моя привилегия никак не реализовывалась. Я читала, но ум и душа ничего этого не воспринимали. Скорее – выталкивали» /стр. 104 – 106, выд. Д.Ш./.

Боже мой, Боже мой! Какая огромная, решительно недоступная просто-му смертному лавина информации! Какое обилие, разнообразие, богатство сведений! Нам, непосвящённым, занявшимся с юности перепроверкой, ре-визией вероучения, официального макета реальности в сопоставлении с истинной жизнью, приходилось десятилетиями отмывать от ядовитой "обманки" крупницы той информации, которая у Раисы Орловой лежала горой на столе. И при этом – такая невинность мысли! Такое непонимание своей истинной роли. Такое простодушие в смешении грешного с праведным!.. Ум и душа Раисы Орловой отторгают, отталкивают от себя (в 1970-х годах!) мысли о собственном "осознанном недомыслии". Точно так же она избавляла себя в 1940-х годах от понимания истинной роли ВОКСа, связавшего своих энтузиастов-сотрудников дружбой на всю жизнь (несмотря на их совместное "нравственное разучивание").

«Гасли последние отблески костров семнадцатого года. Большинство людей, как-либо воплощавших революционные порывы, были еще раньше уничтожены во время большого террора» /стр. 110/.

Любезные (все ещё) сердцу автора "костры семнадцатого года" в ту пору не гасли, а всюю разгорались. И даже теперь (1990-е гг.) их угли упрямо и зловеще тлеют и не хотят гаснуть. Но двинемся дальше. Шла война – менялась политика.

«ВОКС – среди других учреждений – был призван пропагандистски обслуживать этот процесс изменений. В 1943 году нам поручили написать докладную записку о том, как плохо работает журнал "Интер-

национальная литература". Записка подгонялась, как все подобные записки, – под заранее известный ответ. Кеменов, видимо, знал лишь часть этого ответа, он хотел, чтобы журнал передали ВОКСу.

Именно для этого необходимо было показать в "инстанциях", какие в ВОКСе умные, политически подкованные люди, насколько они лучше разбираются в обстановке, чем редакция журнала. И, прежде всего, конечно, он, Кеменов.

Много лет спустя, уже в "Иностранной литературе", когда по просьбе Чаковского писалась какая-либо очередная записка для ЦК, в ответ на мой недоуменный вопрос: "Александр Борисович, мы-то здесь при чем?", следовал ответ: "Раиса Давыдовна, надо показать, что мы знаем больше всех".

Кеменов никогда не сказал бы ничего подобного. Он должен был поступать только справедливо, выглядеть честным в чужих и в своих собственных глазах. Он всегда мог убедить нас: "Интернациональная литература" – плохой журнал, вы должны найти в статьях подтверждения, конкретные доводы". И мы находили. Причем все вместе перестарались. Журнал не передали ВОКСу, а закрыли совсем; нечего распространять иностранные идеи. А вновь открыли лишь двенадцать лет спустя, уже в 1955 году.

Необходимость не **связать** нас с другими странами, а **отделить** от них, отделить от зарубежной культуры – вот что продиктовало решение закрыть журнал "Интернациональная литература". Не исключаю, что в тот момент даже те, кто давали это задание, еще не понимали полностью его смысла.

Память бывает очень услужлива. Я ведь только теперь вспомнила о своей причастности к закрытию "Интерлита"» /стр. 110, выд. Орловой/.

О, память бывает невероятно, спасительно услужлива. Она обеспечивает порой своему хозяину поистине непробиваемую наивность (это о причинах закрытия журнала):

«Не исключаю, что в тот момент даже те, кто давали это задание, еще не понимали полностью его смысла».

"Они" готовились в те поры к такой атаке внутри страны, что даже сервильная "Интернационалка" могла стать щелью для проникновения с Запада нежелательных сведений.

"Они" действовали, как всегда, осознанно и с дальним прицелом. Безвыходно и окончательно брали в руки все внешние каналы – в обоих направлениях: "туда" и "обратно".

Да, человеческая память, повторим, "очень услужлива". Однако механизмы её избирательны: в одних случаях она упорно хранит всё то, что терзает её владельца, что вызывает угрызения совести, что надо бы для его собственного блага забыть. В других – она такие воспоминания и подсознательно, и полусознательно хоронит в своих глубинах. Есть люди, так

убедительно переигравшие в себе своё прошлое, что истиннобывшее из памяти стёрлось, а то, что профессионалы называют "легендой", стало органикой их памяти. Они уже, действительно, воспринимают свой личный миф как факт своей биографии.

Вспоминая о своей американской полуподруге (подопечной по ВОКСу), коммунистке, писательнице Лилиан Хеллман, Орлова сравнивает её со своим непосредственным начальником по общей поездке в прифронтовую зону:

«Казалось, не было никаких сомнений в том, что Хеллман мне в тысячу раз понятнее, ближе, роднее, чем этот дурак, хам и трус.

Но мы жили за прочным железным занавесом. Отсюда следовало: по отношению к тому – другому миру – все дозволено. Здесь переставали действовать простые нравственные законы, здесь можно было солгать, украсть, не стыдно было шпионить – "благородный разведчик". Ведь всех иностранцев к нам засылают, ведь все они шпионы, значит – и мы можем и должны поступать так же по отношению к ним.

Настойчиво вбиваемые и очень прочно вбитые догмы и непосредственный опыт, бывало, расходились.

В те годы даже и такой, как этот майор, был "нашим", а она – иностранкой.

Находила я и подтверждение тому, что она "не своя". Она сказала как-то: "Я начну слушать о победах социализма, когда вы на всех аэродромах от Владивостока до Москвы построите такие уборные, от которых не будет тошнить". Я ответила ей очень резко – и про наших убитых, пролитую кровь, и про то, что мы их, американцев, защищаем. И вообще, можно ли социализм мерить такими низменными мерками!

Ее пьесы мне внутренне близки, важны. Ее мемуары – блистательная проза» /стр. 113/.

Но – "не своя", потому что "оттуда". Может вынести сор из избы, а это – упаси Бог. Орлова очень уместно цитирует (правда, чуть раньше) известную эпиграмму вскоре сгинувшего (а уж как был верен) Михаила Кольцова:

«Стоит Фейхтвангер у дверей
С ужасно умным видом,
И я боюсь, чтоб сей еврей
Не оказался Жидом» /стр. 67 – 68/.

С иностранцами, даже с социально-близкими, следовало быть осмотрительной. Но их всё-таки признавали высшими приматами:

«Те, кто лишь промелькнул тогда через мою жизнь, как Эдгар Сноу, Анна Луиза Стронг или посол Гарриман, и тем более те, кто оставил явный, длящийся след, как Лилиан Хеллман, – все они

свидетельствовали: иностранцы – люди. Пусть не похожие на нас /? – Д.Ш./, но люди» /стр. 113/.

Какой оригинальный и смелый вывод! Но об эмиграции и так тогда не сказалось бы. Эти – в пору работы в ВОКСе – были вообще нелюди, нежить.

Р. Орлова пишет всё о том же ВОКСе (как тут не вспомнить булгаковскую осетрину "второй свежести"):

«Во всем этом и многом другом было сочетание истинного и ложного. С сильным преобладанием ложного. Что это преимущественно мнимость – я ощутила там и тогда (этим, кстати, на всю жизнь была сделана сильная прививка против тщеславия). Но считала мнимость особенностью этого учреждения. Прошло много лет, прежде чем мне стало ясно, что мнимость – характерная черта чиновничества и чиновничьего государства. Для этого понимания потребовался опыт десятилетия, XX съезд, для этого же надо было прочитать Джиласа и Кафку» /стр. 115/.

Во-первых, не понимаю, при чём тут тщеславие. Во-вторых, не "чиновничье", а **тоталитарного** государства. Разница – принципиальная и огромная. Следом Орлова прочла и Орвелла. Но ведь и Кафка, и Орвелл не о "чиновничьем государстве" пишут (один – провидя, другой – увидев). Эта реплика звучит так, словно не Орлова, а Кафка жил в СССР, служил в ВОКСе, пережил 1930-е – 40-е годы, с достаточно лёгкой душой принимал жестокость и лицемерие и сумел Орловой о них поведать. Нас Орвелл и Кафка поразили точностью воспроизведения того, что **мы знали**, концентрированным ужасом узнавания **знакомой картины**. И не "мнимость" была страшной сущностью этого государства, а его тотальный, всепроникающий, довлеющий всему бесчеловечный **гнёт**. Убийственная **свирепость под масками** (не отсюда ли "мнимость?") **свободы, законности, справедливости, великой идеи** и т. п. Маски в конкретных воплощениях "государства нового типа" варьировались. Повторяю и подчёркиваю: в книгах Кафки и Орвелла мы **узнали свои** гениально воссозданные житейские ощущения и впечатления. А Орловой они "открыли глаза". ВОКСа ей оказалось для этого недостаточно, хотя эта контора была вполне кафкианским учреждением, типичным департаментом орвелловского "ангсоца". Джилас же виделся нам в 1960-х годах уже поверхностным.

Как стыдливо Орлова заменяет определение "партократ" (у Орвелла – член "внутренней партии") эфемизмом "чиновник". Новая история не видела "чиновников" с такой большой (по сравнению с получаемой на "общих работах") придурочьей пайкой и одновременно со столь призрачным (тоже – чисто придурочьим, лагерным) благополучием. Впрочем, даже не благополучием, а существованием. Каждый следующий момент мог оборвать это существование. Мог обрушиться на любого из них, как бы он ни был высокопоставлен и верен, не только опалу, не только смерть, но и трудно представимые муки. И они о том знают, ибо сами причиняют эти муки другим

или их в тайном ужасе наблюдают. И Орлова **знает**, как это было, но не может отказаться от вьевшейся в мозг словесной игры. "Чиновники..." Чуть хуже, чуть лучше, чем у других, но тоже - "чиновники..." ВОКС ел из той же придурочьей лагерной кормушки, молчал тем же молчанием, лгал той же ложью, жил тем же страхом и той же надеждой, что и все сталинские "чиновники": авось пронесёт. Пишет же Орлова (сразу после ностальгического экскурса в бескорыстное прошлое):

«...нас подкупали. Привязывали одеждой, едой. Подкуп требовал глубочайшей тайны. И ранговости. Подкупали по-разному. Кого больше, кого меньше. По чинам.

...Перед моим отъездом в Москву уже в апреле 42-го года прикрепили нас к самой закрытой правительственной столовой. Там были две половины - "черная" и "белая". Со скатертями и без. Но и на столе без скатерти нам полагался необычайный в те времена обед. Обильный, вкусный. Потом эти обеды разрешили брать домой.

...Перед входом в столовую трусливо оглядываюсь. В руках у меня "улика" - судки. Кое-кто из местных жителей явно знает - за этой дверью без вывески что-то дают. Нестерпимо стыдно. Вхожу.

Мне наливают три кастрюльки, отщипываю еще там кусочек хлеба и радуюсь, предвкушая радость своей семьи: Светка захлопает в ладошки. Маленький брат, мама, подруга, живущая с нами, - все мы будем сыты.

Выхожу уже не оглядываясь - скорее бы донести, не поскользнуться, не расплескаться...

Чиновников полагалось кормить за счет огромной голодающей страны» /стр. 116/.

В эвакуации моя мама работала управделами и стенографисткой в большой конторе. Чиновница и даже не совсем рядовая. Нас досыта всё-таки не кормили. Как упорно Орлова не понимает, что такое ВОКС. Даже после того, как её оттуда изгнали "по собственному желанию"... И ещё четверть века спустя.

Очень занимательна в своей наивности изложенная Орловой своеобразная табель о рангах - шкала допустимой и чрезмерной низости. К примеру: до какой формы и степени доносительства допустимо дойти, не потеряв самоуважения, а до какой уже невозможно. Придётся процитировать длинную выдержку (скучно не будет):

«Я уважала власти и боялась их. Над моим страхом перед управделами и милиционерами часто посмеивались близкие. Но тогда, в те годы, я боялась прежде всего верховных властей; это был трепет перед чудом, тайной, авторитетом. Пришлось столкнуться с самым таинственным и самым страшным отделением. Вызвали в НКВД. После открытия очередной воксовской выставки в конце 1943 года мне позвонили, предложили прийти в гостиницу "Москва", номер такой-то.

К тому времени мы уже прекрасно научились "их" отличать, как понятие родовое, типологическое, "они" бывали везде, где бывали иностранцы. Называли "их" – "соседи", по отношению к Наркоминделу – тогда они были соседи по площади Дзержинского. ...От меня хотели, чтобы я "сотрудничала". Но ведь я и так сотрудничала. Мы знали, что копия каждой записанной нами беседы с иностранцами отправлялась в НКВД.

– Нет, этого недостаточно.

После долгого разговора, полного недомолвок, выяснилось – они хотели, чтобы я сообщала им о поведении других сотрудников ВОКСа.

Тогда мне это предложение казалось менее чудовищным, чем теперь, когда я об этом пишу. Но и тогда мутило.

Все мы называли друг друга по имени, многие учились вместе, да и по обстановке это было как бы продолжением ИФЛИ. Вместе жили в войну, вместе уехали в эвакуацию, спали в одном тюфяке, делились хлебом. И вот о своих милых, родных я должна сообщать этим незрочно-одинаковым, которые для меня – никто. Сообщать в письменном виде и подписывать любым женским именем, кроме своего. "Какое имя вам больше всего нравится?" – "Мария", – ответила я /стр. 118 – 119; выд. Орловой, жирным выд. Д.Ш./.

Подробности опускаю: их много, и они слишком (как бы выразиться помягче?) уклончивы. Почему-то Орловой кажется, что на протяжении довольно долгого времени ей удавалось увёртываться от доносившего. По видимому, от ложного, ибо сообщения, имеющие под собой основания, она доносами не считала бы.

«Эту страницу жизни вспоминать не хочется. Как и следующую.

Снова, снова вызовы – толку от меня явно не было. Начались угрозы. Хотя я давала подписку о "неразглашении", но я не выдержала и рассказала все Кеменову. От него я впервые услышала слова Ленина: если Чека становится над партией, то превращается в охранку. Подробностей разговора не помню, хотя он мне помог тогда. Помог убедиться в правоте инстинкта.

Но догмы, ложные идеи подавляли инстинкт /стр. 119/.

Остаётся спросить: до какой степени подавляли? Кеменов "помог убедиться в правоте инстинкта". А кто помог выпутаться из истории с подпиской? Как долго Раиса пробыла "Марией"? И причём тут "права инстинкта"? Спасение своей кожи за счёт чужой жизни – куда более древний инстинкт, чем отвращение к подлости.

Прямо-таки умилительна – в таком контексте (в обоснование отказа (ли?) служить ЧК) ссылка на Ленина, её создателя и заступника от вражьих "клевет". И, наконец, – самый недоуменный вопрос: почему привлечение к углублённой форме её же работы по ВОКСу ("рапортов" на самых любезных сердцу гостей) для Раисы Орловой такая уж неожиданность? Сама же пишет: "Но ведь я и так сотрудничала". Почему рутинные, но

регулярные "рапорта" представляются более достойным делом, чем доверительные беседы с работодателями? Просят об услугах не совсем стандартных, значит - доверяют, хотят приблизить, только и всего.

"Подробностей разговора не помню, хотя он мне помог тогда". Кто "он" - разговор или Кеменов? Что победило на этот раз - "инстинкт" (какой?) или "ложные догмы"?

"Молчание, молчание..."

Далее следует признание в прилюдном предательстве (сообщение с трибуны об откровенном разговоре с коллегой), на фоне которого расчёт "органов" на помощь "Марии" вовсе не выглядит одиозным. А на кого же Чекке рассчитывать, если не на таких энтузиастов? Вчитайтесь: какое - опять же (в который раз?) - переплетение покаяния и самоизвинения, какая "достоевщина" (так, кажется, это тогда называлось?)! И всё-таки всё себе прощено: нас так воспитывали, нам это внушали... Итак:

«В моем отделе работал Юрий К. Я еще раньше знала его по ИФЛИ. Мне он казался умным, циничным и беспринципным. Он подал заявление в партию. Я была против, потому что считала его плохим человеком. *

Шло партийное бюро. Рекомендовали К. Лидия Кислова и Александра Зимина. Отношения и с той и с другой у меня были натянутые. Я выступала против приема К. Остальные были "за", меня не подержали. И тогда я рассказала содержание личного разговора, который был у нас с ним за несколько месяцев до бюро. Разговор был путанный, длинный, о политике, обо всем на свете. Он мне сказал: "Если бы тебе в ЦК велели вешать детей, ты бы проплакала всю ночь, а утром стала бы выполнять приказ". Фраза крамольная: каждый коммунист обязан был выполнять любые указания ЦК, в том числе выселять, сажать, да и убивать. Но говорить об этом, называть подобные указания было нельзя. За это надо было исключать из партии.

Дело дошло до КПК - Комиссии партийного контроля. Во все инстанции вызывали и меня. (Прошло много лет, прежде, чем я поняла, что этот отзыв был в их глазах **положительным** - выд. Орловой).

Ю. К. исключили из кандидатов партии, выгнали из ВОКСа. Потом я долго не знала, что с ним. Не думала о нём. Вероятно, он автоматически вошел в категорию "чужой".

...Да, я его не любила. Была очень против него настроена лично (не за себя, за мою тогдашнюю подругу). Единение "личного" и "общего"? Нет, как объяснение недостаточно.

Случайность? Сболтнула, а дальше понесло? Быть может.

И глубокая личная обида от того самого разговора, тем более острая, что неосознанная; как было согласиться с тем, что я могу по

^с А в партии состояли только хорошие люди.. Как тут не вспомнить бессмертного Высоцкого "Тимофей казался жадным, умным, хитрым, плотоядным..." - Д Ш

приказу убивать детей? И что такой приказ может исходить от моей партии?

...Если б сегодня могла сказать: "заставили". Нет, никто не заставлял... Трудно объяснить свои поступки. Труднее, когда от поступка до объяснения прошли десятилетия.

Объективно это была подлость, решительно ничем не оправданная. С этим сознанием и жить. До конца.

Я уже писала, как три года спустя, когда А.К. исключили из партии - тоже на КПК, - я отнеслась к этому совершенно иначе. Горячо сочувствовала, хотела как можно больше быть с ним, всем, чем можно, помогать.

Разный счёт. Разные мерки отношения к людям» /стр. 119 - 120/.

Вслушайтесь: "...что я могу убивать детей? И что такой приказ может исходить от моей партии?"

Как мы теперь знаем (а я узнала в 1940-х годах, т.е. задолго до наших дней), от Раиной партии такие приказы исходили: от убийства отъемом последнего зёрнышка хлеба при "раскулачивании" до законов, позволявших расстреливать двенадцатилетних. * Юрий К. имел все основания сказать ей то, что сказал. Но он думал о ней, очевидно, лучше, чем она тогда того заслуживала. Я думаю (я **надеюсь**), что К. гиперболизировал фанатизм собеседницы вполне сознательно: чтобы потрясти и тем заставить очнуться. Я надеюсь, что детей Раиса Орлова не расстреливала бы. Не сумела бы себя заставить. Даже по приказу партии. Но - донесла. Поступила, по мнению КПК, "**положительно**".

"Объективно это была подлость, ничем не оправданная." **А субъективно?**

"Да, я его не любила. Была очень против него настроена (не за себя, за мою тогдашнюю подругу)." Значит, даже не извращение идейной непримиримости, а личные счёты?

"Случайность? Сболтнула лишнего, а дальше понесло?" Понесло... по инстанциям. Ведь не раз это после того повторила и подписала? А если бы его посадили? И если бы он умер в лагере? Тогда и не за такое сажали. То же прозвучала бы эта зловеющая хлестаковщина - "сболтнула лишнего"? Впрочем, он ведь вошел в категорию "чужой". Какая разница, что делают с "чужими"?

«Вся атмосфера в ВОКСе была в нравственном отношении весьма нигилистической. Нравственность-то неделима. И если можно себя уговорить написать статью о том, как хорош новый закон о браке, то можно и осудить и исторгнуть человека, который только что был в твоей среде» /стр. 121/.

Михаил Тухачевский при подавлении Тамбовского народного восстания приказал расстреливать мальчиков, помогавших отцам, с девяти лет

Во-первых, абстрактно польстить дурному закону и сделать донос на конкретного человека – это всё-таки не одно и то же.

Во-вторых, и тут все формулировки сглажены и одвусмысленны: что означает здесь "осудить и исторгнуть"? Речь идёт о таких годах, когда "осудить и исторгнуть" с трибуны или в одном из многочисленных кабинетов, куда Орлову потом по этому делу приглашали, легче лёгкого превращалось в "исторгнуть из жизни". На годы, а то и в самом прямом расстрельном смысле.

«Вероятно, и в этом общем безразличии к нравственности – путь к ответу на вопрос: почему никто из окружающих меня людей не осудил мой поступок так, как он того заслуживал» /там же/.

Ручаюсь, что очень многие осудили, но промолчали. Потому что боялись. Почему же ещё? Посмели бы они осудить вслух. А чем обернулась откровенность с Раисой Орловой наедине, все уже знали.

Орлова утешается тем, что не она одна вела себя в те времена предательски:

«Более того, во время очередного вызова и страшного крика: "Саботируете! Отказываетесь!" – я рассказала эту историю.

"Давно без вас знаем; есть люди сознательнее вас".

«Не смотря на подлый поступок, в глазах "тех" я была чужой» /там же/.

Значит, всё-таки "Мария" "кликуху" свою время от времени отработывала.

В 1948 году "они" вспомнили о том, о чём Раиса Орлова так старалась забыть.

«В 1948 году вызвали на Лубянку. Поздно вечером. Держали ночь. Допрашивали трое по очереди. По их требованию подписала протокол допроса.

– Как вы, советский человек, да ещё член партии, посмели принять подарок от иностранки?

Хеллман подарила мне браслет, это было в машине, с нами сидел Кондрашев, занимавшийся протокольными делами, и прислала посылку уже из Америки. Эта посылка пришла диппочтой, получила её официально.

Разговор о подарке был явно предлогом. Все время настойчиво повторялся один и тот же вопрос: "Почему отказались сотрудничать с органами НКВД?"

Так и было написано в протоколе.

На меня орали, топтали ногами, меня всячески унижали. Было и такое: "Отец, небось, еврейскую лавочку держал?"

А я их боялась» /там же/.

Непонятно, когда и в чём "отказалась сотрудничать"? А не церемонились они потому, что наступил уже 1948 год, грозное начало большого еврейского ("космополитического") погрома.

"А я их боялась..." Их все боялись. Но некоторые боялись бесчестия больше.

Я хочу быть понятой правильно: не то удивительно, что Орлова пугалась и сдавалась. У многих ли хватало нравственного чутья, мужества, зрелости, бесстрашия перед болью, безглаголивости, наконец, чтобы устоять? "Они" для многих и многих находили его клетку с крысами ("1984", Орвелл). И не нам, испытавшим нечто подобное, судить сдавшихся: человек не создан для таких перегрузок. Дело в том, что и сейчас, в этой исповеди, которую никто не вынуждал писать (душа потребовала), Орлова всё время ищет лазейки, чтобы себя оправдать. На худой конец, - чтобы смягчить вину. Временами она спохватывается, и тогда звучит (очередное) "mea culpa". Но стоит ей вспомнить что-нибудь очень уж тяжкое, и снова возникает знакомый рефрен: "...тогда мы не знали."

Чего - не знали? Непрощаемости Иудина греха? Возможно, не знали.

Теперь - знаем. Значит, если уж не молчим, стыдясь, то следует отказаться от недостойных уловок и осудить себя без скидок на обстоятельства.

«Когда я прочитала в 1968 году в "Нью-Йорк Таймсе" запись разговора П. Литвинова со следователем, я не только восхитилась смелостью Павла Литвинова. Я поняла, что пришло новое поколение людей, которые не боятся их, которые всему миру - и нам прежде всего - показывают, что КГБ - обыкновенное советское учреждение. Разрушены и чудо, и тайна, и авторитет. Да, пожалуй, тут дело не в поколениях. Письмо Петра Григоренко не менее смело, и не в меньшей мере разрушает страх. А я их боялась» /стр. 121 - 122, выд. Орловой/.

Ну, никак не сопрягается с КГБ слово "чудо"! И в поколениях ли здесь дело? Петро Григоренко был старше Орловой, Солженицын - ровесник. Белинков - моложе. Ведь на самом деле сопротивление не возникло с "оттепелью". О нём **услышали** после "оттепели" - те, кто пока мог, - не слышал. Кроме того, КГБ (эта фирма в разные советские времена называлась по-разному) - совсем не "обыкновенное советское учреждение", а очень страшное, inferнально страшное. Даже и в постсталинские времена оно оставалось нечеловечески жутким. В сталинские - тоже. Страх перед ним - естественен. Меня от этого страха освободили только австрийские пограничники (мы ехали через Вену), а потом - израильские. "Они" мне до сих пор сняты в разнообразнейших кошмарах. И я кричу и хриплю, и муж меня будит. Но наяву я научилась страх подавлять. Ещё в своём советском прошлом. Помини песенку Юлия Кима про морской рыболовный сейнер? Один из её вариантов, наш любимый, звучал приблизительно так:

"Если ты смелый,
Ходи и дело делай,

А акулу позабуди.
А если ты не смелый,
То тоже делай дело,
И так быстрее кончишь путь..."

Было и такое "разночтение": "А если ты не смелый, молись, чтоб был ты целый", но своё дело продолжай исполнять. Ну, а если ты очень уж не-смелый, то не берись за опасную работу (это уже не Ким, это я). Только не надо набиваться в "прилипалы" (крутится такая рыбка возле акул), кормиться акулиными объедками, а потом маяться совестью, как животом. Тем более, что "органы" заглатывали и "прилипал", чаще - вместе с не угодившими им акулами, иногда - отдельно. Может быть, если бы Орлову постигла судьба бесчисленных туземцев Архипелага, она обрела бы мужество? Если бы выжила... Одни и там выстояли, другие - сдались, большинство погибло.

* * *

Очень долго - до трети книги - почти не возникает в ней еврейская тема. Но вот фраза о втором муже, русском:

«Мы сравнительно редко спорили на политические темы. Он был последовательнее меня и потому позволял себе резко критиковать наши недостатки. Ему никогда не надо было доказывать, что он не чужой, что он свой» /стр. 128/.

А потом - крик в МГБ: "Отец, небось, еврейскую лавочку держал?"

Ей надо было доказывать, что она - своя. Это основание для гиперсоветскости, гиперпатриотизма, гиперлояльности.

И вдруг, после искренних, доверительных, увлекающих читателя биографических страниц - признание, меня удивившее, как пощёчина:

«С детства я ненавидела хилое, трусливое, то, что я считала еврейским. Это надо из себя выдавить, вытравить без остатка» /стр. 144/.

Господи, да ведь Орлова уже с пелёнок интернационалистка! Как же интернационалист может приписывать какой-то нации, избирательно, столь жалкие и мерзкие качества? Да у неё же половина (если не больше) друзей - евреи. А её боги - большевики, революционеры? Сколько среди них, к несчастью, евреев? А её первый муж, погибший на фронте? Третьего, тоже не робкого десятка, тогда ещё не знала, но теперь, казалось бы, можно откомментировать тогдашний свой бред? А великое множество её литературных кумиров-евреев, советских и западных? Все - "хилые", все - трусы?

Если даже это лишь детский предрассудок, всё равно - мерзко. Но вот более позднее признание, рассказ скорей о другом человеке, чем о себе. Речь идёт о литературном критике и литературоведе Б.И. Розенцвейге и о "Дневнике Анны Франк":

«Когда журнал* возник, во всем мире гремел "Дневник Анны Франк". Розенцвейг сначала считал (или нас уверял, что считал) эту книгу просто подделкой, Именно он, что было совсем не трудно, не допустил даже упоминания о "Дневнике".

...В том споре Б.И. всё время повторял, что ему отвратительно видеть евреев только как униженных жертв, которые ждут - с покорностью кролика ждут - прихода эсэсовцев. Аргументация была серьёзной.** Надо признаться, что на фильме "Дневник Анны Франк" я испытала нечто подобное. Но сути дела это не меняет. У Розенцвейга была паническая боязнь всего, связанного с еврейской темой, боязнь и даже отвращение. Только, не дай Бог, не подумали бы, что он предлагает или отстаивает какую-либо книгу потому, что там - про евреев.

Объективно это привело к самому обыкновенному, отвратительному, специфически **нашему** антисемитизму. Как долго, мучительно, с возвращениями вспять мне самой пришлось отделяться от того же самого; нет-нет, да и возникают рецидивы. И не мне одной /стр. 233, выд. Д.Ш./.

Да, к сожалению, не вам одной. Но чьему - "нашему"? Советскому? Еврейскому? Я евреев-антисемитов (и до приезда в Израиль, и здесь, в среде иммигрантов) встречала очень редко, но всё же встречала. Чаше это были всё-таки антисиионисты, антиизраильяне, а не юдофобы.

Разумеется, история и культура своего народа - за семью печатями. Разумеется, на сионистов наложено пропагандой клеймо реакционности, буржуазного национализма, агрессивности - так им вбили в их легковверные головы. Но простое чувство сродства и семейной среды - как оно могло позволить воспринять душой этот постыднейший предрассудок? Почему, объясните мне, интернационалисты-евреи Розенцвейг, Копелев и Орлова растрясали в себе неприязнь к роду? А может быть, всё-таки неизбывный страх перед давящей силой, перед численным превосходством и тёмной злобой порождает в них эти их комплексы?

Евреям редко удаётся надёжно спрятаться от еврейской судьбы. Я говорю не об израильянах: они в осаде, они сражаются, но комплексов Галута (рассеяния) у них нет. Орлова же пишет о последних годах сталинщины:

«Как-то недавно мне надо было просмотреть "Литгазету" за 1949 год. Невозможно теперь понять, как же это я читала? Как же я этому верила? Ведь все - подбор авторов погромных статей, стиль, лексика, не говоря уже о содержании, - всё свидетельствовало о грязи, лжи, отвратительной комедии.*** Верила - пусть с оговорками, со

* "Иностранная литература" - Д Ш

** Интересно а кто из вас не ждал "с покорностью кролика" прихода МГБ? - Д Ш

*** Почему "комедии", если шел погром? - Д Ш

многими частными несогласиями; может быть, если бы я тогда пыталась обобщить эти частные разногласия, получилось бы другое.

...Я была аспиранткой ИМЛИ. И в самом начале этой кампании я не просто пассивно голосовала "за", я выступила в поддержку этой мерзости.

Одно отступление: работая в ВОКСе, мне не раз приходилось сталкиваться с невыдуманным низкопоклонством перед границей, которое внушало мне отвращение» /стр. 162 - 163/.

Не "отступление", а снова - жалкое самооправдание. Какое там "низкопоклонство"? Случайное доброе слово о "границе"? Но продолжим, ибо нас ждут признания самые одиозные:

«То, что я говорила о национализме, это я чувствовала и до собрания, и много после. Я не только не ощущала себя еврейкой, но пока это было еще возможно, называла себя антисемиткой, и с основанием (!!! - Д. Ш.).

Если бы мы жили в нормальном обществе, которого пока не существует на земле, вероятно, на мне бы и закончился полностью процесс ассимиляции.

Живу в России, родной язык, культура, литература - русские. * И многие культуры мира - французская, американская, итальянская, немецкая - мне несравненно ближе, роднее, чем неизвестная мне еврейская. Голоса крови я не ощущала никогда. И мне одинаково невыносимы, ненавистны были и печи Освенцима, убийство в Бабьем Яру, и Катынь, и Лидице, и Орадур. Издевательства гитлеровцев над украинцами и поляками, французами и русскими.

С тех пор, как были написаны эти страницы, в СССР выросло поколение людей, ощущающих себя евреями. Возникла третья эмиграция - имею в виду не тех, кто хочет уехать **отсюда**, а "репатриантов", тех, кто хотел или продолжает хотеть, испытывая огромные трудности, вплоть до лагерей, **туда**, в Израиль. Их много.

Эти новые евреи презируют, ненавидят таких, как я, ничуть не меньше, чем нас ненавидят антисемиты (значительно, впрочем усилившиеся по сравнению с 1961 годом). Но я продолжаю считать себя русской, пусть и непризнанной так же, как тогда» /стр. 164, выд. Орловой; жирным шрифтом - выд. Д. Ш./.

Итак, "я не только пассивно голосовала 'за', я выступила в поддержку этой мерзости". Кулаком - в грудь. Но тут же и самооправдание: "низкопоклонство перед Западом внушало отвращение..." Штамп тех лет, омерзительно лживый, видно, не режет слуха. Где языковое чутьё? Как можно использовать в 1960-х - 70-х годах этот фантомный ярлык?

[^] Ои ли? А не советские? Что вы знали о русской культуре как, впрочем, и о мировой? То, что просеивалось сквозь советский фильтр? - Д Ш

Трудно комментировать эти метания. Скажу лишь о том, что затрагивает меня как наиболее ранящая нота во множестве чуждых. Мне и тем, кого я считаю своими друзьями, чужда мысль, что избравшие Израиль вправе осуждать едущих в другие страны или предпочитающих оставаться там, где они родились. Я понимаю и чувствующих себя русскими, украинцами, казахами, узбеками и т.д. Дело не в самоидентификации: человек в ней свободен. Никакого подобия ненависти сионисты (если они нормальные люди) к евреям и неевреям других стран не испытывают.

Но что Орловой известно (не из риторики ВОКСа) о сионистской идее? Сионизм сводится всего-навсего к одному выводу из долгой и горькой истории: евреям необходимо иметь убежище в мире, столь им (**именно им, а не "украинцам и полякам, французам и русским"** – см. выше) враждебном. В мире, где даже **еврейка по отцу и по матери** причисляет себя не к чуждым, не к равнодушным, а к **антисемитам**.

Русская? Оставайся русской. Живи там, куда тянет или где вынуждают жить важные для тебя обстоятельства. Ни одному русскому человеку (по генетике, по ощущению ли, глубинному, сущностному, как у Герцена, несмотря на то, что он полунемец) не придёт в голову оправдывать своё нежелание ехать в Израиль или в Гонолулу. Что велит Орловой обвинять едущих в Израиль евреев огулом в нетерпимости и ксенофобии? Да скажите вы первому встречному израильтянину (**не новоприбывшему, эти – ещё советские люди**), что ваши знакомые, евреи из любой страны, не хотят ехать в Израиль, и он удивлённо ответит вопросом: "Аз ма?" "Ну и что? Это их проблема".

Интернационалистка? Пожалуйста, оставайся интернационалисткой, если тебе известно, что это значит в мире, разделённом на нации и государства. Что-то вроде свободного электрона? Есть на земле и такие люди – сблизайся с ними. Но зачем говорить так много о том, чего не знаешь и, главное, о чём не хочешь знать правды?

«Я не только не ощущала себя еврейкой, но пока это было ещё возможно, называла себя антисемиткой, и с основанием» /стр. 164/.

Фраза, куда более страшная, чем откровения какого-нибудь Осташвили, Баркашова, Васильева etc, ибо в ней, кроме признания в расизме, наличествует ещё и ренегатство. Разве в **нормальном человеке** свободно избранная или биографически предопределённая ассимиляция в другом народе синонимична неприязни к народу предков? **За что – неприязнь?**

«И многие культуры мира – французская, американская, итальянская, немецкая – мне несравненно ближе, роднее, чем неизвестная мне еврейская. Голоса крови я не ощущала никогда» /там же/.

Да ведь он орёт в этом самоотречении – не столько "голос крови", сколько страх отлучения **от большинства**. Орёт, не имея ничего общего ни с какой культурой. Какое вообще отношение имеет к той или иной культуре "голос крови"? Связи через генетику чрезвычайно сложны и опосредованы.

О них вообще слишком мало науке известно. Человек может быть вполне комфортно ассимилирован в культуре народа, генетически ему чужого. Но в данном случае присутствует панический дискомфорт. И отсюда – "интернационалистские" декларации, которые в чём-то сродни классическому анекдоту: "Не бейте меня: я не еврей. У меня просто интеллигентное лицо." В случаях Копелева и Орловой трудно понять, чего в них больше: обиды, что выталкивает выбранная человеком среда, или досады, что не забывается и саднит среда исходная?

Итак, с антисемитизмом "сверху" Орлова столкнулась в своих работодателях; с антисемитизмом на собственном иерархическом уровне – в себе самой. А как же с антисемитизмом в массах?

«С антисемитизмом снизу я столкнулась впервые в очереди за мукой. Подвыпивший здоровенный детина полез вперед, мы начали его останавливать, и я услышала "жидовская морда". Не раздумывая, я дала ему пощечину, меня чуть не отвели в милицию.

Испытала я и другое. В Куйбышеве в магазинах не было молока. На рынке очередь с 5 часов утра и по 30-40 рублей литр. У меня трехлетняя Светка, ей нужно молоко. Как-то молочница пришла около семи, все уже закончилось. И здесь появилась толстенная женщина, румяная, по акценту ясно, что еврейка, полезла без очереди с криком "дайте мне раньше, я заплачу вам больше". Я подбежала к ней, тихо, но очень отчетливо сказала: "Сейчас же убирайся, не то я тебя убую"... Она немедленно скрылась.

...Видимо я тогда устыдилась, ощутив, что между той торговкой и мной существует некая связь.*

...На партийном собрании в ИМЛПИ в 1949 году я приводила слова Ленина о том, что коммунист бывшей угнетающей нации обязан бороться прежде всего против великодержавного шовинизма, а коммунист бывшей угнетенной нации – против местного национализма.**

Но ни один "коммунист угнетающей нации" на этом собрании против антисемитизма не выступил. В то время для такого выступления надо было обладать не только исключительной ясностью ума, но и редким благородством, и редкой смелостью.

Такой человек нашлся, беспартийный Сергей Образцов, знаменитый кукольник, актер, режиссер, основатель и бесценный руководитель кукольного театра. На большом собрании интеллигенции Москвы Образцов сказал, что его отец, знаменитый ученый, доктор технических наук, русский дворянин, сбрасывал с лестницы антисемитов.

В частных домах множество людей критиковали космополитическую кампанию: Кукрыниксы, Калатозов, Карагановы, Кеменовы, Ардов и еще многие.

* Каков "торговкой"? Или "торговка" – синоним еврейки из очереди? Ведь национальная принадлежность молочницы не обозначена – Д Ш

** Что есть "местный национализм" советских евреев? – Д Ш

Я же защищала тогда зло. И начала кое-что ощущать, как только пошли персональные дела» /стр. 165 – 166, выд. Орловой/.

Не потому ли, что мог встать вопрос и о своей персоне?

«В 1937 году я ещё пыталась защищать гонимых. Двенадцать лет спустя я присоединилась к гонителям. Более постыдного времени, пожалуй, в моей жизни не было.

А гонители не спешили принять меня в "свои". Наоборот» стр. 169/.

А если бы приняли? Так и остались бы в "своих" ("наших")? Вот такой коктейль. Не позавидуешь...

* * *

Некрасиво, должно быть, непрерывно сравнивать чужую жизнь со своей. Но что делать, если так много напрашивается сопоставлений? Я работала в школе, Орлова – в вузе. Она вспоминает:

«В колхозе ребята работали очень хорошо, за редкими исключениями. Исключения немедленно обсуждались, горячо осуждались. Я всячески старалась словом и делом (все время работала рядом со студентами) поддержать саму радость общего труда. Но естественно возникавшие вопросы: "Зачем все это?", "Почему одни женщины на полях?", "Почему колхозники не работают?", – я считала стремлением увильнуть от труда. Да и задавали эти вопросы ленивые и "плохие", или так мне казалось?» /стр. 172/.

А я видела, что такие или подобные вопросы задают лучшие из ребят, самые зоркие и неравнодушные. Как отвечала – пусть расскажут мои воспитанники, оставшиеся моими друзьями. Нередко после первого доверительного разговора дрожала: вдруг проболтается? Хорошо, если тем, кому можно. А если нет? Но вынуждена была рисковать: не гасить же все живые умы и души? Орлова же пишет:

«И раньше мы со студентами были очень близки. А здесь, когда вместе ехали, ели, спали, пели и, главное, работали, стали совсем как родные. И вот я, именно я, не будила, а подавляла, гасила всякий проблеск недоумения, недовольства, всякий проблеск политической мысли, политического сознания.

Вероятнее, все это было несколько сложнее. Э. напомнила мне в 1967 году такой разговор между нами году в 1950-м.

- Раиса Давыдовна, могут у нас арестовать невинного человека?

- Не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Она сказала, что именно с этого момента начала думать» /там же, выд. Орловой/.

И на том спасибо.

«Мне рассказали об одной хорошей преподавательнице Владимирского пединститута, которая получила от своей бывшей студентки письмо примерно такого содержания: я, как и почти все мы, ни во что не верила, пока не встретила вас. Ваши лекции стали для нас переворотом. А теперь я приехала в деревню, где голод и нищета, и ложь, и унижения, и я проклиная Вас, именно Вас, потому что другим я не верила, а Вам поверила.

У моих таллинских студенток были все основания думать так обо мне» /стр. 175 - 176/.

Слава Богу, что у моих учеников - не было: я жила в том же селе, что и они. Далее следует:

«Тучи, сгушавшиеся в большом мире, едва пробивались сквозь толстые стены таллинского убежища. В январе 1953 года сообщение о "врачах-убийцах". Я уговаривала преподавательницу литературы пединститута - первую мою собеседницу, что все это закономерно и соответствует действительности. И вновь говорила о буржуазном национализме» /стр. 176/.

Сообщению о "врачах-убийцах" в нашем селе (в настоящем селе, а не в пригороде), по-моему, никто всерьёз не поверил. Там так натерпелись от раскулачивания, наголодались даже и не в моровые годы на пустом трудовом дне, о стольких наслушались "врагах народа", что врагом больше - врагом меньше - никого это уже не трогало за живое, даже райкомовцев. Одолевали свои заботы. Чтò думаю об этом я, знали те, с кем я могла говорить честно. Их было немало - и старшеклассников, и взрослых. С остальными молчала об этом "как рыба об лёд". В украинском селе бытовала издавна поговорка: бреше, як радио... Так что в сельской глубинке страшных кампаний, разворачивавшихся в крупных городах, почти не заметили: своих хватало. Каждое выжимание "подписки" на заём, каждая контрактация ("добровольное" обязательство сдать в почти бесплатную "мясопоставку" ещё не родившегося телёнка) оборачивались трагедией. А доносчики после коллективизации перевелись.

Почему мы воспринимали всё настолько по-разному, - мы, сходные по стольким параметрам?

Мой дорогой лагерный товарищ (к несчастью, после лагеря так и не разысканный), военный моряк, вся грудь в наградах, неоднократный кавалер ордена Боевого Красного Знамени, Григорий Эшель, попал в тюрьму так. Ушел из госпиталя, где ждал операции удаления осколков из берцовой кости, в "самоволку" и заночевал у подружки-студентки. Попал в облаву, был задержан до выяснения личности. При первом допросе следователь обозвал его дезертиром. Гриша молниеносно схватил свою табуретку и с привычной своей присказкой - "Ах, ты, гад печёный!" - сломал её о следовательскую голову. Получил десять лет по одному из пунктов ст. 59 УК РСФСР - за

"камерный бандитизм". Великан, судовой механик (воспитанник корабля), один из самых красивых мужчин, каких я видела в жизни, даровитый музыкант и дирижер-самоучка, он естественнейшим для себя образом не стерпел оскорбления.

А Раиса Орлова пишет:

«Группа московских поэтов была в Азербайджане. Там владетельный удельный князь – секретарь ЦК Багиров – неожиданно приходит к Вургуну, где собрались друзья и приехавшие москвичи. Сели за стол. Павел Антокольский начал произносить какой-то тост. Багиров голосом, не терпящим ослушания: "Сесть!" Антокольский сел. Сразу же: "встать!" Исполнено. И так десять раз подряд.

Павел Григорьевич уже был известным поэтом, пожилым человеком, похоронившим сына на фронте. Он рассказывал об этом сам и на вопрос – "зачем же вы слушались?", ответил: "Как же я мог поступить иначе, я же член партии". Если бы он просто сказал, "я боялся, я столько знал уже о Багирове, о его самодурстве, жестокости, которые могли соперничать со всеми ужасами средневековья". Но он этого не сказал, а даже в таком унижении человеческого достоинства видел служение партии (какое "служение"? Просто страх. – Д.Ш.).

Тот же Антокольский в 1956 году написал стихи:

Мы все лауреаты премий,
врученных в честь его,
спокойно шедшие сквозь время,
которое – мертво.

..И не мертвец нам ненавистен,
а наша немота» /стр. 184/.

"Спокойно шедшие..." Мой лагерный товарищ Гриша Эшель – далеко не единственный из тех, кто **спокойно не шел**. Среди тех, кого я знаю лично. Значит, не все.

Немалое число моих лагерных, сельских и городских друзей и знакомых, а также учеников, в том числе – вышедших в офицеры, издёвке Багирова не подчинились бы. Не знаю, что он услышал бы в ответ, – мат или глухое молчание. Может быть, их подняли бы ударами. Может быть, принудили бы к сдаче пытками (они не святые и не подвижники, я – тоже). Но вот так – прилюдно, без отключающего мозг болевого удара – они не сдались бы. Может быть, потому, что не все мы "лауреаты премий, вручённых в честь его". И не все – "**спокойно шедшие** сквозь время", которое, заметим, в 1956 году мертво ещё отнюдь не было. Оно и сейчас корчится в судорожной агонии с плохо предсказуемым результатом (кого и что ещё зацепит хвостом).

Ключевое в самооправдательном самобичевании слово – "**спокойно**". Но тем, кто шел сквозь это время **спокойно**, оправдания нет. Иное дело – идти, хотя бы **терзаясь** страхом и немотой. Кстати, в первой публикации стихов Антокольского (ж-л "Знамя" N 7, М., 1988) "немота" заменена "слепотой". Так безобидней. Далее Орлова сочувственно цитирует:

«Приведу слова автора первого революционного фильма "Красные дьяволята", старого коммуниста Бляхина: "Я не согласен с Микояном (с речью на XX съезде - Р.О.). Нет, ленинские нормы, ленинские принципы ещё не восстановлены. Не стоит принимать желаемое за действительное. То, что было, оставило глубочайшие следы в сознании народа, в партии, в советском аппарате.

Ленин мечтал о создании социалистического аппарата не на словах, а на деле. Как исполнен этот завет Ленина? Вместо социалистического аппарата создан и воспитан аппарат бюрократический, основанный на чиновничестве, бездушии, карьеризме, погоне за теплым местом. Аппарат, потерявший чувство ответственности. Сталин занял место царя, и он опирался на этот аппарат. Был недопустимый для советского общества разрыв в материальном уровне. Между прочим, это вело и к таким омерзительным делам, как дело Александрова...» /стр. 192/.

Во-первых, сравнение Сталина с Николаем II кощунственно. Во-вторых, меня всегда умиляли и продолжают умилять пламенные поклонники Ленина из числа образованных демократов и гуманистов, не прочитавшие, по-видимому, для себя (не для экзаменов) ни одного тома его сочинений. Я уж не говорю о тех, кто всю жизнь читал "соцэковские дисциплины" студентам и аспирантам, а в конце 1980-х годов "начал открывать для себя Ленина" (цитата из письма).

Дни двух знаменитых съездов напоминают Орловой "первые послеоктябрьские дни. Тоже митинговый, бьющий половодьем демократизм". После всего явно и тайно пережитого она так и не приблизилась к подозрению, что октябрь 1917 года и демократизм - понятия взаимоисключающие. Так, после воспоминания о своем выступлении 1956 года, встреченном овацией сотрудников, Орлова пишет:

«Меня поздравляли, обнимали, целовали.

Ни тогда, когда я выступала, ни тогда, когда писала об этом, ни когда правила свою рукопись, я не отдавала себе отчет в том, что же я предлагала. Не думала о выводах, и вовсе не отдаленных, а ближайших: несколько кандидатов подрывают основу монолита. Сама возможность выбора уже есть отрицание системы. Упразднение отделов кадров опять же посягательство на святая святых. Что ж, Хрущев, вождь великой страны, ляпнул, совсем не подумавши, и за его докладом последовали геологические сдвиги. Так, не подумавши, поступили и некоторые подданные, так поступила и я.

Запись этого собрания была опубликована за границей в 72-м году в "Политическом дневнике". В марте 76-го года мое выступление передавали по радио "Свобода" в связи с 20-летием XX съезда. Странная у меня смесь: радость - значит, выдержало. И горечь - как же я ничего не понимала? Поэтому я, тогдашняя, и могла произнести эти слова, что не понимала их последствий.

В конце собрания пели "Интернационал". Пели так, как мне за всю жизнь не приходилось слышать. Сгорбленная спина Чаковского,

кривая усмешка Сергея Аполлинариевича Герасимова – все это не имело значения. Начинаясь новая эра. Вот оно, наконец, вернулось настоящее, революционное, чистое, чему можно отдаться целиком (примешивалось, наверное, и тщеславие – хотелось стать Жанной д'Арк оттепели, но это было малое, наносное...). И сколько единомышленников, сколько незнакомых, но близких, думающих и чувствующих так же, как и я!» /стр. 194 – 195, выд. Орловой/.

И вот в этом самом – то ли 1962-м, то ли в 1961-м году:

«Что же такое партийность? Партийность – значит, поступать, всегда, везде, во всем, как партия, как группа, как масса, теперь уже очень большая масса. Но как узнать, что думает масса? Значит, партийность – это поступать так, как считает нужным ЦК, Политбюро, генсек... Это и есть партийная дисциплина.

Все чаще за эти годы вспыхивал спор, а не лучше ли быть вне партии?

Я говорю здесь только об идейной, нравственной стороне вопроса, ибо из партии не выходят только из страха. (Из мне известных людей в 1974 – 1979 гг. вышли Елена Боннэр, Иосиф Богораз, Евгений Гнедин, Соня Сорокина.)

Если не врать, а высказать истинную причину: не хочу оставаться, потому что не согласна со вторжением в Венгрию, с новым культом, с безобразиями в деревне, с ядерными испытаниями, с новой и старой ложью, с новым и новейшим беззаконием, с невиданным даже в сталинские времена "обратным действием" новопринятых жестоких законов – о наших литературных делах я уже и не говорю – за любое из заявлений такого рода, может быть, и не посадили бы, но уж безусловно перестали бы печатать.

Так вот, речь идёт о другом – можно ли еще и легче ли бороться за настоящий коммунизм в партии или вне ее?» /стр. 195, выд. Орловой/.

Отвлечемся от второстепенных деталей этого текста, вроде хрущевских жестокостей и беззаконий, "невиданных даже в сталинские времена". Вот она, граница: выходят ли люди из партии потому, что поняли **утопизм идеи коммунизма** или потому что **"за настоящий коммунизм легче бороться вне партии"**?

Был третий вариант: находясь в партии легче попытаться изменить жизнь, больше влияния и возможностей. Так думали одно время мы с друзьями в селе и некоторые мои товарищи в городе. И заплатились, – каждый по-своему – за этот горе-макиавеллизм. Одних – исключили, другие – вышли сами, третьи так и несли опостылевшее клеймо принадлежности к преступной своре.

Орлова же дальше крамольной мысли о преимуществах многопартийности, отражающей "многообразие путей к коммунизму", так и не продвинется. Может быть – не успеет. Нельзя забывать, что мы говорим о чело-

веке, умершем на пути переосмысления жизни, своей и общей. Пока же её парадоксально **не тревожит** главная, казалось бы, мысль: что есть коммунизм в теории и на практике? Что коммунисты хотели (хотят) и могут построить? Сомнения и отрицание относятся только к средствам, к пути, а не к идее, не к цели. Это, по-видимому, и послужит причиной многих будущих разрывов и сближений (на родине и за её пределами). Поэтому не поскупились на цитаты:

«Если ты часть этой машины – не смеешь быть ничем иным. Только винтиком. Только рычагом. Или приводить эти рычаги в движение.

Так вот почему я не хочу принимать в таком и подобном участие? Я ведь хочу, чтобы людям было лучше!

Я и сегодня не могу ответить на этот вопрос. Но если бы я ждала ответов, я не написала бы ни строчки в этой книге.

А что до подступов к ответу – вот один из них.

"...Никто из нас не хочет и не может быть правым против своей партии. Партия в последнем счете всегда права... Правым можно быть только с партией и через партию, ибо других путей для реализации правоты история не создала. У англичан есть историческая поговорка: "Права или не права, но это моя страна". С гораздо более историческим правом мы можем сказать: "Права или не права в отдельных частных конкретных вопросах в отдельные моменты, но это моя партия..." И если партия выносит решения, которые тот или другой из нас считает несправедливыми, то он говорит: справедливо или несправедливо, но это моя партия, и я несу последствия ее решений до конца" (Л. Троцкий, XII съезд РКП(б) – стенографический отчет. Москва, 1963, стр. 158 – 159).

Он жил еще несколько часов после того, как Рамон Меркадер нанес ему удар ледорубом. По указу партии.

Эту формулу повторяли поколения. Повторяла и я.

Если ты часть этой машины – не смеешь быть ничем иным. Только винтиком. Только рычагом. Или приводить эти рычаги в движение. Сталин был прав, утверждая, что разница между коммунистами и беспартийными только формальная. Тогда была формальной в одинаковом бесправни: никого не спас партийный билет ни от тюрьмы, ни от преследований.

Теперь формальная разница, ибо бороться за то, чтобы было лучше, можно и в партии, и вне ее.

...Мне долго казалось, что альтернатива партии – одиночество. Нет, я не за одиночество. Человек не остров. Человеку нужно чувствовать плечо товарища, единомышленника. Жить для других. Такова была когда-то и партия. Не очень долго и не во всем. *

А может быть, ответ вовсе не в партии, и прав был Бабель – нужен Интернационал честных людей. Добрых людей.

1961

Вся эта глава для меня сегодня – в 1968 г., сплошной анахронизм. Хочу только одного: избавиться. Выйти.

Приложение 1980 г.

Секретарю парткома Московской писательской организации

В.Кочеткову
членам парткома»

/стр. 196–197, выд. Орловой/.

Так начинается заявление Раисы Орловой о выходе из КПСС от 5 февраля 1980 года.

Среди причин, заставивших Орлову сдать свой партбилет, разочарование в коммунистической доктрине отсутствует. Она разуверилась лишь в конкретной форме осуществления этой доктрины. Орлова не пришла на последнее партсобрание и отправила своё заявление почтой. Я не знаю, чего здесь было больше: желания отстраниться от грязного дела или страха ещё раз взглянуть в глаза стае. Последнее было, действительно, страшно: я это пережила в 1968 году.

Читаю:

«Одна двенадцатилетняя девочка, празднующая с подругами Новый 1940 год, предложила тост: "За наше поражение". Если бы я узнала об этом не теперь, а тогда, я бы только спросила: кто ее так воспитал? А ее воспитала собственная сильная трезвая мысль, зрячие глаза, способность хотя бы задавать вопросы» /стр. 202 – 203/.

И мне кажется, что эта (не двенадцатилетняя, а девятнадцатилетняя, но она и в двенадцать была такой) девочка – Вера Пирожкова, о которой я уже вспоминала. Она именно так реагировала на агрессию в Финляндии. Вера училась не в Москве, а в Ленинграде и не в ЛИФЛИ, а на физмате университета. Но если бы её мысли и разговоры с ближайшими друзьями услышала на три года старшая Рая Орлова, боюсь, что она не только спросила бы, кто её так воспитал. Рая в лучшем случае выступила бы на собрании. А в худшем – отправилась бы по маршруту, по которому долго ходила "Мария". Подчеркнём, что ходила не по своей воле. Но Вера не пошла бы на такие беседы под страхом смерти. А если бы приволокли, то молчала бы. И друзья ей почему-то попадались другие, не такие, как Рае. Рыбак рыбака... Рая же сама осознаёт в 1968 году, вспоминая о восстании в Венгрии:

«Тогда я еще могла быть частью той системы, которая танками давила рабочих Чеппеля и интеллигентов из кружка Петефи...» /стр. 205/.

Странные критерии сохраняются до последних страниц:

«Всеволод Вячеславович Иванов рассказывал нам о своем разговоре с Фадеевым в 1939 году. "Саша, почему арестован Мейерхольд?" – "Потому что он был провокатором и шпионом трех держав". Только и оставалось говорить с ним об охоте"» /стр. 210 – 211/.

А почему вообще надо было с ним говорить? Как можно было с ним говорить?

Эренбург тоже подробно воспроизводит свои беседы с тогда всесильным (завтрашним самоубийцей) Фадеевым. А можно ли было порядочному человеку с ним здороваться, не то что беседовать?

По-видимому, почти никто из "лауреатов премий, врученных в честь его", не мог и помыслить о выходе из, пристойно выражаясь, элиты, а более реалистично (по "фене") из **кодла**. О тихом бегстве в медвежью глушь, на самую простую работу, чтоб "лечь на дно", им как-то не думалось. Для Орловой реакция Всеволода Иванова не компрометирует, даже напротив: правильно оценил всесильного босса...

Поневоле записи Орловой воспроизводят сумятицу, воцарившуюся в обрзаванщицких душах в пору послесталинского смещения и смещения всех устоявшихся критериев.

С одной стороны:

«В первые годы оттепели часто приходилось слышать: все врал. Меня такие разговоры приводили в бессильную ярость. Теперь я отчасти могу объяснить себе природу этой ярости – я ведь, действительно, не лгала. И думала, как это свойственно людям, что все те, кто произносил вслух мои слова, не рассматривали их, как обесцененную разменную монету. Что слова эти были обеспечены если не реалиями, то уж во всяком случае запасом искренности» /стр. 222 – 223/.

С другой стороны (об отношении поляков к СССР):

«Вот они, плоды воксовской деятельности! Посылаемые нами фотографии роскошных шестикомнатных рабочих квартир» /стр. 223/.

Так лгала или не лгала, демонстрируя тогдашнему "ближнему зарубежью" "шестикомнатные рабочие квартиры"? И это ещё – невинный пример из многих возможных.

О разгромной критике евшушенковского "Бабьего яра" в "Комсомольской правде": "Вот сегодняшний комсомол!" А вчерашний, ваш, с доносами-проработками? А комсомол хлебозаготовителя Лёвы? А полная энтузиазма "комса" 1920 года, жадно впивающая речь вождя о "химере совести" (я не оговорила, авторы разные – суть одна)? Этот ("сегодняшний комсомол"), пожалуй, всё-таки безобидней того – фанатичных 20-х и 30-х годов.

Иногда ударяет в глаза знакомое имя. Ударяет, но не удивляет:

«Издавался сборник переводов, в котором после скандала с "Доктором Живаго" сняли переводы Пастернака. Попросили Ефима Эткинда, отличного переводчика, благородного человека, дать вместо снятых свои переводы. Е. Эткинд знал, что Пастернака все равно опубликуют, что если он откажется, возьмут у кого-либо другого. И он дал свои переводы.

Фима был человеком, очень близким к Фриде,* а она строго осудила этот его поступок, хотя тогда, в 1958 году, едва ли не большинство порядочных людей поступили бы так же, как он. Да и сегодня можно еще по пальцам пересчитать примеры, когда литераторы отказывались бы публиковать свои произведения – не хочу вместо преследуемого, не хочу дать мерзавцу, стоящему во главе журнала, и т. д.» /стр. 251/.

Почему же так? Многие не печатались десятилетиями – ни взамен преследуемых, ни в измену себе самим. А уж вместо травимого Пастернака (кто знал тогда: его "всё равно опубликуют" или сживут со света?) далеко не не всякий согласился бы подписать договор. Не из политической (какой Пастернак политик?) – из чисто профессиональной солидарности.

Людям свойственно забывать о себе, вчерашнем, – любому из нас. У Орловой это забвение своего вчерашнего мироощущения выражено очень интенсивно. Я думаю, что это особенность не чисто личная, а скорее задеятвованная противоестественными обстоятельствами, зловещей спецификой времени. Так легче было сохранить самоуважение, душевное равновесие, психическую норму, наконец..

* * *

Идёт процесс Бродского:

«Свидетели обвинения говорили один за другим: "Я Бродского не знаю, но раз в газете про него написано, значит правильно". Это приложимо к любому из нас. Потому запись суда нельзя читать без ужаса. А Фрида сидела в зале» /стр. 254/.

Что именно "приложимо к любому из нас": быть объектом или субъектом подобного "обличения"? В какое из "мы" входила Раиса Орлова в каждое из своих "непрошедших времён"? Они ведь разные. Разве не провела она самые активные годы жизни среди таких же "свидетелей обвинения", только рангом и образовательным цензом повыше?

«В деле Бродского принимали участие многие люди, многие литераторы. Этот список возглавляется именами старейшин – Ахматова, Чуковский, Паустовский, Маршак, Шостакович. А далее свидетели

Фрида Вигдорова /прим Д Ш /

защиты – Н. Грудинина, В. Адмони, Е. Эткинд; те, кто писали письма, выступали на собраниях, уговаривали знакомых им власть имущих, писали характеристики Бродскому, ходили по инстанциям, собирали отклики иностранной печати, наконец, поехали на суд: Л. Чуковская, Е. Гнедин, Н. Долинина, Ю. Мориц, С. Наровчатов, Л. Копелев, Д. Гранин, В. Ардов (он, как и некоторые другие, вел себя непоследовательно – то защищал, то ругал Бродского), Л. Зонина, Вяч. Иванов, И. Огородникова, Н. Оттен, Е. Гольщева, А. Сурков, М. Бажан, Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина, Р. Гамзатов, Я. Козловский, З. Богуславская... это люди, известные мне. А было и много других, более молодых литераторов Ленинграда – А. Битов, Р. Грачев, И. Ефимов, Б. Вахтин.

Перечитывать этот список странно и горько. Пути этих людей дальше сложились по-разному. Но сам факт их объединения, пусть временного – свидетельствует: в тот момент рождалось общественное мнение. И было снова задавлено» /стр. 254 – 255/.

Пожалуй, "дело" Бродского потому и собрало столь вопиюще разных защитников, что казалось многим (вскоре после XXII съезда) совсем уже вздорным и безобидным. Немногие среди его защитников понимали, чем это дело чревато – и в масштабах истории страны, и в судьбе поэта. Одни сражались всерьёз, как Фрида Вигдорова (благословенна будь её память). Иные не упустили случая нажать без риска небольшой капиталаец: приобрести реноме по меркам новой реальности. Они не ждали столь быстрого её (реальности) возвращения почти на круги своя. Поторопились...

Орлова и сама ощущает однообразие объединения столь разных людей и отмечает распад этого противоестественного союза в недалёком будущем. Но всё-таки общественное мнение тогда задавлено не было. Просто его раскрепощение пошло не гладко, не быстро, не тем безоблачным, симфоничным и эйфорическим путём, который грезились многим (особенно людям, сравнительно благополучным) после двух съездов. Очень жаль, что Раисе Орловой лишь малую часть этой дороги довелось увидеть.

* * *

Одна из лучших в книге – глава о Галиче. Мне недавно сказала моя подруга, ифлилка тех же довоенных лет, об Орловой и Галиче: "Они ведь дружили". Да, они дружили. Глава о Галиче (1975–1977) названа очень характерно: "Чужой и родной". Вот один из ключевых кусков этой главы:

«Слушать песни Галича было еще и больно. Больно от резкости ломки, от беспощадности. Палачи и жертвы. Больше никого.

В 1966 году на переделкинской улице я задала важнейший для меня вопрос:

– Ну, а мы? Разве можно понять эпоху без нас, без тех, кто заблуждался, верил искренне, не ведал, что творил? Ведь это сегодня

столько людей утверждают, что всегда понимали, но на самом-то деле мы с тобой знаем, что это не так.

"Мы" – это неточно. Мы с Сашей до второй встречи прожили в – разных мирах. И заблуждения наши были разные.

Он ответил с необычной для него резкостью:

– Я во всех песнях бегу нас, себя. Еще и потому, что не пришло время говорить о нас, о том, как нас обманули, как мы обманулись. Слишком мало сказано об ужасе, о нравственном растлении. Мы еще не отдаем себе отчета в том, что произошло, как глубоко залегло зло, как широко разлилось.

Со мной говорил художник, который верно почувствовал – ему надо было бежать себя.

В жанровых песнях – от имени, в образе, в шкуре героя соцтруда, соображающего на троих рабочего, несчастной кассирши, злополучного мужа товарищ Парамоновой, вертухая и зека в одной больничной палате – во всех этих меняющихся обликах, в каждом из них – открытие. Песня-драма, песня-роман, песня-памфлет. Точные, единственно точные детали. Точные, единственно точные слова. Песни остались, их поет новое поколение и потому, что время запечатлено в нестареющем слове» /стр. 275 – 276/.

Нет, я бы не сказала, что "палачи и жертвы. Больше никого". Как и у Высоцкого, спектр характеров, позиций, судеб, переживаний, типажей, реакций необъятно широк. О "тех, кто заблуждался, верил искренне, не ведал, что творил", "как нас обманули, как мы обманулись", то есть о круге друзей своей молодости и своём, Галич не писал в **ключе Орловой**, ибо их не так уж и обманули и они не настолько уж заблуждались. Он точно знал меру обмана и самообмана в этом кругу, и его песни об этом были убийственны для ранимых и очень чувствительных к **своим страданиям** коллаборантских душ. Галич ко времени этого разговора отбросил все правила их игры. Вспомните хотя бы: "Ох, не шейте вы, евреи, ливреи: не ходите вам в камергерах, евреи..." Собственно говоря, разве его "Тонечка" не о них? Но увидеть в Тонечкином пошлом и полуграмотном супруге собирательный портрет рафинированной "совковой" элиты – кому это было под силу? Даже друзья дрогнули.

Может быть, Орлова не очень точно передаёт смысл слов Галича в этой их беседе: память **невольно** их откорректировала в желательную сторону. Галич не мог принять как истину слова Орловой "– Ну, а мы? Разве можно понять эпоху без нас, без тех, кто заблуждался, верил искренно, не ведал, что творил? Ведь это сегодня столько людей утверждают, что всегда понимали, но на самом-то деле мы с тобой знаем, что это не так". Она и сама поправляет себя, что "'Мы' – это не точно". Думаю, что не просто "не точно", а давно уже "точно не"... Но об этом – не здесь.

В главе "До звезды" рассказано о демонстрации семерых на Красной площади против оккупации Чехословакии. Вот её конец:

«Анатолий Якобсон привёл в своем открытом письме в связи с демонстрацией слова Льва Толстого: "Рассуждения о том, что может вообще произойти для мира от такого или иного нашего поступка, не может служить руководством наших поступков и нашей деятельности. Человеку дано другое руководство, и руководство несомненное – руководство его совести, следуя которому он несомненно знает, что делает то, что должно"».

Кроме цели, прежде цели есть смысл. Предназначение. Они услышали голос, они выполнили то, что им было на роду написано. А это не часто даётся людям.

Эти семеро обыкновенных, грешных людей совершили поступок великий. Они не стали ждать звезды. И не стали спрашивать: "К чему стадам дары свободы?" К чему свобода тем, кто бежал за покупками, кто улюлюкал, кто присоединился к карателям?

Они вышли. И посеяли семена. До жатвы мы не доживем. Не знаю, доживут ли они. Но семена – посеяны.

Может быть, когда-нибудь на Красной площади и воздвигнут памятник тем, кто восстал против бесчестья...

1972 – 1974» /стр. 305/.

Но и здесь есть сдвигка. Они не были первыми. С 1918 года этапы шли и шли – миллионами. И среди них – сотни тысяч знавших, **за что идут и на что идут**. Правда, минуя при этом Красную площадь. А впрочем, убивали их и на площадях.

В главе "Предтеча" со всей остротой вновь возникает знакомое настроение. Оно решительно отделяет тех, кто позволил себе очнуться **лишь после смерти Сталина и двух полуразоблачительных съездов**, от тех, кто при всех своих метаниях и заблуждениях **в беспамятство не впадал**.

Зрелая Раиса Орлова – человек умный и тонкий. Но она не накопила на протяжении жизни трудных, жестоких навыков активного сопротивления страху. Она не раз сдавалась перед его натиском. И что ещё страшнее – сдавала, случалось, других. И она не может не ощущать себя в глубине души дискомфортно в общении, например, с Аркадием Белинковым.

Что было в жизни у Аркадия Белинкова? Юность, тюрьма, лагерь, глоток свободы, выкрик и смерть. Его главная книга называется "Сдача и гибель советского интеллигента". Это о Юрии Карловиче Олеше. Как же Раисе Орловой не заслоняться от его опыта? От его жестокого, как ей представляется, экстремизма по отношению к людям иной биографии, не разделившим его судьбы? Разве они не страдали? Разве предавать себя (хорошо ещё, если только себя) было легко?

«Когда я бывала рядом с Аркадием, я продолжала испытывать излучение его таланта. Захлестывала сила его возмущения. Но выдерживать этот насыщенный раствор ненависти становилось все труднее».

Летом 1961 года появилась глава Твардовского о Сталине из поэмы "За далью даль". Белинковы снимали тогда маленькую комнату в Переделкине у речушки Сетунь. Мы пришли туда проведать его, спустились с мостика; Аркадий заявил, что Твардовского и Кочетова надо повесить на одной осине (или - "они будут висеть на одной осине").

Мы заспорили. Тогда я в первый раз почувствовала, какое расстояние нас разделяет.* Это ощущение сохранилось до конца. Я сначала удивилась, когда узнала, что близкие Юрия Тынянова (В. Каверин с женой Л. Н. Тыняновой) многого не приняли в книге Белинкова. Поняла я их, когда прочитала рукопись работы об Олеше. В ней нагляднее обнаружилось, что горестная, а во многом и трагическая жизнь Олеси послужила средством, строительным материалом для обличения советской интеллигенции, которую Белинков обвинял в предательстве.

Фактов Белинков, как правило, не выдумывал. Олеша, как и большинство его современников, стремился "быть со всеми заодно и заодно с правопорядком".** Это очень важно вспомнить и подчеркнуть сегодня, когда снова и снова - уже не только сторонники власти, а ее непримиримые противники - пытаются, в который раз, своеобразно переписать нашу историю» /стр. 315 - 316/.

Страшная в своём фарисействе запись.

"Выдержать этот насыщенный раствор ненависти"? Книга Белинкова об Олеше - это повесть о предавшем себя (и вместе с собою - своего восхищённого читателя) таланте. О таланте, не ставшем гением из-за этого самопредательства. Это горчайшая исповедь о преданной Писателем любви Читателя. Судьба Олеси в ней вовсе не служит наглядным пособием или дидактическим материалом. Это повесть о нём, об Олеше, о его трагической и неповторимой жизни. А если судьба героя вырастает в некий эпохальный характер, в некий символ, то что поделаешь? "Когда строку диктует чувство, оно на сцену шлёт раба, и здесь кончается искусство и дышат почва и судьба" (Б. Пастернак). Могу предложить вариант попроще: "неча на зеркало пенять..." Белинков не зря обвинил советскую образцовщицу в самопредательстве. Он знал, о чём говорит.

Среди моих отобранных при аресте (1944) черновики были и записи об Олеше. Сейчас они у меня. Мои читательские впечатления совпадают со

Еще бы! Странно было бы, если бы не разделяло. Но отнюдь не в гуманизме Орловки и не в мизантропии Белинкова суть

** У Пастернака

"Хотеть, в отличие от хлыща
В его существовании кратком,
Труда со всеми сообща
И заодно с правопорядком!"

впечатлениями неизвестного мне в 1942-44 годах Белинкова. Мы могли встретиться – в университете, в лагерях, в эмиграции. Но не встретились.

Орлова в те годы работала в ВОКСе. Как ей не чувствовать укора в самом существовании Белинкова и не пытаться амортизировать этот укор?

"Фактов Белинков, как правило, не выдумывал..." А не "как правило"? Например, как ВОКСовцы – про шестикомнатные квартиры рабочих? Я его в таких подтасовках не уличила. Расхождения между ним и собой обнаруживаю. Так, мы расходимся в оценках дооктябрьской России. Но это лишь право на трактовку, не более того. Он бы, вероятно, ещё многие свои убеждения откорректировал, как все мы, оставшиеся жить. Но ни родственники Тынянова, ни Каверин с женой – никто из тех, кто всё-таки остался в страшнейшие годы "со всеми сообща и заодно с правопорядком", судить безвременно отплавшего Белинкова не вправе. Он из тех немногих, кто отверг самосохранительный договор с Дьяволом и успел крикнуть, успел выдохнуть несколько сот страниц.

Грустно, когда Орлова опирается на Пастернака в полемике против Белинкова. Ведь на самом деле Пастернак ей чужой, как и Белинков. Просто Бориса Леонидовича она к этому времени (1972-73) уже привыкла чтить. Это стало принято в её кругу, в его наиболее уважаемом слое. Вынести же феномен Белинкова, его всепоглощающее отрицание, его ярость по отношению к её недавним, а отчасти ещё и нынешним идолам (строю, учению, лицам) – это ей не под силу. В Белинкове всё для неё чрезмерно. Оплакать гибель интеллигента – да; страстно осудить его сдачу – мы слишком многого от Орловой хотим. В её ощущении непримиримость Белинкова, его скорбь и ярость – это экстремизм, бессердечие, нечуткость, уозсть. Это же **её** он судит, когда в своей чрезмерности и пристрастности ставит Твардовского на одну доску с Кочетовым. Они были в одной парторганизации, а он – в особлаге, с двадцатипятилетним сроком! Не умея перешагнуть через себя, как Галич, Орлова ждёт понимания, доброты, сострадательности... От кого? От догорающего самосожженца? По отношению к кому? К тем, кто вчера, в лучшем случае, молча стоял в толпе на площади и глазел на казни, а в худшем – подкладывал поленья в костры? Не слишком ли многого мы от него требуем – после двенадцати лет ГУЛага и за несколько лет до смерти? Его побег словно бы предвывает действием куда более позднюю "Охоту на волков" Высоцкого:

"Рвусь из сил и из всех сухожилий,
Но сегодня не так, как вчера:
Обложили меня, обложили,
Но остались ни с чем егеря!."

Задыхающийся, предсмертный голос... А в памяти у Орловой – томный молодой человек, полулежащий под пледом в кокетливой позе.

Нет, не в том дело, что "фактов Белинков, как правило, не выдумывал". Он **объяснял факты своего времени безжалостно и без скидок на тяготы симбиоза приспособленцев с людоедами. А приспособленцам – обидно, потому что им действительно было страшно с "человекоядными". Их кости тоже хрустели порой на псовых зубах.**

Белинков хорошо знал: есть обстоятельства, когда боль сильнее человека, когда тело выходит из-под власти ума и души. Но ведь он говорил о тех, кто умирал прежде смерти, кто ложь предпочитал молчанию, громкое бесславие – молчаливой безвестности. Он издевался над романтизацией хлопотства, над подведением под персональную дачу фундамента из высоких соображений. Он не щадил той тончайшей смеси и взвеси правды и лжи, которая помогала "сохранить и в подлости осанку благородства". В конечном счёте – он гневно и горестно обличал ситуацию, которая, спасая вроде бы каждого, ведёт к гибели всех.

Сила звука измеряется децибелами. Я не знаю, какими единицами измеряется сила правды, но для слуха советского образованца была мучительна плотность правды в белинковском тексте.

Орлова – именно потому, что она уже отделяется от (выделяется из) группы и роя – чувствует, что злая, горькая правда – на стороне Белинкова:

«Читая Белинкова, вспоминая его книгу, я все пытаюсь защитить Олешу от Белинкова. Но почему же мне меньше жаль тех многих читателей, среди них интеллигентов следующих поколений, себя тоже, которых именно тонкий, талантливый, изысканный Олеша заставил поверить, хоть частично, тому, во что уже не могли заставить поверить ни Ставский, ни Фадеев, ни даже Горький?» /стр. 317/.

Вот именно, почему? Собственно говоря, Олеша никого не заставлял верить – он силился верить сам, силился, вопреки своей уникальной зоркости, стать слепым. Живой, он пытался втиснуться в ряды едящих, пьющих и пишущих мертвецов.

«Прочитав эссе Бориса Ямпольского в "Континенте", поняла яснее то, что чуждо у Белинкова: трагедия Олеша представлена Ямпольским именно как трагедия» /там же/.

А Белинковым разве иначе? Ведь и Белинков написал сдачу и гибель Олеша-писателя, которого любил не меньше, чем любили мы, как жесточайшую из трагедий – как трагедию без катарсиса. Трагедия без просветляющего сознания её неизбежности – что может быть катастрофичнее и бессмысленней? Олеша спился, и это естественнейшая в его состоянии смерть.

Белинков описал ситуацию, в которой сдача и гибель пишущего сословия приняли пандемический характер. Что может быть страшнее?

«Но ведь критика – это та же литература. Только не о людях, а о книгах. Значит, в критике могут быть и гротеск, и сатира. Мне-то просто чужды Свифт и Щедрин. Я не перечитываю этих писателей, и это мой пробел, мой вывих. Факт моей читательской и человеческой биографии. Потому чужд Белинков» /там же/.

Ох, не потому. Белинков – это не о книгах. В Белинкове нет свифтовской отстранённости, нет холодноватого блеска его иронии, нет отчуждён-

ности наблюдателя. Он в трагедии – действующее лицо. Тот, кто гибнет живым, а не умирает заживо. Белинков с горечью прочитал книгу жизни (сдачи и гибели) Олеси, а не только вчитался в его изумительные метафоры, как это делает большинство из нас.

«Аркадий начал книгу об Ахматовой. Было больше сотни страниц. Но это у него не получилось. Критический эпос, критическая ода – не его жанры. Восхищаться он не умел.

Его особенная сила – в ниспровержении.

Не получилась и книга о Солженицыне.

Он рано – не раньше ли всех диссидентов – почувал: надо не только писать книги, надо ещё и создавать свой образ. То, что на Западе называется *image*. И в этом он свое время предвосхитил.

Во время процесса Даниэля и Синявского ходили слухи, что Белинков написал самое резкое письмо протеста. Так оно вроде и должно было быть. По тому, каким он себя представлял, каким хотел бы видеть.*

Но письма этого никто не читал.

Он сидел на обсуждении романа "Раковый корпус" (ноябрь 1966 года) с готовым, написанным выступлением. Но не послал просьбы в президиум. Не принял участия в дискуссии (его речь потом была приложена к записи, появившейся за рубежом)» /там же/.

Послушайте, а может быть, он не решился? Может быть, с него хватило двенадцати лет (приговорён был, напоминая, к двадцати пяти)? Может быть, не получилось так, как он хотел? К чему вообще говорить о том, чего писатель не написал? Тем более – тяжело болевший и рано умерший. Он – то достаточно написал, чтобы вровень Олеше обессмертить его и свою трагедию.

Его – творческую, свою – жизненную. Оба сделали меньше, чем могли. Один – за долгую жизнь, другой – за укороченную.

Аркадий Белинков – не "предтеча 'шестидесятников'": он начал задолго до них, мальчишкой, и был глубже и непримиримей, чем они стали когда бы то ни было. Называть его предтечей тех, кто решился открыть глаза только тогда, когда забрезжило что-то вроде рассвета (или попрос к этому времени), несправедливо. Он среди тех, которые вышли в полночь.

Как можно писать о его дороге – вот так, скороговоркой:

«О годах заключения рассказывал: сначала в камере смертников. Когда смертную казнь (у него был пункт "террор") заменили 25 годами, – тогда все время на общих работах.

...На родине его сначала гноили в лагере, едва не убили, а потом затыкали рот.

...Он все перенес – одиночку, смертный приговор, заключение, сожженные свои романы, лагерные восстания, приливы и отливы на-

* А не – каким был? – Д Ш

ших оттепелей и заморозков. А разочарования в Западе он не пережил» /стр. 318, 320, 325/.

С какой-то как бы чуть-чуть уличающей интонацией пишется о том, что (какое-то время, как многим из нас, в частности и мне) Белинкову удавалось побывать в лагере "придурком" и это спасло. Из тех, кому никогда не удавалось отдохнуть, многие ли уцелели? Мемуаристка не забывает упомянуть, что Белинков поработал и в санчасти (в лагерях - почти ВОКС), о его романах, о том, что характер плохой, что жену тиранил по мелочам - обо всём, что снижает образ. Подробно, со вкусом (сравните: как потом терпимо, прощающе, с пониманием писалось о слабостях правозащитников конца 1960-х). Белинкову же - каждое лыко в строку: сразу же вслед за скучными фактами биографии (за камерой-одиночкой, за двадцатипятилетним сроком, за работами на "общих") следуют упреки, замечания о промахах, о несовершенствах... Когда ж это - "себя он берег, как драгоценный сосуд"? Когда стал уже хрупче стекла? Тяжко больной? Перед смертью? Возьмёмся и других мерить числом романов, количеством выпитой водки, трудностью характеров?

«В "романе" с ним, видимо, нельзя было заходить дальше определённой черты. Он не просал отступничества или того, что он принимал за отступничество. Это тоже не только индивидуальная черта. Скольких, например, разжаловала, порою за безделицу, Надежда Яковлевна Мандельштам...» /стр. 319/.

Трудно безжалостней себя отхлестать по щекам, чем этим сравнением и сближением. Не обижайтесь, пожалуйста, заволновавшиеся только в "оттепель", на А. Белинкова и на Н. Мандельштам за их плохие характеры, нетерпимость и неуступчивость. Отпустите им милостиво их грехи.

«Когда Белинков уехал (именно когда уехал, до того, как умер), я ощутила, как его не хватает. Ощутила вопреки тому, что испепеляющая ненависть мне чужда.

Эмоциональная основа его таланта - ненависть к большевизму.

Даже не основа - сама материя, плоть этого таланта. Его книги опрокидывали. Согласна, не согласна, частично согласна (впрочем, рядом с ним "частично" не удерживалось), все равно тебя опрокидывало. Не подчиниться потоку было нелегко. Себя он рассматривал как мессию (требовал, чтобы каждый писатель был бы пророком) и берег себя, как драгоценный сосуд. Окружающие люди принимались или отвергались, даже зло разоблачалось в прямой зависимости от того, служили ли они ему, Аркадию Белинкову, служили ли они его миссии на земле» /стр. 320/.

"Испепеляющая ненависть к большевизму" - да, она вам поневоле чужда. Неприязнь ваша к беспощадно обличающим - естественна.

Но вот ключевая фраза этого длинного периода, построенная по всем правилам двоемыслия (так же пишут и о Солженицыне):

«Окружающие люди принимались или отвергались, даже зло разоблачалось в прямой зависимости от того, служили ли они ему, Аркадию Белинкову, служили ли они его миссии на земле» /выд. Д. Ш. /.

Так все же "ему" или "его миссии на земле"? Это ведь далеко не одно и то же – это альтернатива. Для душевного спокойствия Раисе Орловой удобнее (даже после смерти Аркадия) эти два служения **уравнять**. Словно себя он не подчинил своей миссии на земле ещё жесточе.

«Задолго до Солженицына Белинков уже проклинал западных либералов за то, что они готовят новый Мюнхен.*

Не понимая – и не пытаясь понять (он не знал иностранных языков и не учил) то, что происходит на Западе, Белинков с тем же авакумовским пылом проклял западную интеллигенцию за сотрудничество с Советами. Он предложил исключить из Пен-клуба Лилиан Хеллман и Жана Поля Сартра (никогда не бывшего членом Пен-клуба), Вильяма Стайрона и Альберта Мальца. А вместо них принять в Пен-клуб А. Гинзбурга и Ю. Галанскова. И, конечно же, Солженицына.

Это открытое письмо Пен-клубам распространялось в Самиздате, среди многих наших интеллигентов пользовалось и пользуется большим успехом.

В письме перечислены иностранные писатели, которые бывали у нас и не призывали к бойкоту СССР. И прежде всего те, – Хеллман, Стайрон, – кто осудил Анатолия Кузнецова. Хотя они оба очень ясно и, на мой взгляд, верно написали, что осуждают Кузнецова за ту цену, которую он заплатил, отказавшись от советского гражданства, то есть за донос; но Белинков увидел в их письмах и другое – мысль о том, что самые смелые люди сражаются со злом у себя дома. В статье Хеллман эти люди были перечислены – Солженицын, Григоренко, Литвинов, Лариса Богораз... И стало быть, получалось, что он, Аркадий Белинков, не среди них.

Вынести этого Аркадий не мог. И ответил ударом – вы считаете вслед за Камю, что одному из зачумленного города уезжать нехорошо, так ведь еще хуже в зачумленный город ездить с визитами.

Мне же представляется, что, например, поездки к нам Генриха Бёлля ничуть не пятнают его. Много раз говорила, снова повторяю:

– У вас родные и друзья в лагере. Надо им передать еду, лекарства, да и просто обнять их, дать почувствовать, что они – не одни. Для того, чтобы проникнуть в лагерь, надо войти в отношения с начальником лагеря, написать ему заявление, а то и просьбу. Как должен поступить честный человек, хранить незапятнанные ризы или

* К несчастью – готовят, и не один – Д Ш

пытаться облегчить участь других? Для меня ответ однозначен. Для Белинкова тоже однозначен, но прямо противоположен» /стр. 321/.

Опять винегрет. Опять смесь бульдога с носорогом. Кузнецов-то о своём лжедоносе написал официальное заявление сразу же после бегства. И никто из-за его обманного хода не пострадал. А как быть с вашим доносом на коллегу с трибуны и с визитами "Марии" в "органы"? С "рапортами" на ту же Лилиан Хеллман и прочих - в ВОКСе? Относительно же визитов в замученный город и бегства из него, - так ведь вот какая тут передержка у воспоминательницы: для визитёров, преимущественно розовых и красных, чума эта нисколько не была опасна. У них имелся дипломатический иммунитет (у некоторых ещё и партийный). Их впускали с отбором и с далеко идущими пропагандными целями. Вы и сами ведь поводили их в своё время на ВОКСовском поводке. Белинков уже один раз чудом перенёс чуму (двенадцатилетнюю), и ему ещё надо было сказать миру несколько выстраданных слов. Он знает, что тяжело болен и долго не проживёт. Не в этом, однако, главное. И Солженицыну, и Белинкову, и многим менее славным и знаменитым невыносимо было вовсе не безразличие Запада к их особам и даже к их творчеству. Они умели работать и в безвестности. Слава немногое для них значила. Но... "Вы знаете, я немало поездил по странам, выступал - но просто от страсти: не могу спокойно смотреть, как они сдают весь мир и самих себя!" - сказал Солженицын в одном из западных своих интервью начала 1980-х гг. И Белинков - не мог спокойно смотреть. И ещё несколько (десятков?) пишущих и тысячи не пишущих. А СССР гостеприимно распахивал свой парадный подъезд лишь перед теми, кто не стал бы очень уж резко и убедительно мешать той сдаче, о которой говорит Солженицын. Сдаче и гибели Запада, как ранее - сдаче и гибели русского интеллигента.

«В США Белинков стал профессором Иельского университета, побывал в Европе, читал лекции, давал интервью. Но того, чего он ждал, на что надеялся, он на Западе не получил.

Некоторые его слушатели были разочарованы лекциями о советской литературе. "Мы пришли слушать о литературе 20-х годов, а лектор разоблачал советскую власть". Слушатели либо сами знали пороки советской власти, либо это им было совершенно неинтересно» /стр. 321/.

В Одессе сказали бы: "Чтоб они так жили, как они их знали". Но что большинство из них и не хотело знать, - это да, это, к несчастью, верно. По словам Орловой, чтобы полностью понять книги Белинкова, человеку извне надо иметь нечто вроде подстрочника, глоссария. Надо знать, что "лучшие друзья" Олеси - это Шкловский и Лев Славин. Надо уметь расшифровать его эзопов язык, тысячи намеков, входящих не только в

нашу большую либо малую историю, а в историю домашнюю, в литературный быт, в кулуары, надо даже знать сплетни.*

«Но одно с первых строк ясно всем, ибо написано словно крупными буквами плаката: шла ли речь о Тынянове или об Олеше (собирался – о Шкловском), на самом деле, тема, идея, крик был один: Карфаген должен быть разрушен. Советская власть обречена и падёт под тяжестью своих преступлений.**

Этой единственной пламенной страсти было посвящено все: жизнь, литература, написанные и ненаписанные книги, отношения с людьми» /стр. 323/.

Мало? Я думаю, что этого достаточно на несколько жизней. Но и это не вся правда. Необходимо добавить к этому необыкновенную талантливость и мощный ум. Белинков блестяще владел и пером, и мыслью.

А что на Западе его не печатали и не печатают – ничего не поделаешь: чужой опыт не впрок.

Орлова многое поняла и прочувствовала – ретроактивно. Но вместить пламенеющий мир Белинкова было ей не под силу. Она даже в его смертельную болезнь верит не до конца.

«...А может, Белинков все же – как и его великие предшественники и последователи – прозорливее других? Кому еще в 72-м году, когда я начала эту главу, виделся Афганистан? Что может принести миру все расширяющаяся наша империя, это подтверждает каждый прожитый год.

Аркадий Белинков был человеком редкой душевной силы. Он все перенес – одиночку, смертный приговор, заключение, сожженные свои романы, лагерные восстания, приливы и отливы наших оттепелей и заморозков. А разочарования в Западе он не пережил.

Да, у него было больное, очень больное сердце. Но в мае 1968 года в Будапеште, по дороге в Югославию, Аркадий, исполненный радужных надежд, бежал по городу так, что за ним едва поспевали два молодых дюжих венгра...» /стр. 325/.

В состоянии аффекта, бывает, бегут и на сломанных ногах. Если бы не всё пережитое, не расплющенное ГУЛАГом сердце, Белинков справился бы и с разочарованием в Западе. Тем более, что, узнав его лучше, он нашел бы на чужбине и тех, кто способен его понять.

«В начале оттепели, и общей, и моей личной, я разделяла взгляды моих новых кумиров: чем резче мы оттолкнемся от прошлого, чем

Так уж и сплетни? Я их не знала и не знаю – а Белинков мне вполне внятны – Д Ш

Орлова не увидела – к сожалению – как это сбылось – Д Ш

сильнее, тем спасительнее и для страны в целом, и для каждого человека.

Сейчас мне все представляется сложнее. Любые претензии на монопольное владение истиной тоже, пусть и по-иному, искажают картину мира.

Потому, должно быть, все неотвязнее звучит и сегодня живая строка старого гимна

Ни Бог, ни царь и ни герой...

...Еще и еще раз оговорюсь: следы самой каторги в человеческих душах несоизмеримы с теми нравственными увечьями, которые были (и есть) у тех, кто вольно или невольно сотрудничал с тюремщиками.

Но не пытаюсь осознать наличие и иного вида душевных ран, а осознав, не пытаюсь от них избавиться, люди, даже самые крупные, самые талантливые, самые мужественные, невольно становились и становятся проповедниками догматов, противоположных догматам их врагов по знакам, но сходных по нравственным основам, по отношению к миру.

...Один из новых экстремистов заявил, что литература сохранялась только на Архипелаге ГУЛаг, а нравственность - только в церкви... Другой написал А.Д. Сахарову письмо из лагеря с призывом - лишить одного из зеков звания политзаключенного, в точности как на воле по партийным инструкциям лишают диссидентов ученых степеней. Это симптомы общей болезни.

Аркадий Белинков переболел, заболел ею первый из мне известных. Возражу себе: идущие на край (или оказывающиеся на краю) мешают покойно существовать многим. Книги того же А. Белинкова, Н.Я. Мандельштам, тем более книги А. Солженицына выбивают; читая их, труднее мириться с тем, что тебя окружает и с чем ты, пусть худо, но мирисься.

Снова и снова строго спрашиваю себя: не потому ли я увидела некие недостатки людей, в которых только вчера находила олицетворение истины, что эти недостатки как бы оправдывают примирение с тем, чего нельзя победить. Я своей жизнью не жертвую. Более того, глубоко сожалею, что по причинам, от меня не зависящим, мне не дают больше ни печататься, ни преподавать. И продолжаю глубоко уважать и нежно любить тех своих друзей (и не только друзей), которые живут и работают в системе.

В старом гимне есть и другие слова: "весь мир насилья мы разрушим до основания, а затем..."

"Разрушить до основания" - это, быть может, самое страшное, что ждет Россию. Не дожить бы...» /стр. 326 - 327/.

Какое - не первый раз в этой книге - разительное сцепление правд и подмен!

Конечно, из лагерей вернулись (если вернулись) и несгибаемые коммунисты, и сломившиеся рабы, готовые на всё, чтобы не попасть в ад снова, и "кроткие мудрецы", которым лагерный опыт нисколько не прибавил то ли ожесточения, то ли прямоту (трудно их раскусить).

Но что делать, если Белинков (и не он один) – не остыл, если в нём не угасла и не ослабла страсть против зла и гневная боль за сдавшихся?

Есть какая-то "крупница соли" в позиции любого из наших современников (а может быть, и любых современников), которая относит человека в тот или иной общественный пласт его времени – независимо даже от изгибов его биографии. Копелев "сидел", Померанц "сидел"... А вот Ахматова – "не сидела" и Надежда Мандельштам "не сидела". И Лидия Корнеевна Чуковская (список можно продолжить...). И некоторые даже с передачами не стояли, но – всё равно – принадлежат к тому лагерю, который на Колыме.* Когда я вернулась из заключения и поселилась в непаспортизованной глуши, скрыв судимость, я приехала в областной город Харьков, где прошла моя юность, где жили моя мать, мои родственники и друзья, и явилась в университет, в котором многие меня помнили. Не моргнув глазом, мои довоенные учителя (один из них, Исаак Яковлевич Каганов, был тогда то ли замдекана, то ли проректором по заочному обучению), знавшие обо мне всё, приняли меня по доарестной зачётке на третий курс и не заикнулись о пятилетнем перерыве в учёбе. Так мы и промолчали – обоюдно – об одном из фактов моей биографии вплоть до получения мною, сельской заочницей, диплома филфака в весёлом 1952-м. Так что дело тут не в "сидел – не сидел", а в какой-то неумолимой нравственной составляющей. Немного есть охотников лезть на рожон, но и отступить за чести может далеко не всякий. Как не всякий способен любить врагов, своих и/или человечества.

Перечитайте внимательно, строку за строкой, приведенный выше монолог Орловой. Это – реакция. Ответ коллаборантской элиты советского образованного слоя на боль, причинённую ей людьми, отказавшимися от коллаборации. Отказавшимися ещё при Сталине, задолго до всяческих "оттепелей" и послаблений.

Нападение есть лучший способ защиты, но не нападение с заведомо неподными средствами. Вышеозначенный коллаборантский слой цепляется за остатки самоуважения. Он декларирует свою классическую "порядочность применительно к подлости". Но идёт в данном случае не путём самооправдания, что безнадежно, а контрбвинения, что ещё безнадежней:

«Много раз я восторженно повторяла слова А. Солженицына из письма Твардовскому, что он принадлежит русской каторге больше, чем русской литературе.

Во время официального обсуждения нашумевшей книги ныне покойного А. Нейрича "22 июня 1941 года" (1966) один из выступавших назвал совместные действия Советского Союза и гитлеровской Германии в сентябре 1939 года "Четвертым разделом Польши". На это последовало возмущенное замечание из президиума "Прежде чем делать такие сравнения, надо подумать к какому лагерю принадлежишь". Из зала раздался выкрик "К тому, который на Колыме!"

Счастье и чудо, что он вырвался, что ему удалось выкрикнуть на весь мир боль миллионов каторжан, что его услышали. Однако русская каторга, как и всякая иная, не только закаляла, но и калечила. Глушила великий свет русской литературы» /стр. 326/.

Калечила. Глушила. И убивала. Но как раз в данном случае не убивала, не испугала и не искалечила. Между тем подтекст этих констатаций – утверждение, что и Белинков, и Солженицын искалечены каторгой и потому – злы. На самом деле они представляются злыми тем, кому некуда скрыться от воссозданной ими правды. "Злые" свидетельствуют неотклонимо: вы видели, слышали, вы знали, вы не могли не знать. От катаклизмов такого масштаба спрятаться некуда. Удар попадает в цель: будит уснувшую совесть. Не настолько, чтобы признать и постичь меру своей вины и очиститься, но настолько, чтобы лишиться покоя. И потому будящие воспринимаются как злые. Орлова пытается характеризовать миры тюремщиков и арестантов как сходящиеся противоположности. Нет, это не так. Это снова – ложь во спасение собственного душевного равновесия. Миры непримиримых протестантов и мир тюремщиков с его обслугой, в том числе – идеолого-интеллектуальной, находятся в разных нравственных измерениях. Они подчинены не просто разным, а несоизмеримым социальным, психологическим и, главное, нравственным законам. Признав этот страшный факт, казённой образованщине пришлось бы осознать, в каком измерении и в какой роли пребывала все эти чёрные годы она. Одни нашли в себе мужество исчерпывающе ответить на этот вопрос и тем изменили свою роль; другие – не нашли. Третьи застряли где-то на полпути.

Оставим Белинкова: он умер рано, умер тогда, когда нельзя было и представить себе отступления коммунистов без боя. Впрочем, они отступили, но ещё не сдались: перестраивают ряды, переозвучивают лозунги – вполне по Ленину. Но – Солженицын? Будем говорить лишь о том Солженицыне, которого знала Орлова, то есть "доперестроечном". Когда и где он призывал к разрушению? Он зовёт опомниться и измениться, **не доводя мир и страну до боя, до крови**. Зовёт и вождей, и народ. Он безостановочно разрушает лишь **ложные стереотипы мировоззрения**.

И не столько "вождей" (он попытался их разбудить – они оказались не спящими, а мёртвыми), сколько наши, ибо мы ещё живы и к нам можно обращаться. Но он будит, яростно споря и обвиняя в отступничестве. Этого образованщицкая генерация Орловой и не может ему простить.

«Мне глубоко чужд мировой пожар. Чужд и по особенностям моей природы. Чужды перевороты политические, несущие неизбежно кровь и слезы. Чужд и пожар словесный. Герцен писал Огареву: "...тебе хирургическая фраза не беда, а мне беда..."

Поэтому Аркадий Белинков сегодня ещё более чужд, чем десять лет тому назад.

То страшное, что возникло, что построено в нашей стране, разваливается тоже уродливо. Должно быть, это неизбежно. Люди, способствующие тому, чтобы оно скорее развалилось (я говорю только о

людях слова), вероятно, и не могли быть иными. Это прежде всего революционеры. Они железные. Они переступают через любую слежку.

Великое строение книги "Архипелаг ГУЛАГ" и не могло напоминать греческие храмы, изваянные из белого мрамора; не могло там быть богов, исполненных спокойного величия. Вероятно, разного рода искажения неотъемлемы подобным беспримерным строениям.* В них внутренне заложен, исторически необходим оскал ненависти, тот самый, что так отталкивает меня.

Аркадий Белинков - характер исторический. Характер переходного времени, не совпавший по фазе.

"Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в битву за добро, за истину, за справедливость, - и так шаг за шагом до геены огненной и Колымы... страшен дух ненависти в борьбе за правое дело..." - пишет Григорий Померанц ("Сон о справедливом возмездии"). Мне страшны дьяволы в любых обличьях» /стр. 327/.

Да неужели же вы не видите, **кто** раздувает мировой пожар и **кто** (тщетно) пытается его хотя бы остановить, если не погасить? Ведь это вы, когда они уже сидели в тюрьмах, ностальгировали по незабываемым двадцатым: "Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем!" И в 1956 году со слезами пели "Интернационал". Напомнить ещё раз ключевые его слова?

"Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем". Ну и сердитесь - на себя.

А когда и где призывал к перевороту Солженицын? И не кощунственно ли, не стыдно ли играть словами: "**оскал ненависти, пена на губах**", - говоря об "Архипелаге ГУЛАГ" - о книге такого подвига, о Реквиеме такой беды? "Оскал" - это у "человекоядных", а не у подвижников.

«"Меня посадили за дело, - говорил Белинков нередко, - я-то всегда ненавидел советскую власть".

Аркадий Белинков - предтеча. В нем раньше и, по-своему, даже полнее воплотились большевистская партийность, фанатизм, пренебрежение к отдельному человеку, чем у многих других» /там же/.

Я тоже гордилась тем, что меня посадили за дело, хотя я не ненавидела советскую власть. По свойству своей природы я не склонна к ненависти - я просто начинала её исследовать. Но трудно её не возненавидеть - как **принцип**, как **симбиоз преступления с умолчанием**. Этот симбиоз продолжает разрушать и поглощать мир. И духовным всеядением, выдаваемым за широту взгляда, его даже не приостановить. Слова же о партийности и большевизме Белинкова просто кощунственны, если не скрыто-демагогичны (как слова Померанца о "пене ненависти" на губах Солженицына). После

* Да где же в "Архипелаге" искажения? - Д Ш

школы, пройденной Белинковым, только равнодушные и себялюбцы могли не напрочь всех душевных мышц для рывка против Зла. Если что и погубит мир, то именно эта псевдофилантропическая расслабленная всеядность, позволяющая не различать между правотой и неправотой, между высотой обзора и уловками, избавляющими от вмешательства.

Чему и кому Аркадий Белинков – по разумению Раисы Орловой – "предтеча", я так и не поняла. Чью "большевистскую партийность", чей "фашизм" он предвосхитил? Надо ли груз своего недоброго прошлого утяжелять этой сомнительной, чтоб не сказать худшего, софистикой?

«Я продолжаю думать, в противоположность Белинкову, что на нашем не бывшем Нюрнбергском процессе в числе первых обвиняемых не могло и не должно было быть ни Олеси, ни Шкловского, ни других персонажей его. Слишком длинна очередь палачей» /стр. 327 – 328/.

А Белинков о таком суде над литературой и литераторами и не помышлял. Это опять подмена. Сорвавшиеся сгоряча, с перехлёстом, слова боли и ненависти к делящим ответственность за происшедшее нельзя выдавать за строки продуманного приговора. Он зовёт **и нас** обратиться, наконец, на себя и перестать быть орудием негодяев. Кому много дано, с того много и спросится. А Олеши, Шкловскому, Катаеву – им же несть числа – дано было немало.

* * *

На этом я прощаюсь с Раисой Орловой, ибо главное из того, что она смогла рассказать о своём круге, мы уже выслушали. Уже одно то, что её мемуары дописаны в Кёльне, говорит о непредсказуемости наших путей. Орлова начала осмысливать свой путь, как только пресс чуть-чуть приподнялся, и не прекращала, по-видимому, этой тяжкой работы до последних дней. С каждой страницей мысль её становилась глубже и беспокойней.

Будем благодарны ей за исповедь, запечатлевшую один из путей эпохи.

* * *

Ш. ТАКОЕ КИНО...

По гроб задолжала когда-то
И Галичу я, и Булату.
Все любят сегодня Булата -
Я ими лечилась когда-то.
От шока, от грусти тяжелой
Просветом, намеком, крамолой.
Стихи проступали сквозь шумы,
Гитара брэнчала в крови,
И времени облик угрюмый
От гнева светлел и любви.

Сара Погрёб

Раиса Орлова, подводя итог своим отношениям с Галичем, написала, что в годы их поздних встреч стали его оценки двухцветными ("чёрно-белыми") и что так нельзя. Жизнь крашена не в два цвета, а во многие колера, со всеми их мыслимыми и немыслимыми оттенками. И получается, что Галич, как (по Орловой же) и Белинков, не воспринимал многоцветия жизни. Он, по её ощущению, не воспроизвёл мучительного многообразия душевных движений своего поколения и круга: от жизнерадостного получения тридцати серебрянников до обстоятельного, с объяснительными записками, покаяния.

Юрий Нагибин, тоже неоднократно* публиковавший свои воспоминания о Галиче, и Раиса Орлова ранены безоговорочным переходом Галича из "родных" в "чужие". Им легче пережить этот переход, обвинив не себя, а Галича. В чём, мы уже сказали: в бегстве от переливчатого многоцветья жизни. В тяготении к обедняющей чёрно-белой поэтике и позиции. Эта сожалеюще-прощающая и одновременно ущемлённая интонация чем-то сродни широкоучительной снисходительности Г. Померанца по отношению к духовной узости Солженицына. Орлова, правда (мы это цитировали), со свойственной ей в зрелые годы терпимостью, соглашается, что, может быть, и такие, то есть односторонние и непримиримые, исторически закономерны. И даже на каком-то этапе и в каком-то смысле нужны, но...

Примечательно, что в Окуджаве мемуаристы ряда Орловой не слышат чуждых им мотивов. А у Галича - родного, но... чужого - слышат.

Цит воспоминания Ю Нагибина "О Галиче - что помнится" по книге Ю Нагибин Срочная командировка, или дорогая Маргарет Тэтчер (повести и рассказы) Изд "Кино-центр" М, 1989

Почему?

Может быть, потому что Окуджава возник для поколений, истерзанных сдачами и самопредательствами, на высокой и чистой ноте, зазвучавшей в них в военные годы? И была эта нота не отпугивающей, не режущей слуха, ибо пела она о беде, общей для всех. В этой объединяющей музыке ещё звучала остаточная романтизация и той, главной, войны, привычная с детства:

"Я всё равно умру на той, на той единственной, гражданской,
И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной..."

Не перечёркивая общего прошлого, Окуджава словно бы позволял принять и довоенную, и послевоенную правду не сразу, а постепенно, как постигал её он сам. Он почувствовал её глубже, и тоньше, и раньше, и острее других – так ведь на то и поэт. Но самого страшного Окуджава будто и вообще не касался: он не винил и не судил. Разве что сожалел...

А Галич – свой со школьной скамьи, из ближнего (если не ближайшего) круга, грешный и путаный, и вдруг – запрещённый удар, под дых, в диафрагму. Всё выставлено на показ, и всему дано имя. Дать имя неуловимому, расплывчатому, всепроникающему греху – страшное дело. От этого некуда скрыться – ни вне, ни внутри себя. Да ещё если дающий имя знает язык твоего клана, код твоего мышления, во всех его тонкостях и уловках. Ведь большую часть жизни это был и его клан, и его язык. Но он (внезапно? Для окружающих, может быть, да, внезапно) изменил клану и его языку.

Высоцкий был из другого поколения и пришел с мальчишеской улицы. Он смолоду свистел и чирикал на столько ладов и голосов, что долгое время можно было не слышать (или делать вид, что не слышишь) его главных и всё нарастающих тональностей. Его дольше можно было не принимать всерьёз. Не понимать, что эти легко рвущиеся, клееные-переклеенные плёнки "томов премногих тяжелей". Пока Высоцкого поняли во всей его серьёзности, поздно стало от него спасаться. Но Галича его родовой клан не мог игнорировать: от него надо было отбиваться немедленно. Чем? Вменить ему (как Белинкову, как Солженицыну) нечто позволяющее снизить его звучание. Например, уозость взгляда и нетерпимость.

Пожалуй, пришло время поговорить и о Нагибине – в связи с Галичем. О том Нагибине, который написал "О Галиче – что помнится".

Юрий Маркович Нагибин – один из немногих прославившихся в "оттепель" советских писателей, с которыми мне довелось познакомиться не только по книгам, но и лично. В Израиле, в Иерусалиме. Встреча была неожиданной и короткой. Один разговор – полночь – у нас дома, затем – серия взволнованных телефонных звонков в оставшиеся до отлёта несколько дней. Юрий Маркович обещал написать, обещал приехать на несколько месяцев через год. Не сбылось. Его воспоминания о Галиче я прочитала после его отлёта, в оставленной общим друзьям книге (см. выше).

Уже зачин этих воспоминаний настораживает, хотя и нелегко определить, чем:

«Когда уходит знаменитый человек, он мгновенно обрастает друзьями, как пеня опятами в грибной год. Сколько друзей появилось у довольно одинокого в жизни Твардовского и особенно – у Высоцкого. Нечто подобное происходит ныне с Галичем. Хотя свидетельствую: те, кого он называл друзьями, почти все ушли. Саша дружил большей частью с людьми старше себя, и нет ничего удивительного, что они покинули этот свет, ведь и Саше сейчас было бы за семьдесят» /Ю. Нагибин. Срочная командировка, или дорогая Маргарет Тэтчер; стр. 182/.

Бывает, однако, и так, что после смерти человек обрастает разоблачителями и критиками, а не друзьями. Я бы рискнула на другое обобщение. Вопреки классическому "de mortuis aut bene, aut nihil" ("о мёртвых или хорошо, или ничего"), о мёртвых извечно говорят всё, что имеют сказать. В том числе, всё, чего не смели, не сумели, не успели (бывает по-разному) сказать о живом. И если Галичу и Высоцкому после их ухода спешат воздать то, чего при жизни недодали, над чем тут иронизировать? Какая корысть примазываться к их славе, хоть прижизненной, хоть посмертной? Хотя бы и мне, ничего о них не знающей сверх того, что известно всем: их песен.

В круг моих друзей и учеников Галич пришел в первой половине 1960-х годов и с тех пор звучит в душах старшего (моего) поколения неумолчно и непрестанно. Как, впрочем, и Окуджава, и Высоцкий: кому кто ближе. Мне – все трое, каждый по-своему.

«Попробую рассказать обо всех поворотах наших отношений, может быть, это что-то прибавит к образу Александра Галича, бронзовеющего на глазах под тихоструйной течью еля и потоки» – пишет Ю. Нагибин /там же, стр. 183/.

Но вот уж на ком нет ни еля, ни потоки, так это на Галиче. И не "бронзовеет" он "на ходу" нисколько. Во-первых, давно уже он не "на ходу", а летит и летит над нами в журавлином клину из предсмертной песни Бернеса. Грешно пристраивать к образу Галича эпиграмму, адресованную когда-то стихотворцу и человеку совершенно иного масштаба и толка. Во-вторых, не пристанет к Галичу ни елей, ни потоки, ибо не было и нет у него казённой славы, наград и памятников. Да и не вижу я, чтобы становились в очередь за книгами и пластинками его посмертные поклонники и поклонницы. Может быть, у Юрия Марковича застряла в душе занозой горькая Галичева строка ("...и не выйти на елее в орфеи...") – и так сработала?

Странное дело: мёртвый Галич уже не может ни защитить себя, ни уличить (обличить) других ничем. Разве что – песней. А с ним спорят, защищаясь и нападаая. И спорят не с песнями, не со строками, а пытаются вытащить за ушко на солнышко грешного человека, их сочинившего. И только порой проговариваются, что этого слабого человека он в себе сломил. И ушел – от воспоминателей – в ногу с самыми сильными.

...Иногда кажется, что Ю. Нагибину внятно главное в даре и судьбе Галича. Он ведь (не Галич, а Нагибин) – из тех, кто примерно в одно время с Галичем понял, **"что к чему, и что почём, и очень точно"** (Б. Окуджава). Казалось бы, он, так этой пропасти в своё время и не преодолевший, должен был знать, какая бездна лежала между "понимаю" и "говорю" в те годы. Он вроде бы и понимает это. Но тогда – что его вынуждает с некоторой снисходительностью защищать Галича от критиков, которых, зная Галичу цену, просто не следовало бы замечать? Вот Нагибин рассказывает о пристрастии Высоцкого и Галича к наркотикам (общеизвестном и убивавшем их, а не их славу):

«Я предчувствую взрыв читательского ханжества. Какой же он сильный человек, если не мог побороть пристрастия к наркотикам? А он и не собирался, как и Высоцкий, который в последние годы жизни тоже начал колотиться. Их это не ослабляло, а усиливало в той борьбе, которую вела против них всесильная власть. У власти была одна цель: заткнуть им рты, а они пели, пели вопреки всему. Им перекрыли все краны: не давали площадок, не пускали ни на радио, ни на телевидение, ни в печать, ни пластинок их не было, ни кассет, а они умудрялись быть услышанными по всей стране, да что там – по всему миру. Какой душевной силой, каким мужеством, смелостью и верностью своему избранию надо обладать, чтобы выстоять против чудовищной машины насилия и уничтожения! Но иногда иссякали внутренние ресурсы, металл ведь тоже устаёт, а человеческое сердце не из металла, и они давали себе перевести дыхание, отключиться – уколом в вену, чтобы затем снова в бой. Гитара и губы против железного хряка бездушия. И казалось, хряк победил: сжевал Высоцкого, а Галича отгрынул в изгнание и гибель. Ан нет, песни остались, победа за певцами.

Пусть их судит лишь тот, кто сам способен поставить жизнь на кон ради правды и чести, а не добродетельные и законопослушные холуи власти» /там же, стр. 220 – 221/.

К чему это многословное опережение читательского суда, это предвкушение читательского "ханжества", эта непрошенная защита того, что никакой защиты не требует? Конечно, всем нам хотелось бы, чтобы гении жили долго. Чтобы Гвардовский был трезвенником, как Солженицын, чтобы Довлатов пил так же мало, как Окуджава, чтобы Высоцкий и Галич выдерживали всё, что было им суждено, не колясь, не запивая и даже, по возможности, не куря. Но кто из людей, имеющих слух, душу и сердце, осмелится бросить в них камень? Чуть ли не весь "личный состав" "творческих союзов", особенно в верхах, спивался и кололся, не совершая никаких творческих подвигов. Топили в водке молчание, предательство, самопредательство, зависть, трусость, бездарность. Кто на таком фоне осмелится упрекнуть тех, для кого водка или игла стали самоубийственным способом передышки? Тем более, что нынешнее человечество поражено этими пороками и вне всяких творческих и самосохранительных оправданий и стимулов.

Нагибин хорошо знает, в каком напряжении жил поющий Галич:

«Мне запомнилась грустная история циркача на призывном пункте. Когда его спросили, какая у него воинская специальность, циркач ответил: движущаяся мишень.

Мы ещё не знали, что каждому из нас в какой-то период жизни можно будет так же определить свою не воинскую, а гражданскую специальность. Но в полной мере движущейся мишенью окажется Саша. По нему гвоздили из всех калибров за песни, расстреляли – до взлёта его лучшие сценарии и, наконец, дружным залпом прикончили человека с гитарой» /там же, стр. 231/.

Я не знаю, насколько серьёзные гонения пережил Нагибин и чем конкретно его заставили поступиться. Замечу только, что "человека с гитарой" так и не прикончили. Может быть, обрубали, оборвали его песню. Может быть, и впереди, не оборвись жизнь, не было бы уже ничего равноценного спетому. Но спетого достаточно, чтобы Галич остался среди **немногих, искупивших грех молчания многих**. Он в землю таланта своего не зарыл. Не умер вживе из-за недоупотребления дара, как столь многие.

Главному Галичу – "человеку с гитарой" – Нагибин вообще придаёт меньше значения, чем не допущенному до жизни Галичу крупных жанров. Но имеет ли смысл гадать о том, как реализовался бы дар, если бы его не душили? Ведь возможен и такой (кощунственный в некотором роде) вопрос: реализовался бы тот или иной дар вообще, если бы планка преодоления не стояла так высоко? Вопрос – кощунственный потому, что какой-то высоты прыгун не берёт и ломает себе шею. Планка может оказаться и стеной. Но тут уж ничего не поделаешь.

Нагибин пишет о своём отходе от Галича:

«Наше расхождение началось в пору, когда песни Галича завоёвывали страну. Рать его поклонников была, если не многочисленной тьмы почитателей Окуджавы, то куда шумнее, поскольку меньше. Саша знал, что делает главное дело своей жизни, и дело весьма опасное, которое может сломать ему судьбу, ему нужно было понимание и союзничество, а я не мог ему этого дать. Я был в плену у Окуджавы. Сашины песни мне не нравились» /там же, стр. 265/.

Не нравились – так не нравились: на нет и суда нет. Но не было у Галича "рати поклонников". Рать поклонников была скорей у Высоцкого, которого многие принимали за своего по недоразумению. А Галич, сдаётся мне, потрясал сердца, в большинстве случаев (бывало, конечно, разное), зрелые и умудрённые. Дуры, о которых вспоминает Нагибин, боготворившие Галича и презревшие Окуджаву, – они и есть дуры. А куда деть ново-сибирский Академгородок, принимавший Галича "на ура"?

Я не знаю (и никогда не пойму), отчего, по мнению Ю.Нагибина, можно любить очень разных писателей, но крайне трудно – разных певцов

одного и того же диапазона (тенор, баритон, бас). Для меня вкусовой плюрализм в царстве вокала не менее естественен, чем в царстве слова. Но, разве Галич и Окуджавы – певцы? Они творцы совершенно иного ряда: поющие поэты, что ли... За отсутствием полноценного определения и пошло гулять старинное слово "бард".

Окуджавы и Галич – люди не только одной эпохи, но и одного Ордена. Поэтому в нижеследующем объяснении режут слух и отделение эпохи Окуджавы от эпохи Галича, и выделенный мной отрывок:

«Я, как и Войнович, пусть он моложе меня, человек эпохи Окуджавы. Моя любовь к нему не уменьшилась и сейчас, хотя я стал куда восприимчивей и открытее другому пению. **В том числе песням Галича, слушаю их с огромным удовольствием**» /там же, стр. 268; выд. Д.Ш./.

Галича нельзя слушать "с огромным удовольствием". Если уж удалось его услышать (расслышать), то его слушаешь с огромным потрясением. За редчайшими у него исключениями.

Но – продолжим (прошу простить мне длинную цитату):

«Недавно мне дали прочесть рукопись мемуарной книги одного умного и одарённого журналиста-учёного (надеюсь, рукопись эта станет книгой), где он пишет о своей потрясённости Галичем в те самые годы, о которых речь идёт у меня. Человек шестидесятых годов, он говорил, что любил Окуджаву, но явился Галич и отнял эту любовь. Ибо Булат Окуджавы, при всём его таланте и обаянии, выражается символами, порой не до конца ясными (чёрный кот, который в усы усмешку прячет), а Галич всё называет впрямую, своими именами. Его гражданское чувство, мол, куда сильнее и действеннее.

Это не локальная проблема: Окуджавы – Галич. Когда появился фильм "Покаяние", его многие не приняли за иносказательность, "замаскированность" героя. Надо было делать фильм впрямую о Сталине, а не размыывать образ: то ли Сталин, то ли Берия, то ли какой-то диктатор местного масштаба. Но громадность этого фильма как раз в том, что он даёт вселенский, на все времена образ деспотизма: от древних царств и Рима до наших дней, а не разменивается на конкретику частных судеб и характеров.

Первый фильм о пережитом апокалипсисе мог быть только таким. Трагический фильм впрямую о Сталине вообще невозможен, потому что, превращая жизнь в трагедию, сам Сталин не был фигурой трагической. Низкорослый, рябой, сухорукый, косноязычный дворцовый интриган с примитивным мышлением и отсутствием душевной жизни – отсюда его ошеломляющее и часто необъяснимое кроводавление – не Макбет и даже не Ричард III – у него не могло быть такого взлёта, как у горбатого хромца, обольстившего венценосную вдову над могилкой убитого им мужа. И о Гитлере не может быть трагического произведения, он тянет разве что на сатиру в духе чаплиновского "Великого

диктатора". Сталин страшная, но пошлая фигура. Художественное чутьё Абуладзе подсказало ему единственно верное решение. Он создал могучий символ, а не бытовую, пусть и "украшенную" всеми пороками фигуру» /там же, стр. 268 – 269/.

Позволю себе не согласиться ни с чем, сначала и до конца.

Галич не предпринимает прямолинейных лобовых атак, не "всё называет напрямую своими именами". Он глубинно-образен, многоассоциативен и многопланов в отношении к фактам и героям – как быта, так и истории. Далее: на мой непрофессиональный взгляд, талантливому Абуладзе его фильм "Покаяние" решительно не удался. Образ диктатора в нём не символичен, а эклектичен. Фильм богат ложной красотостью и нестрашными ужасами. В действительности (не в фильме), Сталин – фигура inferнально жуткая, как и Гитлер, а не скучно-пошлая. По-видимому, эти два страшных феномена нашего века ещё художественно не воплощены; на русском языке – во всяком случае.

То, что Галич отказался от пресловутого подтекста советской литературы, это понятно. Он ответил на вызов времени. Он больше не мог утончённо и благополучно травестировать "великую эпоху" в маскарадную ветошь. Бывают времена столь долгой лжи и столь изощрённого иносказания, что поразить сознание современников можно (если ещё можно), только прекратив маскарад. Но это вовсе не значит, что отказ от костюмерной мишуры отменяет символизацию как полноценный художественный приём. Нагибин считает, что Окуджаве удалось символизировать Сталина в песенке о чёрном коте. Не слишком ли безобидное уподобление? Не спасают даже аналогии с чёрным пуделем Гёте и с чёрным котом Булгакова. Каковы бы ни были намерения Окуджавы, его изящная символизация получилась добрей и безобидней. Это скорее ещё одна реминесценция на тему бессмертного "Тараканища" – некоего ничтожного, но раздутого нами самими зла ("У страха глаза велики"). А Сталина воробью не склонуть. По сей день. Сталин – это даже не та метафизическая сила, которая, жажда творить Зло, творит Добро. Нет, Сталин – одна из личин Зла **абсолютного**.

Ища в своё время для друга (как для себя самого) компромиссный выход, Нагибин проглядел, что Галич уже вышел из братства законопослушных скептиков, что он отказался от правил их довольно-таки циничной игры.

Уйдя от них, он не укрылся ни в нейтральности, ни в надмирности. Из современника Нагибина Галич стал современником Ахматовой.

Но вернёмся к "Покаянию" Абуладзе. Тиран Абуладзе составлен по известному классическому рецепту: пенсне Берия приставлено к челюсти Муссолини, ко лбу Сталина, к усикам Гитлера и т.п. Может быть, я перепутала детали, но это не важно. Есть там ещё и роуль в кустах. Но живёт и вызывает острую жалость только застрелившийся мальчик.

У Галича же Сталин действительно символичен – в "Ночном дозоре". И как бы не пророчески. Его я рискну процитировать полностью. Это именно тот (не единственный у Галича) случай, когда из песни слова не выкинешь. К несчастью, голос и гитара Галича неизбежно остаются вне текста.

Когда в городе гаснут праздники,
Когда грешники спят и праведники,
Государственные запасники
Покидают тихонько памятники.

Сотни тысяч - и все похожие -
Вдоль по лунной идут дорожке,
И случайные прохожие
Кувыркаются в неотложки.

И бьют барабаны.

На часах замирает маятник,
Стрелки рвутся бежать обратно -
Одиноким шагает памятник,
Повторённый тысячекратно.

То он в бронзе, а то он в мраморе,
То он с трубкой, а то без трубки,
И за ним, как барашки на море,
Чешут гипсовые обрубки.

И бьют барабаны.

* * *

Он выходит на место лобное -
Гений всех времён и народов -
И как в старое время доброе
Принимает парад уродов.

И бьют барабаны.

* * *

Утро родины нашей розово,
Позывные летят, попискивая...
Восвояси уходит бронзовый,
Но лежат, притаившись, гипсовые.

Пусть до времени покалечены.
Но и в прахе хранят обличье -
Им бы, гипсовым, человечины -
Они вновь обретут величие.

И будут бить барабаны.

/Сб. "Песни русских бардов". Сер. I, стр. 152 - 153. Париж: Изд. УМСА-PRESS. 1978/.

К слову: дети Берия, Сталина, Муссолини и т.п. в наши дни не стреляются, а пишут доходные мемуары. Открывать в своих отцах светлые качества, отнятые у покойных клеветниками, бывшим наследным принцам и принцессам уже не стыдно и не страшно. Не значит ли это, что привидения перестали бояться крика петухов?

Подчеркнём ещё раз: голос Галича прозвучал в то время, когда только умолчаниями, подтекстом и даже Самиздатом (тем более - Тамиздатом) пробавляться далее стало немислимо. Подтверждением этого служат слова Нагибина, инородные предыдущему тексту:

«Я по заслугам потерял Сашу. Он шел своим крестным путём, он был обречён песне, знал, что его ждёт жестокая расплата: либо тюрьма, либо изгнание, и не мог тратить душевные силы на тех, кто был всего лишь тёпел» /Ю. Нагибин. Срочная командировка, или дорогая Маргарет Тэтчер. Стр. 271/.

К этому добавить нечего. Разве что заглянуть за убийственную параллель (ни холоден, ни горяч – тёпел).

Нагибин весьма точно передаёт атмосферу круга, в котором долгое время был своим, но не смог более оставаться Галич:

«Сейчас, когда мой рассказ, вдруг сильно рванувшийся в будущее, вновь вернулся в гиблые сталинские времена, уместно коснуться темы, которая не даёт покоя нынешним хорошим молодым людям. Это гласно и безгласно обращённый к нам, старикам, вопрос: как можно было жить в кошмаре террора, зубодробительных проработок, садистских унижений, одуряющей демагогии, доносительства и предательства. Я могу ответить за своих сверстников, родившихся вскоре после революции. Мы жили молодостью, которая из-за войны чудно растянулась и довела нас до пятьдесят третьего года с неиссякаемыми надеждами, с готовностью начать новую человеческую жизнь. И мы её начали. Впрочем, не надо думать, что предшествующую жизнь мы считали нечеловеческой, как бы ужасна она ни была. Есть такая штука – повседневность. Она заполняет время и даёт ему течь незаметно, ибо лишь незаполненное время замирает, превращается в стоячую лужу. Мы, наш круг людей, решившихся верить друг другу и не обманувшихся в этом, находили в общении друг с другом много радости. А дурное, о чём говорилось выше, пришло куда позже, но опять же обернулось лишь моральным, а не физическим предательством, служа делу самосохранения» /там же, стр. 238 – 239/.

"Моральное предательство" надо понимать, по-видимому, как самопредательство? Или как умолчание о "собственном мнении"? Или как принятие – молча, то есть без возражений и протеста – любых решений власти? Тогда не об этом ли "моральном предательстве" – "Старательский вальсок"? "Промолчи – попадешь в палачи. Промолчи, промолчи, промолчи". Ведь громыхали во всю страшные годы: 1946-й – 1953-й, время, открыто пожилавшее свою жатву. Жизнь друзей протекала в Москве сессии ВАСХНИЛ, в Москве "безродного космополитизма", в Москве "дела врачей"...

Приходится ставить себе в заслугу, что физически не приложил к убийствам руки, то есть не был ни сексотом, ни палачом? Слабое самоутешение...

«В принципе каждый из нас мог уничтожить другого да и всех сразу одним росчерком пера. * Каждый был для другого инженером Гариным, вооруженным лучом смерти. Неважно, что такое же оружие было у стоящего рядом, это не тормоз, а скорее побудитель к опережающему действию, но мы все уцелели, а ведь круг наш был очень широк. Наверное, это придавало тогдашнему общению особую значительность и ценность, что-то почти ритуальное было в наших частых сборищах, которые мы всё же не подвергали опасности политических разговоров. Да и о чём было говорить? Война и первые послевоенные годы были залиты алым светом патриотизма. О политике заговаривали лишь провокаторы и стукачи. Нас это не интересовало» /там же, стр. 239 – 240/.

Ваше счастье. Вы умывали руки, от чего, как известно, они не становятся чище. А что было делать тем, кого **это** интересовало? Кто не мог закрыть слух и залить глаза, сколько бы ни эстетствовал и ни пил? Галича, по-видимому, интересовало. Иначе откуда взялись бы страсть и всеведение, накопленные для пения?

Нагибин и сам пишет:

«И это была жизнь, которая формировала Сашу. Ведь песни, которые из него хлынули, как вода из раскрученного крана, где-то в шестидесятые, возникли не враз, а вызревали постепенно, ещё в молчании-мычании сороковых и пятидесятых, когда шла работа наблюдения, работа страдания и сострадания, крутёж среди людей и внезапное затворничество. Мы думали, что Саша погружается в свою сокровенную драматургию, летучие пьесы не требовали самоизоляции, но, возможно, тогда уже творилась в горле певца его главная песнь, что в должный час разольётся по всей стране без помощи радио, телевидения, пластинок и профессиональной эстрады» /там же, стр. 241/.

Во-первых, далеко не все работали "в меру отпущенных сил" (Нагибин). Даже очень приглушенные повести Нагибина, которые он в оправдание себе – с тех лет – за собой числит, пролежали в ящике до "перестройки и гласности". Я, впрочем, и в этом сомневаюсь: молодой Нагибин писал лучше. Вряд ли "Встань и иди" старше 1980-х годов. Во-вторых, не потому ли и ушел из этого круга Галич, что не мог он утешаться недонесением и нейтральными поделками или немymi тетрадами? Отбросив самоцензуру и презрев цензуру, Галич ушел из квазиэлитарной "вороньей слободки", которую один из её заслуженных старожиллов титуловал "родовым доменом интеллигенции".

Волеи-неволеи приходит на ум знаменитый "черный" анекдот о Ленине, имитирующий выступление Крупской на детском утреннике. Его суть – сельский мальчишка, в Горках, наблюдает, как Ленин бредет Ленин, в свою очередь, поглядывает на мальчишка "Потом бритвочку вытер... и положил ее в футлярчик. А ведь мог бы и полоснуть!" – умительно заключает Крупская свои рассказ /прим. Д Ш /

Термин "домен" (французское "domaine" – родовое владение, поместье) употреблён был в данном словосочетании ("родовой домен интеллигенции") как символ духовного и нравственного достоинства, как некий "знак качества", знак пребывания над мелочной злобой дня.

Но образованнический клан, в массе своей, лишь посылно **имитировал язык** истинной духовной элиты общества, а не принимал на себя **крест её сути**. Галич же в эту элиту **вошел "по сути своей"** (О.Мандельштам).

Все диалекты "великой эпохи" Галич великолепноше **имитировал**. В нём же самом, в его личном, собственном чувствовании, мышлении, **самовыражении** восторжествовал преемственный духовный опыт (**язык**) меньшинства призванных.

Нельзя забывать, что Галич, как все прославленные российские "барды", – актёр, исполнитель, то есть, в определённом смысле и в определённой степени, каждый раз – маска. Но он ещё и Автор, и лирический герой. И потому его собственное лицо – далеко не всегда скрыто маской. Без маски оно сродни лицу пастернаковского Гамлета:

**"Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далёком отголоске,
Что случится на моём веку.
На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, авва отче,
Чашу эту мимо пронеси"**

Попробуем взять на себя нелёгкую задачу – под масками и за масками одарённого актёра разглядеть лицо лирического героя. Выделим в потоке блестящих миниатюр то, что говорится **от собственного имени**, а не от имени воссоздаваемого персонажа. Это не так легко сделать, как может показаться на первый взгляд. Сплошь и рядом в текстах, игре и музыке Галича либо герой – не тот, за кого он себя (сюжет его) выдаёт, либо Галичу, а не его персонажу принадлежит парадоксальность представленных психологических ситуаций, многослойность отклика, градуирование смешного и страшного – от юмора до сарказма, неуловимые переходы от издёвки и ненависти – к состраданию и молитве, смыслообразующая нагрузка оговорок и ритмов – всего не перечить.

Приведу несколько (из бесчисленных) примеров.

Раскулаченный, отбывший четвертак на лесоповале, – с отрочества до поздней зрелости, – а теперь "вольный" лесник, может ли так говорить, как он говорит у Галича? Если, конечно, он, лесник, – тот, за кого себя выдаёт:

**- Значит так – на Урале
В предрассветную темь
Нас ещё на вокзале
Оглушила метель.**

И дивились пришельцы,
Барахлишко сгрузив,
Кулаки да лишенцы,
Самый первый призыв!

Значит так - на Урале
Холода не пустяк.
Города вьмиралы,
Как один, под иссяк.

/Сб. "Песни русских бардов". Сер. I, стр. 102. Париж: Изд. УМСА-
PRESS. 1978/.

Вряд ли весь этот текст - из внутреннего словаря персонажа. Скорее он из словаря Галича. А впрочем, впрочем... Чувствует герой именно так, как сказано - спето за него Галичем. Городской хмырь, из повыше поставленных, перекупает у лесника иконы, которые тот разыскивает по сёлам. Хмыря лесник легко обводит вокруг пальца. Не в смысле наживы - на кой она ему? - а в смысле своего мнимого простодушия. Потому хмырь и раз-размягчен, и доверчив. Вот его голос (вроде бы его, а не Галича):

- Королевич, да и только,
В сумке пиво и сучок,
Подрудила птица-тройка,
Сел стукач на облучок,

И айда и трали-вали,
Все белым-бело вокруг...
В леспромхозе на канале
Ждёт меня любезный друг.

Он не цыган, не татарин и не жид.
Он надёжа мой, комаринский мужик,
Он утеха на обиду мою.
Перед ним бутылка с рябиновой,

Он сидит, винцо покушивает,
Не идёт ли кто, послушивает -
То ли пеший, то ли конный,
То ли "Волги" воркотня...

И сидит мужик законный,
Смотрит в сумрак заоконный,
Пьёт вино и ждёт меня.
Ты жди, жди, жди, обожди, не расстраивайся.

. . .

Ты любезный мой, надёжа из надёж,
Всю вселенную проедешь - не найдёшь,
Самый подлинный-расподлинный,
Не носатый, не уродливый.
А что зубы под чистую тютю, -
Так, верно, спьяну обломал об кутю.

Не стесняйся - было-сплыло,
Кинь под лавку сапожки,
Прямо с жару, прямо с пыла

Ставь на стол вино и пиво,
Печь лучиной разожги.
Ты жги, жги, жги, говори, поворачивайся...

/там же, стр. 102 - 103/.

Но некоторые тончайшие лексико-интонационные нюансы (автора персонажа?) свидетельствуют, что и хмырь не прост.

"Королевич" обидой тоже не обойдён. В шоферах у него - стукач. И сам он, "вертухаево семя", чем-то крепко подшиблен. А хозяину избы в пору за топор браться по его настрою и биографии, но...

Сладок угорь балтийский,
Слаще закуси нет...
Николай Мирликийский
Запелённут в пакет.

. . .

Мне б с тобой не в беседу,
Мне б тебя - на рога.
Мне бы зубы - да нету...
Знаешь слово цинга?..
Вертухаево семя,
Не дразни, согрешу!
Ты заткнись про спасенье,
Спи, я лампу гашу.

А наутро я гостей разбужу,
Их, похмельных провожу к гаражу.
Заезжайте, гости милые, навевывайтесь!

/там же, стр. 104; выд. Д.Ш./.

Строка: "Ты заткнись про спасенье" - говорит о споре, куда более глубоком, чем пьяная болтовня вертухаева отпрыска с бывшим зеком из раскулаченных.

Казалось бы, где актёрская маска самоочевидней, чем в "Истории о том, как Клим Петрович добивался, чтоб его цеху присвоили звание цеха коммунистического труда"? Но ведь и Клим Петрович по-галичевски неоднозначен. Пропитанность его вроде бы дураковатых монологов солью иронии - это и от автора, и от народного всепонимания (под дурашливой миной). Нелегко разобраться, где тут Клим Петрович из-под маски выглядывает, а где - Галич:

И пусть говорят, ты прав, говорят,
И продукция ваша лучшая,
Но всё ж, говорят, не драп, говорят...
А проволока колочая...

Ну, что ж, говорю, отбой, говорю,
Пойду, говорю, в запой, говорю,
И запил.

/там же, стр. 107/.

"Петербургский романс" такого вопроса (кто говорит?) не вызывает. В нём звучит голос Галича, уже – в песне – на площадь вышедшего. К тому времени он пел везде, куда звали. Но ему казалось, что тихо, что мало, что не тем поёт, кому надо. Его терзала предопределённость забвения. Его постоянная параллель – декабристы и малая рать протестантов советского времени – звала петь громче. Время подарило ему героев – рыцарей открытого шага, а не потаённой тетради, не гитары. Восемь человек, среди которых женщина с младенцем, вышли на площадь в знак протеста против оккупации Чехословакии. Они простояли считанные минуты: их смяли и поволокли на расправу. На их ли фоне, на фоне ли каре декабристов, "тайная свобода" песни и рукописи, пускаемой по рукам, видится чуть ли не постыдной:

О, доколе, доколе –
(И не здесь, а везде)
Будут Клодтовы кони
Подчиняться узде?

И всё так же, не проще,
Век наш пробует нас:
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь,
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь
В тот назначенный час?

Где стоят по квадрату
В ожиданье полки –
От Синода к Сенату,
Как четыре строки.

/там же, стр. 112/.

* * *

Лёгкая кавалерия песни – вот то единственное, что ему остаётся в его не-терпении. Лёгкая и малочисленная кавалерия. И какая же тоска его разбирает по книжке, которой нет и не предвидится! Как в детстве – по велосипеду, которого так ребёнку **ко времени** и не подарили. Велосипед появился с опозданием на детство. Книги и кассеты придут с опозданием на жизнь. А пелось – для современников, не для потомков. Да и от-кроет ли слух для отзвучавших песен потомок? Будут ли они ему нужны как хлеб насущный, как были нужны нам, современникам и соотечественникам?

О как мне хочется, взрослому,
Потрогать пальцами книжку
И прочесть на обложке фамилию -
Не чью-нибудь, а мою..
Нельзя воскресить мальчишку,
Считайте, погиб в бою.
Но если нельзя мальчишку
И в прошлое - ни на шаг,
То книжку-то можно? Книжку?
Её почему никак?

Величественный, как росчерк,
Он книжки держал подмышкой.
Привет тебе, друг доносчик,
Привет тебе с новой книжкой.
Партийная илиада,
Подарочный холуяж..
Не надо мне так, не надо,
Пусть тысяча весь тираж,
Дорого с суперобложкой?
К чёрту суперобложку!
Но нету суперобложки
И переплёта нет..
Немножко пройдёт, немножко,
Каких-нибудь тридцать лет.
Не в будущем - в этом веке -
Вот она, эта книжка,
Снимает её мальчишка
С полки в библиотеке.
А вы говорили, - бредни!
А вот - через тридцать лет..
Пылится в моей передней
Взрослый велосипед..

/там же, стр. 120/.

Ощущение своей немоты и неслышности - одно из главных и мучительнейших чувств певцов и пророков, приходящих к своему адресату с опозданием, для них - роковым. Ибо печататься, тиражироваться, звучать во всю силу надо тогда, когда твоего голоса - ждут, когда ты можешь ощутить отклик и отзыв, когда люди вокруг переживают то же, что и ты. И, может быть (так мнится), тебе удалось бы на них повлиять, прозвучи ты вовремя и широко. Внукам не до переживаний дедов и бабок: им своего хватит. Не услышанный современниками становится - в лучшем и счастливейшем случае - достоянием специалистов и любителей.

Прилетает по ночам ворон,
Он бессонницы моей кормчий.
Если даже я ору ором,
Не становится мой ор громче.
Он едва на пять шагов слышен,
Но и это, говорят, слишком,

Но и это, словно дар свыше -
Быть на целых пять шагов слышным.

/там же, стр. 128/.

Но издать свою тысячу экземпляров где-то там, за родным горизонтом, он не хочет. Хотя и придётся, ибо при жизни ничего другого ему не останется. Как горько он напугивал отрывающихся, утверждая свою неотрывность от этой земли:

Я стою на пороге года,
Ваш сородич и ваш изгой,
Ваш последний певец исхода...
Но за мною придёт другой.

. . .

Я стою, велика ли странность?
Я привычно машу рукой -
Улетайте... А я останусь,
Я на этой земле останусь!
Кто-то ж должен, презрев усталость,
Наших мёртвых беречь покой.

/там же, стр 131 - 132/.

Когда-то Игорь Губерман в одном из блистательных своих четверостиший писал:

**"Сегодняшний день лишь со временем
откроет свой смысл и цену:
Москва истекает евреями
через отверстие Вены".**

Не изменяющий своему происхождению, не отрекающийся от своего еврейства, православный христианин Галич любит Россию верной и гордой любовью нелюбимого сына. Вмстит ли, возместит ли Россия посмертным признанием эту горькую преданность?

Ты не часто мне снишься, мой отчий дом,
Золотой мой недолгий век.
Но всё то, что случится со мной потом, -
Всё отсюда берёт разбег.

. . .

Как же странно мне было, мой отчий дом,
Когда некто с пустым лицом
Мне сказал, усмехнувшись, что в доме том
Я не сыном был, а жильцом.

. . .

Но когда под грохот чужих подков
Грянет свет роковой зари, -
Я уйду, свободный от всех долгов,
И назад меня не зови.

Не зови вызволять тебя из огня,
Не зови разделить беду,
Не зови меня, не зови меня,
Не зови... Я и так приду.

/там же, стр. 135/.

И так - во всём: неспособность к измене. Растворённость в русском народном море, но не ренегатство по отношению к желтой звезде. Надежда, что море примет и эту свою каплю, чужую кровинку. Вслушайтесь в "Песню про тещу из Иванова":

...Он припёр вешички в гололёдицу -
(Всё в один упрятал узел драненький)
И свалил их в угол, под поленницу -
И холсты, и краски, и подрамники.

Томка вмиг слетала за "Кубанскою",
То да сё, яичко, два творожничка...
Он грамм сто принял, заел колбаскою
И сказал, что полежит немножечко.

Выгреб тайно из пальтишка рваного
Нембутал, прикопленный заранее...
А на кухне теща из Иванова
Ксения Павловна, вела дознание.

За окошком ветер мял акацию,
Билось чьё-то сизое исподнее...
- А за что ж его? - Да за абстракцию.
Это ж надо... а трезвону подняли...

Он откуда родом? - Он из Рыбинска.
- Что рисует? - Всё натуру разную.
- Сам еврей? - А что? - Сиди, не рыпайся,
Вон у Лидки - без ноги да с язвою.

Курит много? - В день полпачки "Севера".
- Лидкин дьявол курит вроде некрута.
А у них ещё по лавкам семеро...
Хорошо живёте? - Лучше некуда!

- Лидкин, что ни вечер, то с приятелем.
Заимела, дура, в доме врага.
Значит, окаянный твой с понятием...
В день полпачки "Севера" недорого.

Пить-то пьёт? - Как все, под воскресенье.
- Лидкин пьёт - вся рожа окарябана. -
Помолчали, хрустнуло печение...

И, вздохнув, сказала тёща Ксения:
- Ладно уж, прокормим окаянного!..

/там же, стр. 148 - 149/.

Может, и впрямь прокормят и обогреют? Оценят мало пьющего и мало курящего? Может быть, он забудет про нембутал? Поди разбери, кто тут свой, кто чужой. Помните Б.И. Розенцвейга, борца против публикации дневника Анны Франк, девочки, развеянной по ветру пеплом? И сотруднице товарища Розенцвейга Раису Орлову: "С детства я ненавидела хилое, трусливое, то, что я считала еврейским..."

Но - расстанемся с этой темой на всепримиряющих и непримиримых словах из "Объяснения в любви". Напомню сюжет: переполненный автобус, пожилая женщина, задумавшись, забыла купить (пятикопеечный тогда) билет. Пассажир, сытая наглая морда, набросился на неё с обличениями. Не пересказать, но вот несколько отрывков:

"Люди, я любил вас, будьте бдительны"
Юлиус Фучик

Я люблю вас, глаза ваши, губы и волосы,
Вас, усталых, что стали до времени старыми,
Вас, убогих, которых газетные полосы
Ежедневно бесстыдными славят фанфарами.

. . .

А она стоит, печальница всех сухих на земле,
Стоит, висит, качается в автобусной петле.
А может, это поручни, да, впрочем, всё равно...
И спать ложилась к полночи, и поднялась - темно.
Всю жизнь жила - не охала, не кляла белый свет.
Два сына было - сокола - обоих нет как нет:
Один погиб под Вислою, другого хворь свела.
Она лишь зубы стиснула - и снова за дела.
А мужа в Потьме льдиною распутица смела,
Она лишь брови сдвинула - и снова за дела.
А дочь в больнице с язвою, а сдуру запил зять
И, думая про разное, билет забыла взять.

/там же, стр. 136 - 137/.

И тут - этот самый - "в шляпе", "с авоською" со своими нравоучениями по поводу позабытого билета:

Ты, мать, пойми, неважно нам, что дурость твой обман,
Но фигурально каждому залезла ты в карман.
Пятак - монетка малая, ей вся цена - пятак...
Но с неба каша манная не падает за так.
Она любому лакома. На кашу каждый лих...

И тут она заплакала, и весь вагон затих.
Стоит она, печальница всех сущих на земле,
Стоит, висит, качается в автобусной петле,
Бегут слезинки скорые, стирает их кулак...
И вот вам вся история, и ей цена – пятак.

/там же, стр. 137/.

Затем – завершение рамки, авторского монолога:

Я люблю вас, глаза ваши, губы и волосы,
Вас, усталых, что стали до времени старыми,
Вас, убогих, которых газетные полосы
Ежедневно бесстыдными славят фанфарами.

И пускай это время в вас ввинчено штопором,
Пусть мы сами почти до предела доверчены.
Но оставьте, пожалуйста, бдительность операм.
Я люблю вас, люди, будьте ж доверчивы.

/там же, стр. 137/.

А, может быть, всё-таки не надо быть доверчивыми настолько, чтобы
ложь и смерть входили в наши дома невозбранно?

* * *

Второй галичевский Сталин много сложнее уже нами упомянутого. Он
непоправимо раздвоен и ещё более непоправимо одинок. Человек в тиране
не проиграть не может. Неважно, чем, кем и как он убит. Но после всего
содянного его гибель неотвратима.

Хорошо верить, что в своей тяжбе с Богом тиран **разрушает лишь во
времени, а не в вечности**. А если правда за теми, в ком веры нет, и
убитые не воскреснут? Сталину (Галича) не удаётся до конца дотоптать
свою веру своими же коваными сапогами. Она тлеет, как головня от недо-
тушенного пожара. И потому он умирает с адом в душе.

Циклу "Размышления бегуна на длинные дистанции", в который входят
эти стихи о Сталине, предшествует эпитафия из Блока: "Впереди Иисус Хри-
стос". Поэма "Двенадцать" сегодня читается по-разному. Традиционно
предполагалось, что, в представлении Блока тех лет, Христос незримо ве-
дёт за собой апостолов революции. Даже последнюю пьянь и рвань. Те-
перь, когда слишком уж тяжело видеть Блока верящим в революцию, по-
появляются предположения, что, по его замыслу, Христос уходит от ре-
волюционной черни, а не ведёт её. Я не думаю, что мы вправе переигр-
ывать судьбу Блока, попытавшегося отождествить слепой бунт с Высшей
Правдой. Но в цикле Галича богоборчество Сталина безоговорочно заверша-
ется его поражением. И, главное – безумным, нечеловеческим его стра-
хом, осознанием непоправимой своей богооставленности. Вот отрывки из
"Подмосковной ночи" (третье стихотворение вышеупомянутого цикла):

..От угла до угла, потерянно,
Он шагает, как заводной...
Сто постелей ему постелено,
Не уснуть ему ни в одной.

. . .

Вином упиться?
Позвать врача? -
Но врач - убийца,
Вино - моча.

Вокруг потёмки
И спят давно
Друзья-подонки,
Друзья-говно...

На целом свете
Лишь сон и снег...
А он в ответе
Один за всех...

И как будто стирая оспины,
Вытирает он пот со лба.
Почему, почему, о Господи,
Так жестока к нему судьба?

То предательством, то потерю
Оглушает всю жизнь его...
Что стоишь ты там за портьерою?
Ты не бойся меня, Серго!

. . .

Ты напой мне, Серго, грузинскую,
Ту, любимую мной, кацо.

Ту, что деды певали исстари,
Отправляясь в последний путь...
Пой, Серго, и забудь о выстреле,
Хоть на десять минут забудь...

Но полно, полно,
Молчи, не пой!
Ты струсил подло -
И пёс с тобой!
И пёс со всеми -
Повзводно в тлен!
И все их семьи
До ста колен!
Повсюду злоба,
Везде враги...
Ледком озноба,
Ледком озноба - шаги, шаги...

. . .

Неприказанный, неположенный,
За окном колокольный звон...
И, упав на колени, - Боже мой! -
Произносит бессвязно он.

- Молю, Всевышний,
Тебя, Творца,
На помощь выйди
Ко мне гонца.
О дай мне, дай же
Не кровь - вино...
Забыл, как дальше,
Но всё равно.
Не ставь отточий
Конца пути,
Прости мне, Отче,
Спаси, прости.

/там же, стр. 140 - 141/.

Это, конечно, монолог Галича, а не Сталина. Это Сталин, каким не может его не видеть человечность Галича, Сталин, очеловеченный Галичем хотя бы в последнем крике.

Зато повесть о том, как восприняли смерть Сталина "и вохровцы, и зеки" ("Разговор в вагоне-ресторане", 4-я часть цикла) - это поистине наскальная живопись эпохи.

А случилось дело так:
Как-то ночью странною
Заявился к нам в барак
Кум* со всей охранюю.

Я подумал, что конец,
Попрощался матерно..
Малосольный огурец
Кум жевал старательно.
Скажет слово и поест,
Морда вся в апатии, -
Был, - сказал он, - говны, съезд
Славной нашей партии.

Про Китай и про Лаос
Говорились прения,
Но особо встал вопрос
Про Отца и Геня. -

Кум докушал огурец
И закончил с мукою,
Оказался наш Отец
Не отцом, а суюю.

Полный, братцы, ататуй -
Панихида с танцами..
И приказано статуй
За ночь снять со станции.

³ На блатном жаргоне - лагерный оперуполномоченный органов госбезопасности

Ты представь, метёт метель,
Темень, стужа адская -
А на нём одна шинель,
Грубая, солдатская.

И стоит он напролом,
И летит, как конница...
Я сапог его кайлом -
А сапог не колетя.

Помню, глуп я был и мал,
Слышал от родителя,
Как родитель мой ломал
Храм Христа Спасителя.

Бассан-бассан-бассана...
Чёрт гуляет с опером...
Храм и мне бы ни хрена -
Опиум, как опиум...

А это ж - Гений всех времён,
Лучший друг навеки...
Все стоим, ревмя ревём -
И вохровцы, и зеки.

Но тут шарахнули запал, -
Применили санкции -
Я упал, и Он упал,
Завалил полстанции...

Ну, скостили нам срока,
Приписали в органы...
Я живой ещё пока,
Но, как видишь, дёрганый.

Бассан-бассан-бассана,
Бассаната, бассаната...
Лезут в поезд из окна
Бесенята, бесенята...
Отвяжитесь, мертвяки,
К чёрту, ради Бога!..
Вечер, поезд, огоньки,
Дальняя дорога.

/там же, стр. 142 - 143/.

Какая уж тут двухцветность, если Бога легче было отдать, чем Сталина? Поневоле приходит в голову кощунственная, с точки зрения многих чувствительных людей, мысль: не путают ли они, эти критики Галича, богатство красок со способностью хамелеона менять свою окраску? Этой способности у Галича, действительно, не было.

В 5-м стихотворении цикла, "Аве Мария", есть такие строфы:

А Мадонна шла по Иудее!
И всё легче, тоньше, всё худее

С каждым шагом становилось тело.
А вокруг шумела Иудея,
И о мёртвых помнить не хотела.
Но ложились тени на суглинок,
И таились тени в каждой пяди -
Тени всех бутырок и треплинок,
Всех измен, предательств и распятий.
Аве Мария...

/там же, стр. 144/.

"Послесловие, написанное во хмелю" - это горестный вывод, горестный всхлип обманутого поколения:

И всё-таки я, рискуя прослыть
Шутом, дурачком, паяцем,
И ночью, и днём твержу об одном -
Не надо, люди, бояться!
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы,
Не бойтесь мора и глада,
А бойтесь единственно только того,
Кто скажет: "Я знаю, как надо!"
Кто скажет: "Идите, люди, за мной,
Я вас научу, как надо!"

. . .

Земля - зола, и вода - смола,
И некуда, вроде, податься.
Неисповедимы дороги зла,
Но не надо, люди, бояться.
Не бойтесь золы, не бойтесь хулы,
Не бойтесь пекла и ада,
А бойтесь единственно только того,
Кто скажет: "Я знаю, как надо!"
Кто скажет: "Тому, кто пойдёт за мной -
Рай на земле награда."

. . .

Кому сучок, кому коньячок,
К начальству на кой паяться?..
А я всё твержу им, как дурачок, -
Не надо, братцы, бояться.
И это бред, что проезда нет,
И нельзя входить без доклада..
А надо бояться только того,
Кто скажет: "Я знаю, как надо!"
Гоните его, не верьте ему -
Он врёт, он не знает, как надо!

/там же, стр. 144 - 145/.

А вдруг - знает? И мы снова Его за это распнём? Но Он ведь рай на Земле не обещал...

Нет, всё-таки напрасно Орлова заклинала Галича написать "о нас", и напрасно он отвечал, что ещё не время, что слишком сложно и страшно то, что с нами случилось. Или спасительно-неверно запечатлела её память тот разговор. Он много писал и пел о себе и своих современниках. И не меньше, чем о других, спел он песен о своём материнском слое – об интеллигенции. Одним – выносы инвективы, другим – возглася славу или вечную память. Можно ли выразить себя в гражданском смысле определённой, чем в следующем (без заголовка) монологе? Привожу отрывки, хотя выбирать трудно: всё – "по делу", и всё – блестяще.

Вот пришли и ко мне седины,
 Распеваётся вороньё.
 Не судите, да не судимы", -
 Заклинает меня враньё.

. . .

Не судите! Смирней, чем Авель,
 Падай в ноги за хлеб и кров.
 Ну писал там какой-то Бабель -
 И не стало его... Делов!

Не судите! - и нет мерила,
 Всё дозволено, кроме слов.
 Ну какая-то там Марина
 Захлебнулась в петле... Делов!

Не судите, малюйте зори,
 Забывайте своих козлов.
 Ну какой-то там чайник в зоне
 Всё о Федре кричал... Делов!

/там же. Сер. II, стр. 129/.

Позиция была обретена не легко и не сразу. Галич и сомневался, и обвинял себя, свою подозрительность и просил посвящённых рассеять его сомнения.

Пребывая в туманной чёрности,
 Обращаюсь с мольбой к историку, -
 От великой своей учёности
 Удели мне хотя бы толику.
 Я пути не ищу раскольного,
 Я готов шагать по законному,
 Успокой меня, беспокойного,
 Растволкуй ты мне, бестолковому:

Если правда у нас на знамени,
 Если смертной гордимся гордостью, -

То чего ж мы в испуге замерли
Перед ложью и перед подлостью?

/там же, стр. 129/.

Разве это не та же неутолимая жажда "труда со всеми сообща и заодно с **правопорядком**", что и у Пастернака? Но нельзя, невозможно, не удаётся примириться с такой явью!

А потому:

"Успокойте меня, беспокойного,
Растолкуйте мне, бестолковому..."

Но отвечают либо ложью, либо таким же неприятием сущего, как твоё. Причём неприятием сущего отвечают наиболее уважаемые и ценимые. И надежда на возможность приятия, примирения, тает:

Ах как быстро, несусветимы,
Дни пошли нам виски седить.
Не судите, да не судимь..
Так вот, значит, и не судить?
Так вот, значит, и спать спокойно?
Опускать пятаки в метро?
А судить и рядить - на кой нам?
Нас не трогай и мы не тро..
Нет, презренна по самой сути
Эта формула бытия.
Те, кто выбраны, те и судьи?
Я не выбран, но я - судья!

/там же, стр. 130/.

Не выбран, однако - **избран**.

* * *

Достаточно рано возникает у Галича мотив завещания, тема гибели. И как трагически мало у него надежды сохраниться в потомках:

..И какая к чертям судьба..
И какая к чертям труба..
Мне б частушкой по струнам влёт -
Да гитара, как видно, врёт.

. . .

Понимаю, что просьба тщетна -
Поминают поименитей.
Ну не тризною, так хоть чем-то
Хоть всухую да помяните.

Хоть за то, что я верил в чудо,
И за песни, что пел без склада...
А про то, что мне было худо,
Никогда вспоминать не надо.
И мучительна, и странна,
Всё одна дребезжит струна.
И приладиться к ней, ничьей,
Пусть попробует, кто ловчей.
А я не мог...

/там же, стр. 130 - 131/.

Так обрывается отходная себе. А за реквиемом себе следует цикл реквиемов другим.

* * *

Никто не написал об Ахматовой так, как Галич. С таким мужским ощущением того, что испытала бессмертная современница в толпе других измученных женщин в тюремной очереди. Великий поэт, плакальщица, красавица, чаровница из затонувшего града Китежа на Неве...

Вместо названия или обращения - её же строчка:

"...а так как мне бумаги не хватило,
я на твоём пишу черновике..."

Высокая боль. То, чего не было по возвращении у несчастной Марины. Всё - чисто, что бы там ни каркало вороньё.

Той чёрной порой, той неверной,
В тени разведённых мостов
Ходила она по Шпалерной,
Моталась она у Крестов...

Ей в тягость? Да нет, ей не в тягость -
Привычно, как росчерк пера...
Вот если бы только не август,
Не чёртова эта пора!

Когда-то, когда-то, когда-то,
Такой же был август, когда
Над чёрной водою Кронштадта
Стрельнула, как птица, беда.

И разве не в августе снова
В ещё неотмеренный год
Осудят мычанием слово
И совесть отправят в расход?

Но это потом, а покуда -
Которую ночь над Невой,
Уже не надеясь на чудо,
А только бы знать, что живой!

И в сумерки вписана чётко
Такая, как после, в гробу,
Седая девчоночья чёлка,
Прилипшая к мокрому лбу.

/там же, стр. 131/.

Она завещает (в стихах), чтоб ей поставили памятник (если решат, что достойна) на месте той очереди, где стояла она - в ряду сестёр. А под утро - домой. И, как все они, - к своему рабочему месту:

И не устав ни капельки как будто,
Задумчива, тиха и весела,
Она придёт, озябшая, под утро,
И никому ни слова, где была.

Но с мокрых пальцев облизнёт чернила
И скажет, притулившись в уголке, -
Прости, но мне бумаги не хватило,
Я на твоём пишу черновике.

/там же, стр. 132/.

Чем не счастливица? И умерла в своей постели. Как Пастернак. Помните?

Разобрали венки на венки,
На полчаса погрустнели...
Как гордимся мы, современники,
Что он умер в своей постели.

И терзали Шопена лабухи,
И торжественно шло прощанье...
Он не мылил петли в Елабуге
И с ума не сходил в Сучане.

Даже киевские "письменники"
На поминки его поспели...
Как гордимся мы, современники,
Что он умер в своей постели.

И не то, чтобы с чем-то за сорок -
Ровно семьдесят - возраст смертный.
И не просто какой-то пасынок -
Член Литфонда, Усопший - сметный.

Ах, осыпались лапы елочки,
Отзвенели его метели...
До чего ж мы гордимся, сволочи,
Что он умер в своей постели!

/там же, стр. 132 - 133/.

Если гордиться нечем, то порадоваться, пожалуй, стоит. Да, счастливец. Да, великий удачник, ещё один. Потому что это ведь, действительно, удача великая, счастливый случай, что

Не в тюрьму и не в Сучан,
Не к высшей мере,
И не к терновому венцу
Колесованьем...
А как поленом по лицу -
Голосованьем.

/там же, стр.133/.

Спросим у жены Мандельштама, она объяснит нам ещё раз, что не такое уж это тяжелое полено - голосование. Сколько бы раз она сквозь него прошла, если бы взамен - его жизнь.

Закалённый ГУЛагом, не размягчённый многолетней славой, Солженицын от такого "полена" похода отмахнулся. Исключаете? Правильно, исключайте: я и не ваш.

Да и Пастернаку - много ли было дела до их исключения после всего уже к тому времени написанного:

**Прощай, размах крыла расправленный,
Полёта вольное упорство,
И образ мира, в слове явленный,
И творчество, и чудотворство.**

("Август", 1953).

Но песня Галича ведь не столько о Пастернаке, сколько о голосовавших за его исключение.

Уверена, что ударила она больней всего по Борису Слуцкому. Пусть мне доказывают, что нет, что действовал он по зову сердца, по убеждению, - не поверю.

Мы не забудем этот смех
И эту скуку.
Мы поимённо вспомним тех,
Кто поднял руку...

/Сб. "Песни русских бардов". Сер. II, стр. 133. Париж: Изд. YMCA-PRESS. 1978/.

Слуцкий - поднял. И даже, говорят, выступил. Я знала Слуцкого в юности. И его преклонение перед Пастернаком - в те годы - помню. Я уверена в том, что он расплатился с собой за это голосование сполна.

* * *

В песне "Памяти Соломона Михайловича Михоэлса" поезд, везущий Михоэлса в Минск, сливается с поездом, везущих обречённых в Освенцим. Эта песня по сей день рвётся изнутри эшелона:

Ни гневом, ни порицаем,
Давно уж мы не бряцаем.
Здороваемся с подлецами,
Раскланиваемся с полицаем,

Не рвёмся ни в бой, ни в поиск -
Всё праведно, всё душевно...
Но помни, отходит поезд,
Ты слышишь, уходит поезд
Сегодня и ежедневно.

А мы балагурим, а мы куролесим,
Нам недругов лесть, как вода из колодца...
А где-то по рельсам, по рельсам, по рельсам -
Колёса, колёса, колёса, колёса...

. . .

Оплачен страховки полис,
Готовит обед царевна...
Но помни, отходит поезд,
Ты слышишь, уходит поезд
Сегодня и ежедневно.

Мы пол отциклуюем, мы шторки повесим,
Чтоб нашему раю ни краю, ни сноса...
А где-то по рельсам, по рельсам, по рельсам
Колёса, колёса, колёса, колёса...

От скорости века в сонности
Живём мы, в живых не значась,
Непротivление совести -
Удобнейшее из чудачеств.

И только порой под сердцем
Кольнёт тоскливо и гневно -
Уходит наш поезд в Освенцим,
Наш поезд уходит в Освенцим
Сегодня и ежедневно.

/там же, стр. 133 - 134/.

Сколь многие тщились с этого поезда соскочить. Напрасно. В Освенцим свозили ведь и полукровок. И даже крещёных. Билет, который нельзя вернуть. Плохо.

* * *

Небольшая поэма, посвящённая Михаилу Зоценко, внятна лишь посвящённому, лишь читателю-другу. Но ведь Зоценко и тосковал о таком читателе, а не о: "Гы-ы, здорово, во - даёты!" А верховное гыкающее мурло вписывало в обвинительное заключение, наряду с вульгарностью, ещё и заумность.

Я злоупотребляю цитатами, но - хоть несколько строк:

Спите, герои русской земли, Отчизны родной сыны..

Отодвинул шарманщик шарманку ботинкою,
Прибежала Тамарка с боржомной бутылкою
И сама налила чудаку полстаканчика -
Не знавали в шалмане подобные почести -
А Тамарка, в упор поглядев на шарманщика,
Приказала, - Играй! Человек в одиночестве.

Спит гаолян, сопки покрыты мглой..

Замолчали шлохи с алкашами,
Только мухи крыльями шуршали.
Почему-то стало очень тихо,
Наступила странная минута -
Непонятное чужое лихо
Стало общим лихом почему-то.

Спите, герои русской земли, Отчизны родной сыны..

Не взрывалось молчанье ни матом, ни брѣхами,
Обезьянка сипела спалѣнными бронхами,
И шарманщик, забыв трепотно свою барскую,
Сам назначил себе, мол, играй да помалкивай..
И почти что неслышно сказав, - Благодарствую! -
Наклонился чудака над рукою Тамаркиной.

Спит гаолян, сопки покрыты мглой..

И ушел чудака, не взявши сдачи,
Всем в шалмане пожелав удачи..

Вот какая странная эпоха:
Не горим в огне - и тонем в луже.
Обезьянке было очень плохо,
Человеку было много хуже..

Спите, герои русской земли, Отчизны родной сыны..

/там же, стр. 136 - 137/.

* * *

Один из шедевров Галича, реквием, одинаково потрясающий и в пении, и в чтении, посвящён Фриде Вигдоровой. Но и не всем ли нам, теряющим, тоже - по-разному, друзей и уходящим вслед?

Уходят, уходят, уходят друзья,
Одни - в никуда, а другие - в князья.
В осенние дни и в весенние дни,
Как будто в году воскресенья одни.

Уходят, уходят, уходят,
Уходят мои друзья.

. . .

Знать бы загодя, кого сторониться,
А кому была улыбка причастьем..

Есть уходят на последней странице,
Но которые на первых - те чаще.

Уходят, уходят, уходят друзья -
Каюк одному, а другому - стезя.
Такой по столетию ветер гудит,
Что косит своих и чужих не щадит.
Уходят, уходят, уходят,
Уходят мои друзья.

. . .

Не дарите мне беду, словно сдачу,
Словно сдачу, словно гривенник стёртый, -
Я ведь всё равно по мёртвым не плачу,
Я ж не знаю, кто живой, а кто мёртвый.

Уходят, уходят, уходят друзья,
Одни - в никуда, а другие - в князья.
В осенние дни и в весенние дни,
Как будто в году воскресенья одни.
Уходят, уходят, уходят,
Уходят мои друзья...

/там же, стр. 137 - 138/.

* * *

А вот - финал "Легенды о табаке". Точнее - о Данииле Хармсе:

На воле снег, на кухне чад, вся комната в дыму...
А в дверь стучат, а в дверь стучат - на ЭТОТ раз к нему...
О чём он думает теперь... теперь, потом, всегда
Когда стучит ногою в дверь чугунная беда?
А тут ломается строка, строфа теряет стать...
И нет ни капли табака, а там уж не достать.
И надо дописать стишок, пока они стучат.
И значит, всё-таки - мешок, и побоку зайчат.

А в дверь стучат!.. В двадцатый век...
Стучат!.. Как в тёмный лес...

Ушел однажды человек -
И навсегда исчез...

Но Парка нить его тайком по-прежнему прядёт.
А он ушел за табаком, он вскорости придёт.
За ним бежали сто собак, и кот по крышам лез...
Но только в городе табак как раз в тот день исчез.

И он пошел в Петродворец, потом пешком в Торжок...
Он догадался, наконец, зачем он взял мешок.

Он шел сквозь свет и шел сквозь тьму,
Он был в Кяхах и был в Крыму,
И опер каждый день к нему стучится, как дурак...
И много-много лет подряд
Соседи хором говорят:

- Он вышел пять минут назад -
Пошел купить табак...

/там же, стр. 139/.

* * *

А это - кусочек из "Возвращения на Итаку". И как узнаваемо всё и все:
и жирные пальцы, и две женщины, и Король:

..И жирные пальцы с неспешной заботой
Кромешной своей занимались работой.
И две королевы глядели в молчаньи,
Как пальцы копались в бумажной мочале,
Как жирно листали за книжкою книжку...
А сам-то король - всё бочком да вприпрыжку,
Чтоб взглядом не выдать - не та ли страница,
Чтоб рядом не видеть безглазые лица...

. . .

Щелкунчик, скворец, простофиля, емея,
Зачем ты ввязался в чужое похмелье?
На что ты истратил свои золотые?
И скушно следили за ним понятия.
А две королевы бездарно курили,
И тоже казнили себя и корили
За лень, за небрежный кивок на вокзале,
За всё, что ему второпях не сказали...

. . .

По улице чёрной за вороном чёрным -
За этой каретой, где окна крестом -
Я буду метаться в дозоре почётном,
Пока, обессилев, не рухну пластом.

/там же, стр. 140/.

Так и случилось...

* * *

И ещё одна песенно-стихотворная повесть без названия. О том, кому
поёт Галич и о чём он поёт, "черно-белый", упрощённо-двухцветный Га-
лич (не переписывать же его всего):

Непричастный к искусству,
Недопущенный в храм -
Я пою под закуску
И две тысячи грамм.

Что мне пениться пеной
У беды на краю?
Вы налейте по первой,
А уж я вам спою.

. . .

Спину вялую сгорбя,
Я не просто хулу,
А гражданские скорби
Сервирую к столу.

Как живёте, караси? -
Хорошо живём, мерси.

/там же, сер. III, стр. 124 - 125/.

Караси бывают разные, в том числе и "караси-идеалисты". Правда, с различными - в разные времена - идеалами. Правда и то, что со времён Салтыкова-Щедрина сказочка приобрела неведомую тогда суровость. Но ведь Галич пел не одним карасям. Его песни проникали в обе прилегающие к ним зоны: в рыбацьи подслушки и в человеческий слух. Но - продолжим:

Я напивно рюмку первую,
Про запас ещё налью,
Песню новую, непетую
Для почина пропою:

- Справа койка у стены, слева койка.
Ходим вместе через день облучаться -
Вертухай и бывший номер такой-то -
Вот где снова довелось повстречаться!

Мы гуляем по больничному садику,
Я курю, а он стоит на атаке,
Заливаем врачу-волосатику,
Что здоровье - хоть с горки катайся.

Погуляем полчаса с вертухаем,
Притомимся и стоим отдыхаем.
Точно также мы гуляли с ним в Вятке,
И здоровье было тоже в порядке..

Опоздавшие гости
Прерывают куплет.
Их вбивают, как гвозди,
Ибо мест уже нет.

Мы их лиц не запомним,
Мы как будто вдвоём,
Мы по новой наполним
И в охотку дольём.

Ах, в мундире картошка,
Разлюбезная Русь...
И стыжусь я немножко
А верней не стыжусь.

Мне как гордое право
Эта горькая роль,
Эта лёгкая слава
И привычная боль.

Как жуёте, караси?
Хорошо жуём, мерси.

/там же, стр. 125 – 126/.

Кто – хорошо, а кто – не очень. Многим Галич мешал успокоиться на малом искуплении больших грехов, оправдаться неполным ведением (тем более – неведением) того, что сами творили и что с ними творилось. А голос продолжает звучать. Где же взять слушателей почище, круг шире?

Ладно, пейте, рюмки чистые,
Помолчите только впредь.
Тише, черти голосистые!
Дайте, дьяволы, допеть.

Слева койка у стены, справа койка.
А на улице февральская выюга...
Вертухай и бывший номер такой-то –
Нам теперь невмоготу друг без друга.

. . .

Спит больница, тишина, всё в порядке,
И сказал он, приподнявшись на локте, –
Жаль, я, сука, не добил тебя в Вятке,
Больно ловки вы, жида, больно ловки. –

И упал он, и забулькал, заойкал,
И не стало вертухая, не стало,
И поплыла вертухаева койка
В те края, где ни конца, ни начала.

Я простышкой вертухая накрою...
Всё снежок идёт, снежок над Москвою.
И сынок мой по тому ль по снежочку
Провожает... вертухаеву дочку.

/там же, стр. 126/.

Кончилась песня. Пауза. Звон рюмок, стук вилок, скрежет ножей, пошлые реплики...

Незнакомые рожи
Мокнут в пьяной тоске...
И стьжусь я до дрожи,
И желвак на щеке.

Как стучите, караси? –
Хорошо стучим, мерси.

Всё плывёт и всё качается,
Добрый вечер, добрый день.

Вот какая получается
Извините, дребедень.

Получайник, получайница,
Больно много карасей.
Вот какая получается,
Извините, карусель.

Я сижу, гитарой тренькаю,
Хохот, грохот, гогот, звон...
И хозяйский сын за стенкою
Прячет в стол магнитофон.

/там же, стр. 127/.

Кто же он, хозяйский сын: стукач, сын стукача? "Вертухаево семя"? Отпрыск служающих по культуре? Или один из тех (чьи бы внуки и сыновья они ни были), кто выпустит песню из грешного застолья на простор, кто переведёт её с магнитофонной ленты на пластинку, запустит в типографский станок?

* * *

15 декабря 1977 года в Париже Галич погиб, подключая к радиоаппаратуре только что купленную антенну. Его дочь, Алёна Галич, высказала предположение, что он был убит, а непонятную в таком знатоке радиотехники небрежность инсценировали убийцы. Алёна упоминает в своей статье имена людей, по её словам, видевших Галича последними (см. газету "Наша страна", Тель-Авив, 26.XII.1994). Она же говорит и о пропавшей в дни смерти и похорон отца рукописи его романа "Ещё раз о черте".

И до, и после этой статьи подозрения о насильственной смерти Галича высказывались неоднократно. В частности, А.Д. Сахаровым:

«...у меня нет стопроцентной уверенности, что это несчастный случай, а не убийство. За одиннадцать с половиной месяцев до его смерти мать Саши получила по почте на Новый год странное письмо. ...В конверт был вложен листок из календаря, на котором было на машинке напечатано (с маленькой буквы в одну строчку): "принято решение убить вашего сына Александра". ...в хитроумной практике КГБ бывает и такое...» /А.Д. Сахаров. "Воспоминания", стр. 482. Нью-Йорк: Изд. им. Чехова. 1990. Выд. Д.Ш./.

* * *

Я начала главу о Галиче с воспоминаний о нём Ю. Нагибина. Судилось так, что Нагибиным придётся и завершить её. У меня в руках - поистине страшная книга - "Дневник Юрия Нагибина" /Изд. "Книжный сад". М., 1996/. Автор сдал книгу в печать за несколько дней до смерти. Он

умер 17 сентября 1994 года, скоропостижно. В краткой издательской аннотации, предваряющей книгу, сказано: **"Смерть роковым образом вмешалась в судьбу писателя, как бы холодно говоря, что дневник при жизни нужно хранить в столе"** /выд. Д.Ш./ . Значит, Нагибин был покаран смертью за прижизненное издание своего "Дневника"? Мне неведомы побуждения столь таинственных инстанций, как смерть. А поэтому попытаюсь взглянуть на писателя и его "Дневник" с позиций бренной земной жизни.

В книгу, о которой идёт речь, включены две относительно светлые части, по структуре и сути своей не дневниковые. Это главы о Галиче и о Мандельштаме. "О Галиче - что помнится" - перепечатка прежних изданий (мне показалось, что смягчённая и дополненная; сравнить сейчас не с чем). "Голгофа Мандельштама" - свободный монолог читателя и коллеги. Собственно же "Дневник" - это прижизненное открытие современникам доступа к своей душе, чадающей на вертеле повседневности. Так по-смертно открывается доступ к телу. Но - живыми, а не самим усопшим!.. Нагибин сам выложил свой дневник на стол, зная, что незамеченным он не останется. Следовательно, готов был прочитать и услышать, всё что о нём напишут и скажут. Зачем же ему нужно было становиться свидетелем того, чего при посмертной публикации он не увидел бы? Попробуем в это вдуматься.

Дневник писался с 1942-го по 1986-й год. Не регулярно, с большими паузами, но непосредственно по ходу событий этих 44-х лет. Жизнь писателя была страшной, и книга - страшная. И Юрий Нагибин во всех своих метаниях не утрачивал сознания того, что книга его жизни, она же - и томограмма его личности, - страшна. В отличие от какого-нибудь Кочетова или Фирсова, Нагибин в глубинах своей личности всегда знал, что - хорошо, а что - плохо. И понимал, что живёт плохо. И никакие общественные обстоятельства, никакие прегрешения других людей, никакие качества среды и строя не могли убить в нём этого понимания. В самые чёрные свои минуты он знал, чем они, эти минуты, черны. Главная чернота его жизни была в нём самом. Его нервный страх перед хозяевами жизни, перед возможными ударами, потерями и лишениями был сильнее, чем готовность идти до конца в своей к ним лютой чужести и неприязни. И тем более - чем жажда с ними сразиться. Этот "телёнок" осознавал свою слабость перед постоянной готовностью "дуба" стереть его в порошок. Страх этот и не давал ему развернуться во всю силу своего дара. Отсюда, возможно, и суетливая, суетная жажда утопить себя в наслаждениях, залить глаза водкой, быть "выездным", мотаться по свету. Отсюда и всяческая халтура, позволявшая наживать вещи, вещи, вещи... А главное - доказывать себе снова и снова в дневнике, в записях для себя, что никто не лучше, что все такие. Или (чаще) хуже, злее... Исключение сделано лишь для Солженицына (безоговорочно) и ещё для нескольких человек (с оговорками).

И снова: кому много дано, с того много и спросится. А Нагибину было дано много. Кто знает, что бы он создал, если бы пошел безоглядно за своим даром. Пишут и говорят, что Нагибин помогал многим. Он никогда не "стучал" и даже что-то подписывал в не слишком людоедские времена.

Он только хотел, вкушая все блага жизни и не рискуя их потерять, пройти между двумя безднами: бездной зла и бездной полной самоотдачи своему делу. Поэтому он растерял достойных друзей, яхшался с казёнными подонками. Ради этого он грешил "умеренностью и аккуратностью", а порой и прислуживался, хотя ему от этого и было тошно.

Но безнаказанно усмирять свой дар нельзя. С каждой уступкой посторонним для себя соображениям талант усыхает, а художник, слабея, ожесточается. Начинать же заново под семьдесят, когда страх отпал, было уже поздно. Силу таланта развеяла ржавчина. Многолетняя собственноручная ломка сказала на всём написанном в последние годы. Но дневник – то писался не в последние годы, а всю взрослую жизнь (с 22-х лет). И писался почти свободно. Почти – потому что до "оттепели" и даже до "перестройки" и в дневнике были сдержки, недоговорки, иносказания. Кроме того, с годами слабело зрение и чутьё, сужался кругозор. Отчасти это, подобно потребности почти всех видеть злыми, или ничтожными, или лживыми, диктовалось самозащитой. Отчасти же он многое переставал понимать. Он терял себя в непрестанной двойственности: маска прирастала к лицу.

И всё-таки у тязко неврастеничного, плохо защищённого от всяческих стрессов, с детства (арестами и ссылками отца, знакомых, родных), настроенного на ночной стук в дверь, разрушительно пьющего, старого и больного Нагибина хватило мужества по собственной воле развернуть историю своей болезни перед современниками.

Может быть, он хотел всего-навсего крикнуть: "Нате, читайте, залезайте мне в душу жадными лапами. Вы – такие же, как и я, кто – больше, кто – меньше". А может быть, он не захотел лишать себя прижизненного издания одной из сильнейших своих книг. Но мыслимо и другое: Нагибин решился вручить современникам книгу, в которой наша общая драма воплощена не в меньшей степени, чем его личная трагедия. Ведь потомки, даже ближайшие, быстро теряют живое участие в судьбах и мыслях отцов и дедов. А интерес книговедов и прочих специалистов слишком холоден и безличен. Он Нагибина, видимо, не устраивал.

Многолетнее балансирование между добром и злом, по мере старения и утомления человека, разрешается как правило в пользу глубокого равнодушия к морали как таковой. А так как добро требует усилий и душевных затрат, а зло (разрушение, угасание) творится само по себе, то проще коснуться во зло. Легче плыть до конца по течению, чем повернуть против него (против себя самого). Понимание и ощущение этого, то остро мучительное, то "подострое", было у Нагибина всегда. "Дневник" свидетельствует и об этом. Была и несбыточная надежда избежать самого страшно-го: взяв от жизни все её радости, не продать при этом душу дьяволу, не служить ему в самых злых делах. Но – "коготок увяз – всей птичке пропасть". Рано или поздно дорога ставит нас перед последним выбором: с кем ты остаёшься? И кем ты остаёшься?

Думается, что, открыв современникам свой дневник, со всеми его отталкивающими, позорными, трагическими, а также достойными уважения и сострадания страницами, Нагибин пошел по канату за Галичем без шеста и во мрак в последний момент не рухнул.

* * *

Я не буду гадать о том, умер ли Галич или его убили. Не буду пустословить на тему, что он написал бы или спел, дожив до наших дней. Лишь ещё несколько его строф:

Я в грусть по берёзкам не верю,
Разлуку слезами не мерь.
И надо ли эту потерю
Приписывать к счёту потерь?

Как в каменный век, онемело
Стоим мы на том рубеже,
Где тело как будто не тело,
Где слово не только не дело,
Но даже не слово уже!

Идут мимо нас поколенья,
Проходят и машут рукой.
Презреньё, презреньё, презреньё
Дано нам, как новое зреньё
И пропуск в грядущий покой.

А кони, крылатые кони,
Что рвутся с гранитных торцов,
Разбойничий посвист погони,
Игрушечный звон бубенцов.

А святки, а прядь полушалка,
Что жарко спадает на грудь...
Ужель тебе этого жалко?
Не очень, а впрочем, чуть-чуть.

Но тает февральская свечка,
Но спят на подушке сычи,
Но есть ещё Чёрная речка,
Но есть ещё Чёрная речка...
Не надо об этом! Молчи!

/Сб. "Песни русских бардов". Сер. IV, стр. 172. Париж: Изд. УМСА-
PRESS. 1978/.

* * *

IV. "О ДОБЛЕСТЯХ, О ПОДВИГАХ, О СЛАВЕ..."

Пролог

Обнародование своих впечатлений от мемуаров одного из двух прославленнейших наших современников без оглядки на сложившийся в мировых масштабах образ этого человека – вещь рискованная. Мне, как многим другим моим современникам, не раз случалось, приложив некое усилие воли, пренебречь опасностью в прямом смысле слова, от "не напечатают" до "посадят". Труднее оспорить общественное мнение, тем более – мнение людей просвещённых и порядочных. Точнее, не то, чтобы оспорить, а попробовать обосновать свой взгляд, отчасти отличный от взгляда общепринятого. Но время уходит, непосредственных свидетелей и участников событий остаётся всё меньше. На смену идут другие события и фигуры. Довлеет дневи злорадия его. Уйти, не попытавшись высказать мысли и впечатления, составившие содержание многих лет и твоей жизни, не хотелось бы.

Итак...

Моя книга о Солженицыне ("Городу и миру. Публицистика Солженицына") была издана в начале 1988 года. Писалась она, разумеется, не один год. В ней предполагалась (и была отчасти уже написана) глава "Солженицын и Сахаров". Но Солженицын жил тогда в безопасном Вермонте. Сахаров находился ещё в Горьком, в ссылке. Мне представлялось неэтичным сопоставлять взгляды и дороги людей, пребывающих в столь неравных жизненных обстоятельствах.

Ещё раньше, в первую, самиздатскую, редакцию моей книги "Наш новый мир. Теория. Эксперимент. Результат" (1969–1972), пущенную в нелегальное обращение под псевдонимом Е.В. Богдан дважды (в 1969–м и 1972–м гг.), была включена глава о сахаровском меморандуме 1969 года (в дальнейшем она будет воспроизведена). Насколько я знаю, рукопись была передана А.Д. Сахарову. Мне даже показалось, что он намекнул на неё в интервью корреспонденту шведского радио и телевидения Улле Стенхольму (1973). Но, очевидно, я ошиблась: в дальнейших публикациях и речах он никогда о моей книге не упоминал.

Когда я впервые издавала "Наш новый мир" открыто, в Израиле, Сахаров, как уже было сказано, находился в ссылке. И я исключила из обоих изданий (1981 и 1986) и этой книги раздел, посвящённый взглядам Сахарова.

Но в 1990–м году, в издательстве им. Чехова (США), вышли в свет две автобиографические книги Сахарова. Их публикация даёт право отклика любому читателю. Я попыталась использовать это право с посылкой для

стороннего взгляда объективностью. Моим соавтором в этой работе стал С. А. Тиктин. Удалось ли нам быть справедливыми – судить читателям.

Начало начал

Лаконическая точность воспоминаний А. Д. Сахарова о первых десятилетиях его жизни позволяет увидеть его детство, отрочество и родовые корни весьма отчётливо. Он всецело принадлежит по рождению и воспитанию к высокообразованному, просвещённому слою **дореволюционного** русского общества, хотя и родился в 1921 году. Не к политизированной "интеллигентщине" (термин "Вех"), не к торопливой в своей безудержной тяге к социальным новациям интеллигенции. И, уж тем более, не к пёстрой пооктябрьской "образованщине", которую советская власть в 1920-х – 30-х годах штамповала на школьных и вузовских конвейерах. Его родители принадлежали и внутренне оставались верны традициям просвещённого и деятельного дооктябрьского российского образованного слоя. Не скороспелого, не поверхностно политизированного, а занятого делами и службой, требовавшими от них многих познаний и упорной, сосредоточенной умственной и духовной работы.

Были в роду Сахаровых и инокровные вливания – во многих ли российских родах их не было? Встречались в истории двух родов – отцовского и материнского – и разночинцы, и дворяне, и священнослужители.

Семья отличалась отсутствием шовинистических предрассудков – при несомненной укоренённости в российской традиции. При этом (предполагаемая сыном) полная религиозная индифферентность отца-физика спокойно уживалась с церковным православием матери.

Из первой биографической книги Сахарова /"Воспоминания". – Нью-Йорк: Изд. им. Чехова. – 1990/ легко сделать вывод, что родители сознательно культивировали в талантливом мальчике аполитичные нейтрально-познавательные интересы. Учился он для своего времени весьма нестандартно: не в школе, а дома, то один, то в группке ровесников. Его словно бы пытались удержать ещё какое-то время в дореволюционном культурно-этическом поле. А жизнь менялась неудержимо, и он её плохо знал. Не был к ней подготовлен. Не был вооружен против её агрессии. Более того: мало ею был занят.

Семья в узком смысле слова состояла из отца, матери и двух сыновей. Но родни было много, с детьми разных возрастов. И все тесно общались, хотя и не без внутренних отталкиваний и предпочтений. Это самодостаточное обилие родственных связей и почти уникальное для советского времени домашнее – до 6-го класса! – образование сделали Сахарова человеком замкнутым и мало контактным вне ближайшего родственного и семейного круга.

Итак, в его воспитании и внешкольном образовании было многое не от нашего времени. Вместе с тем это агрессивное и бесцеремонное время налагло на всё свою печать, во всё врывалось и не позволяло собой пренебречь.

Супруги Сахаровы пытались, по-видимому, избавить сына от сумасбродных экспериментов раннесоветской школы и дать ему добротные, прочные

общеобразовательные начала. Пока могли, они вели себя так, словно ничего вокруг них не изменилось и они вольны воспитывать и обучать своих детей, как считают нужным. Может быть, в глубине их душ теплилась надежда, что всё это – ненадолго и что Андрюша окажется подготовленным к нормальной жизни, когда она вернётся. Ведь до революции домашнее образование отнюдь не было явлением одиозным (для определённого, разумеется, социального слоя). Ныне же рассказ об этом островке досоветской нормы в разрушительном урагане советской жизни представляется сказкой.

А.Д. Сахаров предупреждает читателя, что пишет воспоминания скорее о внешней стороне своей жизни, чем о внутренней. Что ж, это вполне соответствует его характеру, скорее интравертному, чем экстравертному, несколько заторможенному в эмоциональных реакциях.

«Вспоминая свой жизненный путь, я вижу, наряду с поступками, которыми я горжусь, некоторое число поступков ложных, трусливых, позорных, основанных на глупости или непонимании ситуации или на каких-то подсознательных импульсах, о которых лучше не думать. Признавшись тут в этом в общей форме, я не собираюсь останавливаться на этом в дальнейшем – не потому, что я хочу оставить у читателя о себе преувеличенно идеальное представление – а из нелюбви к самобичеванию, самокопанию, эксгибиционизму, а также считая, что никто ещё не учился на чужих ошибках. Хорошо, если человек способен учиться на **своих** ошибках и подражать чужим достоинствам. Вообще же мне бы хотелось, чтобы эти воспоминания были больше не обо мне, а о том, что мне удалось **увидеть и понять** (или считать, что я понял) в моей 60-летней жизни. Мне кажется, что и читателям (доброжелательным) так будет интересней.

Эта книга поэтому, как я уже писал в предисловии, – не исповедь...» /"Воспоминания", стр. 27 – 28/.

Читателю следует иметь в виду это предупреждение и не претендовать на чрезмерную открытость автора. В пределах того, что Сахаров хочет (может, способен) открыть постороннему взгляду, он прямодушен. В чём замкнут – замкнут. Но не лицемерен. И это следует помнить, не ожидая от автора ничего сверх обещанного.

Хотелось бы, пренебрегая экономией места, хоть сколько-нибудь воссоздать атмосферу, в которой он рос. Такие, к примеру, картинки (несмотря на различие корней, они похожи на моё детство) :

«Детские праздники устраивались в дни рождения и именин детей, на ёлку (и у нас в доме, и у Кудрявцевых, о которых я расскажу ниже) – со сладким угощением, обычно домашним мороженым, с общими играми, шарадами, фокусами. (Фокусы показывал прежде всего папа – монета, которую нельзя смахнуть щёткой с руки; переламывание спички внутри платка – конечно, спичка остаётся целой; и другое, в том же роде, к неизменному восторгу детей). Шарады были особенно важным элементом, в них большую изобретательность про-

являли взрослые и старшие ребята – Катя и её товарищи, но и младшие имели возможность проявить себя, изображая бандитов, нищих, пиратов, миллионеров и даже небесные тела (более "серьёзные" шарады ставились на даче Ульмеров, о которой я пишу ниже). Традиционным номером всех праздников было появление "Американца, читающего газету". Это обычно был папа, с вешалкой на палке в руке, на вешалку накидывалось пальто и прикреплялась шляпа. Американец сначала читал, пригнувшись, нижние строчки повешенной на стену газеты, затем распрямлялся до потолка – когда папа под пальто поднимал вверх палку.

Как я уже сказал, каждое лето наша семья выезжала на дачу. Мы снимали обычно две комнаты у дачевладельцев или в деревне, чаще всего в районе Звенигорода (в Дунино; там мы жили в доме большой и дружной семьи обрусевших немцев по фамилии Ульмер – врачей, инженеров, юристов, большинство из них потом были арестованы и погибли в 30-е годы). Другие наши дачи были в Луцине, Криушах, Песках» /там же, стр. 28 – 29/.

То, что следует ниже, словно и вовсе увидено на нашем запорожском дворе и в коммунальной квартире, где мы, дети из нескольких интеллигентных семей, росли, как в одной семье.

«Большую роль в моей жизни в детстве играл двор – полтора десятка мальчиков и девочек, собиравшихся на площадке между тремя флигелями, где росло довольно большое дерево и немного травы, а весной даже цвели одуванчики. ...Я не знаю, играют ли сейчас ребята в те игры, которые были самыми популярными тогда – "казаки-разбойники", "флаги", и т. п. Это всё были очень подвижные игры, командные игры, азартные, весёлые и совсем не "жестокое". Ребята поменьше, конечно, играли в вечные "классики" и "прятки" – в эти игры много играют и сейчас, но совсем изменились "считалочки". Играли мы и в "ножички", у меня на ноге сохранился шрам. С тех пор он вырос (вместе со мной) раза в три.

Очень много я играл и дома и на улице со своей двоюродной сестрой Ириной (мы однолетки). Она была в этих играх гораздо активней и изобретательней, чем я. Ирина вовлекала меня в литературные игры-инсценировки; иногда я был Дубровским или капитаном Гаттерасом, но чаще мне доставались менее престижные роли, например, Андрия или Янкеля, изображающего на своём лице красоту паненки (и то, и другое из "Тараса Бульбы"). Мы часто гуляли с ней, взяв саночки, по покрытому снегом Гранатному переулку. Машин тогда было так мало, что они не заботили ни нас, ни наших родителей.

У моей двоюродной сестры Кати и её подруги Таси была была многолетняя игра в индейцев. Катя называла себя Чингачгук, Тася – Ункас (имена из романа Фенимора Купера "Последний из могиакан"). Тогда (а ещё больше, кажется, в предыдущем поколении) в нашей стране в индейцев играли часто. Всегда с восхищением перед горды-

ми, благородными и смелыми, свободолюбивыми индейцами (не знаю, играют ли так сейчас у нас и как играют в Америке?)» /там же, стр. 30 - 31/.

Мы тоже постоянно играли в книжных героев, лет до одиннадцати-двенадцати. И выбор книг и героев был близок. И те же руководили нами тогда идеалы: свобода, великодушие, помощь страдающим и слабым, вызволение поработанных. И книги были, в основном, те же.

Несколько скупых реплик показывают, что злорадия не обходила семейный островок Сахаровых и не проходила мимо Андрея. Однако и отец, и сын старались вести себя так, словно её не было. Но и не упускали её из виду.

«В 1937 году папа взял меня в поездку на пароходе Москва - Горький - Ярославль. Мы играли в шахматы, говорили о многих важных и неважных вещах. Но купленную на пристани газету, насколько помню, не обсуждали: в ней были материалы процесса объединённого троцкистско-зиновьевского центра и речь Вышинского, как всегда у него, полная жестокой фальшивой риторики. Я вспоминаю заключительные слова другой его речи, произнесенной полтора года спустя на процессе правотроцкистского, кажется, центра:

"Над могилами этих преступников (т.е. ещё сидящих перед ним подсудимых, признавшихся под пытками во всех мыслимых и немыслимых преступлениях - А.С.) будет расти чертополох и крапива, а наш народ пойдёт вперёд к коммунизму!"

Другая поездка была уже в 1939 году, я впервые увидел море и горы. Мы жили в палатке турбазы и ходили, опять разговаривая о жизни, в близлежащие ущелья, вдоль горных речек с пахнущей свежестью пенистой водой. На обратном пути мы купили в киоске газету, где сообщалось о приезде в Москву Риббентропа...

Через неделю началась вторая мировая война» /там же, стр. 29 - 30/.

Читали (и запомнилось на всю жизнь), но не обсуждали. Может быть, потому, что обсуждать было нечего: отношение к происходящему было однозначным у обоих.

Родственные семьи, ветвившиеся вокруг Сахаровых, занимали достаточно определённое место в послеоктябрьской расстановке общественных сил (победителей и побеждённых, уничтожающих и уничтожаемых). И дети всё-таки не были в стороне от переживаемого родителями, сколько бы их ни оберегали от этого. Родственный круг детства был вскоре разрушен.

«Из обрывков разговоров взрослых (которые не всегда замечают, как внимательно слушают их дети) я уже в 30-34 гг. что-то знал о

происходивших тогда событиях. Я помню рассказы о подростках, бежавших из охваченных голодом Украины, Центрально-Чернозёмной области и Белоруссии, забившись под вагоны в ящики для инструментов. Как рассказывали, их часто вытаскивали оттуда уже мёртвыми. Голодающие умирали прямо на вокзалах, беспризорные дети ютились в асфальтовых котлах и подворотнях. Одного такого подростка подобрала моя тётя Таня на вокзальной площади, и он стал её приёмным сыном, хотя у него потом и нашлись родители. Этот мальчик Егорушка стал высококвалифицированным мастером-электриком. В последние годы он работал на монтаже всех больших ускорителей в СССР. Сейчас он уже дедушка, Егор Васильевич /там же, стр. 34/.

Я постараюсь выделить то, что относится только к детству и отрочеству Сахарова, а не к более поздним раздумьям и переосмыслениям.

Несколько раз арестовывали и ссылали "дядю Ваню" (брата Д. И. Сахарова). На какое-то время ему, человеку очень одарённому, удалось пристроиться "чертёжником-надомником", жене – машинисткой. В техническом черчении он стал виртуозом.

«Ещё в тридцатые годы наших близких постигли и другие беды. Первым погиб второй муж тёти Вали (мамы Ирины), его фамилия Бельгардт, он – бывший офицер царской и колчаковской армий – был арестован, как большинство офицеров белой армии, и расстрелян в середине 30-х годов. Затем мамин старший брат Владимир был арестован и погиб в лагере. В середине 30-х годов арестован внучатый племянник бабушки Зинаиды Евграфовны, Женя, и погиб в лагере – утонул на лесосплаве. После него осталась вдова и мальчик Юра, – он один год жил с нами на даче, и мы все его очень полюбили. (Я часто вспоминаю, как Юра, впервые увидев телёнка, радостно закричал: "Маленькое поле, маленькое поле!" Очевидно, он слышал фразу – корова пришла с поля, и она так преломилась в его сознании.) Зимой 1938 года Юра заболел менингитом и умер в больнице. В 1937 году арестованы старший брат мамы Константин, младшая сестра Татьяна (Туся) и её муж Геннадий Богданович Саркисов» /там же, стр. 36/.

Таких воспоминаний у Андрея Дмитриевича немало.

Детей, как в подавляющем большинстве подобных семей, старались не во всё происходящее посвящать и против власти не настраивать. Последнее было бы смертельно опасно и, как виделось большинству родителей, бессмысленно:

«Я почти никогда не слышал от папы прямого осуждения современного режима. Пожалуй, единственное исключение – в 1950 году, когда папа в предельно эмоциональной форме высказал своё мнение о Сталине (он так при этом был взволнован, что мама испугалась, чтоб ему не стало плохо). Я думаю, что пока я не стал взрослым, папа боялся, что, если я буду слишком много понимать, то не смогу ужи-

ться в этом мире. И, может быть, это скрывание мыслей от сына – очень типичное – сильней всего характеризует ужас эпохи. Но косвенное осуждение постоянно присутствовало в той или иной подспудной форме.

Несколько иной была позиция дяди Вани. Он гораздо определённой высказывался о политических и экономических вопросах. Я постараюсь рассказать об этом, опираясь на папины слова, сказанные уже в последние годы его жизни, при этом, конечно, интерпретируя их в духе своей теперешней позиции. Социалистическую систему он считал принципиально неэффективной для удовлетворения человеческих нужд, но зато чрезвычайно подходящей для укрепления власти. Одну из формулировок я запомнил – в капиталистическом мире продавец гоняется за покупателем и это заставляет обоих лучше работать, а при социализме покупатель гоняется за продавцом (подразумевается, что о работе уже думать некогда). Конечно, это всё же только афоризм, но мне кажется, он какую-то долю глубинной истины отражает.

Другое – не менее важное – отношение социалистической системы к гражданским свободам, к правам личности – проблема реальной, а не провозглашенной свободы; и третье – нетерпимость к другим идеологиям, опасная претензия на абсолютную истину. Но всё это вошло в круг моих сомнений гораздо позднее, и если мои родные и имели какие-то мысли на этот счёт, то мне они были непонятны. В это время я находился на предыдущей ступени – я усваивал (и с большой симпатией) идеологию коммунизма. Помню, например, что, узнав (в возрасте 12-и лет) о государстве инков, я радовался этому, как экспериментальному подтверждению жизненности социалистической идеи. Много лет спустя Шафаревич в тех же самых фактах увидит подтверждение прямо противоположному» /там же, стр. 37 – 38/.

Боюсь, что Андрей Дмитриевич припомнил и оценил слова дяди достаточно поздно. "Государство инков" сумело заставить его основательно на себя потрудиться.

Наши родители стояли перед жестоким выбором. Разделить с детьми своё отношение к происходящему? Они нередко и сами ещё не знали толком, настолько ли безнадежен этот режим, как им представляется. Они и сами так или иначе на него трудились. Утаить от детей свои сомнения, которые нарастали? Не означало ли это принести в жертву (вполне прозрачному) житейскому благополучию свою и своих детей совесть и честь? Некоторые находили "третий путь": они говорили детям правду, но учили о ней молчать. Иногда добавлялось: молчать – с чужими. Поди разберись, кто чужой, кто свой и когда молчание переходит в приспособленчество.

И всё-таки, всё-таки... Не все осторожничали со своими детьми. Я опять, как и в предыдущей повести, воспользуюсь воспоминаниями человека из той же потомственной русской просвещённой среды, к которой принадлежал и Сахаров.

Вера Пирожкова* сформировалась в своём семейном кругу настолько, что никакие жизненные перипетии не смогли принципиально изменить её сего-до. Вера умела в свою бытность в советской России школьницей и студенткой Ленинградского университета, а также беженкой в послевоенной Германии отличать людей близких от чужих. Но против совести не грешила, хотя и замыкалась от безусловно враждебных её убеждениям лиц. Отрубить от себя впитанные в семье, в исходной среде принципы и убеждения она никаким жизненным испытаниям и ничим аморальным (или внеморальным) воздействиям не позволила. Так что её родители не ошиблись, не скрывая от неё своих взглядов и настойчиво передавая ей свои устои. Судьбы людей нашего с Андреем Дмитриевичем и Верой Александровной поколения складывались очень по-разному.

...Поразительно, как сходятся книжные списки Андрея Дмитриевича с тем, что читали в детстве мои друзья и я, что стояло на полках наших домашних библиотек и что мы, по возможности, старались собирать много позднее для своих детей. "С этим списком я перешел в юность", - пишет Сахаров /там же, стр. 42/. Мы - в отрочество: на юность пришли стихи и другие книги, иной уклон. С юности наши пути разнятся. Вернусь, однако, к той (вскоре надолго забытой) форме школьного образования, которую пытались дать Андрею Дмитриевичу его родители:

«Осенью 1927 года ко мне стала ходить заниматься учительница (чтение, чистописание, арифметика), после уроков она ходила со мной гулять к храму Христа Спасителя, где я бегал по перилам, и на прогулке рассказывала что-то из истории и библии; вероятно, это была не всегда точная, но зато весьма интересная история. Звали её Зинаида Павловна, фамилии её, к сожалению, не помню, она жила по соседству. Это была совсем молодая женщина, очень неустроенная в жизни, верующая. Занималась она со мной до следующей весны. В последующие годы она изредка приходила к маме, выглядела всё более испуганной и несчастной. Мама обычно давала ей деньги или продукты. Её дальнейшая судьба трагична. Она не хотела жить в СССР (у неё главными мотивами были религиозные), пыталась перейти границу - как и многие тысячи, бежавшие в те годы от раскулачивания, голода, угрозы ареста. Но граница, как тогда гордо писали, была "на замке", и большинство попадали в лагеря. Зинаиду Павловну осудили на 10 лет. Об этом мы узнали из коротенькой открытки - вероятно, она была выброшена во время какого-нибудь этапа. Обратного адреса не было. Больше мы ничего о ней не знаем, видимо, она погибла.

* Ныне профессор Мюнхенского университета на пенсии. Продолжает активно работать в своем университете, читает лекции и в России, которую покинула в годы войны. Ее мемуары опубликованы в ж-ле "Голос Зарубежья", Мюнхен, за 1992-1994 годы. Редактором-издателем этого ж-ла В.А. Пирожкова является уже двадцать лет. Нам с С.А. Тиктиним посчастливилось много лет сотрудничать в этом журнале.

По желанию родителей, первые пять лет я учился не в школе, а дома, в домашней учебной группе вместе с Ириной и ещё одним мальчиком, звали его Олег Кудрявцев. После 4-х лет Олег и Ирина вышли из группы и поступили в школу, а я ещё один год учился дома один. Три года учился дома мой брат Юра. А дочь дяди Вани, Катя, вообще никогда не училась в школе, а занималась в большой домашней группе (10-12 человек). Я иногда присутствовал на их уроках по рисованию и сам пытался рисовать вместе с ними (мне это уже много дало, но, к сожалению, я потом рисованием не занимался). Одним из учащихся Катиной группы был Серёжа Михалков, впоследствии детский писатель и секретарь Союза писателей» /там же, стр. 42 - 43/.

Ударение в дворянском роду Михалковых принято было ставить на *á*. Но Серёжа Михалков, - соавтор присталинского государственного гимна, - быстро об этом забыл. И стал Михалкóвым.* Зато его знаменитый сын Никита, кинематографист, в конце 1980-х гг. о своей родовитости вспомнил. Теперь - можно. И даже - модно.

«Вероятно, первоначальным инициатором домашнего обучения был дядя Ваня; мои родители и тётя Валя пошли по его пути. Это довольно сложное и дорогое, трудное начинание, по-видимому, было вызвано их недоверием к советской школе тех времён (частично справедливым) и желанием дать детям более качественное образование» /там же, стр. 43/.

Почему - "частично"? Желание родителей и дяди Вани было **полностью** справедливым.

Но продолжим:

«Конечно, для этого были свои основания. Действительно, более индивидуализированное обучение даёт в принципе возможность двигаться гораздо быстрее, легче и глубже, и в большей степени прививает самостоятельность и умение работать, вообще больше способствует (при некоторых условиях) интеллектуальному развитию. Но в психологическом и социальном плане своим решением родители поставили нас перед трудностями, вероятно, не вполне это понимая. У меня, в частности, очень развилась свойственная мне неконтактность, от которой я страдал потом и в школе, и в университете, да и вообще почти всю жизнь. Не вполне оправдались надежды и на большой учебный эффект (за исключением полугодового периода в 6-м классе, это после). В общем, не мне тут судить» /там же, стр. 43/.

* Вспомним популярныи в свое время обмен эпиграммами (пунктуация - моя печатного текста не видела)

В Ардов "Пусть говорят про Михалкова, что басни пишет он толково Ему досталась от Эзопа не голова, а только... шляпа"

С Михалков "Пусть мне досталась от Эзопа не голова, а только... шляпа, - литературе нужен Ардов, как ... шляпе пара бакенбардов"

Тоже красиво

Осмелюсь, однако, предположить, что побуждения родителей вряд ли исчерпывались одним только желанием дать сыну более качественное образование. Много вероятней, что им хотелось избавить ребёнка и подростка от духовного влияния школы, от идеологического капкана, в который она учеников загоняла. Ещё одно воспоминание (зима 1932-1933 года):

«На лестнице меня терроризировал мальчишка по имени Ростик, сын какого-то командара или комбрига, который чувствовал себя высшей породой по сравнению с такими, как я; я с ужасом думаю о последующей судьбе его отца и всей семьи, которую ей нёс 37-й год» /там же, стр. 46/.

И далее:

«Первого декабря 1934 года был убит Киров. В школьном зале собрали учеников, и директор (старая большевичка), с трудом справляясь со слезами, объявила нам об этом. Папа увидел у соседа в трамвае в газете траурный портрет, ему показалось, что это Ворошилов, и он приехал очень испуганным (боялся повторения красного террора 1918 года). Но он успокоился, узнав, что это Киров. Эта фамилия ему ничего не говорила, – это показывает, как далека была наша семья от партийных кругов и партийных дел (Киров был вторым человеком в партии). На другой день, однако, в газетах появился указ о порядке рассмотрения дел о терроре, и большая фотография Сталина у гроба Кирова. На страну, только что перенесшую раскулачивание и голод, надвигался период тридцать седьмого года.

...Если говорить о духовной атмосфере страны, о всеобщем страхе, который охватил практически всё население больших городов и тем самым наложил отпечаток на всё остальное население и продолжает существовать подспудно и до сих пор, спустя почти два поколения, – то он порождён, в основном, именно этой эпохой. Наряду с массовостью и жестокостью репрессий, ужас вселяла их иррациональность, вот эта повседневность, когда невозможно понять, кого сажают и за что сажают.

Как росли дети в эти годы? Трагизм чувствовался в воздухе и юношеская сила духовного сопротивления, используя тот материал, который шел из газет, от книг, от школы, дольше, чем у взрослых, сохраняла те порывы, которые двигали когда-то старшими. Я пишу тут о более общественно активных – не о себе – я-то был очень углублённым в себя, в какой-то мере эгоцентричным, болезненно неконтактным, как я уже писал, мальчиком. Мне почти нечего поэтому рассказать о человеческом общении в школьные годы» /там же, стр. 48 – 49/.

Это несколько странный отрывок. Отвлечёмся от того, что страна уже знала к тому времени периоды, не менее страшные, чем 1937-38 годы. Для старой столичной интеллигенции середина 1930-х годов была, действительно, особенно страшна и загадочна. Террор стал свирепствовать не

только и не столько в её кругах, что уже бывало, но и по соседству, в начальственных партийных квартирах. Однако о какой и чьей "силе духовного сопротивления" идёт здесь речь? О сопротивлении официальному толкованию террора или, напротив, о сопротивлении попыткам родителей развенчать партийную демагогию? Непонятно.

У Сахарова в этом смысле было особое положение: он вырос в не советизированной духовно семье, в атмосфере, не отравленной революционным утопизмом. Он не учился в наиболее внушаемом возрасте в советской школе. И всё-таки, по-видимому, речь идёт о его иллюзиях в пользу советской власти. Хотя, как было сказано выше, родственный круг, вне самого узкого, был разгромлен. Что ж, бывало и так. Особенно при инстинктивном уходе от тревожащих сторон жизни...

Мне представляется, что основную массу наших с Сахаровым ровесников привязывала (если привязывала) к советским фетишам и мифам отнюдь не "сила духовного сопротивления". Напротив: нас лишала иммунитета против (как теперь видится) **достаточно явной лжи** детская и юношеская **внушаемость, податливость, неискушенность**. Нас делала полуслепыми (одних – на годы, других – навсегда) селекционированность того духовно-идеологического рациона, который в детей и подростков школа буквально вталкивала, как в гусей на откорме – орехи или кукурузу. И я не знаю, какую часть взрослых Сахаров имеет в виду, говоря об их угасших порывах. **В его семье** революционное пламя вряд ли когда бы то ни было пылало. В моей (в узком смысле: отец и мать) – тоже. Но детям немного приоткрывалось из того, что переживали родители, – вот в чём таились зародыши будущей многолетней слепоты.

Сам Андрей Дмитриевич, поступив, наконец, в школу (в 6-й класс), скорее всего инертно исполнял необходимый для советского школьника идеологический ритуал. Интерес к политике не преобладал в его жизни. Родители, как могли, защищали сына от отягчающих и опасных сторон реальности. Так, они молчаливо согласились деполитизировать своё на него влияние. Так, его отстраняли от всяческих тяжелых ситуаций внутри семьи. Свекровь и невестка (бабушка и мать) холодно относились друг к другу. Когда бабушка умирала (в доме сына), мать оберегала Андрея от скорбного зрелища и тяжких обязанностей:

«Поздней осенью 1940 года у бабушки случился инсульт. Она потянула речь. Папа переселился в её комнату. Он там спал и проводил большую часть суток, чтобы быть готовым помочь ей в любой момент. В эти месяцы мама просила меня не заходить в комнату бабушки. Мне трудно объяснить (и тогда, и сейчас) это её решение и мою пассивность. Желание уберечь меня от тяжелых впечатлений не должно бы быть решающим при той близости, которая была у меня с бабушкой, к тому же я был вполне взрослым (хотя мама, вероятно, этого не понимала). Я два (кажется) раза нарушил это предписание. Помню, как бабушка движением глаз попросила поднести к её губам стакан с настоем шиповника и отпила один или два глотка. Больше она уже

ничего не ела и не пила. Никакого раздражения или упрёка. Я знаю, что последние недели были очень тяжелыми» /там же, стр. 57/.

Я думаю, что и внук был обеднён сердечно своим молчаливым согласием отодвинуться от тяжелого долга. И это случилось не единственный раз в его жизни.

Похоже, что он таким же образом отодвинулся постепенно от детей от первого брака, когда, овдовев, женился вторично. Отодвинулся, не перестав их любить, но и почти не борясь с ними за них. Он не сумел (или не стал) бороться по-настоящему даже за младшего сына-подростка, не сошедшегося с его новой семьёй. Вероятно, в душе его жила из-за этого постоянная боль. Но он оставался в этом смысле пассивным, как и во многих других случаях, требовавших напряжения сугубо личных, сердечных, душевных усилий. Я бы не стала этой темы затрагивать, но Сахаров и сам говорит о присущей ему в некоторых ситуациях "ленности сердца". Не от всех ли родительских защитных заслонов (не включать, не втягивать, не осведомлять, чтобы сложное, мрачное, двоящее время не мешало учиться, работать, жить) она возникла? Опасно оберегать детей от тягот своей, да и общей жизни.

"...хорошая физика"

Сахаровым-старшим, вероятно, казалось, что естественнонаучные интересы, в отличие от гуманитарных, смогут даже и в советских условиях обеспечить их сыну стабильность, не связанную с риском и со сделками с совестью. Но коварство дьявола порой превращает в его орудия именно тех, кто находит, казалось бы, самый безобидный и ни к чему не обязывающий *modus vivendi* с ним. Об этой уловке дьявола российский образованный класс узнал далеко не сразу.

Несколько отступим от своего сюжета, но не от темы. Может быть, один из ярчайших примеров той страшной цены, которая платилась за выживание (причём нередко платилась напрасно: плату брали - и наступали на заплатившего кованым сапогом) являлась (известная Сахарову с давних пор) судьба братьев Вавиловых.

«Эта история была одной из самых ужасных страниц в многолетней трагедии советской биологии. Сергей Иванович вскоре (или уже тогда) стал Президентом Академии наук. При этом он регулярно - минимум раз в неделю, встречался с Т.Д. Лысенко, членом Президиума АН, который был одним из главных виновников гибели его брата. Представить, как это происходило, мне трудно.

Дополнение 1987 г. Недавно Я.Л. Альперт, один из старейших сотрудников ФИАНа, рассказал мне (со слов Леонтовича, а тот якобы слышал от Вавилова) следующую историю. Вавилову, возможно, самим Сталиным или через кого-либо из его приближенных, было сообщено: есть две кандидатуры на пост Президента Академии - Вы,

а если Вы не согласитесь – Лысенко. Вавилов просидел, обдумывая ответ, всю ночь (выкурив при этом несколько пачек папирос) и согласился, спасая Академию и советскую науку от неминуемого при избрании Лысенко ужасного разгрома.

Дополнение 1989 г. По версии, сообщённой Е.Л. Фейнбергом, – альтернативным кандидатом в президенты был А.Я. Вышинский. Пожалуй, это правдоподобней – и ещё страшней!

...К личным делам сотрудников Сергей Иванович относился всегда с большой заботливостью, он глубоко и искренне любил науку и был прекрасным учёным–оптиком, а также хорошим популяризатором. В качестве Президента ему приходилось много выступать с официальными речами. В одной из них он назвал Сталина "корифеем науки", этот пущенный им в ход эпитет стал почти что частью официального титула (видимо, понравился).

Судьба двух братьев – умирающего от голода при чистке нечистот в Саратовской тюрьме и осыпанного всеми почестями Президента – была парадоксом, крайностью даже в то время, но и было в этом что-то очень характерное» /там же, стр. 108 – 109/.

К несчастью, судьба братьев Вавиловых не была ни парадоксом, ни крайностью. Это была (вывернутая по–орвелловски) повседневность. Быт. И не только для всей страны, но и для ближайшего окружения "корифея науки". И даже для его близких и дальних родственников. "Сидели" жены членов Политбюро, в том числе – родственники обеих жен Сталина. Часть "высочайших семей" ставили к стенке – ближайшие родственники расстрелянных "выходили в начальники, потому что молчание – золото". Но порой и молчаливых не щадили. И это были не парадоксы истории, когда один брат оказывался у "белых", другой – у "красных", когда отец сражался за короля, а сын командовал якобинцами. К середине 1930–х годов для России и СССР всё это было уже позади. Никто с большевиками по–настоящему не сражался. Слепая прихоть тирана, самосохранительная антилогика тирании, автоматический саморазгон террора ("умри ты сегодня, а я – завтра") – всё, что угодно, только не подобие классовой или идейной борьбы. Боровшиеся по–настоящему были уже раздавлены или вышвырнуты за кордон. Те, кто собирался вступить в борьбу, ещё только осматривались. Они ещё не созрели. Страна, **вся страна**, становилась гигантским лагобъединением. А в лагерях, как известно, есть и "шарашки" с относительно мягким режимом, и страшные "колонны" (участки, колонии). Перемалывание людей в "лагерную пыль" шло теперь непрерывно, этап за этапом. И никто не знал наверняка, что его ждёт в следующее мгновение: орден, этап или пуля. В семье Сахаровых не то же ли самое происходило? Сравним судьбы Сахарова Д.И., Сахарова И.И. ("дяди Вани") и самого Андрея Дмитриевича.

Сахаров–младший сравнительно долго и довольно успешно отгораживался от ужаса мира, в котором жил. Чем? Отвлечённостью своих интересов от политических и социальных проблем. Он был занят усилиями проникнуть в тайны Вселенной, несоизмеримые в своей грандиозности с малостью земной

суматохи. Но, волей обстоятельств (а отчасти – и своей холодноватой не-отмирности), он достаточно легко был оторван от постижения тайн мироздания. Его привлекли к поискам наиболее остроумных и эффективных способов разрушения этой дивной постройки. Возможно, что поначалу он не заметил рогов и хвоста заказчика. Вернёмся, однако, в годы вузовской учёбы Сахарова.

* * *

Блестящий физик и математик, студент Сахаров не входил глубоко в за-бавы марксистско-ленинской политекономи и философии. И других эконо-мических и философских учений – тоже. Настолько не входил, что вчу-же позволял себе считать марксизм-ленинизм гуманным и прогрессивным учением. Он долго (почти до последних своих дней) не связывал победы марксизма-ленинизма с нарастанием в обществе и природе огромного СССР убийственной энтропии (в самом прямом значении последнего слова). Са-харов просто не относился к марксизму-ленинизму серьёзно. Иначе он по-трудился бы его изучить и судить о нём ответственно, как это сделал вы-пускник физмата А. И. Солженицын. При уникальных способностях Саха-рова это не оторвало бы его надолго от основных интересов. А он пишет:

«Из университетских предметов только с марксизмом-ленинизмом у меня были неприятности – двойки, которые я потом исправлял. Их причина была не идеологической, мне не приходило тогда в голову сомневаться в марксизме как идеологии в борьбе за освобождение че-ловечества; материализм тоже мне казался исчерпывающей филосо-фией. Но меня расстраивали натурфилософские умствования, перене-сенные без всякой переработки в XX век строгой науки: Энгельс, с его антигенетической ламаркистской ролью труда в очеловечивании обезьяны, старомодное наивное использование формул в "Капитале", сама толщина этого типичного произведения немецкого профессора прошлого века. Я до сих пор не люблю кирпичеобразных книг, и мне кажется, что они возникают от недостатка ясности. Я и тогда вспо-минал есенинское:

...ни при какой погоде
Я этих книг, конечно, не читал.

(Но я читал!). Газетно-полемическая философия "Материализма и эмпириокритицизма" казалась мне скользкой по касательной к сути проблемы. Но главной причиной моих трудностей было моё неумение читать и запоминать слова, а не идеи» /там же, стр. 55 – 56/.

Разумеется, представителю точного знания трудно было принимать все-рѣз многословную казуистику "идеологии... борьбы за освобождение че-ловечества" ("истмата" и "диамата"). В марксизме-ленинизме для сдачи всевозможных экзаменов, включая вузовские и кандидатские, надо было запоминать "слова, слова, слова..." Это крайне трудно для человека

точного знания. Содержательной сути в этих велеречивых формулировках немного. Но она есть. И она, во-первых, не очень сложна, а во-вторых, очень не безобидна. Может быть, своевременное её постижение резко изменило бы научную, а с ней и гражданскую судьбу студента Сахарова. Но пробиваться к ней сквозь тома пустословия было скучно, да и некогда. Оставалось предполагать, что где-то там, в глубине, всё доказано и соответствует в самом главном официальному взгляду. Так было то ли легче, то ли проще – не скучать над этой многословной невнятицей. Ведь строгий аналитический ум Сахарова не мог этой невнятицы не ощущать. Как же было не попытаться проверить, не попробовать пробиться к сути, к ядру навязываемой идеологии? Ведь уже видел и её недомыслие, и её поверхностность. А она претендовала управлять миром. Неужели не стоило – ради окончательной ясности в этом отнюдь не второстепенном вопросе – несколько недель или месяцев поскучать над первоисточниками? Но, по-видимому, хорошо удавшаяся родителям ориентация на аполитичность позволила молодому человеку отстранить от себя раздражающие детали "великолепной теории" (Ян Прохазка). Принять её, так сказать, в целом, чтобы тут же и позабыть на долгие годы.

* * *

Вспышка патриотизма, который породила война 1941–45 гг., забросила едва окончившего университет Сахарова на военный завод, в Ульяновск. Естественно, что она, эта вспышка, не угасла вместе с войной. Тем более – под гром победы. Война, как комета, тянула за собой светящийся след выстраданного патриотического подъёма. Во многих жизнях он светится по сей день. И отчасти поэтому Сахаров после многообещающей аспирантуры в ФИАНе, у И. Е. Тамма, включился в весьма двусмысленную тематику.

Но только отчасти поэтому. В значительно большей степени он пассивно подчинился властной и непреклонной воле, решавшей за всех. Почти за всех. Отец не одобрил этого поворота в работе сына. Но, во-первых, сказал об этом поздно, когда всё уже было решено. А во-вторых, родители от влияния на сына в политическом плане, как уже было сказано, отстранились. Видно, страшились толкнуть в опасную сторону. Да и сын уже вышел из того возраста, когда решают родители. Волей-неволей он признал над собой другой патронаж.

О своей несвершившейся чисто научной судьбе Сахаров пишет (высказывание его относится к 1948 году, т. е. началу работы у И. Е. Тамма):

«Я далеко не сразу достиг того уровня широты и понимания, который необходим для реферирования, а потом – после привлечения к военно-исследовательской тематике – почти мгновенно потерял с таким трудом достигнутую высоту. И более никогда уже не смог на неё вернуться. Это очень жаль. И всё же я в своей последующей работе в значительной степени опирался на то понимание, которое приобрёл в первые фиановские годы под руководством Игоря Евгеньевича» /там же, стр. 104/.

Я не физик и потому не могу оценить, чего здесь больше: излишней скромности или горькой трезвости в самооценке. Но из весьма лаконичных научных автохарактеристик Сахарова и из того, что пишут о нём сейчас, после его смерти, его коллеги, можно сделать вывод: Сахаров был чрезвычайно талантлив; может быть – гениален. Но он не обладал одной весьма неприятной как для самого гения, так и для людей, его окружающих, чертой: органической неспособностью заняться ничем, кроме того, на чём он помешан. Это случается не только с гениями. Но гений реализуется только так. Точнее – реализуются из потенциальных гениев те и только те, в которых побеждает все неблагоприятные обстоятельства эта черта. В противном случае гениальность остаётся качеством латентным. Подчеркну: я ни в малейшей мере не в состоянии оценить Сахарова как физика. Но сам он в одном из своих чисто научных экскурсов в прошлое замечает (не буду входить в подробности):

«...Так я упустил возможность сделать самую главную работу того времени (и самую главную, с огромным разрывом, в своей жизни). Конечно, это было не случайно. Перефразируя известное изречение, каждый делает те работы, которых он достоин» /там же, стр. 116/.

И несколько дальше:

«Вспоминая то лето 1947 года, я чувствую, что я никогда – ни раньше, ни позже – не приближался так близко к большой науке, к её переднему плану. Мне, конечно, немного досадно, что я лично оказался не на высоте (никакие объективные обстоятельства тут не существенны). Но с более широкой точки зрения я не могу не испытывать восторга перед поступательным движением науки – и если бы я сам не прикоснулся к ней, я не мог бы ощущать это с такой остротой!» /там же, стр. 118/.

В этих самооценках много горечи. Но мне думается, что именно "объективные обстоятельства" (чужая властная воля) сыграли решающую роль. Они изменили направление и характер работы Сахарова.

Переходом к закрытой проблематике Сахарова искушали довольно долго. То анонимный работодатель в гостиничном кабинете; то вкрадчиво обворожительный, когда это бывало необходимо, Курчатов. Сахаров мягко, но категорически отказывается оставить увлечшую его уникальную теоретическую тематику. В конце концов его судьба решена была без его участия: его попросту поставили перед фактом. Сопrotивление чужому выбору стало опасным. В лучшем случае его отлучили бы от науки.

Он вспоминает:

«Итак, в 1946 и 1947 гг. я дважды отказался от искушения покинуть ФИАН и теоретическую физику переднего края. В 1948 году меня уже никто не спрашивал.

В последних числах июня 1948 года Игорь Евгеньевич Тамм с таинственным видом попросил остаться после семинара меня и другого

своего ученика Семёна Захаровича Беленького. Это был так называемый "пятничный" семинар "для своих", который проходил в маленьком кабинете Игоря Евгеньевича (теперь бы теоретики ФИАН там не поместились). Когда все вошли, он плотно закрыл дверь и сделал ошеломившее нас сообщение. В ФИАНе по постановлению Совета Министров и ЦК КПСС создаётся исследовательская группа. Он назначен руководителем группы, мы оба – её члены. Задача группы – теоретические и расчётные работы с целью выяснения возможности создания водородной бомбы; конкретно – проверка и уточнение тех расчётов, которые ведутся в Институте химической физики в группе Зельдовича» /там же, стр. 129/.

Итак, решение было принято за его спиной. И Сахаров перешел в распоряжение заказчиков водородной бомбы – вместе со своим научным руководителем И. Е. Таммом.

* * *

Насколько мне помнится, у большинства мало-мальски думающих (даже весьма далёких от ядерного эпоса) современников сомнений в цельнотянутости многого из того, в чём советские атомщики нуждались, как-то не возникало. Может быть, мы невольно преувеличивали вездесущность советского шпионажа. Но вряд ли намного. Сахаров, однако, был привлечён к работе не над атомной, а над **термоядерной** бомбой. А в этом случае вопрос о приоритете выглядит принципиально иначе. В этой проблеме я, как непрофессионал, должна опереться на специалиста, а потому передаю слово своему соавтору. С. А. Тиктин окончил физико-математический факультет университета как физик-ядерщик, позднее специализировался в теплофизике и теплотехнике. Таким образом научно-технические аспекты работы Сахарова над термоядерной бомбой не являются для него *terra incognita*.

С. Тиктин:

В "Воспоминаниях" Сахарова сведения о его участии в создании советского ядерного оружия весьма скудны, неконкретны и отрывочны. Тем не менее, имеет определённый смысл, читая строки и между строк, попытаться проследить основные вехи разработки термоядерной бомбы в СССР и участия Сахарова в них.

В разработке атомной бомбы Сахаров вообще не участвовал. Он попал в 1948 году в Физический институт АН СССР (ФИАН) к акад. И. Е. Тамму, группа которого тогда "лизала зад" Я. Б. Зельдовича /С. З. Беленький в передаче А. Д. Сахарова; "Воспоминания", стр. 130/. Конкретнее – проверяла и уточняла теоретические и расчётные работы последнего и его группы в Институте химической физики АН СССР. Целью было выяснение возможности инициирования термоядерного взрыва, основанного на ядерной реакции синтеза гелия из лёгких атомов, сопровождающейся выделением колоссальной энергии. По словам акад. В. Л. Гинзбурга, после

результатов Зельдовича "водородный проект виделся тогда в глазах Курчатова полной безнадегой"*.

Во время написания своей автобиографической книги Сахаров считает, что

«основная идея разрабатывавшегося в группе Зельдовича проекта была "цельнотянутой", т.е. исходила из разведывательной информации» /там же, стр. 129 – 130/».

В свете недавней публикации весьма целенаправленных, хотя в ряде мест более, чем сомнительных, мемуаров бывшего генерала МГБ П. Судоплатова, эта догадка Сахарова выглядит вполне правдоподобной. Но ещё раньше она подтвердилась статьёй американского автора Д. Холловея в "Интернейшнл Секьюрити" 1979/80, т. 4, 3:

«Кlaus Fuchs информировал СССР о работах по термоядерной бомбе в Лос-Анжелесе (по-видимому, Лос-Аламосе – С.Т.) до 1946 года. Эти сообщения были скорей дезориентирующими, чем полезными, так как ранние идеи потом оказались неработоспособными» /"Воспоминания", стр. 129 – 130/.

Какие именно и почему – Сахаров прямо не сообщает. О том, что полученные советской разведкой материалы по водородной бомбе оказались для советских специалистов (в отличие от данных по бомбе атомной) абсолютно бесполезными, сообщили в своем интервью бывший многолетний руководитель "советского Лос-Аламоса" – объекта Арзамас-16 – недавно скончавшийся на десятом десятке акад. Ю.Б. Харитон и бывший сотрудник Сахарова в том же Арзамасе-16 к.ф.м. наук Ю. Смирнов.**

По всей видимости, в этих ранних идеях предполагался непосредственный синтез ядер гелия из ядер обычного водорода (протонов) или "тяжелого" водорода – дейтерия.*** Этот синтез предполагалось инициировать взрывной цепной реакцией деления урана или плутония быстрыми нейтронами, наподобие происходящей в атомной бомбе. Как теперь известно, все разведанные по ядерной проблеме проходили в СССР тщательную теоретическую и экспериментальную проверку. Наиболее важные – параллельную, различными научными группами. Так или иначе, в СССР ещё до создания своей атомной бомбы интенсивно велась в нескольких организациях проработка идеи бомбы водородной.

А США сразу после окончания второй мировой войны свернули работы по совершенствованию своего ядерного оружия. Не изменили их позиции в этом вопросе ни направленная ещё в 1944 году Рузвельту секретная записка Нильса Бора о том, что "... на основании предвоенных работ русских

* Интервью израильской газете "Вести" 25 II 1993

** Ю Харитон и Ю Смирнов, Украли ли русские атомную бомбу? "Новое Русское Слово" 23 XII 1994 Нью-Йорк

*** Ядро дейтерия (дейтон) состоит из одного протона и одного нейтрона

физиков естественно предположить, что ядерные проблемы окажутся в центре их интересов"*; ни раскрытие (благодаря перебежчику – шифровальщику советского посольства в Канаде Гудзенко) разветвлённой сети советского ядерного шпионажа в Канаде в 1946 году; ни заявление В. М. Молотова в ноябре 1947 года о том, что ядерная бомба не является более для Советского Союза секретом. Даже после произведенного в августе 1949 года первого советского испытания атомной бомбы, являвшейся "цельноотпущенной" копией американской, большинство членов Консультативного комитета, включая Р. Оппенгеймера и Э. Ферми, продолжало занимать крайне отрицательную позицию по отношению к разработке термоядерного оружия:

«Мы полагаем, что тем или иным путём следует избежать создания термоядерного оружия. Мы против того, чтобы Соединённые Штаты выступили инициатором в этом вопросе. Мы единодушны в том, что сейчас крайне несвоевременно поддерживать желание любой ценой создать это оружие...» /М. Рузе. Роберт Оппенгеймер и атомная бомба. Пер. с французского издания 1962 г. Изд. второе; стр. 75. М., Атомиздат. 1965/.

Советские же учёные, которым было доверено продолжать "работу за дьявола" (Р. Оппенгеймер), подобными сомнениями тогда не терзались. Ю. Харитон и Ю. Смирнов приводят в указанной выше статье следующее высказывание Сахарова во время его визита в США в 1988 году:

«Я и все, кто вместе со мной работал, были абсолютно убеждены в жизненной необходимости нашей работы, в её исключительной важности... То, что мы делали, было на самом деле большой трагедией, отражающей трагичность всей ситуации в мире, где для того, чтобы сохранить мир, необходимо делать такие страшные, ужасные вещи».

Вскоре после испытания первой атомной бомбы будущий создатель американской термоядерной бомбы Э. Теллер оказался почти в одиночестве – вместе со своими ранними ошибками и новыми продуктивными идеями, которых советские агенты не успели украсть, а власти США не стремились использовать. Только в январе 1950 года президент Трумэн приказал Комиссии по атомной энергии начать работы по созданию водородной бомбы. Так США потеряли **как минимум четыре с половиной года**. И то, если начать отсчёт с первого экспериментального взрыва атомной бомбы.

* Как сообщают в вышеуказанной статье Ю. Харитон и Ю. Смирнов, советские физики успели до начала второй мировой войны экспериментально определить число вторичных нейтронов, возникающих при делении урана, выяснить условия осуществления цепной реакции деления урана в реакторе с тяжелой водой и углеродом в качестве замедлителя нейтронов. Они определили условия возникновения ядерного взрыва, рассчитали приближенное значение критической массы легкого изотопа урана, а также оценили мощность такого взрыва.

Перспективы получения и использования энергии деления урана широко обсуждались тогда в советской периодике и популярной литературе

На стр. 208 своих "Воспоминаний" Сахаров сообщает об экспериментальных измерениях вероятностей ("сечений") реакций синтеза ядер гелия из ядер различных изотопов водорода, проводившихся в нескольких НИИ.

Эти эксперименты ярко описал в своей автобиографической книге "Разрыв" /Франкфурт-на-Майне: Изд. "Посев". - 1983/ скончавшийся несколько лет назад в эмиграции физик С.М. Поликанов, проводивший в ЛИПАНе (теперь Институт атомной энергии - ИАЭ - им. Курчатова Российской АН, в просторечии "Курчатник") опыты на установке "Трубка" в самом начале 1950-х гг. Эта "Трубка" кое в чём напоминала установку, описанную в книге Митчела Уилсона "Живи с молнией". Но эксперименты на ней Н.Н. Флеров и С.М. Поликанов вели при гораздо меньших ускоряющих напряжениях - порядка нескольких тысяч вольт и десятков тысяч вольт, соответствующих температурам в десятки и сотни миллионов градусов. При соударениях разогнанных ионов с мишенями "Трубка" излучала нейтроны, которые тогда из соображений секретности предписывалось называть "нулевыми точками". Поликанов (тоже, видимо, стеснявшийся даже в эмиграции называть вещи своими именами) пишет:

«Речь шла об измерении некоторой величины, которая могла заинтересовать людей, работавших над водородной бомбой» /"Разрыв", стр. 35/.

Вспоминая о своей встрече с Сахаровым, Поликанов сообщает, что лишь после термоядерного взрыва стал ему понятен интерес Сахарова к величине, которую измеряли на "Трубке" /там же, стр. 36/.

По этим сечениям, рассказывает Сахаров, вычислялись скорости термоядерных реакций при различных температурах. Как выяснилось, температура взрыва атомной бомбы, доходящая до многих десятков миллионов градусов (в несколько раз больше расчётной температуры в центре Солнца), всё же недостаточна для инициирования реакций синтеза гелия из дейтерия, не говоря уже о прочих. Кроме того, термоядерные реакции идут в находящегося в равновесном состоянии Солнце и других звёздах миллиарды лет, а в бомбе они должны произойти менее, чем за миллионную долю секунды. Попутно отметим, что при взрывном делении урана или плутония реагируют только несколько процентов от массы заряда. Последнее объясняется не только быстротой разлёта его тяжелых атомов, а и образованием продуктов их деления, интенсивно поглощающих нейтроны, - изотопа ксенона Xe_{135} и др. Лавинная взрывная цепная реакция не развивает температуры, достаточной для возбуждения реакции синтеза гелия из дейтерия, не говоря уже о водороде. В этом и состоит одна из главных причин неработоспособности вышеуказанных "ранних идей".

Работа по проверке расчётов Зельдовича длилась недолго. Сахаров пишет:

«По истечении двух месяцев я сделал крутой поворот в работе. А именно, я предложил альтернативный проект термоядерного заряда, совершенно отличный от рассматривавшегося группой Зельдовича по происходящим при взрыве физическим процессам и даже по основному

источнику энерговыделения. Я ниже называю это предложение "1-й идеей". Вскоре моё предложение существенно дополнил В.Л. Гинзбург, выдвинув "2-ю идею". Наш вариант отличался от рассматриваемого Зельдовичем тем, что отсутствовал вопрос о принципиальной осуществимости; кроме того, были существенные инженерные и технические отличия. Более высокие характеристики наш проект приобрёл в результате добавления "3-й идеи", в которой я являюсь одним из основных авторов. Окончательно "3-я идея" оформилась после первого термоядерного испытания в 1953 году /"Воспоминания", стр. 140; выд. С.Т./.

И Тамм, и Зельдович мгновенно поняли перспективность предложений Сахарова /там же, стр. 141/. А за ними – и Курчатов, и самое высокое начальство. Сахарову фактически была открыта "зелёная улица". Ему не пришлось идти против течения, и ostrакизм коллег (в отличие от Теллера) тогда ему не угрожал.

Суть этих идей Сахаров здесь прямо не раскрывает. Лишь походя упоминает о реакции дейтерия со "сверхтяжёлым" водородом – тритием /там же, стр. 208/. Зато в главе, касающейся управляемого термоядерного синтеза (до сих пор ещё достаточно проблематичного), он как бы невзначай сообщает /там же, стр. 200/, что скорость этой реакции почти в сто раз выше, чем у дейтерия с дейтерием.* Забегая вперёд, отметим, что именно поэтому инициировать обычным атомным взрывом и оказалось возможным **только** реакцию дейтерия с тритием, сопровождающуюся образованием ядра гелия (α -частицы), нейтрона и выделением огромной энергии – более 17-ти миллионов электрон-вольт на каждый элементарный акт синтеза. Сахаров пишет далее:

«Размножение трития возможно потому, что дейтерий вовлекается в дейтериевые реакции с образованием трития, а также благодаря размножению быстрых нейтронов... Затем эти нейтроны захватываются дейтерием или литием-6 с образованием трития» /там же/.

Изложив таким образом квинтэссенцию основных идей, **заложенных в принцип термоядерной бомбы**, Сахаров тут же как бы спохватывается:

«Конечно, все эти соображения являются моим частным и сейчас уже несколько дилетантским мнением»** /там же/.

Ядро трития состоит из одного протона и двух нейтронов и потому оно менее устойчиво и имеет многократно большее сечение в ядерных реакциях. При этом большой избыток нейтронов обуславливает их частичное высвобождение. Тритий радиоактивен (β -активен). Период его распада составляет $12\frac{4}{3}$ года.

** О найденном Э. Теллером решении проблемы инициирования термоядерной реакции с использованием трития и о его докладе о возможности создания водородной бомбы, прочитанном в 1946 году в Лос-Аламосе, сообщается, к примеру, в упомянутой нами выше, изданной в СССР за четверть века до "Воспоминаний" Сахарова книге М. Рузе "Роберт Опенгеймер и атомная бомба". Чего уж тут было перестраховываться!

Насколько частным и насколько дилетантским, можно судить и по следующим фактам и событиям. Всего через два месяца после того, как предложение Сахарова (всего только кандидата наук и старшего научного сотрудника по должности) стало признанной темой группы, он был приглашен к генералу госбезопасности – уполномоченному СМ СССР и ЦК КПСС (тогда ещё ВКП(б) – С.Т.) в ФИАНе. Генерал предложил ему свою рекомендацию для вступления в партию. Сахаров отказался, мотивируя свой отказ действиями партии в прошлом – арестами невинных и раскулачиванием. В конце 1948 года такая аргументация для любого другого означала бы потерю всякой возможности научной работы, а то и свободы – всерьёз и надолго. Но генерал попросил Сахарова самым серьёзным образом подумать об этом разговоре и выразил надежду, что он еще захочет к нему вернуться. Сахаров не без оснований предполагал, что ему предназначалась помимо научной еще высокая административная роль. Через пару лет, задолго ещё до генеральной проверки его идей полномасштабным термоядерным взрывом, Сахаров на стандартный тогда вопрос комиссии по идеологической проверке руководящих научных кадров: "Как вы относитесь к хромосомной теории наследственности?" – ответил, что считает хромосомную теорию научно правильной. Никаких оргвыводов в отношении Сахарова не последовало /"Воспоминания", стр. 181/. Более того, заступничество Сахарова за другого сотрудника, меньшего ранга, посмеявшегося дать такой же ответ, спасло последнего от увольнения /там же, стр. 182/. Сахаров пишет:

«Очевидно, моё положение и роль на объекте уже были достаточно сильны и можно было игнорировать такие мои грехи» /там же, стр. 181/.

Другой руководящий работник Первого главного управления, ведавшего атомным комплексом, генерал МГБ Н.И. Павлов – в прошлом начальник управления НКВД Саратовской области, а потом – контрразведки Сталинградского фронта – высказался через некоторое время с большим пиететом: "Сахаров – наш золотой фонд" /там же, стр. 212/. По всей видимости, это было далеко не только личное его мнение. В 1965 году секретарь местного обкома КПСС – по инициативе Брежнева – вновь предложит Сахарову вступить в партию. И Сахаров опять откажется это сделать /там же, стр. 310/.

В 1951 году в СССР состоялся второй испытательный атомный взрыв. По словам Ю. Харитона и Ю. Смирнова, новое "изделие" было в два раза мощнее первого при вдвое меньшем весе и существенно меньшем диаметре. Как утверждают эти авторы, проработки этого варианта "изделия" имели весьма ясные очертания уже в 1949 году. Но кто мог решиться взять на себя в те времена ответственность за успех при его испытании первым? Тем более, что разведка раздобыла пусть худший, зато уже опробованный вариант "имплозивного"* заряда сферической формы. По всей видимости, за-

Полый заряд сферической или цилиндрической формы, в котором закритические условия создаются обжимающим его внешним взрывом

ряд нового "изделия" имел линейную "андрогинную" конструкцию, позволявшую значительно ускорить процесс образования закритической массы плутония, а также поместить его в артиллерийский снаряд. После этого испытания Сталин сказал в интервью:

"Испытания атомных бомб различных калибров будут продолжаться и впредь".

Шла ли речь только о диаметрах ядерных "изделий" или это значило, что советское руководство на самом высшем уровне было тогда уже уверено в возможности радикального повышения мощности ядерного оружия? Однако других ядерных испытаний при жизни Сталина произведено не было. Видимо, для совершенствования атомного оружия не хватало какого-то важного компонента.

Как известно, в природе трития практически не существует. Его получают искусственно в ядерных реакторах.

Сахаров рассказывает, как летом 1952 года он присутствовал на совещании у Берии. Был поднят вопрос о задержке в производстве одного из основных входящих в изделие материалов. Какого – Сахаров не сообщает. Причиной её была неправильная техническая политика названного выше генерала Павлова, способного, но недоучившегося химика, отозванного с последнего курса университета для службы в "органах" во время очередной "смены караула". Берия поднялся и сказал:

«"Мы, большевики, когда хотим что-то сделать, закрываем глаза на всё остальное (говоря это Берия зажмурился и его лицо стало ещё более страшным). Вы, Павлов, потеряли большевистскую остроту! Сейчас мы вас не будем наказывать, мы надеемся, что Вы исправите свою ошибку. Но имейте в виду, у нас в турме места много!"

Берия говорил твёрдо турма вместо тюрьма. Это звучало жутковато. Грозным признаком было и обращение на "Вы"...»* /там же, стр. 211/.

Таинственный материал этот, по всей видимости, – тритий. И понятно, почему, когда к началу 1953 года было налажено его производство, научному руководителю советского атомного комплекса акад. И.В. Курчатову была преподнесена к дню рождения малахитовая статуэтка тритона с надписью "Победителю от побеждённого" /"Разрыв", стр. 43/. Впрочем, тут же могла идти речь и о лёгком изотопе лития Li_6 .

В 1951 году США произвели экспериментальный взрыв атомного "изделия", заряд которого содержал дейтерий и тритий. Мощность его взрыва превышала 100000 тонн тротила, т.е. была в шесть раз больше мощности

Сахаров встречался по делам с Берией неоднократно. Он вспоминает "Он подал мне руку. Она была пухлая, чуть влажная и смертельно холодная. Только в этот момент я, кажется, осознал, что говорю с глазу на глаз со страшным человеком. До этого мне это не приходило в голову..." /"Воспоминания", стр. 196/ Почему?

взрыва над Хиросимой. В процессе этого взрыва впервые была осуществлена в малом масштабе предложенная Э. Теллером пятью годами раньше реакция синтеза гелия из дейтерия и трития. Но основная энергия выделилась в результате интенсификации деления плутония образовавшимися при этой реакции избыточными нейтронами.

В ноябре 1952 года США произвели на атолле Эниветок взрыв "Майк" эквивалентной мощностью в несколько миллионов тонн тротила. Энергия в нём выделялась уже, в основном, в результате синтеза значительных количеств гелия. Взрывное устройство это весило 65 тонн и занимало небольшое здание, потому что оно включало в себя и громоздкую установку глубокого охлаждения для сжижения трития и дейтерия. Поэтому военное значение такой "супербомбы" оказалось близким к нулю. Сахаров сообщает о советской попытке определить характер этого взрыва по радиоактивным выпадениям в составе атмосферных осадков /"Воспоминания", стр. 210/. Но одна из научных сотрудниц-радиохимиков случайно вылила концентрат в раковину. Начальству эта история, пишет Сахаров, по-видимому, осталась неизвестной. Если бы стала известной – не сносить бы ей головы. Тем более – в те времена.

Тот факт, что в сахаровском варианте термоядерной бомбы отсутствовал вопрос о принципиальной осуществимости, дает основание предполагать, что Сахаров сделал ставку именно на реакцию дейтерия с тритием. Во всяком случае – на начальной стадии взрыва. В этом, по-видимому, и заключалась "1-я идея". Дальнейшее повышение температуры – до сотен миллионов градусов – в результате этой реакции инициирует другие, первоначально казавшиеся невозможными, термоядерные реакции синтеза гелия из более лёгких атомов. При этом возникают ядра трития, протоны и нейтроны, тут же вступающие в другие реакции, идущие с выделением ещё большей энергии. Так, из шести ядер дейтерия могут образоваться два ядра гелия, два протона и два нейтрона с выделением энергии, составляющей более 40 миллионов электрон-вольт. Кроме того, при этом становятся возможным синтез гелия и образование трития в результате захвата нейтрона ядрами лёгкого изотопа лития Li_6 , сопровождающегося выделением тоже огромной энергии. Возникший тритий тотчас вступает в реакцию с дейтерием. В этом, по-видимому, состоит суть "2-й идеи". Таким образом, открывалась возможность производить взрывы эквивалентной мощностью в сотни тысяч тонн тротила (если не более) при сравнительно малых начальных количествах дефицитного трития.

Сахаров весьма бегло сообщает, что в первых числах августа 1953 года, перед самым испытанием термоядерного взрывного устройства большой мощности, было произведено испытание якобы "обычного" изделия, которого он тогда, по его словам, "почти не заметил" /там же, стр. 230/. А 5 августа того же года тогдашний председатель Совмина СССР Г. М. Маленков объявил в докладе на открытии сессии Верховного Совета, что у Советского Союза есть своя водородная бомба /там же/. На каком основании? Ведь испытание настоящего прототипа водородной бомбы последовало ровно через неделю, 12 августа. Так не было ли то первое августовское испытание генеральной проверкой "1-й идеи" – возможности термоядерной реакции

дейтерия с тритием (подобным упомянутому выше американскому ядерному испытанию 1951 года) – перед испытанием полномасштабным?

Очень важной "изюминкой" то ли 1-й, то ли 2-й идеи было использование трития, дейтерия и лития в твёрдых химических соединениях – гидридах (вернее – дейтеридах и тритидах) лития DLi и TLi. Это позволяло исключить потребность в глубоком охлаждении и, следовательно, всю криогенную технику. Плотность "упаковки" тяжелых изотопов водорода в этих соединениях втрое превышает таковую в жидкой фазе, а скорость реакции, как известно, пропорциональна квадрату плотности. Именно эти химические соединения и были использованы в термоядерном заряде, взорванном 12 августа 1953 года. Этот взрыв был красочно описан Сахаровым /там же, стр. 232/ и другими, кому довелось его увидеть. Мощности его Сахаров не сообщает. Но Харитон и Смирнов в указанной выше статье пишут, что это взрывное устройство имело габариты первой американской атомной бомбы, но в 20 раз превосходило её по мощности. Значит оно было эквивалентно 350 – 400 тыс. тонн тротила. Тот факт, что Сахаров и его спутники поехали в одних только пылезащитных комбинезонах к эпицентру взрыва (фактически – к центру, ибо взрыв произошел на высоте 30–40 метров над землёй) вскоре после него и не пострадали от радиации, не инкорпорировали в лёгкие радиоактивную пыль, говорит о том, что этот взрыв был относительно "чистым", то есть не создал опасного наземного радиоактивного "следа". Правда, лётчик дозиметрической службы Семипалатинского полигона Б. Корняков рассказывает о зашкаливании "Вяза" – прибора для измерения высоких уровней радиации – через полчаса после взрыва /"Аргументы и факты" N 21, М., 1991/.

В отличие от "Майка", это взрывное устройство могло стать прототипом боевой "сверхбомбы". Подобной "сверхбомбы" в то время США не имели. Вот почему Сахаров и был особо отмечен на самых высших уровнях власти – и не только верховным поцелуем, переданным от Маленкова через его заместителя, начальника Первого главного управления В.А. Малышева* /"Воспоминания", стр.232/; но и избранием в действительные члены Академии наук, минуя промежуточную ступень её члена-корреспондента, и Государственной (тогда – Сталинской) премией, и званием Героя Социалистического Труда (впоследствии отнятым), и многим другим...

Какие трудности встали на пути дальнейшего совершенствования этого "изделия", в особенности, увеличения мощности, – не ясно. Ведь термоядерный заряд, в отличие от уранового или плутониевого, не имеет критической массы. ** Однако, начиная с весны 1954 года, не только Сахарова и Курчатова, но и многих других деятелей атомного комплекса захватила "3-я идея" мощной ядерной бомбы, показавшаяся им куда более перспективной /там же, стр. 242/. Говоря здесь о ней, Сахаров тоже не раскры-

При вручении золотой звезды Сахарова расцелует и тогдашний председатель Президиума ВС СССР Ворошилов /"Воспоминания", стр. 240/. А в 1949 году Ю.Б. Харитону пришлось вытерпеть не один поцелуй от Берии за первую атомную бомбу

** Впоследствии в США были разработаны "чистые" термоядерные заряды большой мощности

вает её сути. Но несколькими главами раньше, объясняя цепную реакцию деления урана, он как бы невзначай сообщает: "...возможна 'вынужденная' реакция деления (основного изотопа урана U_{235} - С.Т.), если быстрые нейтроны поставятся каким-то источником, например, термоядерной реакцией..." /там же, стр. 125/. И тут же, в качестве примера, приводит: дейтерий - дейтерий и дейтерий - тритий. Сахаров указывает на "автомодельность" процессов, основанных на "3-й идее" /там же, стр. 245/. За его теоретической фразеологией скрывается принципиальная возможность осуществления взрыва **сколь угодно большой мощности**, не ограниченного фактором критической массы. В следующей своей книге "Москва, Горький, далее везде" /Нью-Йорк: Изд. им. Чехова. 1990/ Сахаров, говоря о разработке ядерного заряда эквивалентной мощностью в сто млн. тонн тротила, прямо сообщает на стр. 26, что "это, конечно, не предел". Следует отметить, что "3-ю идею" протолкнули как раз сами специалисты, причём не с помощью, а **вопреки** партийно-государственному начальству в лице В.А. Малышева. Очень уж это была, видно, "хорошая физика" (Э. Ферми). Сахаров сообщает, что эта идея обсуждалась и раньше, т.е. до 1954 года. Но нельзя не обратить внимание на то, что в марте 1954 года США произвели на о. Бикини наземное испытание ядерного устройства эквивалентной мощностью в 14 - 15 млн. тонн тротила. От радиоактивных выпадений тяжело пострадали рыбаки находившегося в 160 км от взрыва (вне действия излучений и ударной волны) японского рыболовного судна "Фукурю-Мару", что значит "Счастливый дракон". Надо же было случиться такому "счастью"! Их заболевания сегодня во многом напоминают болезни пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Немногие помнят, что примерно на таком же расстоянии от взрыва находился советский исследовательский геофизический корабль, на который тоже выпали радиоактивные осадки. Поэт написал об этом стихи: "Потом скребли, драили палубу, с неё смывая эту пагубу..." Но вряд ли этот корабль там оказался случайно, подобно японскому. И, конечно, эта "пагуба" была его счастливейшим уловом, который был потом тщательно исследован. После взрыва этой "сверхбомбы" произошло быстрое возвышение её автора Э. Теллера и падение автора "Майка" Р. Оппенгеймера. Советская пресса, правда, поддержала последнего, но эта поддержка была для него сходна с поддержкой, которую оказывает верёвка повешенному.

Сахаров пишет, что

«...весной или летом 1954 года мы пришли к выводу, что в издании, основанном на "3-й идее", целесообразно использовать некий новый вид материала» /"Воспоминания", стр. 246/.

И этот "материал" был изготовлен, хотя и не быстро. Так что необходимый задел уже имелся. Это был явно уран. Но не природный - с его поставкой в то время не было бы задержки. Этот уран должен был быть обогащённым его лёгким изотопом U_{235} почти до критической концентрации,

чтобы многократно повысить выход "вынужденной" реакции деления.*

Таким образом, "3-я идея" заключалась в использовании нейтронов, образующихся при взрыве некоторых из вариантов "изделий" "2-й идеи", для инициирования деления сотен килограммов, а то и нескольких тонн урана, окружающего термоядерный заряд. Взрыв получался как бы трёх- или даже четырёхступенчатым: деление плутония, реакция синтеза гелия из дейтерия и трития, сопровождающаяся повышением температуры и испусканием нейтронов, другие реакции, регенерирующие тритий (тут же вступающий в реакцию с дейтерием) и продуцирующие нейтроны, и деление – с участием последних – больших количеств "подкритического" урана. Естественно, что при таком взрыве образуются от десятков килограммов до нескольких тонн коротко- и долгоживущих радиоактивных фрагментов ядер урана, почему такой термоядерный многоступенчатый заряд и получил прозвище "грязного". Сахаров и сам подтверждает это, когда объясняет, что в "чистой" водородной бомбе не используются делящиеся материалы /там же, стр. 266/. Значит в "грязной" они используются! Первое такое "изделие" было испытано в ноябре 1955 года сразу в "авиационном" варианте, т.е. сброшено на парашюте с выкрашенного в ослепительно белый цвет (во избежание опасного перегрева тепловым импульсом взрыва) самолёта, весьма похожего на Ту-104. Недаром же на испытаниях присутствовал заместитель Туполева Архангельский /там же, стр. 483/. Следовательно, вес "изделия" вряд ли превышал десять тонн. Но скорее всего вес его был порядка пяти тонн в соответствии с грузоподъёмностью тогдашних советских ракет среднего радиуса действия и разрабатываемых межконтинентальных. Мощности его, как и мощности первого своего термоядерного "изделия", Сахаров не сообщает, но, судя по его описанию взрыва /там же, стр. 255/, она была эквивалентна нескольким миллионным тонн тротила. Непосредственно само её испытание вызвало несчастные случаи, в том числе – со смертельным исходом. О его более отдалённых последствиях (как и о последствиях дальнейших испытаний) мы здесь не говорим. За эту разработку Сахаров был награждён второй золотой звездой Героя социалистического труда и еще одной высокой премией – на этот раз Ленинской.

"3-я идея в принципе допускала широкие возможности совершенствования "изделий". С 1955 года начинается серия их испытаний. Среди опытных "изделий" была и "поганка-воночка" – "грязный" термоядерный заряд, содержащий кобальт. Его взрыв выбросил в атмосферу радиоактивный кобальт, образовавшийся из него в результате нейтронного облучения. Как известно, радиокобальт даёт сильнейшее проникающее излучение, подобное γ -излучению радия. А его период полураспада составляет пять лет. В 1961 году на Новой Земле был взорван "мощный" /там же, стр. 291 – 293/ –

Критические условия в уране (и плутонии) сложным образом зависят от его массы, конфигурации, изотопного состава и его пространственного распределения, концентрации и состава примесей и др. В 1994 году в прессе промелькнуло сообщение о попытке контрабанды из России (?) урана, обогащенного лёгким изотопом на 86%. Возможно, это и был один из компонентов взрывчатки мощных "грязных" ядерных зарядов основанных на "3-й идее"

"грязный" термоядерный заряд, эквивалентный 58 млн. тонн тротила – вчетверо мощнее взорванного США на о. Бикини. За ним последовало опережающее заказ со стороны военных и созданное "в порядке личной инициативы" Сахарова "изделие", абсолютно рекордное по одному из параметров /там же, стр. 295/. Какое и по какому – Сахаров не пишет. Испытание его прошло успешно. В следующем году он получил третью золотую звезду. Был изготовлен и заряд эквивалентной мощностью в 100 млн тонн тротила, но его испытание не состоялось. Хрущёв впоследствии писал:

"Мы боялись, чтобы в нашем собственном доме не посыпались стёкла".

Он хранится в г. Снежинске (бывшем "Челябинске-65") "на всякий случай". Чтобы сместить орбиту опасного астероида?

Сахарова беспокоит, что для "мощного" нет подходящего носителя (ракеты? – С.Т.), а тяжелый бомбардировщик слишком уязвим. Он полагает, что таким носителем могла бы быть запускаемая с подводной лодки огромная, неуязвимая для сетей и мин (?), торпеда дальнего действия, предназначенная для уничтожения портов. Что это должна была быть за торпеда и откуда она должна была запускаться, если морские мины способны проламывать днища линкоров? Он пишет:

«Одним из первых, с кем я обсуждал этот проект, был контр-адмирал Ф. Фомин... Он был шокирован "людоедским" характером проекта, заметил в разговоре со мной, что военные моряки привыкли бороться с вооруженным противником в открытом бою и что для него отвратительна сама мысль о таком массовом убийстве. Я устыдился и больше никогда ни с кем не обсуждал своего проекта. Я пишу сейчас обо всём этом без опасений, что кто-нибудь ухватится за эти идеи – они слишком фантастичны, явно требуют непомерных расходов и использования большого научно-технического потенциала для своей реализации и не соответствуют современным гибким военным доктринам и в общем мало интересны...» /там же, стр. 294/.

Мог ли Фомин не ведать о всюю идущем – отнюдь не фантастическом – строительстве подводных крейсеров и ракетносцев, о разработках базирующихся на них ракет и торпед – носителей ядерных зарядов – как в СССР, так и в США? Напомним, что ещё в 1961 году близ мыса Канаверал в присутствии президента США Кеннеди была из-под воды запущена ракета "Полярис", о чём сообщалось в прессе. Вскоре эта ракета в различных модификациях была принята на вооружение американского подводного флота. Потом её сменили другие, более совершенные, ракеты подводного базирования: "Посейдон", "Трайдент"... В начале 1960-х гг. в СССР тоже начались испытательные пуски боевых ракет подводного базирования.* Но в прессе о них, разумеется, тогда не сообщалось. И Сахарову, не имевшему к этой проблематике прямого отношения, даже знать о ней "не было положено". Всё-таки удивительно, до чего легко поверил он демагогии челове-

* См., к примеру ст. Ю. Маркова "Подводный космодром действует" // Литературная газета" N 37 (5713) 16 1\ 1998/

колюбивога контр-адмирала...

Ещё в 1968 году ВМС США нашли на пятикилометровой глубине затонувшую вблизи Гавайских островов советскую подлодку К-129 и обнаружили на ней торпеды с ядерным зарядом... /М.Хромаков. Судьба подлодки. "Литературная газета" N 42 (5718), 21.X.1998/.

12 мая 1995 г. газета "Новое Русское Слово" (США) поместила статью А. Курчатова "А вдруг маньяки достанут 'Комсомолец'?" Автор сообщает, что на борту затонувшей 7 апреля 1989 года у берегов Норвегии советской "глубоководной" подводной лодки с этим названием находятся торпеды с ядерными зарядами, содержащими по 3,4 кг плутония и 58 кг высокообогащённого лёгким изотопом "оружейного" урана. Очевидно, что принцип действия такого заряда основан на "3-й идее" и его мощность эквивалентна по меньшей мере нескольким сотням тысяч тонн тротила. Но и одной тысячи тонн тротил-эквивалента более, чем достаточно, чтобы разнести вдребезги самый большой линкор или авианосец и уничтожить его экипаж. Тогда для чего торпедам такая мощность заряда? Видимо-таки для уничтожения крупных портов вместе с прилежащими городами. В августе 1995 года западная пресса туманно сообщила, что раскрыта и предотвращена попытка иранских спецслужб извлечь из лежащего на глубине 1700 метров "Комсомольца" ядерные реакторы. Реакторы ли? Как бы не торпеды.

Тогда же в печать проникли сведения, что в СССР в своё время разрабатывались ядерные заряды с мощностью порядка миллиарда тонн тротил-эквивалента, предназначавшиеся для подводных взрывов у берегов США /Вал. Лебелев. Россия на распродаже. "Новое Русское Слово" 18.VIII.1995/. Мощность подобного взрыва вполне сравнима с мощностью взрыва вулкана Кракатау (Индонезия) в 1873 г. и даже взрыва острова Санторин в Эгейском море около 3500 лет тому назад. Заряды эти должны были содержать многие десятки, а то и сотни тонн оружейного урана. Куда уж дальше? Но...

В начале 1960-х гг. тогдашним министром среднего машиностроения Е. П. Славским был представлен Политбюро ЦК КПСС проект полного уничтожения жизни на Земле в случае поражения СССР в третьей мировой войне. Речь шла о корабле - носителе огромного ядерного заряда в оболочке из материала, приобретающего при его взрыве достаточную для этого наведенную радиоактивность (кобальта?! - С.Т.). Но от этого проекта тогдашние властители страны предпочли отказаться /И. Морозов. Почём нынче плутоний для народа. "Литературная газета" N 7 (5641), 19.II.1997/.

В 1970-е годы концепция сосредоточенного сверхразрушения одним гигантским ядерным зарядом постепенно уступила место концепции достаточного разрушения на возможно большей площади посредством разделяющихся многозарядных ракетных боеголовок мощностью не более одного миллиона тонн тротил-эквивалента в каждом заряде.

Сахаров задумывается над тем, какие работы вели западные ядерные "бомбовики" в 1960-е годы /там же, стр. 300/. Понятно, что они уделяли немало внимания повышению коэффициента "полезного" (то есть убийственно-разрушительного) действия термоядерных зарядов. Атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, весила около пяти тонн. В ней разделился примерно один килограмм урана, то есть 0,02% ее веса; а мощность его

взрыва была эквивалентна взрыву около 20000 тонн тротила. Иными словами, 4000 тонн тротил-эквивалента на тонну веса. В 1960-м году США уже имели ядерные боеголовки с соотношением миллион тонн тротил-эквивалента на тонну веса, то есть взрывающие 50 кг урана, или 5% от своего общего веса. Точно такие же работы велись и в Советском Союзе. Запад, по меньшей мере, не отставал от СССР, а возможно, и опережал его в этом, компенсируя своё отставание по грузоподъемности ракет-носителей. Такое положение сохранялось по-видимому, до конца холодной войны. Так, водоизмещение самых больших советских подводных ракетоносцев класса "Тайфун" составляет 26.5 тыс. тонн, а мощность их ракетного залпа – 40 млн. тонн тротил-эквивалента. Водоизмещение аналогичных американских подводных ракетоносцев класса "Огайо" составляет 19.5 тыс. тонн. Мощность же их ракетного залпа в первоначальном варианте – 43 млн. тонн тротил-эквивалента, а в более позднем – 80 млн. тонн /М. Штейнберг. Концепция передовых рубежей. "Новое Русское Слово" 10.IX.1995/. Подобная ситуация, по-видимому, была одной из веских причин, почему в конце 1950-х – начале 1980-х гг. правители СССР – от Хрущёва до Черненко – не рискнули пойти на третью мировую войну.

Вот какая вырисовывается картина соревнования СССР и США в области разработки ядерного оружия от попыток продвинуть "на верхи" идею атомной бомбы до создания мультимегатонных ядерных зарядов:

США

Первое письмо Эйнштейна (составленное Сцилардом и Винером) Рузвельту – август 1939 г.

Второе письмо Эйнштейна (об интересе нацистской Германии к урану) – март 1940 г.

Решение Белого Дома об ассигновании средств на разработку ядерного оружия – декабрь 1941 г.

Пуск первого физического ядерного реактора – декабрь 1942 г.

Испытание первой атомной бомбы – июль 1945 г.

Доклад Э. Теллера в Лос-Аламосе о возможности создания водородной бомбы – 1946 г.

Распоряжение президента Трумэна начать разработку термоядерной бомбы – 1950 г.

Взрыв атомного заряда, усиленный термоядерными нейтронами, – 1951 г.

Термоядерный взрыв "Майк" – ноябрь 1952 г.

Взрыв "грязного" термоядерного заряда на о. Бикини – март 1954 г.

СССР

Письмо акад. Н. Н. Семёнова (в Наркомат о необходимости комплекса работ по созданию ядерного оружия) – 1940 г.

АН СССР создаёт специальную Комиссию по урану – 1941 г.

Записка Берия Сталину с агентурными данными о работах по урановой бомбе в США – 10 марта 1942 г.

Решение Госкомитета Обороны о советском атомном проекте - февраль 1943 года.

Пуск первого в СССР физического реактора - декабрь 1946 г.

Сахаров предложил "1-ю идею" термоядерного заряда - осень 1948 г.

Испытание первой советской атомной бомбы - август 1949 г.

Испытание усовершенствованной атомной бомбы - 1951 г.

Взрыв твёрдого термоядерного заряда большой мощности - август 1953 г.

Осуществление "3-й идеи" - ноябрь 1955 г.

Взрыв "мощного", эквивалентный 58 млн тонн тротила - осень 1961 г.

Если бы США после окончания II мировой войны не ослабили темпов работы по совершенствованию ядерного оружия, то они вполне могли бы разработать мультимегатонные термоядерные заряды не к середине 1950-х годов, а к их началу, если не к концу 1940-х. Похоже, что умело работающая скрытая и открытая советская агентура идеологического влияния и собственные левоориентированные миролюбцы в США сумели добиться куда больших успехов, чем советские шпионы.

* * *

Далее следует текст Д. Штурман:

Работа Сахарова в "проекте" совпала с концом и квартирных, и материальных трудностей.

Как уже было сказано, на фоне послевоенного настроения, при ещё не угасшем патриотическом порыве, предложенная сверху тематика не могла слишком уж сильно отталкивать молодого учёного. Моральные или политические соображения? Вряд ли этот фактор был для него тогда решающим. Предложенная ему задача была для него намного менее интересной, чем фундаментальная физико-теоретическая тематика, которой он был занят ранее в ФИАНе. Он не хотел отрываться от проблем, его увлекавших, ради задач физико-технических, инженерных, пусть самого высокого класса. И потому медлил, пока мог. Но бороться против "нового назначения" (А. Бек) не стал. По-видимому, Сахаров был из тех натур, которым нужна очень уж сильная встряска, чтобы их воля, идущая вразрез с обстоятельствами, сделалась непреклонной. Да и задача стала для него небезынтересной - тем более, когда он пришел к варианту, обеспечивающему решение "проблемы" в принципе. При всём том сомнения в нравственном качестве новых занятий возникли достаточно рано. И вот как Сахаров от них освобождается. Здесь трудно решить (вероятно, и ему самому), что возникло подспудно уже тогда, а что пришло позже:

«Настало время сказать, как мы, я в том числе, отнеслись к моральной человеческой стороне того дела, в котором мы активно участвовали. Моя позиция (сформировавшаяся в какой-то мере под влиянием Игоря Евгеньевича, его позиции и других вокруг меня) со временем претерпела изменения, я еще буду к этому возвращаться. Здесь

же я скажу, какой она была первые 7-8 лет, до термоядерного испытания 1955 года. Как видно из предыдущего рассказа, меня тогда, в 1948 году никто не спрашивал, хочу ли я участвовать в работах такого рода. Но то напряжение, всепоглощённость и активность, которые я проявил, зависели уже от меня. Постараюсь объяснить это, в том числе самому себе, через 34 года. Одна из причин (не главная) – была "хорошая физика" (выражение Ферми по поводу атомной бомбы, его многие считали циничным, но цинизм обычно предполагает неискренность, а я думаю, что Ферми был искренним; не исключено также, что в этой реплике было что-то от попытки уйти от волнующего его вопроса. Ведь он сказал: "Во всяком случае, это хорошая физика", значит, подразумевалась и другая сторона вопроса). Физика атомного и термоядерного взрыва действительно "рай для теоретика". Чисто теоретическими методами, с помощью относительно простых расчётов можно было уверенно описывать, что может произойти при температурах в десятки миллионов градусов – т.е. при условиях, похожих на те, которые имеют место в центре звёзд» /"Воспоминания", стр. 132; выд. Сахаровым/.

И Сахаров переходит к физической стороне проблемы.

Однако, цинизм отнюдь не исключает искренности. Напротив: цинизм это и есть беззащитная откровенность в таких вещах, в которых люди обычно стыдятся быть искренними. Но, помимо цинизма, в печально известных словах Ферми присутствует ещё и подспудное самооправдание. Правда, большинство западных физиков, в отличие от их советских коллег, видели перед собой лишь одного врага – нацизм. Предположение, что коммунизм – такое же зло, причём лицемерное и покоряющее свободный мир исподволь, подспудно, – воспринималось ими как мизантропическое мракобесие. Элита же советской науки, за редкими, но крупными исключениями, причена была видеть в западных учёных потенциальных врагов. Но возвратимся к нашему цинику. Нередко он просто осмеливается формулировать то, что другие не смеют произнести и даже додумать. И тогда цинизм граничит с мужеством. Ферми совершенно отчётливо спорил с самим собой, двоился, но не только "хорошая физика" победила. Несомненно она работала вкупе с определёнными политическими доводами – как и у Сахарова и его коллег.*

Вот эти доводы в изложении Сахарова:

«Термоядерная реакция, этот таинственный источник энергии звёзд и Солнца в их числе, источник жизни на Земле и возможная причина её гибели – уже была в моей власти, происходила на моём письменном столе!

Возникший после судоплатовских откровений вопрос о том, был ли и Ферми советским ядерным осведомителем или нет, мы из рассмотрения исключаем. Как по некомпетентности его решать, так и по невозможности определить, что есть криминал, а что – субъективно – нет в невообразимой путанице полупристрастных интеллектуальной элиты XX века

И всё же, я говорю это с полной уверенностью, не это увлечение новой для меня и эффективной физикой, расчётами было главным. Я мог бы легко найти себе тогда – и в любое время – другое поле для теоретических забав (как и Ферми, да простится мне это нескромное сравнение). Главным для меня и, как я думаю, для Игоря Евгеньевича и других участников группы было внутреннее убеждение, что эта работа **необходима**. Я не мог не сознавать, какими страшными, нечеловеческими делами мы занимались. Но только что окончилась война – тоже нечеловеческое дело. Я не был солдатом в той войне, но чувствовал себя **солдатом** этой, научно-технической (Курчатов иногда говорил: мы солдаты, – и это была не только фраза). Со временем мы узнали, или сами додумались до таких понятий, как стратегическое равновесие, взаимное термоядерное утрашение и т. п. Я и сейчас думаю, что в этих глобальных идеях действительно содержится некоторое (быть может, и не совсем удовлетворительное) интеллектуальное оправдание создания термоядерного оружия и нашего персонального участия в этом. Тогда мы ощущали всё это скорее на эмоциональном уровне. Чудовищная разрушительная сила, огромные усилия, необходимые для разработки средства, отнимаемые у нищей и голодной, разрушенной войной страны, человеческие жертвы на вредных производствах и в каторжных лагерях принудительного труда – всё это эмоционально усиливало чувство трагизма, заставляло думать и работать так, чтобы все жертвы (подразумевавшиеся неизбежными) были не напрасными (это чувство ещё обострилось на объекте, я об этом пишу ниже). Это действительно была психология войны» /там же, стр. 133 – 134; выд. Сахаровым/.

"Психология войны" – с кем? Почему столь начитанные, столь просвещённые люди (начитанные, добавим, по ходу учёбы и "остепенения", и в марксизме с его глобальной завоевательной психологией) так легко поддали мифу "врага", который только и думает, как бы их уничтожить? Неужели те же западные доброхоты, которые шпионили за своими правительствами во имя торжества всемирного коммунизма, не информировали "советских товарищей" об истинном ходе дел? Приведенный выше (несколько туманный) монолог Сахарова содержит, по существу дела, оправдание не только работы над "термоядом", но и (вскользь) всех тех жертв, которые (получается, что ради этой работы?) приносил народ. Дабы приподнять краешек завесы над этими жертвами, передаю слово **С. Тиктину**:

Во время второй мировой войны руководители западных союзных держав разделяли мнение учёных – эмигрантов из континентальной Европы, что Германия, обладавшая мощным научно-техническим потенциалом, способна в короткие сроки обзавестись ядерным оружием. Они совершенно правильно предполагали, что нацистский режим в целях ускорения его разработки не остановится перед массовым использованием "расово неполноценных" на работах особой вредности с ядовитыми и радиоактивными веществами и т. п.

После окончания войны в высших политических сферах США возобладало мнение, что СССР в ближайшие годы разработать ядерное оружие не сможет. Руководитель американского ядерного проекта "Манхаттан" генерал Л. Гроувс, выступая перед комиссией Конгресса, назвал цифру в 10 – 20 лет. Западные же специалисты, знакомые с предвоенными работами своих советских коллег, высказывались куда осторожнее. Они понимали, что советский научный и производственный потенциал хотя и серьёзно пострадал в результате "большого террора" и войны, но отнюдь не был уничтожен.

Почему-то ни западные политики, ни специалисты не задумались серьёзно над тем, что советское руководство имеет возможность использовать в этих целях принудительный труд (и квалифицированный, и неквалифицированный) своих (да и чужих) граждан в куда больших масштабах, чем гитлеровское, и не преминёт им воспользоваться.

В статье "Атомный ГУЛаг" / "Новое Русское Слово" 12.VIII.1994/ известный ещё по своей борьбе с лысенковщиной учёный-биолог Жорес Медведев сообщает:

«В столь быстром создании в СССР ядерного оружия были... важные факторы, о которых сами физики (и тем более магистры шпионажа) предпочитают умалчивать. Среди них... готовность правительства Сталина направить на строительство атомных научных и промышленных объектов и на добычу урановой руды **миллионы** заключённых (выд. С. Т.). ...Для этой цели была создана в ГУЛаге система сверхсекретных "лагерей особого назначения" (ЛОН). ЛОН был столь глубоко засекречен и оставил столь мало выживших свидетелей, что описания этих лагерей нет ни в книгах А. Солженицына, ни у других авторов, изучавших сталинские репрессии.*

...Если судить по объёму работ, выполненных в 1945–56 гг. при строительстве двенадцати наиболее известных атомградов, включая Дубну и Обнинск, и их промышленных мощностей (образованных десятью большими реакторами и дюжиной экспериментальных реакторов меньшего размера, тремя радиохимическими комбинатами, заводами по разделению изотопов урана, заводам по производству трития, необходимого для водородных бомб, заводами для серийного производства атомных и термоядерных бомб, снарядов, торпед и боеголовок для армии), двух полигонов для испытаний атомного оружия, хранилищ радиоактивных отходов, инфраструктуры научно-исследовательских институтов, а также урановых городов и множества других объектов атомной промышленности, – можно уверенно сказать, что количество рабочих рук, которые были необходимы для столь колоссального строительства, исчислялось миллионами».

Уже есть См. , к примеру книгу А. Жигулина "Черные камни" и его статьи в периодике /прим С Т /

Самым страшным был урановый ГУЛАг, т.е. лагеря, где заключённые использовались на строительстве урановых рудников и добыче руды. Долгое время циркулировали слухи, что туда посылали и приговорённых к смертной казни в порядке исполнения приговоров, ибо больше года-двух там никто не выдерживал. Это называлось "медленный расстрел".

«Сколько людей прошли через урановый ГУЛАг, – продолжает Ж. Медведев, – сказать пока невозможно. Но по объёму проделанных работ можно заключить, что это были сотни тысяч человек.

Но для строек атомного и уранового проектов **нужны были рабочие очень высокой квалификации.** ...с 1946 года по всем советским лагерям начался – по приказу Берия и под руководством Завенягина – новый отбор. В сверхсекретные ЛОН собрали лучших, но без права переписки: атомные стройки требовали рабочих высших квалификаций, которых вообще не предполагалось отпускать на свободу.

...Тайна судьбы миллионов людей, которые строили эти атомграды, которые внесли самый трудный вклад в создание атомной мощи сверхдержавы, остаётся ... нераскрытой до настоящего времени. Ясно только одно – атомный ГУЛАГ унёс намного больше жизней, чем первые американские атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки».

Сахаров прибыл впервые на объект незадолго до испытаний собранной там первой советской атомной бомбы. Встретивший его Зельдович сказал ему, что, глядя на эти заурядные на вид куски делящегося металла (как потом станет понятно, плутония – С.Т.), он не может отделаться от ощущения, что в каждом грамме их "запрессованы" человеческие жизни. Сахаров уточняет: он имел в виду заключённых урановых рудников и объектов и будущие жертвы атомной войны /"Воспоминания", стр. 148/.

Острова "Архипелага" имелись при каждом атомном объекте. Арзамас-16 (он же Объект А-1, он же Приволжская коптора № 112, он же Кремлёв), расположенный близ надолго исчезнувшего с карты старого русского городка Сарова, в 75 км от настоящего Арзамаса, не был исключением. Сахаров вспоминает:

«В 1949 году я застал рассказы о том времени, когда это был **просто лагерь**, со смешанным составом заключённых... Руками заключённых строились заводы, испытательные площадки, дороги, жилые дома для будущих сотрудников. Сами же они жили в бараках и ходили на работу под конвоем в сопровождении овчарок.

...Дело было двумя годами раньше. Небольшая группа заключённых рыла котлован, в их числе бывший полковник (быть может из РОА). Один из заключённых нагнулся к колесу автомашины, на которой их привезли, как бы проверяя что-то. Единственный охранник нагнулся тоже. В этот момент один из заключённых ударил его лопатой по голове, и полковник подхватил выпавший из его рук автомат.

- Ребята, за мной!

Шофера выбросили из машины. Один из заключённых сел за руль, машина помчалась. Полковник, стоя в кузове, с хода расстрелял

встречный грузовик с офицерами, теперь восставшие были вооружены до зубов. Ворвавшись внезапно в лагерь, они частью расстреливают, частью обезоруживают охрану. Полковник вместе с желающими – их человек 50 или больше, в том числе все участники нападения на охрану, – уходит через зону за пределы объекта. Они надеются, вероятно, уйти достаточно далеко, рассеяться в лесах и окружающих деревнях. Но в это время по тревоге уже подняты три дивизии НКВД (так мне рассказывали; думаю, что никто не знает точной картины). С помощью автомашин и авиации они оцепляют большой район и начинают сжимать кольцо. Последний акт трагедии – круговая оборона беглецов, организованная по всем правилам военного искусства, и массированный артиллерийский и миномётный огонь, кажется, даже применялась авиация; гибнут все до последнего человека...» /"Воспоминания", стр. 154/.

Я услышал эту историю от одного бывшего заключённого ещё в 1956 году. Но где именно она произошла, он не сообщил.

Продолжу рассказ Сахарова:

«После этого восстания состав заключённых на объекте сильно изменился – все, имеющие большие сроки, которым нечего терять, удалены, и их заменили... осуждённые на меньшие сроки... 1-5 лет.

Восстаний больше не было. Но у начальства осталась ещё одна проблема – куда девать освободившихся, которые знают месторасположение объекта, что считалось великой тайной... Начальство разрешило свою проблему простым и безжалостным способом – освободившихся ссылали на вечное поселение в Магадан и в другие места, где они никому ничего не могли рассказать. Таких акций выселения было две или три, одна из них – летом 1950 года.*

В 1950–53 гг. мы жили рядом с этим лагерем. Ежедневно по утрам мимо наших окон с занавесочками проходили длинные серые колонны людей в ватниках, рядом шли овчарки. Можно было утешаться тем, что они не умирают с голода, что в других местах – на лесоповале, на урановых рудниках – много хуже. Можно было оказывать мелкую помощь (только единицам из числа расконвоированных) – старой одеждой, мелкими деньгами, едой. Однажды домработница наших соседей, Зысиных, ...сварила работавшим рядом заключённым сразу 12 кур – это уже было кое что» /там же, стр. 154 – 155/.

Но и над жизнью "вольных" на объектах господствовал "режим", – вспоминает Сахаров. За потерю секретной бумажки или детали можно

А Содержения сообщает о высылке на Котыму отбывшего сроки "особоопасного" спецконтингента и с других объектов ("Архивы ГУЛАГ" т III, стр 376 – Вермонт – Париж Изд УМСА-PRESS - 1980) кроме того эта высылка сопровождалась еще лишением права переписки [3 Балаин Дожить до оттепели "Литературная Газета" (в дальнейшем "ЛГ") N 12 (5646) М 26 III 1997] /прим С Т /

было запросто загромоздить в лагерь или в лучшем случае – если потерянное удавалось найти – лишиться средств существования без права покинуть объект. Сахаров приводит такие примеры /там же, стр. 142 и 156 – 157/.

А вот сюжет пушкинского "Анчара" в тогдашнем варианте: в бассейне под реактором сломалась тележка, в которую из-под реактора сбрасывались отработанные блочки урана, дававшие сильнейшее γ -излучение. Остановить реактор – означало надолго прекратить производство плутония. Для ликвидации аварии послали водолаза. Водолаз устранил неисправность, но получил смертельную дозу облучения /там же, стр. 157/.

Через тридцать с лишним лет участь этого водолаза разделят тысячи и тысячи "ликвидаторов" последствий Чернобыльской катастрофы.

Как же оценивает Сахаров 1980-х годов этот "объектовский" период своей жизни?

«Я думаю, что обстановка объекта, его "монопольность", даже соседство лагеря и режимные "излишества" – в немалой степени психологически способствовали той поглощённости работой, которая, как я пытался доказать, была определяющей в жизни многих из нас. Мы видели себя в центре огромного дела, на которое направлены колоссальные средства, и видели, что это достаётся людям, стране очень дорогой ценой. Это вызывало, как мне кажется, у многих чувство, что жертвы, трудности не должны быть напрасными (во всяком случае – у меня было так...). При этом в важности, абсолютной жизненной необходимости нашего дела мы не могли сомневаться. И ничего отвлекающего – всё где-то далеко, за двумя рядами колючей проволоки, вне нашего мира. Несомненно, что очень высокий (по общим нормам) уровень зарплаты, правительственные награды, другие знаки и привилегии почётно положения тоже были существенным поддерживающим элементом. * Должны были пройти годы, произойти сильные потрясения, чтобы в это мироощущение проникли новые струйки» /там же, стр. 157 – 158/.

То, что здесь так кратко и точно сформулировано Сахаровым, относится к большинству его коллег.

О Курчатове и говорить нечего. Огромный, в полтора роста, портрет Сталина, писанный маслом оригинал, висел в его кабинете некоторое время и после XX съезда /там же, стр. 128/. Приведём мнение близко знавшего его В. А. Давиденко, бывшего начальника отдела ядерных испытаний объекта: "...большой учёный и прекрасный организатор, любящий науку и заботящийся о её развитии... Но... прежде всего – 'деятель', причём деятель сталинской эпохи; именно тогда он чувствовал себя, как рыба в воде" /там же, стр. 278/.

* После публикации за пределами СССР "Размышления о прогрессе мирного сосуществования и интеллектуальной свободе" тогдашний министр среднего машиностроения СССР Е. П. Славский упрекнул Сахарова среди всего прочего в том, что он сам пользовался этими привилегиями /"Воспоминания" стр. 380 прим С Т /

Вот Президент АН СССР и директор ФИАНа Сергей Иванович Вавилов – родной брат биолога акад. Николая Ивановича Вавилова, замученного в тюрьме. Сахаров пишет о Сергее Ивановиче:

«Вавилов был доброжелательным человеком, в личном общении – мягким и добрым. Он, в качестве депутата Верховного Совета СССР, очень много общался с избирателями, приезжавшими к нему с жалобами и просьбами. Что это было такое – я легко могу себе представить по своему личному опыту "Комитета прав человека" в 70-х годах. У него в столе лежали заготовленные заранее конверты с деньгами (из его президентской зарплаты), и он, не имея в большинстве случаев возможности помочь несчастным людям иначе, давал многим эти деньги. Это стало известно, и ему пытались это запретить.

Вавилов был, кроме ФИАНа, директором ещё одного Института, ко всем своим обязанностям относился чрезвычайно рьяно, самоотверженно (тут я могу сравнить его только с ещё одним, в некоторых отношениях совсем другим человеком, – с Юрием Борисовичем Харитоновым, научным руководителем учреждения, где я потом проработал много лет)» /там же, стр. 108 – 109/.

Вот глубочайше эрудированный и одарённый И.Е. Тамм, возглавляющий в ФИАНе теоретические работы по термоядерной бомбе. Брат И.Е. Тамма был расстрелян в 30-е гг. Когда-то сам меньшевик, чудом вышедший из расстрельных подвалов ЧК и уцелевший потом разве что потому, что остался беспартийным. Верующий до конца своих дней в "чистый нескандальный социализм". Физик до мозга костей. На шестом десятке – убеждён, что основное направление развития науки должно вскоре переместиться с физики в биологию. Напомним: это времена лысенковского засилья, а роль ДНК ещё не раскрыта. Сахаров подчёркивает абсолютную интеллигентную честность и смелость Тамма, готовность пересмотреть свои взгляды ради истины, его активную, бескомпромиссную позицию... Но это касается, в основном, науки. В 1968 году Тамм, уже тяжело больной, присоединился к письму-протесту против вторжения в Чехословакию. Однако потом он снимет свою подпись, чтобы не погубить теоретдел в ФИАНе... /там же, стр. 167/.

Самые долгие отношения – 39 лет – были у Сахарова с Я.Б. Зельдовичем. Зельдович – крупнейший специалист по цепным реакциям и вместе с тем теоретик широчайшего профиля – вплоть до космологии. Автор (совместно с Ю.Б. Харитоновым, будущим научным руководителем объекта Арзамас-16) последней довоенной публикации, в которой обсуждается возможность управляемой и (отчасти) взрывной цепной реакции деления урана. Он хорошо видит зло в его многочисленных частных проявлениях, но в бой с ним не рвётся. Предпочитает втянуть в него других, по его мнению, более защищённых, например, Сахарова. Как понять его взгляды, если ему нравится картина "Утро Родины" (изображение Сталина с перекинутым на руку плащом на фоне колхозных полей и строек коммунизма) – и одно-

временно - "Реквием" Ахматовой, "Тёркин на том свете" и другой самиздат, который он давал читать Сахарову (и, по-видимому, не ему одному)? Сахаров рассказывает о романе Зельдовича на объекте с расконвоированной заключённой, художницей и архитектором Ширяевой, попавшей в лагерь за "длинный язык". "Кто бы поверил, сколько любви скрыто в этой груди", - говорил он о себе Сахарову. По окончании срока Ширяеву этапировуют на Колыму. Зельдович успевает одолжить у Сахарова деньги и передать ей. Через несколько месяцев Ширяева родила дочь в условиях, для москвичей непредставимых. Потом (после XX съезда? - С.Т.) Зельдович добьётся улучшения положения Ширяевой, а ещё через двадцать лет Сахаров увидит его с дочерью, родившейся в Магадане.

Вот вам сюжет для романа, кино- или телефильма!

Когда Сахаров попадёт в немиловость, Зельдович станет упрекающими письмами и звонками к нему (наверняка просматриваемыми и прослушиваемыми КГБ) демонстрировать властям свою лояльность. В 1987 году, незадолго до смерти, Зельдович говорит Сахарову:

"В прошлом было всякое, давайте забудем плохое. Жизнь продолжается" /там же, стр. 177 - 184/.

Сахаров готов забыть ему всё - кроме научных достижений.

Вот рыцарь фундаментальной теоретической физики И.Я. Померанчук. Virtuoz теорфизической техники (термин Сахарова), он относится к этой своей деятельности с величайшим презрением. Его концепция: "...основные, самые фундаментальные законы природы должны проявиться в физике предельно высоких энергий". Этот его взгляд разделяет и Сахаров. Сахаров передаёт рассказ о том, как Померанчук "ловил за пуговицу" директора большого физического института и спрашивал: "Есть у вас ускоритель на 600 миллионов электрон-вольт?*" Ах, нет. В таком случае вы оправдом, а не директор" /там же, стр. 174/.

Во время одной из аудиенций у Берии Сахаров задал ему вопрос:

- Почему наши новые разработки идут так медленно? Почему мы всё время отстаём от США и других стран, проигрывая техническое соревнование?

Берия ответил вполне прагматически:

- Потому что у нас нет производственно-опытной базы. Всё висит на одной "Электросиле". А у американцев сотни фирм с мощной базой.

Двадцать лет спустя Сахаров придёт к выводу, что это отставание обусловлено неравностью демократических структур управления, недостатком информационного обмена и интеллектуальной свободы /там же, стр. 196/.

На объекте Померанчук томился всего два или четыре месяца. Потом начальство поняло, что все же лучше его отпустить. Померанчук прожил недолго. Потерявший жену, умирающий от рака, он (по совету умного

В то время в СССР был один синхротрон ускоривший протоны до такой энергии. Его огромный электромагнит был изготовлен на "Электросиле" /прим С Т /

врача, не жалевший средств обезболивания) сумел прожить оставшийся кусок жизни достойно и работал до последнего дня.

Вот талантливый Н. Н. Боголюбов, много сделавший для усиления математического отдела на объекте. Чистый теоретик, далёкий от инженерных проблем, зато эрудит в самых различных отраслях физики, знавший несколько иностранных языков, с острым оригинальным умом и юмором. Именно от него Сахаров узнал о работах основателей кибернетики – Винера, Шеннона, Неймана /там же, стр. 176 – 177/. Но так и не воспользовавшись ими, когда занялся "общественными вопросами", видимо, не поняв, что как раз в этих работах находятся системные ключи к ответам на них.

Потом Боголюбов стал директором Объединённого института ядерных исследований в Дубне. Такой директор не мог не импонировать взыскательным зарубежным гостям-учёным, раздававшим палево и направо приглашения своим советским коллегам.

Когда же разразился "мировой скандал" с интервью Поликанова западным корреспондентам о действительной ситуации с поездками советских учёных за рубеж, реакцией Боголюбова было: "Вот и у нас теперь свой диссидент есть" /"Разрыв", стр. 228/. Хотя за несколько лет до того и он (вместе с Ю. Б. Харитоновом) подписал письмо сорока против Сахарова.

Вот крупнейший математик И. М. Гельфанд, разрабатывавший новые, пригодные для ЭВМ, методики сложных расчётов "изделий", основанных на "третьей идее" /"Воспоминания", стр. 245/, Тем не менее его академическое продвижение на десятилетия застопорилось на "член-коррстве" из-за специфических (читайте – антисемитских – С. Т.) порядков в математическом отделении АН СССР. К этому добавилась ещё причастность к письму в защиту А. С. Вольпина-Есенина, брошенного в психзастенки /там же, стр. 245 – 246/. В 1969 году он опубликовал в ж-ле "Природа" № 6 (в соавторстве ещё с тремя специалистами) статью "Взаимодействие в биологических системах", касающуюся основных принципов функционирования "больших систем".* Кто бы мог в те времена подумать, что Гельфанд ещё окажется в США и – на девятом десятке – получит должность в одном из американских университетов?

Напомню ещё несколько зарисовок, сделанных Сахаровым.

Вот акад. М. А. Леонтович, спустивший с лестницы и назвавший представителем самой древней и непочётной женской профессии Я. П. Терлецкого – физика-теоретика, претендовавшего на роль борца за идейную чистоту физики и предложившего ему сотрудничество.** Лавры Т. Д. Лы-

^{*} В этой работе тоже содержались ответы на заинтересовавшие тогда Сахарова "общественные вопросы" Правда, в системно-биологической интерпретации. Но Сахаров и тут прошёл мимо этой статьи своего коллеги /прим С Т /

^{**} Как стало впоследствии известно, в 1945 году Я П Терлецкий, по заданию генерала П Судоплатова, участвовал в попытке советских разведчиков "проинтервьюировать" Нильса Бора /прим С Т /

сенко не давали тогда спать многим подонкам, но ядерная бомба была нужнее "дискуссии". В 1951 году Леонтович был назначен руководителем теоретических работ по магнитному термоядерному реактору. Вскоре он сказал Тамму: "Я почти убеждён, что из этой затеи ничего не получится. Но я сделаю всё, что в моих силах, чтобы внести ясность, какой бы она ни была" /там же, стр. 437 - 438/. А вот мнение Сахарова: "Я думаю, что это огромная удача для успеха дела, что в этой работе принял участие Михаил Александрович. Он отдал ей 30 лет жизни, до самой смерти в 1981 году" /там же/.

Создать работающий магнитный термоядерный реактор (и даже внести ясность в эту проблему), в отличие от термоядерной бомбы, не удалось и поныне. Несмотря на огромные усилия и затраты. Почему же Леонтович занялся этой проблемой, почти (?) убеждённый (а оснований для этого было предостаточно), что "ничего не получится"? Уж не для того ли, чтобы не быть самому причастным к созданию термоядерного оружия, которое - после того, как стали известными характеристики реакции дейтерия с тритием, - не могло не получиться раньше или позже?

Вот вышедший из школы Резерфорда знаменитый акад. П.Л. Капица, увернувшийся от участия в работе над ядерным оружием. На приглашение Берии приехать он ответил, что чрезвычайно занят научной работой и предложил тому самому приехать к нему в институт /"Воспоминания", стр. 167 - 168/. Капица выдвинул тогда на первый план не идейные соображения, а несогласие по организационным проблемам и нежелание подчиняться людям, которых он считал ниже себя в научном отношении, заявив, что "дирижер, не знающий контрапункта, не может дирижировать оркестром, каких бы исполнителей туда ни собрали" /Е. Добровольский. Николина гора. "Новое Русское Слово" 17. II. 1995/. Благо, в аппарате Берии поведение Капицы расценили только как "недисциплинированность и хулиганство". Сахаров думает, что тут была не только уловка, а действительное сочетание разнородных причин /"Воспоминания", стр. 399/. Но руководимый Капицей (и притом на особых условиях) Институт физических проблем АН СССР был передан в руки А.П. Александрова, "человека способного, очень способного, на всё способного" (советский юмор), и, разумеется, был подключён к разработке ядерного оружия. А Капице осталась "Изба физических проблем", как он в шутку называл свою дачу на Николиной горе, где продолжал работать.

Сахаров вспоминает о гражданском подвиге Капицы, смертельно опасном для него самого, - о заступничестве за арестованных во времена "большого террора" двух крупнейших физиков-теоретиков - Фока и Ландау.* Через много лет Капица попытается вступить и за осуждённого учёного-диссидента Ю. Орлова, ещё в 1956 году выступавшего с критикой половинчатых решений XX съезда КПСС. Но без особого успеха. Александров же, ставший впоследствии директором ИАЭ и президентом АН СССР, примет

^{*} По свидетельству Л. Чуковский, С. Вавилов и Тамм совершили такой же подвиг, пытаясь спасти от расстрела создателя квантовой теории гравитации М. П. Бронштейна

участие в травле Сахарова. Но изгнать последнего из Академии не удастся: Капица вовремя напомнит коллегам о том, как по требованию Гитлера был исключён из германской академии наук А. Эйнштейн.

Венцом карьеры Александрова, долгие годы курировавшего развитие советской атомной энергетики, закономерно станет Чернобыль...

Однажды Зельдович сказал Сахарову о Тамме: "Вы знаете, почему именно И.Е. оказался столь полезным для дела, а не Ландау? - У И.Е. выше моральный уровень".

Моральный уровень, поясняет Сахаров, тут означает готовность отдавать свои силы "делу". Что ж, акад. Зельдович морально очень разносторонний человек.

Вышедший чудом (иначе не назовёшь) из сталинских застенков Ландау и через много лет не падок на откровенность. Единственный раз, когда Сахаров заговорил с ним наедине, - это было в середине 1950-х годов, - он сказал:

- Сильно не нравится мне всё это (имелась в виду ядерное оружие вообще и участие Ландау в его разработках).

- Почему?

- Слишком много шума /там же, стр. 168/.

Намёк на верховных "дирижеров" атомного комплекса?..

Пройдёт много лет после смерти Ландау, и акад. В.Л. Гинзбург расскажет, что Ландау считал себя не кем иным, как "учёным работ". Расскажет он и об окружавших Ландау сексотах и подслушивающих устройствах, об омерзительных "телегах", катившихся на него в Академию из КГБ даже в относительно "тёплые" послесталинские времена. Бывший советский физик Г. Горелик, ныне живущий в Бостоне, пишет о нём в статье "Моральная подоплёка советского атомного проекта": "Среди сталинских физиков-атомщиков первого ряда, по-видимому, только он один понимал, для кого он делает бомбу" /"Новое Русское Слово" 12.VI.1994/. Далее автор статьи цитирует долгое время известные только на Лубянке подслушанные и зафиксированные "спецтехникой" высказывания Ландау:

«Если бы не 5-й пункт, я не занимался бы спецработой, а только наукой, от которой я сейчас отстаю. Спецработа, которую я веду, даёт мне в руки какую-то силу. Но отсюда далеко до того, чтобы я трудился "на благо Родины"...»

И ещё:

«Наша система, как я её знаю с 1937 года, совершенно определённо есть фашистская система, и она такой осталась и измениться так просто не может. Пока эта система существует, питать надежды на то, что она приведёт к чему-то приличному, даже смешно.

...Если наша система мирным способом не может рухнуть, то третья мировая война неизбежна со всеми ужасами, которые при этом предстанут. Так что вопрос о ликвидации нашей системы есть вопрос судьбы человечества».

Как сложилась бы его судьба, какие увлекли бы его вопросы, если бы не автокатастрофа, превратившая его в инвалида и укоротившая жизнь?

А вот как оценивают Сахарова некоторые его коллеги:

Акад. В. Л. Гинзбург: «А. Д. Сахаров был личностью исключительной, необыкновенной. Его обычными мерками не измеришь. В моих глазах он – очень талантливый человек, из которого мог бы вырасти подлинно великий физик, но ему не довелось реализовать в науке свои истинные возможности. ...Он был чем-то похож на Эйнштейна. Он всегда жил несколько отстранённо, между ним и другими возникала невидимая перегородка» /Интервью израильской газете "Вести" 25. II. 1993/.

Акад. Я. Б. Зельдович: «Других физиков я могу понять и соизмерить. Андрей Дмитриевич – что-то иное, особенное» /там же/.

Акад. И. Е. Тамм (из письма 1953 года вдове С. П. Шубина, погибшего в 1937 году): «Я всегда считал его (Шубина) самым талантливым из всех наших физиков. Только в последние годы появился Андрей Сахаров – трудно их сравнивать. Сахаров полностью сосредотачивает все свои душевные силы на физике, а для С. П. (Шубина) физика была только первой среди равных – поэтому можно только сказать, что по порядку величины они сравнимы друг с другом» /Г. Горелик. Моральная подоплёка советского атомного проекта. "Новое Русское Слово" 12. VI. 1994/.

Мог ли Тамм тогда предположить, на чём сосредоточит Сахаров все свои душевные силы в 1970-х – 1980-х годах?

Акад. Е. Л. Фейнберг: «У нас появился очень одарённый человек. Его спокойная уверенность, основанная на непрерывной работе мысли, вежливость и мягкость, сочетавшиеся с твёрдостью в тех вопросах, которые он считал важными, ненавязчивое чувство собственного достоинства, неспособность нанести оскорбление никому, даже враждебному ему человеку, предельная искренность и честность проявились очень скоро. Я уверен, он никогда не говорил ничего, не согласуя с тем, что он действительно думал и чувствовал в данный момент, не совершил ни одного поступка, который противоречил бы его словам, мыслям и совести. И в то же время был настойчив, точнее, невероятно упорен в преследовании избранной цели» /Е. Л. Фейнберг. Сахаров в ФИАНе. "Новый мир" N 5, М., 1994/.

И, наконец, **графолог Л. В. Горохова – по почерку:** «Прямота. Честность. Доброта. Наивность, иногда соседствующая с инфантильностью. Несомненно умный. Ум не эгоцентричный, гуманный. Добро принимает человечество. Одарённость несомненная. К себе отно-

сится даже чересчур скромно. Поэтому его в жизни щёлкали по носу. О карьеризме и говорить нечего. Своё дело делает обязательно, если только не по принуждению. Дело делает со всей охотой. Должно быть, благополучен лично. Душевно щедр. Любит людей, и в частности близких ему. Способен к жертвенности (не ярко выражено). Можно с ним идти в любую разведку. В опасной ситуации сделает так, что не ему будет лучше, а другому» /там же/.

В 1960-е годы Сахаров постепенно возвращается к фундаментальным вопросам физики и космогонии. С горечью он замечает:

«Я... - после привлечения к военно-исследовательской тематике - почти мгновенно потерял с таким трудом достигнутую высоту, ...то, чем я занимался с 1948 по 1968 годы, было очень большим пузырём» /"Воспоминания", стр. 104/.

И далее поясняет:

«...с точки зрения элементарных процессов в них (ядерных взрывах - С.Т.) нет ничего особенного. Чтобы действительно узнать что-то принципиально новое, нужны гораздо большие энергии в элементарных актах (а не много килограмм прореагировавшего вещества и большой разрушительный эффект). Именно отсюда черпает свои откровения фундаментальная наука, а не из ядерных взрывов!» /"Воспоминания", стр. 138/.

Тем не менее после своей новой работы 1965 года Сахаров вновь уверовал в свои силы физика-теоретика /там же, стр. 328/. Однако уже в конце 1950-х годов и особенно в 1960-е годы всё большее место в его жизни стали занимать общественные вопросы /там же, стр. 348/.

Но это уже другая тема.

Передаю слово своему соавтору Д. Штурман.

В спецзоне

Итак, "инженерно-теоретические забавы" были не главным побуждением к тому, что Сахаров не отказался от работы над созданием водородной бомбы. Он и его коллеги были уверены (или убеждали себя изо всех сил), что к этому обязывает их гражданский долг. Курчатов иногда говорил: "Мы солдаты..." /"Воспоминания", стр. 133/.

С кем предполагалась война? Какие имелись для этих предположений основания?

Не Запад, а СССР олицетворял в 1946-50-х гг. самую страшную на планете силу.

Конечно, трудно не думать о безопасности – прежде всего – своей страны в нашем страшном мире. Но солженицынский зек Нержин /"В круге первом"/ отказался работать над обеспечением родного МГБ устройством для идентификации подслушанных голосов. А отнюдь не зек, но дипломат и зять прокурора весьма высокого ранга, Иннокентий Володин (там же), помешал родимой разведке получить с Запада один из "цельнотянутых" вариантов очень важной вещи (как бы не варианта или узла "изделия"). За что и расплатился если не жизнью, то свободой. Скорее – жизнью. Значит, разные существовали взгляды на патриотизм и на службу родине.

Конечно, Солженицын был вчерашний зек, а Сахаров – даже ещё и не ссыльный. Но семейный и сословный фон был у них близкий. Можно бы даже и потягаться: в чём роду и родстве арестантов было больше и чьи корни в просвещённых слоях дореволюционной России прослеживались глубже. Но не в этом, по-видимому, суть. "Славянофил" и "националист" Солженицын твёрдо знал, что коммунистам давать в руки опасные для человечества игрушки **нельзя**. Космополит и гуманист Сахаров этого не знал. Он уравнивал в своих рассуждениях, даже и ретроактивных, СССР и Запад.

Я знаю могучую притягательность постижения тайн природы, упорно ставящую познание над **любыми** ограничениями, включая нравственные запреты. Мне знаком довод, что всё созревшее к тому, чтобы родиться, – рождается. Так это или нет – об этом можно и нужно продолжать спорить. Если известно, что должен родиться уродливый плод, – иногда беременность прерывают искусственно. Правда, некоторые вероисповедания и конфессии за человеком такого права не признают. Но к химерам человеческой мысли этот их запрет не относится. Возражат, что нельзя нарушать и естественное развитие мысли: кто знает, что она принесёт? Но эту идею опробовали на полигоне под Аламогордо и вполне сознательно применили на практике дважды: в Хиросиме и в Нагасаки. Она была хорошо проверена.

Есть, однако, в вопросах подобного рода решение, которое открывает выход **всегда** (правда, только личный, только для себя одного). Оно заключается в трёх словах: **не через меня**. Если я, делая для этого **всё от меня зависящее, тем не менее не могу остановить зла, то пусть зло не приходит в мир через меня**.

Оружие, возражат нам, вообще, зло. **Относительное**, ответим мы. Не будучи сторонницей абсолютного непротivления злу насилием, рискну заметить, что иногда применение или возможность применения оружия – это **наименьшее зло**, ибо оно предупреждает или прекращает **зло большее**. Мы достаточно много знаем о войнах прошлого и погибших цивилизациях. После них жизнь на Земле уцелевала. **Термоядерное же оружие – зло абсолютное**. Его изготовление и применение убьёт или непоправимо изувечит земную жизнь **вообще, всю**.

Злом оборачиваются нередко и вещи, поначалу невинные, и как будто полезные. Но крошечный ужас ядерного оружия беспорен. **Это – плохая физика**.

Вместе с тем, страшная многомерность жизни ставит людей в неразрешимые ситуации: куда ни кинь – всюду клин.

Общеизвестно, что идея ядерного оружия носилась в воздухе надо всей Европой ещё до второй мировой войны. Нет на Земле такой силы, которой можно было бы эту идею доверить, но она возникла. И начала со-близнять: учёных и техников – "хорошей физикой", политиков – невиданно грозной мощью. Наступательной или оборонительной. Утешительные идеи взаимного сдерживания, равновесия сил, нераспространения ядерного оружия рассчитаны на человеческое благоразумие. Но земной интеллект не благоразумен. Он легко втягивается в роковые игры.

Сахаров говорит, что работа советских ядерщиков над бомбой имела "...некоторое (быть может и не вполне удовлетворительное) ин-теллектуальное оправдание..." /"Воспоминания", стр. 133; выд. Д.Ш. /. Он в этом искренен, как и во всём, о чём решается (или решает) говорить. Правда, он говорит не обо всём имеющем отношение к тому или иному спору, иногда исключая из рассмотрения моменты, весьма существенные.

Невзирая на всё нами выше и ниже об этом сказанное, Сахаров в своём осторожном суждении небезоснователен. Некоторые немаловажные причины работать над бомбой у советских физиков были: джин выпущен из бутылки и моя страна – это моя страна, кто бы ею ни правил. Но это очень зыбкие основания. И даже не только нравственно, но и чисто прагматически зыбкие. Страна мертвела под удушающей рукой Сталина; ядерщики трудились под началом Берии. СССР влекли в пропасть внутренние, а не внешние силы. Они же (эти отечественные силы) угрожали и всей планете.

Вероятно, многих коллег Сахарова (и не только их) искушала и утешала мысль: если не я, так другой. Есть тенденция приравнивать в этом вопросе западных физиков к советским. Но это как раз тот случай, когда аналогия между СССР и США в военных аспектах есть сугубо ложное уподобление: речь идёт о силах, по сути своей альтернативных. Похоже, что в мире ядерной физики этой альтернативности не замечала ни та, ни другая сторона. Американские учёные не слишком щепетильничали в охране от СССР своих секретов. Советские – работали на коммунистическое правительство, благодарно используя разведанные "органов" и добровольных шпионов.

Теперь, когда только ленивая макси- или мииндержава ещё не сварганила, не украли или не купила парочки "изделий", либо не приобрела материалов для их изготовления; либо не переманила профессионалов для налаживания своего производства ядерного оружия, поздно, казалось бы, на эту тему и пустословить. Но в душе, наперекор логике и обстоятельствам, продолжает звучать всё то же: **не через меня.**

«Я читал, что Оппенгеймер заперся в своём кабинете 6 августа 1945 года, в то время как его молодые сотрудники бегали по коридору Лос-Аламосской лаборатории, испуская боевые индейские кличи, а потом плакал на приёме у Трумэна. Трагедия этого человека, который в своей работе, по-видимому, руководствовался идейными, высокими мотивами, глубоко волнует меня (конечно, ещё больше волнует вся трагическая история Хиросимы и Нагасаки, отразившаяся в

его душе). Сегодня термоядерное оружие ни разу не применялось против людей на войне. Моя самая страстная мечта (глубже чего-либо ещё) – чтобы это никогда не произошло, чтобы термоядерное оружие сдерживало войну, но никогда не применялось» /"Воспоминания", стр. 134/.

Сахаров в обеих своих книгах немало уделяет места тому, **что, почему и с какими моральными основаниями пришло именно через него**. Однако все его надежды на то, что "ружьё не выстрелит", строятся на песке.

Кому, как не Сахарову, понимать, что какого-нибудь безумного Гитлера, Иди Амина, Пол Пота etc стать хотя бы благоразумным, если не благонамеренным человеком ничто не заставит. Среди людей живут и действуют существа, человекам инородные (иноприродные), исчадия inferнальных сил. И орудия массового уничтожения им бывают доступней, чем нормальному большинству. Самая страстная мечта Андрея Сахарова есть одновременно и самое трагическое его чувство, ибо никакой уверенности, что она сбудется, у него нет. Субъективно у стареющего Сахарова оснований верить, что его надежда осуществится, ещё меньше, чем у Сахарова тридцатилетнего. Объективно – тоже.

* * *

Казалось бы, только и спешить с реализацией СОИ (стратегической оборонительной инициативы), способной существенно уменьшить страх нормальных людей перед ядерной смертью, ограничить возможности злодеев и безумцев. Но Сахаров оказался в рядах противников (условно говоря) СОИ.

Почему?

Пока скажем коротко: он надеялся, что дьявол перехитрит самого себя. Ядерное оружие получат все – поэтому его не применит никто. Надежда (или расчёт) применить его первым и, главное, безнаказанно, по мнению Сахарова, увеличит соблазн к нему прибегнуть. По сходной причине, он, глядя в прошлое, всю жизнь продолжает обдумывать и, в конечном счёте, оправдывает создание советскими физиками термоядерного оружия. **Независимо от целей и качеств сторон**, могущих быть втянутыми в конфликт, опасность ответного удара ("взаимное сдерживание") представляется ему более надёжной, чем СОИ. Детально мы обсудим этот вопрос позднее.

* * *

На страницах 132 – 139 своих "Воспоминаний" Сахаров анализирует мотивации нескольких параллельных, по его мнению, цепей событий. Субъектами этих мотиваций являются Эдвард Теллер, Роберт Оппенгеймер и он, Сахаров, разных периодов своей жизни.

СССР и США рассматриваются (повторим и подчеркнем) Сахаровым на этих страницах как **равнокачественные** в плане политической этики, морали и целей государственные образования. Он обнаруживает в их действиях если и не тождественные, то очень близкие побуждения. Нет речи о двух

системах – идёт речь о двух равно вменяемых государствах. В обоих случаях (то есть с обеих сторон) ведущим стимулом ему представляется гиперболлизированный инстинкт самосохранения. Отсюда – взаимный страх, повышенная подозрительность, жажда себя обезопасить. Элемент запрограммированной (ещё в проекте) всемирной экспансии, идеологической агрессивности коммунистического СССР здесь Сахаровым из полемики исключён, хотя он у него спорадически возникает во многих интервью и статьях.

Не смешивает ли он неволью личных побуждений учёных, причастных к созданию страшного оружия, с побуждениями их – в одном случае – заказчиков, в другом – хозяев?

Почему я определяю Белый дом (США) как заказчика, а Кремль (СССР) – как хозяина и даже рабовладельца?

Исключим из рассмотрения обе государственные доктрины (демократическую и коммунистическую). Чисто практически мы вынуждены будем признать: американский, французский, английский, израильский (любой демократической страны) учёный или специалист ничем не рискует в случае прямого отказа работать над **любой** предложенной государством тематикой и проблемой, включая разработку ядерного оружия или защиту от него. Он рискует лишь в случае шпионажа или раскрытия секретных сведений. Но наличие преступного умысла в его действиях надо ещё хорошо доказать. Даже работу в случае такого отказа он себе может найти – не у государства, так в частной фирме или за рубежом. В тоталитарном же государстве чем учёный или специалист нужнее власти, тем жёстче оказывается её контроль над ним, тем больше ограничиваются для него возможности выбора. И в случае отказа работать, где велют и над чем велют, он может быть в лучшем случае отстранён от научной деятельности и работы по специальности, а в худшем – оказаться в "малой зоне", где его могут заставить работать и как специалиста, и как чернорабочего. Или убить.

Итак, в демократических и тоталитарных государствах возможности учёных не идентичны, как не идентичны глобальные цели этих государств.

Когда читаешь эти сахаровские страницы, создаётся впечатление, что это Теллер, а не Сахаров вырос в СССР и хорошо знает обрисованную выше зависимость; что это у Теллера, а не у Сахарова погибли в пароксизмах государственного террора чуть ли не все близкие отца и матери и десятки коллег. Что Теллера, а не Сахарова заставляли пересдавать экзамены по марксизму-ленинизму – до тех пор, пока он в нём достаточно хорошо разобрался (чего Сахаров так и не сделал).

Короче, что не маниакально-агрессивный "Интернационал" (Весь мир василья мы разрушим до основания..."), а безобидный "Янки Дудль" звучал в ушах Сахарова всю его жизнь.

Неужели детские впечатления выходца из Венгрии Теллера от нескольких месяцев "белакуновского" террора оказались сильнее всего советского опыта Сахарова?

Теллер почему-то знает, что планетарная агрессия запланирована коммунистической идеологией **изначально**, а Сахаров этого не знает. Не принимает всерьёз того бесспорного историко-политического факта, что де-

мократии просто **живут, чтобы жить**, а (интернационал- и национал-) социалистические диктатуры – чтобы завоевать и переделать на свой лад весь мир, **чего и не скрывают**. Такая наивность естественна для левого западного либерала, но не для человека с трагическим советским опытом.

Горький триумф

Трудно понять, но в детстве и отрочестве (возможно, под более сильным тогда влиянием родителей и всей исходной среды) Сахаров лучше себе представлял, где он находится и под чьей властью живёт, чем – долгие годы – потом, служа этой власти. О смерти Сталина он писал первой жене как о народной трагедии /"Воспоминания", стр. 217/. И если чувство опасений и ответственности за "изделие" нарастало сравнительно быстро, то понимание общества, в котором ему судилось жить и работать, заметно от этого отставало.

Впрочем, и в рассказе о первом испытании "изделия", выполненного по "3-й идее", Сахаров проявляет удивительную беспечность. Поначалу он говорит лишь о некоторых механических (от ударной волны) и тепловых повреждениях и о считанных пострадавших, не обсуждая радиационных эффектов взрыва.

Сахарова не назовёшь публицистом ярким. Он суховат, сдержан, скуп (за немногими исключениями) на выражение чувства. Но в описании столь памятного для него взрыва (как и двумя годами ранее – первого термоядерного взрыва) он не только эмоционален – он живописно-выразителен:

«В этот раз я, по описанию проведения испытаний в американской "Чёрной книге", не надел чёрных очков (сняв их потом, уже ничего не видишь из-за ослепления, а в них видно плохо). Вместо этого я стал спиной к точке взрыва и резко повернулся, когда здания и горизонт осветились отблеском вспышки. Я увидел быстро расширяющийся над горизонтом ослепительный бело-желтый круг, в какие-то доли секунды он стал оранжевым, потом ярко-красным; коснувшись линии горизонта, круг сплюснулся снизу. Затем всё заволокли поднявшиеся клубы пыли, из которых стало подниматься огромное клубящееся серо-белое облако, с багровыми огненными проблесками по всей его поверхности. Между облаком и клубящейся пылью стала образовываться ножка атомпо-термоядерного гриба. Она была ещё более толстой, чем при первом термоядерном испытании. Небо пересекли в нескольких направлениях линии ударных волн, из них возникли молочно-белые поверхности, вытянувшиеся в конуса, удивительным образом дополнившие картину гриба. Ещё раньше я ощутил на своём лице тепло, как от распахнутой печки – это на морозе, на расстоянии многих десятков километров от точки взрыва. Вся эта феерия развёртывалась в полной тишине. Прошло несколько минут. Вдруг вдали, на простиравшемся перед нами до горизонта поле показался след ударной

волны. Волна шла на нас, быстро приближаясь, пригибая к земле ковыльные стебли. Я скомандовал:

Прыгай! – и прыгнул с помоста сам.

...Волна ушла дальше, и до нас донёсся треск, грохот и звон разбиваемых стёкол. Зельдович подбежал ко мне с криком:

– Вышло! Вышло! Всё получилось! – и стал обнимать.

Все мы были немного не в себе. Через несколько минут из здания штаба вышли руководители – военный руководитель испытания маршал М.И. Неделин, командующий ракетными войсками СССР, Курчатов, Завенягин, научный руководитель объекта Харитон, военное, административное и партийное начальство (в том числе начальник оборонного отдела ЦК Сербин), руководители служб испытания. Завенягин растирал рукой огромную шишку на лысой голове. От ударной волны в штабе треснул потолок и обрушилась штукатурка. Завенягин выглядел возбуждённым, как все, и счастливым.

Испытание было завершением многолетних усилий, триумфом, открывавшим пути к разработке целой гаммы изделий с разнообразными высокими характеристиками (хотя при этом встретятся ещё не раз неожиданные трудности)» /там же, стр. 253 – 254/.

Я опускаю все технические детали и перипетии, но хочу привести ещё один выразительный отрывок:

«Конечно, мы все понимали огромное военно-техническое значение проведенного испытания. По существу, им была решена задача создания термоядерного оружия с высокими характеристиками. Мы были уверены, что испытанное изделие станет прототипом для термоядерных зарядов различных мощностей, веса и назначения. Мы были очень возбуждены. Но это было не просто радостное возбуждение от ощущения выполненного долга. Нами – мною во всяком случае – владела уже тогда целая гамма противоречивых чувств, и, пожалуй, главным среди них был страх, что высвобожденная сила может выйти из-под контроля, приведя к неисчислимым бедствиям. Сообщения о несчастных случаях, особенно о гибели девочки и солдата, усиливали это трагическое ощущение. Конкретно я не чувствовал себя виновным в этих смертях, но и избавиться полностью от сопричастности к ним не мог» /там же, стр. 256 – 257/.

Из под ЧЬЕГО контроля – напрашивается сам собою вопрос? Скоро он встанет перед Сахаровым в полный рост. Но похоже, что и в период своей борьбы против СОИ он не решится осмыслить его до конца, как это сделали Володин и Нержин ("В круге первом").

Итак, тогда, у истоков чудовищной серии термоядерных взрывов, которым суждено будет изуверчить экологически, генетически и хозяйственно значительную часть Казахстана, российского Севера и Северо-Востока, в том числе и районы, населённые слабыми, малочисленными народами, Сахаров "конкретно... не чувствовал себя виновным". Девочка и солдат

предстают в этом отрывке единственными и не непомерными жертвами научно-технического триумфа Сахарова и его коллег. "Хорошая физика" ещё заслоняла многое.

Позволю себе, однако, обратить внимание читателя на немаловажную психологическую и нравственную деталь. Сахаров мог бы и не написать этой фразы, тем более, что отсутствие чувства виновности было достаточно коротким. Ответственность человека и гражданина взяла верх над торжеством профессионала уже на полигонном банкете. Однако Сахаров не хочет крикнуть душой. Да ещё в подробностях, которые работают против него.

Его поглощённость "хорошей физикой" и теперь, когда пишутся "Воспоминания", вспыхивает ослепительным огнём, на фоне которого меркнут "второстепенные" детали. Он бесспорно осознаёт уже (1980-е годы!) весь трагизм ситуации, но тогдашнее победное чувство не померкло. Тем не менее, уже и в эти относительно беспечные свои часы Сахаров совершил рискованный шаг. Он не был бы самим собой, если бы этого шага не сделал.

Испытаниями руководил маршал Неделин. После описанного выше успеха

«...в одной из небольших комнат домика Неделина был накрыт парадный стол. Пока гости рассаживались, Неделин разговаривал с начальником полигона, генералом Б. Он сказал ему:

- Ты должен выступить на похоронах (погибшего солдата - А.С.). Подпиши письмо родителям солдата. Там должно быть написано, что их сын погиб при выполнении боевого задания. Позаботься о пенсии.

Наконец, все уселись. Коньяк разлит по бокалам. "Секретари"* Курчатова, Харитона и мои стояли вдоль одной из стен. Неделин кивнул в мою сторону, приглашая произнести первый тост. Я взял бокал и сказал примерно следующее:

- Я предлагаю выпить за то, чтобы наши изделия взрывались так же успешно, как сегодня, над полигонами, и никогда - над городами.

За столом наступило молчание, как будто я произнёс нечто неприличное. Все замерли. Неделин усмехнулся и, тоже поднявшись с бокалом в руке, сказал:

- Разрешите рассказать одну притчу. Старик перед иконой с лампадкой, в одной рубахе молится: "Направь и укрепи, направь и укрепи". А старуха лежит на печке и подаёт оттуда голос: "Ты, старый, молись только об укреплении, направь я и сама сумею!" Давайте выпьем за укрепление.

Я весь сжался, как мне кажется - побледнел (обычно я краснею). Несколько секунд все в комнате молчали, затем заговорили неестественно громко. Я же молча выпил свой коньяк и до конца вечера не открыл рта. Прошло много лет, а до сих пор у меня ощущение, как от удара хлыстом. Это не было чувство обиды или оскорбления. Меня вообще нелегко обидеть, шуткой - тем более. Но маршальская прит-

ча не была шуткой. Неделин счёл необходимым дать отпор моему неприемлемому пацифистскому уклону, поставить на место меня и всех других, кому может прийти в голову нечто подобное. Смысл его рассказа (полунеприличного, полубогохульного, что тоже было неприятно) был ясен мне, ясен и всем присутствующим. Мы – изобретатели, учёные, инженеры, рабочие – сделали страшное в истории человечества. Но использование его целиком будет вне нашего контроля. Решать ("направлять", словами притчи) будут они – те, кто на вершине власти, партийной и военной иерархии. Конечно, понимать я понимал это и раньше. Не настолько я был наивен. Но одно дело – понимать, и другое – ощущать всем своим существом как реальность жизни и смерти. Мысли и ощущения, которые формировались тогда и не ослабевают с тех пор, вместе со многим другим, что принесла жизнь, в последующие годы привели к изменению всей моей позиции. Об этом я расскажу в следующих главах» /там же, стр. 257 – 258/.

Неделинская "притча" с её цинизмом вспомнится Сахарову (а также и нам) ещё не раз. Надо отдать Неделину должное: трудно обрисовать точной и лаконичней роль специалиста в структуре "соцлагеря". Но в отношении Сахарова Неделин промахнулся. Он не понял, какой силы ценную реакцию включил своим надзирательским поучением. * Реакцию медленную, волнообразную, но необратимую.

С поднятым забралом

Итак, напряженная внутренняя работа поставила Сахарова перед неодолимой внутренней потребностью перестать подчиняться обстоятельствам. Совесть подчинила его своему диктату. Некий негибемый стержень, переданный нам через родителей и книги (постепенно мы убеждаемся, что **переданный** и что **через**), распрямил его и заставил пойти против течения. Он нашел в себе силы преодолеть могучую инерцию той среды, в которую был включён, казалось бы, намертво.

Что же было первой крупной, решительной акцией Сахарова в одном из тех двух видов деятельности, которые он для себя избрал, как избирают верующие испускательное подвижничество в миру? Он, вероятно, чувствовал это иначе, но мне видится так. Я имею в виду борьбу за мир и защиту граждан неправового государства от его произвола. Его первым шагом по новой дороге стал знаменитый меморандум "**Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе**" (1968 – 1969).

Позволю себе привести свой ранее уже упомянутый непосредственный отклик на сахаровский материал в его самиздатском варианте, попавшем тогда в мой харьковский круг.

* Сахарова-диссидента Неделин уже не увидит. Он погиб, inspectируя испытания межконтинентальной баллистической ракеты нового типа осенью 1960 года

Итак, возвратимся в 1970 год:

«Одним из очень характерных для Самиздата публицистических произведений (или документов), подтверждающих наши выводы о недостаточной теоретической определенности позиции большинства его авторов, являются "Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе" (июнь 1968).

"Размышления" были направлены Сахаровым в ЦК КПСС, а также переданы им в Самиздат и опубликованы за границей. Они и адресованы советскому правительству, правительствам зарубежных государств, советской и мировой общественности.

Автор "Размышлений" не экономист, а физик, и его "Размышления" вызваны не профессиональным, а общечеловеческим, патриотическим, гражданским интересом к затронутым им проблемам.

Как выражение взглядов и настроений советской научной интеллигенции работа А.Д. Сахарова представляется нам очень симптоматичной.

Мы не претендуем на её полный разбор. Нас интересуют те стороны "Размышлений", которые соприкасаются с нашими собственными раздумьями.

С позиций этих выводов мы и рассмотрим некоторые положения "Размышлений".

Изложение всякой системы взглядов, основанное на научном подходе к действительности, требует, прежде всего, терминологической определенности.

В "Размышлениях" этой определенности нет.

Что подразумевает Сахаров под словом "социализм"?

Он говорит, что всякий внимательный человек отметит "глубоко социалистический" характер его работы.

Он призывает использовать "весь положительный опыт, накопленный человечеством" и говорит о несовместимости эффективного использования этого опыта с "фанатическими, экстремистскими и сектантскими идеологиями, а именно: с расизмом, сталинизмом, и маоизмом", с "фашистской, расистской или маоистской догматикой".

Сталинизму, маоизму, арабскому социализму и современному советскому "маккартизму" он даёт уничтожающую характеристику. Вместе с тем, новый (научный) подход к явлениям общественной жизни должен быть разработан, по его убеждению, на основе "высоких нравственных идеалов социализма и труда, с устранением факторов догматизма и скрытого давления господствующих классов".

При внимательном чтении статьи создается впечатление, что "нормальным", "здоровым" социализмом А.Д. Сахаров считает проект, принадлежащий Марксу и Энгельсу, не вдумываясь в степень его выполнимости. Или же (так его тоже можно понять) те идеалы, ту социальную философию, которая руководила Марксом и Энгельсом при разработке проекта.

Все реальные воплощения этого проекта автор считает отклонением от нормы, искажением этих идеалов и этой философии, причем отклонением, вызванным не невыполнимостью классических предначертаний, а произволом правящих групп, злонамеренной маскировкой их под социализм.

Говорит же он, что популярное сейчас в определённых кругах представление о социализме реальном как о "псевдосоциализме", как о "военно-бюрократической надстройке над антиленинской экономической политикой" имеет под собой известные основания.

Так что же означает слово "**социализм**" в "Размышлениях" А.Д. Сахарова: строй, который хотели построить основоположники и который так никогда и не был построен? Определённое мировоззрение (или позицию) по отношению к "труду и людям труда"? Или **строй, который построен и носит это название?**

В "Размышлениях" удивительно то, что поражает в позиции подавляющего большинства внутренних критиков социализма (реального, существующего, а не гипотетического): никто из них не ставит перед собой знаменательного вопроса Яна Прохазки: почему все варианты реально существующего социализма настолько отличаются от литературной модели этого строя, что дают основания считать их "псевдосоциализмом"? Почему социализм в этих реальных воплощениях неизменно превращается в свою прямую противоположность? Можно ли вообще построить "настоящий социализм" и как он должен всё-таки выглядеть? Ведь и современный советский "маккартизм" скатывается, по свидетельству автора, назад, к сталинизму, а не к таинственному идеалу социализма.

Где, когда, кем был построен, строился или строится **настоящий социализм?**

И вообще - "был ли мальчик?"

"Размышления" акад. Сахарова не проливают света на эти вопросы.

А.Д. Сахаров неоднократно говорит о научности социализма, о своих социалистических позициях. Работа его носит бескомпромиссный, неподцензурный характер, что лишает нас права видеть за этими разговорами известного рода маневр, который обеспечивает статье проникновение в прессу. Мы вынуждены рассматривать все положения статьи как истинные убеждения автора.

Желая похвалить Р. Медведева, автора тысячстраничной непечатанной (тогда - Д.Ш.) монографии о генезисе и проявлениях сталинизма, автор говорит, что монография написана с чистейших марксистских социалистических позиций.

С какой из марксистских позиций?

С позиции исторического материализма, ставящего во главу общественного развития характер производительных сил, разделение общественного труда, производственно-экономическое бытие общества?

Или с позиции признания возможности (и даже неизбежности) диктатуры пролетариата, на худой конец - его партийного авангарда **в самых отсталых странах?** С позиции признания **осуществимости** всего конструктивного набора марксизма?

Ведь эти позиции уже **внутри** марксистской теории противоречат друг другу.

А сам акад. Сахаров признаёт возможность и желательность диктатуры пролетариата?

Ведь это не такая деталь, которую можно признавать и не признавать, оставаясь при этом на марксистской позиции; это основа конструктивной части марксизма, превращающая её в утопию!

Исповедует ли акад. Сахаров глубоко марксистскую по своей сути идею превосходства пролетариата в лице его партийного авангарда над интеллигенцией?

Верит ли он в нежизнеспособность капиталистического способа производства, убежденность в которой лежала в основе всех марксистских конструкций XIX столетия и продолжает отстаиваться марксизмом сегодня?

В неизбежность и необходимость пролетарской революции в развитых капиталистических странах?

Всеми своими "Размышлениями" акад. Сахаров отвергает, опровергает, компрометирует эти тезисы.

А они принадлежат, как это ни досадно, не Сталину и не Мао, а основоположникам учения – Марксу, Энгельсу, Ленину.

Несомненно, что в своей основной области творчества акад. Сахаров не смешивает намерений с результатом. Он знает, что можно плыть в Индию и найти Америку, плыть в Америку – и ничего не найти и т. п.

Но по отношению к социализму он постоянно то отождествляет, то не-кстати категорически разъединяет замысел и его живые реализации: отождествляет, когда говорит о высокой "привлекательно-этической" ценности и победе (?) социализма, смешивая исходные и благие намерения основоположников с адом, путь в который вымощен ими. Разъединяет, потому что принимает за пороки реализаций те черты живого социализма, которые обусловлены утопичностью замысла, невыполнимостью рекомендаций теории, способных быть осуществлёнными не иначе, как при искажении их до неузнаваемости, до их прямой противоположности.

И если главную опасность для современного общественного развития автор видит в возможности "возникновения демагогических, лицемерных и чудовищно жестоких полицейских диктаторских режимов", говоря, что "в первую очередь – это режим Сталина, Гитлера, Мао Цзедуна", то надо же, наконец, разобраться в том, на каких теоретических и экономических основаниях возникают эти режимы!

А.Д. Сахаров говорит, что каждая из диктатур XX века, в том числе и "псевдосоциалистические" диктатуры Мао и Сталина, строятся на каком-то мифе.

«Миф расы, земли и крови, миф о еврейской опасности, дополненный культом Сталина и преувеличенным противоречий с капиталистическими странами в СССР, миф о Мао Цзедуне, крайний китайский национализм... крайний антигуманизм, определённые предрас-судки крестьянского (?) социализма в Китае...»

Но упомянуты ли здесь ГЛАВНЫЕ мифы – мифы, положенные в основу любого социалистического эксперимента, где бы он ни разворачивался?

А.Д. Сахаров перечислил множество мифов, за которые цепляется на-ция, находящаяся в тяжелом политико-экономическом положении (при

подсовывании ей достаточно демагогической партийной программы), и забыл о главных, о собственно социалистических мифах. Он не упоминает в своих "Размышлениях":

- мифа о возможности уничтожения классов;
- мифа о способности пролетариата без отрыва от своих основных обязанностей держать в руках руководство обществом и его производством;
- мифа о тождестве пролетариата и его партийного авангарда;
- мифа о простоте "общественнопланового" управления современными производительными силами;
- наконец, мифа о том, что социализм – строй, покончивший с эксплуатацией человека человеком и т. д. и т. п.

В легальных работах, рассчитанных на публикацию в Госиздате, можно позволить себе некоторую неопределённость и туманность теоретической позиции.

Работы, идущие в Самиздат, воспринимаются теми, кто их читает, как воплощение абсолютной идейной честности. Нам представляется, что в этих работах необходимо особенно чёткое и уважительное отношение к истине, особая требовательность к себе при подведении каких-то итогов, особая определённость позиции.

Акад. Сахаров отмечает общие черты диктаторских режимов XX века:

«Обычная практика – преимущественное использование догматики, штурмовиков и хунвейбинов на первом этапе и террористической бюрократии, надёжных кадров типа Эйхмана, Гиммлера, Ежова, Берия – на вершине обожествления неограниченной власти.

Фашизм в Германии просуществовал 13 лет, Сталин в СССР вдвое больше. При очень многих общих чертах между гитлеризмом и сталинизмом есть и определённые различия. Сталинизм – это более изощрённый наряд из лицемерия и демагогии, опора не на откровенную людоедскую программу, как у Гитлера, а на прогрессивную, научную и популярную среди трудящихся социалистическую идеологию, которая явилась очень удобной ширмой для обмана рабочего класса».

Итак, кровавый злодей испортил "научную, прогрессивную, популярную среди рабочих" социалистическую программу, превратив её в ширму для своих подлых действий.

Как бы хотелось ещё раз вернуться к марксистской теории, в которую уважаемый нами автор "Размышлений" со времени сдачи им кандидатских экзаменов, по всей очевидности, не заглядывал.

Почему именно сталины, берии, мао цзедуну, готвальды и тому подобные личности оказались у власти во всех реальных воплощениях "научной и прогрессивной" марксистской теории?

Вспомним: "Боритесь, рабочие, – 'соглашается' наш филистёр (на это 'согласен' и буржуа, раз рабочие всё равно борются и приходится думать лишь о том, как сломать остриё их меча), боритесь. Но не смейте побеждать! Не разрушайте государственной машины буржуазии, не ставьте на место буржуазной 'государственной организации' пролетарскую 'государственную

организацию'!" – иронизирует Ленин в 1918 году ("Пролетарская революция и ренегат Каутский").

Значительно раньше он возмущался Бернштейном, который, по его же словам, построил "донольно стройную систему доводов", опровергающих возможность диктатуры пролетариата (начало 1900-х годов).

Достаточно ознакомиться с ленинскими ответами оппортунистам, ревизионистам и пр. (по книге "В.И. Ленин против ревизионизма"), чтобы увидеть: возмущение Ленина "Боритесь, рабочие, но не смейте побеждать!" – означало в устах того же Каутского вовсе не предпочтение буржуазной демократии диктатуре пролетариата, а **уверенность всего экономистского крыла марксизма** в неосуществимости диктатуры пролетариата, то есть его государственной организации.

"Боритесь, рабочие, но не смейте побеждать!", ибо своей собственной организации вы создать не сумеете, а демократию, которая позволяет вам отвоёвывать одно преимущество за другим, – уничтожите. Вместо неё вы создадите однопартийную бюрократическую диктатуру (и Каутский, и Бернштейн об этом много писали) и поставите всё общество, **в том числе и себя**, в полную и безысходную зависимость от её подкреплённой всеми орудиями публичной власти монополярной воли.

Вот как рисует Сахаров историю социалистического государства:

«Не менее 10–15 млн. советских людей погибло в застенках НКВД от пыток и казней, в лагерях для ссыльных кулаков, так называемых 'подкулачников' и членов их семей, в лагерях 'без права переписки' (это были фактические прообразы фашистских лагерей смерти, где практиковались, например, массовые расстрелы заключённых при "перенаселении" лагерей и при получении специальных указаний, ...при переселении целых народов – крымских татар, немцев Поволжья, калмыков, многих кавказских народов».

Им упоминается "украинофобия Сталина", "политика безудержной эксплуатации деревни грабительскими заготовками по 'символическим' ценам, с почти крепостным закабалением крестьянства... Результат налицо: глубочайшее и трудно восстанавливаемое разрушение экономики и всего уклада жизни в деревне, которое по закону сообщающихся сосудов захватило и промышленность..." "Мещанско-зоологический антисемитизм, драконовские законы, ...которые служили одним из средств удовлетворения спроса на 'рынке рабов'" и т. д. и т. п.

Всё это, большинству из нас, людей старшего поколения, хорошо известно. Но непонятно одно: почему всё это вместе называется строем, который в "морально-этическом" и "правственном" отношении выше капитализма, а экономически "сыграл с ним вничью"???

Акад. Сахаров недвусмысленно заявляет, что социализм доказал (?) "всему человечеству" свою "жизнеспособность" и высокий морально-правственный этический потенциал, а потом разворачивает такие картины, что даже нам, хорошо это знающим, становится снова и снова жутко.

Или это не социализм?

Это сталинизм, маоизм, готвальдизм, чаушескизм, брежневизм, насеризм, подгорпизм, гречкоизм, косыгинианство?!?..

Ну, а социализм???

Приходится снова и снова делать вывод, что в терминологии автора "Размышлений" социализм – это понятие литературно-философское, нравственное, морально-этическое, – какое угодно, только не реально существующий социально-экономический строй. И означает оно благие общественные устремления, литературный, нравственный, морально-этический культ людей труда и самого труда, но не формацию, не способ производства, во всяком случае – не реально существующую и именующую себя социализмом формацию, которая не только подчинила себе более миллиарда человек, но и упорно стремится доказать всему человечеству своё превосходство над любыми другими общественными укладами, пользуясь при этом, главным образом, запрещёнными приёмами.

Нам представляется, что в такой ситуации допускать неопределённость в терминологии нельзя.

Коснёмся экономической стороны "Размышлений".

Социализм и капитализм сыграли не вничью, как о том говорит акад. Сахаров, а с явным выигрышем капитализма в экономическом отношении и в области права.

И это не случайный, обусловленный рядом неожиданных поворотов истории, трагических злоупотреблений, проигрыш, а закономерный провал, предопределённый конструктивными особенностями социализма, всё более очевидный для многих людей.

Акад. Сахаров оценивает и сравнивает две **экономические системы** не по уровню их приспособительных (к среде, природной и международной, – с одной стороны, к потребностям своих составляющих – с другой) возможностей, а по **моральному достоинству** их (по его представлению) **побудительных стимулов**:

у социализма – уважение к труду и людям труда,
у капитализма (как **субъективный стимул** экономической деятельности) – жажда обогащения.

Первое – хорошо, второе – плохо.

Забудем на минуту, что стимулом экономической деятельности человеческого общества как такового является стремление к удовлетворению своих жизненных потребностей и уже поэтому людям нужнее то общество, которое лучше справляется с этой задачей.

Акад. Сахаров полагает, что улучшением своего жизненного уровня трудящиеся капиталистических стран обязаны существованию социалистического лагеря (да утешатся погибающие от голода и террора китайцы* тем, что благодаря их страданиям рабочие США разъезжают в собственных автомобилях). С таким же основанием можно сказать, что отсутствием социалистических переворотов в развитых капиталистических странах буржуазия обязана тому, что рабочие этих стран видят, чего добились в социалистических странах их коллеги, уничтожившие капитализм.

* Напомним это 1968 год /прим Д Ш

Но дело не в этом. Как ни жаль, самым существенным фактором, неоступно меняющим характер капиталистического распределения в пользу массовых контингентов работников, является не только упорная борьба организованных профсоюзов капиталистических стран (достаточно эффективный фактор), но и "низменная" погоня за прибылью конкурирующих капиталистов. Обратные связи капиталистического производства, создающие "автоматическую коррекцию на минимум общих затрат", требуют от конкурентов **оптимального** использования предприятием его техники и рабочей силы. К счастью для человечества, **объективным, необходимым** условием такой оптимальности является хорошая деловая форма основной массы работников, занятых в современном производстве.

Для людей, а не для автоматов (биологических - рабы - или технических) это понятие - "хорошая деловая форма" - включает в себя не только достаточную квалификацию и сытость, но и удовлетворенность условиями своей работы и жизни, заинтересованность в своем труде, какую-то производственную активность и т. д. и т. п.

Реализуются эти требования конфликтно, статистически, хаотично, но необходимость пробивает себе дорогу сквозь хаос в силу отмеченной выше зависимости предприятий от производительности труда работников.

Вынужденное уважение к труду и людям труда здесь вырабатывается самым характером зависимостей между трудом и способом его использования.

Мимоходом об одной цифре: в США "грань бедности" - это сейчас не "примерно 25% населения", как говорит акад. Сахаров.

Это - в 1969 году (по данным "ЛГ" от 11 июня 1969) - 22 млн человек, или **примерно 11,8%** населения США.

В СССР же не около "40% населения оказывается в очень трудном экономическом положении (акад. Сахаров), а, по "условному распределению доходов", по данным В. Райципа ("Нормативные методы планирования уровня жизни". Изд. "Экономика", М., 1967), **43% только рабочих и служащих**, не достигают до минимума материальной обеспеченности в 54,4 руб на члена семьи в месяц. Даже после экспроприации всех семейных излишков в пользу главы семейства, оказывается, что до этого минимума не достигают 21,9% всех семей рабочих и служащих, а до едва превышающего минимум уровня (75 руб на члена семьи в месяц) - 59,1%. Без пересчёта в пользу мужчин до этого уровня не достигают 78,7% семей рабочих и служащих СССР (1964 - 1965 годов).

В области же сельскохозяйственного производства, по данным Ю. Черниченко (ст. Помощник-промысел. "Новый мир" N 8, 1966) и Ю. Арутюняна (Опыт социологического изучения села. Изд. МГУ, 1968) за 1964 - 1965 гг., 50-рублёвого минимума на каждого члена семьи ежемесячно не вырабатывает **ни одна категория работников**.

Характерно, что даже с учетом бесплатного образования, здравоохранения, культурного обслуживания и пенсионного обеспечения, средняя заработная плата рабочих и служащих в СССР (151 руб в месяц) была в **три раза ниже**, чем средняя заработная плата американских рабочих (примерно 4000 - 5000 долл. в год), по данным за 1962 год. И это при примерно

равной стоимости продуктов питания и значительно более низкой в США стоимости промтоваров широкого потребления.

Неужели ничья?

Добавим ещё несколько цифр. Япония не меньше, чем СССР, потеряла (относительно к своим масштабам) во время второй мировой войны. Вот что пишет о Японии газета "Правда" в 1969 году:

"В Японии за последние 15 лет среднегодовой прирост производства составил 13,5%. Однако гораздо важнее то, что за последние 8 лет среднегодовой рост производства составил 14,7%, причём за последние три года он поднялся до 16,5%. В 1960 году промышленное производство Японии составило 20% от производства США и 85% от производства Западной Германии, и всё же в 1968 году оно достигло 38% производства США и 157% производства Западной Германии. Тем самым Япония... стала второй индустриальной державой капиталистического мира".

В СССР "пиковый" прирост промышленной продукции за последние 15 лет составил 8%, неоднократно снижаясь до 5-6%. Данные 1969 года.

Неужели ничья?

Акад. Сахаров оспаривает и краеугольный камень марксистской пропаганды – утверждение о неравномерности капиталистического распределения: суммарное потребление "богачей", говорит он, "не является слишком серьёзным бременем в силу их малочисленности" и составляет "20% общего народного потребления" в США, где капиталисты, по данным советских авторов, составляют примерно 18% населения (в среднем – по капиталистическим странам – 10%).

Поскольку потребление продуктов на душу населения в США близко к "научно обоснованным нормам", предполагаемым советскими авторами в качестве идеала (см. сборники "Мы и планета". – Изд. политической литературы. – М., 1967 и "Страны социализма и капитализма в цифрах", – М., 1966), то 18% населения не могут чувствительно "объесть" остальных. Остаток от своего потребления они через банки и предприятия вкладывают в общественное расширенное воспроизводство. Суммарное потребление богачей, говорит А.Д. Сахаров, меньше прироста народного потребления за последние пять лет.

Акад. Сахаров говорит о тяжести содержания бюрократической элиты социалистических стран и приходит к парадоксальному для марксиста выводу, что рабочим развитых капиталистических стран не нужна революция, "которая приостановит экономическое развитие более, чем на пять лет" и "не может считаться экономически выгодным для трудящихся делом" /выд. Д.Ш./.

"Я не говорю, – продолжает он, – о той плате народной кровью, которая неизбежна при революции".

Нет у капитализма, по мнению автора, и predetermined агрессивности, поскольку он, в целом, хорошо справляется с решением своих экономических задач и без агрессии /вот тут бы и задуматься над тем, нужна ли Америке система противоракетной обороны СОИ – прим. Д.Ш./.

На США, говорит Сахаров, падают все издержки лидера мировой экономической жизни, "бремя технического и организационного риска, разработочных издержек, которое ложится на страну, лидирующую в технике".

СССР этих издержек не несёт.

Однако, говорит он, "нельзя не учесть, что мы сейчас догоняем США лишь по некоторым старым и традиционным" отраслям, в значительной мере потерявшим для США своё определяющее значение (чёрная металлургия и пр.). А в более новых отраслях, например, "в производстве средств автоматизации, вычислительных машин, в нефтехимии и, в особенности, в научных, научно-технических и научно-технологических исследованиях мы имеем не только отставание, но и **меньшие темпы роста**, и это исключает возможность полной победы нашей экономики в ближайшие десятилетия" (Выд. Д. Ш.).

А "неполной" не исключает?

Это тоже - "ничья"?

Ещё и ещё раз мы напоминаем: марксизм предвещал гибель капитализма не в результате войн или других внешних причин, а в результате его **внутренней принципиальной экономической нежизнеспособности**. Чем подтверждается этот **основополагающий** прогноз марксизма?

Сообщив всё это, акад. Сахаров делает вывод, что "доказана жизнеспособность социалистического пути, который принёс народу огромные материальные (?), культурные (??) и социальные (???) достижения, как никакой другой строй возвысил нравственное (!!) значение труда".

При всём нашем уважении к автору "Размышлений", при всей благодарности за смелую и бескорыстную акцию, мы вынуждены считать подобные выводы скорее безответственными, чем ответственными.

Сегодня к социализму тянутся страны и части света, находящиеся, по собственному свидетельству автора, в тяжелейшем, опаснейшем, угрожающем политическом и экономическом положении.

Без долговременной, очень серьёзной, продуманной и эффективной помощи они из этого тупикового положения, по его мнению, вряд ли выйдут: разрыв между темпами роста населения и национального продукта в этих странах продолжает расти. Политическая ситуация в них тоже носит характер кризисный. Их уже ориентировали на разрыв с метрополиями как на выход из тупика. Вместо того, чтобы требовать и добиваться равенства с народами метрополий, не порывая с ними экономически, они обрели независимость и... углубили свой политико-экономический кризис.

Теперь они ориентируются на сторону, экономически **проигрывающую в соревновании двух систем**, двух способов использования современных производительных сил, наращивающую только свои **военные** преимущества.

Не мешало бы помнить, что лидер этой стороны (СССР) может помочь своим партнёрам по блоку, в основном, только военной техникой: избытком сельскохозяйственных продуктов, в которых так нуждаются эти страны, СССР не располагает (производительность труда в сельском хозяйстве СССР в пять раз ниже, чем в США), а в области **передовых, современных** отраслей науки и техники не достигает мировых капиталистических стандартов.

Представим себе, что слаборазвитые страны поверят выводу о "ничьей". Поскольку идеологически их больше привлекает социализм (его декларативная демагогия), они ринутся по его пути. На лидера этой стороны ляжет огромная дополнительная нагрузка; тяжесть положения слаборазвитых стран усугубится бесперспективным выбором.

Когда акад. Сахаров предлагает разделить между СССР и США в равной мере бремя помощи слаборазвитым странам, он забывает о том, что США и Канада, именно по хлебу, и так несут это бремя, а СССР, бывший мировой экспортёр хлеба, из года в год закупает пшеницу у капиталистов; что производство мяса и молока в целом по СССР за 1968 год было убыточно; что целые сельскохозяйственные районы страны потребляют больше сельскохозяйственных продуктов, чем они сами дают обществу, и т.д.

И это при условии, когда, по словам А.Д. Сахарова, природные ресурсы страны исключительно благоприятны для роста, а "народ наш в отчётный период работал с предельным напряжением".

При этом очень многое берётся у США в принципиально разработанном или апробированном виде: "Достаточно напомнить проблему топливного баланса, методы организации массового поточного производства, антибиотики, ядерную энергетику, конверторное производство стали, гибридную кукурузу, самоходные комбайны, добычу угля открытым способом роторными экскаваторами, полупроводники в электронике, переход от паровозов к тепловозам и многое другое..."

Да, пожалуй, достаточно...

В последнее время много говорилось о слиянии обоих способов организации индустриальной экономики.

Говорит о нём и акад. Сахаров.

На какой основе должно произойти слияние?

За чем останется приоритет в конвергентной экономике – за государством или за рынком?

Автор не устаёт говорить об "отсутствии неодолимых препятствий в развитии производительных сил в обеих мировых экономических системах, которые могли бы привести в противном случае с неизбежностью к обстановке тупика, отчаяния, авантюризма."

Но социалистическая диктатура как воплощение политико-экономического абсолютизма – имеет неодолимые препятствия в развитии своих производительных сил, преодолеть которые она сможет только в том случае, если откажется от своего основного принципа – от своего политико-экономического абсолютизма, от себя самой.

И странно требовать от правящей элиты социалистического государства благожелательного интереса к доктрине, предусматривающей свободу интеллектуальной деятельности, критики, анализа, пропаганды своих идей, многопартийности и многое другое, что предлагает монополии Сахаров.

А.Д. Сахаров не всегда последователен: его ужасает маоизм, страшнее которого он не находит режима в истории, он не может не знать, что режим Хо Ши Мина представляет собой миниатюрную копию режима Мао Цзедуня; однако он считает американское противодействие экспансии этого режима на всю Азию (ибо какой же ещё коммунизм, кроме маоизма, есть

в Азии?) преступлением. А как остановить наступление маоизма на континенте? Или не надо его останавливать? Гитлера надо было (в 1933 – 1939 годах) остановить или нет? Или следует закрывать сознательно глаза на то, что режимы Хо Ши Мина и Ким Ир Сена являются, по существу своему, маоистскими режимами?

Он яростно обличает идеологический монополизм, догматизм, бюрократизм, "преступления и преступную ограниченность" власти и обращается за помощью в борьбе против этих качеств к их главному носителю – к этой же государственной власти.

Он требует согласия на идеологическую и научную полемику от неконкурентоспособной именно в полемике стороны. Это не только непоследовательно, но и несправедливо: можно ли требовать, чтобы целый класс шел добровольно на заведомое поражение?

Правящая однопартийная бюрократия тесно связана со строем, который не может выдержать критики. У неё нелёгкое положение: её классовые интересы не совпадают с интересами общества.

Доводам науки, данным статистики, разоблачениям искусства и литературы, укорам совести она в состоянии противопоставить только запрет и силу. Это и много и мало: много по отношению к бесчисленным человеческим жизням, хрупким и беззащитным перед машинизированным насилием; достаточно для того, чтобы привести к катастрофе целые страны и даже всё человечество; мало для того, чтобы дать процветание и устойчивое благополучие; мало для того, чтобы опровергнуть истину, если истина вырвется из-под замка и станет достоянием многих и многих».

* * *

Со времени написания этих страниц прошло почти 30 лет, но мне нечего в них менять. Они справедливы по отношению к Сахарову всего "доперестроечного" периода. Он не откорректировал **принципиально** своих "Размышлений" вплоть до последнего года жизни, когда его захватила борьба за новую конституцию СССР. Только тогда его экономические воззрения существенно изменились.

Сахаров и Солженицын

Сахаровским "Размышлениям" по живому следу уделил первенствующее внимание Солженицын в своей статье "На возврате дыхания и сознания" (1969). Мне уже приходилось печатно анализировать эту статью. Подчеркну на этот раз только то, что относится к трактату Сахарова. Солженицын пишет:

«Мы... до того иссохли в десятилетиях лжи, до того изжаждились по дождевым капелькам правды, что как только упадут они нам на лицо, – мы трепещем от радости: "наконец-то!", мы прощаем и вихри пыли овевшие их, и тот лучевой распад, который в них ещё таит-

ся. Так радуемся мы каждому словечку правды, до последних лет раздавленному, что этим первым нашим выразителям прощаем и всю приблизительность, и всякую неточность, и долю заблуждения даже большую, чем доля истины, – только за то, то, что "хоть что-то сказано!", "хоть что-то наконец!".

Всё это испытали мы, читая статью академика Сахарова и слушая отечественные и международные отклики на неё. С биением сердца мы узнали, что наконец-то разорвана непробудная, уютная удобная дрёма советских учёных: делать своё научное дело, за это – жить в избытке, а за это – не мыслить выше пробирки. С освобождающей радостью мы узнали, что не только западные атомники мучимы совестью, – но вот и в наших просыпается она!

Уже это одно делает бесстрашное выступление Андрея Дмитриевича Сахарова крупным событием новейшей русской истории» /А.И. Солженицын. Публицистика. Статьи и речи. – Вермонт – Париж: Изд. YMCA-PRESS. – 1981; стр. 25 – 26/.

Со свойственной ему страстностью, в этих словах высказал Солженицын всю суть вопроса. Здесь Солженицын говорит о Сахарове больше, чем тогдашний Сахаров решился сказать о себе. Говорит с пониманием и с глубочайшим уважением, но с той убийственной меткостью, которой нечего противопоставить. И потому она внутренне трудно прощается объектом исследования.

Солженицын в своём анализе выдвигает на первое место то, что он может поставить в заслугу Сахарову.

«Работа эта находит путь к нашему сердцу прежде всего своею честностью в оценках. Многие события и явления называются так, как мы тайно думаем, но по трусости боимся высказать. Режим Сталина назван среди "демагогических, лицемерных, чудовищножестокых полицейских режимов"; сказано, что в отличие от гитлеризма сталинизм "носит гораздо более изощрённый наряд лицемерия и демагогии" с опорой на "социалистическую идеологию, которая явилась удобной ширмой". Упомянуты и "грабительские заготовки" продуктов и "почти крепостное закабаление крестьянства", правда – в прошлом, но есть и о сегодняшнем: "большое имущественное неравенство между городом и деревней", "40% населения нашей страны оказывается в очень трудном экономическом положении" (по контексту, по намёку речь идёт о бедности, но в отношении своей страны язык не выговаривает); напротив, 5% "начальства" так же привилегированы, "как аналогичная группировка в США". И даже больше! – хотели бы мы возразить, но разъяснения автора опережают нас: привилегии управляющей группировки в нашей стране – тайны, "дело не чисто", тут "имеет место подкуп верных слуг существующей системы", в прошлом – "зарплата в конвертах", сейчас – "закрытое распределение дефицитных продуктов, товаров и разных услуг, привилегии в курортном обслуживании". Сахаров высказывается против недавних политиче-

ских процессов, против цензуры, против новых антиконституционных законов. Он указывает, что "партия с такими методами убеждения и воспитания вряд ли может претендовать на роль духовного вождя человечества". Он протестует против подчинения интеллигенции партийным чиновникам под прикрытием "интересов рабочего класса". Разоблачение сталинизма он требует "довести до полной правды, а не до ... кастовой целесообразности", он справедливо требует "всемирного расследования архивов НКВД" и полной амнистии сегодняшним политзаключённым. И даже в наиболее неприкасаемой **внешней** политике возлагает на СССР "косвенную ответственность" за арабо-израильский конфликт» /там же, стр. 26; выд. Солженицыным/.

Но если и в этом похвальном слове есть кое-где штрихи корректив, то в дальнейшем пересказ перерастает в неллицеприятный разбор. Кратчайшие попутные комментарии нередко выбивают из-под суждений Сахарова их основания. Вот один из примеров:

«Сахаров разрушает марксистский миф, что капитализм "приводит в тупик производительные силы" или "всегда приводит к абсолютно-му обнищанию рабочего класса"»* /там же, стр. 27; выд. Солженицыным/.

Ещё примеры:

«Разрушает Сахаров и миф о пауках-миллионерах: они – не "слишком серьёзное экономическое бремя" по их малочисленности, напротив: "революция, которая приостанавливает экономическое развитие, более, чем на 5 лет, не может считаться экономически выгодной для грядущихся" (да уж просто скажем: убийственна).

...Правда, такая ломка молитвенных истуканов не даётся легко. Сахаров там и здесь без надобности смягчает: лишь "определённое" истощение; и – "в обеспечении высокого уровня жизни ... капитализм и социализм сыграли вничью" (где уж там! ..). Но сам переступ через запретную черту – посметь судить о том, о чём никто не смел, кроме Основоположников, – выводит нашего автора далеко вперёд» /там же, стр. 27 – 28/.

Но комплиментарная часть отклика Солженицына на меморандум Сахарова тремя-четырьмя страницами, в основном, исчерпывается. Далее идут критика и альтернативы.

* Впрочем, это выговаривает он чрезмерно смягченно ("не всегда") В современных экономических работах доказано, что **после** мануфактурного периода капитализм – вопреки Марксу – **не** эксплуатирует рабочих, что главные ценности создаются **не** трудом рабочих, а умственным трудом – организацией и механизацией. Рабочие же, особенно вследствие удачных забастовок, получают все большую и большую долю продукта, **не** **выработанную** ими /прим. Солженицына/.

Оставим ненадолго обе статьи и поговорим об их авторах.

Солженицын и Сахаров не так уж и далеки друг от друга по возрасту (Солженицын на три года старше), в культурных истоках, в дореволюционных кругах своих родителей. Но их судьбы сложились по-разному. Хотя вокруг семьи Сахаровых, во всем их родстве и свойстве, и бушевали уничтожительные вихри, семью в самом узком смысле слова гонения обошли. Отец и мать уцелели. Более того: семья не выпала из своего круга, не бедствовала, сохранила свой социальный статус. Изначальное полусиротство Солженицына, разорение рода, нищета детства задали его отрочеству иную тональность, чем сахаровскому. Обостренные социально-гуманитарные интересы не обещали Солженицыну такой (обманчиво) ровной дороги, как Сахарову – его погруженность в теоретическую физику. Война, тюрьма, лагерь и ссылка обострили зрение и восприимчивость Солженицына, погрузили его в кипение массовых человеческих судеб. Лагерь высветлил ценность свободы, выковал волю.

Работа Сахарова над его "изделиями" тоже шла под тяжелой рукой ГБ. И то, и другое было жизнью в зонах. ГУЛаг не напрасно был окрещен Солженицыным "архипелагом". На его взаимосвязанных и разбросанных по всему океану СССР "островах" был щедро представлен весь советский, до-советский, российский, а отчасти и внесоветский мир. Спецзона "Арзамас-16", в которой трудился и жил Сахаров, была, по существу своему, настоящей "крыткой", тюрьмой в тюрьме, "островом", от окружающего мира отторженным. Правда, – с очень большим допайком, с семейными отсеками и с увольнительными в "большую зону" (под охраной). Дороги двух юношей из, в общем-то, одного слоя (встретятся они в дореволюционном гимназическом или университетском кругу, могли бы очень и очень духовно и умственно обогатить друг друга), разошлись надолго. А когда пути их парадоксально пересеклись, жизненные обстоятельства помешали им понять друг друга и сблизиться. А может быть, слишком самобытными они оказались для дружбы. По жизненному опыту Солженицын был старше Сахарова на целую жизнь. Им судилось исторически, объективно бить по одной твердыне, но не стоять плечом к плечу в жизненной битве. Во многих высказываниях, печатных и устных, их противопоставляют друг другу. Во многих – они ставятся рядом – как символы противостояния одной и той же силе. Правда, Солженицын не наделил эту силу такими дарами, как в своё время – Сахаров.

Разрешу себе ещё одно отступление от сюжета, диктуемого мемуарами Сахарова.

Недавно в газете "Новое Русское Слово" (Нью-Йорк, США) Солженицын и Сахаров названы были "шестидесятниками". Сказано это было с наилучшими намерениями – в споре с бывшим советским фельетонистом, назвавшим "шестидесятником" Горбачёва. Последнее "было бы смешно, когда бы не было так грустно"; не стоит этого мнения всерьёз и опровергать. Что же касается до определения Солженицына и Сахарова как "шестидесятников", – здесь есть, что оспорить.

Сахаров, действительно, открыто проявился как диссидент и оппонент **некоторых сторон советской системы** в 1960-х гг. Противником комму-

нистической системы как таковой, а не только её правового беспредела, он стал лишь в конце 1980-х гг. И это – путь многих "шестидесятников". Начали они, впрочем, во второй половине 1950-х. И внутриведомственная оппозиция Сахарова началась тогда же.

Солженицын попал в тюрьму в 1944 году. И задолго до этого, в своей довоенной молодости, он засомневался в происходящем вокруг, в его правомерности и достоинстве. Если уж обязательно делить писателей и общественных деятелей по образцу российского XIX века на хронологические "волны", то Солженицын очнулся от коммунистического наркоза – самое позднее – в 1940-х годах, а потому он "сороковик", а не "шестидесятник". И никогда он дорогой "шестидесятников" не шел.

Особенность "шестидесятников" – их упорная "советскость", упрямое нежелание вдумываться в исторические, идейные, системные корни происходящего, в его мировоззренческую этиологию и системную логику. Они добивались **коррекции социализма** в области права, не понимая (или силясь не понимать), вплоть до середины 1980-х годов, что произвол верховных инстанций – не искажение, а родовой признак социализма. Они не поняли и того, что в своих социал-демократических образцах этот принцип системной организации не достигает полноты своей реализации и потому не разрушает общества в такой мере, как предельная форма социализма, т.е. коммунизм.

При всех их (взаимных) несогласиях, несходствах и расхождениях, наиболее прозорливые из "шестидесятников" шли к миропониманию "сороковиков", а не наоборот.

Во-первых, Солженицын, благодаря своей достаточно ранней жизненной установке (познать историю революции, пересчитывать собственными силами мировоззренческое прошлое России во всех его разветвлениях), много больше и раньше узнал о России, о её мыслителях и революциях, чем "шестидесятники".

Во-вторых, он не случайно и не напрасно благословляет тюрьму. Не убив его, что вполне могло случиться, она достаточно рано увела его со стандартной образовательной дороги. Она открыла ему советский мир во всех его измерениях не через чужой, пусть и талантливо пересказанный опыт, а в непосредственном переживании.

Поэтому з/к Нержин совершенно сознательно покидает райский остров "шарашки" и возвращается в топи Архипелага, когда перед ним возникает выбор: запродать рабовладельцам свой ум и душу или только тело? Усиливать их могущество или слиться с потоком, работающим по принципу "день кантовки – месяц жизни"? Пусть и с постоянной угрозой рухнуть в общую яму, когда истощатся силы. Иннокентий Володин пытается предупредить акт советского атомного шпионажа, подчинившись благородному импульсу и мучась сомнениями. Для Солженицына-Нержина (а роман писался в 1955–58 гг. – первый и полный вариант) сомнений такого рода уже нет. Вот отрывок его спора с коммунистом-заключенным Рубиным:

« – Нет, мужик, ты не обижайся. Значит, они меня будут известной желто-коричневой жидкостью обливать, а я им – добывая атом-

ную бомбу? Нет!

- Да не им, **нам**, дура!

- Кому - нам? Тебе нужна атомная бомба? Мне - не нужна. Я, как и Земля, к мировому господству не стремлюсь.

- Но шутки в сторону! - спохватился опять Рубин. - Значит, пусть этот прыщ отдаёт бомбу Западу?..

- Ты спугал, Лёвочка, - нежно коснулся отворота его шинели Глеб.

- Бомба - на Западе, её там изобрели, а вы воруете».

/А. Солженицын. В круге первом. "Новый мир" N 3, 1990; стр. 71/.

Очень характерно для Солженицына это "вы" - в ответ на рубинское "нам".

А вот рассуждения Володина:

«А умереть? Не жалко бы и умереть, если бы люди узнали, что был такой гражданин мира и спасал их от атомной войны.

Атомная бомба у коммунистов - и планета погибла. В подземелье застрелят, как собаку, а "дело" запрут за тысячью замков.

Иннокентий запрокинул голову, как птица запрокидывает, чтобы вода через напряжённое горло прошла в грудь.

Да нет, если б о нём объявили - ему не легче было бы, а жутче: мы уже в той темноте, что не отличаем изменников от друзей. Кто князь Курбский? - изменник. Кто Грозный? - родной отец.

Только тот Курбский ушел от своего Грозного, а Иннокентий не успел.

Если бы объявили - соотечественники с удовольствием побили бы его камнями! Кто бы понял его? - хорошо, если тысяча человек на двести миллионов. Кто там помнит, что отвергли разумный план Баруха: отказаться от атомной бомбы - и американские будут отданы под интернациональный замок? Главное: как посмел он решать за отечество, если это право - только верхнего кресла, и больше ничьё?

Ты не дал украсть бомбы Преобразователю Мира, Кузнецу Счастья? - значит ты не дал её Родине!

А зачем она - Родине? Зачем она - деревне Рождество? Той под-подслеповатой карлице? той старухе с задушенным цыплёнком? тому заплатанному одноногому мужику?

И кто во всей деревне осудит его за этот телефонный звонок? Никто даже **не поймёт**, порознь. А сгонят на общее собрание - осудят единогласно...

Им нужны дороги, доски, стёкла, им верните молоко, хлеб, ещё может быть колокольный звон - но зачем им атомная бомба?

А самое обидное, что своим телефонным звонком Иннокентий, может быть, и не помешал воровству»

/там же, "Новый мир" N 5, М., 1990; стр. 35 - 36/.

Но всё-таки позвонил, попытался предупредить...

Вот ещё отрывок из лагерного диалога на той же "шарашке". Разговор ведут два очень талантливых и квалифицированных специалиста, но – арестанты (уже арестанты, а не потенциальные, как Володин) :

« – Александр Евдокимыч! Ну, а если бы за скорое освобождение нам предложили бы делать атомную бомбу?

– А вы? – с интересом метнул взгляд Бобынин .

– Никогда.

– Уверены?

– Никогда.

Круг. Но какой-то другой .

– Так вот задумаетесь иногда: что это за люди, которые делают **им** атомную бомбу?! А потом к нам присмотришься – да такие же, наверно... Может ещё на политучёбу ходят...

– Ну уж!

– А почему нет?.. Для уверенности им это очень помогает»

/там же, стр. 19(1)/.

Заметьте, что это написано задолго до выхода Сахарова на открытую политическую сцену, т.е. отнюдь не в укор ему лично.

Вернёмся, однако, к давнему отклику Солженицына на сахаровские "Размышления". В этом отклике до такой степени всё сконцентрировано, из него настолько вытеснено всё лишнее, что цитировать его трудно: тянет переписать целиком. И что характерно по сей день: нечёткий, расплывчатый, невыработанный в центральных своих положениях, очень смягчённый по сравнению с бурлящим уже во всю Самиздатом, сахаровский меморандум подхвачен не только мало-мальски оппозиционной отечественной интеллигенцией, но – всем миром, всем его либеральным крылом. Он оценен как шаг принципиальный и героический. Чёткий, отточенный, продуманный (и через четверть века ничего не добавишь) отклик Солженицына оставлен, в лучшем случае, без внимания. А у множества отечественных (иноземные, в основном, не заметили) интеллектуалов и диссидентов солженицынская статья вызвала острую неприязнь. Слишком резко и радикально? Но ведь у Солженицына резка, горяча и патетична **интпоация**. Суть же выверена, отточена, начисто лишена как недоговорок, так и, в подавляющем большинстве случаев, перехлёстов. Они – случаются: как же иначе при таком горении? Но не в отношении к Сахарову. Так в чём же причина?

Предложу свою версию.

Во-первых, голос Сахарова прозвучал не из уст вчерашнего зека.* а с

Я хорошо помню как мои вольномыслияци по преусневши в "остепенном" научном росте друг в 1968 году отнесся еще ее не прочтя к **рукописи** мои книги взятой им у меня для прочтения из тубдиспансера, где я в очередной раз лечилась. Его главный резон что можно создать ценного в столь кустарных условиях? Дилетантская блажь... Его мнение изменилось **окончательно** не после третьего прочтения **рукописи** а после того как он увидел ее копию на столе у своего личного академика. А ведь он был моим другом с юности /прим Д Ш /

академического Олимпа. Положение Сахарова исключало всякую возможность подозревать в академике АН СССР дилетантизм или/и личную ущемлённость бывшего зека. А её так легко и так соблазнительно было приписать Солженицыну. Во-вторых, половинчатость миропонимания Сахарова (в политико-экономическом плане) была свойством подавляющего большинства его "социальноблизких" читателей. Определённость полного неприятия социализма вызрела к тому времени в меньшинстве меньшинства советского образованного слоя. В-третьих, разные "конфессии" и "секты" социалистической веры – основа мироощущения и западной леволиберальной интеллигенции, и советской. Сахаров, trotz alledem ратующий за социализм, попадал в этом смысле "в струю". Солженицын двигался против течения. А читала их та же мировоззренчески инфантильная, в основной своей части, аудитория. В-четвёртых, непривычной и в какой-то степени неэтичной в глазах образованного слоя, была отчётливая боль Солженицына прежде и больше всего за свой народ – за русских. За меньшинства – пожалуйста, сколько угодно (синоним – за чёрных, за цветных), даже если они становятся беснующимся большинством. Как в ЮАР, как в Гарлеме. Но не за большинства (синоним – за белых), даже если их вымаривают голодом и холодом (коллективизация), даже если они становятся незащищённым меньшинством (та же ЮАР). Этому Солженицыну не простили, хотя он никогда не забывал оговорить и права меньшинств. Болеть за своих – для интеллигента это не комильфо. Особенно обострится интернационалистская антипатия к Солженицыну, когда он осмелится заговорить о лепте, внесённой евреями в Октябрьскую революцию и в становление большевистской системы. Хотя и тут у него преувеличений и пристрастий не будет.

Сахаровский текст предполагает в качестве отклика размышление, раздумчивое, неторопливое взвешивание всех "за" и "против": многое ведь и у нас неплохо. Солженицынский – обязывает к чёткой, ответственной и бескомпромиссной реакции, не берущей в расчёт её последствий для себя лично. Пусть реакции только интеллектуальной и духовной, но это "только" слишком далеко могло завести – при бескомпромиссном егоприятии. От него инстинктивно отталкивалась, шарахалась, уходила, отделялась упреками в пристрастности и раздражённости почти вся "центровая образованщина" (Солженицын). Ведь принятие и одобрение подобного монолога – это уже поступок, и далеко не нейтральный.

Самиздат сегодня почти забыт; отпылавшую публицистику многие ли перечитывают? Между тем, злободневность солженицынского текста и старого спора – не ослабевает: ведь только недавно пришло время от слов переходить к действию. Судите сами (цитировать придётся много):

«Но предполагаемый отзыв пишется не для того, чтобы присоединиться к хору похвал: кажется, их и так перевес. Вселяет тревогу, что многие опорные, недоясненные, а иногда и неверные положения статьи Сахарова могут перелиться теперь в развитие свободной русской мысли и исказить, задержать её ход» /А.И. Солженицын, Публицистика. Статьи и речи, стр. 28/.

Странно, непривычно звучит о Сахарове, именно о нём, столь мудром и пронизательном общепризнанно? Но ведь Солженицын и в этом выводе прав! Своей непоследовательностью и половинчатостью "Размышления" вводили общественную мысль от ключевых проблем в новую Утопию – в утопию миролюбивого "правильного" социализма.

Но пойдём далее. Можно ли усмотреть национализм (национальный эгоцентризм, национальное себялюбие) в следующем отрывке? Есть ли в нём тот обскурантистский изоляционизм, в котором с конца 1960-х гг. (и по сей день) обвиняют Солженицына его демократические оппоненты? Его ведь уже почти четверть века клеймят то империалистом, то изоляционистом.

«Заметную погрешность статьи мы видим в том, что она щедро вниманием ко внутренним проблемам других стран – Греции, Индонезии, Вьетнама, Соединённых Штатов, Китая, тогда как внутренняя ситуация в СССР освещается (точней – обделяется светом) как можно более благожелательно. Но это – топкая точка зрения. Рассуждать о международных проблемах, а тем пуще о проблемах других стран мы имеем моральное право лишь после того, как осознаем свои внутренние проблемы, покаемся в пороках своих. Чтобы иметь право рассуждать о "трагических событиях в Греции", надо прежде посмотреть, не трагичней ли события у нас. Чтобы доглядываться издали, как "от американского народа пытаются скрыть ... цинизм и жестокость...", надо прежде хорошо оглянуться: а ближе – нет ничего похожего? да когда не "пытаются", а когда отлично удаётся. И если уж "трагизм нищеты ... 22 миллионов негров", то не нищей ли 50 миллионов колхозников? И не упустить, что "трагикомические формы культа личности" в Китае лишь с малым изменением (и не всегда к худшему) повторяют наши смердящие 30-е годы.

Это беда – наша вьезшаяся, общая. С самого начала, как в Советском Союзе звонко произнесли и жирно написали "самокритика", – всегда это была **егокритика**» /там же, стр. 29; выд. и разрядка Солженицына/.

Этот "националист", "реакционер" писал, обращаясь к тому, в ком демократическая мысль вообще не разрешает видеть изъянов:

«Трудно возвращается к нам свободная мысль, трудно привыкнуть к ней сразу сполна и со всего горькѧ. Называть вслух пороки нашего строя и нашей страны робко кажется грехом против патриотизма

Эта избирательная смиренность со "своим" при строгости к чужому проявляется в сахаровской работе не раз, начиная с первой же её страницы: в кардинальной оговорке автора, что хотя цель его работы – способствовать разумному сосуществованию "мировых идеологий", здесь "не идёт речь об идеологическом мире с теми фанатичными, сектантскими и экстремистскими идеологиями, которые отрицают всякую возможность сближения с ними, дискуссии и компромиссы, на-

пример, с идеологиями фашистской, расистской, милитаристской или маоистской". И - всё. И в перечислении - точка» /там же, стр. 29 - 30/.

Я перечитала, приступая к этой работе "Размышления" Сахарова 1968 - 1969 года (в разных источниках стоят разные даты) и увидела снова всю справедливость этого замечания Солженицына. Так же, как следующего за ним:

«Ненадёжный обвалистый вход в такую важную работу! - не придушимся ли мы под этим сводом? Хотя и сказано "например", хотя, значит, список непримиримых идеологий ещё не полон, - но по какой странной скромности пропущена здесь именно та идеология, которая ещё на заре XX века объявила все компромиссы "гнилыми" и "предательскими", все дискуссии с инакомыслящими - пустой и опасной болтовнёй, единственным решением социальных задач - оружие, а деление мира - в двух цветах: "кто не с нами - тот против нас"? С тех пор эта идеология имела огромный успех, она окрасила собою весь XX век, ознобила три четверти Земли, - отчего же Сахаров не упоминает её? Считает ли он, что с нею можно столкнуться мягким убеждением? О если бы! Но ещё никто не наблюдал подобного случая, эта идеология несколько не изменилась в своей неуклонности и непримиримости. Подразумевает ли он её в тёмном приглушке, в непросвеченном "например"?» /там же, стр. 30/.

Предполагаю, что не так трудно понять, почему: тогдашний Сахаров ещё не разорвал бесповоротно всех своих связей с той силой, которая слита воедино с этой замолчанной им идеологией. Он ведь к ней, к этой силе, в первую очередь, и обращается, её и пытается склонить к своим расплывчатым предложениям. Всё обличаемое им зло он считает **отклонением от идеологии**. Солженицын тоже обратится к "вождям". Но первое, что он им предложит, и весьма настоятельно, - это **отказ от марксистско-ленинской идеологии**. Откуда эти различия? Не из трусости: Сахаров - человек мужественный. Да и открытый бой его начинался так, что у Солженицына были основания видеть в нём потенциального союзника в непримиримом бою против **системы**. В этом смысле характерны первые записи о Сахарове в главе "Встречный бой" книги Солженицына "Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни" (Изд. YMCA-PRESS, Париж, 1975). Вот несколько отрывков из этой главы:

«**Встречным боем** называется в тактике такой вид боя, в отличие от наступательного и оборонительного, когда обе стороны назначают наступление или входятся в походе, не зная о замыслах друг друга, - и сталкиваются внезапно. Такой вид неспланированного боя считается самым сложным: он требует от военачальников наибольшей быстроты, находчивости, решительности и обладания резервами.

Такой бой и произошел на советской общественной арене в конце августа-сентябре 1973 года – до той степени непредвиденный, что не только противники не ведали друг о друге, но даже на одной стороне "колонны" (Сахаров и я) ничего не знали о движениях и планах друг друга) /"Бодался телёнок с дубом", стр. 361; выд. Солженицыным/.

Несколько ниже описаны перипетии этого боя и явление мощного союзника (так во всяком случае виделось автору "Телёнка"):

«К тому времени я уже знал из радио, что независимо от меня (издали это воспринималось как согласованное движение, и власти были уверены, что согласовано хитро) в тот же день 21 августа (совпадение первое) пошла в наступление и другая колонна: Сахаров дал пресс-конференцию по международным вопросам, своей откровенностью и активностью захватывающую дух: "СССР – большой концентрационный лагерь, большая зона". (Что за молодец! Нашу зэческую мысль и высказал раньше меня! Залежался "Архипелаг"). "С каким легкомыслием Запад отказался от телевизионных передач на территорию Советского Союза!" "Москва прибегает к прямому надувательству"» /там же, стр. 372/.

И далее:

«Буря в газетах, удары по Сахарову больше, но сыпались и по мне, объединяют два имени наших и на Востоке и на Западе, и всё, что он говорил (а я б такое и не вымолвил: "Страна в маске... Хитрый партнёр с тоталитарным режимом... Берут экономическую помощь, с чем справиться не могут (сильно отстают с компьютерами), а зато сохранившиеся силы переключают на войну"), приписывают уже как бы и мне. Достаются мне удары, плашмя, с его плеча, а по другому понять – как гонка за лидером: главное сопротивление среды преодолеть ему, а я подсохраниваю свои силушки. И того не стыжусь; мой бой – впереди, мой-то силы – все, все ещё пригодятся» /там же, стр. 377 – 378/.

Инициатором присуждения Нобелевской премии мира Сахарову тоже явился Солженицын. Его предложение, само по себе официально не правомочное, послужило толчком к мощному движению, приведшему в конце концов к победе:

«В ту же разгарную неделю я отправил на публикацию "Мир и насилие". Эта статья готовилась у меня как конкретное разъяснение моей нобелевской лекции – против западных иллюзий, искажающих пропорций. Она не была целью своей связана с нобелевскими премиями мира, хотя толковала и их. Но, когда 31.8, в самый разгар боёв, я услышал, что нобелевский комитет отобрал 47 кандидатов, и среди

них Никсона и Тито (я ещё не знал о Ле Дык Тхо!) – я решил обратиться статью в форму помехи тем кандидатам и выдвинуть Сахарова на эту премию в соответствии со смыслом изложенного. К 4-му сентября статья была у меня закончена. 5-го отправлена. А 6-го, за несколько дней до намеченной публикации, я дал прочесть её Сахарову. Это и было наше единственное свидание и согласование за весь встречный бой» /там же, стр. 378 – 379/.

Они долго не встречались и своих действий не согласовывали. Но складывалось так, что оказывались они быющими в одном направлении. Средства массовой информации прочно связывают их имена:

«"За разрядку напряженности нам предлагают платить слишком большую цену – укреплением тирании." "Советская власть опять хочет одурачить западных интеллектуалов. Может быть, поэтому Сахаров и Солженицын решили предупредить Запад об опасности" (Би-Би-Си). – "В мрачной обстановке Солженицын и Сахаров бросили свой вызов руководителям советским и западным. Если их заставят замолчать силой – это только докажет, что они говорят правду" – Бывший посол Великобритании в СССР В. Хейтер: "Нельзя сотрудничать в разрядке с диктаторским режимом".

8-го же сентября Сахаров дал новую прессконференцию – о злодейской психиатрии у нас, о галлопириде, и, отбиваясь от газетных обвинений: советские газеты "бесстыдно играют на ненависти нашего народа к войне". ("Дейли Телеграф": "Перчатка, брошенная КГБ!" Ещё позавчера ей казалось: "Всё тесней сжимается кольцо вокруг них", а теперь: "Вся кампания велась, чтоб они замолчали, но оба полны решимости стоять до конца.")

И 9-го дал интервью нидерландской радиостанции: пусть представители Красного Креста проинспектируют наши психдома! 9-го президент американской Академии Наук: "Нас охватило чувство негодования и стыда, когда мы узнали, что в этой травле приняло участие 40 академиков. Нарушение этоса науки лишило русский народ своего полного гения в ней. Если Сахарова лишат свободы, американским учёным будет трудно выполнять обязательства правительству по сотрудничеству с СССР." (самый чувствительный удар по нашим, да обидно как: Никсон подписал, а ученые откажутся – и ничего не вырвешь!). Присоединилась к защите и молодёжная организация с-д ФРГ (уж самая левая): "нельзя расширять торговые отношения за счёт таких людей, как Сахаров и Солженицын". – И молодёжная организация ХДС. – И министр иностранных дел Норвегии. – И Баварская Академия Искусств. – "Отправить нобелевского лауреата в Сибирь? – фашизм, сравнимый с делом Карла Осецкого". – "Обсервер": "пробный камень – какого рода человеческое общество предлагает нам СССР?" 10-го раздался голос больного, со своей фермы, Вильбора Милза, председателя бюджетной комиссии палаты представителей США: он против расширения торговых связей с СССР, пока не пре-

кратятся преследования таких людей, как Солженицын и Сахаров. То есть, расширялась поправка Джексона: от эмиграции до прав человека в СССР! А в его комиссии обсуждение подходило как раз к решительному моменту!» /там же, стр. 379 – 381; выд. Солженицыным/.

Незадолго до насильственного выдворения из СССР, в своём интервью агентству "Ассошиэйтед пресс" и газете "Монд" (23.VIII.1973), Солженицын с уважением и теплотой говорит о Сахарове:

«Неутомимая общественная деятельность Андрея Дмитриевича Сахарова до последнего времени замалчивалась нашей печатью, теперь начинает облыгаться. Вот объявлен он "поставщиком клеветы", "невеждой" (крупнейшие научные умы и всегда приравнивались у нас к невежественным, коль скоро отказывались повторять всеобщую попугайщину), наивным прожектёром, а главное – критиком, злопыхательским, ненавидящим свою страну и... неконструктивным.

Трудно солгать кряду более неудачно: что ни обвинение – то промах. Тот, кто проследил несколько лет за статьями Сахарова, его социальными предложениями, его поисками путей спасения планеты, его письмами правительству, его дружелюбными уговорами, не может не увидеть его глубокой осведомлённости в процессах советской жизни, его боли за свою страну, его муки за ошибки, не им совершаемые, его доброй примирительной позиции, приемлемой для весьма противоположных группировок (этим он напоминает Твардовского). Я – не сторонник многого того конкретного, что предлагает А.Д. для нашей страны, но именно **конструктивность** его предложений несомненна: каждое предложение не есть отрывчатая грёза "как хотелось бы", а путь к тому неизвестен, – нет: каждое предложение инженерно сцеплено с тем, что сегодня есть, и даёт плавный невзрывчатый переход» /там же, стр. 594 – 595; выд. Солженицыным/.

А в страшные часы после увода писателя из дома Сахаров и пикетировал у здания прокуратуры, и дома у Солженицыных появился одним из первых. И так – вплоть до выезда всей семьи.

Тем не менее, пути Солженицына и Сахарова, пролегающие по одну сторону баррикады, вскоре после их встречи по многим важным для обоих вопросам существенно расходятся.

Почему?

Я думаю, что причин здесь несколько. В 1969 году Солженицын и Сахаров находятся в разных фазах осмысления системы как таковой. Сахаров никогда серьёзно не занимался ни её теорией, ни её историей. Солженицын – занимался и занят, причём глубоко и профессионально. Сахаров лишь приближался в 1967–69 гг. к этой проблематике. Многое зависело от того, кто из протестантов его в свой круг вовлечёт в ближайшие годы. Вовлекли правозащитники. Поэтому вглубь системно-экономических и системно-исторических вопросов он не пошел. Вплоть до последнего года жизни, когда он занялся разработкой принципиально новой конституции СССР.

Далее: Солженицын с 1944 года был по отношению к Системе аутсайдером. Он находился то на худших, то на средних, то на лучших (вплоть до Москвы и редакции "Нового мира") участках соцлагерной зоны. Но при этом чётко осознавал себя пребывающим именно в зоне. Даже на воле он был всего-навсего расконвоированным. Его раскрепощало, вплоть до спокойствия перед лицом смерти, лагерное триединое правило: не бойся, не надейся, не проси. Но и ещё одно преимущество его усиливало: вера в Бога. "Не надейся" – на гражданина начальника, на амнистию, на счастливый этап, на придурочью пайку. Изворачивайся сам, помня, что лагерную везуху могут в любое время так же отнять, как дали. Будь готов к этому. Не плошай. Но на Бога – надейся. Для себя он знал, что жизнь не кончается после смерти, как не кончается и нравственная ответственность за неё. Это давало ему силу ни от кого и ни от чего постороннего не зависеть. Своих друзей и помощников он отождествлял с собой – со своей миссией.

Сахаров был прочно структурирован в Систему, долго входил в число её наиболее ответственных (**перед ней**) служителей. Он обеспечивал её чудовищную разрушительную мощь. Ему было что терять в своём положении и материально, и в смысле престижа и почёта, и в плане устойчивости бытия.

Несколько отступлю от темы. Я знаю, что Сахаров – человек бескорыстный, равнодушный к богатству и его благам. Но он никогда не пребывал во всём безоружии нищеты, не зависел в своём выживании от нескольких граммов хлеба. Летописцы и аналитики лагерных миров показали: чем бедней, несвободней и жесточе мир, тем больше в нём весят ничтожные, по меркам мира нормального, преимущества (допнаек в размере ста граммов хлеба, лишняя крупная лепёшка, пачка кулена или вторая смена застиранного белья, непыльная работа в тепле, барак без клопов и т. д. и т. п.). Солженицын это всё познал и от страха чего бы то ни было лишиться был избавлен. Он дорожил только выполнением своего долга. Преимущества же научно-технических "шарашек" "большой зоны" были достаточно велики. Сахаров очень обиделся на Солженицына за упоминание его привилегий и за одобрение отказа от них. По его, Сахарова, меркам, он не был богат. Да, конечно. А по меркам зоны? Как малой, так и большой, но массовой? Всех тех, кто был на общих работах, а не в придурках? Солженицын исходил из **этих мерок** (как всякий памятный зек). И он знал: привычка к элементарному достатку, а главное – к безопасности, к устойчивости положения невольной, неосознанно, инстинктивно замедляет наши реакции, чреватые потерей всех этих преимуществ. Человек – слаб. Сила приобретается не сразу и не дешевой ценой. И даже когда она есть, по дремлет, – она просыпается не моментально. Однако продолжим наше сопоставление.

Сахаров был (если в глубине души не атеистом, то) агностиком, не имеющим ни в ком и ни в чем опоры, сильней собственной воли. И, наконец, задача и дело Солженицына давно уже не приносили ему расслабляющих душу сомнений и терзаний. Из них двоих он был, пожалуй, и свободней, и уверенней. А потому сильней. Поэтому он так раскован и в критике меморандума Сахарова:

«Абзацем ниже Сахаров называет среди "крайних выражений догматизма и демагогии", в ряду тех же расизма и фашизма – уже и сталинизм. Но это – худая подмена.

. . .

Справедливо усомниться: а есть ли такой отдельный "сталинизм"? **Существовал ли он когда?** Сам Сталин никогда не утверждал ни своего отдельного учения (по низкому умственному уровню он и не мог бы построить такого), ни своей отдельной политической системы. Все сегодняшние поклонники, избранники и плакательщики Сталина в нашей стране, а также последователи его в Китае гранитно стоят на том, что Сталин был верный ленинец и никогда ни в чём существенном от Ленина не отступил. И автор этих строк, в своё время попавший в тюрьму именно за ненависть к Сталину и за упрёки, что тот отступил от Ленина, сегодня должен признаться, что таких существенных отступлений не может найти, указать, доказать» /Публицистика. Статьи и речи. Стр. 30 – 31; выд. и разрядка Солженицына/.

Я тоже искала существенные отличия Сталина от Ленина много лет. Иногда мне казалось, что я их вижу. Но изучив едва ли не всё напечатанное (а отчасти и не напечатанное) обоими, я существенных различий, кроме чисто личных, психологических, а также обусловленных несколько разными задачами, не обнаружила. Я готова разделить с Солженицыным его вывод:

«Разве только в одном Сталин отступил от Ленина (но и повторяя общий закон всех революций): в расправе над **собственной партией**, начиная с 1924 года и возвышаясь к 1937. Так не в этом ли решающем отличии и видят наши нынешние передовые историки тот признак, по которому "сталинизм" попадает в исключительный список античеловеческих идеологий, попадает без своей материнской?

"Сталинизм" – это очень удобное понятие для тех наших "очищенных" марксистских кругов, которые силятся отличаться от официальной линии, на самом деле отличаясь от неё ничтожно. (Типичным представителем этой линии можно назвать Роя Медведева.) Для той же цели еще важнее и нужнее понятие "сталинизма" западным компартиям – чтобы сбросить на него всё кровавое бремя прошлого и тем облегчить свои сегодняшние позиции» /там же, стр. 31 – 32; выд. Солженицыным/.

Пожалуй, наибольшей ересью в оценке Солженицыным взглядов Сахарова было, с точки зрения советской либеральной интеллигенции тех лет, отношение Солженицына к сахаровскому просоциализму. На мой взгляд, многолетняя неспособность Сахарова разобраться в этом вопросе – это ещё и естественный и опасный плод пренебрежения "физиков" риторикой "лириков". Солженицын пишет:

«Среди неприкасаемых статуй бережно обходит наш автор и **социализм**, – настолько несомненный для всех, что не подлежит и дискуссионному выносу в заголовок. В превознесении социализма Сахаров даже и чрезмерен. Как о всеизвестном, не требующим доказательств, пишет он о "высоких нравственных идеалах социализма", о "морально-этическом характере социалистического пути" и даже называет это своим "основным выводом" (а верней, очевидно, – основным нравственным пожеланием). Но: нигде в социалистических учениях не содержится внутреннее требование нравственности как сути социализма, – нравственность лишь обещается как самовыпадающая манна после обобществления имущества. Соответственно: нигде на Земле нам ещё в природе не был показан нравственный социализм (и даже такое словосочетание, предположительно обсуждённое мною в одной из книг, было сурово осуждено ответственными ораторами). Да что говорить о "нравственном социализме", когда неизвестно: вообще ли социализм всё то, что нам называют и показывают как социализм. Он – в природе есть ли?» /там же, стр. 33 – 34; выд. Солженицыным/.

Удивляться ли мне, что рукопись моего "Нашего нового мира", трактующая о том, "вообще ли социализм всё то, что нам показывают как социализм? Он – в природе есть ли?", либо не была Сахаровым прочитана, либо не произвела на него в начале 1970-х гг. серьёзного впечатления? Она настолько противоречила тому представлению о социализме, которое было мало-мальски (внутренне, душевно) удобно тогда иметь, что Сахаров мог его просто автоматически не воспринять. Как почти весь его слой и круг.

Солженицын примерно так и понимает сахаровскую полуапологию социализма: как синдром самогипнотический.

«Уверяет Сахаров, что социализм, "как никакой другой строй ... возвеличил нравственное значение труда", что "только социализм поднял труд до вершины нравственного подвига". Но на сельских пространствах нашей страны, где всегда только и жили трудом, весь интерес жизни содержали в труде, – труд именно при "социализме" стал заклятым бременем, от которого бегут. И добавим – по всем нашим пространствам и дорогам самый тяжёлый чёрный труд, исполняемый женщинами с тех пор, как мужчины пересели на механизмы или перешли на руководство. И – насильственные трудовые мобилизации горожан ежесезонно.

. . .

Да всё это знает, конечно, и Сахаров, и сказываются тут не ошибки его личного мнения, но повальный гипноз целого поколения, которое не может очнуться сразу ото всего, стряхнуть с себя нагромождение сразу всех политучёб. Оттого читаем: "социалистическая оплата – по количеству и качеству труда", хотя такая оплата под названием сдельной существует, сколько мир стоит. Напротив, всё, что Сахаров

видит в реальном социализме дурного, "лицемерие и показной рост ... с утерей качественных характеристик", он почему-то не относит к социализму, а к некоему "сталинскому лжесоциализму". "Некоторые нелепости нашего развития не были естественным следствием социалистического пути, а явились своего рода трагической случайностью." А доказательства? - в газетах?» /там же, стр. 34 - 35/.

Многие имевшиеся к тому времени в мировой и отечественной литературе научные доказательства истинной сути социализма (его безнадёжности и смертельной опасности для человечества) большинством высших этажей советского образованного слоя инстинктивно, подсознательно отторгались. Иначе очень уж трудно было бы нести свой профессиональный груз, иногда - страшный. Пришлось бы менять этаж, вплоть до грозных подвалов родных лубянок.

И уж совсем далеко вперёд глядит Солженицын 1969 года, по меньшей мере - на 20 - 25 лет, когда замечает:

«В этот заголовок ещё вынесена интеллектуальная свобода. Именно в ней видит Сахаров "ключ к прогрессивной перестройке государственной системы в интересах человечества".

Действительно, в нашей стране интеллектуальная свобода преобразила бы многое сейчас, помогла бы очиститься от многого. Сейчас, из той впадины тёмной, куда мы завалены. Но глядя далеко-далеко вперёд: а Запад? Уж Запад-то захлебнулся от всех видов свобод, в том числе и от интеллектуальной. И что же, спасло это его? Вот мы видим его сегодня: на оползнях, в немощи воли, в темноте о будущем, с раздёрганной и сниженною душой. Сама по себе безграничная внешняя свобода далеко не спасает нас. Интеллектуальная свобода - очень желанный дар, но как и всякая свобода - дар не самоценный, а - проходной, лишь разумное условие, лишь средство, чтобы мы с его помощью могли бы достичь какой-то другой цели, высшей» /там же; выд. и разрядка Солженицына/.

* * *

Вполне понятно, что советская интеллигенция 1960-х - 70-х гг., всё чаще обжигаясь о раскалённые солженицынские страницы, так горячо потянулась к не отвергающему её родовых святынь.

* * *

Несомненно, достаточно широкие круги читающей публики не примут моих (следующих ниже) оценок и впечатлений. Некоторые - уже потому, что не имели возможности пристально следить за полемикой между двумя самыми известными в мире русскими мыслителями постсталинских лет. Самиздат и Тамиздат долгое время были доступны весьма ограниченному числу внутрисоветских читателей. И даже в этом кругу в руки читателей по-

падали отдельные статьи и крайне редко – целостная, да ещё многолетняя дискуссия. Мне, выехавшей из СССР, удалось проследить её всю, частью – ещё в СССР, в основном – здесь.

Мы уже рассмотрели здесь одну из работ Солженицына, посвящённых Сахарову. Вот небольшое письмо, свидетельствующее об отношении первого ко второму на сравнительно раннем этапе общественной деятельности Сахарова (1973 год):

«Дорогой Андрей Дмитриевич!

Был в отъезде, когда узналось о нападении на вас, и поэтому пишу только сейчас.

Низко же поставлена наша страна перед арабами, если нет у них оснований уважать нашу национальную честь. Только и не хватало нам, чтоб ещё арабский терроризм "поправлял" русскую историю.

Однако я утверждаю, что в нашем отечестве при условии сквозной слежки и подслушивания, какие установлены за Вами, такое покушение невозможно без ведома и поощрения властей. Если б оно было независимым и для властей нежелательным, многочисленным штатам не составляло бы никакого труда пресечь его перед началом, в полуторачасовом ходе или тотчас по окончании задержать преступников. Посмели б они у нас пошевелиться, не получив разрешения! – нелепо и подумать знающему наши условия.

Но это – новейший приём. Свободному слову свободного человека – что противопоставить? Аргументов нет, ракеты неприменимы, решетка ущербна для репутации, остаётся наёмный убийца.

Если когда-нибудь нанесут Вам этот удар, а я ещё буду жив, заверяю Вас, что остатком своего пера и жизни послужу, чтоб убийцы не выиграли, а проиграли.

Крепко обнимаю Вас

Ваш

А. Солженицын

28 октября 1973 г.

/А.И. Солженицын. Собрание сочинений. Т. 10, стр. 31. – Вермонт – Париж: Изд. YMCA-PRESS. – 1983/.

Сахаров изначально плохо себе представлял, да и не знал, по дальности отношений и по вынужденной скрытности Солженицына, какой грандиозной работой тот занят. Солженицын взял на себя задачу осмыслить историю русской революции. "Архипелаг ГУЛаг" вполне мог казаться сахаровскому кругу трудом, примыкающим к целям правозащитников (обличение неправых (?) деяний режима и строя). Внимательное чтение "Архипелага", показывает, однако, что Солженицын вскрывает в своей летописи **правовую неумяемость, структурную и правовую безнадежность социализма как строя и коммунизма как идеологии**. "Архипелаг" не был фактографической преамбулой "Красного колеса" – он был и по своей хронологии, и по своему содержанию его **эпилогом**, написанным раньше основных "узлов" эпоса. И это была не очередная коррекция социализма, пусть и глубокая, – это было его бесповоротное отрицание.

Сахаров о ГУЛаге знал; видел его туземцев в своей "спецзоне", был сведущ в судьбах своих родственников, своих коллег, своего народа (см. главы "Воспоминаний" о детстве и юности) Но со времён войны и вплоть до времени своего искупительного правозащитного взлёта он предпочитал **не принимать ГУЛага в расчёт в качестве определяющего фактора советской жизни**. Он считал его вопиющим нарушением прежде всего социалистических принципов, а не предельной концентрацией их сущности. И сражался – самозабвенно против каждого такого отдельного нарушения. Будь то подвергнутая несправедливым репрессиям личность или народ.

Странно: свободный художник подходил к этому вопросу скрупулёзно научно, а учёный – сугубо эмоционально, не привлекая ни научной логики, ни праведения в его принципиальных устоях, ни статистики, ни истории вопроса. Его эти все "отвлечённости" достаточно долгое время просто не занимали. Физика увлекала больше. А после физики – помощь конкретным людям, их спасение.

Нейтральность Сахарова по отношению к социализму как учению, принципу и общественному строю усиливалась тактическими установками среды, в которую его ввела правозащитная деятельность. Почитайте хотя бы Вольпина-Есенина в переложении Буковского. Правозащитниками велась страшная и самоотверженная защита людей и сообществ, пострадавших от **произвола советской системы**. При этом неправовой характер самой системы не акцентировался: **её условились предполагать правовой**. Механизм и логика этого предположения, его цель мне до сих пор не вполне понятны. Ведь Конституция СССР не оставляла места никаким иллюзиям и разночтениям.

Значительная и ведущая часть новой сахаровской среды долгое время подвергла сомнению **конкретный способ и средства построения социализма в СССР**. Но только как патологический частный случай. И ни в какой мере – **не социализм как идею и цель**. Жены, дети и внуки расстрелянных коммунистов, тоже нередко отсидевшие "срока огромные" (я говорю о большинстве, о типичных дорогах), от "пережитков коммунизма" избавлялись крайне медленно (если вообще избавлялись). И многое зависело от того, какой идеологический стереотип преобладал в данном тесном кругу.

В мемуарах Сахарова терминология и мировоззренческие стереотипы диссидентской среды сохраняются почти до последних страниц второй книги.

Он изначально не понимал и, кажется, так до конца и не понял, почему Солженицын не захотел войти в диссидентский круг. Да ещё и его, Сахарова, пытался от этой среды оторвать, что казалось последнему уж вовсе бесцеремонным и несправедливым. Той работы, которой Солженицын не мог рисковать ради нескольких подписей или демонстраций, Сахаров по достоинству так и не оценил, если считал, что её можно было совмещать с правозащитной текучкой. Солженицын же именно из этой текучки и хотел его вырвать, чтобы занялся Сахаров делом себе в рост – крупными системобразующими проблемами. Разумеется, оба были неправы: каждому – своё. Но Сахаров ещё не понимал и того, что для Солженицына было бесспорным (и теперь подтверждается ретроактивно всё чаще). Он не понимал, что в диссидентской человеческой неразберихе полно сексов, полу-

сексотов и просто легкомысленных, несобранных и слабых духом людей. И отдавать в их руки судьбу титанического труда, столь виртуозно сберегавшегося кучкой друзей и помощников, **просто нельзя**. Только железная самодисциплина Солженицына, его второй жены и ближайших сподвижников этот труд сберегла. И то – были страшные провалы и срывы: вспомним судьбу несчастной Воронянской, историю архива, который хранился у Теушей, метания бывшей жены Солженицына и многое другое, от чего спасало только чудо.*

Солженицын просто не мог позволить себе примкнуть к среде, значительная часть которой считала конспирацию безразличной или излишней. И далеко не худшая часть. Да и не было у него в этом необходимости: он делал другое дело.

Сахаров же, подобно многим, расценивал защитную самоизоляцию Солженицына как некое высокомерие, перестраховку, снобизм. То же будет позднее в Вермонте. Но Солженицын никогда не попадался на крючок притчи о мельнике, мальчике и осле. Он поступал так, как считал нужным (даже ошибаясь). Тогда, до высылки, только самые близкие помощники и друзья понимали всепоглощающую тяжесть задачи, которую писатель на себя взвалил, и вынужденную именно этой задачей узость контактов.

Помимо всех этих психологических расхождений, Сахаров был глубоко обижен отношением Солженицына к Е.Г. Боннэр и ко всему его новому кругу. Несогласие, насторожённость, неодобрение некоторых влияний "правозащитнического" окружения Сахарова в откликах и оценках Солженицына, несомненно, присутствуют. Но неуважения, зложелательства и – тем более – клеветы на вторую семью Сахарова ни в одной его книге или статье нет. Солженицын способен быть пристрастным, но лживым и злонамеренным – никогда.

Начну с конца – с последнего разговора Сахарова с Солженицыным по телефону во время пребывания Сахарова в США.

Сахаров предпосылает этой беседе несколько вводных абзацев. Сперва он рассказывает историю возникновения в Москве общества "Мемориал" (1988). Затем переходит к истории взаимоотношений между Солженицыным и обществом "Мемориал". Совет общества, в который был заочно оптимирован Солженицын, выбирался следующим образом: в Москве

«прохожих просили назвать тех, кого они хотят видеть в Общественном совете – любое число кандидатур. Набравшим наибольшее число голосов было предложено войти в Общественный совет. В их числе оказался я и согласился, так же, как большинство тех, кто получил доверие людей. Отказался от вхождения в Общественный совет А.И. Солженицын. В декабре, уже будучи в Штатах, я позвонил ему, чтобы поздравить с 70-летием. В этом разговоре Солженицын объяснил свой отказ двумя причинами. Во-первых, тем, что советские

* См. А.И. Солженицын, "Бодался теленок с дубом" /Пятое дополнение (1974 - 1975) "Невидимки"/ "Новый мир" NN 11-12 М 1992 Книга "Утодито зернышко промуж двух жерновов" в наш обзор не входит

ответили на создание им "Архипелага ГУЛаг" высылкой его с родины. Этот аргумент представляется мне неправильным. Общество "Мемориал" не несёт ответственности за действия властей. Второй аргумент – опасение, что идеологическая линия "Мемориала" не соответствует его представлениям об исторической науке. Поясняя свою мысль, он сказал, что принципиально недопустимо ограничиваться осуждением только сталинских репрессий, и тем более осуждением репрессий только против тех, кто на самом деле были соучастниками преступлений. Преступления режима начались в 1917 году и продолжаются до сих пор, это одна цепь физического уничтожения народа и его лучших представителей, разращения народа, обмана, жестокости, лицемерия, демагогии ради власти и ложных целей коммунизма. Эту цепь преступлений начал Ленин, поэтому его личная вина перед народом и историей огромна, но тема преступлений Ленина – всё ещё табу в СССР, и пока это так, Солженицыну нечего делать в "Мемориале". Кончил Солженицын пожеланиями успеха мне в борьбе, которую я веду в СССР в соответствии с обстановкой и возможностями. Конечно, я воспроизвёл тут слова Солженицына по памяти, дополняя фрагментами других его выступлений, а также используя собственную их интерпретацию. Что можно сказать по существу?

... "Мемориал" действует в условиях советской действительности, при крайне настроенном, а быть может – просто враждебном к нему отношении. Поэтому мне представляется правильной осторожной формулировка устава, в которой речь идёт о жертвах сталинских репрессий и других жертвах террористических и незаконных методов управления государством. Что авторы устава и "Мемориал" в целом не впади в конформизм – ясно из реакции властей, ЦК, из всех трудностей легализации "Мемориала"» / "Москва, Горький, далее везде", стр. 102 – 103/.

"По существу" (Сахаров) можно сказать очень многое. Главное же состоит в том, что Солженицын ещё в 1960-х годах отказался играть в определённого рода игры. И теперь, завершая IV узел "Красного колеса", не к лицу было бы ему в них входить. Кроме того, мера ответственности Ленина за происшедшее в России – вопрос глубоко принципиальный, а не тактический. Солженицын первый в мировой и русской литературе (с опасностью для жизни, своей, и семьи, и ближайших друзей-помощников) эту роль по-настоящему высветлил и обосновал. И не ему теперь возвращаться к приспособленческому эвфемизму "разоблачения культа личности Сталина". Это было бы, кроме всего прочего, надругательством над памятью убитых Лениным (1917–1922). Но Сахаров этого, очевидно, не понимает. Продолжим его рассказ.

«Чтобы больше не возвращаться к моему разговору с Солженицыным, расскажу еще о некоторых его моментах. Я позвонил из Ньютона в начале дня. Подошла Аля, жена Александра Исаевича. Мы поговорили несколько минут, потом она позвала Александра Исаевича, за-

метив, что он сам никогда не подходит к телефону. Произошел тот разговор, о котором я уже написал. В конце я сказал, в ответ на его пожелания успехов, о важности его писательской работы и добавил: "Александр Исаевич, между нами не должно быть недоговорённостей. Вы в своём 'Телёнке' глубоко меня обидели, оскорбили. Речь идёт о ваших высказываниях о моей жене, сделанных как в явной форме, так и в ряде мест без указания имени, но совершенно ясно, о ком идёт речь. Моя жена совершенно не тот человек, как вы её изображаете, и её роль в моей жизни совсем иная. Она бесспорно верный, самоотверженный и героический человек, никогда никого не предавший, далёкий от всех салонов, диссидентских и не диссидентских, никогда не навязывавший мне никаких 'наклонов'". Александр Исаевич несколько секунд молчал, очевидно, он не привык, чтобы кто-то обращался к нему с такими прямыми обвинениями. Затем он сказал: "Хотел бы верить, что это так". Эта фраза по обычным меркам не была, конечно, извинением, но для А.И., видимо, и это было большой уступкой» /там же, стр. 103 - 104/.

Замечу, что Солженицыну не привыкать было к "прямым обвинениям", как правило - несправедливым. "Обо мне лгут, как о мертвом", - сказал он в одном из своих интервью 1980-х гг. Да, его ответ Сахарову свидетельствует, что он, действительно, воспринимал какие-то действия или черты Е.Г. Боннэр неодобрительно. О том, как болезненно мог отзываться Сахаров на малейшие признаки критического отношения к своей жене, свидетельствует его трагическое расхождение с детьми от первого брака из-за их несовместимости с его второй семьёй. Тем более непереносимым должно было показаться ему вмешательство постороннего человека в его личную жизнь. Место Е.Г. Боннэр в жизни и душе Сахарова не подлежит ни обсуждению, ни - тем более - осуждению. Перечитайте хотя бы последний абзац его второй книги, и вы поймёте, каково это место.

«Семья, дети, внуки. Многие я упустил - по ленивости характера, по невозможности чисто физической, из-за сопротивления дочерей и сына, которое я не мог преодолеть. Но я не перестаю об этом думать. Люся, моя жена. На самом деле это единственный человек, с которым я внутренне общаюсь. Люся подсказывает мне многое, что я иначе по своей человеческой холодности не понял бы и не сделал. Она также большой организатор, тут она мой мозговой центр. Мы вместе. Это даёт жизни смысл.

Ньютон - Вествуд
Июль - Август 1989 г. »

/там же, стр. 220; вид. Сахаровым/.

Но оскорбительны ли высказывания Солженицына о Е.Г.Боннэр или всего-навсего настороженны? Сахаров говорит однозначно об оскорблении, а не о несогласии, или отчуждённости. Поскольку он сам сделал этот во-

прос достоянием гласности, то и читатель не лишен права высказать свои впечатления.

Продолжу рассказ Солженицына о Сахарове, обращаясь к первоисточнику:

«Осмелюсь сказать тут о Сахарове – в той мере, в какой надо, чтобы понять его поступки, уже имевшие и маячащие иметь последствия, значительные для России.

Когда Ленин задумал и основал, а Сталин развил и укрепил гениальную схему тоталитарного государства, все было ими предусмотрено и осуществлено, чтоб эта система могла стоять вечно, меняясь только мановением своих вождей, чтоб не мог раздаваться свободный голос и не могло родиться противотечение. Предусмотрели все, кроме одного – чуда, иррационального явления, причин которого нельзя предвидеть, предсказать и перерезать.

Таким чудом и было в советском государстве появление Андрея Дмитриевича Сахарова – в сонмище подкупной, продажной, беспринципной технической интеллигенции, да еще в одном из главных, тайных, засыпанных благами гнезд – близ водородной бомбы. (Появись он глуше – его упроворились бы задушить.)

Создатель самого страшного оружия XX века, трижды Герой Социалистического Труда, как бывают генеральные секретари компартии, и заседающий с ними же, допущенный в тот узкий круг, где не существует "нельзя" ни для какой потребности, – этот человек, как князь Нехлюдов у Толстого, в какое-то утро почувствовал, а скорей – от рождения вечно чувствовал, что всё изобилие, в котором его топят, есть прах, а ищет душа правды, и нелегко найти оправдание делу, которое он совершает. До какого-то уровня можно было успокаивать себя, что это – защита и спасение нашего народа. Но с какого-то уровня уже слишком явно стало, что это – нападение, а в ходе испытаний – губительство земной среды.

* * *

Андрей Сахаров осмелился под размахнутой рукой сумасбродного Никиты, уже вошедшего в единовластие, требовать остановки ядерных испытаний, – да не каких-то полигонных, никому не известных, но – многомегатонных, сотрясавших и оклубявших весь мир. Уже тогда попал он в немилость, под гнев, и занял особое положение в научном мире, – по России ещё не знала, не видела этого. Сахаров стал усердным читателем Самиздата, одним из первых ходатаев за арестованных (Галанскова-Гипзбурга), но и этого еще не видели. Увидели – его меморандум, летом 68-го года.

Уже тут мы узнаём ведущую черту этого человека: прозрачную доверчивость, от собственной чистоты. Свой меморандум он раздаёт печатать по частям служебным машинисткам (других у него нет, он не знает таких путей) – полагая (! он служил в наших учреждениях – и не служил в них – парил!) , что у этих секретных машинисток не до-

станет развития вникнуть в смысл, а по частям – восстановить целое. Но у них достало развития снести каждая свою долю копий – в спец-часть, и та читала меморандум Сахарова ещё прежде, чем он разложил экземпляры на своём столе, готовя Самиздат. Сахаров был менее всего приспособлен (и потому – более всех готов!) вступить в единоборство с с бессердечным, зорким, хватким, неупустительным тоталитаризмом! В последнюю минуту министр атомной промышленности пытался отговорить, остановить Сахарова, предупреждал о последствиях, – напрасно. Как ребёнок не понимает надписи "эпидемическая зона", так беззащитно побрёл Сахаров от сытой, мордатой, счастливейшей касты – к униженным и оскорблённым. И – кто ещё мог это, кроме ребёнка? – напоследок положил у покидаемого порога "лишние деньги", заплаченные ему государством "ни за что" – 150 тысяч хрущевскими новыми деньгами, 1,5 миллиона сталинскими» /"Бодался телёнок с дубом", стр. 395 – 397; выд. Солженицыным/.

Я полагаю, что здесь уловлена зорким художником самая суть личности Сахарова. Может быть, ярче всего она проявилась для миллионов зрителей в беззащитной сахаровской негибкости на свистящем, топящем, визжащем Съезде народных депутатов СССР. Его сгоняли с трибуны, а он спокойно, негромко, не колеблясь, уже без микрофона, договаривал свою правду.

Что до "лишних" полутора миллионов "старыми", то, и на мой взгляд, лучше бы отдать их своим детям, чем советскому государству (и опять же: Сахаров сам об этом рассказывает – потому я и рискую откликнуться).

Солженицын видит в Сахарове ту поразительную наивность, которая, действительно, трудно объяснима в человеке с его воспитанием, образованием и семейной историей, да ещё при таком мощном научном интеллекте. Необъяснима, да. Однако – наличествует. И Сахарова констатация этого факта обижает. Подобно многим, он отождествляет наивность с простотой, с недостатком ума, тогда как речь идёт об особых качествах его души, об удивительном, по впечатлению Солженицына, простодушии, не прибавляющем устойчивости в нашем мире. О чистоте помыслов.

И по моему читательскому впечатлению тоже – в Сахарове поражающе сочетаются, с одной стороны, бесповоротность душевных движений, с другой – податливость, протекательная из доверчивости. Неспособный лгать, он плохо различает чужую фальшь. Он многим доверял на своём веку из тех, кому, на мой взгляд, верить не стоило. Ограничусь теми, о ком говорит Солженицын:

«Когда Сахаров ещё не знал либерального-самиздатского мышления мира, на поддержку к нему пришел молодой бесстрашный историк (с его грандиозными выводами, что всемирная закономерность была загублена одним неудачным характером) – как же не обрадоваться союзнику! как же не испытать на себе его влияние! Прочтите в первом сахаровском меморандуме – какие реверансы, какое почтение снизу вверх к Рою Медведеву. Виснувшие предметы отягчают воздуш-

ный шар. Предполагаю, что задержка сахаровского взлета значительно объясняется этим влиянием Роя Медведева, с кем сотрудничество отпечатлелось на совместных документах узостью мысли, а когда Сахаров выбыл из марксистских ущербиностей, закончилось выстрелом земля-воздух в спину аэронавту» /там же, стр. 397/.

Рой Медведев целился в спину не одному Сахарову. И кое в кого – попал. Но – продолжаю:

«С первого вида и первых же слов он производит обаятельное впечатление: высокий рост, совершенная открытость, светлая мягкая улыбка, светлый взгляд, тепло-гортанный голос и значительное грассирование, к которому потом привыкаешь. Несмотря на духоту, он был старомодно-заботливо в затынутом галстуке, тугом воротнике, в пиджаке, лишь в ходе беседы расстёгнутом – от своей старомосковской интеллигентной семьи, очевидно, унаследованное. Мы просидели с ним четыре вечерних часа, для меня уже довольно поздних, так что я соображал неважно и говорил не лучшим образом. Ещё и перебивали нас, не всегда давая быть вдвоём. Ещё и необычно было первое ощущение – вот, дотронуся, в синеватом пиджачном рукаве – лежит рука, давшая миру водородную бомбу!

Я был, наверно, недостаточно вежлив и излишне настойчив в критике, хотя сообразил это уже потом: не благодарил, не поздравлял, а всё критиковал, опровергал, оспаривал его меморандум, да ещё без хорошо подготовленной системы, увы, как-то не сообразил, что она понадобится. И именно вот в этой моей дурной двухчасовой критике он меня и покорил! – он ни в чём не обиделся, хотя поводы были, он ненастойчиво возражал, объяснял, слабо растерянно улыбался, – а не обиделся ни разу, несколько – признак большой, щедрой души. (Кстати, один из аргументов его был: почему он так преимущественно занят разбором проблем чужих, а не своих, советских? – ему больно наносить ущерб своей стране! Не связь доводов переклонила его так, а вот это чувство сыновней любви, застенчивое чувство вело его! Я этого не оценил тогда, подпирала меня пружина лагерного прошлого, и я всё указывал ему на пороки аргументации и группировки фактов.)

Потом мы примерялись, не можем ли как-то выступить насчёт Чехословакии, – по не находили, кого бы собрать для сильного выступления: все именитые отказывались поголовно» /там же, стр. 397-398; выд. Солженицыным/.

Не знаю, можно ли о несомненном (во многих принципиальных вещах) оппоненте говорить любоней и уважительней? Если кому-то здесь хорошо достаётся от Солженицына, то лишь самому ...Солженицыну.

Но вот уже и "Меморандум" написан, и ответная критика, однако тон не меняется:

«...Через год, когда я переехал в Жуковку к Ростроповичу, я оказался в 100 метрах от дачи Сахарова, надо же так совпасть. А быть в соседях – жить в беседах. Мы стали изредка встречаться. В конце 69-го я дал ему свою статью по поводу его меморандума – всё ту же критику, но уже сведённую в систему и намечаемую в Самиздат. На последнее я не решился, а Сахаров (почти единственный читатель той статьи тогда), хотя и с горечью прочёл (признался) и даже перечитывал – но никакого налёта неприязни это не наложило на его отношение ко мне.

У него был свой период замиранья: долго болела и умерла его жена. Совсем его не было видно, потом появлялся он по воскресеньям с любимым сыном, тогда лет двенадцати. Иногда мы говорили о возможных совместных действиях, но всё неопределённо.

И для зоны униженных-оскорблённых Сахаров всё ещё был слишком чист: он не предполагал, что и здесь могут быть не одни благородные порывы, не одни поиски истины, но и корыстные расчёты – построить своё имя не общепринятым служебным способом, не в потоке машин и тягачей, но – касанием к чуду, но прищепкою к этому странному, огромному воздушному шару, без мотора и без бензина летящему в высоту» /там же, стр. 398 – 399/.

Заметьте: это всё о 1969 году и ранее. Так что пи малейших намёков на второй брак, которые Сахаров в "Телёнке" позднее усмотрит, здесь (пока что – во всяком случае) нет и не может быть.

Далее – несколько неприязненных слов о Чалидзе. Что ж, таково было впечатление Солженицына, и не только его. И от Чалидзе, и от всего диссидентского "взбаламученного моря"* очень даже веяло тем, что почувствовал Солженицын. Я бы назвала это парадоксальным переплетением типов и качеств, на первый взгляд, несовместимых. Затем – о Комитете защиты прав человека (опускаю) и о деятельности в нем Сахарова:

«Все многочисленные заступничества Сахарова за отдельных преследуемых, стоящих у судебных зданий, куда его обычно не пускали, ходатайства об оправдании, помиловании, смягчении, взятии на поруки, часто носили форму деятельности как бы от имени Комитета, – на самом деле были его собственными действиями, его постоянным настоятельным побуждением – заступаться за преследуемых.

Эта форма – защиты не всего сразу "человечества" или "народа", а – каждого отдельного угнетаемого, была верно воспринята нашим обществом (кто только слышал по радио, хоть в дальней провинции, кто только мог знать) как чудесное целебное у нас правдоискательство и человеколюбство. Но она же (при злобно-мелочном сопротивлении и глухоте властей) была и изурительной, забравшей у Сахарова сил и здоровья непропорционально результатам (почти полевым). И она же,

* У братьев Стругацких в "Обитаемом острове" – "жестяковые выродки" /прим Д III /

благодаря бесцётности обращения за его подписью, начинала уже рваться, дробиться в сообщениях мировой прессы, тем более, что употреблялась (иногда выпрашивалась, вырывалась) несоразмерно бедствую. И когда весной 1972 года Сахаров написал наиболее решительный из своих документов общего типа (Послесловие к Памятной Записке в ЦК, где он далеко и смело ушел от своего первого "Размышления", где много высказано истин, неприятных властям, о состоянии нашей страны и предложен мудрый статут "Международного Совета Экспертов"), – этот документ прошел незаслуженно ниже своего истинного значения, вероятно из-за частоты растроченной подписи автора» /там же, стр. 400 – 401/.

Я уже говорила, что мне правозащитная деятельность Сахарова видится чем-то вроде искупительного монашества в миру. Это был род деятельности, принципиально отличный от концентрированного и целенаправленного творческого горения Солженицына.

Последнее выражало себя в неустанном писательском труде при изобретательнейшей конспирации. Сахаров же считал долгом своей совести резонировать на каждую потребность в заступничестве, не деля задач на большие и малые, равновеликие его весу и авторитету или не соответствующие им.

Солженицын (повторим) расчислил, спланировал и начал решать, зайдя уже достаточно глубоко, громадную целостную задачу. Он обязал себя довести её до конца. Писатель, ставший и историком, взялся высветлить российскую историческую траекторию XX века и сказать миру о том, что сумел понять. Он и Сахарова жаждал увидеть решающим общественную задачу равновеликого масштаба, о чём мы уже говорили. Он жаждал для него дела ему по плечу. А Сахаров дробился, как представлялось Солженицыну, в изматывающем потоке "малых дел", доступном и менее крупным личностям. Солженицын не только для Сахарова считал бессмысленным тонуть в затопляющих выше головы текущих делах. Он для многих, кого уважал, желал работы весомой и целостной, в рост их предельным возможностям (как для себя). Иногда не просто желал, а требовал. И чувствовал себя вправе требовать, потому что не для себя же! У Вас. Аксёнова есть написанное с характерным для него юмором воспоминание о встрече Солженицына с Евгенией Гинзбург:

«В русской эмиграции немало говорят о так называемом "затворничестве Солженицына", очень популярная тема на вечеринках. Всякий раз, когда мне приходится слушать эти разговоры, я вспоминаю рассказ моей матери, Евгении Гинзбург, о ее встрече с Александром Исавичем.

В середине шестидесятых годов ее книга "Крутой маршрут" широко циркулировала в Самиздате, по некоторым оценкам число самодельных копий достигло пяти тысяч. Солженицын к тому времени напечатал всю свою "повомирскую" прозу. Он всё еще считался как бы "повомирским автором", но в Самиздате уже начали циркулировать и "Раковый корпус", и "В круге первом", и все уже чувствовали, что

собирается гроза, хотя никто тогда еще не мог предвидеть её масштабов. Встреча двух писателей, вырвавшихся из ГУЛАГа, была вполне естественной и даже вроде бы пужной.

Не помню точно, когда и где она состоялась, потеряны, увы, и многие из рассказанных мамой деталей, но одна тема их разговора врезалась в память.

Он спросил: сколько вам лет. Вопрос для немолодой дамы не очень-то привлекательный, если за ним не предполагается комплимента. Complimenta явно не предполагалось, и мама назвала свою цифру. Солженицын записал её на листочке чистой бумаги. На осьмушке бумаги, как говаривали в старину. Далее он спросил: а как вы себя чувствуете? Вопрос звучал скорее в медицинском, чем в светском ключе. Мама сказала "терпимо", что тогда вполне соответствовало действительности. Опрос продолжался. Сколько страниц в день вы пишете? Мама прикинула: что-то вроде шести, когда хорошо идёт. Солженицын и эту цифру записал. Далее на глазах изумлённой мамы началась калькуляция. Итак, в среднем вы можете писать столько-то страниц в день. Предположим, вы сможете работать активно ещё столько-то лет. Каждый год – это столько-то рабочих дней. Помножим. Итак, вот число страниц, которых вы должны написать. Эту цифру вы должны всегда держать в уме. Это ваш долг, Евгения Семёновна, написать вот столько-то страниц о вашем жизненном пути и о ГУЛАГе.

Мама рассказывала эту историю не без улыбки, вот, дескать, какой одержимый человек, однако нет никакого сомнения, что разговор с Солженицыным подтолкнул её к дальнейшей работе, которая в конечном счете вылилась во второй том "Крутого маршрута".

Можно только себе представить, насколько суров счет, который Солженицын предъявляет к самому себе, насколько неумолима его самокалькуляция. Секрет так называемого затворничества именно в этом. Писать, писать, отмыкать обосравшуюся во лжи историю.

Лично для меня такой подход к писательскому долгу является недостижимым нравственным пределом с его высшей серьезностью, ощущением важности исторического пути и преодолением соблазна сочинительства» /Альманах "Стрелец" № 1 (61), стр. 239 – 240; вид. Аксёновым. Изд. "Третья волна". Париж – Нью-Джерси. 1989/.

Солженицыну представлялось, что у всякого одаренного и честного человека имеются силы для подобной сосредоточенности. И что у каждого должен быть главный труд. У писателя – писательский.

Но у Сахарова – вплоть до начала его работы в "Межрегиональной группе" над проектом новой конституции – такой всезаслоняющей и всеподчиняющей, единственной, главной задачи (вне теорфизики, от которой его фактически надолго отлучили) не было! И ему не казались "малыми" его повседневные ходатайства и заступничества. Они стали делом, которому он служил. Он свои искупительные правозащитнические вериги носил с радостью. Далее следуют наиболее оскорбительные, по мнению Сахарова,

воспоминания Солженицына о нём и о Е. Г. Боннэр (по смыслу сахаровской реакции на них – скорее инсинуации, чем воспоминания). Приведу несколько отрывков:

«Хотя мы продолжали встречаться с Сахаровым в Жуковке 72-й год, но не возникли между нами совместные проекты или действия. Во многом это было из-за того, что теперь не оставлено было нам ни одной беседы наедине, и я опасался, что сведения будут растекаться в разлохмаченном клубке вокруг "демократического движения". Отчасти из-за этого расстроилась и попытка привлечь Сахарова к уже начатой тогда подготовке сборника "Из-под глыб". (Из моих собственных действий я за все годы не помню ни одного, о котором можно было говорить не тайно прежде его наступления, вся сила их рождалась только из сокровенности и внезапности. Даже о простой поездке в город на один день я не говорил ни под потолками, ни по телефону, всё намёком или по уговору заранее – чтоб не управилось ГБ совершить налёт на моё логово, как это случилось в Рождество и перепотрошить рукописи.) Отчасти же Сахаров не вдохновился этим замыслом.

Так мы обрелись на раздельность, и при встречах обменивались лишь новостями да оценками уже происшедших событий. Да и приезжал он всё реже.

. . .

К сумме всех этих мелких расстройств добавлялась и общая безнадежность, в какой теперь видел Сахаров будущее нашей страны: ничего нам никогда не удастся, и вся наша деятельность имеет смысл только как выражение нравственной потребности. (Возразить содержательно я ему не мог, просто я всю жизнь, вопреки разуму, не испытывал этой безнадежности, а напротив, какую-то глупую веру в победу.) Весной 73-го года Сахаровы в последний раз были у меня в Жуковке – в этом мрачном настроении, и рассказали о своих планах: детям жены пришло приглашение учиться в одном из американских университетов, самому А. Д. скоро придёт приглашение читать лекции в другом – и они сделают попытку уехать.

Всё тот же, тот же роковой выбор, прошедший через всех нас, раздвоился и лёг перед А. Д. Не лег свободным развилком, но повис на шее раздвоенным суком.

У него появилась новая поза: сидеть на стуле не ровно-высоко, как раньше, когда мы зликомились, когда он с добро-несёлой улыбкой вступал в эту неизвестную область общественных отношений, – но оседающая вдоль спинки, и уже сильно лысоватой головой в туловище, отчего плечи становились высоки.

Тут я уехал от Ростроповича, подобие соседства нашего с Сахаровым перестало существовать.

Мелодия эмиграции неизбежна в стране, где общественность всегда проигрывала все бои. За эту слабость нельзя упрекать никого, тем более не возьмусь я, в предыдущей главе описав и свои

колебания. Но бывают лица частные – и частны все их решения. Бывают лица, занявшие слишком явную и значительную общественную позицию, – у этих лиц решения могут быть частными лишь в "тихие" периоды, в период же напряженного общественного внимания они таких прав лишены. Этот закон и нарушил Андрей Дмитриевич, со сбоем то выполнял его, то нарушал, и обидней всего, что нарушал не по убеждениям своим (уйти от ответственности, пренебречь русской судьбой – такого движения не было в нём ни минуты!) – нарушал, **уступая воле близких, уступая чужим замыслам**» /"Бодался телёнок с дубом", стр. 401 – 402; вид. Д.Ш./.

Вот он – наиболее ранящий удар: "...уступая чужим замыслам..." Но сперва о другом.

Сахарова глубоко задела слова о "разлохмаченном клубке вокруг 'демократического движения'". Очевидно, он целиком отнёс его на счёт дружеского круга своей жены и своего. Но с такими же основаниями можно предположить, что Солженицын имел в виду не Боннэр и её личных близких друзей, ставших друзьями Сахарова, а всю ту неуклонно расширяющуюся среду, в которую Сахаров начал входить **ещё до смерти первой жены и знакомства с Е.Г. Боннэр.** К слову: Сахаров уже не успел увидеть, как открываются архивы, не услышал, как сводятся в российских и зарубежных журналах и газетах счёты о том, кто на кого когда и сколько стучал (или не стучал). В этой среде, как во всяком очень широком и малоизбирательном круге (почитайте Герцена), соседствовали очень разные люди. В нём был силён и богемный элемент, Солженицыну, как, впрочем, и Сахарову, чуждый.

Сэтим "'разлохмаченным клубком' вокруг диссидентского движения", в его украинском варианте (да и в московском), я тоже боялась сближаться. Я обожглась разок-другой, но счастливо отделалась. И когда занялась работой **серьёзной**, то замкнулась от этого круга наглухо. В его бурных и поэтому мутных водах ловили рыбку профессионалы, которым помогали невинной своей болтовнёй богемьены и простаки. В нём немало пи-ли, нередко пробалтывались на допросах... И людям, занятым серьёзной тайной работой, общаться с этой средой нельзя было. Даже если компания была очень симпатичной – в отдельных лицах.

Фраза "...уступает **чужим** замыслам" – действительно должна была Сахарова глубоко задеть. И не только потому, что изображает Сахарова в некотором роде "подкаблучником", что не соответствует его своеобразному, хотя и медлительному характеру. Желания и мнения любимого, близкого, высоко ценимого человека – это не "чужие замыслы". Ты разделяешь их, и они становятся общими. Разве, согласившись с Наталией Дмитриевной не думать более об эмиграции, Солженицын уступил "чужим замыслам"? В обоих случаях было воспринято чувство и мнение человека, от себя, от своей души не отделяемого. Сахарова могло задеть ещё и такое противопоставление: "пренебречь **русской** судьбой... уступая **чужим замыслам**" (вид. Д.Ш.). Это был период обострённого национального чувства в семье Солженицыных. А Сахаров подчёркнуто стал свободен выше патриотизма:

«К замечаниям о статье Михайлова. Цитата: "Родина не национальное и не географическое понятие. Родина – это свобода!" Как хорошо» /"Воспоминания", стр. 821/.

Правда, не в области военных секретов. Здесь он остался верен патристическим (?) интересам до конца жизни.

Но ведь обе семьи представляли собой сложные этнические коктейли, и сахаровская, и солженицынская, так что о "голосе крови" речь тут никак не может идти! Русскость для Солженицына и его жены есть **фактор судьбы, а не крови**. Его публицистика не оставляет места для разночтений в этом вопросе. Не "русскость" здесь подходит, а скорее "российскость".

Уместным представляется напомнить, что жизненный опыт и миропонимание обеих супружеских пар были существенно, а в чём-то и резко различными. Хотя, повторю, стояли обе они, ко времени их знакомства, по одну сторону баррикады.

Со своей будущей второй женой Солженицын познакомился в 1968 году. Он вспоминает: в тот вечер ему предстояло впервые встретиться с А. Д. Сахаровым. Но предложили ещё одно знакомство – с вероятной молодой помощницей, связанной с целым кругом надёжных и достойных её друзей.

«За два часа до встречи с Сахаровым я приехал знакомиться с Наташей Светловой.

Это было через неделю после оккупации Чехословакии и через три дня после демонстрации семерых на Красной площади. У себя в Рождестве я слышал всё по радио, но живых подробностей московской демонстрации не знал. И теперь молодая собранная женщина с тёмнокрылым надвигом волос над ореховыми глазами, крайне естественная в одежде и в манере держаться, рассказывала мне, как демонстрация прошла и даже как готовилась. Откуда же знала она? Оказалось: тесно с ними, с Движением, и двое участников – её друзья. (Так только малого не хватило – ей тоже пойти на площадь в тот день? Того малого, узналось потом: к тому ли она росла? В иные миги жизни посылаются нам перекрёстки, и между решениями почти просвета нет. Вот уже сегодня подходило ей решение иное.)» /А. Солженицын. Невидимки. "Новый мир" N 12, М., 1991; стр. 41/.

Для начала Наташа взяла на перепечатку "Круг-96".

«(Хотя – кончала математическую аспирантуру, вела практикум со студентами, времени льготного было у нее – два вечерних часа, когда шестилетний сын уже спать ляжет. Но напечатала за четыре месяца, да без единой опечатки и с большим вкусом внешнего расположения, за чем мы и не следили никогда.) Ещё в следующий раз задавала мне по готовому уже тексту такие придиричиво-точные вопросы, каких я сам себе не поставил. И по подробностям партийной истории поправила меня, где я не ожидал от нее знаний, тоже мне это очень подходило в цвет. Оказалось: ещё старшеклассницей она сама для себя пыт-

ливо раскапывала реальную историю большевицкой партии. (Это было поколение, сотрясённое испровержением Сталина в свой как раз последний школьный год. А один дед Наташи, Фердинанд Светлов, был даже – видный большевицкий публицист, после его ареста в 1937 осталась коммунистическая библиотека, запретные протоколы съездов и всякая коммунистическая труха, однако разительно противоречащая "Краткому курсу". Отсюда-то и пошли её раскопки. Резкая переполовка поколений была знаменитым признаком и ходом русской истории в 50-х годах.) /там же, стр. 42/.

Историческая картина, открывшаяся молодой женщине в прочитанном и читаемом, оказалась на диво близкой видению истории самим Солженицыным.

«...и в понятиях, как они поступали первые, – такая близость к моим, как я только мечтал и не встретил друга-мужчину. А ещё открывалась в ней душевная прирожденность к русским корням, русской сути, и незаурядная любовная внимательность к русскому языку. И такая бьющая жизненность, – потянуло меня видеть её часто.

Была она залита и наполнена русской поэзией, множество стихов наизусть, и сама же "издавала", печатала, переплетала, всё ещё запрещённых. Но больше того: у неё оказалась тонкая способность к редакторству, к художественной отделке, это я постепенно радостно открывал» /там же/.

Позднее

«Аля настояла сделать и успела провести в уже оконченном "Архипелаге" большую работу по проверке и правке цитат, особенно ленинских, которые я впопыхах работы брал из разных изданий, а верней – вторично перехватывал из коммунистических книг, сам не имея времени на библиотечную проверку, получался ералаш. (Подпольный писатель, считал я себя несколько свободным от обычных библиотечных требований, – зря и ошибочно.) Потом составила каркасы событий в моих Межузельях (я не занимался ими, потому что они не охватывались Узлами, а знать-то, видеть их косым зрением надо.) Обработывала воспоминания Шляпникова, затем делала мне выписки по Ленину: то из отдельных произведений, то – собирала и классифицировала черты его наружности, речи, манеру держаться.

Она влилась и помогала мне сразу на нескольких уровнях, в советах, обдуманных шагов, через три года уже и во внутреннем выплывании "Октября". Прежде – во всех определяющих, стратегических решениях я был одинок, теперь я приобрёл ещё один проверяющий взгляд, оспорщицу, но и постоянную советчицу, в моём же негнущемся духе и тоне. Очень это было радостно и дружно. Моей работе и моей борьбе Аля быстро отдалась – вся» /там же/.

Родители Елены Боннэр тоже подверглись тяжелым репрессиям: отец её был расстрелян, мать провела долгие годы в заключении и ссылке. Но и семья, и дружеский круг, в котором выросли, а потом жили дети (Елена Георгиевна и её брат), пропитаны были антипатией к Сталину и "сталинизму", а не к социализму и коммунизму как таковым. Эта среда очень долго, с мучительным внутренним сопротивлением освобождалась от первобольшевистского миропонимания. И освободилась от него, невзирая на репрессии и утраты, далеко не вся. Вхождение же А.Д. Сахарова в общественно-политическое сопротивление происходило именно через эти оппозиционные, но социалистические круги, а не через чудом выжившие остатки его собственного родительского слоя. Сравните с другим отрывком, тоже – о совместных впечатлениях и переживаниях на редкость слитной супружеской пары.

А.Д. Сахаров рассказывает о поездке с Е.Г. Боннэр в Армению в начале 1970-х годов:

«Люся познакомила меня с Арменией – её горами и камнями, общим неповторимым обликом, чем-то напоминающим библейский; архитектурой, скульптурными памятниками – старыми и новыми, среди них потрясающий памятник жертвам геноцида 1915 года. Люся говорила, что каждый раз, поехав в Армению, она вдруг ощущает себя "Геворк ахчик" – дочерью Геворка (и дочерью Армении – подразумевается).

...Люся показала мне исторический балкон, с которого её отец провозглашал советскую власть, и обратила внимание на скромное, глухое упоминание о нём на стенде в Музее истории. Встречались мы с одним из соратников её отца Каро Казаряном, он вспоминал об обороне от дашнаков на Семеновском перевале. Люся показала мне это место...» /"Воспоминания", стр. 508 – 509/.

Речь Геворка Алиханяна (Алиханова) с "исторического балкона" поставила точку в очередной попытке армянского народа обрести национальную независимость. Разгром дашнаков и их массовые казни – кровавый финал очередного акта этой всё ещё длящейся исторической драмы. Ни одним словом не переоценивают супруги Сахаровы в 1980-х годах (время написания книг Сахарова) своего отношения к революционным подвигам отца Елены Георгиевны. А ведь он покорял для Кремля родной народ, только-только добившийся независимости.

Попытаемся подвести итог: у Н.Д. Светловой – дед, у Е.Г. Боннэр – отец были большевиками и разделили судьбу множества коммунистов своего поколения. Но первая подростком начинает перепроверять казённую версию событий по первоисточникам и приходит к выводам, родственным позиции Солженицына. А вторая и в 1970-х – 80-х годах продолжает гордиться подвигами и популярностью отца на его родине. Естественно, что первая становится сподвижницей и сотрудницей Александра Солженицына, а вторая надолго разделяет с Андреем Сахаровым идею правового совершенствования социализма. Так что дело тут не в поколениях (Аля Светлова ближе по возрасту к детям Боннэр, чем к Солженицыну). И не в социальных ис-

тока: они близки у Сахарова и Солженицына и общие – у Е.Г. Боннэр и А.Д. Светловой. Дело в настрое ума и души, а возможно, и в степени пронизательности.

Вернёмся, однако, к нашему сюжету.

Что же говорит о тех же этапах своих взаимоотношений с Солженицыным Сахаров? Вот как передан разговор четы Сахаровых с женой Солженицына о желательной эмиграции детей Боннэр:

«После моего заявления о поправке Джексона Солженицын прислал, как он пишет, записку. В ней он писал о поправке Милза (примерно то же, что в "Телёнке") и просил зайти к его жене Наталье Светловой (к Але, как он её называет). Мы с Люсей выполнили его просьбу. Разговор проходил без Александра Исаевича. Аля сказала – как я могу поддерживать поправку Джексона и вообще придавать большое значение проблеме эмиграции, когда эмиграция – это бегство из страны, уход от ответственности, а в стране так много гораздо более важных, гораздо более массовых проблем. Она говорила, в частности, о том, что миллионы колхозников по существу являются крепостными, лишены права выйти из колхоза и уехать жить и работать в другое место. По поводу нашей озабоченности Аля сказала, что миллионы родителей в русском народе лишены возможности дать своим детям вообще какое-либо образование. Возмущённая дидактическим тоном обращённой ко мне "нотации" Натальи Светловой, Люся воскликнула:

– На...ть мне на русский народ! Вы ведь тоже манную кашу своим детям варите, а не всему русскому народу.

Люсины слова о русском народе в этом доме, быть может, звучали "кощунственно". Но по существу и эмоционально, она имела на них право. Всей своей жизнью Люся сама – "русский народ", и как-нибудь она с ним разберётся» /там же, стр. 553 – 554/.

Я бы сняла вокруг слова "кощунственно" кавычки: скорее всего оно правильно передаёт реакцию Н.Д. Солженицыной на реплику Е.Г. Боннэр.

Разве Н.Д. ("Аля, как он её называет") запрещает Е.Г. Боннэр (Люсе, как её называет А.Д.) в чём бы то ни было разбираться самой? Вовсе нет. Пылкая и целиком захваченная своей идеей, она просто ещё раз высказала все те мысли и чувства, которые, переполняя её душу, исключали эмиграцию для неё. У неё тоже были дети (четверо), и потому она вправе была судить. Она считала и их причастными русской и отцовской судьбе. Тон – следствие духовного темперамента. И, боюсь, в этом смысле полемистки стоили одна другой.

Н.Д., впрочем, и мужу высказывала своё неприятие эмиграции с такой же страстью. Если бы Н.Д. Солженицына видела в Е.Г. Боннэр и её детях людей, чуждых России, она не стала бы апеллировать к их патриотическому чувству. Она не повторила бы тех же доводов, которыми убеждала своего мужа отказаться от мысли об эмиграции и которые заставили её пренебречь безопасностью своих детей.

Мы процитировали выше воспоминания Солженицына о разговорах и эпизодах, описанных Сахаровым ниже. В интонациях Солженицына абсолютно нет той брутальности и двусмысленности, которая придана его словам в сахаровском пересказе. Более того: Сахаров почти прямо обвиняет Солженицына не в путанице, а во лжи. Это поразительно противоречит не только рассказу Солженицына о тех же событиях, – так бы тому и быть. Нет, это противоречит естеству самого Сахарова, как мы привыкли его себе представлять. Правозащитник Сахаров судит иначе мыслящего о его, Сахарова, шагах Солженицына не за то, что обвиняемый произнёс, а за то, что, по мнению, обвинителя, за этими его словами скрывалось. Или могло скрываться. Вот что Сахаров пишет об отрывке из "Телёнка", приведенном нами выше:

«В 1973 году мы ещё раз были в доме Солженицыных, это была наша последняя встреча с Александром Исаевичем перед его высылкой. Продолжаю цитаты.

'Первого декабря Сахаровы пришли к нам, как всегда вдвоём. Жена больна (у Люси действительно, был тогда, как я писал, пульс 120 из-за тиреотоксикоза – А.С.), измучена допросами и общей нервностью: "Меня (т.е. Люсю – А.С.) через две недели посадят, сын – кандидат в Потьму, зятя через месяц вышлют как тунядца, дочь без работы". "Но все-таки мы подумаем?" – возражает осторожно Сахаров. – "Нет, это думай ты." "Да я сразу бы и вернулся, мне бы только их (детей жены) отвезти. Я и не собираюсь уезжать." "Но вас не пустят назад, Андрей Дмитриевич!" "Как же могут меня не пустить, если я приеду прямо на границу!" (Искренне не понимает – как.)'

. . .

Таня не была без работы (у неё за два месяца до этого родился сын, и она была в декретном отпуске), зять тоже тогда работал (его выгнали после суда над Сергеем Ковалёвым в декабре 1975 года) и, следовательно, не был "тунядцем", а я не был столь наивен. Что касается того, что Алёша – "кандидат в Потьму", то, очевидно, это некоторое искаженное предомление Люсиного рассказа при этой или предыдущих встречах об Алёшиной реакции на нашу просьбу согласиться на поездку за рубеж – как я уже писал. Алёша тогда ответил, что он психологически больше готов к Мордони. Мне кажется, что Александр Исаевич не мог не запомнить этого рассказа, но, к сожалению, он написал нечто совсем иное» /там же, стр. 554 – 555; разрядка Сахарова/.

Всмотримся ещё раз в два текста – в то, что сказал Солженицын и что услышал Сахаров.

Солженицын:

«1 декабря Сахаровы пришли к нам, как всегда вдвоём. Жена – больна, измучена допросами, и общей нервностью: "Меня через две недели посадят, сын – кандидат в Потьму, зятя через месяц вышлют как тунеядца, дочь без работы".

– "Но всё-таки мы подумаем?" – возражает осторожно Сахаров.

– "Нет, это думай ты".

Мы сами ждали выхода "Архипелага" через месяц и с ним – судьбы, которую уже твёрдо приняли. Здесь. И к тому – убеждали их.

А.Д. краснея до темня от невыносимой проблемы, глубоко думает, ещё глубже теперь утанивает телом – в жестком кресле, головой между плеч. Можно поверить, что трудней – ещё не складывалось ему в жизни, изгнание из касты он перенёс весело. Заявления об отъезде он, оказывается, ещё не подавал, но **попросил характеристику** в своём академическом институте, как это принято по рядовым советским порядкам. Он! – в сентябре арбитр европейских правительств, победитель над самым страшным из них, теперь просит через нижайшее окошечко себе **характеристику** от злобно-пораженных!..

. . .

Уже сколько вреда от этой затеи, а внутри его и движенья такого нет – уехать. Мало того, что его не выпускают, – я думаю, он и сам в последнюю минуту дрогнет, визы не возьмёт. Уж мы стали с ним как будто не лицами, а географическими понятиями, что ли, так связались с нашей поверхностью, что как будто не подлежим физическому перемещению по ней, а только разве на три аршина вниз» /"Бодался телёнок с дубом", стр. 405 – 406; выд. Солженицыным/.

Сахаров:

«В этом отрывке Люся – истерическая дамочка, у которой "нервы". Сильно на неё не похоже. Я же – дрожащий перед ней "подкаблучник" и к тому же абсолютный дурак. На самом деле ни она, ни я не говорили тех слов, которые нам тут приписываются. ...Мне обидно, что Александр Исаевич, гонимый своей целью, своей сверхзадачей, так многого не понял, или верней – не захотел понять, во мне и моей позиции в целом, не только в вопросе об отъезде, но и в проблеме прав человека, и в Люсе, в её истинном образе и её роли в моей жизни.

В конце 1974 года один немецкий корреспондент (к сожалению, я не помню его фамилии) передал мне по поручению Александра Исаевича в подарок экземпляр "Телёнка" с тёплой и очень лестной дарственной надписью. Ещё до этого мне удалось прочесть книгу, взяв у одного друзей. Принимая подарок и прочитав при корреспонденте дарственную надпись, я не удержался и сказал:

– В этой книге Александр Исаевич сильно меня обидел.

Корреспондент усмехнулся и ответил:

- Да, конечно. Но он этого не понимает.» /"Воспоминания", стр. 554 - 555/.

Признаться, я - тоже.

Мне, как читателю, представляется, что характеристика, данная Сахарову Солженицыным, на самом деле и уважительна (временами - просто любовна) и близка к истине. При одной оговорке: ни при каких поворотах своих судеб Солженицын не смог бы стать Сахаровым, а Сахаров - Солженицыным.

Да, у них разный взгляд на выезд из страны. Да, признавая за теми, кто чужд (по избираемой им судьбе) этой стране, право на выезд, Солженицын не считает отстаивание этого права первостепенно важной задачей для остающихся. Прав он или не прав - другой вопрос. Но включить в нижеследующий текст реплику о "сионских мудрецах" - это Сахарова недостойно. Последний комментирует слова Солженицына так (реплики в скобках принадлежат А.Д. Сахарову):

«Мелодия эмиграции неизбежна в стране, где общественность всегда проигрывала все бои. За эту слабость нельзя упрекать никого, тем более не берусь и я, в предыдущей главе описав и свои колебания. Но бывают лица частные - и частные их решения. Бывают лица, занявшие слишком явную и значительную общественную позицию - у этих лиц решения могут быть частными лишь в "тихие" периоды, в период же напряженного общественного внимания они таких прав лишены. Этот закон и нарушил Андрей Дмитриевич, то выполнял его, то нарушал и обидней всего, что нарушал не по убеждениям своим (уйти от ответственности, пренебречь русской судьбой - такого движения не было в нём ни минуты) - нарушал, уступая воле близких, уступая чужим замыслам.

Давние многомесячные усилия Сахарова в поддержку эмиграции из СССР, именно эмиграции, едва ли не предпочтительней перед всеми остальными проблемами, были навязаны в значительной мере той же волей, тем же замыслом (Это уже что-то демоническое, почти протоколы сионских мудрецов! - А.С.). И такой же вывих, мало замеченный наблюдателями боя, а по сути сломивший наш бой, лишивший нас главного успеха, А.Д. допустил в середине сентября - через день-два после снятия глушения, когда мы почти по инерции катились вперед. Группа около 90 евреев написала письмо американскому Конгрессу с просьбой, как всегда, о своем: чтобы Конгресс не давал торгового благоприятствования СССР, пока не разрешен вопрос об еврейской эмиграции. Чужие этой стране (кого мне напоминает эта терминология? - А.С.) и желающие только вырваться, эти 90 могли и не думать об остальном ходе дел. Но для придания веса своему посланию они пришли к Сахарову и просили его от своего имени

подписать такой же текст отдельно ... по традиции и по наклону к этой проблеме Сахаров подписал им – через два-три дня после поправки Вильбора Милза! – не подумав, что ломает фронт, сдаёт уже занятые позиции, сужает поправку Милза до поправки Джексона, всеобщие права человека меняет на свободу одной лишь эмиграции. И Конгресс в о з в р а т и л с я к поправке Джексона. Если мы просим только об эмиграции – почему же американскому сенату надо заботиться о большем?.. Меня обожгло. 16.9 из загорода я написал А.Д. об этом письме...» /там же, стр. 551 – 553; разрядка Сахарова/.

Почему-то все критики отношения Солженицына к **"поправке Джексона"** (требование свободы эмиграции) упускают из виду, что **"поправка Милза"** (требование всей полноты гражданских прав) автоматически включает в себя и **"поправку Джексона"**. Последней легче было добиться? Допустим. Но зато альтернативная была несравнимо шире и касалась куда большего числа граждан. Точнее – всех, а не только желающих эмигрировать. Легко понять, что Солженицын считает борьбу "за Джексона против Милза" серьёзной политической ошибкой. Для этого незачем прибегать к намёкам на его (мнимый) антисемитизм.

Вернёмся, к **"чужим замыслам"**. Эти слова бессмысленны по отношению к жене. Но естественней ли предположить, что **"чужие замыслы"** противопоставляются здесь Солженицыным **"воле близких"**, а не отождествляются с нею? **"Чужие"** – это те, кто хотели (одно время: потом раздумали) вытолкнуть Сахарова из страны. Вытолкнуть, чтобы принизить его значение, приглушить его голос. Из-за границы немного и не до многих тогда внутри СССР доходило. **"Воля близких"** направлена на избавление от невзгод детей и на выведение из-под удара Сахарова как дорогого человека. И Солженицын не может этого не понимать. Нервозность Е.Г. описана им без всякого осуждения и иронии: оснований для нервного перенапряжения имелось более, чем достаточно. А потом **"чужие"** нашли лучший для себя выход: выдворить не Сахарова, а Солженицына.

"Кого напоминает эта терминология" (**"чужие этой стране"**)? Вырванное из контекста, словосочетание это может напоминать кого и что угодно. Одиноких эмигрантов или любого оттенка ксенофобов. Оно может быть сочувственной характеристикой или пунктом обвинительного приговора. Солженицын же совершенно отчётливо говорит в этих словах о евреях, борющихся за выезд из СССР и уже не занятых его проблемами. Возможно, в его словах есть призыв обиды: уезжаете – уезжайте, значит – чужие; родные остаются. Но антисемитизмом здесь и не пахнет. А Сахаров намекает именно на него. Обида затмила взгляд, притупила вкус. На какой-то миг Сахаров подключился к желчному хору, неумоимо (в своей неприязни к Солженицыну) фальшивящему. Хотя сам Сахаров не фальшивит: он сердится. Как Юпитер, когда он неправ.

К слову сказать: с годами у четы Сахаровых взгляды на эмиграцию несколько изменились. Уже по возвращении из ссылки Сахаровы встретились с Николасом Беттеллом. И вот какой состоялся у них разговор:

«Н. Б. Знаете ли вы, в каких условиях погиб Марченко?»

А. С. Я думаю, что с ним произошло то же самое, что со многими другими. Самое высокое начальство дало пару месяцев назад указание его освободить, но начальство на уровне пониже и ГБ хотели напоследок его сломать или хотя бы сломать Ларису Богораз. Вместо того, чтобы сразу его выпустить, и тогда он остался бы жив, от Ларисы требовали каких-то заявлений, что она готова вместе с Марченко уехать в Израиль. А ведь Марченко уже 15 лет назад предложили уехать в Израиль по родственному вызову, и, когда он отказался, его арестовали и посадили. Через несколько дней после смерти Марченко мы с Люсей в Горьком смотрели по телевизору пьесу о декабристе Лунине. Там Лунину сообщают о его смертном приговоре, и перед ним, в камере мысленно проходит вся его жизнь. И авторский голос за сценой говорит: "Хозяин раба всегда убежден, что раб готов убежать. Но иногда находится человек, который не убегает". Речь идёт о конкретных обстоятельствах биографии Лунина. Так вот, Марченко – это Лунин наших дней»

/Интервью с акад. А. Д. Сахаровым. – "Континент" N 52, стр. 434. Париж. – 1987/.

Чем отличается позиция Лунина (и Марченко) от позиции Н. Д., а затем и А. И. Солженицыных? И Сахаровы (муж и жена) теперь восхищаются этой позицией, а не осуждают её. Предпочтительно вообще никому не предписывать: эмиграция – настолько же личный шаг, как женитьба. Чете Солженицыных пришлось убедиться в этом на своих сыновьях: Россия не осталась их единственно мыслимым домом, на что родители так надеялись.

Защиты Сахаровым его "Размышлений" от критики Солженицына я приводить не буду, чтобы не повторяться. На мой взгляд, он замечаний Солженицына не опроверг. Замечу лишь следующее: сколько бы ни было прилизительности и неточностей в этих "Размышлениях", они стали причиной не меньшего исторического сдвига в сознании образованного слоя советского общества, чем "Один день Ивана Денисовича" – в сознании всех читающих советских людей. Сохраняя исходную социалистическую фразеологию, привычную для большинства своих читателей, Сахаров предлагал и отстаивал модель общества, по сути своей, демократического. И он, и Солженицын представили свои соображения для начала "вождям" по одной и той же причине: своевременная и постепенная (по не медлящая) трансформация сверху в конце 1960-х – начале 1970-х годов теоретически была ещё возможной. Она могла бы предупредить потрясения, чрезвычайно болезненные, о которых, кстати, Солженицын предупреждал многократно. Целенаправленная (к правовому либеральному строю) авторитарность – таким был идеал Солженицына. Этот строй оптимален, когда есть сила, способная осуществить переход, и утопичен, когда такой силы нет.

Сахаров тоже апеллировал к "вождям". И апеллировал с моделью, по сути своей, тоже эволюционного и управляемого, то есть авторитарного,

перехода. Но его модель (1969 года) излагалась, повторим, во фразеологии, парадоксально сохраняющей социалистические словесные штампы и фикции. Эта фразеология была близка и понятна западной и советской фрондирующей интеллигенции. И потому Сахаров становится кумиром и той, и другой. Кроме того, правозащитное подвижничество – у всех на виду. А труд писателя и историка над многотомным эпосом – работа келейная, хотя и связана с отысканием уникальнейших документов, свидетельств и книг. Хотя и задействованы в ней десятки друзей-невидимок. Хотя и смертельно опасна и рискует оказаться отобранной и загубленной.

Солженицын первые лет десять жизни на Западе, когда ещё ездил и давал интервью, призывал демократию прекратить отступление перед коммунизмом, не уступать коммунистам ни пяди – ни территориально, ни духовно, ни политически. Он убеждал Запад не помогать СССР и всему "соцлагерю" выпутываться из их нарастающих затруднений. Он звал защищать пограничные зоны демократии всеми силами. В частности, Израиль, Южную Корею, Южный Вьетнам. Сахаров же выступал против американского проекта СОИ и считал своим долгом всегда сохранять советские государственные тайны (правда, достаточно устаревшие).

Но стереотипное клише Сахарова – гражданин мира, космополит, интернационалист.

Стереотипное клише Солженицына – русский великодержавный националист и ксенофоб. Иногда даже империалист, хотя одновременно и ярый изоляционист. Не странно ли?

Загадка: сами собой возникали эти клише или умело сеялись и подпитывались?

И тогда: высылка Солженицына в комфорт Зарубежья (когда все ждали в лучшем случае тюремного срока) и жестокая, громкая травля Сахарова и его жены в Горьком – не рассчитанные ли ходы ЦКГБ? Чету Сахаровых (вместо того, чтобы "выдавить" навсегда за рубеж) терзают – то на грани гибели, то чуть приотпуская, приковывают к ним внимание всего человечества. А Солженицыну (ославленному реакционером, антисемитом, домашним тираном, бездарью, чуть ли не рабовладельцем – кем его только не успели ославить) предназначено было, как сказал он сам, "раствориться в иноземном тумане".

Причём на родине о Солженицыне в годы изгнания говорилось мало, и "голоса" о нём вешали нечасто. Эмигрантская пресса была доступна в СССР немногим. Да и она, в большинстве своём, "пккачивала" вышеупомянутый ложный стереотип. А о Сахарове "голоса" оповещали изо дня в день, и вся мировая либеральная медиа за него боролась. Как – до высылки – и за Солженицына.

Если замысел, о котором я говорю, существовал, то он провалился. Привыкший брат не мытьём, так катаньем, ЦКГБ надеялся и явлениями такого масштаба без особых потерь управить. Но эта зловещая аббревиатура просчиталась: у Солженицына не отняли его пера, у Сахарова – его голоса.

* * *

В Горьком Сахарова посадили, как представлялось властям тогдашнего СССР, в стеклянный ящик, а потом туда же заперли и его жену, чтобы прервать все их **неконтролируемые** связи. Но, по невежеству, переоценили свои возможности, недоучли непредсказуемости человеческих шагов: **всего** взять под контроль **нельзя**. Город – все-таки Сахаров не одиночная камера (даже в тюрьме, в одиночке, порой возникают отдушины – этого не забудешь). А кроме того, они не представляли себе силы сострадания и любви Сахарова к жене. Когда она заболела и оказалась в смертельной опасности, он поставил на карту и свою жизнь.

Оперировать Елену Георгиевну в советской больнице означало бы наверняка её убить. Они не упустили бы такого случая, тем более, что состояние её сердца было катастрофическим.

В бой включился весь мир. То ли у тюремщиков не было плана её убивать, то ли боялись скандала, но они дрогнули. Е. Г. Боннэр отпустили лечиться.

Тогда другого пути не было.

Но столь же крайняя мера (голодовка) ради эмиграции Лизы Алексеевой (будущей второй жены Алексея Семёнова, сына Е. Г. от первого брака) представляется, мягко говоря, неоправданной. Не только потому, что эта голодовка подорвала физические и творческие силы Сахарова невосполнимо: есть чувства сильнее страха за собственную жизнь и выше творческого инстинкта. Чуть раньше мы говорили о таком чувстве. Тогда речь действительно шла о спасении жизни, о предупреждении двойного убийства: Елены Боннэр и тем самым – Андрея Сахарова. Что же касается Алексея и Лизы, рискну заметить (по своему достаточно горькому опыту и по чужому – также), что расставания молодых и здоровых людей обычно всё-таки не смертоносны. Ромео и Джульетта были детьми, и детьми не нашего времени. Война и ГУЛаг принесли моему ближайшему окружению и всему поколению, тогда – молодому, столько непоправимых разлук и потерь, а многие ли из них оказались убийственными? Я знаю лишь несколько, – для матерей, потерявших единственное дитя.

Сахаров пишет, что этой своей голодовкой он протестовал против запретов на эмиграцию **как таковых**. В таком случае в качестве объекта защиты выбирают чужих людей, а не родственников. Тогда протест выглядит убедительней.

В случае с лечением и операцией жены жизнь ставилась на карту за жизнь, причём речь шла о жизнях неразделимых.

В случае с Лизой это было и слишком дорого (необратимые потери здоровья старших), и, позволю себе сказать, в какой-то степени чрезмерно. Тысячи людей боролись за выезд и воссоединение семей годами, собственными силами и более шадящими средствами, чем смертельная голодовка родителей. Хирургию не применяют там, где вполне достаточно пусть длительной и тяжелой, но терапии. И еще одно: были в ту пору в советской жизни поводы для крайних форм протеста и более важные, и менее личные. Вспомним хотя бы об Анатолии Марченко.

Передаю слово С. А. Тиктину:

Сахаров и СОИ

Сахаров своим вкладом в разработку термоядерного оружия сделал немало для того, чтобы противоракетная оборона стала важнейшей проблемой для всего мира.

Отметим для начала, что эта проблема как в США, так и в СССР возникла не на пустом месте и начала разрабатываться задолго до начала выступлений Сахарова против программы разработки СОИ (Стратегической оборонительной инициативы – с элементами космического базирования), объявленной США.

Еще во время второй мировой войны силы английской ПВО сбивали с курса немецкие баллистические ракеты V-2, посылая им сигналы на выключение двигателя на пару секунд раньше немцев. Ракеты падали, не долетая до Лондона. Естественно, что после запуска первого советского спутника США интенсифицировали свои работы по противоракетной обороне.

В 1959 году США предприняли первую неудачную попытку сбить один из своих небольших тогдашних спутников ракетой, запущенной с самолёта. Последующие попытки такого рода долгое время тоже оказывались безуспешными. В 1970 году в СССР впервые был сбит спутник мощной ракетой, запущенной с земли. В начале 1970-х г. силы советской ПВО "ослепили" с земли лучом лазера американский спутник-разведчик. Но последующие попытки "ослепить" спутники лазерными лучами оказались безуспешными благодаря соответствующей защите их оптических систем. Потом произошел "обмен любезностями": у обеих сторон взорвались (?) над наблюдаемой чужой территорией по тяжелому спутнику-разведчику весом около 20 тонн каждый.

Так что соревнование между США и СССР в разработке ракет и спутников для систем противоракетной обороны началось задолго до выступления президента Рейгана 23 марта 1983 года по поводу программы СОИ и стало неизбежным и продолжительным процессом. В принципе это его заявление ничего не меняло. Разработка СОИ, как бы её ни называли, стала естественным и закономерным продолжением этого соревнования, новым витком его спирали.

О советских разработках ракетно-космических средств доставки ядерного оружия к целям известно пока меньше, чем о разработках самого этого оружия. Ещё в начале 1960-х годов Хрущёв объявил, что СССР имеет "глобальные" ракеты, т.е. способные поражать цели на территории США через южное полушарие. Советский генералитет был очень недоволен этим разглашением важнейшей тайны первым лицом в государстве, но Хрущёв считал тогда эту угрозу необходимой. Через некоторое время появилось сообщение о советских "орбитальных ракетах", способных нанести удар с любой стороны. Сейчас появилась кое-какая конкретная информация. Вот что пишет в статье "Зато мы делаем ракеты (как создавались советские космодромы)" живущий ныне в Израиле д-р Д. Метревели, бывший работник космодрома Байконур (вернее Тюр-Атам), в действительности расположенного в более, чем в 350 километрах к юго-западу от городка Байконур:

«В 1967 году с космодрома Байконур впервые была запущена станция с ядерными боезарядами на борту. Эта станция была предназначена для нанесения удара из космоса по крупным городам и объектам США. Её запуск был осуществлён с помощью модернизированного варианта баллистической ракеты РЗ6 (SS9).^{*} Запуски таких смертоносных объектов с Байконура продолжались до 1971 года. Отсюда же производились запуски ракет и космических объектов по программе "противоспутниковых систем". Первой из таких систем была система "Полёт", разработанная в ОКБ Челомея и запускаемая на орбиты в 1963-1964 гг. с помощью модернизированной ракеты Р-7. К 1965 году также в ОКБ Челомея была разработана новая "противоспутниковая" система, которая тоже запускалась с Байконура при помощи баллистической ракеты РЗ6 конструкции М.К. Янгеля» /ж-л "Альтернатива" N 39. Израиль. 12. I. 1995/.

Так что подготовку к "звёздным войнам" СССР начал задолго до появления в прессе этого пропагандистского термина.

Заметим, что эти запуски были произведены до заключения в 1972 году "Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО)", согласно которому стороны отказывались от запуска на орбиты ядерного оружия. Как бы реагировал Сахаров 1970-х - 1980-х гг. на СОИ, если бы знал этот секрет? Слышал ли он об этом что-либо или нет? Последнего мы, наверное, никогда не узнаем.

Нет оснований предполагать, что разработчики этих космических бомб и выведших их на орбиты ракет относились к своей работе менее ответственно, чем в своё время Сахаров - к разработке их будущих термоядерных зарядов.

С 1968 года начались регулярные испытания советских противоракет /М. Штейнберг. *Метаморфозы программы звёздных войн. "Новое Русское Слово" 13. X. 1995/*. В 1982 году советские противоракеты одновременно поразили семь различных космических мишеней. После этого, в 1983 году президент США Р. Рейган и объявил о программе СОИ.

Касаясь 1960-х годов, Сахаров пишет в своих "Воспоминаниях":

«...несмотря на высокий гриф моей секретности, ещё больше всё же не попадало в мой круг...

...Но и того, что пришлось узнать, было более, чем достаточно, чтобы с особенной остротой почувствовать весь ужас и реальность большой термоядерной войны. На страницах отчётов, на совещаниях, ...на схемах и картах немислимое и чудовищное становилось предметом детального рассмотрения, и расчётов, становилось бытом - пока ещё воображаемым...» /"Воспоминания", стр. 352, 353; выд. Сахаровым/.

^{*} SS в американской терминологии означает "Земля - Земля" ("Soil - Soil")

Странно, что он не почувствовал этого ужаса раньше, во время столь ярко описанных им испытаний /там же, стр. 231 – 232 и 253 – 254/ и разговоров с такими субъектами, как Берия, Завенягин, Неделин, Славский и т. п.? Как было не подумать о том, что люди вправе искать и должны найти и технические способы защиты от этого апокалипсиса?

21 августа 1973 года Сахаров сказал на состоявшейся у него на квартире первой пресс-конференции по поводу так называемой "разрядки":

«Запад должен избегать действий, которые привели бы к получению СССР военного превосходства» /там же, стр. 529/.

По всей видимости, это относилось к любым областям, в том числе и к космосу. Начавшаяся после его интервью шведскому корреспонденту Улле Стенхольму от 4 июля 1973 года газетная травля, после этой конференции стала оголтелой – совершенно такой же, как травля Солженицына, а до того – Пастернака.

Через десять лет Сахарову удалось передать из горьковской ссылки письмо американскому профессору, физику С. Дреллу об опасностях, связанных с ядерной войной. Сахаров пишет там, в частности:

«Мы можем представить себе, что потенциальный агрессор, именно в силу того факта, что всеобщая термоядерная война является всеобщим самоубийством, может рассчитывать на недостаток решимости подвергшейся нападению стороны пойти на это самоубийство, т. е. может рассчитывать на капитуляцию жертвы ради того, что ещё можно спасти» /там же, стр. 914/.

И далее:

«...не следует... исходить из предполагаемого особого миролюбия социалистических стран только в силу их якобы прогрессивности или в силу пережитых ими ужасов и потерь войны. ...просоветская пропаганда в странах Запада ведётся давно, очень целенаправленно и умно, с проникновением просоветских элементов во многие ключевые узлы, в особенности в масс-медиа. Насколько трудно вести переговоры по разоружению, имея "слабину", показывает история с "евроракетами"...* ...очень важно добиваться уничтожения мощных ракет шахтного базирования. Пока СССР является в этой области лидером, очень мало шансов, что он от этого откажется. Если для изменения положения надо затратить несколько миллиардов долларов на ракеты МХ**, – может придётся Западу это сделать» /там же, стр. 915 – 916/

* Речь идет о советских ракетах среднего радиуса действия SS-20, установленных в начале 1980-х гг. в странах Варшавского пакта и американских ракетах "Першинг", установленных в ответ в странах НАТО /прим С Т/

** Межконтинентальные ракеты нового (тогда) поколения с разделяющимися боеголовками /прим С Т./

Противоракетной обороны и связанных с ней проблем Сахаров здесь почти не касается. Лишь замечает:

«В литературе много пишут о возможности разработки систем ПРО, использующих сверхмощные лазеры, пучки ускоренных частиц (? – С.Т.) и т.п. Но создание па этих путях эффективной защиты от ракет кажется мне очень сомнительным...» /там же, стр. 915/.

Как следует из контекста письма, под потенциальным агрессором понимается СССР. Не удивительно, что это письмо, опубликованное западной прессой, вызвало новую злобную антисахаровскую кампанию в Советском Союзе, к этому времени уже развязавшем агрессивную войну в Афганистане.

Следует обратить внимание па то, как разместили к этому времени разрешенные вышеуказанным договором средства противоракетной обороны СССР и США.

Власти СССР знали, что США первыми большую термоядерную войну не начнут, и сконцентрировали средства противоракетной обороны вокруг Москвы и, возможно, некоторых других важных центров для их защиты от ответного удара. Власти США сосредоточили средства противоракетной обороны на защите своих ракетных баз, чтобы обеспечить нанесение ответного удара в случае советского ракетного нападения – и тем самым удержать СССР от такового.

В 1979 году было создано кольцо противоракетной обороны вокруг Москвы. В США была разработана система ПРО "Патриот", предназначенная для осколочного поражения ракет противника па подходе к цели – позициям баллистических ракет. Во время войны в Персидском заливе эта система получила боевое крещение в борьбе с иракскими ракетами небольшой дальности "Скад" советского производства.

выведенный незадолго до начала войны на геостационарную орбиту американский спутник регистрировал – на фоне бомбардировок и ракетных обстрелов – запуски иракских ракет и определял направление их полёта (чем не элемент СОИ?), о чем в течение нескольких секунд оповещались службы ПРО США в Саудовской Аравии и Израиле. Тем не менее успех был далеко не 100%-м, чего для защиты от ядерного удара недостаточно.

Крупные ракеты с боеголовками осколочного действия, способы наведения которых не рассчитаны на прямое соударение с целью, не обуславливают на 100% её поражения. Против массовой атаки ракетами с разделяющимися ядерными боеголовками они в принципе малоэффективны ещё и потому, что их невозможно производить и запускать в количествах, хотя бы на порядок превышающих количество настоящих и ложных боеголовок атакующей стороны. Для этого требовалась **принципиально иная** техника, обеспечивающая прицельное непосредственное поражение каждого объекта.

Судя по мемуарам, Сахаров никогда вплотную не занимался проблемами космической техники – посещения предприятий ракетно-космического комплекса /"Воспоминания", стр. 234/ не в счет. Правда, в последние годы его пребывания на объекте – как раз тогда, когда СССР начал орбитальные

запуски ядерных зарядов и противоспутникового оружия, - ему пришлось участвовать в (по-видимому, строго закрытых) горячих обсуждениях, связанных с "исследованием операций". Именно тогда он (и большинство не названных им коллег) пришли к выводам о бесперспективности разработки системы противоракетной обороны с элементами космического базирования (типа СОИ). Выводы эти, как он считает, сохранили своё значение и ко времени написания мемуаров /там же, стр. 352/.

Но то, что Сахаров, вернувшись из горьковской ссылки, решительно выступил против СОИ на состоявшемся в Москве 14 - 16 февраля 1987 года "Форуме за безъядерный мир, за международную безопасность", было весьма неожиданным и загадочным. Правда, незадолго до своего возвращения он затронул этот вопрос (точнее - вопрос о "пакете", т.е. о связывании сокращения ракетно-ядерных вооружений с прекращением разработок новых средств защиты от них) в беседе с приехавшим к нему тогдашним президентом АН СССР Г.И. Марчуком. /А.Д. Сахаров, "Горький, Москва, далее везде", стр. 31/. Сахаров сам характеризует вышеупомянутый Форум как "широко организованное пропагандистское мероприятие" /там же, стр. 48/. Более того, одним из "дирижеров" Форума был вице-президент АН СССР Е.П. Велихов - тот самый Велихов, который незадолго до этого "не лез за словом в карман", рассказывая всякие небылицы о полном благополучии Сахарова в горьковской ссылке. Так, в разговоре с одним из иностранных друзей Сахарова, он установил некий рекорд в этом жанре, сославшись на сведения, полученные от первой жены Сахарова, Клавдии, якобы живущей в одном доме с Велиховым. И это при том, что Клавдия умерла ещё в 1969 году, а Велихов жил в отдельном коттедже на одну семью /там же, стр. 49/. В начале января 1987 года Велихов приходит к Сахарову в дом в качестве "няньки" итальянского физика Зикики, "которого он не мог пустить к нему одного" /там же/. И Сахаров не выставляет Велихова воп, как когда-то клеветника Н.Н. Яковлева /"Воспоминания", стр. 855/, а сидит с ним за бутылкой принесённого тем вина и слушает его почтительные речи.

Потом он расскажет на Форуме о том, что мощные ракеты "земля - земля" шахтного базирования, в особенности с разделяющимися боеголовками точного индивидуального наведения, могут быть успешно применены для разрушения стартовых позиций ракет противника. И по той же причине они могут быть легко уничтожены на земле аналогичными ракетами противника, запущенными раньше. При этом одна такая ракета может разрушить несколько пусковых шахт. Таким образом, возникает соблазн нанесения ракетно-ядерного удара первым. Сторона, опирающаяся, в основном, на шахтные ракеты, может, по словам Сахарова, оказаться **вынужденной** в критической ситуации к нанесению первого удара. Поэтому шахтные ракеты, и вообще ракеты с уязвимыми стартовыми позициями, являются, по его мнению, важнейшим фактором военно-стратегической нестабильности, а развитие средств противоракетной обороны может только увеличить уровень этой нестабильности /там же, стр. 53 - 54/.

Основные аргументы Сахарова против СОИ заключаются в следующем:

«Эффективная противоракетная оборона (ПРО) невозможна, если противник обладает сравнимым военно-техническим и военно-экономическим потенциалом. Всегда с затратой гораздо меньших средств противник может найти такие способы преодоления ПРО, которые сведут на нет её наличие» /"Воспоминания", стр. 352; выд. С.Т./.

. . .

«...система СОИ не эффективна. Объекты СОИ, размещённые в космосе, могут быть выведены из строя ещё на неядерной стадии войны, и особенно в момент перехода к ядерной стадии с помощью противоспутникового оружия, космических мин и других средств» /"Горький, Москва, далее везде", стр. 55 - 56/.

А что такое "космические мины"? Ведь это не что иное, как спутники, способные тем или иным образом уничтожать находящиеся на орбитах объекты СОИ. Тем самым Сахаров как бы признаёт возможность подобных разработок в СССР - несмотря на "непомерную стоимость работ по СОИ" и на то, что "сторонники СОИ в США, возможно, рассчитывают с помощью усиления гонки вооружений, связанной с СОИ, экономически измотать и развалить СССР" /там же, стр. 56/.

При этом Сахаров утверждает, что

«нет никаких шансов, что гонка вооружений может истощить советские материальные и интеллектуальные ресурсы и СССР политически и экономически развалится - весь исторический опыт свидетельствует об обратном» /там же, стр. 53; выд. Д.Ш./.

Заметьте: это писалось им во время "перестройки", когда "застой" уже явственно переходил в спад, а признаки надвигающегося распада СССР проявлялись достаточно отчётливо. А ведь Сахаров задолго до того был знаком с нелегальными самиздатскими работами, предсказывавшими неминуемый крах советской системы и объяснявшими его причины. Последнее видно из упомянутого выше его интервью шведскому корреспонденту Улле Стенхольму (1973), где он характеризует советский социализм как "предельную форму" капитализма, в котором "государство выступает в роли монопольного хозяина всей экономики" /"Воспоминания", стр. 869 - 870/. Да и сам он ещё в 1968 - 69 гг. констатировал отставание СССР от США и других развитых стран Запада.

Почему же тогда более, чем за четверть века, изобиловавшую глобальными политическими конфликтами и кризисами, так и не разразилась термоядерная война? Что США развязывать её не хотели - даже с минимальным риском - понятно. А СССР?

На это имеются, может быть, даже более ста двадцати причин. Но достаточно и одной: когда СССР начал широкое развёртывание ракет шахтного базирования, США уже имели достаточно баллистических ракет с подвижным и мало уязвимым стартом, в том числе - на подводных и воздушных

ракетоносцах, а потом и крылатых ракет различного базирования. Тем самым они в любом случае не теряли способности нанести уничтожительный ответный удар того же масштаба по СССР.

Почему Сахаров игнорирует этот важнейший фактор – не ясно. Но военные деятели бывшего СССР его, как мы видим, не проигнорировали.

Не так давно появились сообщения о том, что разведка США получала на протяжении продолжительного времени из СССР от своих агентов – полковника О. Пеньковского, генерала Д. Полякова (оба они были впоследствии расстреляны) и других – достоверные сведения о том, что подавляющее большинство советских военных руководителей **не надеялись** на возможность победы в ядерной войне и боялись её **не меньше**, чем американские /см., к примеру, статьи Б. Хургина "Шпион-идеалист и шпион-предатель" и А. Гранта "Так кто же раскачал лодку", гл. 5, помещённые в "Новом Русском Слове" соответственно 12.VIII.1994 и 3.I.1995/.

Так могли ли советские руководители при этих обстоятельствах поспешить начать ядерную войну только из-за того, что в США начали разработку новых средств противоракетной обороны, которые когда ещё появятся? Другое дело, что когда там наметился успех, они постарались с помощью пропаганды и агентуры влияния притормозить их разработку в США (как в своё время – термоядерного оружия) и одновременно форсировать аналогичные разработки у себя. Насколько возможно.

Но, если СОИ в принципе так легко преодолима, так мало эффективна – как для отражения "первого удара", так и "удара возмездия", – то как она вообще может сказываться на балансе стратегического равновесия, или затруднять переговоры о разоружении, или вообще как-то влиять на что-то? А если стоимость её при этом так непомерна, то зачем было Советскому Союзу вообще тягаться с США в этой столь дорогостоящей и притом бесполезной и бесперспективной области?

И почему тогда США, пусть и через пень-колоду, но продолжают разработку СОИ, а СССР прикладывает столько усилий, чтобы им в этом помешать? Почему советское руководство, имеющее высоко квалифицированных экспертов и разведку, не худшую, чем в 1940-е – 1960-е годы, так заинтересовано в прекращении этих разработок? Настолько, что готово в обмен пойти на ряд серьёзных уступок в вопросах о ядерном разоружении /"Горький, Москва, далее везде", стр. 31, 50/? Ему ли жалеть деньги американского налогоплательщика?

Неужели Сахаров не видит всех этих парадоксов и противоречий?

При этом он делает важную оговорку, что

«...в настоящее время ни одна сторона не может отказаться от поисковых работ в области СОИ, поскольку нельзя исключить возможности неожиданных успехов...» /там же, стр. 56/.

С чьей стороны?

Почти за двадцать лет до этого "Форума", в 1968 году, Сахаров отметил в одном из вариантов "Размышлений о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе", что "в производстве средств ав-

томатики, вычислительных машин... и в особенности, в научных, научно-технических и научно-технологических исследованиях мы имеем не только отставание, но и меньшие темпы роста..."

Так можно ли советский военно-технический потенциал 1980-х годов (об экономическом и говорить нечего) рассматривать как равный американскому? И есть ли в таком случае основания экстраполировать выводы, полученные из "исследования операций" середины 1960-х годов, на 1980-е?

В начале 1960-х гг. США, оправившись от шока, вызванного неожиданным советским прорывом в космос, запустили своих первых космонавтов на круговые орбиты у самой границы околоземного космоса, проходящей на высоте примерно 150 километров над Землёй. Такие запуски требовали весьма высокой точности, ибо даже очень малое отклонение орбиты космического корабля от расчётной приведёт к его входу в атмосферу на первом же витке... В 1966 году американские астронавты осуществили первую стыковку двухместного космического корабля "Джеминал" с беспилотной "летающей бензоколонкой" - ракетой "Агента" и, используя находившееся в ней топливо, совершали маневры, изменяя орбиту своего корабля. СССР осуществил первую стыковку космических кораблей только через три года, когда американские астронавты уже осваивали полёты на Луну. А предпринятые в те же годы советские попытки создать ракету для пилотируемых полётов на Луну полностью провалились. Во второй половине 1970-х годов США начали серию запусков беспилотных космических станций к большим планетам с облётом их по гиперболам, используя поле тяготения этих планет для изменения траектории станции. Такой "космический бильярд" позволяет направлять станции к другим дальним планетам либо в сторону Солнца, а также выводить их за пределы эклиптики. Некоторые полёты производились с двукратными облётами и поворотами. Подобные манёвры почти не нужны в затратах энергии, но требуют величайшей точности управления. Следует отметить, что СССР подобных экспериментов не производил. А чрезвычайно дорогостоящая разработка космического "челнока" многократного использования "Буран" так и не была завершена.

И потому не удивительно, что в 1983 году США сбили небольшой двухступенчатой ракетой, запущенной с истребителя-бомбардировщика F-15, свой отработавший спутник "Solwind". По всей видимости - прямым попаданием. Это был неожиданный (и вместе с тем предсказуемый) успех, в корне меняющий ситуацию с перспективами СОИ.

Другое направление разработок СОИ - лазерное оружие. Идея прожигающего, поджигающего, сжигающего луча как оружия занимает воображение человечества, по меньшей мере, со времён Архимеда и вплоть до наших дней. Вспомним, к примеру, роман Г. Уэллса "Война миров" или А. Толстого "Гиперболоид инженера Гарина". Конечно, прожечь оболочку летящей ракеты - это совсем не то, что ослепить живой или электронный глаз. Но, судя по недавним сообщениям, США уже тогда разработали использующий энергию горения химический лазер мощностью в тысячи киловатт, способный работать в космосе...

Между тем, борьба с ракетами, несущими по несколько боеголовок, обещает наибольший успех при их поражении еще над территорией противника

в первую минуту после запуска прямым попаданием небольшого снаряда или мощным лазерным лучом. Как же тут обойтись без элементов космического базирования? Но всё это уже качественно новый технический уровень (не чета уровню середины 1960-х годов), до которого во второй половине 1980-х годов Советскому Союзу было весьма далеко. Более того, СССР был экономически уже не в силах его достигнуть.

Таким образом, США имели технологический "задел" и экономическое преимущество, обеспечивающие на продолжительное время возможность опережать СССР в разработке средств противоракетной и противокосмической обороны с элементами и наземного, и космического базирования. Поэтому руководители Советского Союза, одновременно с форсированными разработками своих средств подобного рода, предприняли ряд дипломатических и пропагандистских шагов, направленных на дискредитацию и торможение разработок СОИ в США. Как в конце 1940-х годов - на торможение американских разработок термоядерного оружия; как сейчас (1997 год) российское руководство пытается притормозить американские разработки высокоскоростных противоракет.

Нижеследующий документ свидетельствует о том, насколько необходимой оказалась для горбачёвского ЦК КПСС поддержка опальным Сахаровым советской борьбы против СОИ.

В совет войдёт, а выезжать не будет...

Совершенно секретно
Экз. единственный
(Рабочая запись)

ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС

12 ноября 1987 года

Председательствовал тов. ГОРБАЧЁВ М.С.

Присутствовали т.т. Громько А.А., Зайков Л.Н., Лигачёв Е.К., Никонов В.П., Ръжков Н.И., Чебриков В.М., Шеварднадзе Э.А., Яковлев А.Н., Демичев П.Н., Долгих В.И., Соловьёв В.Ф., Язов Д.Т., Бирюкова А.П., Добрынин А.Ф., Лукьянов А.И., Медведев В.А., Разумовский Г.П., Капитонов И.В.

(...)

ГОРБАЧЁВ. По решению форума «За безъядерный мир и выживание человечества» инициативная международная группа выдвинула идею создания Фонда "За выживание и развитие человечества". Мы поддержали. Проходил такой документ.

Теперь этот Фонд получил поддержку ведущих фондов США - Карнеги, Мак-Артура, семьи Рокфеллеров. Взнос делает Хаммер. Подготовлены проекты для утверждения Совета директоров в составе 17 человек, представляющих: 5 - СССР, 5 - США и 7 - остальной мир. Завершаются переговоры с кандидатами в Совет.

Предлагаемые члены Совета от СССР - академик Лихачёв, академик Заславская, академик Велихов, митрополит Питирим и пятый

кандидат обсуждается – это Сахаров.

Опыт участия Сахарова па встрече ученых СССР и США по вопросам контроля над вооружением показал, что в целом он поддерживает линию СССР.

Срок пребывания в Совете три года. Трудности могут возникнуть в связи с необходимостью за этот срок выехать на встречу за рубеж – США или Швецию. Однако они не специфичны для Фонда. В крайнем случае он может не выезжать, так как штаб-квартира будет располагаться в Москве.

Либерально настроенные западные учёные говорят, что участие в этом Фонде Сахарова усилило бы их позиции. Но вопрос упирается в выезд за рубеж.

ЧЕБРИКОВ. Всё связано с выездом.

ГОРБАЧЁВ. Он, кстати, с пониманием относится к этому, спокойно реагирует. Ему известно, что время ещё не пришло.

Тут надо так сказать: смотрите, подходит или не подходит. Возражений нет, включайте, но исходите из того, что у него есть ограничения на выезд. И это распространяется на мероприятия. И по линии Академии пауk сколько симпозиумов происходит, но мы его не пускаем.

ГРОМЫКО. Я так понимаю, что Фонд будет заниматься не просто финансовыми вопросами. Но если мы к Сахарову эти правила применим, то какую политику он будет проводить?

ГОРБАЧЁВ. Я думаю, нашу. Он, кстати, страшно напугал американцев. И наши военные тоже, по-моему, напуганы так же, как и американские. Они пугаются одинаково – и те, и другие. Он сказал, что разговоры о СОИ – "липа". Да не просто сказал "липа", а со знанием дела, как учёный-физик привёл аргументы. Тогда Визнер или ещё кто-то говорит: надо всё сделать, чтобы эти высказывания Сахарова не дошли до Америки. Это же удар по СОИ. Вот главное.

ЧЕБРИКОВ. Он недавно сделал один очень неудачный шаг и должен был как-то подстраховаться. В интервью "Московским новостям" он раскрыл одного разведчика, который передал нам секрет, о котором никто не знал. Всё время речь идёт о том, что мы создали атомную бомбу сами. Обвиняли семью Розенбергов. Кстати, и по ним ударил в своём интервью. В общем, сейчас получается, что мы бомбу сами не создавали.

Мы сотрудничаем со многими людьми, которые нам помогают. Теперь они скажут: как же с русскими сотрудничать? Они всё равно разгласят.

ГОРБАЧЁВ. Это не русские, это автор разгласил.

ЧЕБРИКОВ. Наша газета, официальная. Люди будут идти трудней и трудней на вербовку.

ГОРБАЧЁВ. Товарищу Яковлеву дать протокольное поручение разобратсья с этой публикацией.

ЧЕБРИКОВ. Об этом знало в стране 8 – 10 человек, больше никто. Зачем было это печатать?

ГОРБАЧЁВ. Значит так. Избрать такую форму: в Совет Фонда Сахаров может войти, но ему не разрешается выезжать.

ЧЛЕНЫ ПОЛИТБЮРО. Согласны.

ЦХСД Коллекция рассекреченных документов

"Источник" 1/1993

Насколько важны были для властей СССР выступления Сахарова против СОИ за рубежом, показывают дальнейшие события. После двукратного обращения Велихова Политбюро отменило запрет на поездки Сахарова за границу. Тут потребовалось ещё и официальное поручительство его бывшего начальника – научного руководителя "объекта Арзамас-16" (советского "Лос-Аламоса") акад. Ю. Б. Харитона. Того самого, который после публикации упомянутого выше интервью Сахарова Улле Стенхольму подписал в числе сорока академиков аптисахаровское письмо, озаглавленное "Постанщик клеветы", напечатанное в "Правде" 29 августа 1973 года.

Сахаров пишет:

«Я не знаю, что написал Ю. Б. в своём поручительстве – то ли, что я не могу знать ничего, что представляет интерес после 20 лет моего отстранения от секретных работ, то ли, что я человек, которому безусловно можно доверять и который ни при каких условиях не разгласит известных ему тайн... ..Это необычное действие Харитона безусловно было актом гражданской смелости и большого личного доверия ко мне» /"Горький, Москва, далее везде", стр. 113/.

Со стороны складывается другое впечатление: в 1973 году акад. Харитону рекомендовано было подписать позорное письмо сорока, а в 1988 году его попросили о другой услуге. Оба раза он действовал в духе времени, выполняя указания власть имущих. Поистине поразительна та наивность, которая позволила Сахарову этого не заметить.

В разговоре с Марчком Сахаров высказал мысль о целесообразности своей встречи с Теллером:

«Это была бы встреча двух независимых и авторитетных людей для выяснения разных принципиальных подходов к проблемам разоружения, СОИ и т. п.» /там же, стр. 31/.

Встреча эта состоялась в день восьмидесятилетия Теллера, перед торжественным заседанием, и продолжалась тридцать минут. Сахаров рассказывает:

«Я навёл разговор на СОИ, поскольку именно ради выяснения глубинных основ его позиции в этом вопросе я приехал. Как я понял, ос-

новное, что им движет – принципиальное, бескомпромиссное недоверие к СССР» /там же, стр. 116/.

Но ведь Сахаров за пять лет до того сам призвал "...не исходить из предполагаемого особого миролюбия социалистических стран..." Вряд ли Теллер не читал тогда его шумевшего письма к Дреллу. А если и нет, то и без этого для такого подхода у Теллера за его долгую жизнь набралось достаточно оснований. "Перестройка", "гласность" и со скрипом идущее освобождение политзаключённых мало что меняли в принципе: СССР был попрежнему Союзом Советских Социалистических Республик, в котором КПСС ещё сохраняла свою монопольную власть.

Сахаров продолжает изложение взглядов Теллера:

«Сейчас стала в повестку дня задача создания системы защиты от советских ракет. И она может и будет решена. Щит лучше, чем меч» /там же, стр. 116/.

И поясняет:

«За всем этим стоит подтекст – мы должны сделать такую защиту первыми, вы пытаетесь нас запутать, отвлечь в сторону, сбить с правильного пути и сами втихомолку делаете то же самое уже много лет» /там же/.

Хорошо же осведомлён Теллер! Разве не так это и было?

Сахарову уже некогда было отвечать. Или **ничего**? В своём официальном выступлении Сахаров повторил все свои соображения по поводу СОИ. При выходе Сахарова приветствовал американский военный в парадной форме и пожелал успеха. Сахаров пишет, что **чуть** не ответил ему тем же. Это был генерал Абрахамсон, руководитель программы СОИ. Почему-то Сахаров не счёл возможным пожать ему руку /там же, стр. 117/.

Советский Союз распался сам, почти бескровно. Его бывшие восточно-европейские сателлиты тяготеют к Западу. Но трудно предсказать, какие силы могут придти завтра к власти в России и других государствах, образовавшихся на месте бывшего СССР; в чьи руки попадут его десятилетиями накапливавшиеся ядерные арсеналы. Очень пугает пример – в недалёком прошлом как бы не самой либеральной и открытой из социалистических стран – многонациональной и многоверной Югославии. Кто может с уверенностью сказать, как поведёт себя в будущем давно уже обладающий ракетно-ядерным оружием почти полуторамиллиардный Китай? Его обладателем едва-едва не стал Ирак ещё в 1980-е годы. Вот-вот оно окажется в руках других экстремистских террористических государств типа Северной Кореи, Ирана, Сирии или Ливии.* Уж их правители не будут рассуждать о морали и гуманизме, решая вопросы о применении ядерного оружия.

* Его уже имеют Индия и Пакистан /прим С Т , 1998 г /

Удержать овладевшего оружием массового уничтожения беспощадного, фанатичного агрессора мировая демократия сможет только обладая прочной противоракетной обороной в сочетании с угрозой точного и неотразимого уничтожительного контрудара.

Как бы отнёсся Сахаров к вопросу о СОИ сегодня, рассуждать не берусь, но, к счастью, в свободном мире есть силы, относящиеся к этой проблеме достаточно серьезно. В шестом пункте выдвинутого республиканской партией США "Контракта с Америкой" говорится:

"Необходимо создавать мощную систему обороны, в том числе и системы противоракетной защиты для отражения возможного нападения со стороны диктаторских режимов".

Дай Бог!

Далее снова - Д. Штурман:

Эмоциональные комментарии

Предыдущая глава представляет собой суховатое изложение фактов и документов. Не являясь даже и дилетантом в затронутой выше области, позволю себе рассказать о своих впечатлениях от сахаровских высказываний по этим проблемам. Ведь главная цель этой работы - беспристрастное прочтение воспоминаний одного из славнейших современников наших. Уточним: **по возможности** беспристрастное.

* * *

Вернёмся к периоду работы Сахарова над водородной бомбой. Он говорит:

«Как потом стало известно, в то же примерно время, когда мы начали свои расчёты, в США Роберт Оппенгеймер (находившийся тогда на посту председателя Консультативного комитета Комиссии по Атомной Энергии - КАЭ) пытался затормозить программу разработки американской водородной бомбы; он считал, что в этом случае и СССР не будет форсировать разработку своего термоядерного сверхоружия. Его оппонентом выступил Эдвард Теллер. На основании своего личного опыта, отталкивающегося от венгерских событий 1919 года, Теллер с большим недоверием относился к социалистической системе; по существу, он утверждал, что только американская военная мощь может удержать социалистический лагерь от безудержной экспансии, угрожающей цивилизации и демократии, удержать от развязывания третьей мировой войны. Именно поэтому Теллер считал необходимым, в противоположность Оппенгеймеру, форсировать создание американского термоядерного оружия, продолжать ядерные испытания, несмотря на то, что они сопровождаются человеческими жертвами от генетических

и других непороговых биологических эффектов – слишком велика была ставка! (Я потом возражал Теллеру по вопросу испытаний.) И по той же причине Теллер выступил свидетелем по "Делу Оппенгеймера". Как известно, большая часть американской научной общественности расценила это выступление Теллера и всю его позицию в целом как недопустимое нарушение неких обязательных этических норм научного сообщества. Теллер, по существу, был подвергнут в научной среде своего рода остракизму, об этом пишет, в частности, в своих воспоминаниях Фримен Дайсон. Как мы должны смотреть на это трагическое столкновение двух выдающихся людей сейчас, через призму времени? Мне кажется, что с равным уважением к обоим. Каждый из них был убежден, что на его стороне правда, и был морально обязан идти ради этой правды до конца: Оппенгеймер – совершая то, что потом посчитали нарушением служебного долга, а Теллер – нарушая традиции хорошего тона научного сообщества. При этом, насколько я знаю, на принципиальные вопросы наложился вопросы техники, технической политики. Оппенгеймер, по-видимому, был убежден, и имел к тому веские доказательства, что разрабатываемые проекты водородной бомбы нереальны или, во всяком случае, неперспективны. У Теллера же была убежденность, что рано или поздно будут найдены рациональные научно-технические решения, или он уже имел какие-то идеи. Как известно, в этом научно-техническом плане Теллер оказался полностью прав.

До сих пор не стихают споры – кто же из двоих был прав по существу» /"Воспоминания", стр. 135 – 136/.

Я читаю и перечитываю этот отрывок и не могу постичь главного: в 1980-х гг. как можно было не видеть прозорливости Теллера и (в лучшем из лучших предположений) поразительной наивности Оппенгеймера? Как можно ставить их рядом?

Автор советской термоядерной бомбы ещё не убедился, кто из них прав? Он до сих пор верит в осуществление на Земле "идеального случая"?

Он хоть в малейшей степени может предположить, что если бы Оппенгеймеру (или кому-то другому) удалось остановить **американские** разработки ядерного оружия, то СССР тоже отказался бы от работы над ним? Или Китай? Или... или... или?

Если судить по наивысшим критериям, то в таком деле, как создание водородной бомбы, никто не может быть прав, кроме тех, кто исключил бы её создание **везде и всюду**. Но так как последнее было совершенно **немыслимым**, и сверхбомба была уже на подходе (для начала – в обеих сверхдержавках), то, при полнейшем бессилии изменить всё человечество, безусловно прав Теллер. Демократия не могла подставить горло волчьей стае. Она должна была поднять над собой **бомбовой щит**, а потом, как идеальный вариант, **СОИ**. И при этом – спешить. И не быть разиней, а как следует охранять свои секреты. Зоркий Теллер всё это понимал. А (в **лучшем** случае) леволлиберальный простака (в худшем – агент или марионетка) Оппенгеймер вёл дело к самоубийству мировой демократии, слабе-

ющей морально день ото дня усилиями таких, как он. Идеалистов? А якобинцы, народовольцы и первобольшевики не были поначалу идеалистами? Хорошо ещё, что Сахаров хотя бы признаёт "равную правоту" двух этих вопиюще **не равных по своей правоте** фигур, а не ополчается против будущего своего оппонента Теллера*, в споре с которым, ему, Сахарову, предназначена роль Оппенгеймера.

В быстром росте числа явных и тайных обладателей ядерного оружия Сахаров не сомневается. И вместе с тем:

«Если правильна моя догадка о шпионском происхождении того варианта термоядерного оружия, который Зельдович, Компанец и др. разработывали в 40-50-е годы, то это подкрепляет позицию Оппенгеймера в принципиальном плане. Действительно, получается, что всю "цепочку" начали американцы, и если бы не они, то в СССР либо вообще не занимались бы военной термоядерной проблемой, либо начали бы заниматься гораздо позднее. Потом, в менее важных вопросах, аналогичная ситуация повторялась с разделяющимися боеголовками независимого наведения, атомными подлодками и др. Не пора ли остановиться и задуматься (читатель догадается, что я думаю о СОИ). Но применительно к ситуации, имевшей место во время дискуссии Теллер - Оппенгеймер, рассуждать, кто начал первый, было уже поздно. События уже вышли из-под контроля. Ни СССР, ни США не могли остановиться - и на этом пути пришли к миру сегодня (к счастью, миновав - пока? - пропасть 3-й мировой войны, быть может, именно благодаря взаимному термоядерному устрашению).

Хочется сказать несколько слов об отношении американских коллег к Теллеру. Оно представляется мне несправедливым (и даже - неблагородным). Теллер исходил из принципиальных позиций в очень важных вопросах. А то, что он при этом шел против течения, против мнения большинства - говорит в его пользу. Ирония судьбы: в 1945 году Теллер вместе со Сцилардом считал, что нужна демонстрация атомной бомбы, а не её военное применение, а Оппенгеймер убеждал, что решение этого вопроса следует предоставить военным и политикам (Теллер пишет, что он слишком легко дал себя переубедить)» /там же, стр. 137 - 138/.

Итак, по мнению Сахарова, если бы американцы бомбы не создали (и советская сторона не украла бы сперва - атомную, а потом - неудачные варианты термоядерной), то коммунисты так и сидели бы сложа руки? И бомбы в мире не было бы, ни советской, ни прочих. Или они появились бы много позднее.

И это пишется после почти семи десятилетий непрерывных советских "пятиминуток ненависти" (Орвелл)?

* Кажется, даже Судоплатов еще не обвинил его в работе на СССР. Или только потому, что Теллер жив? /прим Д Ш /

После гражданской войны в Испании, после флирта Сталина с Гитлером, после оккупации Восточной Европы, после всего, что творилось и творится внутри СССР, наконец! Забыто, что разработку атомной бомбы американцы форсировали против нацизма, что Германия фюрера тоже над ней работала и тогда предполагалось, что она очень близка к успеху (чего, к счастью, не было). Да и Сахарову ли было не знать, кто командовал разработкой ядерного оружия в СССР? **Что** уже было к тому времени на совести у этих нелюдей и применимо ли к ним вообще понятие "совесть"?

Оказывается, в советском ядерно-оружейном буме виноваты слишком инициативные американцы!

Но, во-первых, СССР приступил к разработке своих подходов к ядерному оружию **раньше**, чем американцы её, эту разработку, завершили. США начали работу над бомбой в 1940-м году, СССР – в 1943-м.

Во-вторых, СССР давным давно разрабатывает свои системы противоракетной, то есть и противоядерной, защиты, как бы они ни назывались, СОИ, ПРО или как-то ещё.

В-третьих, почему к вопросу о ядерных **вооружениях** надо и можно присоединять проблемы противоракетной **защиты**? Ведь это принципиально разнонаправленные проблемы!

В-четвёртых (повторим снова и снова), СССР и США давно уже не монополисты в ядерном вооружении. И только СОИ (ПРО) актуальна в качестве самозащиты от последствий его неуправляемого растекания по планете.

И, наконец, где и у кого можно получить мало-мальски убедительную гарантию того, что отказ США от самозащиты умиротворит потенциальных агрессоров, а не развяжет им руки? Это у собак принято лечь на спину и поднять перед более сильным противником лапы, открыв живот: сородича, принявшего такую позу собаки (за исключением бешеных) не трогают. Но это вовсе не означает, что можно показывать голый живот и пустые ладони вооружённому людоеду и он отступит. Люди определённого склада лежачего – бьют. Тем более – люди, изначально вооруженные идеологией экспансии и агрессии.

Как сумел Сахаров так извратить здесь нормальную логику и в это своё (прекраснодушное ли, недоосмысленное ли) предположение **уверовать**?

Впрочем, логическим сальто-мортале (в сочетании с парадоксальной невинностью мысли) советских физиков учить не надо. Как расценить, к примеру, следующее заявление, уже наших дней?

Российские физики критикуют книгу бывшего гебиста

МОСКВА, 5 июля (ИТАР-ТАСС) – Представить российских учёных, работавших над созданием атомного и термоядерного оружия, как "слепых эпигонов, пользовавшихся шпаргалками, добываемыми разведывательными службами", – "это провокационная попытка принизить их научные и технические достижения". Такое заявление сделали десять академиков, среди которых – Александр Андреев, Жорес Алферов, Виталий Гольданский, Юрий Осипьян и Александр Чудаков,

от имени своих коллег. Оно вызвано недавно вышедшей в свет книгой отставного разведчика Павла Судоплатова "Специальные задания", в которой "разоблачается шпионаж крупнейших американских учёных в пользу СССР".

Этот вывод физики категорически отвергают "как абсолютно бездоказательный, злонамеренный и провокационный". Поскольку в книге "не приводится ни одного факта, свидетельствующего о том, что Оппенгеймер, Бор, Ферми, Сцилард, Гамов были единомышленниками, соучастниками или пособниками шпионской деятельности Клауса Фукса".

Что же касается утверждения Судоплатова о "несостоятельности советских специалистов", то академики заявляют, что в условиях тогдашнего тоталитарного режима неудача первого испытания (1949 год) атомной бомбы грозила жестокими карами всей команде Курчатова и, более того, "означала бы разгром всей советской физики". Поэтому было решено сначала взорвать копию американской имплозивной* бомбы, уже испытанной дважды. Через два года в СССР были испытаны две атомных бомбы оригинальной отечественной конструкции.

Российские физики заявили, что подобные "нападки на науку используются не только для дискредитации интеллигенции, но и для создания политической напряженности во внутренней обстановке и в международных отношениях"

/"Новое Русское Слово" 6.VII.1994/.

Итак, в СССР "копию американской имплозивной бомбы, уже испытанной дважды" (американцами), в своё время пришлось взорвать, потому что в случае неудачи Сталин сделал бы советским физикам "бо-бо". А где её, интересно, взяли, эту копию? Украли. О чём и говорит Судоплатов. И Сахаров (уже о водородной бомбе) пишет совершенно спокойно (повторим):

«Сейчас я думаю, что основная идея разрабатывавшегося в группе Зельдовича проекта (1948 год - Д.Ш.) была цельнотянутой, т.е. основанной на разведывательной информации» /"Воспоминания", стр. 129/.

А это - уже начало 1960-х:

«Однажды (...я не указываю даты) меня вызвали к начальству и попросили ответить на несколько вопросов. Мои ответы должны были быть переданы в органы разведки. Среди вопросов были такие (пишу по памяти, примерно): Какие данные об американском оружии в особенности были бы вам важны для вашей работы, для военно-техниче-

См прим на стр 164

ского планирования в СССР вообще? На что в этом плане следует обращать внимание советским учёным (и советским шпионам – прим. Д. Ш.), посещающим американские научные лаборатории в порядке научных контактов? Я, конечно, постарался выполнить это деликатное поручение **как можно лучше** /там же, стр 301; вид. Д. Ш./.

Итак, с одной стороны, Сахаров утверждает, что для него "наука абсолютно интернациональна" /там же, стр. 278/ – вплоть до приемлемости, по-видимому, советского шпионажа за ней; а с другой – он считает себя "пожизненно связанным обязательством сохранения государственной и военной тайны, добровольно принятым в 1948 году", как бы ни изменилась его судьба /там же, стр. 139/. Хотя, по всей вероятности, в 1980-е годы это были уже секреты скорее оперативные (кто, что, откуда и как для советских физиков "интернационализировал"), чем научно-технические.

Любопытно, что среди перечисленных авторов "Заявления" нет стоявших у истоков советского ядерного вооружения академиков Ю. Б. Харитона и В. Л. Гинзбурга. Казалось бы, они должны были доподлинно знать, что создано было своими силами, а что, мягко говоря, нелегально позаимствовано у зарубежных коллег. Кстати, излюбленным способом советских спецслужб отводить опасность от своих агентов было перенесение подозрений на непричастных к их деятельности лиц.

Характерно также, что крупнейшие физики, в том числе диссидентствующие, спокойно пожимали руку Б. Понтекорво. Невольно вспоминается нежелание Сахарова пожать руку генералу Абрахамсону.

Вернёмся снова к рассуждениям Сахарова конца 1980-х годов. Итак, если бы советские шпионы (или бескорыстные американские миротворцы) не украли у США секрета их (плохой) бомбы, советские физики не стали бы делать своей (хорошей).

Сахаров (словно бы?) продолжает оставаться уверенным, что он служил не просто **обыкновенному** государству с **обыкновенным** инстинктом самозащиты, которое не лучше, но и не хуже других, но государству идеальному, способному бить только в ответ на удар. У Иннокентия Володина и Нержина такого ощущения, повторим, не было. Да и у Сахарова во множестве его "доперестроечных" статей – тоже. Откуда же возникла эта уверенность позже? Удивительный для человека точного знания алогизм. И ещё одна странность: и после всего пережитого и узанного Сахарову остаётся ближе "идеалист" Оппенгеймер, чем "прагматик" Теллер. Хотя были уже все основания к тому, чтобы увидеть, наконец, правоту Теллера. Может быть, потому, что хотелось и советских коллег Оппенгеймера видеть идеалистами? Такими, к примеру, как солженицынский Рубин ("В круге первом")?

Подчеркнём еще раз: Сахаров всё-таки успел встретиться с Теллером незадолго до своей преждевременной кончины. И Теллер пытался убедить его в необходимости форсирования разработки средств противоракетной обороны (СОИ) если не вместо, то, по крайней мере, параллельно внедрению всяческих ограничений и нормативов для средств нападения. Доводов у Теллера

было несколько. Но они всегда повторялись американской стороной и всегда отклонялись советской, в том числе – и Сахаровым.

Между тем, 16 сентября 1995 г. в передаче ОРТ в программе "Время" были показаны плазменные генераторы, разработанные для советской (теперь российской) противоракетной обороны. Об их реальной эффективности по промелькнувшим кадрам судить трудно. Ясно только, что это результат многолетних крупномасштабных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, начатых задолго до смерти Сахарова.

Интермеццо

Итак, эхо военного патриотизма и мысль о том, что невозможно оставить столь страшное оружие в одних (и чужих) руках, а также азарт "езды в незнаемое" заставили в своё время Сахарова все свои силы отдать ядерной гонке. Но, как уже было сказано, преодолеть в себе внутреннюю невозможность официального вхождения в "стаю" Сахаров так и не смог. Несколько расширю упоминание С. Тиктина об этом весьма примечательном эпизоде. Сахаров рассказывает о нём без всякой рисовки (он вообще чужд этого качества), заключая соображениями буднично-скромными. Но очень немногие в те времена рискнули бы ответить на предложение вступить в партию так, как ответил он:

«Примерно через два месяца после того, как моё предложение стало признанной темой группы, Я был приглашен к Уполномоченному Совету Министров и ЦК КПСС в ФИАНе генералу госбезопасности Ф. Н. Малышеву. Должность с таким названием была введена тогда во всех научных учреждениях, ведущих значительные секретные работы, во многих предприятиях и учреждениях. Фактически это был представитель аппарата Берия, осуществлявший таким образом общий и решающий контроль над всеми военными разработками. Небольшой, но вполне "солидный" – с сейфом и должным набором телефонов – кабинет Малышева был расположен рядом с секретным отделом. Малышев, начав с комплиментов мне и моей работе, предложил мне вступить в партию.

. . .

Я сказал, что сделаю всё, что в моих силах, для успеха нашей работы, так же, как я пытаюсь это делать и сейчас, оставаясь беспартийным. Я не могу вступить в партию, так как мне кажутся неправильными некоторые её действия в прошлом, и я не знаю, не возникнут ли у меня новые сомнения в будущем. Малышев спросил, что мне кажется неправильным. Я ответил – аресты невиновных, раскулачивание. Малышев сказал:

– Партия сурово осудила ежовщину, все ошибки исправлены. Что касается кулаков, то что мы могли делать, когда они сами пошли на нас с обрезаем.

Он просит меня самым серьёзным образом подумать о нашем разговоре, быть может, я захочу ещё к нему вернуться. Я думаю, что, если бы я дал согласие, то мне, вероятно, предназначалась крупная административная роль в системе атомной науки – может, место научного руководителя объекта или рядом с ним, какая-то параллельная должность. Пользы от этого для дела было бы мало, какой из меня администратор» /"Воспоминания", стр. 142 – 143/.

Здесь характерна для Сахарова интонация, придающая поступку, по тем временам весьма неординарному, оттенок совершенной обыденности. Он иначе поступить не мог – этого достаточно. Да и какой из него администратор?

Пожалуй, только Петру Григоренко и Сахарову среди людей всемирно известных, воспоминания которых я читала, присуще настолько органичное неумение быть нескромным.

И опять – СОИ

Итак, для обоих авторов этой повести отрицательное отношение Сахарова к идее СОИ так и осталось неразрешимой загадкой. Предлагаем её на суд читателя – вместе с ещё одной (и весьма проблематичной) попыткой её разгадать.

Вот примерный перечень доводов Теллера:

1. Защита, в отличие от нападения, охраняет жизнь, а не уничтожает её.

2. Если защита и не может быть абсолютно надёжной (по крайней мере – пока), то она уменьшит предполагаемый ущерб от нападения до не однозначно губительного уровня. Со временем она будет усовершенствована.

3. Все предлагаемые сокращения термоядерного оружия оставляют за ядерными державами на неопределённое время потенциал, убийственный для экосистемы и ноосферы планеты.

4. Уже есть и, вероятно, всегда сохранятся государства, которые не примут (*de facto*, если не *de jure*) никаких ограничений своего ядерного потенциала.

5. Как только СОИ будет создана, содружество государств, её построившее, будет готово передать её каждому новому члену содружества, убедительно доказавшему своё миролюбие.

6. Построив СОИ, демократический мир (менее 15% населения земного шара) получит выигрыш во времени (до **возможного** опаматования и изменения режимов агрессивных в те годы стран). Этим он мог бы избавить себя от необходимости нанесения смертоносных для всей планеты превентивных ударов.

Неужели Сахаров верил и представлял себе, что Запад пойдёт на **неспровоцированную ядерную агрессию**? Когда он успел утратить своё отчетливое понимание того, что поручиться за тоталитарный и "третий" миры не может никто? Ведь он утверждал это ранее неоднократно.

До возвращения из ссылки в ряде своих зарубежных публикаций горьковского периода Сахаров призывает Запад к "единству и последовательности в сопротивлении тоталитарному вызову" /А.Д. Сахаров. Тревожное время. "Новое Русское Слово" 13-14. VII.1981/. И далее:

«Страны Запада должны сделать всё необходимое, не поддаваясь на шантаж и демагогию – вроде кампании против американских ракет в Европе, – чтобы поддержать, а в ряде областей – восстановить это равновесие. Недопустимо, чтобы другая сторона имела возможность использовать в случае конфликта втрое больше танков и артиллерии, или в полтора-два раза больше атомных подводных лодок, или вдвое большую сухопутную армию, или стратегические ракеты в полтора-два раза большей суммарной мощности (я не утверждаю, что такова в точности ситуация, я недостаточно знаю о фактическом положении дел; но я привёл эти цифры, встречающиеся в передачах зарубежного радио, так как они хорошо поясняют мою мысль и дают представление о серьёзности ситуации). Пресса, пользующиеся известностью публицисты, государственные деятели должны неустанно разъяснять это людям, не боясь прослыть "правыми", "агентами военно-промышленного комплекса", "поджигателями войны"» /там же/.

Но с другой стороны,

«вопросы войны и мира, вопросы разоружения так важны, что и в самой трудной ситуации они должны иметь абсолютный приоритет, и нужно использовать все существующие возможности для их решения, готовить почву для дальнейшего продвижения в будущем. И в первую очередь – для предотвращения ядерной войны – основной опасности современного мира. В этом совпадают цели всех ответственных людей на Земле, в том числе, как я считаю и надеюсь, и советских руководителей, несмотря на проводимую ими опасную экспансионистскую политику, несмотря на их цинизм и на владеющие ими догматические предрассудки и чувство неуверенности, часто не позволяющие им проводить более реалистическую внутреннюю и внешнюю политику» /там же/.

В своих "Воспоминаниях" Сахаров тоже пишет (об августе 1973 года):

«Я хотел также продолжить ту линию, которую я начал в интервью Стенхольму – освещение общих вопросов и защиту репрессированных. Это была моя первая пресс-конференция, она привлекла большое внимание.

На конференцию в нашу маленькую комнату пришло около 30 человек – корреспонденты всех западных агентств и многих крупных газет, большинство я видел впервые, все с блокнотами и магнитофонами, многие также с фотоаппаратами.

...Главными вопросами были: как я отношусь к разрядке; как я оцениваю перспективы движения инакомыслящих и перспективы демократических изменений в СССР; как я оцениваю последние репрессии инакомыслящих. Говоря о разрядке, я сказал, что очень высоко ценю разрядку, т.к. она уменьшает опасность военной катастрофы, но вступая в эти новые и более сложные отношения с СССР, Запад должен проявлять осторожность, единство и твёрдость. СССР – закрытое тоталитарное общество, "страна под маской", как я сымпровизировал, и его действия могут быть неожиданными и чрезвычайно опасными. Запад должен избегать действий, которые привели бы к получению СССР военного превосходства. Запад должен также планомерно добиваться уменьшения закрытости советского общества. Только при выполнении этих условий разрядка будет способствовать международной безопасности» /"Воспоминания", стр. 528 – 529/.

И вместе с тем, при всей своей необъяснимости, его настойчивые призывы к Западу – отказаться хотя бы от форсирования разработок СОИ, если не от неё самой, никем не подсказаны и никем не навязаны, а только использованы советской стороной в своих целях. Это его выстраданное убеждение: он предполагает, что защищённость хотя бы одной из сторон от удара развяжет ей руки для ядерной войны.

Возможно и ещё одно предположение: не опасался ли Сахаров, что СОИ, как только она будет в решающей (или хотя бы существенной) мере создана, сейчас же попадёт в число "цельнотянутых" достижений какой-нибудь адской нечисти? И тем развяжет ей руки? Ведь у него уже был в этом смысле немалый опыт. Так или иначе, но попытки Сахарова, выпустив дьявола в мир, оседлать его, как гоголевский кузнец Вакула – чёрта, угрозой взаимного уничтожения выглядят беспомощно и трагично.

В интервью Н. Бетеллу, Сахаров (не в первый и не в последний раз) так аргументирует своё отрицательное отношение к СОИ:

«А.С. Прозвище "звёздная оборона" я предпочитаю не употреблять, ибо оно как бы предопределяет отношение. Я много раз писал, ещё до горьковской ссылки, о своём отношении к противоракетной обороне, к соглашениям о противоракетной обороне и к системе космической обороны. Я считаю, что система космической обороны – бесперспективная вещь в военно-стратегическом смысле. Думаю, что благодаря затратам гигантских средств, огромного научно-технического и интеллектуального потенциала удастся создавать всё более и более совершенные эшелонированные системы противоракетной обороны. Некоторые их эшелоны будут иметь космическое базирование. Но одновременно ведь будет совершенствоваться и наступательное оружие, средства нападения на эту космическую систему. Эта космическая система будет включать в себя космические станции, зеркала, расположенные в космосе, большое число спутников наблюдения, системы коммуникаций, вычислительные центры, а также исполнительные органы этой системы. Это система наблюдения и вспомогательные при-

способления. Всё это страшно уязвимо по отношению к сильному противнику. А наступательные средства будут развиваться и приспособляться к тому, чтобы преодолеть космическую оборону и вообще противоракетную оборону. Я думаю, что наступательное оружие против СОИ будет развиваться успешно и даже опережать развитие СОИ. С научной точки зрения можно сделать всё, что угодно. Можно, например, создать рентгеновский лазер, который возбуждается ядерным взрывом. Но СОИ – это не просто научный эксперимент. Будет ли это всё работать в условиях термоядерной войны? Если, скажем, СОИ будет стоить миллиард долларов, то затрата в десять раз меньшей можно преодолеть то, что создано за миллиард. А так как экономические потенциалы, возможности затрат СССР и США отличаются вовсе не в 10 раз (в 1997 г. отличались якобы уже в 25 раз. "ЖГ" 18.VI.1997; стр. 4. – Д.Ш.)..., то чисто военно-экономически СОИ, по-моему, – безнадежная вещь" /"Континент" N 52, стр. 441 – 442. 1987/.

Бетелл, однако, ответом Сахарова не удовлетворён:

«Н.Б. Но Советский Союз имеет оборонительные системы?

А.С. Типа СОИ? Не знаю. Я же вообще на 20 лет отстал. Я знаю, что была система обороны вокруг Москвы. Она была разрешена договором между СССР и США, даже с указанием числа ракет. И вторая была система, разрешенная договором. Было две разрешенных региональных системы обороны. Но это всё-таки не космическая оборона. А что у нас делается по космической обороне, я не знаю, да и знал бы – не сказал» /там же, стр. 442 – 443; выд. Д.Ш./.

Почему так? Ведь писал же Сахаров в "Воспоминаниях":

«Нельзя говорить о симметрии между раковой и нормальной клеткой. А наше государство подобно именно раковой клетке с его мессианством и экспансионизмом, тоталитарным подавлением инакомыслия, авторитарным строем власти, при котором полностью отсутствует контроль общественности над принятием важнейших решений в области внутренней и внешней политики; государство закрытое – без информирования граждан о чём-либо существенном, закрытое для внешнего мира, без свободы передвижения и информационного обмена" /"Воспоминания", стр. 218 – 219/.

Как же после этого предлагать Западу

«...ограничиться лабораторными опытами вместо того, чтобы ставить эту идею во главу угла каких-то национальных программ?» /"Континент" N 52, стр. 443. 1987/.

Далее Сахаров настойчиво говорит о том, что СОИ в любом случае не будет достаточно эффективной (это первый из двух его полемических тезисов). И заключает:

«Но при этом я думаю – и это мой второй центральный тезис, – что неправильно и непропорционально ставить соглашение по СОИ в качестве ультимативного условия соглашения по другим вопросам разоружения. Горбачёв в Рейкьявике выдвинул принцип пакетной сделки. Вообще, советская дипломатия сформулировала как некий принцип, что отказ от СОИ – это непременное условие успеха других переговоров по разоружению. Я считаю неправильным сам принцип пакетной сделки. Неправильно обуславливать остальные вопросы соглашением о СОИ. В этом я иду вразрез с советской дипломатией» /там же/.

Итак, негативно относясь к СОИ в силу указанных им причин, Сахаров тем не менее **не считает, что переговоры и решения по всем прочим проблемам разоружения и мира должны зависеть от американского решения по СОИ.** Таким образом, своему личному мнению он не придаёт характера аргумента в торге. Иное дело – как это (одно из авторитетнейших на Земле) мнение используют в торге с Западом советские коммунистические властители. Я опять вспоминаю байку Неделина на банкете. Поняв, что Сахарова нельзя "направить", они решили использовать один из центральных его тезисов в своих интересах. Детали, для него – первоначально важные, они игнорировали. А их западные слушатели восприняли эти моменты как второстепенные оговорки.

Рассказывая о первых неделях своего пребывания в Москве, Сахаров замечает: "...очень искажались мои высказывания по СОИ" /"Горький, Москва, далее везде", стр. 35/.

Несколько озадачивает упомянутый выше моим соавтором эпизод посещения московской квартиры Сахарова вице-президентом АН СССР Велиховым, сопровождавшим иностранного гостя. Учитывая всю предысторию этого визита (см. выше), естественной было бы встретить высокопоставленного академического "порученца" менее благодушно. Однако назвался груздем – полезай в кузов. Сотрудничество с волками обязывает соблюдать этикет стаи. Пришлось впустить матёрого волка в дом. К слову: смеховая палитра Сахарова никогда не отличалась богатством. Юмор, ирония, сарказм ему в повествовании не даются. Правда, это не самый большой человеческий недостаток, свойственный к тому же многим великим умам.

* * *

Вернёмся, однако, к первым официальным контактам Сахарова по возвращении его из ссылки.

«Через 10 – 12 дней состоялось второе совещание, на этот раз в Президиуме Академии, носившее, в основном, организационный характер. После совещания Велихов попросил меня остаться, так как со мной "хочет поговорить Гурий Иванович" (Марчук). ...Марчук спросил, собираюсь ли я выступить на Форуме, и если да, то он просит меня очертить контуры моей позиции. Гурий Иванович, так же как во время нашего декабрьского разговора, добавил, что я имею

большой авторитет во всём мире и поэтому моя поддержка мирных усилий СССР очень важна. В какой-то форме Марчук дал понять, что речь идёт о внешней и внутренней политике "Михаила Сергеевича, которому очень трудно". Я сказал, что собираюсь выступить, и очень кратко описал свою позицию, особенно подчеркнув необходимость не обуславливать соглашение о сокращении стратегических ядерных ракет соглашением по СОИ (отказ от принципа "пакета"). Этот тезис вызвал резкие возражения Велихова, с которыми солидаризовался Марчук. Я сказал, что убеждён в своей правоте и что моё участие в Форуме имеет смысл только потому, что моё представление о том, что надо делать ради мира и разоружения, отличается от официозного. Это обсуждение также было полезно для меня, помогло ясней понять аргументы сторонников "пакета" и чётче сформулировать свои.

. . .

Первые два заседания Форума происходили по секциям (учёные, бизнесмены, религиозные деятели, деятели культуры, политологи и политики, может, ещё кто-то), затем было общее заседание в Кремле с участием и речью Горбачёва и заключительный банкет. Секцию учёных возглавлял председатель ФАС фон Хиппель, а фактически тот же Велихов. Заседания "учёпой" секции происходили в гостинице "Космос".

Я оказался "главной приманкой" для многих западных участников, меня непрерывно "атаковали" и в кулуарах, и дома, во время и после Форума. После Форума я сочинил стишок, начинавшийся так: "Хоть и кончился Форум, в дверь всё так же бум-бум-бум".

Но и для меня самого участие в Форуме было важным, так как оно представляло собой первое публичное появление после многих лет изоляции, давало возможность изложить позицию перед широкой аудиторией» /там же, стр. 50 - 51; вид. Д.Ш./.

Конечно, позиция Сахарова, в том числе и на этом первом его после отлучения и ссылки Форуме, существенно расходится с официальной. Как мы уже не раз отмечали, он не ставит обсуждения всех прочих аспектов разоружения в зависимость от того, согласятся ли американцы подемизировать по проблеме СОИ. Сахаров склонен к отказу от советского принципа "пакета" (СОИ + всё остальное). Этим он весьма осложняет позицию советской стороны. Не случайно Марчук реагировал на неё столь раздражённо. Но (повторим) для руководства СССР не так уж важны были взгляды Сахарова на проблему "пакета" и даже его декларации по этому вопросу. На Форуме ведь фактически ничего не решалось: это был один из этапов борьбы за общественное мнение Запада. И здесь (как позднее - в зарубежном его турне) первостепенно существенной для советской стороны являлась именно позиция Сахарова в вопросе о СОИ. Устроителям этого пропагандистского мероприятия просто необходимо было иметь равновеликого Эдварду Теллеру оппонента американскому проекту противоракетной обороны. Равновеликого - в научном плане и куда высшего (в глазах "про-

грессивной мировой общественности") в качестве нравственного авторитета.

Это – козырь, которого Советскому Союзу нельзя было упускать из рук ни из-за каких "пакетов". О "пакете" – было бы сказано, а забыть – ничего не стоит. Пакет – в "наших" руках. А вот убедить американцев не форсировать разработки СОИ – выигрыш баснословный. И этого не так уж трудно добиться (надёжному в глазах Запада человеку, каков Сахаров). Американские обыватели и законодатели не любят выбрасывать деньги на чересчур далеко отстоящие цели; они и так склонны скорей к беспечности и близорукости, чем к перестраховке и дальновзоркости. И кому же им верить, если не Сахарову? Не Пентагону же!

Сахаров и сам осознаёт свою международную значимость. Помните: "Я оказался 'главной приманкой' для многих западных участников" /"Горький, Москва, далее везде", стр. 51/. Полагаю, что кавычки вокруг "главной приманки" здесь совсем ни к чему. Американцы, действительно, "шли на Сахарова". Лучшей гарантии демократической благонадёжности Горбачёва, чем его примирение с Сахаровым, в глазах Запада, не могло быть. А тут ещё такое созвучное отношение к СОИ, против которой и без того ратуют все либеральные миротворцы Запада.

Далее следует наиболее важная часть выступления Сахарова. Вот характерный отрывок из неё:

«Последний конкретный вопрос в этом первом выступлении – об определении порога сокращения стратегических сил из условия сохранения стратегической стабильности. Я указал на трудности получения ответа. В частности, я подчеркнул, что этот вопрос (о предельно допустимом ущербе) нельзя решить, исходя из психологии мирного времени – ситуация, о которой идёт речь, вообще не имеет прецедента. Уровень – может быть близок или равен уровню гарантированного взаимного уничтожения!

...Вернуться к этому вопросу целесообразно после осуществления пятидесятипроцентного сокращения» /там же, стр. 54/.

50% от "гарантированного взаимного уничтожения" – достаточно монструозная арифметика. И кто его высчитает, кто соблюдёт, кто проконтролирует на всей планете этот взятый с потолка полусамодушный потенциал?* Удалось американцам проверить и взять под контроль, к примеру, Саддама Хуссейна? Или Ким Ир Сена? Так и не удалось.

Однако – продолжим:

«Я кончил формулой: "Кардинальным, окончательным решением проблемы международной безопасности является конвергенция, сближение мировых систем социализма и капитализма."

Зал долго аплодировал мне, как и некоторым другим выступавшим.

* Согласно одним мнениям, наличный ядерный потенциал обеих сверхдержав к моменту Форума достиг количества способного десятикратно уничтожить все человечество, согласно другим – только пятикратно согласно третьим – еще не достиг этого количества и т.п. /прим Д Ш /

Говорят, в этот (или следующий) день в зале находился Добрынин (бывший посол СССР в США, зам. министра иностранных дел), он ушел сразу после моего выступления» /там же, стр. 55/.

Добрынину можно было уйти: он убедился, что Сахаров говорит (конечно, по доброй воле) то, что надо.

* * *

Я уже не раз вспоминала о солженицынских выступлениях на Западе. Их постоянный рефрен, не буквальный, но точный: не верьте им. Не верьте коммунистам (подчеркиваю: коммунистам, а не "русским") ни в чём. Их цель - разрушение и поглощение свободного мира. Не помогайте им, не идите навстречу их требованиям. Неправда, что их можно приручить миролюбием. Напротив: они поймут его как признак слабости. Не отступайте более хотя бы на своих рубежах. Той же мыслью пронизан и роман "В круге первом". Добавлю, что в российских переизданиях романа и публицистики (1990-е годы) Солженицын этой темы не снял.*

Сахаров же утверждает здесь прямо противоположное (даже тому, что он сам говорил раньше). Перескажем голую суть его деклараций: не дразните (зверя?); СССР силён и могуч. Не будите в нём самозащитных рефлексов. Быть беде, если он разуверится в вашем миролюбии. Протяните ему первые открытую руку, пустую ладонь, как делали когда-то при встречах дружелюбно настроенные наши предки. Сделайте первый шаг: не прячьте ничего за спиной. Они просто боятся вас - поэтому вооружаются сверх зубов.

Это тоже не цитата - это голая суть сахаровских выступлений на "Форуме", а затем - на Западе. И она напоминает мне мольбы жены Дикого ("Гроза" А. Островского), обращённые к чадам и домочадцам: милые, не разозлите, голубчики, не рассердите.

Подводя итоги своим выступлениям на Форуме, Сахаров пишет:

«Всё то, что я говорил против СОВИ, как на Форуме, так и до него, усиленно цитировалось. В частности, в советской прессе и в прессе некоторых социалистических стран, и в западной коммунистической и левой печати отмечалась только эта сторона моей позиции (конечно, само по себе необычно, что я вообще был упомянут в советской прессе, причём уважительно)» /там же, стр. 57; выд. Д.Ш./.

И опять: дипломатический манёвр Сахаров принимает за чистую монету.

Человек, ставший для всего мира символом борьбы за справедливость, за Право, стоит в главном для советских вождей вопросе на их позиции. Как

¹ Замечу попутно. Сейчас, в середине 1990-х годов, С. Ковалев, считающий себя продолжателем дела Сахарова, упорно (и успешно¹) убеждает Запад не верить и не помогать уже не СССР, а демократической России, пытающейся (неумело и запоздало) сохранить свою целостность /прим Д.Ш./

тут не сменить тона? То, что мы цитируем ниже, подчёркивает и проясняет цену этой благожелательности:

«Но гораздо более важной с политической точки зрения, и не тривиальной, является другая сторона моей позиции – о принципе пакета! Тут освещение в прессе было гораздо более бледным, неточным. Мне даже пришлось несколько раз выступать со специальными "уточнениями-опровержениями". Выступая против пакета, я опираюсь на предполагаемую мною малую эффективность СОИ, причём не только против "первого удара", но и против "удара возмездия", на огромные возможности так называемого "асимметричного ответа". Я исхожу также из того, что ни одна из сторон не может полностью отказаться от поисковых работ в области, которая, возможно (не наверное, конечно) сулит определённые достижения. Я предполагаю, что отказ СССР от принципа пакета создаст новую политическую и стратегическую обстановку, в которой США не будут осуществлять развёртывание систем противоракетной обороны в космосе (насколько мне известно, в Рейкьявике Рейган уже соглашался на мораторий развёртывания СОИ). В противном же случае, если после отказа СССР от принципа пакета в США возобладают противоположные тенденции и начнётся развёртывание СОИ, мир просто возвращается к существующему сейчас положению, но с политическим выигрышем СССР. Демонтаж стратегических ракет прекращается, в СССР развёртываются большие силы ракет с неуязвимым стартом и создаются системы уничтожения и преодоления СОИ. Вряд ли США заинтересованы в таком ходе событий.

Таковы те аргументы в пользу разрыва пакета, с которыми я выступил на Форуме, до и после него» /там же, стр. 57 – 58/.

Итак, по части всех прочих пропозиций Сахарова (помимо отказа США от СОИ) "советские" и в ус не дуют, чего и следовало ожидать. Здесь характерно, кроме всего прочего, замечание о том, что СОИ (возможно, но не наверняка) "сулит определённые достижения". Интересно, а работа над управляемой термоядерной реакцией, сулящая получение "баснословно дешевой" энергии для мирных целей, ведётся **наверняка?** Поначалу советские (да и западные) физики надеялись получить её к середине 1960-х годов, потом – в течение 1980-х /"Воспоминания", стр. 194/. Теперь ожидания перенесены на первую треть будущего века. Между тем, Сахаров очень сочувственно относился к этой тематике и даже был автором нескольких (пока что – бесплодных) идей. Это был, как выражались в СССР, "мирный атом". Но ведь и СОИ – тоже средство обороны, а не нападения!

Конечно, "вожди" выпячивали то, что им выгодно было выпячивать, и замалчивали из тех же соображений то, что им выгодно было замалчивать. **Истинным выигрышем** тогдашнего СССР, по глубокому убеждению его правителей, явился бы не только полный отказ США от СОИ, но хотя бы одно только ослабление, **замедление, обеднение** западной защитной деятельности. В последующие годы это, по-видимому, и состоялось. Конеч-

но, не только из-за Форума и дальнейших, уже заграничных, выступлений Сахарова. Но и благодаря им тоже. Он весьма помог и прекраснотдушным, и кривотдушным "борцам за мир во всём мире". В чём? В их борьбе с нынешними "оборонцами", которых Запад считает "правыми". Сахаров – один из наиболее чтимых святых современного прогрессистского синодика. И вожди СССР надеялись сорвать на его антиоборонческой (для Запада) концепции хороший куш. При этом себя они ни к чему не обязывали (да им и неолго оставалось править).

Далее текст С. Тиктина:

О подземных ядерных взрывах

После первых же мощных термоядерных взрывов и вызванных ими человеческих жертв Сахаров серьёзно задумался над тем, чтобы как-то ограничить экологический вред ядерных испытаний, не добиваясь утопического, по его справедливому утверждению, запрета на их проведение. Согласно его расчётам, на каждую мегатонну тротил-эквивалента при взрыве в атмосфере приходится в конечном счёте 10000 человеческих жизней / "Воспоминания", стр. 267, 275/. Последствия Чернобыльской катастрофы дают основания предполагать, что для "грязных" взрывов эта цифра может оказаться весьма заниженной.

Одной из таких его идей было перенесение всех испытаний ядерного оружия (а потом и строительства промышленных ядерных реакторов) под землю.

Продолжение ядерных испытаний в любой из областей биосферы губительно. Экономически (чудовищная растрата средств), политически (совершенствование тотально убийственного оружия) и экологически (в смысле сохранения биосферы). В той же причинно-следственной связи опасны и "мирные" подземные ядерные взрывы, например, с целью предупреждения землетрясений. Пока человечество (всё человечество) не научится согласовывать свои действия в столь важных вопросах и не сумеет с удовлетворительной надёжностью предусматривать сверхмногофакторные последствия подобных акций, они недопустимы. Биосфера для них слишком хрупка и уязвима. Опасны непредсказуемые сдвиги земной коры и обвалы в её пустотах. Ещё опаснее могут быть последствия выходов на поверхность радиоактивных продуктов ядерных взрывов. Всё это ещё слишком мало изучено для его широкого и систематического внедрения в земную экосистему, уже глаубоко израненную.*

Как сообщил впоследствии Л. Почивалов в статье "Россия – страна сотел Хиросим" / "Литературная газета" № 49 (5631) 4 XII 1996/ за несколько десятков лет в СССР было произведено 715 ядерных испытаний. Это – не считая "мирных" атомных взрывов, Уральской и Чернобыльской катастроф, аварии атомных подводных лодок и пр. /прим. С.Т./

Сахаров словно торопится загнать выпущенного (при его участии) из бутылки джинна в прочную клетку. Однако всякая поспешность в подобных замыслах и – тем более – в их внедрениях без тщательной комплексной проверки отдаёт угрожающей, всеземного масштаба, маниловщиной. С той разницей, что Манилов только болтал, а здесь тотчас найдутся и горе-внедрители. И они быстро нашлись.

В 1963 году в Москве был подписан договор между СССР и США об отказе от испытаний ядерного оружия в трёх средах. Через двадцать с лишним лет Сахаров пишет:

«Я считаю, что Московский договор имеет историческое значение. Он сохранил сотни тысяч, а, возможно, миллионы человеческих жизней – тех, кто неизбежно погиб бы при продолжении испытаний в атмосфере, в воде, в космосе... Я горжусь своей сопричастностью к Московскому договору» /там же, стр. 309/.

И ещё:

«После того, как в 1963 году ядерные испытания были "загнаны под землю", биологические эффекты ядерной радиации перестали волновать людей, **меня в том числе**. Но Чернобыльская катастрофа вновь трагически вывела их на авансцену» /там же, стр. 271; вид. С.Т./.

Ту же позицию в этом вопросе занимает Сахаров и на Форуме:

«Я думаю, что и мои выступления на Форуме были правильным вторжением в политику.

Вечером 15-го я выступал ещё раз – по вопросу о подземных ядерных испытаниях. **Прекращение подземных ядерных испытаний я считаю относительно второстепенным делом**, не имеющим решающего значения для прекращения гонки вооружений» /"Горький, Москва, далее везде", стр. 58; вид. С.Т./.

А для экологии? Во всех ли случаях перенос испытаний ядерного оружия под землю являлся стопроцентной гарантией от воздействия ядерной радиации различных видов на биосферу? Задумывался ли Сахаров над тем, сколько многое зависит от геологических особенностей района подземного ядерного взрыва?

Осенью 1957 года, почти за тридцать лет до Чернобыля, на комбинате "Челябинск-40" (ныне "Маяк") произошел взрыв **подземной** ёмкости с концентрированными долгоживущими радиоактивными отходами плутониевого производства. Известная журналистка А.А. Ярошинская сообщает:

"Вокруг разрушенного хранилища осело 18 млн кюри радионуклидов, 2 млн кюри накрыло 217 деревень» /ст. "Течёт река Теча...", ж-л "Столица" № 37. М., 1991/.

Общее загрязнение территории "Маяка" доходило до **15000 кюри/км²**, а по строению – до **4000 кюри/км²**, вынужден признать д.ф.м.н. Н. Работнов /"Литературная газета" N 5 (5331), 6. II. 1991/.

А комбинат продолжал работать...

На окружающее население обрушился радиационный мор: лейкозы, злокачественные опухоли, генетические поражения, не признаваемые официальной советской медицинской радиологией до начала 1990-х годов. Д.м.н. В.И. Кириюшкин поясняет:

«В тот период... было указание ставить в больничные листы ... зашифрованный диагноз лучевой болезни. Так называемый невралгический синдром» /Из стенограммы Комитета ВС СССР по экологии. Приведено А.А. Ярошинской/.

А вот что сообщает главврач специализированной челябинской больницы N 4 М. Косенко:

«На диагнозах болезней... были проставлены грифы секретности. С каждого из нас брали подписку о том, что мы не должны ни в коем случае называть болезнью самим пациентам. Не должны даже произносить таких слов, как "облучение" или "лучевая болезнь". Разглашение этой тайны грозило тюрьмой» /Цитируется по ст. Э. Шакова "Памятник", о канадском документальном фильме "Секретный город" ("Новое Русское Слово" 14-15. IV. 1995)/.

Снова напомним: речь идёт о событиях, происходивших за тридцать лет до Чернобыльской катастрофы.

Я, будучи тогда молодым научным работником провинциального НИИ, узнал об уральской ядерной катастрофе 1957 года почти сразу – из западных радиопередач. Потом, в ходе контактов с московскими коллегами, я постепенно узнавал всё больше и больше её леденящих душу подробностей.

Итак, мог ли Сахаров, принадлежавший тогда к высшим кругам элиты советского ядерного комплекса, не знать к 1963 году обо всём этом ужасе **ничего?**

Взорвавшийся на Чернобыльской АЭС реактор не имел защитного колпака, вследствие чего в атмосферу большого густо населённого региона вылетели количества радионуклидов, сравнимые с теми, которые были выброшены при уральской катастрофе 1957 года или образовались при взрыве "мощного" (А.Д. Сахаров) "изделия" в Арктике в 1961 году. Но именно от этого чернобыльского взрыва треснул колпак глухой секретности над советским ядерным комплексом. Утечка информации стала расти с каждым годом.

Жители обширного региона вокруг Семипалатинского полигона и после прекращения наземных испытаний страдали различными заболеваниями, которые, как выяснилось впоследствии, оказались весьма сходными с "уральскими" и "чернобыльскими".

В конце 1980-х годов в Казахстане возникло движение "Семипалатинск-Невада", потребовавшее немедленного прекращения подземных ядерных испытаний по причине загрязнения окружающей среды радионуклидами, образующимися при ядерных взрывах. В условиях развивающейся "гласности" принять жесткие меры и заткнуть рты, как в доброе старое время, не представлялось возможным – тем более, что движение это получило поддержку даже в некоторых кругах казахстанской номенклатуры.

Летом 1989 года председатель Семипалатинского облисполкома А. Ерёмченко говорит собственному корреспонденту газеты "Московские новости" в Казахстане А. Нурманову:

«Советы буквально завалены письмами жителей о вредоносных последствиях существования полигона. Приводятся примеры заболевания и смерти от лейкемии, увеличения рождаемости умственно отсталых детей, мужского бессилия...» /"Московские новости" 16.VII.1989/.

На требования о закрытии полигона его начальник, генерал-лейтенант А. Ильченко, неизменно отвечал: "Не вам решать, будет ли работать полигон или нет". Тем не менее, руководство полигона пошло на беспрецедентную (для советского Союза) акцию: оно пригласило представителей движения "Семипалатинск-Невада" проверить на месте, влияют ли подземные ядерные взрывы на радиационный фон (речь идёт, разумеется, об **атмосферном** радиационном фоне – С.Т.). А. Нурманов свидетельствует в упомянутой выше публикации:

«Сразу после взрыва представители общественности сравнивают показания своих дозиметров с аппаратурой военных. Приборы свидетельствуют, что уровень радиации после взрыва в 20 килотонн практически не изменился. Он составляет в среднем 15 микрорентген в час».

2 августа 1989 года "Медицинская газета" (Москва) опубликовала отчёт о научно-практической конференции в Семипалатинске, посвящённой здоровью населения и экологической обстановке в области. Специалисты из комиссии, обследовавшей полигон и близлежащие районы, констатировали, что "радиационный фон на территории полигона и области не превышает средней величины естественного фона; подземные взрывы не приводят к выпадению радиоактивных осадков". Факты о росте заболеваемости и смертности, об увеличении врожденных пороков развития, умственной недоразвитости, генных и хромосомных изменениях, росте раковых и предраковых заболеваний – они **подтвердили**. Но сделали вывод, что "для здоровья населения опасности нет".

Чего стоил этот последний вывод, – видно из изрядно запоздавшей по понятным причинам публикации "Самый дешёвый способ избежать войны" Т. Кожемякиной – агрохимика, занимавшейся защитой растений от радиационных заражений и попутно – сбором материалов о воздействии испытаний атомного оружия на население страны (тогда – СССР):

«Только за десятилетие 1975–1985 годов смертность от лейкоза возросла в этом регионе в семь раз. Во многих семьях, живущих в посёлках вокруг полигона, анемия у детей подскочила в сто двадцать раз, велика и детская смертность, каждый третий ребёнок рождается мёртвым или инвалидом» / "Новый мир", N 3, М., 1994; стр. 247 – 251/.

Но что же было причиной этой неизвестно откуда идущей пагубы?

Незадолго до описанных событий мы, Д. Штурман и я, получили конфиденциальное сообщение о том, что подземные пласты под Семипалатинским полигоном, числящиеся безводными, в действительности (в отличие от американского ядерного полигона в Неваде) являются **водоносными**. И что высокопоставленным инициаторам и координаторам подземных испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне этот факт, равно как и его неизбежные роковые последствия, был достаточно хорошо известен. Видимо, далеко не все допущенные к этой преступной тайне подданные преступного государства считали своим долгом вечно быть верными подписке о её неразглашении. Причиной передачи этих сведений именно нам, по всей видимости, послужили мои публикации о характере второго, последнего взрыва в реакторе 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС, выбросившего в атмосферу десятки тонн расплывённого частично отработанного керамического ядерного топлива.

Но вернёмся к Семипалатинскому полигону. Образующиеся при подземных взрывах короткоживущие радионуклиды успевают распасться в подземных глубинах; зато долгоживущие – такие как Sr_{90} или Cs_{137} , а также различные изотопы плутония постепенно вымываются грунтовыми водами. С 1963 по 1989 год в глубинах Семипалатинского полигона накопились, по меньшей мере, сотни килограммов различных радионуклидов – количества, вполне сравнимые с выброшенными при взрыве реактора во время Чернобыльской катастрофы. Какая доля их попала в природный кругооборот, включающий биологические циклы, судить трудно. Но и после прекращения ядерных испытаний они будут в течение столетий отравлять подпочвенные воды, неся "тихую" атомную смерть всему живому.

Этот материал был предан мною огласке в статье "Подземный Чернобыль у Семипалатинска", опубликованной 1 сентября 1989 года в газете "Русская мысль" (Париж), которая в это время уже довольно свободно поступала в Советский Союз. Печатных опровержений не последовало. В октябре того же года на Семипалатинском полигоне был произведен последний испытательный ядерный взрыв.

Успел ли узнать об этих событиях акад. А.Д. Сахаров – нам неизвестно.

Семипалатинский полигон агонизировал ещё некоторое время. В соответствии с ранее составленными планами бурились скважины и в них замуровывались очередные ядерные заряды. Горбачёв в одном из своих выступлений говорил, что раз в США полигон в Неваде работает, то и Семипалатинский полигон тоже должен работать. Но взрывов больше не было. После распада СССР и закрытия этого полигона в его недрах остался один ядерный заряд. В 1995 году он был уничтожен.

Территория бывшего полигона была передана Национальному ядерному центру Казахстана. Фактически же она осталась просто бесхозной. "Всё пришло в запустение", - пишет Б. Аубакиров в статье "Все ушли, осталась одна радиация", опубликованной газетой "Новое Русское Слово" 24 марта 1995 года. Почти 720 км² загрязнены настолько, что признаны официально непригодными для проживания и использования. Особенно опасным экологи считают "Атомное озеро" ("Атом-Куль"), образовавшееся в результате глубокого провала на месте подземного взрыва крупного термоядерного заряда. Уровень радиации составляет вблизи него 3 - 5 миллирентген/час, что в сотни раз превышает нормальный радиационный фон. Речь в статье, по-видимому идёт только о γ -излучении. Но, как показал Чернобыль (а до того и Уральская катастрофа), куда опаснее инкорпорация образовавшейся при взрывах α - и β -радиоактивной пыли. Между тем, жесткий режим запрета доступа к загрязнённым участкам, установленный прежними хозяевами полигона, ликвидирован. Нет ни карт, ни инструкций, ни предупредительных знаков, ни ограждений. Многие местные жители понятия не имеют о радиационной опасности: кончены ядерные испытания - и ладно. Казахстанская администрация составила много планов, но они не выполняются. А пока что на загрязнённой почве пасут скот и заготавливают сено. Произведенные молоко и мясо поступают в города. Коммунистической тоталитарной системы нет, ядерного полигона - тоже. А губительное действие **разных видов** радиации продолжается...

Но не только на Семипалатинском и Новоземельском полигонах ядерные взрывы трясли землю.

В начале 1960-х гг. министр среднего машиностроения Е. П. Славский предложил Сахарову "посвятить свою изобретательность мирным применениям ядерных взрывов" для вскрытия рудных месторождений, прокладки каналов, строительства гигантских плотин и т. п. /"Воспоминания", стр. 283/. Далее Сахаров пишет:

«...на пути практического осуществления всех этих идей стояла серьёзнейшая опасность радиоактивного заражения почвы, почвенных вод и воздуха» /там же, стр. 351 - 352/.

Эта опасность не остановила советских руководителей. Они проигнорировали её так же, как и опасность ядерных испытаний в других средах. На объектах Средмаша "особенно большой размах приобрела разработка специальных ядерных зарядов для взрывных работ в мирных целях" /там же/. "Мирные" подземные взрывы под экзотическими кодовыми наименованиями ("Гелий", "Кратон", "Тайга", "Кимберлит" и т.д.) производились по заказам различных ведомств - даже таких, как министерства иностранных дел и культуры, - в различных грунтах, на разных глубинах, вблизи больших рек и озер, зачастую в густонаселённых районах средней России и Украины. В упомянутой выше статье Л. Почивалова "Россия - страна сотен Хиросим" приводится карта 128 рассекреченных "мирных" взрывов (прочие ещё остаются секретными). Взрывы эти продолжались почти до развала

СССР. Наиболее явный вред приносили взрывы на выброс, которые, естественно, невозможно было скрывать. И потому в 1972 году их пришлось прекратить. Сложнее обстояло с "камуфлетными" взрывами. Последствия их были в общем такими же, как и от подземных испытательных взрывов на полигонах: радионуклиды попадали в воду и атмосферу, выносились на поверхность и включались в биологический кругооборот. Это усугублялось ещё и тем, что зарядные скважины и образованные взрывами подземные полости нередко оставались бесхозными. Остеклование их стенок происходило далеко не всегда, а если и происходило, то вскоре растрескивалось. Иногда струи радиоактивного пламени вырывались из плохо забетонированных скважин сразу же после взрыва, порой скважины дышали смертоносными радионуклидами и через продолжительное время, а на дне близлежащих водоёмов били радиоактивные фонтанчики. Вред от "мирных" подземных ядерных взрывов проявлялся в разных местах по-разному, секретность сохранялась долго, и информация о них прорвалась в открытую прессу значительно позже – фактически после развала СССР. Что конкретно знал об этом Сахаров, чего не знал, принимал ли он личное участие в разработках предназначенных для "мирных" взрывов ядерных зарядов, – нам неизвестно.

В США в 1960-е годы тоже начали было применять мирные ядерные взрывы, но вскоре от них полностью отказались по причине их экологической вредности.

Сахаров и Чернобыль

Акад. Е.Л. Фейнберг в статье "Сахаров в ФИАНе" /"Новый мир" N 5, М., 1994/ пишет о том, что Сахаров ещё в период своего пребывания на Ульяновском патронном заводе написал четыре работы по теоретической физике, которые послал И.Е. Тамму. В январе 1945 г. Сахаров приехал к нему в ФИАН. Далее Фейнберг рассказывает:

«И.Е. в крайнем возбуждении выскочил из комнаты и выпалил, наткнувшись на меня: "Вы знаете, А.Д. сам догадался, что в урановом котле (так называли тогда реактор – Е.Ф.) уран нужно размешать не равномерно, а блоками!"»

Этот принцип гетерогенной периодической структуры активной зоны, только и делавший возможной управляемую цепную реакцию деления урана в реакторе на природном уране с графитовым замедлителем нейтронов, был известен тогда в США, в Англии, в нацистской Германии и СССР, но был строжайше засекречен. Сахаров, сидя в Ульяновске, додумался до него сам, без всякого контакта со специалистами. Это и поразило Тамму, как и других сотрудников ФИАНа.

Если бы Сахаров работал в области физики реакторов, реакторостроения и ядерной энергетики, он безусловно достиг бы успехов не меньших, чем в области термоядерного вооружения. Но судьба его сложилась иначе.

Более, чем через сорок лет после этой своей, видимо, первой встречи с Таммом, Сахаров пишет в своих мемуарах:

«26 апреля произошла ужасная катастрофа в Чернобыле. Я узнал об этом с большим запозданием, из клочка газеты двухдневной давности с кратким (и не точным) сообщением ТАСС (вероятно это было 6 мая).

В те дни я не только не слушал западное радио (таков был мой "режим" все 6 месяцев Люсиного отсутствия, я уже об этом писал), но и не читал регулярно газет. Я также не видел по телевидению первой пресс-конференции, на которой выступал Велихов и из которой можно было составить себе впечатление, отличное от того, какое складывалось из первых газетных сообщений.

К моему стыду, я усиленно поддерживал в себе ощущение, что ничего особенно ужасного не произошло. Я принял в качестве основной, определяющей количественной информации приводившиеся в начале мая в советской печати цифры радиационной зараженности - 10-15 миллирентген в час - якобы вблизи реактора в первые дни аварии (?). Других количественных данных не сообщалось. На основании этих цифр действительно складывалась относительно благоприятная картина. Правда, оставалось непонятным, отчего же погибли пожарные - об этом к середине месяца уже было известно. Я считал совершенно исключённой по **приведенным цифрам** возможность распространения существенных радиоактивных осадков на большой территории, подобно тому, как это имеет место при ядерных испытаниях, исключал сколько-нибудь серьёзные экологические последствия и последствия для людей, вызванные непороговыми биологическими эффектами (дополнительные случаи рака и генетические повреждения). **Всё это было позорной ошибкой!** Одной из причин её явилось то, что опубликованные в советской прессе данные были (умышленно?) занижены в сто или более раз! Другой причиной было отсутствие у меня правильной информации. К сожалению, была и третья причина - известная предубежденность, инертность мышления, нежелание посмотреть в глаза ужасным фактам.

. . .

ГБ сумело полностью использовать моё заблуждение. Ко мне с 7 по 19 мая подходили на улице люди, якобы случайные прохожие, и спрашивали о Чернобыле, и я (хотя и с оговорками о недостатке информации) говорил им успокоительные вещи. Всё это тайно записывалось, снималось на плёнку и передавалось на Запад (уже без оговорок). ГБ записало и опубликовало на Западе сказанные мной 13 мая в телефонном разговоре с Люсей неумные слова: "...Это не катастрофа, это авария!.."» /"Горький, Москва, далее везде", стр. 18; вид. С.Т./.

И далее:

«В высшей степени потрясли меня те новые для меня факты, которые Люся сообщила о Чернобыльской катастрофе. ...Всё это было ужасно, в корне меняло ту относительно благополучную картину, которую я составил себе и которая частично сохранялась в моём воображении...

Мне хотелось бы верить, что я сумел извлечь уроки из своей ошибки. Во всяком случае, последующие месяцы я много думал о том, как же я мог так ошибаться» /там же, стр. 20 – 21/.

Среди нескольких причин такой слепоты здесь покаянно подчёркнута главная: "нежелание посмотреть в глаза ужасным фактам". С Сахаровым это порой случалось. Но в 1988 году ему представился шанс свою ошибку исправить. Он пишет:

«Осенью 1988 года ко мне дважды обращалась редакция "Нового мира" (редактор С.П. Залыгин) с просьбой о поддержке.

В первый раз это был вопрос о публикации "Чернобыльской тетради" Григория Медведева. Я написал предисловие к этой волнующей документальной повести, написанной специалистом-атомщиком, ранее работавшим в Чернобыле и находившимся там сразу после аварии. Публикация встречала очень большое сопротивление со стороны ведомств, причастных к аварии. Я подписал составленное С.П. Залыгиным письмо к М.С. Горбачёву с просьбой о разрешении публиковать повесть /там же, стр. 110/.

Эта повесть, опубликованная в следующем году в "Новом мире" № 6, содержит огромную информацию о катастрофе и многих её последствиях. Главное в ней – тот (многое объясняющий) факт, что из активной зоны реактора было выброшено **более половины** содержавшегося в ней ядерного топлива (двуокиси урана), причём около 50 тонн – в мелкораспылённом виде. Это было первое в советской прессе правдивое сообщение о масштабе чернобыльского радиоактивного выброса. Оно находилось в вопиющем противоречии с переданной вскоре после катастрофы в МАГАТЭ (и принятой последним) официальной версией о выбросе "3,5% топлива". На протяжении последующих лет упомянутый нами ранее акад. Велихов, ставший директором ИАЭ, неоднократно пытался реанимировать эту 3,5%-ю версию. Но обнаружить в развалинах реактора "остатки радиоактивного топлива, в количестве 90%" не удалось и через десять лет после катастрофы. /А. Тарасов. Когда Земля вскрикнула. "Литературная газета" № 17 (5599) 25.IV.1996; А. Боровой. Мой Чернобыль. "Новый мир" № 3. М., 1996/. Тем не менее, после прочтения повести остаётся неясным, какого характера был **второй, последний** взрыв в реакторе 4-го блока и почему он сопровождался кратковременной, но весьма яркой вспышкой.

Не знаю, был ли Сахаров знаком с проведенными за 30 лет до Чернобыльской катастрофы американскими экспериментами по взрывам действующих макетов активных зон, мгновенно вводимых (наподобие зарядам атомных бомб) в глубоко закритическое состояние /см. хотя бы "McGraw-

Hill, Encyclopedia of Science & Technology" V. XII, pp. 198 - 199 (Experimental reactors)/. А ведь после **первого** взрыва (пароводяного контура) и выброса пара из каналов активной зоны реактор 4-го блока ЧАЭС попал именно в такое состояние. Но трудно себе представить, чтобы Сахаров, будучи крупнейшим специалистом по ядерным взрывам, не мог понять и просчитать физику процессов, происходивших в этом реакторе перед последним взрывом и во время его. Не исключено, что разрешение на публикацию повести Г. Медведева было результатом компромисса, исключавшего точки над многими "1". Остались за кадром разъяснение **сущности** этих процессов, **специфика** "чернобыльских" радиационных поражений, степень виновности **разработчиков** АЭС и многое другое.

Вообще удивительно, почему **правозащитник Сахаров** не выступил, используя свои знания и авторитет, в защиту несправедливо осуждённых чернобыльских эксплуатационников, не поставленных в известность об опасных особенностях вверенной им техники? Почему он не занялся разоблачением истинных виновников Чернобыльской катастрофы и её последствий (Председителя АН СССР А. П. Александрова, Председателя Госкомитета по атомной энергии А. И. Петросьянца, вице-президента АМН СССР Л. А. Ильина и пр.)? Более того, почему не вступился за "ликвидаторов" и жителей загрязнённых радиоактивными выпадениями обширных регионов, оставленных без медицинской и социальной помощи? Ведь тяжелейшие заболевания тысяч и тысяч людей, вызванные не внешним γ -облучением, а **внутренним корпускулярным** (α - и β -) облучением инкорпорированной ими радиоактивной пылью частично отработанного керамического ядерного топлива, не носили характера "классической" лучевой болезни. Но, в соответствии с секретными инструкциями 3-го управления Минздрава и других ведомств тогдашнего СССР, они (под различными названиями - вроде "**сосудистой атонии**", "**вегето-сосудистой дистонии**", "**астено-вегетативного синдрома**" и т. п.) сплошь и рядом признавались специалистами "московской школы" секретной радиологии, возглавляемой Л. А. Ильиным, как "**не связанные с облучением**". А пострадавшие от них - "**в дальнейшем лечении не нуждающимися**". Ныне эти отвратительные факты достаточно широко известны. Но ещё при жизни Сахарова, в конце 1980-х годов, об этом появились сообщения не только в зарубежной (в частности, эмигрантской), но даже в советской прессе.*

Трудно себе представить, чтобы Сахаров, после получения более или менее правдивой информации о катастрофе не мог понять, что радиоактивность Чернобыльского пылевого выброса сходна по спектру (и биологическому воздействию) с радиоактивностью продуктов "грязного" взрыва изделий, основанных на "третьей идее". И что ее суммарные масштабы сопоставимы с масштабами радиоактивности продуктов 58-мегатонного взрыва "мощного" в 1961 году.

См. к примеру ст проф В Н Соифера "Чернобыльская катастрофа, загрязнение окружающей среды и наследственность человека" /"Континент" N 52 Париж 1987/ или дискуссионную подборку "Большая ложь" /"Московские новости" N 42 15 X 1989/

Далее текст Д. Штурман:

Оборванный взлёт

Сахаров бывает очень точен в самонаблюдениях. Он вспоминает (цитирую в сокращении):

«Я также встретился со Стивеном Хоукингом. Я знал его работы, в том числе о квантовом излучении чёрных дыр (знаменитое хоукинговское излучение), об его болезни, о действиях в мою защиту. Сейчас, мне кажется, между нами возникла какая-то внутренняя связь, что-то более глубокое, чем просто знакомство и обмен научными сентенциями...

Я не знаю медицинской квалификации болезни Хоукинга, но вижу её ужасные проявления – сильнейшую миопатию, приковавшую его к креслу-каталке, лишившую речи. Общение Стивена с другими людьми осуществляется с помощью компьютерного устройства. Перед его глазами на дисплее бегут строчки словарика, и он еле заметным нажатием бессильных пальцев переводит нужные ему слова на экран, набирая фразу. Затем механический голос произносит эту фразу вслух (как "говорит" Стивен, с "американским" акцентом, т.к. машину делали в США). Только несколько слов, в том числе "Да" ("Йес"), Стивен может сказать сразу, без набора. Так он участвует в научных дискуссиях, общается с друзьями и близкими, пишет одну за другой свои статьи, содержащие глубокие и оригинальные идеи. Стивен женат, у него есть дети.

. . .

Я сказал Стивену, что прочитал его лекцию о стреле времени и очень рад, что он теперь признал справедливость критики Пейджа (его сотрудника) по поводу ошибочного предположения о повороте стрелы времени в момент максимального расширения Вселенной и максимальной энтропии. Поворот стрелы времени возможен лишь в состоянии **минимальной** энтропии. Я не привёл по робости самого простого и ясного примера – замкнутой Вселенной в состоянии ложного вакуума с положительной энергией и равной нулю энтропией. В этот момент Хоукинг сделал движение пальцами, и компьютер произнёс бесстрастно "Йес!". Я, к сожалению, не сказал, что впервые высказал идею о повороте стрелы времени (в состоянии минимальной энтропии) ещё в 1966 году и несколько раз возвращался к этой теме.

Во время разговора рядом стоял неизвестный мне человек. Потом он подошел ко мне и сказал: "Я – Пейдж". Он открыл на заложенном месте Библию на английском языке. Это было Евангелие от Матфея. Пейдж, видимо, предлагал мне Библию в подарок. Я постеснялся, не решился взять – тем более, что я всё же плохо читаю по-английски, а на русском Библия у нас есть, и мы знаем её... Я всё время вспо-

вспоминаю лицо Хоукинга, его глаза» /"Горький, Москва, далее везде", стр. 65 - 66/.

Здесь всё правильно: Сахаров, действительно, застенчив (при большом мужестве). И он, действительно, порой бывает "задним умом крепок", т.е. осознаёт свою ошибку *post factum*. Это нередко свойственно людям ума глубокого, мощного, но сравнительно медленного. Он слабават в психологии, медлителен (или поверхностен, не знаю) в постижении проблем социально-гуманитарных. Но после факта осмысление сделанного шага, сказанного слова в нём продолжается. И поэтому так часта в его размышлениях самокритика в отношении к уже сказанному и давно сделанному. Отчасти поэтому в Сахарове и его судьбе видятся характер и путь не только сложные, полные напряжения и трудностей, но и глубоко трагические.

Удивительно, как живучи в людях их предрассудки. С одной стороны, Сахаров не перестаёт повторять свой тезис о конвергенции капитализма и социализма. Уже после только что описанных нами дискуссий на Форуме он констатирует:

«Главными и постоянными составляющими в моей позиции являются – мысль о неразрывной связи сохранения мира с открытостью общества, с соблюдением прав человека так, как они сформулированы во Всеобщей декларации прав человека ООН; убеждение, что только конвергенция социалистической и капиталистической систем – кардинальное, окончательное решение проблемы мира и сохранения человечества» /там же, стр. 74/.

С другой стороны, когда он, Е. Г. Боннэр и её мать отдыхали в Эстонии (июль-август 1987 г.), он сделал следующие выводы из того, что видит:

«В Эстонии нам часто приходилось слышать – мы больше и лучше работаем, потому что лучше живём. Это, конечно, только малая часть правды, лежащая на поверхности. Более глубокая и истинная причина – та, что социализм прошелся по этой земле своим катком поздней и с гораздо меньшей силой и последовательностью, имея для своей разрушительной работы меньше времени. В республиках, входивших в состав СССР с самого начала, гораздо глубже осуществился трагический процесс уничтожения активных слоёв крестьянства, в том числе чисто физически. Одновременно сильней произошло размежевание общества с выделением партийно-государственных бюрократических, паразитических по их сути, структур. Не случайно в этих "старых" республиках так медленно развиваются арендные, кооперативные и тем более частные формы хозяйства при почти не скрываемом противодействии местных партийных и государственных органов» /там же, стр. 76 - 77; выд. Д. Ш. /.

С чем же предлагается "конвергироваться" капитализму? С беспощадным катком, уничтожающим всё плодоносящее и продуктивное?

Остаётся предположить, что Сахаров упорно и несправимо, с конца 1950-х гг. и до конца годов 1980-х, путает термины: "социальный" и "социалистический". Как на Западе, так и в странах бывшего "соцлагеря" это очень распространённая ошибка. Между тем это антонимы, а не синонимы. В современном развитом и устоявшемся демократическом государстве, представляющем интересы всего общества, "социальный" (ая, ое) означает: взятый (ая, ое) на себя государством и обществом (социумом) в интересах всех граждан и особенно - ослабленных слоёв населения. Нормальное государство почти ничего не производит. Оно изымает часть произведенного обществом продукта на его же нужды (и, конечно, на своё содержание). В частности, оно разделяет с обществом заботу о благосостоянии ослабленных слоёв населения: детей, стариков, инвалидов, больных, иммигрантов, безработных, жителей областей страны, терпящих стихийные бедствия, и т. п.

"Социалистический" - от "социализм" - это характеристика определённого типа государственного устройства как целого. Социализм - это предельная концентрация (монополизация) всей политической, экономической и культурно-идеологической инициативы в руках диктаторского государства. Социальной помощью слабым слоям населения социализм озабочен меньше всего, хотя и "притворяется", что всё всем даёт "бесплатно": образование, медицинскую помощь, пенсии и т. п.

Национал-социализм, фашизм, коммунизм - разновидности этого типа государственного устройства, по-разному (или вариативно) идеологически окрашенные.

Капитализм может сосуществовать - в определённых, более или менее подвижных границах - с государствлением какой-то части национального достояния. Но и государственная собственность при капитализме участвует в рыночной конкуренции на общих основаниях, не исключая и не подавляя частной.

Иное дело - социальная помощь. Для определённых слоёв и групп населения она должна быть гарантированной. Но и здесь - переход целесообразной границы плодит иждивенчество и разлагает общественную мораль.

Сахаров как представитель точного знания должен был бы, наконец, понять, по меньшей мере, две вещи: во-первых, неслиянность этих диаметрально противоположных укладов: капитализма, в основе которого лежит свободная конкуренция, и социализма, который основан на предельной концентрации управления всеми экономическими ресурсами и всеми сторонами общественной, а по возможности - и личной жизни граждан; во-вторых, обречённость социализма на необратимое и ускоряющееся нарастание энтропии - на развал без естественного перехода в новое качество.

Системой, состоящей из бесконечно большого числа непрерывно изменяющихся компонентов, нельзя эффективно управлять посредством предписываемых ей извне ("сверху") программ (тестов). Непрерывное накопление её энтропии станет в конце концов необратимым. И тогда её нельзя будет реформировать: хаос поглотит все жизнеобеспечивающие структуры.

Копелев и Орлова, к примеру, могли этого не понимать. Но Сахаров просто не позволял себе додумывать этот факт до конца, ибо не знает

о нём в принципе он не мог – тем более после ознакомления с работами Винера, Шеннона, Неймана и др.

Но, вероятно, окончательная, чёткая формулировка этого факта (для себя лично, на своём языке) и слишком ко многому обязала бы, и слишком многое сделала бы непростительным в собственном прошлом. Сахаров инстинктивно от этого уходил – вплоть до последнего года жизни.

* * *

Окружение Горбачёва изо всех сил старалось структурировать Сахарова в "перестроечный" истеблишмент. Вчерашний изгой и ссыльный (правда, не слишком обычный ссыльный), он приобрёл за годы правозащитной борьбы и опалы колоссальный международный авторитет. И теперь, по замыслу власти, должен был положить его на чашу весов, принадлежащую Горбачёву.

Сахарона втягивают в игру как международный эталон справедливости и беспристрастия. И он достаточно скоро начинает об этом догадываться.

«В конце 1987 года я сделал два шага, противоречащих моему обычному принципу действовать индивидуально и не принимать на себя каких-либо административных обязанностей. Я потом сожалел об этих шагах.

Речь идёт, во-первых, о моём согласии принять на себя обязанности председателя комиссии при Президиуме АН СССР по космомикрофизике. Реальные организаторы этой комиссии М. Ю. Хлопов и А. Д. Линде уверяли меня, что мои обязанности будут чисто почётно-формальными и не потребуют каких-либо усилий. Всё, конечно, оказалось совсем не так. Всё же что-то интересное, возможно, в этой деятельности будет – в частности, поддержка важных проектов, таких, например, как создание международной космической обсерватории и создание радиоинтерферометра с космической базой. Какое-то приближение к научной работе (что данно стало для меня недостижимой мечтой) при этом, может быть, произойдёт.

. . .

Более печальная история произошла с так называемым Международным фондом за выживание и развитие человечества. Организация Фонда – изобретение Велихова и, возможно, его сотрудника Рустама Хаирова. Велихов ещё в дни Московского Форума (о котором я писал в главе 2) привлёк к этому проекту Джерома Визнера, ещё кого-то из иностранцев, состоялось несколько организационных совещаний в США и в Москве. Я узнал о проекте лишь в конце 1987 года от Визнера, приехавшего к нам домой уговаривать меня вступить в Фонд, затем эти уговоры продолжил Хаиров. Не вполне понимая в основном чисто административно-финансовые функции Фонда (так же, как многих других фондов), я предполагал, что войдя в совет директоров, я, наконец, смогу реально способствовать проведению исследований и меро-

приятий в целях выживания человечества и устранения глобальных опасностей в духе развивавшихся мной на протяжении многих лет идей. Я рассматривал поэтому вступление в Фонд как логическое продолжение своей предыдущей деятельности. Это была большая ошибка. Частично она произошла из-за того, что Визнер и особенно Хайров нарисовали передо мной вполне утопическую картину будущей работы Фонда и тех возможностей, которые возникнут при моём в нём участии.

. . .

Хуже же всего, что у Фонда по существу не было задач, не дублирующих уже ведущиеся во всем мире работы по проблемам разоружения и экологии и другим глобальным проблемам. Сейчас, когда уже прошло более полутора лет с момента объявления фонда, он всё ещё не нашел себе областей деятельности, которые оправдывали бы его громкое название и широковещательные заявления организаторов, сложную и дорогостоящую структуру. Провозглашенный международный характер деятельности Фонда и его организационной структуры не только не увеличил возможностей работы, но, наоборот, - крайне затруднил выбор и формулировку проектов, сделал работу более сложной, очень громоздкой и дорогостоящей.

В целом, если попытаться дать оценку Фонда, отвлекаясь от частностей и некоторых немногих полезных, но недостаточно масштабных начинаний, он выглядит как типичная бюрократическая организация, работающая сама на себя (и на своих сотрудников)» /там же, стр. 78 - 80; разрядка Сахарова, выд. Д. Ш. /.

Боюсь, что Сахаров и здесь проявляет некоторую присущую ему наивность, проистекающую из его собственной неспособности к интригам и маскировке. Вряд ли мероприятие такого масштаба задано (или искажено) только личным своекорыстием его организаторов и участников. Не могло оно быть и собственным изобретением Велихова. Предполагаю, что речь идёт об очередной модификации ВОКСа. Но с той оговоркой, что в данном случае заботятся о пристойной "крыше" для более серьёзных операций, чем ВОКСовские. Речь идёт, по-видимому, о каком-то деструктивном воздействии па западное общество, об агентуре влияния, а возможно, и о более глубоко законспирированных операциях.

Наблюдая за всем "перестроечным" процессом со стороны, но пристально и непрерывно, можно сделать предположение, что и тогда, в самый канун агонии коммунистического государства, партократия продолжала преследовать свои далеко идущие, как ей всё ещё виделось, цели. А имя Сахарова помогало ей исключить нежелательные догадки зарубежных партнёров относительно характера, задач и действий организации, о которой идёт речь.

Сахаров пишет:

«Накануне первого заседания Фонда я написал шесть заявок на проекты и передал их исполнительному директору.

Вот темы этих проектов:

1. Исследование возможностей и последствий сокращения срока службы в армии в СССР.

2. Подземное расположение ядерных реакторов атомных электростанций и теплостанций.

3. Разработка условий договора об открытом проведении научных и конструкторских исследований, которые потенциально могут способствовать созданию особо опасных систем оружия.

4. Законодательное обеспечение свободы убеждений.

5. Законодательное обеспечение свободы выбора страны проживания.

6. Гуманизация пенитенциарной системы.

К сожалению, только три последние темы были приняты Советом директоров (далеко не сразу, и до сих пор ещё не оформлены в качестве проектов)» /там же, стр. 80/.

Чего и следовало ожидать. Убеждена, что подводная часть очередного айсберга, отрывающегося от тоталитарной Антарктиды, формировалась гораздо оперативней и эффективней, чем его надводные декорации. По всей вероятности, борьба против СОИ была одной из главных, но далеко не единственной задачей Форума. У "Римской империи времени упадка" не было недостатка в коварных замыслах. "Международный фонд за развитие и выживание человечества" мог быть для решения этих задач хорошим легальным прикрытием. Достаточно взглянуть на то, какие из предложений Сахарова формально прошли. Но даже и они, при всей их невинности, прошли на бумаге, а не на деле. Об истинных же целях очередного ВОКСа мы можем только догадываться (как по опыту, так и по аналогии).

Начиная понимать, что его используют, Сахаров не осознаёт – ради каких целей. В его глазах, всё ограничивается подменяющей общественный долг примитивной личной корыстью.

Для отвода наивных западных глаз, в новое боевое агитподразделение ввели не только прогрессивных интеллигентов класса Д. Лихачёва и Т. Заславской, но и вчерашних политзаключённых. Сахаров пишет:

«С советской стороны в "Группу проекта" вошли некоторые диссиденты, в том числе Сергей Ковалёв и Борис Чернобыльский. То, что именно эти темы получили наибольшее развитие (хотя в основном пока формальное), связано с огромной заинтересованностью на Западе темой прав человека и желанием Велихова и Визнера сыграть на этом, используя мою личную популярность, и подправить таким образом дела Фонда, в особенности финансовые. Всё это поставило меня в очень сложное положение, тем более, что сейчас темы прав человека в их "классическом" варианте кажутся мне далеко не столь определяющими, как несколько лет назад. Появились новые возможности изменений в стране во многих областях, большин-

ство узников совести освобождены, проблема эмиграции, оставаясь актуальной, стала менее острой и в какой-то степени движется, в то же время многие проблемы, **о которых мы ранее не смели и думать**, вышли на первый план: национально-конституционное переустройство страны и весь комплекс национальных проблем, кардинальная экономическая реформа, в том числе многопартийная система, реальное решение экологических проблем, социальные проблемы, судьба малообеспеченных людей, здравоохранение, образование. В качестве члена Совета директоров я не обязан следить за конкретной работой по проектам, в том числе за работой Группы проекта по правам человека. Но так как меня сделали также председателем Комитета по правам человека (я не уследил, как это произошло), то определённые обязанности на мне лежат» /"Москва, Горький, далее везде", стр. 81 – 82; вид. Д. Ш. /.

Всё это размышление говорит о весьма значительных, глубинных сдвигах в мироощущении Сахарова. Слова: "...о которых мы раньше **не смели и думать**" (вид. Д. Ш.) – это знаменательное признание.

"**Не смели и думать**" – это значит, что думали, но загоняли прозрения и сомнения в подсознание. Не решались, не считали возможным додумывать до логического конца. Закрывали слух и глаза для слышимого и видимого. И, главное, для бескомпромиссных выводов.

Скорее всего, это риторическое "мы" означает не лично Сахарова, а некую историческую генерацию. Боюсь, что лучшего имени для этого "мы", чем данное – с горечью – Солженицыным, не подберёшь. "Мы" – это советская "образованщина" и те, кто влились в неё из просвещённого слоя прошлого. Ибо **масса** не убегала от понимания происходящего, а просто жила. Она думала естественно, как дышала, – то, что ей думалось. Видеть – видела, а думала то, над чем хватало ума и досуга поразмыслить. Но образованный слой, **профессиональные думатели**, их титаны – "не смели и думать"?

«Так – произошло, и с историей уже не поспоришь: согнали нас в образованщину, утопили в ней (но и **мы дали** себя согнать, утопить» /А. И. Солженицын, Публицистика. Статьи и речи, стр. 89; вид. Солженицыным/.

Но Солженицын же и говорит:

«И слой, и народ, и масса, и образованщина – состоят из людей, а для людей никак не может быть закрыто будущее: люди определяют своё будущее сами, и на любой точке искривлённого и ниспадного пути не бывает поздно повернуть к доброму и лучшему.

Будущее – неистребимо, и оно в наших руках. Если мы будем делать правильные выборы.

...Жаль молодёжь? Но и: чье же будущее, как не их? Из кого ж мы и ждём жертвенную элиту? Для кого ж мы и томимся этим будущим?

Мы-то стары. Если они сами себе не построят честного общества, то и не увидят его никогда» /там же, стр. 112, 119/.

И чуть раньше:

«С историей не поспоришь, а в душе – протест, несогласие: не может быть, чтоб так и осталось! Воспоминанием ли прошлого, надеждой ли на будущее: **мы** – другие!..» /там же, стр. 89; вид. Солженицыным/.

Действительно – другие: стоило Михаилу Сергеевичу "начать", – и у стольких прославленных интеллектуалов "процесс пошел": принялись думать. Как после XX съезда: "...Нас всё же спас анализ: не знали мы, но всё-таки дознались" (С. Кирсанов).

И снова приходит в голову неотвязная ересь: для власть предержавших была немалым выигрышем прикованность внимания мира к правозащитным акциям, возмущение запретами на выезд, жизнеопасные голодовки по этому поводу и всяческий шум вокруг них. Лишь бы удавалось гасить и глушить внимание к плодам зрелой мысли, отрицающей систему и строй принципиально и непримиримо. Лишь бы не сотрясало народное чувство беспощадным научным и художественным воссозданием "нового мира" и его истории, духовной и фактической.

Мне возразят, что "они" не могли быть так умны и предусмотрительны, чтобы видеть пропасть между правозащитниками и аналитиками. Не скажете!.. Инстинкт самосохранения дьявольски хитёр и изобретателен. В гонке на короткие дистанции он нередко опережает ум. Эта короткая обмолвка Сахарова ("**не смели и думать**") – главный стержень социального мышления "образованщины" всех степеней, вплоть до высших. Водораздел прошёл между теми, кто смел думать и, главное, додумывать до конца и кто не смел.

Заметим, забегая далеко вперёд: обе стороны (и власть, и аналитики, в том числе художники) сильно преувеличили силу слова. Наступает момент, когда люди пресыщаются словом, перестают в него верить. Ибо слово существенно помогает **сломать, взорвать**, но оно не может **мгновенно построить**. Особенно из обломков.

* * *

По возвращении Сахарова из ссылки и проблемы правозащитные, и дела миротворческие постепенно начали терять для него свою остроту. По мере беспрецедентного (с 1918 года) оживления общественной жизни в стране и выхода "ограниченной гласности" из берегов интересы Сахарова вновь начали обретать фундаментальность, но в другой сфере – в области **государственного переустройства СССР**.

Сахаров говорит о своих официальных обязанностях (как председателя Комитета по правам человека):

«Выполняю я их очень поверхностно, формально, на большее нет ни сил, ни желания. Я, быть может, виноват перед теми, кого вовлёк в это дело, но что поделаешь» /"Горький, Москва, далее везде", стр. 82/.

Чрезвычайно симптоматичные слова. Назревали серьёзные сдвиги в его сознании и его задачах.

Всё дальнейшее относится к открытой общественной и государственной деятельности Сахарова последнего года его жизни. Совершенно иного, чем прежде, свойства, – эта деятельность оборвётся на взлёте – словно метким ударом.

Один из бывших коллег А.Д. Сахарова Б.Л. Альтшулер, выступая с лекцией в Израиле, сказал, что Е.Г. Боннэр высказалась о смерти мужа так: "Умер, как убит". Слушатели сочли это яркой метафорой. Помните – у Пастернака: "Целься. Всё кончено. Бей меня влёт" /"Меткий стрелок, одинокий охотник"/.

Совсем недавно я бы не осмелилась высказать смутное своё ощущение чего-то зловещего в скоростной кончине Сахарова. Нам был известен, по меньшей мере, один случай сходно обставленного политического убийства. Но, во-первых, и тогда никто не взялся довести расследование до конца. А во-вторых, в таких серьёзных вещах аналогия – не доказательство. Но в феврале 1995 года появилась в израильской ивритоязычной газете "Едиот ахронот" ("Последние новости") статья Дмитрия Прокофьева, републикованная по-русски израильской же газетой "Вести" 13 февраля 1995 года. Во избежание кривотолков привожу её полностью. Замечу, что Дмитрий Прокофьев – журналист серьёзный и на дешёвые сенсации не падок.

"КГБ убил Сахарова"

"Андрей Сахаров был убит КГБ по указанию Кремля", – заявил председатель Лиги защиты прав человека России Сергей Григорьянц на конференции "КГБ вчера, сегодня, завтра", проходящей в эти дни в Москве.

По официальной версии, Сахаров скончался от остановки сердца. По словам Григорьянца, за несколько месяцев до смерти Сахаров прошел медицинское обследование в одной из американских больниц, и врачи пришли к заключению, что у него нет кардиологических проблем.

"В конце 80-х годов Сахаров являлся главной политической альтернативой Горбачёву, – сказал Григорьянц. – Политическая верхушка опасалась, что на свободных выборах Сахаров может быть избран президентом СССР".

Григорьянц отметил, что у него нет доказательств того, что Горбачёв знал о готовящемся убийстве Сахарова, но из документов, переданных Федеральной службой контрразведки вдове Сахарова Елене Боннэр следует, что КГБ готовил акцию против Сахарова.

Комментариев к этому сообщению у меня нет. Но если это правда, то не борьба за президентское кресло тому причиной: Сахаров не претендовал бы на эту должность и для неё не годился. Советскую верхушку пугало другое. Убил КГБ Сахарова или нет (может быть, что не успел убить), но правящую клику устрало полное переключение мощного научного интеллекта Сахарова с идей отвлечённо-физических и конкретно-правозащитных на идею целостного конституционного правотворчества. При его моральном авторитете и, повторяю, **теоретическом** гении, он, сосредоточась на этой задаче, мог объединить все здоровые силы страны для оперативного создания жизнеспособной и принципиально иной, чем действовавшая (бездействовавшая), **демократической** конституции. В то время это многое могло бы предупредить и изменить (в границах **всего** СССР, ещё единого).

За тринадцать лет до смерти Сахарова многозначительное допущение относительно его грядущей судьбы было сделано в замечательной книге А. П. Федосеева "Западня" /Франкфурт-на-Майне: Изд. "Посев". 1976/. Автор – крупнейший специалист в области электроники сверхвысоких частот, самобытный экономист и системолог, д-р технических наук. Лауреат Ленинской премии, орденоседец, вскоре после получения звания Героя социалистического труда, Федосеев в 1971 году бежал из СССР во время заграничной командировки, чтобы предать гласности своё "открытие социализма" (то есть его сущности), полученное на основе точного знания. С тех пор он формально числится "изменником родины".

Вот что пишет о Сахарове Федосеев в этой книге:

«...Деятели типа акад. Сахарова... очень известны... хорошо разбираются в так называемых "советских законах", и с ними трудно правиться в открытую. Как ни странно, власть извлекает из них* выгоду. Факт, что Сахаров ещё действует... вселяет надежды и внутри страны и во внешнем мире на хотя бы слабые возможности перемен к либерализации. Конечно, на это надеются те, ...кто не понимает, что все ужасающие их проявления диктатуры есть её естественные свойства, без которых её и не было бы. Эти надежды, в общем, соответствуют целям КГБ и власти, поскольку приводят не к усилению, а к ослаблению активности. **Можно не сомневаться, что когда Сахаров станет безусловно опасным, ему очень придётся опасаться неожиданной болезни или несчастного случая**» /стр. 350; выд. Д. Ш. /.

Разумеется, предположение А. П. Федосеева тоже ничего не доказывает юридически. Однако оно подкрепляет версию С. Григорьянца, тем более, что история "органов" насчитывает великое множество различного рода "устранений". Часть их зафиксирована и доказана.

Вернёмся, однако, к нашему сюжету.

В отрывке от бескомпромиссных принципиальных противников социалистической системы типа самого А. П. Федосеева – прим Д. Ш.

Начало этого оборванного внезапной смертью периода отражено в главе "Съезд", заключающей вторую книгу воспоминаний Сахарова. Интонации этой главы тождественны интонациям выступлений Сахарова на съезде. Они носят характер особой твердости и решительности. В сочетании с глуховатым, ослабшим голосом, с резко изменившимся (по сравнению с прежними портретами) общим обликом, эта твердость впечатляла. Заставить Сахарова замолчать не могли ни реплики (скорей – окрики) Горбачёва, ни выключенный микрофон, ни топот, свист и явно враждебное хлопанье депутатов-коммунистов и прокоммунистов (националисты тогда ещё не сплотились в столь чётко оформленную группу, как теперь).

У видевших этот съезд (а у нас уже было международное кабельное телевидение, и мы его смотрели, не выключая) сложилось впечатление, что заставить Сахарова отступить невозможно. Что-то он потерял (своё добродушие, свою мягкость, некоторую свою замкнутость), но нечто более важное (так виделось издали) приобрёл: единонаправленность и непреклонность.

Он, впрочем, и прежде не склонен был отступать от своих убеждений. Он думал и чувствовал (точнее – изо всех сил старался думать и чувствовать) иначе, чем более радикальные или (что точнее) более пронизательные в общественно-историческом плане его современники. И существенно иначе, чем приспособленческое большинство. У него не было достаточной чёткости исторических и социологических представлений. Со старших школьных лет он замкнул слух свой для рёва времени, бушевавшего за стеной его кабинета, и погрузился в далёкую от человеческой истории науку. Он попытался отстраниться от повседневности. Но его к ней вернули. Причём в самые горячие её пласты, поставив на службу Смерти, которая редко является без масок. На этот раз маской, приросшей к её, Смерти, голому черепу, была защита родины. С 1955 года его путь стал путём возвращения к ранее отторгнутой земной действительности. С различными мерами приближения к ней: ведь и в самых последних записках и выступлениях Сахарова нам приходится путаться в привычных для русской, ещё дооктябрьской, интеллигенции "лево-правых" определениях. Они всегда были условными и в разных странах в разные времена означали разное. В словопотреблении Сахарова (как и всего его слоя), вплоть до последних страниц его второй книги, "левый" означает "либеральный", "демократический". Твердокаменные коммунисты, по их собственной шкале – "крайне левые", у Сахарова выступают в качестве "правых". Здесь бесполезно спорить, ибо, повторим, эти политико-пространственные определения исторически и геополитически изменчивы, произвольны и употребляются по разным поводам, с различным, вплоть до прямо противоположного, смысловым наполнением. Следует, чтобы не сбиться, иметь в виду, что именно тот или иной человек подразумевает под **своими** "левыми" и "правыми". У Сахарова "левый" звучит позитивно и предполагает человека близкой к нему ориентации, то есть демократа и либерала (в современном, а не классическом смысле слова).

Позиция Сахарова на съезде была весьма радикальной (не случайно ему затыкали рот: зал – шумом, президиум – выключением микрофона).

Концептуально и психологически интереснее всего вывод Сахарова об итогах съезда, сделанный им для себя самого, не с трибуны:

«Каков же главный политический итог Съезда? Он не решил задачи о власти, оказался по своему составу и по позиции Горбачёва неспособен к этому. Поэтому он не мог также заложить основ кардинального решения политико-экономических, социальных и экологических проблем. Всё это – дело ближайшего будущего, жизнь нас торопит. Но Съезд полностью разрушил для всех людей в нашей стране все иллюзии, которыми нас и весь мир убаюкивали и усыпляли. Выступления ораторов со всех уголков страны, не только "левых", но и "правых", за 12 дней сложились в сознании миллионов людей в ясную и беспощадную картину реальной жизни в нашем обществе – такой картины не могли создать ни личный опыт каждого из нас, каким бы трагическим он ни был, ни усилия газет, телевидения и других средств массовой информации, литературы и кино за все годы гласности. Психологические и политические последствия этого огромны и будут сказываться длительное время. Съезд отрезал все дороги назад. Теперь всем ясно, что есть только путь вперёд, или гибель» /"Москва, Горький, далее везде", стр. 177; выд. Д.Ш., разрядка Сахарова/.

Сахаров не увидит даже августа 1991 года, не то, что октября 1993-го. Он не успеет почувствовать и понять, как трудно вернуть к норме массовое сознание, формировавшееся три четверти века в уродливо перевёрнутом мире. Но меня в этом его выводе потрясают более всего прочего выделенные мною слова.

К 1988 году были накоплены и такой жизненный опыт (во всех слоях населения), и такой фольклор, и такая художественная и научная литература, что считать открытием речи народных депутатов I съезда было просто наивно. Не только Самиздат – Тамиздат (это – пища лишь узкой части образованного слоя; причём для многих – даже не пища, а остренькая приправа к пище), но и легальнейший Госиздат не оставляли народу (тем более – образованным его слоям) ни малейшей лазейки для неведения. Речь на съезде шла не о теоретических основах советского строя, а о тяготах советской жизни. Кто же их не знал?

Я не устану повторять: страну потряс тогда не фактаж. Её потрясла возможность об этом говорить вслух, открыто, с трибун. И ораторов не хватают и не волокут в темницы, и не воздвигают на площадях эшафотов, и костры не вспыхивают! Вот что потрясало, вот почему страна (и не только страна, но и планета) не отрывалась от телевизоров: все жаждали знать, докуда смельчакам позволят дойти. А нового – много ли люди (и среди них – Сахаров) узнали тогда нового? Как они живут? Как ими правят? Они и раньше видели – как.

Вторым всенародным (и особенно – образованного слоя) потрясением (но это – несколько позже) было то, что от допущения свободы слова и даже от введения новых (в основном, практически ещё не задействованных)

законов качество жизни не улучшилось. Напротив: возникла лавина новых проблем. Трудности возрастали с невиданной быстротой. Но это уже другая тема – порождение другой эпохи, которой Сахаров не дождался.

Вначале же, повторяю, главным казалось то, что, **впервые на памяти нынешних поколений, заговорили обо всём открыто**. Заговорили с официальных трибун и у микрофонов, без подтекста, аллегорий и умолчаний, с перепечаткой во всех газетах. Это и потрясало. Одних – эйфорически обнадеживало, других – ужасало, третьих – обескураживало.

Все, кто имели доступ к народному и государственному слуху, стремились выговориться.

За этим взрывом самовыражения как-то забывалась, отходила на п-й план забота, которую полемически заострял Солженицын в изгнании ещё в 1982 году – в "Наших плюралистах". Эта статья болезненно задела многих оппозиционных публицистов. Тогда лишь Тамиздат-Самиздат смог выразить – не слишком убедительно – свой возмущённый отклик.

В "Наших плюралистах" за три года до первых веяний "перестройки и гласности" Солженицын предупреждал об угрозе оказаться перед лицом рушащегося режима **без конструктивной программы, без силы, способной перенять власть и обеспечить переустройство страны**.

Солженицын писал в 1982 году об "оттепели" периода XX и XXI партсездов:

«Историю своего просветления и умственного обогащения плюралисты не скрывают: "новая интеллигенция" – от XX съезда КПСС. "В 1953 почти никто не сознавал реальности." (Совсем уж глупенькими народ представляют. Сознавали – десятки миллионов, да уже полегли или языки закусили. "Не сознавали" – кто был на элитарном содержании.) А потом "у интеллектуалов будто пала катаракта с глаз". (И как не стыдно такое печатать? Кому "открыл глаза XX съезд" – вот это и есть р а б ы: о миллионных преступлениях им должны открыть сами палачи, иначе они не догадываются.)»
/"Наши плюралисты", стр. 141; разрядка Солженицына/.

Но куда важней, прозорливей и злободневней был следующий отрывок его страстного монолога:

«Преувеличением столичного диссидентства и эмиграционного движения отвратили внимание мира от коренных условий народного бытия в нашей стране, а лишь: соблюдает ли этот режим-убийца свои собственные живые законы? После своевременной эмиграции их забота теперь: возликует ли неограниченная свобода слова на другой день после того, как кто-то (кто??) сбросит нынешний режим. Их забота – над какими просторами будет завтра порхать их свободная мысль. Даже не одумаются предусмотрительно: а как же устроить д о м для этой мысли? А будет ли крыша над головой? (И: будет ли в магазинах пеподделанное сливочное масло?)»

Сколько среди них специалистов-гуманитаристов – но почему ж нам не выдвигают конкретных социальных предложений? – да разумными давно бы нас убедили! Чем восславлять себя безграничными демократами (а всех инакомыслящих – авторитаристами), да расшифруйте же конкретно: **какую** демократию вы рекомендуете для будущей России? Сказать "вообще как на Западе" – ничего не сказать: в Америке ли, в Швейцарии или Франции – всё приоровлено к **данной** стране, а не "вообще". Какую вы предлагаете систему выборов: пропорциональную? мажоритарную? или абсолютного большинства? (От выбора системы резко меняется состав парламента, и большие меньшинства могут "проглатываться" бесследно, либо, напротив, никогда не составится стабильное правительствo.) Должно быть правительствo ответственно перед палатами или (как в Штатах) – нет? – ведь это совсем разнo действующие схемы, и, если, например, парламентское большинство обязано поддерживать "свое" правительствo из одних партийных соображений – то это опять власть партии над народным мнением? А степень децентрализации? Какие вопросы относятся к областному ведению, какие к центральному? Да множество этих подробностей демократии – и ни об одной из них мы ещё не слышали. **Ни одного** реального предложения, кроме "всеобщих прав человека".

А – переходный период? Любую из западных систем – как к имени перенять? через какую процедуру? – так, чтобы страна не перевернулась, не утонула? А если начнутся (как с марта 1917, а теперь-то ещё скорей начнутся) разбои и убийства – то надо ли будет разбойников останавливать? (или – оберегать права бандитов? может, они невменяемы?) и – кто это будет делать? с чьей санкцией? и какими силами? А шире того – будут вспыхивать стихийные волнения, массовые столкновения? как и кто успокоит их и спасёт людей от резни? Ни о чём наши плюралисты не выражают забот» /там же, стр. 151 – 152; разрядка и вид. Солженицына/.

Более, чем знаменательно, что деятельность Сахарова на этом первом и последнем для него "четверть-демократическом" Съезде народных депутатов немедленно потекла в положительно-преобразовательном, а не в обличительном только направлении.

Впреки недовольству Горбачёва и его присных, Сахаров пытается устремить внимание депутатов к вопросам первоосновного реконструктивно-конституционного масштаба. Теперь его предложения бьют в яблочко – в принципы, на которых зиждится Система. Они преследуют цели её **фундаментальной законодательной демократизации**, её перехода в другое качество.

Тогда невозможно было себе представить, как широко и повсеместно дислоцированы в сложившемся за $\frac{3}{4}$ века обществе слои, группы и люди, не подготовленные и просто неспособные к подобному переходу.

Так Сахаров (но внешне как будто бы благоприятной обстановке) вступает на очень опасный путь. Куда более опасный, чем путь заступника несправедливо преследуемых государством людей и даже целых народов. Сахаров требует теперь коренного законодательного переустройства **Системы**.

С одной стороны, Сахаровым предлагается путь **не утопический**, а проверенный в тех или иных вариантах разными странами и к тому же ещё и эволюционный. С другой стороны, предположение, что демократию можно **вести указом**, в огромной стране с правительством и, главное, многомиллионной машиной власти, враждебными демократии, с народом, не знающим, что это такое, – **утопично**.

За почти двадцать лет до этого меморандум Сахарова и "Письмо вождям" Солженицына приоткрывали, каждый документ по-своему, пути постепенного преобразования системы **сверху**. Но **сверху** (Горбачёв и К²) её не хотят всерьёз перестраивать даже и **сейчас**. Они намерены лишь капитально отремонтировать (так сказать, на ходу) близящееся к обвалу здание большевистской империи. А **снизу** (без участия и благоприятствования власти) можно только ускорять развал.

Важно, однако, что все усилия Сахарова были теперь направлены на коренное конституционное переустройство СССР. При том весе, который имел Сахаров за стенами ВС СССР и правительственных кабинетов, а главное – вне границ "соцлагеря", это было для правящих сил чрезвычайно опасно. Своё дело, как оппонент СОИ и, в определённой мере, международный гарант честных намерений Горбачёва, он сделал. Иметь его в качестве знаменити фундаментально-преобразовательных сил – это "их" не страшить не могло. Не случайно делались всё новые и новые попытки управлять его действиями. Вот несколько примеров этих усилий:

«В первый день Съезда всё было сосредоточено вокруг выборов Председателя Верховного Совета. В перерыве, когда я получал какие-то документы, ко мне подошел А. Н. Яковлев. Он сказал: "Вы хорошо выступали. Но сейчас главное – помочь Михаилу Сергеевичу. Он принял на себя огромную ответственность и ему по-человечески очень трудно. Практически он один поворачивает всю страну. Выбрать его – значит обезопасить перестройку". Я сказал: "Я знаю, что нет альтернативы Горбачёву, всегда об этом помню. Но моё отношение к нему в последнее время перестало быть однозначным". Яковлев: "Очень жаль! Вы глубоко ошибаетесь, и..." Вокруг нас стали собираться люди, Яковлев оборвал фразу и отошел в сторону» /"Горький, Москва, далее везде", стр. 178/.

Невольно вспоминается тот же А. Н. Яковлев на заседании ВС РСФСР, сразу после нейтрализации августовского "путча" 1991 года, – его неприязненно-ироническое отношение к Горбачёву. Видно, дал на какое-то время волю "собственному мнению". Ведь Александр Николаевич – человек умный и знал цену происходящему **всегда**. Вспомним его "раннеперестроечные" (до литовских событий) выступления в Прибалтике.

Но вернёмся к воспоминаниям Сахарова о съезде:

«Когда началось обсуждение вопроса о счётной комиссии, я встал со своего места и вышел из зала; я чувствовал при этом на себе взгляды тысяч людей. На следующий день Горбачёв спросил меня, почему

я ушел с голосования. Я сказал, что по тем принципиальным соображениям, о которых я говорил. "Но ведь была дискуссия". - "Это было не совсем то"» /там же, стр. 179/.

На этот раз Сахаров непоколебимо твёрд в своей позиции. Он несколько не смягчается и не двоятся в личных беседах с Горбачёвым. Он не отступает ни на волос перед ревущим залом и возмущёнными "афганцами". Горбачёву (при А. Н. Яковлене) Сахаров говорит:

«"Очень беспокоит, что единственным результатом Съезда является достижение вами неограниченной личной власти - Восемнадцатое брюмера в современном варианте. Вы пришли к этой вершине без выборов, вы даже не прошли через выборы в Верховный Совет и стали председателем, не будучи членом". Горбачёв: "А вы что - хотели, чтобы меня не выбрали?" Сахаров: "Нет, вы знаете моё мнение, что вам нет альтернативы. Но речь не о личности, о принципе. И кроме того, вы можете стать объектом давления, шантажа со стороны тех, в чьих руках информация. Уже сейчас говорят, что вы брали взятку, называют цифру в 160 тысяч, в Ставрополе. Провокация? Но найдут что-то иное. Если вы не выбраны народом - никто вас не сможет оградить". Горбачёв: "Я совершенно чист. И я никогда не поддамся на попытки шантажировать меня - ни справа, ни слева!" Горбачёв сказал эти слова без видимого раздражения, твёрдо» /там же, стр. 191/.

Горбачёв бросает Сахарову раздражённую реплику (имеется в виду его предыдущее выступление): "Зря вы так много говорили" /там же, стр. 193/. Но Сахаров настаивает на предоставлении ему слова (по предварительной записи) для ещё одного выступления. Он рассказывает об этом дне:

«Я вышел на улицу. Люся уже ждала меня, как всегда, у Спасской башни. Она сказала: "Ты, конечно, плохо выступил, но ты молодец. Я сильно волновалась только одну минуту, пока ты шел к трибуне и я видела твою спину. А когда ты повернулся и я увидела твоё лицо, я сразу успокоилась". Что касается меня, то я вообще волновался много меньше, чем в первый день. Я чувствовал свою моральную правоту, хотя меня при этом в дискомфортное состояние ставило отсутствие документальных подтверждений (их нет и сейчас). От шума, беснования зала я поэтому психологически был отключен» /там же, стр. 193/.

Он, действительно, теперь психологически отключён от воздействий, имеющих целью ему препятствовать.

Я не настаиваю на своём впечатлении. Но мне кажется, что после всего пережитого, на фоне всей его драматической жизни, вопросы конституционного переустройства СССР приобрели для него такой же фундаменталь-

ный смысл, какой прежде имела только теоретическая физика. Внутренний самоценный смысл, а не навязанный внешними обстоятельствами, как бомба, или искупительный, покаянный, как правозащитное подвижничество.

* * *

Горбачёвская "гласность" и "перестройка" в широких слоях советской интеллигенции (не в **массах** народа: они настороженно ожидали практических результатов – полегчает ли? Им "гласность" была без разницы: раньше голосили одно, теперь – другое) разбудили надежды куда большие, чем "оттепельные" XX и XXII партсъезды. Как было не испытывать экстатического подъёма от небывалого расширения возможности говорить? Как мог образованный слой опять не поддаться всё тому же соблазну "труда со всеми сообща" и, главное, "заодно с правопорядком"? То есть, говоря простыми словами, возникла нарастающая не по дням, а по часам эйфорическая надежда без осложнений расстаться с тоталитарной деспотией. Без жертв и потерь. Интеллигенция почти вся поверила, что деспотия уволится "по собственному желанию" ("от осознания, так сказать, и просветленья" – Владимир Высоцкий). И возникнет в СССР демократия – по какому-нибудь из наилучших западных образцов: швейцарскому ли, британскому ли, американскому ли... Впрочем, многие ли (и многие ли) были тогда практически и теоретически знакомы с теми или другими образцами демократии?

Но КПСС отнюдь не собиралась ни осознать, ни светлеть, ни отказываться от роли старухи из неделинского анекдота.

Описание Сахаровым январской, 1989 года, встречи Горбачёва с интеллигенцией очень симптоматично – как для горбачёвской "перестройки" в целом, так и для настроения Сахарова той поры. Ему, к несчастью, уже не долго оставалось углубляться в вопросы, ставшие для него первостепенно важными, и добиваться их решения.

Для выступлений Горбачёва всего времени его правления неизменным оставалось одно: отсутствие не то, что ответа, но даже и вопроса: **ЧТО во ЧТО и КАК** он намеревается "перестраивать"? Вплоть до своего отрешения Ельциным от власти, он так и не сформулировал этого **вопроса**, следовательно, и не попытался на него **ответить**. Ни делом, ни словом; ни в речах и статьях, ни в книгах. Ни тогда, ни позже.

Естественно, что настойчивые попытки Сахарова найти общий язык с Горбачёвым терпели крах. Ведь Сахаров последнего года обрёл достаточно чёткое представление о конституционной реформе, которой предполагал добиться. Поначалу он, по-видимому, надеялся в Горбачёве найти союзника.

Чёткое представление о конституционной реформе пришло не сразу. О январской, 1989 года, встрече представителей интеллигенции с Горбачёвым Сахаров пишет:

«Я собирался выступить, но колебался: не вполне понимал, что и как говорить. Когда же я, наконец, решился, в списке было слишком много ораторов и я не получил слова. В речи академика Абалкина давалась впечатляющая картина экономического кризиса и делался вы-

вод: "Кавалерийская атака на административно-командную систему не удалась, и мы должны перейти к планомерной осаде". Эта фраза не вошла в опубликованный отчёт. Примерно то же говорил Абалкин на 19-й партконференции. Мне казалось, что позиция Абалкина неприемлема для Горбачёва, как слишком радикальная и критическая. Через несколько месяцев я понял, что ошибался» /там же, стр. 144/.

Как же и, главное, чью позицию: Горбачёва или Абалкина – переоценил Сахаров "через несколько месяцев"?

Пожалуй, в первую очередь – Горбачёва, а если Абалкина – то лишь в качестве креатуры Горбачёва, не более того. Его надежды на Горбачёва как на радикального реформатора стремительно тают. Но он ещё рассчитывает убедить его в необходимости коренных реформ:

«В течение последнего года у меня усиливалось чувство беспокойства в отношении общей линии внутренней политики Горбачёва. Меня волновал и волнует огромный разрыв между словами и делами в экономических, социальных и политических делах. По существу, экономическая реформа, основу которой должно составлять изменение структуры собственности в сельском хозяйстве и промышленности, ликвидация партийно-государственного диктата, всевластия и грабежа ведомств, ещё не началась.

В идеологической области меня волнует отдача её в антиперестроечные руки Медведева и Дегтярева, многочисленные отступления в области свободы информации.

В политической области меня волнует явное стремление Горбачёва получить бесконтрольную личную власть. Меня волнует постоянная ориентация Горбачёва не на прогрессивные перестроечные силы, а на "послушные" и управляемые, пусть даже и реакционные. Это проявляется и в отношении к "Мемориалу", и на Съезде. Такая же ориентация проявляется и в национальных проблемах – негативное, предвзятое отношение к армянам и прибалтам.

В социальной области меня волнует отсутствие реальных изменений к лучшему в положении почти всех слоёв населения. Я решил, что откровенный разговор с Горбачёвым без свидетелей был бы очень важен» /там же, стр. 188 – 189/.

Горбачёв явно от этого разговора уклонялся, но Сахаров был упорен, как во всём том, на что он твёрдо решился. Часть этой беседы мы уже цитировали. Вот ещё несколько реплик из этого диалога (и о нём):

«Наконец, примерно через полчаса появился Горбачёв вместе с Лукьяновым, последнее не входило в мои планы, но делать было нечего. Горбачёв выглядел уставшим (так же, как и я). Мы сдвинули три стула в угол сцены за столом Президиума. На всём протяжении разговора Горбачёв был очень серьёзен. На его лице ни разу не появилась обычная у него по отношению ко мне улыбка – наполовину доброже-

лательная, наполовину снисходительная. Я сказал: "Михаил Сергеевич! Не мне говорить вам, какое трудное положение в стране, как недополны люди и все ждут ещё худших времён. В стране кризис доверия к руководству, к партии. Ваш личный авторитет упал почти до нуля. Люди не могут больше ждать, имея только обещания. В таких условиях средняя линия оказывается практически невозможной. Страна и вы лично стоите на перепутье перед выбором – или максимально ускорить процесс изменений, или пытаться сохранить административно-командную систему **со всеми** её качествами. В первом случае вы должны опираться на "левые силы", можете быть уверены, что в стране найдётся много смелых и энергичных людей, которые вас поддержат. Во втором случае вы сами знаете, о чьей поддержке идёт речь, но вам никогда не простят попыток "перестройки". Горбачёв: "Я твёрдо стою на позициях перестройки. Это то, с чем я связал себя навсегда. Но я против перескакивания, паники, спешки. Мы много видели 'больших скачков' – результаты всегда – трагедия, откатывание назад. Я знаю всё, что обо мне говорят. Но уверен, народ поймёт мою линию"» /там же, стр. 189 – 190; выд. Сахаровым/.

Сахаров, однако, настоятельно перечисляет все те вопросы, которые должен решить, по его убеждению, не Верховный Совет, а именно Съезд. По-видимому, он и его единомышленники хотят убедить Горбачёва, что следует превратить съезд в некое подобие Учредительного собрания. Эти слова не произносятся, но те основополагающие декреты, которые Сахаров перечисляет в этой беседе, прежде всего – Декрет о власти, исключаящий двоевластие партии и Советов, дают основание их вспомнить. Попутно замечу: никогда никакого двоевластия в СССР не существовало. Советы изначально были вполне безвластны. Управляла страной слитная сила, которую народ окрестил ЦКГБ. Но надо было устранить закреплённое в Конституции верховенство КПСС и установить – законодательно же – власть Советов. Сахаров хочет, чтобы первое устранил, а второе установил съезд, разработав основной блок законов – контуры будущей конституции. Горбачёв возражает:

«Съезд не может заниматься законами – их слишком много. Поэтому нужен постоянно работающий Верховный Совет. Но вы, московская группа, захотели поиграть в демократию, и в результате в Верховный Совет не попали многие нужные люди, мы уже рассчитывали дать им посты в комиссиях и комитетах. Вы много испортили. Но мы постараемся все же что-то исправить, например, сделать Попона заместителем председателя Комитета. Новые люди есть всюду – например, Абалкин будет зам. Рыжкова» /там же, стр. 190/.

Итак, радикальных реформ Горбачёв не хочет. Здесь выплывает опять Абалкин, имя которого должно, по-видимому, служить гарантией демократизма горбачёвской линии. Этакий свадебный генерал от демократии на балу "перестройки".

Далее следует общеизвестный "афганский" эпизод на съезде.

Сахаров держался под огнём президиума, ораторов и зала с негромким, но несгибаемым мужеством. С ним была сравнима в своём – против ревущего зала – бесстрашии маленькая женщина Евдокия Гаер, смелый человек без единой фальшивой ноты.

Были на съезде и другие герои, но я не пишу истории съезда.

* * *

Выражая своё недовольство итоговым документом съезда, Сахаров, среди многого прочего, замечает:

«Совершенно не отражено требование многих депутатов о выведении Советов из подчинения партийным органам, об отмене статьи 6 в Конституции и о запрещении совмещений должностей председателя органа Советской власти и секретаря партийного комитета (даже со временным исключением для Председателя Верховного Совета и Генерального Секретаря ЦК КПСС). Я убеждён, что на следующей сессии Съезда необходимо будет добиваться принятия гораздо более конкретных и радикальных решений» /там же, стр. 206/.

Уже ничего, казалось бы, не предвещало новых бурных событий, когда, перед самым закрытием съезд снова забуксовал:

«Наступил последний день Съезда. После нескольких выступлений было принято решение о прекращении прений по докладу Рыжкова и решение, одобряющее как основу для доработки редакционной комиссией проект постановления "Об основных направлениях внешней и внутренней политики СССР". В этот момент Лукьянов сказал с облегчением, обращаясь к Горбачёву: "Ну, Михаил, всё!" Эти слова не были слышны в зале, но их слышали телезрители, так как лежавшие на столе Президиума микрофоны были подключены к системе телевидения. Слышала их и Люся (до этого был ещё один аналогичный случай, когда Лукьянов подсказал Горбачёву изменение какой-то формулировки). Очевидно, Лукьянов считал, что все трудности и волнения, связанные со Съездом, уже позади. **Но он ошибся.** За оставшиеся несколько часов произошли драматические события, во многом изменившие психологические и политические итоги Съезда.

...к трибуне подошел Шаповаленко, депутат от Оренбурга. Совершенно неожиданно для Горбачёва и Президиума он зачитал Декларацию об образовании Межрегиональной независимой группы. Возможно, если бы Горбачёв заранее знал о намерении Шаповаленко, он бы как-то воспрепятствовал ему. Но Шаповаленко не был даже москвичом, и такого подвоха от него Горбачёв не ждал. Горбачёв явно испугался. Он сказал: "У нас тут остались чисто внутренние дела. Мы можем прекратить трансляцию Съезда. Кто поддерживает это предложение?" Поднялось несколько рук. Кто-то крикнул – да!, большинство оше-

ломлённо смотрели на Горбачёва, ничего не понимая в происходящем. Я бросился к столу Президиума, стал возбуждённо говорить, что это нарушение... (я не мог вспомнить – нарушение чего, на самом деле, сам Горбачёв обещал непрерывность трансляции Съезда). Телевидение было отключено в тот момент, когда я подходил к столу. На экранах перед глазами миллионов телезрителей появилась совершенно растерянная дикторша, объявила, что трансляция из Кремлёвского дворца съездов окончена (не объяснив, почему, не сказав даже обычного в аналогичных случаях "по техническим причинам"). Началась передача какого-то футбольного матча с середины игры.

. . .

Чего же так испугался Горбачёв? Он, по-видимому, опасался, что вслед за Шаповаленко начнутся какие-то другие непредсказуемые события, что его выступление – это, возможно, сигнал к чему-то очень серьёзному, такому, что потребует от него, Горбачёва, таких действий, которые лучше не демонстрировать всему миру. Даже если последнее предположение не верно и Горбачёв ни о чём подобном не думал, он всё же продемонстрировал, что гласность приёма для него лишь в определённых пределах. В своей растерянности Горбачёв забыл, что ему ещё предстоит закрывать Съезд и что он подготовил, со своей стороны, приятный сюрприз депутатам и всему миру. Немного успокоившись и видя, что никакого "бунта на корабле" не происходит, Горбачёв вновь включил телевидение и предоставил слово Лукьянову. Лукьянов сказал, что Президиум с учётом пожелания многих депутатов считает необходимым исключить статью 11-1 Указа от 8 апреля как допускающую неоднозначное толкование. Я выскочил к столу Президиума и почти закричал: "А как со статьёй 7, с принципом, что только насилие и призыв к насилию могут считаться уголовно наказуемыми?". Лукьянов улыбнулся и сказал: "Подождите, всё будет..." Он продолжал: "Президиум также считает необходимым пересмотреть формулировку статьи 7, заменить слова 'антиконституционные действия' на слова 'насильственные действия'. По-видимому, изменённая таким образом формулировка (окончательный текст подготовят юристы) удовлетворит всех, хотя мы считаем, что первоначальная формулировка означала то же самое". Депутаты, я в том числе, стали аплодировать, многие встали. Конечно, такое нельзя было не показать по телевидению. Съезд подходил к концу. Я продолжил свои попытки добиться выступления, и, наконец, уже под занавес, Горбачёв дал мне слово.

Он пытался ограничить моё выступление 5 минутами, я возражал, требуя 15 минут, т.к. моё выступление носит принципиальный характер. Я ссылаясь на то, что был записан в прениях по его докладу и на своё положение в обществе. Горбачёв не соглашался. Я начал говорить, не имея подтверждения права на ... выступление, рассчитывал добиться этого просто упорством. Фактически я говорил 13-14 минут /там же, стр. 207, 208, 209; вид. Сахаровым/.

То, что предложил съезду Сахаров, было введением качественно новых для СССР конституционных начал.

Мы не можем привести (по соображениям жанра и места) ни всего этого документа, ни пространных выдержек из него. Попытаемся отметить (в отрывках) то, что представляется основным. Сахаров вспоминает:

«Текст Декрета о власти я обсуждал с некоторыми друзьями, в том числе с Толей Шабаром из группы поддержки. Но окончательный текст я написал накануне Съезда и не успел с кем-либо обсудить, в том числе первый пункт об исключении статьи 6 Конституции СССР ("Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза...")» /там же. стр. 210; выд. Сахаровым/.

Сколько пришлось переломать копий (с 1969 года – в Самиздате, позднее – в зарубежной русской печати)*, пытаюсь доказать правозащитникам, что их лозунг: "Выполняйте свою конституцию" – бессодержателен: "они" свою конституцию выполняют. Произвол коммунистической партократии был конституционно закреплён не только статьёй 6, но и преамбулой конституции, а также рядом других статей. Не идиоты, а весьма изощрённые крючкотворцы составляли все действовавшие когда-либо варианты конституции СССР. Общими усилиями они возвели беззаконие (тотальный произвол верхушки компартии, построенной строго иерархически) в ранг основного закона своего государства.

Олигархическая диктатура сменялась единоличной, та – снова олигархической. Гибли лица, в том числе и прошедшие сквозь апогей власти. Но принцип уцелевал: в стране конституционно господствовал абсолютный произвол вершины (или верхушки) полного (или усеченного) конуса партократической иерархии.

Правозащитник Сахаров, соблюдая главное правило общенаправленной тактики, об этом обстоятельстве долго молчал (или не думал). Он вёл себя (подобно своим соратникам и единомышленникам) так, словно СССР – это плохо вмняемое, но – на бумаге, по букве закона – правовое государство, которое нарушает собственное (нормальное!) право. "Соблюдайте свою конституцию!" – вот клановый лозунг "правозащитников".

Повторю ещё и ещё раз: "они" свою конституцию соблюдали. Однако вот какой получался парадокс: то ли и "они" сами давно уже свою конституцию перечитывали, то ли "им" неловко было на неё ссылаться, акцептировать на весь мир её партократические, тоталитарные статьи, но "они" после XX и XXII съездов на истинный характер своей конституции не ссылались. Этого не любил делать и Сталин, особенно после 1936 года.

* См. хотя бы ст. "Законопослушный бунт" о книге Вл. Буковского "И возвращается ветер" в выпущенном в 1983 г. изд-вом "Эрмитаж" (США) сб. статей Д. Штурман "Земля за холмом" /прим. Д. Ш./

Но и после "разоблачения культа личности" "они" к партократической сути своей конституции не апеллировали. Как и во многих других случаях, "их" выручала тотальная нечитаемость таких документов, тем более - массовым читателем, даже и партийным. И получался некий идеологический зазор: "правозащитники" полагали (или делали вид), что советская конституция по букве своей демократична. А партократам невыгодно было перед всем миром это заблуждение опровергать. Мол, нисколько она у нас не демократическая, а сугубо тоталитарная, и как таковую мы её вполне последовательно выполняем. И в этом зоре правозащитники обрели некое поле деятельности, ибо ратовали вроде бы не против "основного закона", а за него.

Теперь Сахаров твёрдо заговорил о краеугольном камне коммунистической государственности - о парадоксальной конституционности тоталитарного беспредела КПСС. Чего "правозащитники" (повторяю) предпочитали в упор не видеть.

Апология этого феномена прекрасно представлена Вл. Буковским в его книге "И возвращается ветер".

Сахаров настойчиво убеждал съезд:

«Товарищи депутаты, на вас сейчас - именно сейчас! - ложится огромная историческая ответственность. Необходимы политические решения, без которых невозможно укрепление власти советских органов на местах и решение экономических, социальных, экологических, национальных проблем. Если Съезд народных депутатов СССР не может взять власть в свои руки здесь, то нет ни малейшей надежды, что её смогут взять Советы в республиках, областях, районах, сёлах. Но без сильных Советов на местах невозможна земельная реформа и вообще какая-либо эффективная аграрная политика, отличающаяся от бессмысленных реанимационных вливаний нерентабельным колхозам. Без сильно-го Съезда и сильных, независимых Советов невозможны преодоление диктата ведомств, выработка и осуществление законов о предприятии, борьба с экологическим безумием. Съезд призван защитить демократические принципы народовластия и тем самым - необратимость перестройки и демократическое развитие страны. Я вновь обращаюсь к Съезду с призывом принять "Декрет о власти".

Декрет о власти

Исходя из принципов народовластия, Съезд народных депутатов заявляет:

1. Статья 6 Конституции СССР отменяется.

2. Принятие законов СССР является исключительным правом Съезда народных депутатов СССР. На территории Союзной республики Законы СССР приобретают юридическую силу после утверждения высшим законодательным органом Союзной республики...» /там же, стр. 212; вид. Сахаровым/.

Мы вынуждены прервать цитацию. Остальное (и чрезвычайно важное) заинтересованный читатель разыщет сам.

Отмечу лишь, что в полном своём объёме (с проектом Декрета о власти) речь Сахарова гораздо ближе сходится с концепцией Солженицына, чем принято думать. Текстологическое рассмотрение тех или иных исторических документов разрушает нередко очень прочные эмоциональные предубеждения. Сильная центральная власть (с чёткими, но ограниченными прерогативами) и сильные самостоятельные местные Советы (у Солженицына – земства) – сверху донизу – разве это не общая их идея?

Сахаров заключает:

«Я считаю, что моё выступление имело значение не только в силу его фактического содержания и включённых в него предложений, – но и оказалось очень важным в психологическом и политическом смысле. Вместе с заявлением межрегиональной группы, победой в вопросе о Комитете Конституционного надзора и дискуссией двух последних дней оно завершило Съезд более радикально, более конструктивно и в более вселяющем надежду духе, чем это рисовалось ещё незадолго до этого. Поэтому в этот вечер мы все чувствовали себя победителями. Но, конечно, это чувство соединялось с ощущением трагичности и сложности положения в целом, с пониманием всех трудностей и опасностей ближайшего и более отдалённого будущего. Если наше мироощущение можно назвать оптимизмом, то это – трагический оптимизм.

. . .

Конечно, окончание работы над книгой создаёт ощущение рубежа, итога. "Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?" (А.С. Пушкин). И в то же время – ощущение мощного потока жизни, который начался до нас и будет продолжаться после нас. **Это чудо науки.** Хотя я не верю в возможность скорого создания (или создания вообще?) всеобъемлющей теории, но я вижу гигантские, фантастические достижения на протяжении даже только моей жизни и жду, что этот поток не иссякнет, а наоборот, будет шириться и ветвиться. **Судьба страны.** Съезд переключил мотор перемен на более высокую скорость. Забастовка шахтёров – это уже нечто новое, и ясно, что это только первая реакция на "пожницы" между стремительно растущим общественным сознанием и топчущейся на месте политической, экономической, социальной и национальной реальностью. Только радикализация перестройки может преодолеть кризис без катастрофического откатывания назад. Съезд наметил в выступлениях "левых" контуры этой радикализации, но главное всё же ещё нам предстоит коллективно создать. **Глобальные проблемы.** Я убеждён, что их решение требует конвергенции – уже начавшегося процесса плюралистического изменения капиталистического и социалистического общества (у нас это – перестройка). Непосредственная цель – создать систему эффективную (что значит рынок и конкуренцию) и социально справедливую, экологически ответственную» /там же, стр. 217, 220; выд. Сахаровым/.

Я уже говорила выше, что упорство Сахарова в мысли о конвергенции одной из самых страшных формаций в истории человечества ("социализм") с формацией несовершенной, как всё сущее на Земле, но вполне выносимой (капитализм, да ещё в сочетании с политической демократией) прорастает, очевидно, из терминологической путаницы. Понятие "социализм", как это нередко бывает, сливается с понятием "социальность".

Тем не менее, словосочетание "трагический оптимизм" потрясает. Оно даже не вызывает ассоциации с "Оптимистической трагедией" Вс. Вишневского, – настолько оно соответствует тому, что ждало уже у порога, – вот-вот, – Андрея Сахарова и его страну.

* * *

Считал ли Сахаров управляемый термоядерный синтез осуществимым в обозримом будущем?

В своих "Воспоминаниях" он рассказывает о ранних (1950-х гг.) работах по магнитному термоядерному реактору (МТР). Тогда в опытах с мощными импульсными разрядами в дейтериевой плазме, изолируемой (?) магнитными полями различной конфигурации, были обнаружены нейтроны и

«Возникла ослепительная надежда, что... происходит термоядерная реакция!» /стр. 192/.

Сахаров с огромным уважением говорит о возглавивших эти работы акад. Л. А. Арцимовиче и М. А. Леонтовиче, о мощной их поддержке Курчатовым и правительственными кругами. Но тогда, как и в течение последующих сорока лет, осуществить управляемый термоядерный синтез не удалось никому. Сахаров изящно объясняет суть и происхождение многих ошибок. Завершая эту тему, он тем не менее тут же пишет:

«Очень возможно, что основой энергетики XXI и последующих веков будут установки управляемого термоядерного синтеза. Участие на ранних этапах в... исследовании управляемой термоядерной реакции является для меня источником большого удовлетворения» /стр. 200/.

Но... незадолго до возвращения Сахарова из горьковской ссылки посланец "перестроечного" руководства физик А. Линде спрашивает его, собирается ли он по возвращении в Москву заниматься проблемой МТР. Сахаров отказывается, соглашаясь принимать участие разве что в обсуждениях:

«Я не собираюсь заниматься МТР, хочу целиком сосредоточиться на теории поля и ранней космологии. Я не могу разбрасываться. МТР я не занимаюсь более 30 лет, там имеются прекрасные специалисты...» /"Горький, Москва, далее везде", стр. 16/.

Вряд ли Сахаров, за тридцать пять лет до этого решивший проблему взрывного термоядерного синтеза, а чуть раньше – управляемой реакции деления урана, занял бы такую позицию, если бы имел продуктивные идеи осуществления управляемого термоядерного синтеза. Ведь это была бы пре-

красная физика! Теперь, более чем через десять лет после его разговора с Линде, надо думать, что он таких идей не имел; а его прогноз был скорее всего благим пожеланием.

* * *

Был ли Сахаров (правнук священника) в глубине души верующим? В. Корнилов в статье "Любить умеем только мёртвых" / "Литературная газета" N 18-19 (5652) 14.V.1997/ пишет: "В одном из предсмертных выступлений, записанных на магнитофонную ленту, на вопрос, верит ли он в Бога, Сахаров ответил, что ему было бы чрезвычайно грустно, если бы оказалось, что наше мироздание не согрето неким живым теплом".

Эпилог

Итак, двадцать лет творческой жизни Сахарова ушли на повышение военного потенциала СССР. Из них, по меньшей мере, тринадцать (1955 - 1968) - с жесточайшими нравственными сомнениями, с попытками, воздействуя на "заказчика", удержать этот смертоносный потенциал, в разумных (?) рамках.

Стоит ли снова начинать доказывать, что первые шесть лет работы Сахарова над "изделиями" эффективно способствовали достижению поставленной властью перед учёными цели, а последующие тринадцать обернулись беспомощными усилиями перевоспитать дьявола? Да ещё продолжая при этом ему служить.

Отстранённый от работы в ядерном комплексе из-за явной несовместимости его позиции с официальной, выразив себя в своём знаменитом меморандуме, Сахаров занялся индивидуальной и групповой правозащитой.

Как уже было сказано, его подвижничество осуществлялось, как и вся правозащита, **как будто бы** в рамках советского права и международных обязательств СССР. Но СССР был государством **тоталитарным, то есть неправовым**. А потому защита цивилизованного права, самая мирная и ненасилиственная, оборачивалась на деле борьбой против государственных устоев СССР. Историческая заслуга советских правозащитников в том, что они это всему миру очень дорогой для себя ценой продемонстрировали.

Высочайший нравственный авторитет Сахарова был рождён, в первую очередь, тем, что его не вынудила сражаться за правду нанесенная ему лично обида, кривда, несправедливость. Он не побывал в арестантах, в нищих, в ограбленных, в раскулаченных, - одним словом, в классических униженных и оскорблённых. Его поведение невозможно объяснить обидой, озлоблением, ущемлённостью, мстительностью, как это всегда стараются сделать тираны и тирании по отношению к своим противникам и жертвам. В глазах одних Сахаров, презревший во имя своей миссии все преимущества своего добунтарского статуса, был святым; в глазах других - дураком. Но он никому не дал оснований подозревать за своими действиями личную

ущемлённость. Ему просто невозможно её приписать, настолько он не был обижен властями. Поэтому "органы" и тилились свалить всё на Боннэр, хотя он написал свой "Меморандум" до знакомства с ней. Но это их, "органов", заботы. А для общественного мнения, для народа, было важно одно: всё имел – и бросил, всё отдал и стал народным заступником.

Сколько бы Сахаров ни объяснял, что ничего особенного он и не имел, – в нищей стране никогда этого не поймут и не примут. Как никогда не станут ему поминать и работы на дьявола: а на кого все работали (в большой зоне и в малых)? Для народной фольклорно-житийной традиции безразлично, как соотносятся по длительности грешный и праведный периоды жизни праведника. Всё, что было до преобразования, то для неё – только пролог. А поворот к праведности ценен сам по себе, независимо от протяженности и результатов подвига.

Напротив: то, что сам он – не из униженных и не из обиженных, но ушел к ним, – это особенно дорого народной памяти. Вспомните "Кому на Руси жить хорошо", песенку Гриши Добросклонова:

Средь мира дольного
Для сердца вольного
Есть два пути.
Взвесь силу гордую,
Взвесь волю твёрдую, –
Каким идти?
Одна просторная
Дорога – торная
Страстей раба.
По ней громадная,
К соблазну жадная
Идёт толпа.
Другая – тесная,
Дорога честная,
По ней идут
Лишь души сильные,
Любвеобильные,
На бой, на труд...
Иди к униженным,
Иди к обиженным,
По их стопам.
Где трудно дышится,
Где горе слышится, –
Будь первым там...

Сахаров не был обречён "на бой, на труд" обстоятельствами – **он сам ушел с торной дороги на тесную**. В расцвете лет и на вершине успеха. Без всякой внешней необходимости – по своему выбору. Нам скажут, что и генерал Петро Григоренко сделал то же и отстрадал больше. Да и не он один. Это правда. Но очень немногие подвижники оказываются, по стечению разных обстоятельств, в такой степени на виду у всего мира, в какой оказался Сахаров. Не будем снова проследивать, почему так случилось. Речь сейчас не об этом. В таком сюжете весьма своеобразным эффектом оборачивается

вопрос о том, кем был герой эпоса до своего преображения. Чем неприглядней было прошлое, тем выше оценивается настоящее. Разбойник Кудеяр поражает воображение больше, чем Гриша Добросклонов. Нехлюдов исключительней Павла Власова. Чем больше разрыв между грехом и подвигом, тем разительней перемена. Преодоление греха ценится выше, чем безгрешность. "Завтра будешь со мной в раю", - говорит Христос раскаявшемуся разбойнику.

Всем пренебрѣг и ушел - вот лейтмотив такого сюжета. И не на девятом десятке, как Лев Толстой, а в расцвете сил - в пятьдесят лет.

В этом смысле **типичная (народная)** судьба Солженицына так потрясти воображение современников не может.

Осколок растоптанной семьи, бедный студент, офицер военного времени, арестант, лагерник, ссыльный, провинциальный школьный учитель. То есть вполне свой человек. И если он стал бунтарѣм, то это при такой биографии вполне понятно. Затем - двадцать лет - призрак в нереальном Вермонте, вернувшийся не в ту страну, из которой был выброшен. Сколько лет (десятилетий?) пройдут до того времени, когда его титанический труд займѣт своё место в сознании читающих слоѣв народа? Пока он станет одной из образующих сил в миропонимании не сотен, а сотен тысяч (хотя бы) соотечественников?

Как ни странно, путь Солженицына только начинается. До сих пор он писал свои книги. Теперь его **книги** (а не его общественная активность) будут завоѣвывать жизненное, историческое, духовное пространство. Будут занимать, медленно (они не просты и не легки) и неотвратно, то место, которое им предусмотрено в истории, - если история, вопреки всему, что грозит её оборвать, продлится.

Что же до Сахарова, то, помимо сотворѣнного им в фундаментальной науке, смысл его жизни состоял именно в том, **что** сохранил в своей памяти мировой миф о нём. Этот миф сугубо документален. Он имеет фактографическое обоснование, оберегающее его былинную ипостась. Сахаров не прожил у кого-то могучего и всесильного:

"От ликующих, праздно болтающих,
Обагривших руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви."

Он взял и перешел от первых ко вторым. И какая бы радиоактивная буря ни бушевала на опалѣнных адскими "изделиями" пространствах, память народа и человечества сохранит лишь этот его шаг. Да ещё негромкий, глуховатый, упрямый голос, звучащий с трибуны бессильного его перекричать съезда.

* * *

V. СТАРШИЙ И МЛАДШИЙ

Тема

В нашем путешествии по воспоминаниям своих современников "о времени и о себе" то и дело приходилось обращаться к необычайному опыту А.И. Солженицына. Позволю себе коснуться ещё одного весьма непростого сюжета: Твардовский и Солженицын. Книга с академическим подзаголовком "Очерки литературной жизни" и неожиданно задиристым и даже, пожалуй, легкомысленным заглавием "Бодался телёнок с дубом" приподнимает завесу над этой драмой – и в её общественных, и в её глубоко личных проявлениях.

Жанр "Телёнка" своеобразен, как почти всё написанное Солженицыным. Если это и очерки литературной жизни, то не в общепринятом литературоведческом или историко-литературном смысле. Скорее, это подобие дневника писателя, включающего в свою орбиту странное и страшное сосуществование литературы и власти в коммунистическом государстве **начала** его упадка. Помните, у Окуджавы: "Римская империя времени упадка..." Но не только это: "Телёнок" – это ещё и история (**уже – история**) вторжения чудом выжившей свободной литературы в мир слова пленённого. Это военно-полевой дневник сражения с поработённостью литературы. Причём сражения не одной-двух уцелевших рукописей, а многолетнего, многотомного и многообразного творчества.

Прорыв был тактически осуществлён не одним человеком, не одним борцом, как бы он ни был бесстрашен, изобретателен и одарён. Он осуществлялся долгие годы целым подразделением с постоянным и переменным составом. Глава "Невидимки", увидевшая свет только в 1991 году /"Новый мир" NN 11-12. М., 1991/, открывает миру почти весь боевой состав этого чуть ли не двухсотенного подразделения. А всех имён и сегодня раскрыть нельзя. Второй и третий же эшелоны, множившие в столице и в провинции списки, распространявшие их между читателями, и вовсе не учтены, ибо анонимны и никем не считаны, хотя роль их огромна. И пусть многие попали в это число случайно (и ненадолго, и однократно, и отошли, а то и вовсе перешли в другой стан), однако своё дело сделали. Помогли писателю донести до глаз и слуха читателей титанический труд, выжить и выстоять.

Не берусь комментировать всего "Телёнка" с его дополнениями.

Этот сплав дневников, воспоминаний, зарисовок, размышлений и документов, объединённых сквозным сюжетом, говорит сам за себя. Но одна его линия представляется мне доступной охвату и рассмотрению. Это линия Солженицын – Твардовский, Солженицын и "Новый мир" 1961 – 1971

годов. Хотя подчеркнём: Твардовский и "Новый мир" – не синонимы, а "Новый мир" – не целостное единство. И это в "Телёнке" с достаточной выразительностью воссоздано.

Жизнь Солженицына продолжается. Не однажды определённый как человек–процесс, он не застывает ни на одной точке своего миропостижения и призвания. Более того: он вернулся в Россию, как и предчувствовал, живым, а не только в книгах. Перед ним открылось новое поле – и жизни, и деятельности.

Биография Твардовского–человека завершена. Жизнь его поэзии, его журнала, его поколения продолжается. Рухнула и зависла в неопределённости и надежде та историческая реальность, которая их, Солженицына и Твардовского, сводила и разводила, навсегда связав их в российской литературе и в русской памяти. Воскрес журнал, который виделся Твардовскому в последние горькие годы его жизни навсегда сломленным и разорённым. В нём свободно печатается вернувшийся Солженицын. Вернёмся, однако, к двум героям "Телёнка", который "бодался с дубом", – к автору и первому его редактору.

Их взаимная связанность (привязанность) и болезненные разрывы глубоко символичны. В них протекало столкновение и взаимопроникновение двух подвижничеств, ни одно из которых не принимало другого без оговорок.

Подвижничество Твардовского было духовно тяжче подвижничества Солженицына. Первое развивалось в непрестанных и нарастающих борениях с самим собой, второе – в борении с неправой властью, но в глубокой гармонии со своим опытом и внутренним миром.

Твардовский, упорно стремясь открыть читателю всё то, что считал достойным жизни в литературе, не мог не считаться с волей инстанций, которые Солженицын властно над своей работой не признавал. Однако именно эти инстанции владели всеми печатными органами страны и властвовали над жизнью и смертью всех её подданных. Писатель мог работать и в стол, и для Самиздата. В конце концов, личная безопасность – это его проблема.

Журнал же, крупноформатный и регулярный, **открытый**, в СССР выходить без дозволения властей и цензуры не мог. Шаг Твардовского против их воли означал бы шаг к смерти журнала. Твардовский хотел продолжить жизнь подцензурного журнала, не снижая его звучания. Солженицын, за исключением опубликованных трёх рассказов и нескольких миниатюр, был в рамках партийной цензуры абсолютно немислим. И вместе с тем... Что было вместе с тем, мы и попробуем проследить.

До встречи

Чтобы оценить мало–мальски правильно два характера, надо иметь в виду пути, пройденные старшим (Твардовским) и младшим (Солженицыным) до их встречи.

Как в предыстории личных биографий Солженицына и Сахарова, так и в истоках семей Солженицына и Твардовского было нечто общее. В первом случае – дореволюционные интеллигентские (скажем так: относившиеся к

просвещёному слою) корни; во втором – крестьянские. В роду Солженицыных перед самым крушением России сошлись те и другие. Дороги всех троих в советской ирреальной реальности оказались различными. Но внутренняя, родовая преемственность не могла не сказаться. Разные, они – в большом историческом масштабе – пребывали в одном духовном пространстве и стремились, в конечном счёте, к родственным целям, называемым, правда, каждым по-своему.

* * *

Для того, чтобы понять, каким входил в жизнь (и долго в ней силился таким и остаться) Александр Твардовский, стоит прочесть воспоминания его брата Ивана "У нас нет пленных" / "Новый мир" N 10. М., 1991/, интересные и безотносительно к судьбе поэта.

Я не буду глубоко вдаваться в отношения Александра Трифоновича с семьёй, которой он побоялся всерьёз помочь даже при попытке бежать из убийственной "кулацкой" ссылки. Хватит и нижеследующего:

Иван Трифонович пишет:

«Я помнил, что в юности брат Александр так же был обуреваем мечтой стать настоящим поэтом, ради этой цели не считался ни с чем и молча нёс душевную боль – страдая, что видно из его писем критику Анатолию Кузьмичу Тарасенкову, помеченных январём 1931 года. Приведу для наглядности одно из писем.

"Смоленск, 31/1.

Толя!

Я добит до ручки. Был у секретаря обкома, он расследовал дело насчет обложения хозяйства моих родителей, и – признано, что обложению подлежит. Подозревать в пристрастности я его не могу. Я должен откинуть свои отдельные недоумения и признать, что это так.

Мне предложили признать это и откататься от родителей, и тогда мне не будет препон в жизни.

АПП же несмотря ни на какие признания (а я признал и откачался) хочет, страшно хочет меня исключить.

Скажи ты мне ради бога, неужели это мой конец. Скажи. Поддержи. Почему я один должен верить, что я, несмотря ни на какие шутики, буду, должен быть пролетарским поэтом? Может, ты-то этому не так уж и веришь?

Может, я действительно классовый враг и мне нужно мешать жить и писать. Я жду от тебя серьёзного и убедительного, но не утешающего письма, срочно! Срочно, как только можно.

Замучили меня здесь в Смоленске, что я и выразить не могу.

Толя! Может быть, мне в Москву податься?

Толя! Об этом письме кроме тебя никто не должен знать. Оно такое. Если узнает Клара или Маруся – я перестану с тобой иметь дело. Ты этого не сделаешь, Толя!

Жду ответа. Держись покамест! Жду ответа.

Александр"

Кажется, ясно: во имя избранной цели Александр ни перед чем не останавливался, вплоть до отказа от родителей. Тяжесть такого поступка отомстить трудно, и он не мог этого не понимать – нес этот грех в своей душе молча в течение всей своей жизни. Но, как говорится, Бог ему судья».

/И.Т. Твардовский, "'У нас нет пленных' (Страницы пережитого)". "Новый мир" N 10, стр. 162. М., 1991. Выд. Д.Ш./

Были, повторяю, и другие грехи перед семьёй, но ограничусь ещё одним отрывком, о гораздо более позднем времени:

«Первое письмо от жены я получил осенью 1948 года. Она сообщила, что наша дочурка Тамара умерла в 1943 году в возрасте двух лет. В детских яслях была помещена в изолятор по подозрению на инфекцию. В неотапливаемом изоляторе переохладилась, началась пневмония, и это привело ребёнка к гибели. О сыне Валерии (в 1948 году ему было девять лет) писала, что хотя он и ходит в школу, но продолжает оставаться больным и надежд на выздоровление нет – водянка мозга неизлечима. Моё письмо, сложенное треугольником и на ходу поезда с эсками выброшенное на какой-то станции в Читинской области в 1947 году, она получила, поняла, что я осуждён. Но как бы ни было ей тяжело, писала, что всё равно благодарит Бога, что я ещё живой. Выражала готовность ждать сколько бы ни было долго. В этом же письме сообщила о встрече с Александром Трифоновичем во время его пребывания в Нижнем Тагиле (кажется, в августе). До этого она с ним не встречалась, но поскольку ему было известно ещё до войны, что в Нижнем Тагиле жил и работал брат Иван с женой и поскольку она обращалась к нему с просьбой во время войны и он откликнулся, то Мария Васильевна решила встретиться с ним. Нашла она его в гостинице "Северный Урал". Он имел с ней краткую беседу, но именно в том духе, чтобы только не выглядеть полным невежей. Живого интереса к встрече не выразил, о брате Иване – уклончиво. Сказал, что "давно с братьями не живу, Ивана мало знаю..." и так далее. Встреча произошла в коридоре гостиницы, в номер не пригласил. И было ясно, что хотел поскорее откланяться. Об этом и вспоминать тяжело. Александр Трифонович в те годы ещё не осознавал суть сталинской диктатуры, имя Сталина для него было священным, и это он подтвер-

дил в 1949 году "Словом советских писателей". в котором он был соавтором, посвященным вождю в день его семидесятилетия. Это "Слово" Александр читал в присутствии Сталина на торжественном заседании в Большом театре Союза ССР 21 декабря 1949 года.

Жена писала мне часто, иногда даже не дожидаясь моего ответа, всегда нежно и сочувственно, не пытаюсь обьязть меня ответить: "За что? На сколько лет?", полагая, что мне трудно будет что-либо скрывать, недоговаривать, а может, этим она давала понять, что будет ждать сколько угодно. И дождалась. К моему великому огорчению, сын Валера меня не дождался, умер в 1951 году. Вот такая судьба моя» /там же, стр. 188/.

Я привожу эти отрывки исключительно для того, чтобы напомнить себе и читателю, с какой отметки начался путь Александра Твардовского к "Новому миру" 1960-х годов.

* * *

Но и Солженицын далеко не сразу стал тем Солженицыным, которого **увидели** в 1961 году в "Новом мире" в качестве начинающего провинциального автора, создавшего неожиданно-негаданно рассказ-шедевр. Я подчёркиваю: **увидели**. Ибо Солженицын не был ни начинающим, ни провинциально-простодушным автором. Впрочем, редакционные зубры это учуяли. Все, кроме Твардовского: его захватил и покорила рассказ "Щ-854". Ни о чём другом он поначалу не хотел думать.

Сразу ли и, главное, легко ли, просто ли стал Солженицын таким, каким впервые вошел в кабинет Главного? Далеко не сразу. Он был когда-то, в начале пути, **почти** таким же, какими были во многом ещё и сегодня они. И мог бы прийти без особых приключений и осложнений к такому же "оттепельному" полустанку в 1956 - 60 годах. Но рука судьбы (он бы сказал - Божья) выдернула его из одного потока и швырнула в другой - на дорогу, пролежавшую в других измерениях подсоветского космоса. И там ему хорошо досталось. Подчеркну ещё раз: их (его товарищей по физмату, по заочному философскому факультету, по офицерским должностям в армии) дорога могла бы остаться и его дорогой. И даже послефронтовое писательство вполне могло состояться на уровне лучших (разумеется, совершенно легальных) образцов "военной прозы" тех лет. Но... Что-то в нём было, очевидно, такое, что позволило этой руке выдернуть его из ряда. И он получил шанс: если не погибнет, развернуться в особом качестве.

Многие, правда, и после лагеря ничем нетривиальным среди советских людей не выделялись, даже и пишущие. Но, по-видимому, у Солженицына были в натуре опасные и счастливые задатки. К примеру, у него был несомненный литературный дар. Но был он и у Твардовского, и у (пример из другого ряда) Катаева - у многих. Жизнь, однако, сложилась так, что дар Солженицына не был отягощён никакими побочными соображениями. Кроме того, гнетущие жизненные обстоятельства обострили в Солженицыне **дар нравственный**. Нередко же происходит в закритических обстоятельствах и

обратное: в человеке прорезывается волк или заяц. Это случается и в сравнительно выносимых условиях. В экстремальных же – вроде бы и небольшие нравственные подвижки обретают судьбоносный смысл.

Солженицыным после нескольких искушений, весьма серьёзных, овладела неискоренимая **потребность понять, что и почему происходит**. И, если очень уж посчастливится, **разделить понятое с другими людьми**. Правда, надежды на это не было. Почти не было. Во всяком случае – рационально обоснованной. Но было нечто сильнее надежды: потребность самовыражения. Необходимость высказать, передать. И глубинное, сквозь всю безысходность и даже обречённость, чувство, что всё получится так, как надо. После же невероятного выздоровления от рака и возвращения из вечноной ссылки появилась подсознательная уверенность: не сломать. Иногда она исцезала под градом ударов, но неизменно возникала вновь.

В редакцию "Нового мира" вошел совсем не тот человек, которого привезли под конвоем с фронта в Москву. В 1944-м это был всего-навсего материал для формовки. Правда, материал с определёнными свойствами. Трудно было предугадать, во что выльются литературные попытки молодого человека и его небезопасный интерес к отечественной истории. В 1961 году в кабинет Александра Твардовского вошел искушенный во множестве выживательных битв... незнакомец? Скорее – инопланетянин, настолько отличались его внутренний мир, его критерии, его принципы поведения, его цели от всего того, во что были погружены окружающие. Твардовский просто не мог представить себе, какую судьбу и какой характер он (так ему виделось) берёт под опеку.

Давайте наскоро пролистаем дорогу безвестного рязанского учителя физики – до встречи с Твардовским.

* * *

Я не ставлю перед собой неподъёмной задачи анализа единственной в своём роде книги "Архипелаг ГУЛАГ". Я пишу о теме Александра Твардовского в очерках Солженицына, объединённых названием "Бодался телёнок с дубом". Поэтому в "Архипелаге" мы почерпнём – в качестве некоего пролога – лишь немногие нужные нам данные.

Вот что говорит Солженицын о том, кем он был в самом начале своих тюремно-лагерных странствий (каким он пришел на Архипелаг):

«С детства я откуда-то знаю, что моя цель – это история русской революции, а остальное меня совершенно не касается. Для понимания же революции мне давно ничего не нужно, кроме марксизма; всё прочее, что липло, я отрубал и отворачивался. А вот свела судьба с Сузи, у него совсем была другая область дыхания, теперь он увлечённо рассказывает мне всё о своём, а своё у него – это Эстония и демократия. И хотя никогда прежде не приходило мне в голову поинтересоваться Эстонией, уж тем более – буржуазной демократией, но я слушаю и слушаю его влюблённые рассказы о двадцати свободных годах этого некрикливого трудолюбивого маленького

народа из крупных мужчин с их медленным основательным обычаем; выслушиваю принципы эстонской конституции, извлечённые из лучшего европейского опыта, и как работал на них однопалатный парламент из ста человек; и неизвестно – зачем мне, но всё это начинает мне нравиться, всё это и в моём опыте начинает откладываться. (Сузи обо мне потом вспомнит так: странная смесь марксиста и демократа. Да, диковато у меня тогда соединялось.)» /А.И. Солженицын, Собрание сочинений. Т. V. "Архипелаг ГУЛАГ", чч. I – II, стр. 207. – Вермонт – Париж: Изд. YMCA-PRESS. – 1980/.

И это впитывание нового из окружающего мира временами становилось важнее катастрофы ареста.

А вот коротенький разговор Солженицына с товарищем по камере, сразу же после объявления будущему Нобелевскому лауреату безликим майором восьмилетнего срока, а за ним – вечной ссылки. Ему была показана **копия выписки** из постановления ОСО*. Полстранички машинописного текста, которую сунули в руки и приказали расписаться в прочтении. Даже без судебного заседания. А думалось всем вызванным, бывшим фронтовикам, что им объявят амнистию**. Собеседник, только что расписавшийся за **червонец**, утешал Солженицына:

« – Ну, ничего, мы ещё молодые, мы будем жить. Главное, не опуститься – теперь. В лагерь приедем – и ни слова ни с кем, чтобы нам новых сроков не мотали. Будем честно работать – и молчать, молчать.

И так он верил в эту программу, так надеялся, невинное зёрнышко промез сталинских жерновов! Хотелось согласиться с ним, уютно отбыть срок, а потом вычеркнуть пережитое из головы.

Но я начинал ощущать в себе: если надо **не жить***** для того, чтобы жить, – то и зачем тогда?..» /там же, стр. 274/.

Потом вспоминалось, после всего пережитого, уже другим Солженицыным, в помещении одного из таких же шемакиных судов, как и ОСО:

«Случилось, как во сне: в феврале 1963 по той же самой лестнице (нарочно отказался от лифта, чтобы рассмотреть лестницу), но в вежливом сопровождении полковника-парторга, пришлось подняться и мне. Ото всего Архипелага – мне единственному, судьба! И в зале с круглою колоннадой, где, говорят, заседает пленум Верховного Суда Союза, с огромным подковообразным столом и

Особое совещание при ОГПУ – НКВД – МГБ СССР

** И это я помню – как ждали амнистии 1945 года фронтовики а получили – уголовники и дезертиры

*** В последующих цитатах все разряды и выделения жирным шрифтом, за исключением особо оговоренных, принадлежат А И Солженицыну

внутри него ещё с круглым и семью старинными стульями, меня слушали семьдесят сотрудников Военной Коллегии – вот той самой, которая судила когда-то Каретникова и Романова и других, и прочее, и так далее... И я сказал им: "Что за знаменательный день! Будучи осуждён сперва на лагерь, потом на вечную ссылку – я никогда в глаза не видел ни одного судьи. И вот теперь вижу вас всех, собранных вместе!" (И они-то видели живого зэка, протёртыми глазами, – впервые).

Но, оказывается, это были – не они! Да. Теперь говорили они, что – это были не они. Уверяли меня, что тех – уже нет» /там же, стр. 288 – 289/.

И "они" наперебой начинают рассказывать бывшему зэку, сказочному удачнику, как на них, на все и всяческие суды, давили всевластные "органы":

«Просто времени не было, они бы мне рассказали и вдсестеро. Но задумываешься и над этим. Если и суд, и прокуратура были только пешками министра госбезопасности – так может и отдельную главою их не надо описывать?

Они рассказывали мне наперебой, я оглядывался и удивлялся: да это люди! вполне люди! Вот они улыбаются! Вот они искренно изъясняют, как хотели только хорошего. Ну, а если так повернется ещё, что опять придётся им меня судить? – вот в этом зале (мне показывают главный зал).

Так что ж, и осудят.

Кто ж у истока – курица или яйцо? люди или система?

. . .

Из семидесяти человек, сидящих на подкове, несколько выступающих оказываются сведущими в литературе, даже читателями "Нового мира", они жаждут реформ, живо судят о наших общественных язвах, о запущенности деревни...

Я сижу и думаю: если первая крохотная капля правды разорвалась как психологическая бомба – что же будет в нашей стране, когда Правда обрушится водопадами?

А – обрушится, ведь не миновать» /там же, стр. 290 – 291/.

Да, не миновать. Но как бы не поздно, не похоронив под собою всего живого. Здесь, однако, речь не об этом.

А потом – об этапных дорогах, о том, как проступало сквозь их ужас вечное и прекрасное обывденной жизни. И умиротворённость – вместо зависти и злобы к "воле". Скорее жалость вызывали слепые "вольняшки". И благодарность – зрячие:

«Сажая ждать воронка (он возит партиями, всех ведь не убе-рёт) или пешего отгона. Сажать стараются в скрытом месте, чтоб

меньше видели вольные, но иногда посадят неловко прямо на перроне или на открытой площадке (в Куйбышеве так). Вот здесь – испытание для вольных: мы-то разглядываем их с полным правом, во все честные глаза, а им на нас как поглядеть? С ненавистью? – совесть не позволяет (ведь только советские писатели и журналисты верят, что люди сидят "за дело"). С сочувствием? с жалостью? – а ну-ка фамилию запишут? И срок оформят, это просто. И гордые свободные наши граждане ("читайте, завидуйте, я гражданин") опускают свои виновные головы и стараются вовсе нас не видеть, как будто место пустое. Смелей других старухи: их уже не испортишь, они и в Бога веруют, – и отломив ломоть хлеба от скудного кирпичика, они бросают нам. Да ещё не боятся бывшие лагерники, бытовики, конечно. Лагерники знают: "Кто не был – тот побудет, кто был – тот не забудет", и, смотришь, кинут пачку папирос, чтоб и им так кинули в их следующий срок. Старушечий хлеб от слабой руки не долетит, упадёт наземь, пачка крутнёт по воздуху под самую нашу гущу, а конвой тут же заклацает затворами – на старуху, на доброту, на хлеб: "Эй, проходи, бабка!"

И хлеб святой, преломленный, остаётся лежать в пыли, пока нас не угонят.

Вообще эти минуты – сидеть на земле на станции – из наших лучших минут. Помню, в Омске нас посадили так на шпалах, между двумя долгими товарными составами. В этот прогон никто не заходил (наверно выслали в оба конца по солдату: "Нельзя сюда!" А советский человек и на воле воспитан подчиняться человеку в шинели). Смеркалось. Был август. Станционная масляная галька ещё не успела остыть от дневного солнца и грела нас в сиденья. Вокзал был не виден нам, но где-то очень близко за поездами. Оттуда гремела радиоло, весёлые пластинки и слитно гудела толпа. И почему-то не казалось унизительно сидеть сплочённой грязной кучкой на земле в каком-то закутке; не издевательски было слушать танцы чужой молодёжи, которых нам уже никогда не танцевать; представлять, что кто-то кого-то на перроне сейчас встречает, провожает, и может быть, даже с цветами. Это было двадцать минут почти свободы: густел вечер, зажигались первые звёзды, красные и зелёные огни на путях, звучала музыка. Продолжается жизнь без нас – и даже уже не обидно.

Полуби такие минуты – и легче станет тюрьма. А то ведь разорвёт от злости» /там же, стр. 500 – 501/.

Не упускает Солженицын и главного лагерного соблазна. Это – из разговора с "жестоким спецнарядчиком" в самом начале пути:

«...В лагере никто ничего не делает даром, никто ничего – от доброй души. За всё нужно платить. Если вам предлагают что-нибудь бескорыстно – знайте, что это подвох, провокация. Самое же главное: избегайте общих работ! Избегайте их с первого же дня! В

первый день попадёте на общие – и пропали, уже навсегда.

– **Общих работ?**..

– Общие работы – это главные основные работы, которые ведутся в данном лагере. На них работает восемьдесят процентов заключённых. И все они подышают. Все. И привозят новых взамен – опять на общие. Там вы положите последние силы. И всегда будете голодные. И всегда мокрые. И без ботинок. И обвешены. И обмёрзнуты. И в самых плохих бараках. И лечить вас не будут. **Живут** же в лагере только те, кто не на общих. Старайтесь любой ценой – не попасть на общие! С первого дня.

Любой ценой!

Любой ценой?..

На Красной Пресне я усвоил и принял эти – совсем не преувеличенные – советы жестокого спецнарядчика, упустив только спросить: а где же мера цены? Где же край её?» /там же, стр. 534/.

Обратим внимание на авторскую пунктуацию:

"Любой ценой!

Любой ценой?.."

Слава Богу, что сразу появился не только восклицательный знак (потрясённость), но и – вслед за ним – вопросительный с многоточием (сомнение). И если на этот раз самый главный вопрос (где мера и край цены?) был упущен, то вскоре он будет себе задан. А пока... Вот что говорит Солженицын об одном из первых своих "придурочьих" лагерных спецбараков. На сей раз это была обычная комната, даже без вагонка, а с кроватями:

«Я назвал эту комнату – комнатой уродов, но ни Прохорова, ни Орачевского отнести к уродам не могу. Однако, из шести большинство уродов было, потому что сам-то я был кто ж, как не урод? В моей голове, хотя уже расклоченные и разорванные, всё ещё плавали обрывки путаных верований, лживых надежд, мнимых убеждений. И разменивая уже второй год срока, я всё ещё не понимал перста судьбы, на что он показывал мне, швырнутому на Архипелаг. И всё ещё поддавался первой поверхностной развращающей мысли, внушенной спецнарядчиком на Пресне: "Только не попасть на общие! выжить!" Внутреннее развитие к общим работам не далось мне легко» /там же, чч. III – IV, стр. 263/.

Пожалуй, главным внутренне переломным моментом в лагерной, а значит – и в жизненной судьбе Солженицына была попытка лагерного оперуполномоченного завербовать его в стукачи. Сказать – едва не удавшаяся? Многие его этим корили, но будет неправдой так сказать. Слово "едва" можно без колебаний отбросить: попытка не удалась. Но предоставим слово подозреваемому. После рассказа о типах и видах доносительства и вербовки стукачей /там же, гл. 12, "Стук-стук-стук"/ следует:

«В этой главе мне не хватает материала. Что-то неохотно рассказывают лагерники, как их вербовали. Расскажу ж о себе.

Лишь поздним лагерным опытом, натеревший, я оглянулся и понял, как мелко, как ничтожно я начинал свой срок. В офицерской шкуре привыкнув к незаслуженно высокому положению среди окружающих, я и в лагере лез на какие-то должности, и тотчас же падал с них. И очень держался за эту шкуру – гимнастёрку, галифе, шинель, уж так старался не менять её на защитную лагерную чернедь! В новых условиях я делал ошибку новобранца: я выделялся на местности. И снайперский глаз первого же кума, новоиерусалимского, сразу меня заметил. А на Калужской заставе, как только я из маляров выбился в помощники нормировщика, опять я вытасил эту форму – ах, как хочется быть мужественным и красивым! К тому ж я жил в комнате уродов, там генералы и не так сдавались» /там же, стр. 332/.

И вот уже встреча с удивителем душ, с оперативным уполномоченным Сатаны – с "кумом":

«Тук-тук-тук.

– Войдите.

Открываю дверь. Маленькая, уютно обставленная комната, как будто она не в ГУЛАГе совсем. Нашлось место и для маленького дивана (может быть, сюда он таскает наших женщин) и для радио-приёмника "Филипс" на этажерке. В нём светится цветной глазочек и негромко лётся мягкая какая-то, очень приятная мелодия. Я от такой чистоты звука и от такой музыки совсем отвык, я размягчаюсь с первой минуты: где-то идёт жизнь! Боже мой, мы уже привыкли считать нашу жизнь – за жизнь, а она где-то там идёт, где-то там...

– Садитесь.

На столе – лампа под успокаивающим абажуром. За столом в кресле – опер, как и Ленин – такой же интеллигентный, чернявый, малопроницаемого вида. Мой стул – тоже полумягкий. Как всё приятно, если он не начнёт меня ни в чём обвинять, не начнёт вытаскивать старые погрешности. Но нет, его голос совсем не враждебен. Он спрашивает вообще о жизни, о самочувствии, как я привыкаю к лагерю, удобно ли мне в комнате придурков. Нет, так не вступают в следствие (Да где я слышал эту мелодию прелестную?..)

А теперь вполне естественный вопрос, да из любознательности даже:

– Ну, и как после всего происшедшего с вами, всего пережитого, – остаётесь ли вы советским человеком? Или нет?

А? Что ответишь? Вы, потомки, вам этого не понять: что вот сейчас ответишь? Я слышу, я слышу, нормальные свободные люди, вы кричите мне из 1990 года: "Да пошли его на...! (Или, может, потомки уже не будут так выражаться? Я думаю – будут.)

Посадили, зарезали – и ещё ему советский человек!"» /там же, стр. 334/.

До чего же точно угадан год (1990) – словно вписан сегодня (цитата из издания 1980 года) .

А опер закидывает удочку, забрасывает крючок:

«И если б столько был уже перевоспитан тюрьмой, сколько образован ею, я конечно, должен был бы сразу отрезать: "Нет! И шли бы вы на... ! Надоело мне на вас мозги тратить. Дайте отдохнуть после работы!"

Но ведь мы же выросли в послушании, ребята! Ведь если "кто против?.. кто воздержался?.." – рука никак не поднимается, никак. Даже осуждённому, как это можно выговорить языком: я – не советский?..

– В постановлении ОСО сказано, что – антисоветский, – осторожно уклоняюсь я.

– ОСО-о, – отмахивается он безо всякого почтения. – Но сами-то вы что чувствуете? Вы – остаётесь советским? Или переменялись? Озлобились?

Негромко, так чисто льётся эта мелодия, и не пристаёт к ней наш тягучий, липкий, ничтожный разговор. Боже, как чиста, и как прекрасна может быть человеческая жизнь, но из-за эгоизма властвующих нам никогда не дают её достичь. Монюшко? – не Монюшко, Дворжак – не Дворжак... Отвязался бы ты, пёс, дал бы хоть послушать.

– Почему я мог бы озлобиться? – удивляюсь я. (Почему в самом деле? "Озлобиться" никак нельзя, это уже пахнет новым следствием.)

– Так значит – советский? – строго, но и с поощрением допытывается опер.

Только не отвечать резко. Только не открывать себя сегодняшнего. Вот скажи сейчас, что – антисоветский, и заведёт лагерное дело, будет паять второй срок, свободно.

– В душе, внутренне – как вы сами себя считаете?

Страшно-то как: зима, вьюга, да ехать в Заполярье. А тут и устроен, спать сухо, тепло, и бельё даже. В Москве ко мне жена приходит на свидания, носит передачи... Куда ехать! зачем ехать, если можно оставаться?. Ну, что позорного – сказать "советский"? Система – социалистическая. – Я-то себя... д-да... советский...

– Ах, советский! Ну вот это другой разговор, – радуется опер. – Теперь мы можем с вами разговаривать как два советских человека. Значит, мы с вами имеем одну идеологию, у нас общие цели – (только комнаты разные) – и мы с вами должны действовать заодно. Вы поможете нам, мы – вам...» /там же, стр. 335 – 336/.

Ну вот, первая наживка проглочена. А как было её не заглотнуть?

«Я чувствую, что я уже пополз... Тут ещё музыка эта... А он набрасывает и набрасывает аккуратные петельки: я должен помочь им быть в курсе дела. Я могу стать случайным свидетелем некоторых разговоров. Я должен буду о них сообщить...

Вот этого я никогда не сделаю. Это холодно я знаю внутри: советский, не советский, но чтоб о политическом разговоре я вам сообщил – не дожждётесь! Однако – осторожность, осторожность, надо как-то мягенько замечать следы.

– Это я... не сумею, – отвечаю я почти с сожалением.

– Почему же? – суровеет мой коллега по идеологии.

– Да потому что... это не в моём характере... – (Как бы тебе мягче сказать, сволочь?) – Потому что... я не прислушиваюсь... не запоминаю.

Он замечает, что что-то у меня с музыкой, – и выщёлкивает её. Тишина. Гаснет тёплый цветной глазок доброго мира. В кабинете – сын и я. Шутки в сторону.

Хоть бы знали они правила шахмат: три раза повторение ходов, и фиксируется ничья. Но нет! На всё ленивые, на это они не ленивые: сто раз он однообразно шахует меня с одной и той же клетки, сто раз я прячусь за ту же самую пешку и опять высовываюсь из-за неё. Вкуса у него нет, времени – сколько угодно. Я сам подставил себя под вечный шах, объявившись советским человеком. Конечно, каждый из ста раз есть какой-то оттенок: другое слово, другая интонация.

И проходит час, и проходит ещё час. В нашей камере уже спят, а ему куда торопиться, это ж его работа и есть. Как отвязаться? Какие они вязкие. Уж он намекнул и об этапе, и об общих работах, уже он выражал подозрение, что я заклятый враг, и переходил опять к надежде, что я – заклятый друг.

Уступить – не могу. И на этап мне не хочется ехать зимой. С тоской я думаю: чем всё это кончится?» /там же, стр. 336/.

Кажется, это может тянуться вечность. Но Сатана-искуситель делает ловкий ход (не зря ээк пёкса внутренне лишь о "политиках"):

«Вдруг он поворачивает разговор к блатным. Он слышал от надзирателя Сенина, что я резко высказываюсь о блатных, что у меня были с ними столкновения. Я оживляюсь: это – перемена ходов. Да, я их ненавижу. (Но знаю, что вы их любите!)

И чтоб меня окончательно расстрогать, он рисует такую картину: в Москве у меня жена. Без мужа она вынуждена ходить по улицам одна, иногда и ночью. На улицах часто раздевают. Вот эти самые блатные, которые бегут из лагерей. (Нет, которых вы амнистируете!). Так неужели я откажусь сообщить оперуполномоченному о готовящихся побегах блатных, если мне станет это известно?

Что ж, блатные – враги, враги безжалостные, и против них, пожалуй, все меры хороши... Там уж хороши, не хороши, а главное – сейчас выход хороший. Это как будто и

– Можно. Это – можно.

Ты сказал! Ты сказал, а бесу только и нужно одно словечко! И уже чистый бланк порхает передо мной на стол:

"Обязательство

Я, имя рек, даю обязательство сообщать оперуполномоченному лагучастка о... готовящихся побегах заключённых..."

– Но мы говорили только о блатных!

– А кто же бегаёт кроме блатных?.. Да как я в официальной бумаге напишу "блатных"? Это же жаргон. Понятно и так.

– Но так меняется весь смысл!

– Нет, я всё-таки вижу: вы – **не наш** человек, и с вами надо разговаривать совсем иначе. И – не здесь.

– О, какие страшные слова – "не здесь", когда вьюга за окном, когда ты придурок и живёшь в симпатичной комнате уродов! Где же это "не здесь"? В Лефортове? И как это – "совсем иначе"? Да в конце концов ни одного побега в лагере при мне не было, такая ж вероятность, как падение метеорита. А если и будут побеги – какой дурак будет перед тем о них разговаривать? А значит, я не узнаю. А значит, мне нечего будет и докладывать. В конце концов это совсем неплохой выход...» /там же, стр. 336 – 337/.

Ну что ж, всё кончено?

Бывали, однако, случаи, когда люди ловились на крючок подписки, но потом всё-таки – не без травмы – крючок выхаркивали. Если твёрдо решали не бояться последствий. Солженицын поступил именно так (Нержин поздней уже не поймается и на более жирную приманку).

«Я вздыхаю. Я успокаиваю себя оговорочками и ставлю подпись о продаже души. О продаже души для спасения тела. Окончено? Можно идти?

О, нет. Ещё будет "о неразглашении". Но ещё раньше, на этой же бумажке:

– Вам предстоит выбрать псевдоним.

Псевдоним? . Ах, **кличку!** Да-да-да, ведь осведомители должны иметь кличку! Боже мой, как я быстро скатился. Он-таки меня переиграл. Фигуры сдвинуты, мат признан.

И вся фантазия покидает мою опустевшую голову. Я всегда могу находить фамилии для десятка героев. Сейчас я не могу придумать никакой клички. Прислушиваясь ли за окном, он милосердно подсказывает мне:

- Ну, например, Ветров.

И я вывожу в конце обязательства - "Ветров". Эти шесть букв выкаляются в моей памяти позорными трещинами.

Ведь я же хотел умереть с людьми! Я же готов был умереть с людьми! Как получилось, что я остался жить во псах?..

А уполномоченный прячет моё обязательство в сейф - это его выработка за вечернюю смену, и любезно поясняет мне: сюда, в кабинет, приходиться не надо, это навлечёт подозрение. А надзиратель Сенин - доверенное лицо, и все сообщения (доносы!) передавать незаметно через него.

Так ловят птичек. Начиная с коготка» /там же, стр. 338/.

Но что-то всё-таки остановило. Более властное, чем страх перед "общими" и перед этапом:

«В тот год я, вероятно, не сумел бы остановиться на этом рубеже. Ведь за гриву не удержался - за хвост не удержишься. Начавший скользить - должен скользить и срываться дальше.

Но что-то мне помогло удержаться. При встрече Сенин понукал: ну, ну? Я разводил руками: ничего не слышал. Блатным я чужд и не могу с ними сблизиться. А тут как назло - не бегали, не бегали, и вдруг бежал воришка из нашего лагерья. Тогда - о другом! о бригаде! о комнате! - настаивал Сенин. - О другом я не обещал - твердел я (да и к весне уже шло). Всё-таки маленькое достижение было, что я дал обязательство слишком частное - о побеге.

А тут меня по спецнаряду министерства выдернули на шарашку. Так и обошлось. Ни разу больше мне не пришлось подписаться "Ветров". Но и сегодня я поёживаюсь, встречая эту фамилию.

О, как же трудно, как трудно становиться человеком! Даже если прошел ты фронт, и бомбили тебя, и на минах ты рвался - это ещё только начало мужества. Это ещё - не всё» /там же, стр. 338 - 339/.

Спасая на весь срок. Таким, кто упорно отказывался доносить, ставили, говорят, особую отметку в лагерном "деле": "вербовке не подлежит"* . Солженицына вздумали вербовать второй и последний раз в ссылке, когда она уже была на "оттепелном" исходе, в 1956-м. Это случилось без связи с историей "Ветрова" - стараниями заезжего (областного) опера, в Кок-Тереке. И опять были у Солженицына причины осторожничать и хитрить - рукописи и фотоплёнки в его ссыльной хибарке:

* Известный генетик Эфроимсон (ныне покойный) в 1956 году, когда происходила его реабилитация, увидел на своём личном деле такую помету и гордился этой "не-каиновой печатью", как боевым орденом /В П Эфроимсон. Гениальность и генетика М. Изд "Русский мир" 1998. Стр. 517/

Меня круто пытались вербовать в тюрьме - не удалось. А в лагере уже и не пробовали. Но случалось, что подписавших преследовали годами, даже на "волс" /Д Ш /

«...У меня к этому году развилась уже какая-то кавалерийская лёгкость по отношению к их славному учреждению. Я чувствовал, что вполне в духе эпохи послать его именно туда, куда они заслужили. Прямых последствий для себя я ничуть не боялся – их быть не могло в тот славный год. И очень весело бы уйти от него, хлопнув дверью.

Но я подумал: а мои рукописи? Целыми днями они лежат в моей хатке, защищённые слабым замочком, да ещё маленькой хитростью внутри. А ночами я их достаю и пишу. Разозлю КГБ – будут искать мне отместку, что-нибудь компрометирующее, и вдруг найдут рукописи?

Нет, надо кончить миром.

О, страна! О, заклятая страна, где в самые свободные месяцы самый внутренне-свободный человек не может позволить себе поспорить с жандармами!.. Не может в глаза им вызвездить всё, что думает!

– Я тяжело болен, вот что. Болезнь не разрешает мне приглядываться, присматриваться. Хватит с меня забот. Давайте на этом кончим» /там же, стр. 340/.

Долго канючил опер, что и больной может послужить родине, но удовлетворился копией справки из онкодиспансера и отъехался.

«Отдал я ему справку и на том рассчитались.

Это были самые свободные месяцы нашей страны за полстолетия!

А у кого справки не было?» /там же, стр. 341/.

Вот именно. А место дорогих сердцу рукописей и фотоплёнок вполне могут занимать в душе вербуемого родителя, жена, муж, дети... Наконец – работа по призванию. Так что всегда следовало (следует) быть готовым на риск **всем**. За спиной Солженицына, входящего в сорок три года в редакцию "Нового мира", был уже и **такой риск**. А предстоял ещё больший, ибо количество рукописей увеличивалось и смертельная опасность их нарастала. Ещё только подготавливался "Архипелаг" и писался несокращённый "Круг". А потом появились любимая и дети – самое уязвимое место в сердце.

* * *

Можно себе представить, даже и не вдаваясь более в биографии двух писателей, вплоть до момента их встречи, сколь необычный для "Нового мира" человек входил в редакцию для первого разговора с Твардовским.

Встреча

Ещё раз вслушаемся в слова Солженицына о себе, доарестном:

«До ареста я тут многого не понимал. Неосмысленно тянул я в литературу, плохо зная, зачем это мне и зачем литературе. Изнывал лишь от того, что трудно, мол, свежие **темы** находить для рассказов. Страшно подумать, что б я стал за писатель (а стал бы), если б меня не **посадили**» /А.И. Солженицын, "Бодялся телёнок с дубом". Париж. Изд. YMCA-PRESS. 1975; стр. 7/.

Одно уже это замечание говорит о том, насколько не выделял себя Солженицын из общего ряда. Кажется даже, что и принижал. Ведь и не отсидевшие своих сроков писатели 1918-го – 1960-х гг. (в 60-х начинал писаться "Телёнок") много бесценного русской литературе дали. Но стоит представить себе Солженицына без "Архипелага" и "Круга", без "Красного колеса", вообще – **не сидевшего** Солженицына, и страшно становится от зияющей в русской литературе дыры. А в Солженицыне без опалившего его душу огненно-арктического дыхания Архипелага могли развиваться и доминировать совсем и не те черты, которые возобладали на Архипелаге. Да и откуда бы он всё, что узнал, – узнал? Как бы прочувствовал, если не на своей шкуре?

На Архипелаге пришлось выбирать между жизнью и честностью. И выбрано было, по внутренне-безысходному побуждению, второе: честность. Тот с трудом объяснимый факт, что удалось сохранить и жизнь, и дар, – воспринят был навсегда как предопределение и помощь свыше. Тем более, что исполнять свою миссию писатель начал не в 1980-е – 90-е, а в 1940-е годы.

Вспоминая это испытание выбором, Солженицын пишет:

«...я как дыхание, понял как всё неоспоримое, что видят глаза: не только меня никто печатать не будет, но строчка единая мне обойдётся ценою в голову. Без сомнения, без раздвоения вступил я в удел современного русского писателя, озабоченного правдой: писать надо только для того, чтоб об этом обо всём не забылось, когда-нибудь известно стало потомкам. При жизни же моей даже представления такого, мечты такой не должно быть в груди – напечататься. И – изжил я досужую мечту. И взамен была только уверенность, что не пропадёт моя работа, что на какие головы нацелена – те поразит, и кому невидимым струением посылается – те воспримут. С пожизненным молчанием я смирился как с пожизненной невозможностью освободить ноги от земной тяжести. И вещь за вещь кончая то в лагере, то в ссылке, то уже и реабилитированным, сперва стихи, потом пьесы, потом и прозу, я одно только лелеял: как сохранить их в тайне и с ними самого себя» /там же, стр. 7 – 8/.

Пожалуй, судя по всему жизненному сюжету, точнее прозвучало бы: "А ради них – и самого себя". Так возникала единонаправленность, которая талантами и характерами более компромиссными воспринимается как узость и жесткость. А то и как душевная бедность.

В 1953 году, на исходе сталинской эры, определился у Солженицына рак с метастазами. Основную опухоль вырезали ещё в лагере, перед выходом на вечное поселение. Но затерялась бумажка о биопсии, а потом вспыхнули метастазы. Страшное наступило время:

«Осенью 1953 года очень было похоже, что я доживаю последние месяцы. В декабре подтвердили врачи, ссыльные ребята, что жить мне осталось не больше трёх недель.

Грозило погаснуть с моей головой и всё моё лагерное заучивание.

Это был страшный момент моей жизни: смерть на пороге освобождения и гибель всего написанного, всего смысла прожитого до сих пор. По особенностям советской цензуры никому вовне я не мог крикнуть, позвать: приезжайте, возьмите, спасите моё написанное! Да чужого человека и не позовёшь. Друзья – сами по лагерям. Мама – умерла. Жена – вышла за другого; всё же я позвал её проститься, могла б и рукописи забрать, – не приехала...

...Однако, я не умер (при моей безнадежно-запущенной остро-злокачественной опухоли это было Божье чудо, я никак иначе не понимал. Вся возвращённая мне жизнь с тех пор – не моя в полном смысле, она имеет вложенную цель). Тою весной, оживающий, пьяный от возврата жизни (может быть, на 2–3 года только?), в угаре радости я написал "Республику труда". Эту я уже не пробовал и заучивать, это первая была вещь, над которой я узнал счастье: не сжигать отрывок за отрывком, едва знаешь наизусть; иметь неуничтоженным начало, пока не напишешь конца, и обозреть всю пьесу сразу; и переписать из редакции в редакцию; и править; и ещё переписать.

Но уничтожая все редакции черновые – как же хранить последнюю? Счастливая чужая мысль и счастливая чужая помощь повели меня по новому пути; оказалось, надо освоить новое ремесло, самому научиться делать **завачки**, далёкие и близкие, где все бумаги мои, готовые к работе, становились бы недоступны ни случайному вору, ни поверхностному ссыльному обыску. Мало было тридцати учебных часов в школе, классного руководства, одинокого кухонного хозяйства (из-за тайны своего писания я и жениться не мог); мало было самого подпольного писания – ещё надо было теперь учиться ремеслу – прятать написанное.

А за одним ремеслом потянулось другое: самому делать с рукописей микрофильмы (без единой электрической лампы и под солнцем, почти не уходящим за облака). А микрофильмы потом – вделать в книжные обложки, двумя готовыми конвертами: США, ферма Александры Львовны Толстой. Я никого на Западе более не знал,

ни одного издателя, но уверен был, что дочь Толстого не уклонится помочь мне» /там же, стр. 8 – 9/.

Вот только как добиться до Александры Толстой? Как сохранить и перекинуть все эти сверхловкие захоронки?

Обдумывалось бесчисленное множество и наивных, и хитроумных планов. Только прочитав внимательно всего "Телёнка", включая отдельно изданные дополнения и – **обязательно!** – главу "Не видимки", увидишь дороги, лабиринты и тупики, по которым и сквозь которые двигались книги Солженицына к их читателям. И **никогда, никаким чудом** не достигли бы они своей цели (не выполнил бы писатель своего предназначения), если бы не сочувственный, а **нередко и самопожертвенный круг помощников**.

И всё-таки... всё-таки подступало время, когда невозможно стало хоть краешком не приоткрыться для отечественного читателя. Почудилось, что в атмосфере XX и XXII партсъездов это не совсем невозможно.

Ещё до хождения в открытую литературу Солженицыну довелось убедиться, что не так уж и безошибочны его максималистские суждения о писательстве в советских условиях. Он вспоминает:

«Но вот прошли года – и к тому, кажется, склонилось, что ошибся я по всем трём своим убеждениям.

Не такое уж бесплодное оказалось поле литературы. Как ни выжигали в нём всё, что даёт питание и влагу живому, а живое всё-таки выросло. Можно ли не признать за живое и "Тёркина на том свете" и крутолучинских мужиков? Как не признать живыми имена Шукшина, Можаяева, Тендрякова, Белова да и Солоухина? И какой же сильный и добротный был бы Ю. Казаков, если бы не прятался от главной правды? Я не перечисляю всех имён, сюда это не идёт. А ведь есть ещё – смелые молодые поэты. Вообще: союз писателей, не принявший когда-то Цветаеву, проклявший Замятина, презревший Булгакова, исторгнувший Ахматову и Пастернака, представлялся мне из подполья совершенным Содомом и Гоморрой, теми ларёшниками и менялами, захлаившими и осквернившими храм, чьи столики надо опрокидывать, а самих бичом изгонять на внешние ступени. Удивлён же я и очень рад своей ошибке.

Ошибся я и во втором предвидении, но уже на беду: хитрых таких, и упорных таких – и счастливых таких! – оказалось совсем мало. Целая литература из нас никак уже не получится, работала чекистская метла железнее, чем я думал. Сколько светлых умов и даже может быть гениев – втёрты в землю без следа, без концов, без отдачи.

. . .

Ошибся я и в третьем своём убеждении: гораздо раньше, ещё при нашей жизни начался наш первый выход из бездны тёмных вод. Мне пришлось дожить до этого счастья – высунуть голову и первые камешки швырнуть в тупую лбину Голиафа. Лоб оставался цел, от-

скакивали камешки, но, упав на землю, зацветали разрыв-травой, и встречали их ликованием или ненавистью, никто не проходил просто так.

А дальше, наоборот, замедлилось – потянулось как протяжная холодная весна. Стала петлями, петлями закидываться история, чтобы каждого петлёю обхватить и задушить побольше шей. И так всё пошло неохотно (да так и надо было ждать), что сейчас и выбора у нас не осталось, и придумать ничего не придумаешь, как в этот лоб непримчивый швырнуть последние камешки из последних силёнок. Да, да, конечно, кто же не знает: не проткнуть лозою железобетонных башенных стен. Да вот догадка: может, они на рогоже нарисованы?» /там же, стр. 14 – 15/.

Всё-таки возможности печатной литературы, с попеременными "оттепями" и "заморозками", по сравнению со сталинской эрой, расширились и (вспоминает Солженицын) :

«...меня колебали и разрывали: да не пришел ли долгожданный страшный радостный момент – тот миг, когда я должен высунуть макушку из-под воды?

Нельзя было ошибиться! Нельзя было высунуться прежде времени. Но и пропустить редкого мига тоже было нельзя!

А тут ещё хорошо выступил на XXII съезде и Твардовский, и такая там была нотка, что давно можно печатать смелее и свободнее, а "мы не используем". Такая нотка, что просто нет у "Нового мира" вещей посмелее и поострее, а то бы он мог» /там же, стр. 20/

Тут и возникает впервые крупным планом фигура Александра Твардовского в поле зрения Александра Солженицына:

«Твардовского времён "Муравии" я несколько не выделял из общего ряда поэтов, обслуживающих курильницы лжи» /там же/.

А я бы выделила. И выделяла, читая, например, главу "Свадьба" со сцены или своим ученикам. Выделяла песенность и народность, безупречное мастерство стиха. Весь зал пританцовывал в такт, когда звучали эти стихи-припевки с деревенской сцены (настила) в прокуренном нетопленном клубе. И плавать было слушателям на идеологические аксессуары, привязанные Твардовским к поэме.

Уж если и в лагере не умирала (и, каюсь, часто не унывала) ни песня, ни частушка, ни музыка (балалайка, мандолина, гитара, а то и гармошка, баян и даже аккордеон), то как же было не спастись ими деревне? Устным народным творчеством, сиречь фольклором, а не партийным заказом лучится, поет и пляшет "Страна Муравия":

"Стар, стар, стар, стар,
Целоваться перестал!

Накажу я старого,
Накажу кудлатого:
Восьмерых сынов имею –
Закажу девятого..."

А что до сюжета, то была это обыкновенная утопия, не более того. "В тридевятом царстве, тридесютом государстве"... "Четвёртый сон Веры Павловны" из смоленской глубинки...

Солженицын увидел в Твардовском поэта, начиная с "Тёркина":

«...со времён фронта я отметил "Василия Тёркина" как удивительную удачу: задолго до появления первых правдивых книг о войне (с некрасовских "Окопов" не так-то много их и всех удалось, может быть полдюжины), в потоке угарной агитационной трескотни, которая сопровождала нашу стрельбу и бомбёжку, Твардовский сумел написать вещь вневременную, мужественную и неогрязненную – по редкому личному чувству меры, а может быть и по более общей крестьянской деликатности. (Этой деликатности под огрубелой не-образованностью крестьян и в тяжком их быту я не могу перестать изумляться.) Не имея свободы сказать полную правду о войне, Твардовский останавливался однако перед всякой ложью на последнем миллиметре, нигде этого миллиметра не переступил, нигде! – оттого и вышло чудо. Я это не по себе одному говорю, я это хорошо наблюдал на солдатах своей батареи во время войны. По условиям нашей звукоразведывательной службы они даже в боевых условиях много имели времени для слушанья чтения (ночами, у трубок звукопостов, а с центрального читали что-нибудь). Так вот из многого, предложенного им, они явно выделили и предпочли: "Войну и мир" и "Тёркина"» /там же, стр. 20 – 21/.

"Тёркину на том свете" – вещи, на мой взгляд, уникальной и символической, в которой герой странно опережает своего автора, Солженицын уделяет две-три строки. Но в первом обобщающем взгляде, ещё до личного знакомства, возникают – с неизбежностью рока – те диссонансы, которые так никогда и не сменяются полной гармонией.

Солженицын и не следил пристально за творчеством человека, призванного сыграть столь важную роль в его жизни.

«Я не знал даже, что публиковалась в "Правде" глава из "За далью даль", что поэма в том году получила ленинскую премию. Поэму я прочёл гораздо позже, а главу "Так это было" – когда попала мне в "Новом мире".

По тому времени, по всеобщей робости она выглядела смелой: трудноночь тётки Дарьи, "ура, он снова будет прав!" и даже "Москва высотная вставала, как некий странный павильон". И был уже тогда у меня первый толчок: не показать ли чего-нибудь написанного Твардовскому? не решиться ли? Но всё ту же главу перелистывая и раздумывая, я встречал и "грозного отца" и "правоту" его обок

с неправотою, и ему мы "обязаны победой", и родство Сталина с бранной сталью,

"...И в нашей книге золотой
Ни строчки, даже запятой..
Чтоб заслонила нашу честь.
Да, всё, что с нами было – было!"

Уж слишком мягко: сорокалетний позор лагерей – не заслонил чести? Уж слишком бесконтурно: "что было – то было", "тут ни убавить, ни прибавить". Так и обо всех видах фашизма можно сказать. Тогда и Нюренберга не надо? – что было, то было..? Философия беспомощная, не вытягивающая на суждение об истории*. Поэт трогал ногой рядом с мощёной тропкой, но страшно было ему сходить.

И я не знал: если выдраться к нему из трясины и руки протянуть: сходи! – то пойдёт или упрётся?» /там же, стр. 21 – 22/ .

Так, начиная с преддверья их встречи и вплоть до разгрома **"Нового мира"** Твардовского, Солженицын будет страстно пытаться совлечь Твардовского с "мощёной тропки". Но – совлеки он его (Солженицын – Твардовского) с этой тропки со всей той бескомпромиссностью, которой ему хотелось, – это был бы последний шаг журнала. Впрочем, задушили бы и на полушаге. Твардовскому же, чтобы не потерять самоуважения, необходимо было ежечасно себя убеждать, что это **он сам** – против печатания "крайних", непримиримых вещей Солженицына.

Открыться, выйти со своим заветным в подневольный советский литературный мир Солженицыну было по-настоящему страшно.

«Сам я в "Новый мир" не пошел: просто ноги не тянулись, не предвидя успеха. Мне было 43 года, и достаточно я уже колотился на свете, чтоб идти в редакцию начинающим мальчиком. Мой тюремный друг Лев Копелев взялся передать рукопись. Хотя шесть авторских листов, но это было совсем тонко: ведь с двух сторон, без полей и строка вплотную к строке.

[^] Лидия Чуковская в "Записках об Анне Ахматовой" вспоминает, как та пятью годами раньше гневалась на Твардовского за тогдашнюю главу "Друг детства". "Новая ложь взамен старой!"

"Страна? Причем же здесь страна?
...Народ? Какой же тут народ!"

И поэт вместе с эзком

"Ведал все И хлеб тот ел"

И ээк

"По одному со мною билету
Как равный гость бывал в Кремле"

Да для 56-го года удобная песенка лжи /прим. Солженицына/

Я отдал – и охватило меня волнение, только не молодого славолубивого автора, а старого огрызчивого лагерника, имевшего неосторожность дать на себя след» /там же, стр. 22 – 23/.

Долбила голову неотступная мысль:

«Как мог я, ничем не понуждаемый, сам на себя отдать донос?..» /там же, стр. 23/.

Но – снявши голову, по волосам не плачут. Дальше события развивались уже независимо от автора "Щ-854". Пришла телеграмма от Льва Копелева ("Александр Трифонович восхищён статьёй" – условный шифр), затем – телеграфный вызов от самого Твардовского.

Здесь я хочу немного отвлечься для небольшого отступления. На мой взгляд, тогдашнее состояние Солженицына во всех его колебаниях и бросках от надежды к отчаянию очень понятно. С одной стороны, сколько же можно пребывать в бункере, доступном только близким друзьям? С другой стороны, будучи совершенно безвестным, а значит – и беззащитным, как можно дать повод вытащить тебя за приоткрытое ушко на солнышко? Да ещё со всем, что наработано тобой за жизнь. Безвестного самиздатчика, едва только след приведёт к норе, тут же и раздавят. Необходимо было прежде либо перебросить всё за кордон, чего тогда ещё не было сделано, либо обрести литературное имя, чтобы весомые силы могли тебя защищать, когда "сядешь". Особенно важно это было при большом заделе завершённых и незавершённых работ, на легальную печать не рассчитанных. По-моему, встреча с Твардовским и то, что Твардовский принял и полюбил "Ивана Денисовича" всей своей истрадавшейся по правде душой, были для Солженицына куда большим подарком жизни, чем Нобелевская премия. Первые шаги его – от полной безвестности до славы – сделаны были под прочным (ещё) щитом Твардовского, при верной поддержке его официального авторитета. Это был именно тот первый и самый рискованный участок пути, которого в одиночку ни за что бы не одолеть. Выигрыш на этом важнейшем шаге (ещё и поддержанном царём Никитой) позволил Солженицыну дозреть и укрепиться в его небывалом качестве – всемирно известного и совершенно бескомпромиссного **классика Самиздата**. После новомировских публикаций борьба велась на другом уровне, с иного трамплина. Так, не будь правозащитник Сахаров "до того" отцом советской водородной бомбы, на него обрушилась бы не ссылка в Горький, а судьба Буковского или Марченко. Новомировский автор, выдвигавшийся на Ленинскую премию, обрёл пусть временный, но немислимый для безвестного самиздатчика простор маневра. Но не будем спешить: у этой истории есть свой ритм.

Итак:

«Вместе с Копелевым мы поднялись по широкой барской лестнице "Нового мира" – в кино эту лестницу снимать для сцены бала. Был полдень, но Твардовский ещё не приезжал, да и редакция только что собралась, так поздно они начинали. Стали знакомиться

в отделе прозы. Редактор его Анна Самойловна Берзер сыграла главную роль в вознесении моего рассказа в руки Твардовского» /там же, стр. 25/.

Берзер прочла рассказ не сразу, но оценила как только прочла. И поняла, что читать его должен сам Твардовский, ибо

«...любой из членов редакционной коллегии, в ладу со своим пониманием благополучия журнала, непременно эту рукопись перехватит, зажмёт, заглохнет, не даст ей дойти до Твардовского» /там же/.

Хочу выделить слова: "в ладу со своим пониманием благополучия журнала". В контексте явной солженицынской неприязни к осторожничающим и нелюбопытным "зажимщикам" ускользает от читателя их забота о благополучии журнала. А она, как покажет время, вполне ошибочно просигналила им "тревогу".

То, что со "Щ-854" в "Новый мир" пришел автор не из этой, не из надводной, то есть не из советской литературы, скоро станет ясно всем, кроме Главного. И естественно, что они предпочли бы его не заметить, чтобы не потопить ... себя и журнал? Журнал и себя? Журнал? Возможно, они одно от другого не отделяли. Все, кому следовало, по предложению Берзер, взглянули на рукопись, но читать её отказались. Очевидно, надеялись, что без них до Твардовского она не дойдёт.

Берзер знала, что плохой, бледной машинописи (через пол-интервала) Твардовский читать не станет. Сколько, попутно спросим, пропало в редакциях мира рукописей, не читанных из-за нетоварного вида?

«Попросила А.С. перепечатать за счёт редакции. Ушло на это время. Ещё ушло – на ожидание, пока Твардовский вернётся из очередного приступа своего запоя (несчастных запоев, а может быть и спасительных, как я понял постепенно). Но главная трудность была – как заманеврировать членов редакции и прорваться к Твардовскому, который редко её принимал и несправедливо не любил (то ли не оценивал её художественного вкуса, трудолюбия и отдачи всей себя интересам журнала, то ли ревновал к авторам, которые все с ней дружили и постоянно толклись в отделе прозы)» /там же, стр. 25 – 26/.

И всё-таки Анна Самойловна

«...дождалась случая, правда, в присутствии Кондратовича, наедине не удалось, и сказала Главному, что есть две особых рукописи, требующих непременно его прочтения: "Софья Петровна" Лидии Чуковской и ещё такая: "лагерь глазами мужика, очень народная

вещь". Опять-таки, в шести словах нельзя было попасть точнее в сердце Твардовского! Он сразу сказал - эту давайте*.

* * *

Узнав потом жизнь редакции, я убедился, что не видать бы Ивану Денисовичу света, если б А. Берзер не пробилась к Твардовскому и не зацепила его замечанием, что это - глазами мужика. Сlopали б живём моего Денисовича три охранителя Главного - Дементьев, Закс и Кондратович. Не скажу, что такой точный план, но верная догадка-предчувствие у меня в том и была: к этому мужику Ивану Денисовичу не могут остаться равнодушны верхний мужик Александр Твардовский и верховой мужик Никита Хрущев. Так и сбилось: даже не поэзия и даже не политика решили судьбу моего рассказа, а вот эта его dokonная мужицкая суть, столько у нас осмеянная, потоптанная и охаянная с Великого Перелома, да и поранее /там же, стр. 26 - 27/.

Как расстался со своими родными "верхний мужик Александр Твардовский" и какой заступой крестьянству послужил в своё время "верховой мужик Никита Хрущёв" (не крестьянского, а шахтёрского будто бы и роду), нам известно доподлинно. В годы "Великого перелома" и позже, стояли они, несмотря на свою корневую крестьянскую (пусть не отец, так дед у Хрущёва - мужик) простонародность, на очень чётких партийных позициях. А Хрущёв - так и на очень грозных, и словом, и делом. Но Иван Денисович, действительно, зацепил за живое обоих. Твардовского - скорее всего, как художника. А может быть, вопреки всей его большевистской идейности, как поэта **народного**, детством и отрочеством, ладом и складом своими оставшегося принадлежать крестьянству. Хрущёва же - как, в глубинах существа своего (глубже и органичной идеологии), человека массы, чуждого и учёности, и (как знать?) своего высокого кресла. Собственно говоря, мы и пришли к предположению Солженицына о возможных истоках сердечного порыва обоих к Ивану Денисовичу. Голос корней...

Далее, опуская детали отношения к "Щ-854" других ответственных сотрудников редакции, выделим то, из чего начал складываться в "Телёнке" живой образ Твардовского. И намётки тех отношений, которые сложились у Солженицына с Главным в дальнейшем. Они и подарят Солженицыну за-пас времени, о котором сказано выше.

«Как Твардовский потом рассказывал, он вечером лёг в кровать и взял рукопись. Однако после двух-трёх страниц решил, что лёжа не считаешь. Встал, оделся. Домашние его уже спали, а он всю ночь, перемежая с чаем на кухне, читал рассказ - первый раз,

* А "Софье Петровне" пришлось еще несколько лет ожидать - до своей четверти века и зарубежного опубликования. Очень понятное у нас, это совсем непонятно Западу - один и тот же журнал не посмел бы опубликовать вторую повесть на тюремную тему. Ведь получалась бы **линия**. /прим. Солженицына /

потом и второй (ничего моего последующего он второй раз не читал, и вообще ничего никогда второй раз не читает, даже после авторских уступок, из-за того попадая иногда и в ошибки)» /там же, стр. 27/.

Не ложась в ту ночь, с общепринятого в редакции позднего утра, начал Твардовский узнавать об авторе.

«Особенно понравилось ему, что это – не мистификация какого-нибудь известного пера (впрочем, он и уверен был), что автор – и не литератор, и не москвич» /там же, стр. 28/.

Не литератор, да, но трудно бы не понять, что **писатель, отнюдь не начинающий**, а со своим, хорошо отработанным стилем. И не человек из захолустья, а искушенный книжник, мужика написавший любовно, с пониманием, со вхождением в образ, но всё же со стороны. Не так, как Твардовский – свадьбу в "Стране Муравии" и "Тёркина".

«Для Твардовского начались счастливые дни открытия: он бросился с рукописью по своим друзьям и требовал выставлять бутылку на стол в честь появления нового писателя. Надо знать Твардовского: в том он и истый редактор, не как другие, что до дрожи, до страсти золотодобытчика любит открывать новых авторов.

Он кинулся по друзьям, но вот странно: в пятьдесят один год, известный поэт, редактор лучшего журнала, важная фигура в союзе писателей, немелкий и среди коммунистов, – Твардовский мало имел друзей, почти их не имел: своего первого заместителя (недоброго духа) Дементьева; да собутыльника, мутного Н.А. Саца; да М.А. Лифшица, ископаемого марксиста-догматика. (Говорят, много было в его жизни попыток найти друга, были периоды нежной дружбы с Виктором Некрасовым, с Казакевичем, ещё с кем-то, но потом шла дружба по колдобинам, утыкалась, перепрокидывалась, не выходило доброго. Значит, и такое что-то в Твардовском было: обречённость на одинокое стоянье. И от крупности. И от характера. И оттого, что из мужичества он пришел. И от неестественной жизни советского вельможи: расположением Фадеева когда-то гордился, а на кого-то посматривал сверху вниз.)» /там же/.

Подчеркнем: и от невозможности дать волю истинным своим предпочтениям (о чём, собственно, здесь и сказано). Дай он себе волю – потянулся Твардовский по-настоящему ко всем этим "Спускам под воду", к тому, что копилось в столах даже и у известных, благополучных внешне писателей и... Что получилось бы? Именно то, что и получилось, когда повлёкся неодолимой тягой к Солженицыну. А каковы были в интимном общении с Главным люди, в глазах Солженицына, "мутные", – со стороны, да ещё издалека, трудно судить. Не исключено, что объединяла их с Твардовским страсть и надежда оставить живым журнал. Такой, каким он для всего рус-

скочитающего СССР сумел стать. Но невозможно было стоять на месте и в то же время оставаться неподдельно ведущим в духовном смысле. Это чувствовал и сам Главный. И от того томился. А в его охранителях и событильниках доминировало, возможно, другое чувство: сто́ит лишь перешагнуть хорошо ощущаемую ими грань – и конец. Коготок увяз – всей птичке пропасть. Солженицын и стал тем пробным камнем на дороге журнала, который мог одолеть в Твардовском шаткое чувство "порядочности применительно к"... – чему? Его убеждали, что применительно к неустранимым преградам и обстоятельствам. Он тоже **старался так думать**. Но **чувствовать так** он не мог. Каждая новая вещь Солженицына, не печатаемая в силу обстоятельств, отзывалась в смятенной душе Твардовского убийственно-беспощадной классической формулой: "порядочность применительно к подлости".

Солженицын же, которому суждено было явиться последним непереносимым ударом по страдающей совести Твардовского, отнёсся к нему почти с первой встречи с жалеющей нежностью старшего, а не младшего, каким был по возрасту.

Чем дальше, тем тяжелее давалось Главному сосуществование с литературным надзорсоставом и его начальством. И хоть не сразу почувствовал Солженицын в Твардовском эту боль, но какая-то страдающая симпатия возникла с первого взгляда. Солженицын напоминает:

«Он был крупный, лицом широкий. ...соответственно моменту держался с достойной церемонностью, однако и сквозь неё сразу поразило меня детское выражение его лица – откровенно детское, даже беззащитно-детское, ничуть кажется не испорченное долголетним пребыванием в высоких слоях и даже обласканностью тронем.

. . .

Он очень старался сдерживаться и вести себя солидно, но это ему мало удавалось: он всё больше сиял. Сейчас был один из самых счастливых его моментов, именинником за столом был не я – он.

Он смотрел на меня с доброжелательством, уже почти переходящим в любовь. Он неторопливо перебирал те разные примеры из рассказа, мелкие и крупные, что приходили ему на ум, – перебирал с удовольствием, гордостью и радостью даже не открывателя, не покровителя, а творца, он с такой ласковостью и умилением цитировал, будто сам это всё выстрадал и это любимая его вещь. Другие члены редакции все кивали и поддакивали похвалам Главного.

...сдержанней всех и даже мрачен сидел я. Эту роль я себе назначил, ожидая, что вот сейчас начнут выламывать кости, требовать уступок и выбросов, а я ни за что их делать не буду – ведь не знают они, что держат в руках уже **облегчённую** вещь, уже обкатанную. Я понимал, что это только стелют мягко, а сейчас-то и приступят с ножницами – отрезать всё, чем колетса лагерь, и все лохмотья, и все цветки. И своим мрачным видом я им заранее показывал, что нисколько я не вскружен и не очень-то дорожу новым знакомством.

Но чудо! – мне не выламывали рук. Но чудо! – не вытаскивали и не раззевали ножиц. Да не сошел ли я с ума? Неужели редакция серьезно верит, что это можно напечатать?» /там же, стр. 29 – 30/.

Итак, настороженной, недоверчивей и замкнутой всех держался сам автор. Ему ли, безвестному, жесточайше битому жизнью вчерашнему коктерекскому вечнопоселенцу, уместно было доверчиво открыться навстречу ликованию Главного? И всё-таки где-то на дне души в нём вспыхивала мигнутами немислимая надежда:

«Предупредил меня Твардовский, что напечатания твёрдо не обещает (Господи, да я рад был, что в ЧКГБ не передали!), и срока не укажет, но не пожалеет усилий... ..Властно и радостно распорядился Твардовский тут же заключить со мной договор по высшей принятой у них ставке (один аванс – моя двухлетняя зарплата). Я сидел как в дурмане, силясь держать внимание на том, чтобы не сказать о себе лишнего» /там же, стр. 31 – 32/.

Так совершился счастливейший поворот в битве телёнка с дубом – поворот, предопределивший махине дрогнуть, а телёнку выиграть время и выполнить своё предназначение.

Сейчас, в ретроспекции судьбы Солженицына, от ареста до высылки в Германию, встреча его с Твардовским и (самопожертвенная – в конечном счёте) поддержка последним первых открытых шагов Солженицына выглядят одним из решающих поворотов в судьбах обоих. Субъективно, впрочем, Твардовский собой не жертвовал: он, нередко – с большой оглядкой, искал для Солженицына и для себя компромисса с хозяевами положения. Но сделал самое главное: дал "отщепенцу" бронезилет легальности, позволивший прорваться из безвестности. Для начала это была большая подмога.

Разными, пожалуй, даже несоизмеримыми были отсчёты времени у Твардовского и у Солженицына 1961–62 годов.

После успеха со всё ещё не напечатанным "Щ-854" Солженицын рискнул показать Твардовскому несколько "Крохоток" и "Не стоит село без праведника", потом переименованное в "Матрёнин двор" (на всех переименованиях настаивала редакция). Естественно, что в единственность в запасе у Солженицына "Щ-854" никто не верил: в сорок три года так писать не начинают. "Крохотки" Твардовский отверг ("заготовки", "наброски"). А прочтение будущего "Матрёнина двора" обернулось противоположно первоначальному решению Главного. Причём по его же воле. В предварительном разговоре-совете Твардовского с Дементьевым было постановлено не печатать. Этому другу-противнику Твардовского (Дементьеву) уделено в "Телёнке" немало места. Если уж Солженицын кого не любит, его настроение передаётся читателю даже и пунктуацией. А здесь не личная антипатия пра-

вила бал: здесь с первой минуты Солженицын почувствовал, чью волю творит при Твардовском Дементьев. Солженицын её, эту волю пославших, чуял в самомалейшей примеси, иногда и самому "порученцу" невнятной. Он вспоминает:

«Дементьев всегда был настроен делово, живо выхватывал суть, и какую статью или абзац можно было пособить протолкнуть, – набросив ширмочку, переставив слова – пособлял непременно. Он не безразличен был, как Закс, к тому, какой получится журнальный номер, он способствовал, чтоб журнал был и посвежей, и посочней и даже поострей – но всё в рамках разумного! но стянутое проверенным партийным обручем и накрытое проверенной партийной крышкой!» /там же, стр. 34/.

Дело спасалось и особость "Нового мира" среди прочих журналов охранялась тем, что Твардовским не всегда можно было управить. **Выбрав сторону** ещё в юные годы (вспомним письмо к Тарасенкову и рассказ брата), он так никогда и не переставал двоиться. Душа его оставалась полем изнурительной, непрестанной борьбы с самим собой. Твардовский – коммунист имел много опор и принимал доброй волей много запретов. Твардовский – сын своего отца и брат своих братьев – расслышал вдруг их голоса в рассказах ни на кого не похожего безвестного автора. В подобных случаях (они бывали не часты) в спор

«вступало сердце и зрение Твардовского. Так сорвалось у Дементьева с "Иваном Денисовичем": впечатления бессонной ночи и двойного чтения были слишком сильны над Твардовским, чтобы рывку его поэтического и мужицкого чувства Дементьев отважился противостоять.

Впрочем, это тоже всё годами позже я узнал и понял. А тогда только чувствовал в Дементьеве врага. Я ещё не понимал, что главное обсуждение "Матрёны" уже состоялось между ними двумя, дома, втихую, что на этот раз второй Саша уже одолел первого. Одолел редактора, но не мог заглушить чувства в поэте. И Твардовский, обречённый отказать мне, мучился и для того и кликал второго Сашу за стол ничего не решающего обсуждения, чтобы тот помог разобраться в его собственном смятении и объяснить мне, почему рассказ о Матрёне ни в коем, ни в коем случае не может быть напечатан. (Как будто я им это предлагал! Я принёс рассказ, чтобы только откупиться от расспросов.) Но ушел Дементьев, не помог – и досталось Твардовскому "обсуждать" самому – при трёх молчащих сотрудниках редакции и моих редких слабых ответах. Почти три часа длилось это обсуждение – монолог Твардовского.

Это была сбивчивая, растерянная и сердечная речь. (Сидевшая среди нас Берзер говорила мне потом, что за все годы в "Новом мире" не помнила, не слышала Твардовского таким.)

Он делал круг над рассказом и потом круг общих рассуждений, и опять над рассказом, и опять – общих рассуждений. Художник истинный, он не мог упрекнуть меня, что здесь неправда. Но при-

знать, что это и есть правда в полноте, – подрывало его партийные, общественные убеждения.

Да не первый же раз, да сколько раз уже, конечно, он переживал это разрушительное душевное столкновение, только может быть не сходилась таким острым клином! Он и жил-то единственным истоком: русской литературой – с тех первых некрасовских стихов, заученных босоногим мальчишкой, и со своего первого стихотворения, написанного в тринадцать лет. Он предан был русской литературе, её святому подходу к жизни. И хотелось ему быть только – как те, Пушкин и кто за ним. Повторяя Есенина, он охотно бы умер от счастья, сподобленный пушкинской судьбе. Но не тот был век, и всеми и всюду была признана и в каждого внедрена, – а тем более в главного редактора, – другая, более важная истина – партийная. Направлять сегодня русскую литературу, помогать ей он не мог бы без партийного билета. А партийный билет он не мог носить неискренно. И, как воздух, нужно было ему, чтоб эти две правды не раздваивались, а сливались. (Потому вскоре он так полюбит и приблизит Лакшина, что тот сумеет ладить между этими двумя правдами, сумеет пластично переходить от одной к другой, не выявляя трещины.) Всякую рукопись полюбив сперва чувством первым, Твардовский непременно должен был провести её через второе чувство и лишь тогда печатать – как произведение **советское**» /там же, стр. 35 – 36/.

Итак, чтобы не носить партбилет неискренно, необходимо было запретить себе (пусть даже и почти бессознательно) заглядывать за какую-то грань. А искренность в литературе лишь до какого-то предела – не осетрина ли это "второй свежести"?

Твардовский метался, доказывая себе, что этот рассказ ("Не стоит село без праведника") печатать **нельзя**. И не по цензурным соображениям, как могут подумать, а исключительно в силу его действительного несовершенства. И не замечал сам, как переходил к осуждению того, что считал себя обязанным защищать, и возносил то, что должен был возмущённо опровергать.

А Солженицын слушал, ни разу не усомнившись в своей правоте по существу дела. И то проникался состраданием к раздвоенности Твардовского, то ужасался своему беспечному самораскрытию: а вдруг докопаются до всего остального? Очень странным выглядело это обсуждение, в котором одна сторона – молчала, но не несла урона ни в одном пункте, а вторая – спорила сама с собой. И постепенно теряла все аргументы против рассказа, хотя никто ни в чём ей не перечил. Солженицын припоминает:

«Так он вёл свой почти непрерывный монолог, то светясь благородством, то сгибаясь под догматическим потолком; то вздрагивая от чутья правды, опережающего и пальцы, и глаза поэта, то как бульдозер натужно выталкивая наперёд себя баррикадой авгиевы завалы.

А мы не возражали и не соглашались – мы молчали. Возражал же ему – рассказ о нищей старухе Матрёне, безмолвная рукопись, которую он обещал Дементьеву отвергнуть. И не получив ни единого возражения вслух, но как будто битый по всем аргументам, Александр Трифонович с раскаянным стоном выложил свой последний и главный:

– Ну да нельзя же сказать, чтоб Октябрьская революция была сделана зря!

Никто из нас этого не говорил! Никто не писал! Но вот конфуз – и сейчас никто из нас не подтвердил, не улыбнулся, ни даже кивнул. Мы неприлично молчали.

Как? – мы и этого простейшего не понимали? В недоумении, как всё ещё переослепленный светом фар, Александр Трифонович стал против нас быковато и воскликнул в тоске:

– Так ведь если б не революция – не открыт был бы Исаковский!.. А кем был бы я, если б не революция?..

Только эти факультативные поэтические события и подвернулись ему на язык в ту минуту! (А Есенин, а Клюев – стали без революции?)

И завершилось "обсуждение" тем, что – нет, конечно нет, безусловно нет, "эта вещь не может быть напечатана"» /там же, стр. 37 – 38/.

Но закончилось это вынесение вердикта "Матрёнину двору" и вовсе странно:

«Твардовский с виноватой улыбкой сказал:

– А всё-таки, оставьте её пока в редакции. Почитает кое-кто...

Всё равно её обнаружив, ничего я теперь не терял, если и оставить.

И ещё А.Т. попросил меня (после сказанного многого это совсем изумительно звучало):

– Только, пожалуйста, не станьте **идейно выдержанным!** Не напишите такой вещи, которую бы редакторы и без моего ведома, сами, решились бы запустить.

То есть, ничего из принесенного мною он не мог напечатать – и просил впредь писать не иначе!!

Как раз это я легко мог ему обещать...

Тем более, желая смягчить отказ, А.Т. стал говорить о мерах по печатанию "Ивана Денисовича" – пока ещё фантастических. И упустился. Он действительно сам не знал: что предпринимать? с какой стороны? когда? Сказал мне примирительно:

– Ну, вы нас не торопите. Не спрашивайте, в каком номере будет.

Да я и не собирался. Обошлось без Лубянки – и спасибо. Проиграл я только то, что вообще рассекретился и теперь должен был

с тройной осторожностью прятать свои готовые вещи и текущую работу. Я ответил:

– Это в молодости важно – скорей увидеть себя в печати. А теперь уж у меня другое дыхание» /там же, стр. 38 – 39/.

Как мы знаем, были напечатаны оба рассказа. Пусть не с авторскими названиями, что являлось несомненной утратой, но были.

Солженицын, однако, сохранил сомнение: допустимо ли было так долго тянуть с публикацией? Ему казалось, что на гребне волны XXII партсъезда, не упустив настроения Хрущёва тех месяцев, можно было опубликовать не только рассказы, но даже и сталинскую главу из "Круга". Правда, полной уверенности в своей правоте у Солженицына не было. Но ему представлялось, что, **будь он на месте Твардовского** (а мог ли быть такого характера и темперамента – не говорю: судьбы – человек на месте Твардовского?), он действовал бы иначе:

«И теперь не знаю: как же правильно оценить? Не сам же бы я понёс и донёс повесть к Никите. Без содействия Твардовского никакой бы и XXII съезд не помог. Но вместе с тем как не сказать теперь, что упустил Твардовский золотую пору, упустил приливную волну, которая перекинула бы наш бочонок куда-куда дальше за гряды сталинских скал и только там раскрыла бы содержимое. Напечатать мы тогда, в 2–3 месяца после съезда, ещё и главы о Сталине – насколько бы непоправимей мы его обнажили, насколько бы затруднили позднейшую подрямку. Литература могла бы ускорить историю. Но не ускорила» /там же, стр. 39 – 40/.

А могла ли?

Думаю, глав о Сталине и вплотную за съездом не напечатали бы. Между рассказом о лагере и полным моральным уничтожением партийного идола пролежала "дистанция огромного размера". Но представим себе почти невозможное – публикацию сталинских глав "Круга". Какой вал возмущения они бы подняли – не против Сталина, а против Хрущёва? Не говорю уже о Твардовском. Хрущёв-то разоблачал Сталина с большой оглядкой, давая в крутые минуты задний ход. Порой и по-сталински (вспомним хотя бы Новочеркасск). И, кроме того, страницы романа – не документ. А против эмоций, рефлексов и вбитых в подсознание стереотипов и документы далеко не всеисильны. 1986–90-е годы ярко нам это показали.

Но мы ведём речь не об исторических эффектах того или иного поступка, а о людях, совершающих тот или иной поступок. **Или его не совершающих**. Очень уж разными были психологический склад и жизненный опыт Твардовского и Солженицына, при всём их взаимном неравнодушии. С **Иваном** Твардовским, земляком по Архипелагу, Солженицын мог бы побрататься на многих дорогах. С **Александром** Твардовским их слишком долго и слишком многое разделяло.

«Характер Твардовского, действительно, таков, что ему тошно и напарываться на отказ в просьбах. Говорили, что он переносит с мучением, когда просят его похотатайствовать о ком-нибудь, о чьей-нибудь квартире: а вдруг ему, депутату Верховного Совета и кандидату ЦК, откажут? – унизительно...

Можно допустить, что он и повести боялся повредить слишком прямым и неподготовленным обращением к Хрущёву. Но думаю, что больше здесь была привычная неторопливость того номенклатурного круга, в котором так долго он обращался: они лениво живут и не привыкли спешить ковать ускользящую историю – потому ли, что никуда она не уйдёт? потому ли, что не ими, собственно, куётся?» /там же, стр. 40/

Согласитесь, что когда один ставит на кон жизнь, чтобы не дать злодействам пройти бесследно, а другой уклоняется от помощи людям, чтобы не нарваться на барский отказ, – первому трудно не осудить второго.

Но тому же Твардовскому первый рассказ Солженицына жёг руки. И он давал его читать всем подряд, чтобы разделить радость открытия. Так, волей-неволей Твардовский входил в круговорот Самиздата, от которого сам же и отстранялся – брезгливо и опасливо: комфортней было **честно не знать, чем пренебрегаешь**. А "Щ-854" шел уже в копиях по всей стране и обещал вот-вот перешагнуть через границы.

«Распространение подогревалось всеобщей уверенностью, что эту вещь никогда не напечатают. Твардовский сердился, искал "измену" в редакции, не понимая техники и темпов нашего века, не понимая, что сам же он с этим сбором устных восторгов и письменных рецензий, был главный распространитель» /там же, стр. 41/.

Этого Твардовский допустить не мог.

«(Логика, вполне понятная советскому человеку и совершенно непонятная западному. Ведь для нас мир – не мир, постоянно воюющие "лагеря", мы так приучены.) Пожалуй, эта опасность и заставила Твардовского поспешить. В июле он передал рукопись, окруженную букетом рекомендаций, эксперту Хрущева по культуре Владимиру Семеновичу Лебедеву.

Между тем меня Твардовский ни разу не звал, и я лишь по рассказам Берзер вызнал, что там в редакции делается. Да начинал иногда знакомиться с людьми, уже читавшими мою повесть. После подпольного затишья два десятка таких читателей создавали для меня ощущение толпы и бурной известности» /там же, стр. 41–42/.

Вернёмся, однако, к "Новому миру" и его Главному:

«Когда-нибудь с удивлением изучит и узнает история литературы, что эта свободолюбивая, самая либеральная журнальная редак-

ция в СССР в эти годы поношения культа личности Сталина содержалась внутри себя по культовому принципу. (И это не Твардовский так сложил, это само так сложилось в журнале, естественно, по подобию всякой части своему целому, это сложилось как во всяком учреждении, во всяком звене советской системы, – только именно здесь это выглядело вопиюще, а у Твардовского не хватало простоты и юмора заметить это и растеплить.)

Но Дементьев сидел здесь, и он-то видел, что лопается обруч, что выбивается крышка. Александр Григорьевич Дементьев, кто в злом 1949 году не замылся на должности палача-парторга ленинградской писательской организации, а в хрущевские времена стал комиссаром самого либерального журнала, – кем-то же и зачем-то же был послан сюда? – долею освежиться, долею очиститься – но и **не пущать** же! Перед теми, кем послан был он сюда на полставки, но с ответственностью двойной, не мог он теперь признать авторитет даже хрущевского референта и поддаться благодущию всей редакции. Деловой человек, он не спорил тогда, в декабре 1961-го, когда все меня хвалили и ласкали: он-то знал, что повесть эта всё равно не будет напечатана. Но сейчас, когда искаженным, незаконным ходом событий прорисовалось повести вырваться в свет – сейчас он должен был сделать всё, чтоб её **и с п р а в и т ь**.

И куда же делось то лукаво-дружеское, то душевно-дружеское его выражение в приятном отклоне седеющей головы? И как ожестело его покоряюще милое оканье! Как нарумянило его, как распалило, и до самых ушей! Одно только: он не вещал громом с Олимпа, а спорил, волнуясь, – волнуясь не выиграть, не убедить. Раскаты были только в самих формулировках – в коммунизме, в патриотизме, в материализме, в соцреализме. Воля бы Дементьева, он всю повесть мою сострогал бы под гладь, не осталось бы ни задоринки. Но уж тут надо было бить по ядру. И обвинил он меня, что я позорю знамя и символ советского искусства – "Броненосец Потемкин", и весь разговор о нем надо снять. А ещё надо снять разговор Шухова с Алёшкой о Боге – потому что он художественно совсем не выразительный, а идеологически неправильный, и длинный слишком, и только портит хорошую повесть. А ещё не должен автор уклоняться от политически-точной оценки бендеровцев, даже в их лагерном существовании, ибо они запачканы кровью наших советских людей. А ещё... Да оказывается, он на рукописи сделал много пометок и может мне их конкретно показать, только рукопись мою забыл дома.

Распаленным яростным кабаном выглядел Дементьев к концу своего монолога, и положить бы сейчас перед ним полтораста страниц моей повести – он бы, кажется, клыками их разметал.

А Твардовский молчал. Еще бы не верно! очень верно рассуждал политический комиссар, он хотел из моей аморфной повести выковырять оружие соцреализма – и что же мог возражать ему главный редактор? Он не мог ему возражать, но он почему-то **м о л ч а л**.

Он не поддержал его ни кивком, ни бровью. И ожидательно на меня смотрел. Если б я уступил, значит так бы и было» /там же, стр. 44 - 45/.

Я могу ошибиться, но видится мне, что именно тут, на втором обсуждении уже вроде бы разрешенного "Ивана Денисовича", и произошел тот психологический сдвиг, когда ощутил Твардовский волевое старшинство Солженицына. Младший по возрасту и **никто в иерархии**, Солженицын почувствовал детскость в Твардовском сразу. И это была светлая, возвышающая, а не принижающая Твардовского детскость, беззащитность. Сохранённая в глубине души чистота. Старшинством же и опыта, и характера повеяло на Твардовского от Солженицына только здесь, теперь. И не напрасно. Солженицын ещё и сам себя плохо знал, но напор Дементьева растормозил в нём неизжитые лагерные резервы ("не надейся, не бойся, не проси"):

«Однако – перебрал Дементьев! При своём несомненном и быстром уме совсем он не знал породы эзков, племенного нашего закала. Выражайся он осторожно, требуй он маленьких, но гладких уступочек, достаточно портящих вещь, – я бы всё это записал, а потом попеременно с требованиями хрущевского эксперта обдумал и наверно что-нибудь бы испортил. Но перед напирющими обозленными глазами я ответил без колебания, без труда, совсем не задумываясь, насколько это выгодно. Перед моими глазами, перед моими братьями, перед экибастузской голодовкой, перед кенгирским мятежом мне стыдно и отвратно стало, что я еще обсуждаю тут с ними что-то, что я серьёзно мог думать, будто литераторы с красными книжечками даже после XXII съезда способны напечатать слово правды.

– Десять лет я ждал, – ответил я освобожденно, – и могу еще десять лет подождать. Я не тороплюсь. Моя жизнь от литературы не зависит. Верните мне рукопись, я уеду» /там же, стр. 45 - 46/.

Но этого уже Твардовский не мог допустить. Он слишком сроднился с Иваном Денисовичем за это время. Они слишком многое разбередили в нём – и герой, и автор:

«Тут вмешался переполошенный Твардовский.

– Да вы ничего **не должны!** Всё – на ваше доброе усмотрение, что сказано было сегодня. Но просто всем нам очень хочется, чтобы рукопись прошла.

И – не спорил больше Дементьев. Он стих. Он смяк. Он дошел до того упора, где обрывалось его влияние на Главного. Дальше он не мог рисковать.

И тут же потребовалось мне ехать... именно к нему домой – забирать основной экземпляр. Как он переменялся, как он стал дружелюбен! Да разве это он полчаса назад так разгоряченно шел на меня, стуча копытами? Вдруг он предложил мне... свою квартиру

для работы. Вдруг, совсем позабыв ту терминологию раскатистых -измов, он какими-то смутными намёками стал искать у меня понимание. Э-э, не из куска чугуна был этот комиссар. Он, кажется, был за перегордками многими, и за каждой следующей все грустней. (Кстати, слышал я потом, что он происходил из богатой купеческой семьи; по возрасту должен был тот быт еще захватить. Из опасений ли анкетных он так выпирал в ортодоксальность? Бывает. Ведь и Софронов, кажется...)» /там же, стр. 46/.

И Михалков, и Придворов (Демьян Бедный), и... В разные времена от разного прошлого люди прячутся. Когда-то корили: "из грязи да в князи". Потом стало удачей - из князей да в грязь (лишь бы не в лагерную пыль).

Хрущёв самолично объявил Твардовскому о разрешении печатать "Ивана Денисовича". Солженицын пишет:

«20 октября, в субботу, Хрущев принял Твардовского - объявить ему решение. Это была не знаю первая ли, но последняя их неторопливая беседа голова к голове*. В сердце Твардовского, как, наверно, во всяком русском да и человеческом** сердце очень сильна жажда верить. Так когда-то вопреки явной гибели крестьянства и страданиям собственной семьи он отдался вере в Сталина, потом искренне оплакивал его смерть. Так же искренне он отшатнулся от разоблаченного Сталина и искал верить в новую очищенную правду и в нового человека, испускающего свет этой правды. Именно таким он увидел в эту двух-трехчасовую встречу Хрущёва; через месяц, в пору нашей самой восприимчивой близости, А.Т. говорил мне:

"Что это за душевный и умный человек! Какое счастье, что нас возглавляет такой человек!"

В то свидание с Твардовским Хрущев был мягок, задумчив, даже философичен.

. . .

"Я даже его перебивал! - вспоминал мне Твардовский, сам удивляясь. - Я сказал ему: "от поцелуев дети не рождаются, отмените цензуру на художественную литературу! Ведь если ходят произведения в списках - хуже же нет!"

И Никита примирительно выслушивал, он будто сам стал близок к тем мыслям, как показалось Твардовскому. (Из сопоставления его пересказов в редакции можно допустить, что А.Т. невольно приписал молчавшему Хрущеву свои собственные высказывания.)» /там же, стр. 49 - 50/.

Калька с французского *têt à têt* или народное присловие? - прим Д Ш

**

Не верней ли просто "в человеческом сердце" а не "в русском.. да и..?" - прим Д Ш

Твардовский, скорее всего, и до встречи с Иваном Денисовичем и Матреной цеплялся за каждое подтверждение правоты коммунистов. После этой встречи потребность в таких подтверждениях становится стержнем его настроения. Ибо человек, отринуть которого он не мог, свидетельствовал против их правоты – за отца и братьев, за корень, а не за идеологию Твардовского. Последний и до этой встречи заливал постоянное душевное жжение водкой. Теперь у сомнений, у чувства своей родовой вины появился приятный, но непреклонный союзник.

Но до чего же они были различными, Главный и его своенравный любитель, почти во всём!

Уже в одобренном Хрущёвым рассказе Лебедев, декистский "куратор" журнала, требовал от Солженицына всё новых и новых уступок:

«Тут передали мне просьбу Лебедева: еще выпустить из рукописи слова Тюрина: "Перекрестился и говорю Богу: 'всё ж–таки есть ты, Создатель, на небе – долго терпишь, да больно бьешь'". Досмотрелись... Досмотрелись, но поздно, до этого главного места в повести, где я им опрокинул и вывернул всю легенду о гибели руководящих в 37 году! Склоняли меня в редакции: ведь Лебедев так был сочувственен! ведь это он пробил и устроил! надо ему теперь уступить. И правильно, и я бы уступил, если б это – за свой счет или за счет литературный. Но тут предлагали уступить за счет Бога и за счет мужика, а этого я обещался никогда не делать. И всё еще неизвестному мне мифическому благодетелю – отказал.

И такова была инерция уже сдвинутого и покотившегося камня, что сам советник Хрущёва ничего не смог исправить и остановить!» /там же, стр. 51 – 52/.

А Твардовский уже смотрел, как ему тогда представлялось, вперёд. Он пытался ввести в одно из достойнейших "совписовских" русел (шутка ли, чем для нас всех был в те годы его журнал?) раскалённый поток, о котором почти ничего ещё не знал. Но жаром и стужей "Архипелага" на него пахнуло. Он писал Солженицыну в ноябрьские праздники 1962-го:

«...Хотел бы вам сказать по праву возраста и литературного опыта. Уже сейчас столько людей домогалось у нас в редакции вашего адреса, столько интереса к вам, подогретого порой и внелитературными импульсами. А что будет, когда вещь появится в печати?... Будет всё то, что называется славой... Речь я веду к тому, чтобы подчеркнуть мою надежду на ваше спокойствие, выдержку, на высокое чувство собственного достоинства... Вы прошли многие испытания, и трудно мне представить в вас нестойкость перед этим испытанием... наоборот, порой казалось, что не чрезмерна ли уже ваша несуетность, почти безразличие... Мне, вместе с моими товарищами по редакции..., пережившему настоящий праздник победы, торжества в день, когда я узнал, что "всё хорошо", – мне показалась чуть-чуть огорчительной та сдержанность, с которой вы

отозвались на мою телеграмму-поздравление, то словечко "приятно", которое в данном случае было, простите, просто обидным для меня... Но теперь я взываю как раз к вашей сдержанности и несуетности - да укрепятся они и останутся неизменными спутниками вашего дальнейшего труда... К вам будут лезть с настырными просьбами "дать что-нибудь", отрывок, кусочек, будут предлагать договоры, деньги... Умоляю - держитесь... не давайте в руки, ссылаетесь (мы имеем некоторое право надеяться на это) на обязательство перед "Новым миром", который де забирает у вас всё, что выдет из-под вашего пера» /там же, стр. 52 - 53/.

Твардовский наперёд делал заявку на всё, что сможет предложить Солженицын. И тот, работая уже и над "Архипелагом", и над "Узлами", ответил:

«Знаете ли вы, с какими мыслями я вскрыл ваш конверт? Жена принесла и говорит встревоженно: "Толстое письмо из 'Нового мира'. Почему такое толстое?" Я пощупал и сказал: "Совершенно ясно. Кто-то хочет от меня ещё уступок, а я их делать больше не могу. На этом печатание пока закончено... Моя жизнь в Рызани во всём настолько по-старому (в лагерной телогрейке иду с утра колоть дрова, потом готовлюсь к урокам, потом иду в школу, там меня корят за пропуск политзанятий или упущения во внеклассной работе), что московские разговоры и телеграммы кажутся чистым сном... Для меня из вашей телеграммы только то и стало ясно, что п о к а запрета нет. Поэтому, дорогой А.Т., не оставляйте в сердце обиды на моё словечко "приятно", я был бы неискренен, если бы выразился сильнее, никакой буйной радости я тогда не испытывал. Вообще вся жизнь приучила меня гораздо больше к плохому, и в плохое я всегда верю легче, с готовностью. Я усвоил ещё в лагере русскую пословицу: "Счастью не верь, беды не пугайся", прилачился жить по ней и надеюсь никогда с ней не сойти... Главную радость "признания" я пережил в декабре прошлого года, когда вы оценили "Денисовича" бессонной ночью.

...Слава "меня не сложен... Но я предвижу кратковременность её течения - и мне хочется наиболее разумно (для моих уже готовых вещей*) использовать её".

. . .

...Такова была сила общего захвала, общего взлёта, что в тех же днях сказал мне Твардовский: теперь пускаем "Матрёну"! Матрёну, от которой журнал в начале года отказался, которая "никогда не может быть напечатана", - теперь лёгкой рукой он отправлял в набор, даже позабыв о своём отказе тогда!

* А и "Новый мир"-то еще не знал их /прим Солженицына /

"Самый опасный – второй шаг! – предупреждал меня Твардовский. – Первую вещь, как говорят, и дурак напишет. А вот вторую?.."

И с тревогой на меня посматривал. Под "второй" он имел в виду не "Матрёну", а что я следующее напишу. Я же переглядывая, что у меня написано, не мог найти, какую выгнать наружу: все кусались» /там же, стр. 53 – 54, 55/.

Парадоксальная возникла ситуация. Твардовский жаждал открыть, опубликовать, вручить читателю, вопреки всем преградам, лучшее из создаваемого отечественной литературой. Вручить легально и в массовых тиражах. Но ради этого он должен был закрывать свой слух для всего не влезавшего в легальные рамки. Причём после смерти Сталина не рамки сузились, а истинно лучшее уже не могло в них уместиться. Даже из создаваемого сегодня, по горячему следу, а не только из созданного давно и вне СССР (это вообще пребывало вне обсуждения). Литература расширяла свой охват и углубляла своё видение. Совершенствовалось искусство подтекста и освещения. Запретная суть возникала в интонациях и ассоциациях. Подсознательный стимул Твардовского был: **лучшее из мало-мальски возможного в легальной печати**. Иначе и нельзя было уцелеть журналу. Солженицын же давно, ещё без всяких надежд не то, что на прижизненную публикацию, – но даже и на своё собственное возвращение в относительно "вольную" жизнь, стал выражать себя так и только так, как диктовала внутренняя необходимость. Но (перефразируем): что одиночке здорово, то журналу – смерть. Так образовался между душой журнала – его Главным – и писателем, любовно чаемым среди первых, непреходимый зазор. Главному, по ограниченности его опыта, ещё невидимый, а для писателя, к великому его сожалению, изначально самоочевидный.

Солженицын знал, что своей абсолютной внеположности по отношению к "руководящей роли" он не изменит и что поэтому слишком немногое в его творчестве окажется для подцензурного журнала приемлемым. С горечью Солженицын вспоминает:

«Эти частые наши встречи осенью 1962 года были как будто и непринужденны и очень теплы. В те месяцы не чаял А.Т. во мне души и успехами моими гордился, как своими. Особенно ему нравилось, что я веду себя так, как он бы и замыслил для открытого им автора: выгоняю корреспондентов, не даю интервью, не даю фото- и киносъёмкам. У него было ощущение, что он меня сотворил, вылепил и теперь всегда будет назначать за меня лучшие решения и вести по сияющему пути. Он так подразумевал (хотя ни разу я ему этого не обещал), что впредь ни одного важного шага я не буду делать без совета с ним и без его одобрения» /там же, стр. 56/.

И приводит примеры:

«Подошла необходимость какой-то сжимок биографии всё-таки сообщить обо мне – А.Т. сам взял перо и стал эту биографию составлять. Я считал нужным указать в ней, за что я сидел – за порицательные суждения о Сталине, но Твардовский резко воспротивился, просто не допустил. (Он не знал, как это ещё сможет пригодиться, когда партия на своих инструктажах объявит меня изменником родины. Его взгляд больше охватывал настоящее, а будущего – почти никогда. К тому ж очень подслонны бывали истинные причины его внешних движений. Например, сам он долго верил в Сталина, и всякий уже тогда не веривший как бы оскорблял его сегодняшнего. Так он отклонил и моё объяснение, что Тверитинов может не любить Сталина из одной только тонкости вкуса. Как бы это мог тот не любить? – значит, либо сам сидел, либо его родственники, иначе А.Т. не принимал.)

Я не спешил бунтовать против его покровительства, не рвался доказывать, что к сорока четырём годам уж какой отлился, такой отлился. Но – не может быть подлинной дружбы без хотя бы признаваемого равенства. А.Т. преувеличивал соотношение наших кругозоров, целей, и жизненного опыта. Важнейшей частью своего опыта он считал хорошее знание иерархии, ходов заседательских, телефонных и закулисных. Но он преувеличивал охватность и долготу всей этой системы. Он не допускал, что эту систему можно не признать с порога. Он не допускал, что в литературе или политике я могу разглядеть или знать такое, чего не видит или не знает он.

У него была расположенность к покровительству молодым, не было способности объединяться с равными.

Со мной пережил он вспышку новой надежды, что вот нашел себе друга. Но я не заблуждался в этом. Я полюбил и его мужицкий корень; и прѣступы его поэтической детскости, плохо защищённой вельможными навыками; и то особенное природное достоинство, которое проявлялось у него перед врагами, иногда – перед вышеставленными (в лицо, – а по телефону больше терялся), и оберегало его от смешных или ничтожных положений. Но слишком несхожи были прошлое моё и его, и слишком разное мы вывели оттуда. Ни разу и никогда я не мог быть с ним так откровенен и прост, как с десятками людей, отмененных лагерной сенью. Ещё характеры наши как-то могли бы обталкиваться, обтираться, приноровляться – но не бывает дружбы мужской без сходства представлений, без зоркости и внимательности к другому.

Мы подобны были двум математическим кривым со своими особыми уравнениями. В каких-то точках они могут сблизиться, сойтись, иметь даже общую касательную, общую производную, – но их исконная первообразность неминуемо и скоро разведёт их по разным путям» /там же, стр. 56 – 57 – 58/.

Получилось, однако, и так и не так.

На развилке

Твёрдой уверенностью Солженицына осталась мысль, что он проиграл целый легальный год из-за своей медлительности, обусловленной осторожностью Твардовского. Солженицына часто упрекали "с диссидентского берега" в бесцеремонном пренебрежении чужой безопасностью "в своих целях". Во-первых, у него после возвращения из "малых зон" в "большую" не было в литературе **своих целей**. Он сохранял верность **своей задаче**. Задача же по определению была **общей**. Во-вторых, полный текст "Телёнка", со всеми дополнениями, включая новомировские (NN 11 и 12, 1991 года), показывает, что Солженицын оберегал от провалов **других** не менее, во всяком случае, чем себя. И винит он в этих промедлениях и упущенных возможностях не "Новый мир", а, в первую очередь, себя. По зрелом (и запоздалому, а потому особенно горькому) размышлении, он пришел к выводу, что не имел морального права из одной только верности своим первооткрывателям упустить возможности напечататься или поставить пьесу **где бы то ни было**.

«...за невольным торжеством напечатания я плохо оценивал, что мы с Твардовским не выиграли, а проиграли: потерял был год, год разгона, данного ХХII-м съездом, и подбегали мы уже на последнем доплеске последней волны. По скромным подсчётам я клал себе по крайней мере полгода, а то и два года, пока передо мной заколотят все лазы и ворота. А у меня был один месяц – от первой хвalebной рецензии 18 ноября до кремлёвской встречи 17 декабря. И даже ещё меньше – до первой контратаки реакции 1 декабря (когда Хрущева натравили в Манеже на художников-модернистов, а задумано это было расширительно). Но и за две недели я мог бы захватить несколько плацдармов! объявить несколько названий моих вещей.

А я ничего этого не сделал из-за ложной линии поведения. Я собирался "наиболее разумно использовать" кратковременный бег моей славы, но именно этого я не делал – и во многом из-за ложного чувства **обязанности** по отношению к "Новому миру" и Твардовскому.

Это надо верно объяснить. Конечно, я был обязан Твардовскому – но лично. Однако я не имел права считаться с личной точкой зрения и что обо мне подумают в "Н. мире", а лишь из того исходить постоянно, что я – не я, и моя литературная судьба – не моя, а всех тех миллионов, кто не доцарапал, не дошптал, не дохрипел своей тюремной судьбы, своих поздних лагерных открытий. Как Троя своим существованием всё-таки не обязана Шлиману, так и наша лагерная залегающая культура имеет свои заветы. Потому, вернувшись из мира, не возвращающего мертвецов, я не смел клясться в верности ни "Новому миру", ни Твардовскому, не смел принимать в расчёт, поверят ли они, что голова моя нисколько не

вскружена славой, а это я плацдармы захватываю с холодным расчётом» /там же, стр. 60/.

Теперь трудно сказать, был ли прав Солженицын, сожалея об упущенных в то время возможностях. Казалось, их было много:

«Хотя по сравнению с избыточной осторожностью новомирские оковы были на мне – вторичные, а всё ж заметно тянули и они.

У меня, как и предсказывал А.Т., просили "каких-нибудь отрывков" в литературные газеты, для исполнения по радио – и я должен был без промедления их давать! – из "Круга", уже готового, из готовых пьес, и так объявленными названиями остолблять участки, с которых потом не легко меня будет сбить. В четырехнедельной волне ошеломления, прокатившейся от взрыва повести, всё бы у меня прошло беспрепятственно – а я сказал: "нет". Я мнил, что этим оберегаю свои вещи... Я горд был, что так легко устаиваю против славы...

Ко мне ломились в дом и в московские гостиничные номера корреспонденты, звонили из московских посольств в рязанскую школу, слали письменные запросы от агентств.

...Я боялся, что начав отвечать западным корреспондентам, я и от советских получу вопросы, предопределяющие либо сразу бунт, либо унылую верноподданность. Не желая лгать и не осмелев бунтовать, я предпочёл – молчание.

В конце ноября, через десяток дней после появления повести, художественный совет "Современника", выслушав мою пьесу ("Олень и шалашовка", тоже уже смягчённая из "Республики труда"), настойчиво просил разрешить им ставить тотчас, и труппа будет обедать и спать в театре, но за месяц берётся её поставить! И то было верное обещание, уж знаю этот театр. А я – отказал...» /там же, стр. 60 – 61/.

Скорее всего, и постановку прихлопнули бы на генеральной репетиции (сколько их так зарезали!), и отрывки из повестей и романов – после изматывающих проволочек – не вышли бы. Пишет же и сам Солженицын:

«Да и потом: а вдруг "люди с верху" увидят пьесу ещё до премьеры – и разгневаются? и не только пьесу прихлопнут, но и рассказы, которые вот-вот должны появиться в "Новом мире"? А тираж "Нового мира" – сто тысяч. А в зале "Современника" помещается только семьсот человек» /там же, стр. 62/.

Расчёт нисколько не фантастический.

«Итак, замедлив с боевым "Современником", я отдал пьесу в дремлющий журнал. Но там был кое-кто и не дремлющий, это Дементьев, и в самый журнал пьеса не попала: она не вышла из двух

квартир дома на Котельнической набережной, от двух Саш. Между ними и было решено, а мне объявлено Твардовским: "искусства не получилось", "это не драматургия", это "перепаживание того же лагерного материала, что и в 'Иване Денисовиче', ничего нового". (Ну, как самому защищать свою вещь? Допускаю, что не драматургия. Но уж и не перепаживание, потому что пахать как следует и не начинали! Здесь не Особлаг, а ИТЛ; смесь полов, статей, господство блатных и их психологии; производственное надувательство.)

Ну, после "Ивана Денисовича" выглядит слабовато. Легко, что Твардовскому эта вещь и не понравилась. Да если б дело кончалось тем, что "Новый мир" отклонял пьесу и предоставлял мне свободу с нею. Не тут-то было! Не так понимал Твардовский моё обещание и наше с ним сотрудничество ныне, и присно, и во веки веков. Ведь он меня в мои 43 года **открыл**, без него я как бы и не писатель вовсе, и цены своим вещам не знаю (одну принеся, а десяток держа за спиной). И теперь о каждой вещи будет суд Твардовского (и Дементьева): то ли эту вещь печатать в "Новом мире", то ли спрятать и никому не показывать. Третьего не дано» /там же, стр. 62-63/.

Вот что особенно жгло: утрата – из благодарности – свободы действий. Если до встречи с Твардовским был один императив (**пока что** – молчать, прятать, дописывать), то после усыновления "самородка" журналом должен был, по убеждению Твардовского, возникнуть другой: или в "Новый мир", или в ящик, в стол. А многое ли мог "Новый мир" (как, впрочем, и все остальные подцензурные журналы и театры) пробить из того, что лежало в столе и вынашивалось в голове Солженицына? Получался замкнутый круг: мы – не можем, а сам не рыпайся. А суть была в том, что Твардовский и Солженицын жили по разным часам. Твардовский неторопливо отбирал достойные, **но и проходные** рукописи – Солженицына неумолимо гнала вперёд его сверхзадача. Ему не миновать было путей в Сам- и Тамиздат.

Но легальный журнал не мог игнорировать рамок, в которые был поставлен властью. Разумеется, Солженицын это понимал (иногда) – умом, но не принимал (никогда) – сердцем. Он и сам пишет – после очередной филиппики против "умеренности и аккуратности" "Нового мира":

«Мне возразят, что это – бред и блажь, что т а к о й журнал не просуществовал бы у нас и года. Мне укажут, что "Новый мир" не пропускал ни пол-абзаца протащить там, где это было возможно. Что как бы обтекаемо, иносказательно и сдержанно ни выражался журнал – он искупал это своим тиражом и известностью, он неутомимо расшатывал камни дряхлеющей стены. Столкнуться же разик до треска и краха и потом совсем прекратить журнальную жизнь редакция не может: журнал, как и театр, как киностудия, – своего рода промышленность, это не воля свободного одиночки. Они связаны с постоянным трудом многих людей и в эпоху гонений им не избежать лавировать» /там же, стр. 65 – 66/.

Но смириться – не мог.

«Год за годом свободолюбие нашего либерального журнала выросло не так из свободолюбия редакционной коллегии, как из подпора свободолюбивых рукописей, рвавшихся в единственный этот журнал. Этот подпор был так велик, что сколько ни отбрасывай и ни калечь – в оставшемся всё равно было много ценного. На иных авторов считали возможным и высокомерно глянуть и покричать. Внутри либерального журнала каменела консервативная иерархия, доклады "вверх" делались только благоприятные и приятные, а неприличное так же успешно (но более дружественно) задушивалось на входе, как и в "Москве" или "Знамени". Об этих отвергнутых смелых рукописях Твардовский даже и не узнавал ничего, кроме искаженного наслуха. Он так мне об этом сказал:

– В "Новый мир" подсылают литераторов-провокаторов с антисоветчиной: ведь вы, мол, единственный свободный журнал, где же печататься?

И заслугу своей редакции он видел в том, что "провокации" вовремя разгадывались и отвергались. А между тем "провокации" эти и была свобода, а "засылала" "провокаторов" матушка русская литература.

Я всё это пишу для общей истины, а не о себе вовсе (со мной наоборот – Твардовский брался и через силу продвигать безнадежное). Я это пишу о десятках произведений, которые гораздо ближе подходили к норме легальности и для которых "Новый мир" мог сделать больше, если б окружение Твардовского не так судорожно держалось за подлокотники, если б не сковывал их постоянный нудный страх: **"как раз сейчас такой неудобный момент"**, **"такой момент сейчас..."** А этот **момент** – уже полвека» /там же, стр. 66 – 67/.

А Твардовский, сердясь то ли на неудобных авторов, то ли на собственное бессилие, входил в раж и закусывал удила:

«Непростительным считал... Твардовский, что с "Оленем и шалашовкой" я посмел обратиться к "Современнику". Обида в груди А. Т. не покоилась, не тускнела, не шевелилась. Он много раз без необходимости возвращался к этому случаю и уже не просто порицал пьесу, не просто говорил о ней недоброжелательно, но **предсказывал**, что пьеса не увидит света, то есть выражал веру в защитную прочность цензурных надолб. Более того, он сказал мне (16 февраля 1963 г., через три месяца от кульминации нашего сотрудничества!):

– Я не то, чтобы запретил вашу пьесу, если б это от меня зависело... я бы написал против неё статью... **да даже бы и запретил.**

Когда он говорил недобрые фразы, его глаза холодели, даже бе-

тели, и это было совсем новое лицо, уже нисколько не детское. (А ведь для чего запретить? – что б моё имя поберечь, побуждения добрые...)

Я напомнил:

– Но ведь вы же сами советовали Никите Сергеевичу отменить цензуру на художественные произведения?

Ничего не ответил. Но и душой не согласился, нет, внутренне у него это как-то увязывалось. Раз вещь была не по нему, отчего не задержать её и силой государственной власти?..

Такие ответы Твардовского перерубали нашу дружбу на самом первом взросте» /там же, стр. 69/.

* * *

И всё-таки приливы и отливы этой дружбы-разлада между подневольным редактором и непокорным художником продолжались. И не истощалась глубинная внутренняя приязнь.

«Всю эту зиму я кончал облегченный для редакции и для публики роман "В круге первом" (Круг-87). Облегченный-то облегченный, но риск показать его был почти такой же, как два года назад "Ивана Денисовича": перешагивалась черта, которую до сих пор не переступали. До какой степени у Твардовского перехватит дыхание? – не настолько ли, что он обернётся тоже в недруга?

Во всяком случае все эти зимние месяцы, пока он боролся за премию*, я не мешал его борьбе и не показывал ему обещанного "Круга". Весной пришла пора Твардовскому читать мой роман. Но как на время чтения оторвать его от главных противосоветчиков и прежде всего – от Дементьева? Мне нужно было, чтоб над романом сформировалось собственное мнение А.Т. Я сказал:

– Александр Трифоновч! Роман готов. Но что значит для писателя отдать в редакцию роман, если всего за жизнь думаешь сделать их только два? Всё равно, что сына женить. На такую свадьбу уж приезжайте ко мне в Рязань.

И он согласился, даже с удовольствием. Кажется, уникальный случай в его редакторской жизни» /там же, стр. 84/.

Да ведь и роман – уникальный. И оба участника собственного романа каждый по-своему уникальны.

Переисказывать, как Твардовский гостил у Солженицына и Н. Решетовской в Рязани, как читал "В круге первом", как восторгался, пил, и пьянел, и перечитывал, и жил среди персонажей романа, хмельной от выпитого и от прочитанного? Не сумею. Я приведу лишь один отрывок, весьма характерный для всего хода встречи:

За Ленинскую премию Солженицыну – прим Д Ш

«Второй день чтения проходил насквозь в коньячном сопровождении, а когда мы пытались сдерживать, А.Т. сам настаивал на "стопце". Кончал день он опять с бело-возбуждёнными глазами.

- Нет, не могли ж вы испортить роман во второй половине! - высказывал он с надеждой и страхом.

После 64-й главы:

- Нет, теперь, в конце, вы уже никак не сможете его испортить!

Ещё после какой-то:

- Вы - ужасный человек. Если бы я пришел к власти - я бы вас посадил.

- Так Алексан Трифоновч, это меня ждёт и при других вариантах.

- Но если я сам не сяду - я буду носить вам передачи. Вы будете жить лучше, чем Цезарь Маркович. Даже бутылочку коньяку...

- Там не принимают.

- А я - одну бутылочку Волковому, одну - вам...

Шутил он шутил, но тюремный воздух всё больше входил и заражал его лёгкие.

После 72-й:

- Завтра будет у нас разговор совсем в другой плоскости, чем вы предполагаете: мы будем говорить больше не о вас, а о б о м н е .

(О его ограниченных возможностях?... о долге совести?... о том, как он ощущает собственные изменения?... Т а к о й раз- говор не состоялся, и я не знаю, что имел в виду Твардовский.)

Это настроение - что может быть не избежать и самому **садиться** (верней: тоскливое шевеленье души, как у Толстого в старости, а жаль, что я не **посидел**, м н е - т о бы - надо...), в тот приезд несколько раз проявилось у него. С ним и в поезде была книга Якубовича-Мельникова "В мире отверженных", уже она готовила его. Он с большим вниманием относился к подробностям зарешеточной жизни, с любопытством спрашивал: "А зачем там лобки бреют?" "А почему стеклянную посуду не пропускают?" По поводу одной линии в романе сказал: "Идти на костёр - так идти, но было бы из-за чего". Несколько раз, уже теряя в парах коньяка и тон, и ощущение шутки, он возвращался к обещанию носить мне передачи в тюрьму, но чтоб и я ему носил, если не сяду. А к вечеру второго дня, когда по ходу чтения посадка Иннокентия становилась уже неминуемой ("теряешь чувство защищённости") да ещё после трёх стаканов старки он очень опьянел и требовал, чтобы я "играл" с ним в "лейтенанта МГБ", именно: кричал бы на него и обвинял, а он стоял бы по струнке.

Досадным образом чтение романа переходило в начало обычного запоя А.Т. - и это в доме автора-резвенника! Однако чувство реальной опасности росло в нем не спяну, а от романа» /там же, стр. 87 - 88/.

И, наконец:

«Он кончил читать, и мы пошли с ним смотреть рязанский Кремль и разговаривать о романе. Обещанный разговор о самом А. Т., видимо, весь усочился в ночной самодialog.

- И имея такой роман, вы ещё могли ездить собирать материалы для следующего?

Я: - Обязательно должен быть перехлест. На реке нельзя оставаться, надо захватывать предместный плацдарм.

Он: - Верно. А то кончишь, отдохнёшь, сядешь за следующий, а - хрена! не идёт!» / там же, стр. 88/.

Твардовский сделал множество замечаний - по ходу чтения и потом. Среди них одно - совсем уже одиозное: "Написан с партийных позиций" /стр. 89/. Такова была внутренняя потребность: всё, что берёт за душу, связывать с как-то вывернутой "партийной позицией". А если не так, чему же тогда служил?.. Так он и метался - из крайности в крайность.

«Утром четвёртого дня мы неумело пытались пресечь начало запой А. Т. тем, что не дать ему опохмелиться - однако, он досуха лишился возможности завтракать, не мог взять куска в рот. С детской обиженностью и просительностью улыбался: "Конечно, черемисы не опохмеляются. Но ведь и что за жизнь у них? Какое низкое развитие!" Кое-как согласился позавтракать с пивом. На вокзале же с поспешностью рванул по лестнице в ресторан, выпил поллитра, почти не заедал, и уже в блаженном состоянии ожидал поезда. Только повторял часто: "Не думайте обо мне плохо".

Все эти подробности по личной бережности может быть не следовало бы освещать. Но тогда не будет и представления, какими непостоянными, периодически слабеющими руками вёлся "Новый мир" и с каким вбирающим огромным сердцем» /там же, стр. 90/.

Понемногу словно бы чаще и ярче прорывалась в Твардовском его подавляемая (так уж понятным) долгом натура. На обсуждении "Круга" в журнале -

«сформулировал Закс очень дипломатично:

- Раньше времени сунемся - загубим вещь.

(Он - за вещь, за! - и поэтому надо придушить ее ещё здесь, в редакции!)

Но знал А. Т. и такие редакционные повороты!

- Страх свой надо удерживать! - назидательно сказал он Заксу.

. . .

Лакшин принял линию Твардовского - и обо всём романе, и о сталинских главах, что без них нельзя. Однако достаточно было ему

в этом именно духе сказать, что публицистические заострения как бы вырываются из общего пласта романа, – Твардовский сейчас же перебил:

– Но осторожней! Это – черты его стиля!

Вот таким он умел быть редактором» /там же, стр. 94 – 95/.

Дементьев, осторожно:

«...Публицистика иногда – на грани памфлета, фельетона...

Твардовский: – А у Толстого разве так не бывает?»

/там же, стр. 95/.

Тот же Дементьев:

«...По философской части нет ответов автора: **что же делать?**

Только – быть порядочным? (Он звал меня высунуться по грудь!..)

Твардовский: – Это и Камю говорит. А здесь роман – русский.

Дементьев: – Достоевский и Толстой отвечают на ставимые ими вопросы, а Солженицын – не отвечает...

Твардовский: – Ну да, – как же будет с поставкой мяса и молока?..

. . .

И ещё изумительно повернул Дементьев:

– Нельзя ли автору отнестись к людям и жизни по добрей?

Этот упрёк ко мне будут выпирать потом не раз: вы не добры, раз не добры к Русановым, к Макарыгиным, к Волковым, к **ошибкам** нашего прошлого, к порокам нашей Системы (Ведь они ж к нам были добры!..) "Да он **народа не любит!**" – возмущались на закрытых семинарах агитаторов, когда их напустили на меня в 1966 г.

Но ещё прежде публично секли и меня, и Ивана Денисовича, и особенно несчастную мою Матрену за то, что мы "слишком добренькие", "неразборчиво добренькие", что нельзя быть добрым ко всем окружающим (вот они и к нам и не были!), что доброта ко злу только увеличивает в мире зло. ("Октябрь" по дурости долго долбил пусто место "непротивленца", думая, что бьёт – меня.)

А всё вместе? А вместе это называется **диалектика...**» /там же, стр. 96/.

Итак, Твардовский

«выдавил из редакции согласие на ... роман и теперь с большим удовольствием заключил:

– Чрезвычайно приятно, что впервые (?) никто не остался в стороне: а я, мол, умный, сижу и помалкиваю. (Именно так все

и старались!..) Сейчас за шолоховскими эполетами забыли, что его герой – не наш герой, а партию у него представляют только неприятные люди. Вопрос "Тихого Дона" – чего стоит человеку революция? Вопрос обсуждаемого романа – чего стоит человеку социализм и под силу ли цена? Содержание романа не противостоит социализму, а только нет той ясности, которой нам бы хотелось. "Война" здесь дана исчерпывающе, а вот "мир" – лучшее из того, что было в те годы, – не показан. Где же историческое творчество масс? Скромное моё пожелание как читателя: о, если бы хоть краем зари выступила и такая жизнь! Засветить край неба лишь в той степени, в какой это допускает художник...

Увы, мне уже там нечего было засвечивать. Я считал, что я и так представил им горизонт осветлённый.

А Твардовский в эту одну из своих вершинных редакторских минут тоже ни на чём не настаивал.

– Впрочем, будь Толстой на платформе Р.С.Д.Р.П., разве мы от него получили бы больше?» /там же, стр. 97 – 98/.

Договор на роман был заключён и аванс получен. Напомню, что был это восьмидесяти-, а не девяностошестиглавный вариант "В круге первом" – с Володиным, пытавшимся предотвратить советскую провокацию с передачей нового лекарственного препарата западному учёному, а не кражу американского ядерного секрета. Тем не менее роман был надолго заключён в редакционный сейф – в ожидании благоприятного момента. Автор же, если и ждал поворота, то в противоположную сторону. "Раковый корпус" представлялся ему более безобидным, чем "В круге первом" (даже и смягчённый). Общая обстановка менялась к худшему. Хрущёв был отправлен в отставку. Солженицын пишет:

«Это были тревожные дни. Та к о й формы "просто переворота" я не ожидал, но к возможной смерти Хрущева приуговлялся. Выдвинутый одним этим человеком – не на нем ли одном я и держался? С его падением не должен ли был бы **загрянуть** и я?

...Первым моим рывком была срочная поездка к Твардовскому, на новую дачу» /там же, стр. 101/.

И вот тут – то его поразила совершенно бездумная конъюнктурность Твардовского:

«Я был настроен тревожно, он – бодро. Решение пленума ЦК было для него обязательным не только административно, но и морально. Раз пленум ЦК почел за благо снять Хрущева – значит действительно терпеть его эксперименты дальше было нельзя. Два года назад А.Т. весь заполнен был восхищением, что во главе нас стоит "такой человек". Теперь он находил весьма обнадеживающие стороны в новом руководстве (с ним "хорошо говорили **наверху**"). Да и то признать, последние месяцы хрущевского правления жилось

Твардовскому невыносимо. Минутами он просто не видел, как можно существовать журналу. Трупоедке "Москве" можно печатать и Бунина (кромя), и Мандельштама, и Вертинского, "Новому миру" – никого, ничего, и даже булгаковский "Театральный роман" два года удерживали – "чтобы не оскорбить МХАТа". – "Нужен верноподданный рассказ от вас", – грустно говорил он, вовсе и не прося» /там же/.

Какая всё же глубокая ирония сквозит в этом эпитете – "верноподданный"... Сквозь прорехи в дырявом капюшоне законопослушности зло усмешается "Тёркин на том свете".

Стоило, однако, Солженицыну предложить маневр (положить в редакционный сейф вместо "Круга" – "Раковый корпус"), как в Твардовском заговорил партийный чиновник:

«Но – плохо я ещё понимал Твардовского, предлагая ему такую авантюрно-лагерную затею. Он слишком уважал и свой журнал и свой пост, чтобы действовать методом "зачачки" и подмена. Да и: что же прятать, если в романе "нет ничего против идеи коммунизма", как мы согласились на заседании редакции?.. Не мог же я теперь пятьдесят лет не доглядели! – это – опасней гораздо!

А.Т. боялся другого, он ещё с лета угрожающе выпытывал не ходит ли роман по рукам? "Есть слухи – его читают", – на всякий случай припугивал он. Он счёл бы это с моей стороны черным предательством. Роману закрыли все пути, может быть многие годы он не получит никакого движения – но я, автор, не смел никому давать его читать. В этом понимал А.Т. смысл нашего договора с редакцией.

Впрочем, в ожидании расправы, и мне было не до распространения» /там же, стр. 102/.

Солженицыну не оставалось ничего другого, как снова "уйти под воду".

«Полгода потом я и в "Новом мире" не был – нечего делать. Всю зиму 64/65 гг. работа шла хорошо, полным ходом я писал "Архипелаг", материала от эзков теперь избывало. Торопя судьбу, нагоняя упущенные полстолетия, я бросился в Тамбовскую область собирать остатки сведений о крестьянских повстанцах, которых уже сами потомки и родственники заученно звали **бандитами**.

Гонений мне как будто бы не добавилось. Как заткнули мне глотку при Хрущеве, так уж не дотыкали плотней.

И я опять распустился, жил как неугрожаемый: затевал переезд в Обнинск, близ него купил чудесную летнюю дачку на р. Истье у села Рождества. Разрывался писать "Архипелаг" и начинать "Р-17"» /там же, стр. 103/.

* * *

Опуская многие перипетии поединка "телёнка с дубом", в том числе – и беседу с Демичевым, напомним: к осени 1965 года на общегражданском поле и, в частности, на его писательской грядке сильно заглодало.

«В то тревожное начало сентября* я задался планом забрать свой роман из "Н. Мира": потому что придут, откроют сейф и... Рано всё было затеяно, надо спешить уйти в подполье и замаскироваться математикой.

6 сентября я был у Твардовского на даче вопреки его начавшемуся запою. Тяжелыми шагами он спустился со второго этажа, в нижней сорочке, с мутными глазами. Даже с трезвым мне было бы сейчас трудно объясняться с ним, а тем более с пьяным: он оседлал только главные свои обиды, а остального не видел, не слышал, не воспринимал.

– Я за вас голову подставляю, а вы...

Да и можно его понять: ведь я ему не открывался, вся сеть моих замыслов, расчётов, ходов была скрыта от него и проступала неожиданно.

В путаном разговоре, не собираемом ни к какому стержню, А. Т. выговаривал:

– что я не имею права действовать самостоятельно, "не посоветовавшись" (то есть, не спросив дозволения);

– что я не должен был разрешать "Крохотки" "Семье и школе".

– а ещё – о бороде! о бороде... Вот удивительно засела в нем эта борода. Колебались царства, и головы падали, а он – о бороде... Впрочем, теперь по пьяной откровенности, объяснил:

– Говорят, вы хотите так скрыться...

– К т о говорит? Кого вы слушаете?

Расплывчатый пьяный прищур, заменяющий многознание и догадку... Заодно высказывает А. Т. и как говорят в "отделе культуры" ЦК: что, наверно, я сам передал "Крохотки" в "Грани". Мне горько стало. Не потому, что так говорят обо мне в "отделе культуры", а что Твардовский захвачен этим сам и не имеет силы сопротивляться.

Всё же я кое-как пробил своё: хочу забрать "Круг". "Для перделки синтаксиса"...

Не верит.

Открываюсь: не считаю надёжным их сейф.

Это дико ему – что ж может быть надёжней сейфа в официальном советском учреждении?! Хоть я и автор, но закабаленный договором, и журнал имеет право не отдать мне романа. Тем более, что я настаиваю забрать подчистую все четыре экземпляра.

Но А. Т. – добр, верит мне, и как ему ни жаль, обещает на завтра разрешительный звонок в редакцию – чтоб отдали /там же, стр. 112 – 113 – 114/.

Обхожу страшную для Солженицына историю с архивом, хранившимся у Теушей и частично переданным ими Зильбербергу. Солженицын редко бывал в таком отчаянье; может быть, даже не был и никогда. Рискну предположить, что к удару извне прибавилась ещё и классическая депрессия: сколько труда и ударов может принять на себя, не надорвавшись, человеческая душа? И последующее преодоление Солженицыным без духовных и душевных потерь этой травмы – чудо не меньшее, чем его выздоровление от рака.

«Главный удар был в том, что прошел я полную лагерную школу – и вот оказался глуп и беззащитен. Что 18 лет я плёл свою подпольную литературу, проверяя прочность каждой нити; от ошибки в едином человеке я мог провалиться в волчью яму со всем своим написанным – но не провалился ни разу, не ошибся ни разу; столько было положено усилий для предохранения, столько жертв для самого писания; замысел казался грандиозным, ещё через десяток лет я был бы готов выйти на люди со всем написанным, и во взрыве той литературной бомбы нисколько не жалко было сгореть и самому; – но вот один скользок ногой, одна оплошность, – и весь замысел, вся работа жизни потерпела крушение. И не только работа моей жизни, но заветы миллионов погибших, тех, кто не дошел, не дохрипел своего на полу лагерного барака – тех заветы я не выполнил, предал, оказался недостойн. Мне дано было выползти почти единственному, на меня так надеялись черепа погребённых в лагерных братских могильниках – а я рухнул, а я не донес их надежды.

Всё время сжатое средостение. Близ солнечного сплетенья тошнотно разбирает, и определить нельзя, что это: болезнь души или предчувствие нового горя. Нестерпимое внутреннее жжение. Палит – и нечем помочь. Долгая сухость горла. Напряжение, которое невозможно расслабить. Ищешь спасения во сне (как когда-то в тюрьме): спал бы, спал бы и не вставал! видеть выключенные беззаботные сны! – но через несколько часов отпадают защитные преграды души, и палящее сверло вывинчивает тебя к яви. Каждый день изыскивать в себе волю к прямохождению, к занятиям, к работе, делая вид, что это нужно и что это можно для души, а на самом деле каждые пять минут мысль отвлекается: зачем? теперь зачем?.. Вся жизнь, которую ведёшь – как будто играешь роль: ведь знаешь, что на самом деле всё лопнуло. Печатление остановившихся мировых часов. Мысли о самоубийстве – первый раз в жизни и, надеюсь, последний (Одно укрепляло: что плёнка-то моя – уже была на Западе! Вся прежняя часть работы не пропадала!)» /там же, стр. 117 – 118/.

«И еще:

«...провал застиг меня в разгаре работы над "Архипелагом". И бесценные заготовки и часть уже написанной первой редакции были в единственном экземпляре и были атомно-опасны. С помощью верных друзей с большими предосторожностями от слёжки всё это пришлось забросить в дальнее Укрявище, и когда теперь вернуться к этой книге – неведомо» /там же, стр. 119/.

К счастью, такого выхода из отчаяния, как у Твардовского (бутылка), для Солженицына не существовало. Преододел и депрессию. Прогнал отчаяние.

Работа – при первой возможности к ней вернуться. Люди: дружба; любовь, вскоре пришедшая. Друзья, верные, как семья, и семья, отвечающая девизу: "мой дом – моя крепость" (где бы ни был раскинут шатёр). Счастливых человеческих связей было куда больше, чем ошибок, разрывов. И, главное, цельность – внутренняя и в ближайшем кругу. Если бы мне предложили назвать одного из счастливейших людей нашего века, я назвала бы Солженицына с его неподъёмно трудной жизнью.

Подозреваю, что путь и внутренний мир Твардовского был в той же мере трагичен, в какой удел Солженицына – счастлив. Было и Твардовскому отпущено счастье – и творческое, и личное, и редакторское. Повторю ещё раз: "Новый мир" в годы его (отчасти ещё и симоновского) редакторства был спасительной отдушиной для нас всех. Но для Твардовского это был и крест, причём не возносящий, а давящий. Ему слишком часто приходилось идти против себя и при этом внушать себе и другим, что он действует доброй волей, что он свободен. И от этого ширились трещины в его душе. И уродовалась самая его суть. Помните, как он повёл себя в час, когда у Солженицына почти всё рушилось (когда захватили его архив)? Ю. Карякин выхватил из редакции "Правды" ещё не арестованный экземпляр "Круга" и привёз его в "Новый мир". Туда же примчался и Солженицын.

«Я не сомневался, что при виде спасенного экземпляра сердце А.Т. дрогнет и он с радостью тотчас же вернет роман в сейф. Я ясно представлял эту его радость! Пришел А.Т., начался разговор – знакомая же толстая папка косовато лежала на диванчике. А.Т. углядел, подошел и, не касаясь руками, спросил с насторожей: "Это – что?"

Я сказал. И – не узнал его, насупленного и сразу от меня отъединенного:

– А за чем вы принесли его сюда? Т е п е р ь – то, после изъятия – (вот оно, законное изъятие!) – мы не можем принять его в редакцию. Т е п е р ь за нашей спиной не прячтесь.

Он меня как ударил!.. Не потому, что я за этот экземпляр испугался, у меня были ещё (и на Западе один), но ведь он-то думал, что это – из двух самых последних! Сценка, достойная врезаться в историю русской литературы!. А.Т. любил, когда его журнал сравнивают с "Современником". Но если бы Пушкину принесли на спасенье роман, за которым охотится Бенкендорф, – не-

ужели бы Пушкин не ухватился за папку, неужели отстранился бы: "Я из хорошей дворянской фамилии, я камер-юнкер, а что скажут при дворе!"

Так изменилось место поэта в государстве и сами поэты» /там же, стр. 122 – 123/.

Однако ведь и государства стояли над поэтами несравнимые. Что грозило Пушкину и что Твардовскому в случае своеволия? И на каких **личностных уровнях** пребывали высшие лица в двух государствах? Не был ли Твардовский ушиблен ещё и страхом – с крестьянского детства? Ведь не что иное, как страх, сквозит в его приведенном ниже разговоре с Солженицыным (которого он, заметьте, **любит**):

«Но более того – А.Т. отказался напечатать в "Новом мире" моё письмо с опровержением клеветы о моей биографии ("служил у немцев", "полицай" и "гестаповец" уже несли агитаторы комсомола и партии по всей стране). Две недели назад А.Т. сам посоветовал мне писать такое письмо (с загадочным "мне **порекомендовали...**"). Но вот беда: я послал в "Правду" **первый** экземпляр своего письма, рассчитывая на лопнувшего теперь Румянцева, а Твардовскому достался **второй**. И слышу:

– Я не привык действовать по письмам, которые присылаются мне вторым экземпляром.

Так изменились поэты ...» /там же, стр. 123/.

А государства? Автору ли "Архипелага ГУЛАГ" надо напоминать, как **они** изменились? У поэтов ломкие души. Не все выковываются в булатную сталь, когда по ним бьют молотом. Иные – крошатся.

«Я сидел потерянный, вяло отвечал, а Твардовский долго и нудно меня упрекал:

1) как я мог, не посоветовавшись с ним (!), послать за эти дни ещё три жалобы ещё трём секретарям ЦК – ведь я этим **оскорбил** Петра Нилыча Демичева и теперь ослабляю желание Петра Нилыча помочь мне.

Он так пояснил: "Если просят квартиру у одного меня – я помогаю посылно, а если пишут: 'Федину, Твардовскому', – я думаю – ну, пусть Федин и помогает".

И он видел здесь сходство? Как будто размеры события позволяли размышлять о каком-то "оскорблении", о каких-то личных чувствах секретарей ЦК. Да будь Демичев мне отцом родным – и то б он ничего не сдвинул. Столкнулись государство – и литература. А Твардовский видел тут какую-то личную просьбу... Я потому поспешил послать ещё три письма (Брежневу, Суслову и Андропову*), что боялся: Демичев – темен, он может быть шелепинец, он прикроет мое письмо и скажет – я не жаловался, значит – чувствую себя виноватым.

Уж А.Т. прощал моей человеческой слабости произошедшую всё-таки огласку, что я **не удержался**, кому-то сказал об аресте романа. (Не удержался!.. я специально пошел в консерваторию на концерт Шостаковича и там развонил о своей беде) Но:

2) если б я с ним посоветовался, кому ещё послать жалобу, он, А.Т., порекомендовал бы мне обратиться прямо и непосредственно к Семичастному (министру ГБ). Зачем же его **обходить**?

Я отдёрнулся даже: вот это - никогда! Обратиться к Семичастному - значит признать суверенность госбезопасности над литературой! /Нисколько: такой же тактический ход, как и прочие письма в "верха" - Д.Ш./.

И снова, снова и снова не мог Твардовский понять:

3) как я мог в своё время отдать пьесу в "Современник", **вопреки его совету**?

Как важно было ему именно сейчас рассчитаться с этими "гангстерами сцены"! Как важно было упрекнуть меня именно в мой смутный час! И ещё

4) как мог я положить хранить **святого** "Ивана Денисовича" рядом с ожесточенными лагерными пьесами? (ведь тем самым я бросал тень не только на "святого Ивана Денисовича", но и на "Новый мир"!) И ещё

5) почему я не получал московской квартиры в своё время, "когда мог получить особняк"? И

6) как мог я разрешить "Семье и школе" печатать мои "Крохотки"? И, наконец, чрезвычайно важно, очень ново (угрюмо, без улыбки и в совершенной трезвости):

7) зачем я стал носить бороду? Не для того ли, чтобы сбрить при случае и перейти границу? (Не упустил передать мне и чьего-то **высшего** подозрения: зачем это я добивался переехать в атомный центр Обнинск?..)

Повторительность и мелочность этих упреков была даже не мужской.

Я не отбивался. Я не рассчитал каната, сорвался и достоин был своего жалкого положения.

И только то дружеское движение было у А.Т. за весь этот час, что он предложил мне денег. Но не от безденежья я погибал!.. /там же, стр. 123 - 124 - 125/.

Так Солженицыну чувствовалось. Но ни от чего он не погибал: он лишь предельно напрягся под ещё одним ударом (но уже и "Круг" был на Западе!). В самом худшем случае он сел бы снова. Это ещё не гибель. Погибал Твардовский. Распадались его совесть, его душа, увядал его дар, погибал в нём терзаемый уступками, оглушающий себя водкой художник. Слабело здоровье. Сдавался редактор лучшего русского журнала тех лет.

Вот уж не предполагаю кем он станет дальше!.. /прим. Солженицына./

И, что самое страшное, он сдавал заодно с собой и журнал. Не мог даже самый лучший подневольный журнал состязаться с напором свободных рукописей, с одной стороны, и с давлением бесчеловечного государства – с другой. Рукописи отвергались или клались в сейф, а редактор терял самоуважение. Наплывало безволие и равнодушие. Ибо какая разница, что печатать: чуть лучшую вещь или чуть худшую, если обжигаете руки и душу печатать нельзя? А государство половинчатостью уступок не удовлетворялось. Оно домогалось безоговорочной готовности к услужению, на которое Твардовский способен не был.

Браня "Новый мир" за нерешительность и неповоротливость, в пылу обиды ставя его почти на одну доску с "октябристами" и "огоньковцами" (а то и ниже: те хоть за крестьянство душой болеют. А новомировские ветераны не умолкающей в нём сельской темы забыты?), Солженицын предвидит:

«Меня остановят, чтобы я не кошунствовал, чтоб и сравнивать дальше не смел. Мне скажут, что "Новый мир" долгие годы был для читающей русской публики окошком к чистому свету. Да, был. Да, окошком. Но окошком кривым, прорубленным в гнилом срубе, и забранным не только цензурной решеткой, но ещё собственным добровольным идеологическим намордником – вроде бутырского армированного мутного стекла...» /там же, стр. 137/.

Но упущено ещё одно обстоятельство, как бы не главное. В широкое, во всю стену, окно Самиздата и Тамиздата могли заглянуть, в лучшем случае, тысяча-другая читателей больших городов. А в кривое это окошко в гнилом срубе (да и не такое уж мутное: чаще – прозрачное, а то и открытое) вглядывались большие сотни тысяч. И многие его авторы писали так, что намордник становился вполне проницаемым, да ещё при советском жизненном опыте. Лишиться этого оконца в срубе для сотен тысяч столичных и провинциальных читателей было бы то же, что сменить освещённую каким-никаким оконцем комнатушку на каменный карцер. Солженицыну ли это было неведомо? Он и сам тут же, без перехода пишет:

«В исправление сказанного: в разговорах этих "октябристов" я чувствовал не только ненависть к "Новому миру", но и страх перед новомирским критическим отделом, скрытое уважение к нему. Казалось бы – при развёрнутости их бесчисленных печатных полос, при всеобщем круговом восхвалении, что им там критика единственного, вечно опаздывающего, с глуховатым голосом журнала? Ан нет, всё время помнили её, шельмецы, глубоко она им отзывалась. Неотвратно понимали, что только новомирское тавро припечатается и останется, а их собственные штампы смоем первый дождь. "Новый мир" был единственный в советской литературе судья, чья художественная и нравственная оценка произведения была убедительна и несмываема с автора» /там же, стр. 137 – 138/.

Потеряв надежду напечатать "непроходимое" в "Новом мире", попробовал Солженицын толкнуться к "почвенникам" (многие из запрещённых тогда писателей так судили: пусть хоть в "Правде" – лишь бы напечатали без изменений). Но не тут-то было:

«...уже много лет эти деятели бахвалились, что они – **русские**, выпячивали, что они – **русские**. И вот я давал им первую в их жизни возможность доказать это. (И в три дня, слабея животом, они доказали, что – **коммунисты** они, никакие не русские.)» /там же, стр. 138/.

Крутились, вертелись, жались, но ничего так и не напечатали. Странным было для Солженицына не понимать, что "русские" в подцензурном советском журнале – такие же невольники коммунизма, как и "нерусские". И вообще не чувствовать их душкá (как теперь принято говорить – "коммуно-нацистского"). А впрочем, после отказа от борьбы за него Твардовского для Солженицына обе коалиции стали – что в лоб, что по лбу. Одни "невидимки" оставались в братском строю.

Конец Главного

Вспоминая свой разговор в редакции, – в отсутствие Твардовского, Солженицын пишет:

«В тот день мне впервые показалось, что благодаря своим частым и долгим выходам из строя, А.Т. начинает терять прочность руководства в журнале: журнал не может же замирать и мертветь на две три недели, как его Главный» /там же, стр. 141/.

Вскоре они и увиделись – там же, в редакции.

«Твардовский сидел растерянно и посторонние.

Мы поздоровались холодно. Дементьев уже изложил ему мои вчерашние объяснения и мои претензии к "Новому миру" – дико-неожиданные для А.Т., ибо не мыслил он претензий от телёнка к корове. Я не собирался перекоряться с А.Т. при членах редакции, но получилось именно так, и потом их ещё прибавилось на шум. Да и совсем не упрекать Твардовского я хотел (за отклонение столько уже вещей; за отказ сохранить уцелевший экземпляр романа; за отказ напечатать мою защиту против клеветы) – я только хотел показать, что на каком-то пределе кончаются же мои обязательства. Однако А.Т. уже был напряжен отражать все мои доводы сподряд, он стал тут же запальчиво меня прерывать, я – его, и разговор наш принял характер хаотический и взаимообидный. Ему была обидна моя неблагодарность, мне – туповатая эта опека, не обоснованная превосходством мировоззрения.

Всю осень настрекал он меня упрёками, и сейчас не только не отступился от них, но снова и снова нажимал: – как я мог, не посоветовавшись с ним, отнести хранить свои вещи к "говённому антропософу" (А. Т. не видал его, не знал о нем ничего, но за одни лишь убеждения считал "говённым". Ближе ли это к Пушкину? или к Кочетову?..); – как я смел рядом со "святым" Иваном Денисовичем и т. д. (мне всякое упоминание об этом провале 11 сентября, о том, что, где и как я там держал на свою беду, был мой нарыв постоянный, горло сжимающий нарыв, – а он вередил наутык);

– и как мог я не послушаться и взять роман из редакции;
– и как я мог **подсунуть** "Крохотки" "Семье и школе",
– и опять же, крайне важно: как я мог писать жалобы четырьмя секретарям ЦК, а не одному Петру Нильчу?? (раздавался железный скрежет истории, а он всё видел иерархию письменных столов!);
– и опять-таки: зачем бороду отстрил? не для того ли...?

Но в нудном повторном этом ряду звучали и новые упрёки, как стон:

– я вас **открыл!**!
– небось, когда роман отняли – ко мне первому приехал! Я его успокоил, **приютил** и согрел! (то есть, поздно ночью не выгнал меня на улицу).

И слушала это всё редакция!

И наконец, по свежим следам:

– как я мог идти "ручку целовать" Алексееву, которого потрошат в очередном "Н. мире"?

Я мог бы больно ему ответить. Но при всей обидности разговора я нисколько на него не сердился: понимал, что здесь никакая не личная ссора, не личное расхождение, а просто – куц оказался тот общий наш путь, где мы могли идти как литературные союзники, ещё не оцарапавшись и не оттолкнувшись острыми рёбрами идеологий. Расхождение наше было расхождением литературы русской и литературы советской, а вовсе не личное.

И я лишь по делу возражал:

– Когда ж с вами советоваться? – приедешь в Москву на день два, а вас постоянно **нет**.

И в этом кровном трагическом разговоре А. Т. воскликнул с достоинством:

– Я две недели был на берегах Сены!

Не сказал просто: в Париже» /там же, стр. 141 – 142 – 143/.

Не было бы и трагедии, если бы просто расходились две литературы. Трагедия заключалась в том, что (когда-то коммунист, а теперь уже всегонавсего подневольный партии человек) Твардовский упорно надеялся совместить настоящую литературу хоть с видимостью советскости, чтобы не придиралась цензура. Советскость же всё более совмещалась только с посредственностью и макулатурой. Исключение составляла особая область: лите-

ратура подтекста, говорящего больше, чем текст. Это не было методом Солженицына. Возможности легальной советской печати он исчерпал и напрасно боролся за их расширение. Что ему Гекуба и что он Гекубе? У него появились другие возможности, сопряженные, как всегда, с жизненным риском. А у Твардовского?..

Выступление Твардовского в Париже потрясло Солженицына, как ему представлялось, своим большевистским цинизмом:

«Главная фальшь была в том, что он обо мне на берегах Сены говорил, а теперь от меня скрывал. Сын своей партии, он защищался глухостью и немостью информации! А мне уже перевели из "Монд" о его интервью. После тревожного гудка, поданного "Нойе Цюрихер Цайтунг", его конечно спрашивали обо мне. И если бы судьба художника, уже заглотившего солёной воды и только-только ртом над поверхностью, была бы для него первое, а империализм как последняя стадия капитализма – второе, он с его благородным тактом сумел бы без опасности для себя как-то ответить неполно, уклончиво, в чем-то дать паузу – и понял бы мир, что со мной действительно худо, что я в опасности. Твардовский же сказал корреспондентам, что моя чрезвычайная скромность (которую он высоко ценит!..), моё просто-таки монашеское поведение запрещают и ему, как моему редактору и другу, что-либо поведать о моих творческих планах и обо мне. Но что заверяет он корреспондентов: ещё много моих "прекрасных страниц" они прочтут.

То есть, он заверил их, что я благополучно работаю, пишу и ничто мне не мешает, кроме непомерной монашеской скромности. То есть он опроверг "Нойе Цюрихер Цайтунг".

Я от соленой воды во рту не мог крикнуть о помощи – и он меня тем же багром помогал утолкать под воду.

Потому что он хотел мне зла? Нет!! – потому что партия делает поэтов такими... (Он **добра** мне хотел: он хотел представить меня таким послушным, чтобы Пётр Нилович умилостивился бы!..)

Всё же накал этого бранного разговора был так велик, что, раздраженный моим круговым несогласием и упрямством, А.Т. вскопчил и гневно крикнул:

– Ему... в глаза, он – "божья роса"!

Я всё время старался помнить, что он – заблудившийся бессильный человек. Но тут, теряя самообладание, ответил с гневом и я:

– Не оскорбляйте! От **надзирателей** я ведь слышал и погрубей!

Он развёл руками:

– Ну, если так...» /там же, стр. 143 – 144/.

Да, Твардовский повёл себя в Париже позорно. И всё-таки главная правда о нём заключалась не в этом – очередном – срыве, а в четырёх солженицынских словах: "... он – заблудившийся бессильный человек". Добавим: ещё и впавший в неизлечимый хронический алкоголизм, что подрывало и мораль, и волю. Но опять повторю: партийность, совет-

кость, преданность клану, стае – это такая броня, что в ней, подобно Молотову и Кагановичу, живут и в опале чуть не до ста лет, не спиваясь и не мечась из крайности в крайность. Если, конечно, сама стая не сожрёт с костями. В Твардовском же срабатывала скорее инерция, чем партийность; скорее страх сказать себе, что всё, от начала и до конца, – ошибка, неправильный выбор; что все жестокие жертвы (талантом, отчей семьёй, честью) не просто напрасны, а принесены **Злу**. И если был во всём этом душевном хаосе светлый луч, моральное искупление, то это лучшие его стихи и журнал, главное – журнал. Никакой конъюнктурности, серости, ограниченности – короче говоря, избытку "шлаков" в навязанных или случайных публикациях не перечеркнуть той "нетленки", которая была напечатана в "Новом мире" за годы редакторства Твардовского. Перефразируя Цветаеву, можно бы и Солженицына попросить: "Не кори, богатый, бедного, не кори, румяный, бледного..."

Впрочем, Солженицын и сам себя поправляет (не в первый и не в последний раз):

«Каково жить Твардовскому? каково – всей редакции "Н. мира"? Если где в этой книге я проглаживаю их слишком жёстко – исправьте меня: на муки их, на скованность их, на беззащитность» /там же, стр. 276/.

Казалось бы, дальше некуда. Конец. Но и на этом отношения не прервались. Солженицын пишет:

«Определив весною 1966-го, что мне дана долгая отсрочка, я еще понял, что нужна **открытая**, всем доступная вещь, которая пока объявит, что я жив, работаю, когорая займёт в сознании общества тот объём, куда не прорвались конфискованные вещи.

Очень подходил к этой роли "Раковый корпус", начатый тремя годами раньше. Взялся я его теперь продолжать.

...Кончая 1-ю часть "Корпуса", я видел, конечно, что в печать её не возьмут. Главная установка моя была – Самиздат, потом присоветовали друзья давать её на обсуждение – в московскую секцию прозы, на Мосфильм, и так утвердить и легализовать бесконтрольное распространение её. Однако для всего этого нужно было безукорное право распоряжаться собственной вещью, – а я ведь повинен был сперва нести её в "Новый мир". После всего, что Твардовский у меня уже отверг, никак я не мог надеяться, что он её напечатает. Но потеря месяца тут была неизбежна.

С той ссоры мы так и не виделись. Учтивым письмом (и как ни в чем не бывало) я предварил А.Т., что скоро предложу полповести и очень прошу не сильно задержать меня с редакционным решением» /там же, стр. 147, 148/.

И опять – "Новый мир", и снова – внутривизуальное обсуждение.

«В "Новом мире" с первой же минуты получения рукописи "Корпуса" из неё сделали секретный документ, так определил Твардовский. Они боялись, что рукопись вырвется, **пойдёт**, остерегались до смешного: не дали читать... в собственный отдел прозы! А от меня – то повесть уже потекла по Москве, шагали самиздатские батальоны!» /там же, стр. 149/.

Но Твардовский – то этого не знал. И обсуждение протекало так, словно "Раковый корпус" был заперт в сейфе "Нового мира". "Молодые" (Виноградов, Берзер, Лакшин, Марьямов) безоговорочно ратовали за публикацию. "Ветераны" ("Дементьев-Закс-Кондратович" – пишет Солженицын через дефисы) под любыми предлогами изобретательно упирались.

«Итак, раскололись мнения "низовых" и "верховых", надо ли мою повесть печатать, и камнем последним должно было лечь мнение Твардовского.

Каким же он бывал разным! – в разные дни, а то – в часы одного и того же дня. Выступил он – как художник, делал замечания и предложения, далёкие от редакционных целей, а для кандидата ЦК и совсем невозможные:

– Искусство на свете существует не как орудие классовой борьбы. Как только оно знает, что оно орудие, оно уже не стреляет. Мы свободны в суждениях об этой вещи: мы же как на том свете, не рассуждаем – **пойдёт** или **не пойдёт**... Мы вас читаем не редакторским, а читательским глазом. Это счастливое состояние редакторской души: хочется успеть прочитать... Современность вещи в том, что разбуженное народное сознание предъявляет нравственный счёт... Не завершено? Произведения великие всегда несут черты незавершенности: "Воскресение", "Бесы", да где этого нет?.. Эту вещь мы хотим печатать. Если автор ещё над ней **п о р а б о т а е т**, – запустим её и будем стоять за неё **по силам и даже больше!**

Так он внезапно перевесил решение – за "младших" (они растрогали его своими горячими речами) и против своих заместителей (хотя, очевидно, обещал им иначе)» /там же, стр. 151 – 152/.

И всё-таки... всё-таки опять застопорило: завертелся замкнутый хоровод. Твардовский и не печатал "Корпуса", но и не хотел выпускать его из рук. Тянул, пока не дошла до него весть, что ходит "Раковый корпус" по Москве во множестве копий. А он, Твардовский, всё ещё полагал себя пожизненным держателем патента на Солженицына, как на своих рук дело. И снова пытался Главным начать дознание: кто пустил в Самиздат? Уж не Берзер ли? Но Солженицын закусил удила. Сперва – решил **для себя**:

«Вот уж год кончался после моего провала, и даже в моей неусвойчивой голове прояснилось положение и х и моё: что нечего, нечего, нечего мне терять! Что открыто, не таясь, не отрека-

ясь, давать направо и налево "Корпус" для меня ничуть не опаснее, чем та лагерная пьеса, уже год томящаяся на Большой Лубянке.

- Вы раздаёте? - Да, я раздаю!! Я написал - я и раздаю! Провалитесь все ваши издательства! - мою книгу хватают из рук, читают и печатают ночами, она станет литературным фактом прежде, чем вы рот свой раззявите! Пусть ваши ленинские лауреаты попробуют так распространить свои рукописи!

Так вот оно, вот оно в каком смысле говорится: "пришла беда - не брезгуй и ею!" **Беда может отпирать нам свободу!** - если эту беду разгадать сумеешь» /там же, стр. 155/.

А потом, в ответ на приглашение явиться в редакцию, письменно ответил и Главному:

«"...Если вы взволнованы, что повесть эта стала известна не только редакции 'Н. мира', то... я должен был бы выразить удивление... Это право всякого автора, и было бы странно, если бы вы намерились лишить меня его. К тому же я не могу допустить, чтобы 'Раковый корпус' повторил печальный путь романа: сперва неопределённо-долгое ожидание, просьбы к автору от редакции никому не давать его читать, затем роман потерян и для меня и для читателей, но распространяется по какому-то закрытому избранному списку..."

Я писал - и не думал, что это жестоко. А для А.Т. это очень вышло жестоко. Говорят, он плакал над этим письмом. О потерянной детской вере? о потерянной дружбе? о потерянной повести, которая теперь попадёт в руки редакторов-гангстеров?

С тех пор в "Н. мир" ни ногой, ни телефонным звонком, свободный в действиях, я бился и вился в поисках: что ещё? что ещё мне предпринять против наглого когтя врагов, так глубоко впившегося в мой роман, в мой архив? Судебный протест был бы безнадежен. Напрашивается протест общественный» /там же, стр. 156/.

Но и это был всё-таки не конец.

Я не соприкасалась и краешком с жизнью "Нового мира" тех лет. Поэтому мне трудно судить об истинных лицах и ролях его сотрудников. Допускаю, что Солженицыну они виделись совсем не такими, как Твардовскому, и что каждый из них был пронизателен **по-своему**, в несовпадающих системах отсчёта.

Перед тем, как выпустить в Самиздат вторую половину "Ракового корпуса", Солженицын всё-таки пришел к Твардовскому:

«Наша встреча была 16 марта. Я вошел весёлый, очень жизнерадостный, он встретил меня подавленный, неуверенный. Естест-

венно было нам говорить о 2-й части, но за полтора часа с глазу на глаз меньше всего разговору было о ней.

Мой путь уже был втайне предопределён, я шел на свой рок, и с поднятым духом. Видя подавленность А.Т., мне хотелось подбодрить и его. За это время он потерял несколько партийных и служебных поражений: на XIII съезде его не выбрали больше в ЦК; сейчас не выбирали и в Верх. Совет ("народ отверг", как объяснил Демичев); с потерей этих постов ещё беспомощнее он стал перед наглой цензурой, как хотевшей, так и терзавшей наборные листы его журнала; стягивалась петля и вокруг "Тёркина на том свете" в театре Сатиры: всё реже пьесу давали и готовились совсем снять; а недавно ЦК актом внезапным и непостижимым по замыслу, минуя Твардовского, не предупредив его, сняло двух вернейших заместителей – Дементьева и Закса: как когда-то из ГБ не возвращались люди домой, так и эти двое уже не вернулись из ЦК на прежнюю работу. Административно, это было, конечно, плевок в Твардовского и во всю редакцию, но по сути это был такой же переруб строп, высвобождение ко взлёту, ибо снятые и были два вернейших внутренних охранителя, ослаблявшие энергию Твардовского» /там же, стр. 170 – 171/.

Вот уж никак не могло усилить энергию Твардовского бесцеремонное увольнение двух его старейших сотрудников. Каковы бы они ни были в глазах Солженицына, – Твардовский им верил и на них в чём-то важном для него полагался. Да и не в этом суть дела, а в том, что **их уволили против его желания**. И, значит, было их увольнение "плевок в Твардовского" (Солженицын) **после целой цепи унижений, самоотречений и отлучений**. Всё это были звенья одной цепи, симптомы опалы. И немалую (как бы не главную) роль в этой опале сыграло введение Солженицына Твардовским в круг новомировских авторов. Да ещё в качестве непокорного, но неизменного любимца его души, в которой сил для борьбы больше не было. Невольно или сознательно, Солженицын мерил Твардовского своей меркой, когда убеждал отозваться всплеском энергии на череду ударов. А были они из разного теста вылеплены. Да и в разных печах их выпекали.

«...я старался теперь перенастроить А.Т.: что снятие из ЦК и Верховсовета было для него не общественным падением, а **высвобождением**, что таким образом положение его и журнала всё более приближаются к пушкинским: вы – свободный поэт, ведущий независимый журнал. (Заслужить это сравнение было для А.Т. ещё очень далеко. Но устоявшаяся внутрижурнальная форма бесед была такова, при том градусе. Не избежать было этой формы и мне, если я хотел в чём-то надоумить.)» /там же, стр. 171/.

Сколь бы далёкой ни была от Твардовского честь "заслужить это сравнение", ещё дальше было положение в обществе и государстве Пушкина и его журнала от положения в коммунистическом СССР Твардовского

и его журнала. Плетнёв и Пушкин были вольные люди в самодержавной, но **правовой** стране. Им разве что призывать к бунту и царевбийству да богохульствовать было запрещено. А новомировцы с их Главным были немногим свободней, чем "культбригада" лагерной КВЧ* с её самодеятельностью. Любого из премьеров такой "культбригады" в любую минуту могли дёрнуть на "общие" или в карцер. Разве что поменять работу или отказаться от своей профессии "культработники" "большой зоны" могли с меньшим риском для жизни, чем крепостные артисты "малых зон". И то - не во все советские времена. Солженищину ли этого не понимать? Он много лучше Твардовского должен был видеть, что с журналом, таким, каким был он во все "твардовские" годы, власти **кончают**. А **внутренней свободы**, на которую он, Солженищын, советует опереться Твардовскому, в последнем **нет**. И поздно её начинать выращивать. Твардовский мог бы жить, не служа, без редакторства, но страшно томился бы такой "свободой", что и случилось. Иные пути (писать в Самиздат, в стол) были уже не для него. Он был и внутренне раздёрган, потерян, болен. Он привык уже к власти, к своему положению. Попробуйте вслушаться в его реплики в этой горькой беседе (первая принадлежит Солженищину):

« - Я защищаю и вас! Я объясняю людям громко со сцены, почему на два-три месяца задерживаются ваши номера: цензура!

- Не надо объяснять! - всё гуще хмурился он. - Мне говорили, что вы вообще против меня высказываетесь...

- **Против?** И вы могли **поверить?**

- Я ответил: пусть! А я против него - не буду.

(Поверил! Сразу поверил бедный Трифонович! - Но сам поступит благороднее... В том и дружба.)

. . .

- ...Но вот что: **Даже если бы печатание зависело целиком от тодного меня - я бы не напечатал.**

- Вот это мне уже горько слышать, Александр Трифонович! Почему же?

- Там - неприятие советской власти. Вы ничего не хотите простить советской власти.

- А.Т.! Этот термин "советская власть" стал неточно употребляться. Он означает: власть депутатов трудящихся, **только** их одних, **свободно** ими избранную и **свободно** ими контролируемую. Я - руками и ногами за такую власть! . А то вот и секретариат СП, с которым вы на одном поле не сели бы... - тоже советская власть?

- Да, - сказал он с печальным достоинством, - В каком-то смысле и они - советская власть, и поэтому надо с ними ладить и поддерживать их... Вы - ничего не хотите забыть! Вы - слишком памятьливы!

- Но, А.Т.! Художественная память - основа художественного творчества! Без нее книга развалится, будет - ложь!

- **У вас нет подлинной заботы о народе!** - (Ну да, я же не добр к верхам!) - Такое впечатление, что вы не хотите, чтобы в колхозах стало лучше.

- Да, А.Т.! Во всей книге ни слова ни об одном колхозе (Впрочем, не я их придумывал, почему я должен о них заботиться?..) - А что действительно нависает над совестью - так это система лагерей. Да! Не может быть здоровой та страна, которая носит в себе такую опухоль! Знаете ли вы, что система эта, едва не рассосавшаяся в 1954-55 годах, - снова укреплена Хрущевым и именно в годы XX и XXII съезда? И когда Никита Сергеевич плакал над нашим "Иваном Денисовичем" - он только что утвердил лагерь не мягче сталинских.

Рассказываю.

Слушает внимательно. И всё равно:

- А что вы можете предложить вместо колхозов? - (Да не об этом ли был и "разбор" "Матрёны"?..) Надо же во что-то верить. **У вас нет ничего святого.** Надо в чем-то уступить советской власти! В конце концов это просто неразумно. Плетью обуха не перешибешь.

- Ну так обух обухом, А.Т.!

- Да нет в стране общественного мнения!

- Ошибаетесь, А.Т.! Уже есть! уже растёт!

- Я боюсь, чтобы ваш "Раковый корпус" не конфисковали, как роман.

- Поздно, А.Т.! Уже тю-тю! Уже разлетелся!

. . .

- Ваша озлобленность уже вредит вашему мастерству. - (Почему ж 2-я часть вышла "в три раза лучше" той, которую он хотел печатать?) - На что вы рассчитываете? Вас не будет никто печатать.

(Да, при моём поведении "достойней Синявского и Даниэля". Хороша ловушка!..)

- Никуда не денутся, А.Т.! Умру - и каждое словечко примут, как оно есть, никто не поправит!

И вот это - обидело его глубоко:

- Это уже самоуслаждение. Легче всего представить, что "я один - смелый", а все остальные - подлецы, идут на компромисс.

- Зачем же вы так расширяете? Тут и сравнивать нельзя. Я - одиночка, сам себе хозяин, вы - редактор большого журнала...

Берегите журнал! Берегите журнал... Литература как-нибудь и без вас...

. . .

На другой день он уехал в Италию и вскоре давал там многолюдное интервью (опять надеюсь, что я не узнаю?). Его спрашивали обо мне: правда ли, что часть моих вещей ходит по рукам, но не печатается? правда ли, что и такие есть вещи, которые я из стола не смею вынуть?

"В стол я к нему не лазил, - ответил популярный редактор (в самом деле, в стол лазить - на это есть ГБ). - Но вообще с ним всё в порядке. Я видел его как раз накануне отъезда в Италию (подтверждение нашей близости и достоверности его слов!). Он окончил 1-ю часть новой большой вещи (когда, А.Т.? когда?..), её очень хорошо приняли московские писатели ("не следовало давать туда"?), теперь он работает дальше. (А - 2-ю часть потеряли, А.Т.? А как "излишняя памятьливость"? а - "ничего нет святого"? Почему бы не сказать этому католическому народу: "у Солженицына ничего нет святого"?)

Сам в эти месяцы душимый, - он помогал и меня душить...» /там же, стр. 174 - 175 - 176 - 177; выд. Солженицыным/.

* * *

Чуть ниже Солженицыным сказано:

«Не я весь этот путь выдумал и выбрал - за меня выдуманно, за меня выбрано.

Я - обороняюсь.

Охотники знают, что подранок бывает опасен» /там же, стр. 177/.

Нет, не Солженицын был подранком. Он - атаковал; он сам выбрал свою дорогу и упорно пробивался сквозь чащу, бодался с дубом. И чудом дуб начинал потрескивать. У Солженицына впереди были долгие лета и много работы. И ещё увидит он в "Новом мире" Залыгина свои страницы. А его собеседник - он, да, подранок. И на дорогу свою забредший почти несмышлённым, и сил не имевший с нею сойти, и не смеющий её до конца осмыслить, - он на исходе. Но всё-таки им, подранком, в этом журнале отвоёваны для других страницы и вечные, и просто честные, и злободневно-необходимые, насущные. Всё-таки он тоже оставил вмятины на дубовой коре. Хотя сам, возможно, мечтал пробудить в дубе совесть. Но читателя, он, поэт и редактор, одарил щедро.

* * *

Потом было письмо Солженицына президиуму писательского съезда и попытка Твардовского примирить Солженицына с руководством союза, и обещания опубликовать в "Новом мире" "Раковый корпус" и проволочки с его (невозможным) печатанием. Солженицын расхотел по СССР в списках и фотокопиях, гремел за границей, обретал и тыл, и связи, и верных сотруд-

ников. Вышел на Западе "Раковый корпус", вышел "Круг-96"... Ну, а Твардовский?

«Когда летом 1968-го я увидел А.Т., я поразился перемене, произошедшей в нём за 4 месяца. Он опять **вызвал** меня – с криком в темную пустоту, ибо так и не знал, бедняга, где я есть (а от его дачи до моего Рождества – меньше часа автомобильной езды, уж он бы не раз ко мне накатывал!), явлюсь ли вообще.

. . .

...чрезвычайно порадовал он меня. Застал я его за чтением Жореса Медведева "об иностранных связях". Удивлялся: "Пробивные два братца!". И вообще о Самиздате, восхищённо взявшись за голову обеими руками: "Ведь это ж целая литература! И не только художественная, но и публицистическая, и научная!" Давно ли коробило его всё, что не напечатано **законно**, что не прошло одобрения какой-нибудь редакции и не получило штампа Главлита, хоть и не уважаемого нисколько. Лишь опасную контрабанду видел он уже во стольких моих вещах, пошедших самиздатским путём, – и вдруг такой поворот! И ревниво следил, оказывается, за самиздатскими ответами на облай меня в "Литературке". С большим одобрением: "А Чуковскую вы читали? Хороша она!.." А с Рюриковым и Озеровым (предполагаемые авторы литературкинской статьи против меня) А.Т. решил ничего общего не иметь и в Лозанну ехать не вместе с ними, как посылают, а порознь.

Да что! сидели мы, болтали – вдруг он вскочил, легко, несмотря на свою телесность, и спохватился, не таясь: "Три минуты пропустили! Пошли Би-Би-Си слушать!" Это – он?! Би-Би-Си?!.. Я закачался. Он так же резво, неудержимо, большими ножищами семеня к "Спидоле", как я бросался уже много лет, точно по часам. Именно от этого порыва я почувствовал его близким, как никогда, как никогда! Ещё б нам несколько вёрст бок о бок, и могла б между нами потечь откровенная, не таящая дружба.

– Вы стали радио...? А о вашем письме к Федину слышали?

Нетерпеливо, но с опаской:

– А подробный текст его не передавали?

Вот, наверно, откуда! – от своего письма стал он и слушать. Естественный путь. Но первый-то рубеж – отжаться, переступить свободным актом воли, послать само письмо!

. . .

После Би-Би-Си:

– Такая серьёзная радиостанция, никакого пристрастия.

. . .

Сердечно мы расстались, как никогда.

Это было – 16 августа. А 21-го грянула оккупация Чехословакии.

И я не доехал до Твардовского со своей бумагой. Нет, её бы он не подписал и, вероятно, кричал бы на меня. Однако, вот как он себя повёл. Верховоды СП, чтобы шире и надёжней перепачкать круг писателей, в эти дни прислали А.Т. подписать два письма: 1) об освобождении какого-то греческого писателя (излюбленный отвлекающий маневр) и 2) письмо чехословацким писателям: как им не стыдно защищать контрреволюцию? Твардовский ответил: первое - неуместно, от второго отказываюсь.

Отлистайте сто страниц назад - разве это прежний Твардовский?

Я ему, в сентябре: - Если это подлое письмо появится за безликой подписью "секретариат СП", можно ли рассказывать другим, что вы в него не вошли?

Он, хохлясь: - Я не собираюсь делать из этого секрета. (Три года назад: "нежелательная огласка"!..)

- Я глубоко рад, Александр Трифонович, что вы заняли такую позицию!

Он, с достоинством: - А какую я мог занять другую?

Да какую ж? ту самую... Ту самую, которую в этих же днях совсем некупаемо, бессмысленно подписал "Новый мир": горячо одобряем оккупацию! Гадко-казённые слова, в соседних столбиках "Литературки" - одни и те же у "Октября" и "Н.мира"!..

Глазами чехов: значит, русские - все до одного палачи, если передовой журнал тоже одобряет...» /там же, стр. 247, 248 - 249, 250 - 251/.

На Чехословакии и оборвалась идиллия взлёта.

«Да впрочем, и "Современник" голосовал единогласно. Да кто не голосовал? кто себя не спасал? Сам ли я не промолчал, чтобы бросить камень?

И всё-таки этот день я считаю духовной смертью "Нового мира"» /там же, стр. 251/.

Солженицын тоже тогда промолчал - после мучительных колебаний. Промолчал, спасая "Архипелаг" и начало "Красного колеса", - чтоб не выйти в опаснейший момент из тени. Но ведь и Твардовский не шкуру свою спасал, а журнал.

«Твардовский уже распрямлял свою крутую спину, уже готовился - впервые в жизни! по такому важному вопросу! - к необъявленному, молчаливому устоянию против **верхов**. С какой же задачей неслись к нему по шоссе его заместители? Какие доводы везли? Если бы к этому новому Твардовскому они приехали бы с горячим движением: "на миру и смерть красна, а может и выстоим гордо!" (и выстояли бы! - чувствую, вижу!) - решение состоялось бы мгновенно и ясно какое: плюс на плюс даёт только плюс. Но если позиция Твардовского была плюс, это мы знаем, а умножение дало ми-

нус, то позиция Лакшина открывается нам алгебраически. Ясно, что приехав, он сказал Твардовскому: "надо **спасать журнал!**"

. . .

Спасать журнал! – крик, на который не мог не отозваться Твардовский! С тех лет, как всё реже и реже поэмы и стихи выходили из-под его пера, он всё страстней любил свой журнал – действительно, чудо вкуса среди огородных пугал всех остальных журналов, умеренный человеческий голос среди лающих, честное лицо свободолюбца среди балаганных харь. Журнал постепенно становился не только главным делом, но **всею жизнью** Твардовского, он охранял детище своим широкоспинным, толстобоким корпусом, в себя принимал все камни, пинки, плевки, он для журнала шел на унижения, на потери постов кандидата ЦК, депутата Верховного Совета, на потерю представительства, на опадание из разных почётных списков (что больно переживал до последнего дня!), разрывал дружбы, терял знакомства, которыми гордился, всё более загадочно и одиноко высился – отпавший от закоснелых **верхов** и не слившийся с динамичным новым племенем. И вот – не из этого разве племени? – приезжает к нему молодой, полный сил, блеска и знаний заместитель и говорит: надо **уступить**, сила солому ломит.

С о л о м у ! – только солому. Ну, ещё хворост. Но даже жердинника не берёт» /там же, стр. 251/.

Если Солженицын мог промолчать ради своей сверхзадачи, то не оставить ли и "Новому миру" право на сопоставимые соображения?

Я не буду касаться оценки Солженицыным Лакшина в "Телёнке", на мой читательский взгляд, близкой к истине (читала я статьи Лакшина и в "Новом мире", и в медведевском лондонском "XX-м веке"). Но не усомнюсь, что Лакшин всей душой был на стороне Чехословакии. И что, вполне возможно, актив редакции "Нового мира", убеждая Главного промолчать, больше всего беспокоился о журнале, – о его репутации "в верхах", достаточно шаткой. Я и сама промолчала из сходных соображений – из-за своих рукописей и анонимных работ в Самиздате. Боюсь одного: что **все** подобные соображения небезупречны.

* * *

В декабре горького 68-го, к пятидесятилетию Солженицына, в прибое поздравлений и пожеланий, прозвучала телеграмма и от Твардовского. И не было в ней ни одной неприязненной нотки, никаких ни на кого оглядок:

– «...Живите ещё пятьдесят не теряя прекрасной силы вашего таланта. Всё минется, только правда останется...
Всегда ваш Твардовский».

* * *

Влекло Солженицына неудержимо – дать Твардовскому на прочтение "Архипелаг". Разумеется, без тени расчёта на публикацию, но лишь потому, что чувствовал он в Твардовском неуклонное нарастание инакомыслия (новомыслия).

Но – то не удавалось застать его дома без чужих, то заставлял нетрезвым. Так и не увидел Твардовский моря, из которого выгреб Солженицын. А мог бы здорово таким путешествием укрепиться.

И ещё момент: немного, очень немного знали мы все, среди нас – и Твардовский, о тех явлениях русского духа, без знакомства с которыми об исторической России писать нельзя. Повезло Солженицыну встретить в камерах и бараках людей, давших ему культурный компас уже и для "воли". В этой связи характерен для редакции "Нового мира" разговор с Солженицыным (после статьи Дементьева с большевистским отпором "молодогвардейцам" и "Огоньку"):

« – Александр Трифонович, вы "Вехи" читали?

Т р и раза он меня переспросил! – слово-то короткое, да незнакомое.

– Нет.

– А Александр Григорьевич читал когда-нибудь? Думаю, что не читал. А зачем безо всякой надобности лягнул два раза?

Нахмурился А.Т., вспоминая:

– О ней что-то Ленин писал...

– Да мало ли что Ленин писал... **В разгаре борьбы**, – добавляю поспешно, без этого – резко, без этого – раскол!..

Твардовский – не прежняя партийная уверенность. Новые поиски так и пробиваются морщинками по лицу:

– А где достать? Она запрещена?

– Не запрещена, но в библиотеках её **закрывают**. Да пусть ваши ребята вам достанут.

Тут перешли в другой кабинет, как раз к этим самым **ребятам** – Хитрову, Лакшину.

Твардовский, громогласно-добродушно, но и задето:

– Слушайте, он, оказывается, двенадцатый к "письму одиннадцати", просто не успел подписаться!

Когда смех перешел, я:

– А.Т., так нельзя. Кто не с нами на 100%, тот против нас?..

Владимир Яковлевич! Вы обязаны найти "Вехи" для А.Т. Да вы сами-то читали их?

– Нет.

– Так надо.

Лакшин, достаточно сдержанно, достаточно холодно:

– Мне – сейчас – это – не надо.

(Интересно, как он внутренне относится к статье Дементьева? Не могут же не оскорблять его вкуса эти затхлые заклипания. Но если нравятся Главному – не надо противоречить.)

- А зачем же вы их лягаете?

Так же раздельно, выразительно, баритонально:

- Я - не лягаю.

Ну да, не он, а - Дементьев.

Я: - Великие книги - всегда **надо**.

И вдруг А. Т. посреди маленькой комнаты стоя большой, мало-подвижный, ещё и руки раскинув, и с обаятельной улыбкой открытости:

- Да вы **освободите меня от марксизма-ленинизма**, тогда другое дело. А пока - мы на нем стоим.

Вот это - вырвалось чудным криком души! Вот это было уже - вектор развития Твардовского! Насколько же он ушел за полтора года!

Была бы свободная страна, действительно - открыть другой журнал, начать с ними публичную дискуссию с **другой** стороны, доказать самому Твардовскому, что он - совсем не Дементьев. А в н а ш е й стране иначе распорядилась серая лапа: накрыла и меня, накрыла и их.

Как уже давила, давила, давила всё растущее, пятьдесят лет» /там же, стр. 277 - 278/.

Как оно типично - самоуверенное лакшинское "мне - сейчас - это - не - надо". А что "это" - и сам не знает. И оказалось потом, что - **надо**...

* * *

10 февраля 1969 года - новый удар по журналу и по Твардовскому: увольнение Лакшина, Виноградова и Кондратовича. Твардовского толкают к отставке.

«Я пришел убеждать его, что пока ещё остаются, считая с ним вместе, четверо членов редакции - можно внутри редакции продолжать борьбу, ещё 2-3 месяца пойдут приготовленные номера, лишь когда надо будет подвигать уже совсем отвратный номер - тогда и уйти. А. Т. ответил:

- Устал я от унижений. Чтоб ещё сидеть с ними за одним столом и по-серьёзному разговаривать... Ввели людей, каких я и не видел никогда, не знаю - бронеты они или блондины.

(Хуже: они даже писателями не были. Руководить литературным журналом назначались люди, не державшие в руках пера, Трифонич был прав, да я б на его месте ещё и раньше ушел, - а предлагал я в духе того терпенья, каким и жили они в те года.)

- Но как же так, А. Т., **самому** подавать? Христианское мировоззрение запрещает самоубийство, а партийная идеология запрещает отставку!

- Вы не знаете, как это в партии принято: скажут **подать** - и подам.

Более настойчиво и более уверенно я убеждал его не отречься от западного издания своей поэмы, не слать ей хулы. Я не знал: уже отречено было! – и, напротив, как милости и прощения ждал А.Т. чтоб **не отказались** его отречение напечатать в газете... (Бедный А.Т.! Не станет злопамятности напомнить ему, как **"на- верно я сам** отдал "Крохотки" в "Грани" – иначе как бы они появились? .) Ни того отречённого письма, ни письма Брежневу (написал: "Я – не Солженицын, а Твардовский, и буду действовать иначе". И очень жаль, на этом пути не выиграешь...) он мне не показал – "копий нет". (Чего-то стыдился в них передо мной.)

И всё-таки, полужастенчиво и с надеждой:

– А вы поэму мою не читали?

– Ну как же! Вы мне подарили, я читал...

(А сказать-то ничего не могу, не хочу – да ещё в такой день...)

Он чувствует: – Вы не последнюю редакцию читали, она потом лучше стала...

(Боюсь, что последнюю)

Опять беспокоился, не живу ли я на западные деньги, и тем себя мараю. В который раз предлагал своих денег.

Подбодрял я его:

– Ну что ж, вы своё отбухали, теперь будете отдыхать. Вот приедем за вами с Ростроповичем, заберём вас в его замок, дам вам ту книгу свою почитать.

(Под потолками не скажешь: "Архипелаг".)

Даже сиял, нравилось ему.

Высказал очень странное:

– Вот у вас есть и **повод**, почему вы сегодня пришли в редакцию: вам надо было получить свои новогодние письма.

Это – не в виде укора, не подцепить, а – какое-то затмение, надвинутое из 37-го года.

– Да что вы, А.Т.! Какой **повод**? Перед кем?

– Ну, – потуплённо говорил А.Т., – если вас станут спрашивать, – почему в такой день...

– М е н я , Александр Трифонович! Да уж я-то в своём отечестве ни перед кем не отчитываюсь!

Или не знал, что все коридоры 1-го этажа забиты авторами?..

А вот что было трогательное.

– А.Т.! Тут какая-то мистика в датах. Вчера был день моего ареста, даже 25-летие. Сегодня – день смерти Пушкина, и тоже столетие с третью. (– И годовщина суда над Синявским-Даниэлем. Но этого ему не надо говорить. –) И в эти же дни вас разгромили...

Он вдруг от души:

– А вот хотите мистику? Сегодня ночью я не спал. Выпил кофе, потом снотворное, заснул тревожно. Вдруг слышу приглушенный, но ясный голос Софьи Ханановны (секретарша А.Т.): "Александр

Трифоныч! Пришел Александр Исаич". И так именно днём произошло.

Очень меня это тронуло. Значит, сегодня он приехал с такой надеждой. Который раз он проявлял, насколько наши нелады ему тяжело.

В этот день всё ожидалось, что будет в завтрашней "Литературке", и агенты приносили разные сведения: то **идёт** отречное письмо А.Т., то **не идёт**; то – будет подтасовка, что он согласен с переменами в редакции, то – не будет.

Изменила б "Литературка" своему характеру, если б не жутьничала. На другой день и подтасовка была конечно, и невозвратное объявление о выводе четырёх членов редколлегии, и – письмо А.Т., которого уже истомился он ждать в печати, но чести оно принесло ему мало:

"...моя поэма... абсолютно неизвестными мне путями, разумеется, помимо моей воли... в эмигрантском журнальчике "Посев" ...искаженном виде... Наглость этой акции... беспардонная лживость... провокационное заявление... **будто бы** она "запрещена в Советском Союзе". А разве же – не запрещена? А разве не спрашиваете вы друзей: "читали мою поэму?" А разве это письмо – откроет ей печатанье в СССР?

И – за что заплачена цена? За то, что разогнали вашу редакцию, Александр Трифонович?..

Сломали...

Перейдена была мера унижений, мера стойкости, и 11 февраля Твардовский подписал столько лет из него выжимаемое: "п р о - ш у о с в о б о д и т ь" ...»
/там же, стр. 299 – 300 – 301/.

Невозможно было уже его освободить: поздно.

12-го, уже после отставки Твардовского, был Солженицын в редакции снова (тянуло их, видно, в эти дни друг к другу). Пытался утешить. Странно сейчас вспоминать, как тогда молод был Твардовский по сравнению с нами, нынешними.

« – А.Т.! Крупным – то ничего: Лакшину, Кондратовичу, им уже устроили посты, будут деньги платить. А мелким что делать?

– Виноградову? Да он ещё лучше устроится.

– Нет, аппарату.

Не расслышал. Не понял! Как тогда с "Вехами" – просто не понял, понятия такого – "аппарат", ещё 20 человек, которые...

– Авторам? Они в "Новом мире" не будут печататься.

Правда, на следующий день, 13-го, А.Т. начал обход всех комнат трех этажей, где и не бывал никогда: он шел **прощаться**. Он еле сдерживал слёзы, был потрясен, растроган, всем говорил хорошие слова, обнимал... – но почему **прежде** никогда не собрал все свои две дюжины? И почему сегодня **не боролись**, а так трога-

тельно, так трагично-печально сдавались?* /там же, стр. 302 - 303/.

Ну, а боролись бы? Какими способами? Письмами-протестами? Письмами-опровержениями? Картонными мечами против дуба? Чтобы бороться по-настоящему, надо было менять и ломать всю свою жизнь. Немногие на это способны, что и естественно.

«Потом члены редколлегии выпили в просторном кабинете Лакшина, посидели, уехали. А мелкой сошке всё не хотелось расходиться в последний день. Скинулись по рублю, кто-то и из авторов скромных, принесли ещё вина и закуски, и придумали: а пойдём в кабинет Твардовского! Уже темно было, зажгли свет, расставили тарелки, рюмки, расселись там, куда пускали их изредка и не вместе - "они нас бросили". За стол Твардовского никто не сел, поставили ему рюмку: "Простим ему неправые гонения!.."» /там же, стр. 303/.

А место Твардовского пустовало...

* * *

Солженицын был и моложе, и твёрже Твардовского, и одиноким виделся только издали. На деле он был окружен стеной "невидимок" и одарён дружбой.

«Одиночество же Трифоныча было полно горечи всеобщего, как ему казалось, предательства: он годами жертвовал собою для всех, а для него теперь никто не хотел жертвовать: не уходили из "Н.мира" сотрудники, и лишь немногие отхлынули авторы. Вся эта возня с "теневого" редакцией, непрерывными обсуждениями, что делается в реальной, только больше должна была изводить его и усилить начавшийся от угнетения скрытый ход болезни.

. . .

Тут приближался 60-летний юбилей А.Г., открывая возможность снова переключиться. Я телеграфировал:

Мне рассказали об этой сцене в тех днях, когда я готовился описывать прощание Самсонова с войсками - и сходство этих сцен, а сразу и сильное сходство характеров открылось мне¹ - тот же психологический и национальный тип, то же внутреннее величие, крупность, чистота - и практическая беспомощность, и неспешавшие за веком Ещѣ и - аристократичность, естественная в Самсонове, противоречивая в Твардовском. Стал я себе объяснять Самсонова через Твардовского и наоборот - и лучше понял каждого из них /прим. Солженицына/

"Дорогой наш Трифоньч! Просторных вам дней, отменных находок, счастливого творчества зрелых лет! В постоянных спорах и разногласиях неизменно нежно любящий вас, благодарный вам Солженицын."

Говорят, он очень был рад моей телеграмме, уединялся с нею в кабинет. Мог бы и не отвечать. Юбиляру это трудно, он ответил:

"Спасибо, дорогой Александр Исаевич, за добрые слова по случаю 60-летия моего. Расходясь с вами во взглядах, неизменно ценю и люблю вас как художника. Ваш Твардовский."

И, по темпам наших отношений, месяцев ещё через несколько мы бы с ним повидались. Я написал ему письмо, **прося разрешения** показать в октябре свой оконченный роман. Я знал, что это доставит ему удовольствие.

Но – не пришло ответа. А узналось – что рак у него (и скрывают от него). Рак – это рок всех отдающихся жгучему желчному обиженному подавленному настроению. В тесноте люди живут, а в обиде гибнут. Так погибли многие уже у нас: после общественного разгрома, смотришь – и умер. Есть такая точка зрения у онкологов: раковые клетки всю жизнь сидят в каждом из нас, а в рост идут, как только пошатнётся... – скажем **дух**. Лишь выдающееся здоровье Твардовского при всех коновальских ошибках кремлёвских врачей даёт ему ещё много месяцев жизни, хоть и на одре.

Есть много способов убить поэта.

Твардовского убили тем, что отняли "Новый мир".

Жуковка Февраль 1971» /там же, стр. 308 – 309/.

Примечательно, что расхождения во взглядах подчёркнуты в обеих телеграммах. Не для чужих ли глаз?

После ухода

Грянула Нобелевская Солженицына. И шведы, и Солженицын встали перед проблемой: где её вручать, как её получить?

«...Твардовский, передавали, за меня в кремлёвской больнице больше томился и раздумывал: как бы мне премию получить, не поехавши? Он лежал с полупротятой речью, бездеятельной правой рукой, но мог слушать, читать, следил за моей нобелевской историей, а когда возвращалась речь, говорил и даже кричал сёстрам и нянечкам:

– Bravo! Bravo! Победа!» /там же, стр. 329 – 330/.

Какая верность медовому месяцу многострадальной дружбы и какое бескорыстие в этой гордости...

На Западе был на выходе "Август". Но Солженицын Твардовскому об этом так и не рассказал: побоялся его расстрожить. Показал, приехав его проведать, переплетённую машинопись.

«Твардовский-то! – так ждал эту вещь, для своего журнала когда-то. Теперь ему хоть перед смертью бы её прочесть.

В феврале 71-го, как раз через год после разгрома "Нового мира", его выписали из кремлёвской больницы, искалеченного неправильным лечением, с лучевой болезнью. И мы с Ростроповичем поехали к нему.

Мы ожидали застать его в постели, а он – стараясь для нас? – сидел в кресле, в больничной курточке фиолетово-зелёно-полосчатой и в лечебных кальсонах, обернут ещё пледом. Я наклонился поцеловать его, но он для этого хотел обязательно встать, поднимали его с двух сторон дочь и зять, правая сторона у него бездействует и сильно опухла правая кисть.

– По-ста-рел, – тяжело, но чётко выговорил он. Неполная по движениям губ улыбка выражала сожаление, даже сокрушение.

По краткости фразы (а оказалась она едва ли не самой длинной и содержательной за всю беседу!), по недостатку тона и мимики я так и не понял: извинялся ли он за постарение своё? или поражался моему?

...Потом я вытацил переплетённый в два тома машинописный "Август" и, невольно снижая темп речи, упрощая слова, показывал и растолковывал Трифону как мальчику – что это часть большого целого, и какая, зачем приложена карта. Всё с тем же вниманием, интересом, даже большим, но отчасти и рассредоточенным, он кивал. Выговорил:

– Сколько...?

Второе слово не подыскалось, но очень ясен редакторский вопрос – сколько авторских листов? (Во скольких номерах "Нового мира" это бы пошло?..)

. . .

Когда Трифону особенно требовалось высказаться, а не удавалось, я помогающе брал его за левую кисть – теплую, свободную, живую, и он ответно сжимал – и вот это было наше понимание.

...Что всё между нами прощено. Что ничего плохого как бы и не бывало – ни обид, ни суеты...» /там же, стр. 340 – 341 – 342 – 343/.

И ещё одно состоялось свидание через три месяца, когда стало Твардовскому вроде бы несколько легче.

«Увы, и в этот последний раз я должен был скрытничать перед ним, как часто прежде, и не мог открыться, что через две недели книга выйдет в Париже.

Тем более не мог ему открыть, не мог высказать при домашних, чем я ещё и очень занят был в ту весну (в перерыве между Узлами, в перерывах главной работы всегда проекты брызжут, обсуждался уже со многими самиздатский "журнал общественных запросов и литературы" – с открытыми именами авторов. Уже и "редакционный портфель" кое-что содержал)» /там же, стр. 344/.

И – самая последняя на Земле встреча:

«В декабре 71-го мы хоронили Трифону́ча.

Перегорожены были издали прилегающие улицы, не скупясь на милиционеров, а у кладбища – и войска (похороны поэта!), отвратительно командовали через мегафон автомобилям и автобусам, какому ехать. Кордон стоял и в вестибюле ЦДЛ, но меня задержать не посмели всё-таки (жалели потом). От неуместного алого шелка, на котором лежала голова покойного (в первые же часы после смерти вернулось к нему детское доброе примирённое выражение, его лучшее) и чем затянута гроб весь, от лютых и механических физиономий литературного секретариата, от фальшивых речей – всё, чем мог я его защитить, было два крестных знамения – после двух митингов – одно в ЦДЛ, другое на кладбище. Но думаю, что для нечистой силы и того довольно. Допущенный ко гробу лишь по воле вдовы (а она во вред себе так поступила, зная, что выражает волю умершего), я, чтобы не подводить семью, не решился в тот же вечер дать в Самиздат напутственное слово – и продержал его до девятого дня, оттого – каждый день читал его, читал, повторял – и вжил в это прощальное настроение, когда события жизни меряются совсем другими отрезками и высотами, чем мы делаем повседневно» /там же, стр. 351 – 352/.

Солженицын начал своё короткое поминальное слово так:

«Есть много способов убить поэта.

Для Твардовского было избрано: отнять его детище – его страсть – его журнал.

Мало было шестнадцатилетних унижений, смиренно сносимых этим богатырем, – только бы продержался журнал, только бы не прервалась литература, только бы печатались люди и читали люди. Мало! – и добавили жжение от разгона, от разгрома, от несправедливости. Это жжение прожгло его в полгода, через полгода он был уже смертельно болен и только по привычной выносливости жил до сих пор – до последнего часа в сознании. В страданиях» /там же, стр. 552/.

И так его завершил :

«Обстали гроб каменной группой и думают - отгородили. Разогнали наш единственный журнал и думают - победили.

Надо совсем не знать, не понимать последнего века русской истории, чтобы видеть в этом свою победу, а не просчёт непоправимый.

Безумные! Когда раздадутся голоса молодые, резкие - вы ещё как пожалеете, что с вами нет этого терпеливого критика, чей мягкий увещательный голос слышали все. Вам впору будет землю руками разгрести, чтобы Трифоныча вернуть. Да поздно.

А. Солженицын

к девятому дню

(27 декабря 1971)»

/там же, стр. 552 - 553/.

* * *

Вот и всё. Я прочитала когда-то такую надпись на могильном памятнике, под овальным портретом совсем молодой женщины. **Вот и всё.** Более скорбной и выразительной эпитафии не знаю.

Но если бы мне была оказана честь произнести несколько слов у памятника Твардовскому, я бы позволила себе сказать:

Александр Трифонович! Вы написали две бессмертные поэмы о русском солдате и много прекрасных стихотворений. Этого достаточно для оправдания жизни. Но Вы ещё были светом в окне для сотен тысяч своих соотечественников, руководя лучшим из возможных в то время журналов. Больше того, иногда Вам удавалось и невозможное. Спасибо за писателей, которых Вы нам открыли. Поэтов, прозаиков, публицистов, учёных. Страницы "Нового мира" дали стартовую площадку для взлёта Александру Солженицыну. Это тоже Ваш подвиг.

Вы были опутаны цепями не только внешними, но и духовными? Да, как почти все мы, Ваши современники. Но Вы совершили свой подвиг.

Хотелось бы знать, что Вы ушли из жизни с миром в душе.

* * *

Даже по сравнению с другими частями этой книги - относительный вес цитат в ней огромен. Но можно ли пересказывать Твардовского и Солженицына? Автор позволил себе лишь рассмотреть драму их отношений сквозь призму текста "Телёнка".

* * *

VI. ДЕТИ УТОПИИ

Из отрочества я. Из той поры
Внезапностей и преувеличений,
Где каждый, может быть, в эскизе - гений
И неизвестны правила игры.
Где любят, всхлипывая... И навек.
И как ни вырастает человек,
Он до себя, того, не дорастает...

Сара Погрёб

1. "ОБЩИНА ПО МЕСТУ ОЧЕЛОВЕЧИВАНИЯ"

Говорят, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Что такое река? Русло и направление потока воды? Тогда войти в неё дважды, и трижды, и ещё много-много раз – можно. Вода, в которую окунул человек однажды в этом русле? Тогда – нельзя. Если, конечно, не заставить проточную воду стать стоячей. И всё же, всё же...

«Содержащиеся в этом конверте материалы выданы мне по доверенности гражданки Израиля Доры Тиктин (в прошлом – Шгок) Комитетом Гос. безопасности в лице зам. председателя Грищенко Е.А. и зав. архивом КГБ Казахстана полковником Локтевым. Мне было разъяснено, что я могу переслать рукописи владелице, реабилитированной в 60-е годы.

А. Жовтис, профессор Каз. Гос. университета им. Абая, член Союза писателей.»

Далее следует адрес.

В 1992 году легли на мой стол триста с лишним разноформатных страниц, исписанных и исчерканных мною в 1939–44 годах. Тонкие тетрадки, блокноты, разрозненные листки. Когда писались последние из них, я была такой, как сегодня мой внук. Он будет становиться всё старше, а из остановленной воды времени не перестанет звать к нему его двадцатилетняя бабушка. Звать – потому что тогда ведь обо всём размышлялось для вечности.

В 1979 - 1990 годах я написала фрагментарные воспоминания об этом времени: очерки ("Тетрадь на столе" и "Непредусмотренный постскриптум" к ней. Журнал "Время и мы" NN 52, 53 и 55. Тель-Авив) и небольшую книгу ("Моя школа". - Лондон: Изд. "Overseas Publications Interchange, Ltd." - 1990). Но теперь вижу, что не вызвала бытия из небытия, а только попыталась рассказать то, что помню о прошлом. Кажется, Николай Асеев писал, что "слово 'вещь' и слово 'весть' близки и родственны корнями". Мои слова 1939-44 годов и те же вроде бы (мои же) слова 1979-90 годов - это вести о разных вещах. А сколько умерших и родившихся слов, умерших и родившихся вещей и смыслов?

Теперь на моём столе лежит само прошлое. Оно выплыло из небытия, не траченое ни временем, ни цензором, ни внутренним редактором. Это ведь даже не сочинения далёких лет. Рука, карандаш, ручка были стихийным самозаписывающим устройством самой жизни, самой нашей сути. В подавляющем большинстве случаев мы не обрабатывали эти записи. Изредка я их переписывала, перечеркнув предыдущий вариант, если менялся взгляд. Как тщетно мечталось Пастернаку, мы, "вместо жизни виршеписца", вели "жизнь самих поэм". Эта общая жизнь была перенасыщена чувствами, чтением, событиями, поступками. Она была безоглядной и жадной. В то же время непрерывно и обострённо осмысливалась эта полнота - то на бумаге, прямолинейно и непосредственно, то в бесконечных разговорах. Захватывавших нас книг (а читалось очень для такой кутерьмы много) мы не вычленили из потока событий и переживаний. И почему-то я всё должна была осмысливать на бумаге. Писалось, чем попало, на чём попало, где и когда придёт в голову: в общежитии, дома, в аудитории, в очереди, в читальне, на вечеринке...

Наверное, мы потому успевали так много (добавьте ещё и романтические сюжеты, владевшие, казалось бы, безраздельно всеми), что подрабатывали к стипендии и домашней поддержке только мы с Валькой. Жили мы по-разному. Одни - безбедно, ещё и подкармливая друзей (Валюша, Марк), другие - впроголодь (Стэлла, Андрей Досталь), третьи - как когда. Клевали по зёрнышку, где удастся. Мы жили **словом**. Но **слово**, питавшее наши души, текло из разных источников. И чей веет дух, - нам трудно было понять. Да мы и не знали тогда ничего о ловушках и возможных источниках слова.

Итак, на этих страницах запечатлелась наша не по времени счастливая юность во всей её искренности, парадоксальной для той жестокой эпохи. Свидетельствуют ли эти наброски ещё и о смелости? Не думаю. Если мы и не остерегались говорить и писать, что придёт на ум, то, в основном, соответственно поговорке "у дурака страха нет." Юный лихач пренебрегает правилами дорожного движения не из отваги, побеждающей страх, а потому, что он страха не ощущает, а всяческие правила считает старческими бреднями. На мой стол легла, повторяю, сама наша юность, не откорректированная, как это бывает обычно в мемуарах, мерками усталого и многоопытного человека.

Узнаю ли я себя в этих заметках? И да и нет. Чистовиков при моём "деле" оказалось мало, в основном - черновики. Мы с мамой и братом соби-

рались возвращаться из Алма-Аты в Харьков буквально днями. Мариком, Валошей и мною были отправлены документы в ЛИФЛИ. Я не сомневалась: главное – впереди. Чистовики оставила на память другу, единомышленнику и – вскорее – однодельцу Вальке (Владимиру) Рабиновичу. Надписала размашисто: "Другу и соавтору", чем обеспечила ему, физматовцу, участие в филфаковском "деле". И срок, хотя соавтором он был лишь духовным. Может быть, тетрадь моих чистовых статей хранится в Валькином "деле"? Черновики оставались у меня дома и были изъяты при обыске и аресте. Возможно, я собиралась взять их с собой в Харьков, а потом – в Ленинград. Это же были заявки на великие открытия, как всё, что тогда писалось и обсуждалось в нашем быстроумном и ещё более быстроязыком кругу.

При всём сходстве почерков (моего тогдашнего и нынешнего), при тождестве биографий автора этих заметок и моей, при узнаваемости многих мотивов, есть во всём этом нечто словно бы и не моё. Так бывает во сне, когда в хорошо знакомом лице вдруг проступает **кто-то не тот**, когда в хорошо известном тебе человеке мелькает на миг странная, а то и страшная сущность. Чем-то жутким поскваживает порой от этих юношеских записей. Читая их, я впервые почувствовала, а не только умозрительно согласилась, что язык – это человек. И книга – это язык, и время – это язык, и миропонимание – это язык.

И всё-таки эти черновики с их жутковатыми вкраплениями – уже намёк на дуэт. Не случайно я почти всю жизнь (1938 – 1995) писала поэмудуэт, в которой боролись два голоса. В нашем вульгарно-социологическом волапоке тех лет обнаруживаются изъяны, то есть посылы. Из этого деформированного, как ножки китайской аристократки, сознания что-то упорно выталкивает поселившегося в нём оборотня. Стоит присмотреться к этой борьбе.

То, что потом было названо нашим "делом" (и даже "антисоветской организацией"), началось, как ни странно, не с политики. Для физматовца Вальки отправным пунктом оказалось богоискательство, увлечение нескольких его коллег. Для лингвиста Марика всё началось с поисков связи между структурой умственных операций и структурами нескольких языков. Для меня – с постижения "творческого метода" (так это тогда называлось) нескольких завладевших мною писателей.

Многого из того, о чём я отчётливо помню, в этих бумагах нет. Дракон их переварил. Но зато неоднократно варьируется рукопись "Идеология социализма" с различными подзаголовками. Как я понимаю, её породил долг прежде всякой эстетики поставить любимых писателей на твёрдую идеологическую и социально-экономическую почву. Увы, миропонимание прошлого коррекции не подвластно. Существовала тогда для нас непреложность такого долга, причём внутренняя, а не навязанная.

Итак, рукописи пришли из Алма-Аты в Иерусалим (звучит? В 1944 году мы бы рехнулись от предположения такого маршрута) в 1992 году.

Пожелтевшая бумага, выцветшие чернила, осыпанший карандаш. Тронутые гниением, кое-где объеденные мышами листки. Особенно почему-то пострадали от мышей письма. Мой муж, Сергей Тиктин, виртуоз

игры на ксерокопировальной машине, сделал, на мой нетехнический взгляд, чудо: копии читаются лучше, чем читались оригиналы летом 1944 года. Наш следователь, Василий Дмитриевич Михайлов, грыз бы локти с досады, увидев эти копии. Мои черновики в своё время его извели своей неразборчивостью и обилием незнакомых слов. У меня есть подозрение, что в I-м следственном отделе НКГБ КазССР в июле-октябре 1944 года так всего этого до конца и не прочитали. Иначе пятилетний срок был бы немислимым. Хорошо, что в те времена ещё не было ксероксов, дающих увеличенные копии, более чёткие, чем оригиналы.

* * *

Ну, что ж, начнём с того, на чём тогда всё было оборвано, - с нашего уверенного толкования хода мировой истории. Это предпочтение не означает, что общественное устройство и его законы интересовали нас больше всего на свете. Просто сложилось так, что к тому времени Марка, Валентина (он был по паспорту Владимиром, но почему-то все, в том числе и в семье, звали его Валькой, Валентином) и меня чрезвычайно занимали поиски всяческих закономерностей и построения всевозможных схем. При этом закономерности отыскивались исчерпывающие и всеобъемлющие и схемы строились, как нам представлялось, универсальные. Может быть, юность всегда проходит через попытку отыскать смысл в хаосе и целесообразность в непостижимом? В ту пору, замечу, мир имел для нас сугубо эвклидовы очертания (о других знал некую малость только Валька). И если Лаплас готов был предсказать траекторию любой частицы вселенной с помощью математического анализа (разумеется, при наличии исходных данных), то мы - с помощью схем и общих закономерностей, естественно - на основе марксизма. Сегодня это напоминает мне старый анекдот о советских ракетостроителях, которые, по наблюдению американских коллег, делают чудеса с помощью молотка, зубила и какой-то матери. Мы на меньшее, чем "окончательное решение" всех занимавших нас (не сугубо личных) вопросов, не согласились бы. Ради меньшего не стоило отрываться от стихов и ошеломительных книг, от совершенно потрясающей, неповторимой, исключительной личной жизни. Конечно же, ничего подобного ни с кем до нас не случалось. Что ж, чувство неповторимой единственности нашего личного бытия было ближе к истине, чем наше убеждение, что всё на свете исчерпывающе постигается с помощью правильно понятого Закона. Следует только его открыть или откорректировать в нём ошибки предшественников. Мы и не подозревали, что целые жизни, если над этим всерьёз размышлять, уходят на соизмерение постижимого с непостижимым. Тогда постижимым, а следовательно, исправимым представлялось всё. Может быть, в чём-то глубоко подспудном это ощущение осталось в нас навсегда. Личное бессмертие тоже было, в наших тогдашних глазах, делом науки и времени.

Война являлась частью нашей личной и общей жизни. Во избежание кривотолков замечу, что Марк был негоден для прохождения военной службы, даже нестроевой, а Валька - уже демобилизован из прифронтового стройбата (сына расстрелянного троцкиста дальше стройбата не пустили).

В 1943 году стройбатовцев-старшекурсников точных и технических специальностей демобилизовали.

Читателю, марксистской фразеологии не переносящему, эту главу придётся перетерпеть или пролистать. То же – и человеку, справедливо предубеждённому против схематических профанаций многосложного мира. Но мне без этой главы не ступить ни шагу, ибо именно её горячие пустоши и редкие родники – начало пути. На первый взгляд – это суверенная территория оборотня, который нас почти заглотал. Он на ней господствовал. Но и наша схватка с ним началась тут же. Там, где громоздятся, казалось, одни только глыбы окаменевшей лавы, я увидела издали места, где сквозь камень были готовы вот-вот пробиться живые ключи. Мы в ту пору не отличали нередко песка от воды и не понимали, почему мы давимся этим песком, а не утоляем им жажды. Песок прикидывался водой, а вода была в том, что казалось нам преступной ересью, в чём мы перед собой каялись. И перед следствием – тоже. Правда, не во всём: кое-что мы капитану Михайлову пытались втолковать (с наших общих с ним, как нам представлялось, позиций).

Начало, как уже было сказано, имело место в запойном чтении нескольких поэтов и прозаиков. Непрерывное впитывание стихов предшествовало схоластическим выкладкам. И потому эти выкладки не были для нас ни холодными, ни сухими. В них пылал тот же пламень, что и в стихах, и в прозе, и в жизни, а главное – в нас самих.

Далее следуют наиболее выразительные отрывки из оригинальных текстов тех лет. Они перебиваются, когда становится невтерпёж, мною, читающей их сегодня. Прошло полвека, и какие полвека! Поэтому вынуждена повторить: автору текстов 1943–44 годов представляется, что его мироопинимание резко отличается от официальной, то есть господствующей, идеологии. **На самом деле** он говорит почти ёе языком и находится в плену подавляющего большинства её фикций. В чём он с ней начинает расходиться (или что угрожает его с ней развести), мы увидим по ходу чтения. Но отсюда, из-за полвека, видно главное и непримиримое расхождение: автор этих заметок честен, а его лепщик, собеседник, оппонент и, в скором времени, тюремщик ("официальная идеология") – лжет. К этому мы ещё вернёмся.

Начну с "Предисловия к статьям о творчестве нескольких современных писателей" (1943–44, до 14 июля).

Итак:

«Государство не есть родина. Государство – всего лишь управитель её, – хороший или дурной, – смотря по обстоятельствам, но всегда могущий впасть в ошибку. В его руках сила – оно ею пользуется...»

Р. Роллан. "Над схваткой".

Это – эпитафия. Замечу: Романа Роллана мы очень любили. В 9-м классе читали "Жана Кристофа" и "Очарованную душу" друг другу по телефону часами, ибо не могли дождаться встречи. А жить, тут же не делясь переживаемым, не умели. (К слову: моей маме в срочных случаях приходилось

пробиваться домой с работы через телефонную станцию: наш номер бывал занят целыми днями). Скептицизм по отношению к Роллану пришел при попытке перечитать последние книги "Очарованной души" в 1960-х годах. Роллан – общественный деятель – открылся мне во всей своей чересполоснице (с преобладанием красного) только после публикации его московских дневников 1935 года.

Сами по себе неотождествление государства с родиной, дерзость оценивать достоинства государства были грехами непростительными – в глазах **нашего**, не французского, разумеется, государства. Но чего у нас не отнять – это свободы перед внешними ограничениями: нас держали в плену внутренне признаваемые оковы.

Какой же управитель: хороший, или дурной, или впавший в ошибку, – был суждён, по нашему тогдашнему убеждению, нам, советским студентам 1943 года?

В начале рукописи 4–5 строк почти стёрты, но можно разобрать посылку: без правильного представления о наиболее общей схеме хода всемирной истории нельзя судить о литературных фактах. Далее шло:

«Неправильно представление о всей известной истории и "достоинстве" человечества как о линейном процессе, начавшемся с очеловечения стада и продолжающемся вперёд, в бесконечность, в преодолении новых и новых противоречий, пока, наконец, по преодолении одного какого-то из этого ряда противоречий, не настанет на земле мир и в человеках благоволение. Вся прошедшая, настоящая и будущая докоммунистическая история общества – это первый законченный диалектический цикл – история развития и преодоления только двух изначальных противоречий, разрушивших коммунистическое единство и своим принципиальным разрешением сделавших допустимым наступление новокоммунистического единства».

Почему-то схема циклическая казалась нам более убедительной, чем схема линейная. Вероятно, она более соответствовала "диалектическому материализму". Главное – мы очень хорошо и уверенно тогда знали, что есть истина, а что – заблуждение:

«Кроме того, неправильно представление о сравнительной величине (вернее – значительности) трёх стадий общественного развития: первобытнокоммунистического, междукоммунистического и новокоммунистического периодов. Если первый и третий есть основные по продолжительности состояния общества, если все изменения физической и социальной природы человека, в основном, созревают количественно именно в эти периоды, то средняя стадия, т.е. эпоха, считающаяся обычно основой социальной истории, есть лишь короткий скачок или цепь революций, переворот, изменивший характер единства, устранивший все существовавшие в предшествующий период единства социально-экономические противоречия».

Моё нынешнее внимание сразу остановилось на времени, виде и залого причастия "изменивший". Время – прошедшее (уж никак не всего только "долженствующий изменить"). Вид – совершенный, т. е. действие, которое начато и закончено. Точно так же у Маркса, Энгельса, Ленина, Троцкого, Бухарина, у Сен-Симона, у Фурье, у Чернышевского, у Томаса Мора, у Кампанеллы, у Вераса... – у бесчисленных утопистов, от античности до наших дней: настоящее время глаголов и причастий уверенно употребляется вместо сугубо предположительного, условного будущего. Мы тогда подавляющего большинства этих авторов ещё не читали. Классики марксизма-ленинизма в школьно-вузовской адаптации, Чернышевский (в ней же) – и всё, весь, казалось бы, в этом жанре наш багаж. Но за полвека прочитано мною большинство тех, кто мог бы, как долгое время думалось, поддержать нас, верящих, против нас, сомневающийся. Сегодня я хорошо их знаю. И единство стили, их и тех лет нашего, меня потрясает снова и снова. Логика Утопии зримо правит её языком. Её грамматикой, а не только лексикой.

Итак, трехстадиальная историческая схема открыта. Её конкретные исторические обоснования, в силу их – для авторов – самоочевидности, а также по причине незнакомства самоуверенных историософов с историей, пребывают за скобками их аксиом.

Что же внутри скобок?

«Обе коммунистические стадии сходятся в том, что ими предполагается единое безгосударственное общество – **союз равнобогатых и равносвободных**.

Специфичность первобытнокоммунистической стадии заключается в следующем:

1) человечество всей земли в этот период было раздроблено по очагам своего возникновения на отдельные группы, экономически между собой не связанные, – на первобытнокоммунистические общины.

2) Производственная техника первобытнокоммунистической стадии была так примитивна, что **производственное значение полноценного члена общины определялось его физической силой**. Интеллектуальная деятельность, необходимая в ходе процессов труда, легко совмещалась с физической деятельностью, так как и та, и другая были весьма несложны» /выделено теперь – Д.Ш./.

Слово "предполагается" вряд ли свидетельствует о гипотетичности сказанного для его автора. Скорее – о непреложности ("так и только так"), о полной предсказуемости исторического будущего. Что же до "равнобогатых" и "равносвободных", то это, разумеется, Энгельс и его гимны прекрасному, гармоническому первобытнообщинному строю. О жестокости первобытной половозрастной иерархии, зримо уходящей корнями в животный мир, мы знали не больше, чем позволял себе знать Энгельс. Позднее мы увидели, как легкомысленно отметал он соображения своих оппонентов. Нам-то их даже не приоткрывали. Мы отметили значение физической силы – могли бы отметить и ум, и жестокость, и ловкость, и хитрость, и опыт,

и всяческие другие способности, всегда неравные и влияющие на роль особи или индивидуума в группе. Но такой пронизательности не проявили, как не задумались и над сложностью бытия первобытного человека. Идиллия осталась идиллией. Кроме всего прочего, мы просто имели много друзей – с детского сада. Мы очень любили свою общность, свою дружбу. Нам в этом повезло. Понятия "коллектив", "коммуна", "община" были для нас окрашены положительными эмоциями по определению. Подозреваю, что и от этого в нас что-то – после всего пережитого! – уцелело.

Почему же не оказался вечным первобытный "золотой век"?

«В развитии техники производства и в росте потребностей общества обе особенности первобытного коммунизма превратились в социально-экономические противоречия: 1) интересы отдельных общин столкнулись; 2) организационные, интеллектуальные и прочие не непосредственно производственные процессы так усложнились, что оказались несовместимыми с чисто физическими процессами, в свою очередь ставшими более сложными.

Из первого противоречия возникла необходимость в освобождённой военной силе. Второе противоречие обусловило появление профессионального организатора... (потенциально – профессиональной бюрократии).

Бюрократия и армия, не окупая себя в производстве и существуя за счёт трудящихся, положили начало: 1) эксплуатации – присвоению продуктов чужого труда; 2) частной собственности на средства производства – обеспечению эксплуатации большинства меньшинством (физическому и юридическому)».

Не вдаваясь ни в темп нашего исторического галоп, ни в его терминологию, в которой свалены в кучу различные роды занятий, зададимся вопросом, который будет постоянно возникать и впредь. Если все эти нехорошие люди (организаторы, вожди, бюрократы, частные собственники – в общем, "буржуины" и "плохиши", см. у Гайдара Первого) появились **из нужды в них общества**, то почему их прокормление обществом же – это эксплуатация? Им дают их долю вроде бы за дело? Но в ту пору мы смотрели на этот вопрос по-большевистски просто: "Я сделал – ты съел. И точка. И никаких гвоздей". Пусть нас утешит, что множество учёных мужей и дам смотрели и продолжают смотреть так же.

Чуть ниже мы получаем определение прогресса и прогрессивности, над которыми издавна бьются как прогрессисты, так и консерваторы (выд. теперь – Д.Ш.):

«Междукommунистическая стадия направлена на устранение, во-первых, присущего первобытному коммунизму междубошинного раздробления (в настоящее время – международного). Во-вторых, она утверждает человека в его социальной природе, т.е. лишает его значения источника физической силы, сводя производственные процессы

к процессам умственным, осуществляя и первое, и второе в развитии производственной техники и производственных отношений.

Формации междукоммунистической стадии должно судить только (заметьте: "только"! – прим. Д.Ш., 1993) по роли их в этих процессах: 1) в процессе объединения и 2) в росте значения силы мышления в ущерб значению физической силы людей в производстве материальных (почему только "материальных"? – прим. Д.Ш., 1993) ценностей».

На поле этой страницы старинной (полвека!) рукописи, точнее – её ксерокопии, написано нынешним почерком тогдашнего автора: "Во – давали!" Главное – стройно и, опять-таки, "просто, как всё великое" (Ленин об учении Маркса). Объединимся, во всех отношениях уравняемся, на физическую работу отправим машины и – вперёд!

Едва ли не главным залогом безошибочности этой конструкции была для нас её, в наших глазах, справедливость. Чем замечателен вечный двигатель? Почему поколения маниаков не перестают биться над его изобретением? Тем, что неиссякающая даровая безотходная энергия – это хорошо, это сразу снимает все неприятные проблемы производства и потребления энергии. А раз хорошо и – тем более – сразу, то – нужно. А уж если нужно, то не может не быть возможным: всё то, что "правильно", – то и возможно. Справедливость (то, что правильно, хорошо) была, в нашем понимании, синонимична равенству. Плохо, когда одни продают дешевые распродажные продукты по бешеным ценам на рынке, а другие – голодают. Мы в своём дружеском кругу старались делить конфеты ли (до войны), карманные ли деньги, хлеб ли (в войну), книги ли – поровну. Но из-за неравенства наших семей так не получалось. И это нас мучило. Мы сердцем чувствовали, что равенство – это благо, а неравенство – зло. Я уверена, что и в масштабах Истории одним из истоков приверженности стольких высоких умов и таких масс людей к идее социализма являлось душевное ощущение, что неравенство – это несправедливость. Поэтому равенство должно было восторжествовать во всём. Мы не задумывались над возможными наполнениями понятия "равенство", над его толкованиями и аспектами, не оговаривали различий между равенством и одинаковостью. Равенство – это справедливо? Следовательно, иначе не может быть. "Не должно быть" и "не может быть" воспринимались как синонимы. Один из столпов утопического мышления – неразличение между достоинством произвольно избранной цели и её достижимостью, возможностью. Но перефразируем известный тезис: если человек в юности не утопист, – у него нет сердца и воображения. Если же он утопист и в зрелости, – горе ему и тем, кто в его власти. Некоторые детали моих собственных записей, давно и прочно забытые, меня огоршили. Так, в качестве дискретной изолированной единицы первобытнокоммунистического человечества упоминается "**община по месту очеловечивания**". Почти что очеловечивание обезьян по месту прописки...

Бедные дети!

И далее /выделено теперь – Д.Ш., 1993/:

«Мировое производство в настоящее время представляет собой принципиальное повторение частнокапиталистического производства одного государства: **то же отсутствие единого плана**, та же конфликтная связь, то же стремление к централизации – к объединению производственных единиц и к сужению круга капиталистов.

...Что же касается производственной техники капитализма, то, открыв вне себя источник энергии, человек избавил себя потенциально от роли источника физической силы. Капитализм – создатель источника энергии с **коэффициентом полезного действия ... процентов**».

Необходимость "единого плана", государственного и планетарного, у автора сомнений пока не вызывает. До таких сомнений – ещё двадцать лет. Отточие же вместо точного количественного определения "КПД капиталистического источника энергии" поставлено с трогательным доверием к возможностям человеческого разума, своего – в том числе. Автор собирался, по-видимому, в ближайшие дни этот КПД рассчитать или отыскать в библиотеке и вставить в текст. Мелочь, даже не оговорённая.

Мы не знали тогда, что повторяем Энгельса и Каутского, когда говорим, подчиняясь формальной логике Схемы (выделено теперь – Д.Ш., 1993):

«Если мы принимаем за аксиому доказанное Марксом положение, что капитализм от момента его оформления и до коммунизма развивается в возрастающей концентрации средств производства и капитала, в сужении круга собственников и в расширении производственных объединений, если мы примем за аксиому также доказанную Марксом мысль о том, что в капиталистическом обществе политическая власть становится производным от власти экономической и стремится с ней абсолютно слиться, то едва ли **империализм** окажется логическим завершением этих тенденций. Действительно, стремление к концентрации производства и капитала (как в феодализме – стремление к централизации политической власти) предполагает конечную концентрацию в точке и превращению производства в систему, охватывающую всё производство и потребление общества (аналогично – в феодализме централизация приводит к созданию национального государства с единственным центром политической власти – к абсолютизму).

Со своей стороны – сужение круга собственников предполагает в своём завершении собственника единственного, аналогично тому, как централизация политической власти в феодализме приводит к сосредоточению власти в руках государства (в лице монарха).

Так же – слияние власти экономической и политической предполагает соединение экономической и политической власти в одних руках, и если экономическая инициатива в процессе развития капитализма централизуется, то соответственно централизуется и политическая инициатива. Если при феодальном абсолютизме власть в государстве принадлежит монарху, то экономический абсолютизм как завершение централизации экономической ... предполагает также единую волю

... диктатора-организатора, лично – экономически и политически – растворённого в государственности или слитого с ней».

Этому отрывку с его неуклюжей стилистикой и прямолинейной экстраполяцией настоящего в будущее можно предъявить много претензий, лежащих на поверхности нашего рассуждения. К примеру: аксиомы не требуют доказательств, **ибо не могут быть доказаны**, во всяком случае – в данное время (математик Валька должен был ткнуть нас в это носами. Ведь моё "наши" – не стилистическая фигура: мы, действительно, либо всё постигали вместе, либо сообща обсуждали). Маркс **не доказал непротиворечиво** ни одного положения своей доктрины, принадлежавшего ему и Энгельсу, а не имевшегося и у других авторов (этого тогда мы просто не знали). "Имперализм как высшая стадия капитализма" (Ленин) – это вообще не определение. Феномен имперализма расположен в сфере не столько производственно-экономической, сколько политической. Он не привязан к тому, что марксисты называют социально-экономическими формациями. Мы в своих рассуждениях имели в виду монополистический капитализм, а не имперализм, который сосуществовал и с рабовладельческим строем, и с кастовой деспотией, и с феодализмом, и с капитализмом разных эпох, и с социализмом. С такими же основаниями можно утверждать, что в ряде случаев все эти "способы производства" и не сочетались с имперскими политическими тенденциями, традициями и устремлениями. Ленин отождествил имперализм с монополистическим капитализмом слишком жестко: это отнюдь не синонимы. Кстати, мысль о том, что предельная, абсолютная капиталистическая монополизация завершится растворением единственного собственника в государственном аппарате, встречается и у Энгельса, и у Каутского, и у Ленина. Нас, как и их, привела к этой мысли формальная логика Схемы.

Но, независимо от того, что сказано выше, эти наши рассуждения таили в себе опасные для режима зёрна. Прорастут ли в конце концов эти зёрна сквозь броню марксистских формально-логических спекуляций, чтобы стать полновесными колосьями, или нет, зависело лишь от одного **внутреннего** обстоятельства (внешних было великое множество, и достаточно грозных). Продолжим ли мы размышлять честно? – вот в чём состоял роковой вопрос.

Намного позднее, перечитав от корки до корки тех, в ком мы в юности, почти их не зная, безоговорочно видели своих учителей, я убедилась: они часто были недобросовестны. Они нередко сознательно уходили от честного спора. Их современники предлагали им не только критику, но и альтернативы – они отворачивались или бранились. Иногда – заведомо клеветали. Когда их наследники обрели власть, то стали отмахиваться уже не от доводов, а от голов, в которых эти доводы созревали. Они оказались потрясающе для своего уровня духовного развития пронизательными, когда инстинкт самосохранения подсказал им взять за горло все те области знания, в которых прорезывались действительные принципы функционирования самоорганизующихся систем (кибернетику, генетику, исследование физиологических и биоценотических закономерностей и т. д. и т. п.). Текст, который следует ниже, тоже содержал в зародыше взрывоопасные идеи. Но взорвут-

ся ли когда-нибудь эти идеи, зависело, опять же, от того, будем ли мы и впредь (если уцелеем физически) **честно мыслить**. Или, подобно большевикам, отдадим предпочтение успешной, как им представлялось, политике перед добросовестностью наблюдений и размышлений (выд. теперь - Д.Ш., 1993):

«Социализм, непосредственно следующий за империализмом (то есть монополистическим капитализмом - прим. Д.Ш., 1993), исключает понятие частнокапиталистической собственности и **внутри государства подавляет безоговорочно всякую личную экономическую и политическую инициативу**.

Власть политическая и экономическая отождествляется с государственной, а производственная система перерастает в систему, охватившую всё производство и потребление общества, внутри которого антагонизмов нет.

Общество превращается в массу трудящихся, заключённую в государственность, как в оболочку, и укреплённую на государстве, как на каркасе.

...Социалистический пролетариат и социалистическая производственная техника присущи капитализму в такой же степени, как и социализму, причём последняя (техника) социалистического производства в данном конкретном случае значительно ниже техники передовых империалистических стран».

Сами того ещё не понимая, мы уловили одно из главных противоречий большевистской политэкономии - противоречие именно с марксистских позиций. Для марксиста вера в преопределяющий характер средств производства так же фундаментальна, как для христианина - вера в воскресение Христа. Признав менее производственно развитый, чем капитализм, советский социализм первой стадией коммунизма, большевики через этот марксистский первоdogмат переступили. Мы - не смогли. Но продолжим цитирование:

«Не имея возможности отрицать это, политэкономы социализма строят своё доказательство социально-экономической "самостоятельности" социализма на утверждении качественного своеобразия его **производственных отношений**.

Однако - при неизменном техническом способе производства, при **неизменных производительных силах** никаких оснований для принципиального изменения производственных отношений возникнуть не может и не возникло.

Принимать производственные отношения и технику производства за две параллельные линии, - **не значит ли это объяснять специфику первых чисто идеалистически, или вовсе не объяснять её?**»

Объяснять что-либо "чисто идеалистически" - было в ту пору, в наших глазах, занятием постыдным. Ни малейшего представления о различных

философских наполнениях слова "идеализм" у нас не было. Отцы-основатели и наши лекторы употребляли это слово как ругательство, иногда – снисходительное (например, по отношению к Толстому). "Марксизм", "материализм", "научность", "истинность" были для нас ещё синонимами. Но мы учили нечестность официальной идеологии в её отношении к нашим, казалось бы, общим святыням и не закрыли на это глаз. Это было для оборотня небезопасно. Всё нижеследующее мы доказывали не ему, а себе: мы постигали, а не обличали. Это заставляло меня упорно пытаться растолковать наши соображения следователю: вдруг поймёт? Тогда – за что нас судить? Итак, бедный Василий Дмитриевич Михайлов должен был уразуметь, что при социализме (выд. теперь – Д.Ш., 1993):

«...пролетариатом физического и умственного труда становится общество в целом; капиталистом, присваивающим прибавочную стоимость, – одно государство. Право владения средствами производства централизуется в единственной точке...»

Отказавшись от предвзятого мнения, между социализмом и империализмом ... можно отметить, как и следовало ожидать, лишь некоторые количественные расхождения. Принципиальных различий нет, и общие качества капитализма присущи равно обоим этапам и наиболее чётки в последнем (тогда мы ещё не понимали, что переход от множества конкурирующих частных собственников к одному совокупному и безличному это есть различие принципиальное и качественное – прим. Д.Ш., 1993).

Если империализму свойственна тенденция монополизации средств производства и капитала, что даёт историкам основание называть его монополистическим капитализмом, то социализм завершает централизацию внутри одного государства, и потому более выразительным термином для обозначения его как высшего капиталистического уклада является термин **"монокapитализм"**.

"Социализм", восходящий к понятию "общество", не раскрывает сути уклада, и термин этот может быть принят лишь как неправильное название частного случая монокapитализма».

Термин "монокapитализм", который не мог не насторожить следствие, принадлежал моему ровеснику, другу, кузену и однодельцу Марку Черкасскому. В своём автобиографическом очерке "Тетрадь на столе" я рассказала о Марке и об открытии, воплощённом для нас в его термине. Марк пропал без вести в СССР в 1971 году. Жена его, Валя Анастасьева-Черкасская, умерла от рака в Киеве в 1977 году. Дочь Анна с мужем и сыном живёт в Израиле. Я и сегодня думаю, что термин Марка блестящ по своей точности и ёмкости и что в нём сконцентрировались основные возможности наших дальнейших обществоведческих поисков (точнее – моих).

Я ловлю себя и на том, что мне хочется похвалить шумную стайку самоуверенных девочек и мальчиков, брызжущих открывательским азартом, которым казалось, что до абсолютной истины – рукой подать, за их догадку. Всё-таки в те годы поместить объявленный построенным и, действитель-

но, построенный социализм не в начало коммунистической эры, а в финал эры капиталистической, – было уже **чем-то**. Отождествление – без под- сказки – "реального", как назовут его через много лет, социализма с аб-солютным государственным капитализмом обещало в будущем способность видеть и обобщать. Важно и то, что монокапитализм не представлялся нам построенным по ошибке или по чьей-то злой воле **вместо социализма**. Как уже было сказано, "идеальный совокупный капиталист" ("госу- дарство-капиталист") прозревался и Энгельсом. Но для него это была **высшая антигега социализма**. Для "рабочей оппозиции" начала 1920-х годов (и не для неё одной) строй, похожий на наш монокапитализм, был злокозненным порочным итогом аппаратных "бюрократических извраще- ний" (Ленин). Для нас этот явно несимпатичный строй **и являлся социа- лизмом, который иначе построить нельзя было**. Ну, а потом? Каким образом этот наш "капиталистический социализм" (монокапитализм) мог и должен был превратиться в начало "новокоммунистической стадии"? Очень просто ("просто, как всё великое")! Марксово: "Бьёт двенадцатый час. Экспроприаторов экспроприруют!" – относилось к частным ка- питалистам, к их банкам, трестам и монополиям. Мы тоже предполагали, что "экспроприатора экспроприруют". Но экспроприатор был у нас дру- гой: совокупный и притом единственный. Формальная логика рассуждения вела к тому, что экспроприировать надо будет "всеземное" монокапитали- стическое, оно же – социалистическое, государство. Когда? После вы- полнения им его задач. Как? Над этим ещё успеем подумать. Утописты – на то и утописты, чтобы не задумываться над тем – **как**.

Но вот что одиозно: весь наш "междукоммунистический период" имел своей целью "скачок из царства необходимости в царство свободы" (Маркс). Между тем, я отчётливо помню (и это подтверждают мои замет- ки), что частный капитализм не устраивал нас именно своей свободой. Впрочем, это было дико, но не оригинально. Кто из революционных бла- годетелей человечества не начинал с идеи лишения неразумных и малых сих свободы действий – во имя их же спасения, ради их же пользы? Очень немногие. И не только революционеры (и не только – с идеи).

Насилие нам, конечно, не нравилось. Особенно – по отношению к нам. Это тоже не ново: деспоты и насильники **свою** свободу ревниво и грозно оберегают от любых на неё посягательств. Помните у Пастернака, в "Спек- торском", о двух братьях:

"Я наблюдал их, трогаясь игрой
Двух крайностей, но из того же теста:
Во младшем крылся будущий герой,
А старший был мятежник, то есть деспот".

Наша одержимость Схемой не могла смириться с нецелестремленно- стью свободного мира **к нашей цели**. Нас отталкивало от демократии противоборство в её границах противоречивых тенденций, воззрений, сил, о котором мы уже догадывались. Неразбериха свободы досадно замедляла "переворот от единства к единству через многоплановую дифференциацию" (одна из наших формул той поры). А его нельзя было замедлять! Мы ру-

ководствовались насущной необходимостью как можно скорее завершить ужасную "междукоммунистическую стадию".

Тогда думалось так /выд. тогда - Д.Ш./:

«Капитализмом в начале формации будто бы утверждалась свобода личности, политически подавленная феодализмом. В сущности, капитализм, снимая политико-правовую деспотию - деспотию силы и неравенства происхождения, заменил её связью, значительно более свойственной социальной природе, чем феодальная полуфизическая зависимость, - производственным подчинением и неравенством производственных функций.

Значительность личности при капитализме измеряется соответственно производственной функцией. Неравноправие классов при капитализме есть выражение неравнозначительности производственных функций различных общественных групп.

Задача монокапитализма - уравнение всех производственных деятелей **внутри государства** в производственных функциях, следовательно - в правах».

Иными словами, "равное право есть неравное право для неравного труда" (Маркс) и "право производителя пропорционально его труду" (он же). Маркс именует эти положения "идеальным буржуазным правом". Итак - банальный марксизм. Однако нижеследующий пассаж несколько озадачивает. И обнадёживает (он тоже способен прорасти отрицанием). Он говорит и о том, что у детей нет иллюзий относительно страны, "где так вольно дышит человек" /выд. теперь - Д.Ш., 1993/:

«Но, беря на себя руководство процессом и не допуская никаких отклонений, централизуя всю инициативу, государственность монокапитализма объединяет тем самым производственных деятелей **не равносвободных, а равнобесправных**».

Но я боюсь, что лейтмотив следующих отрывков поставит меня как адвоката "раскрытой и оперативно уничтоженной антисоветской группировки" (обвинительное заключение 1944 года) в нелёгкое положение. Замечу, отклонившись от мировоззренческой линии своего повествования: угрожающе злобные формулировки вручённого каждому из нас обвинительного заключения так меня испугали и ошеломили, что я, принеся его после подписания "206-й" в свою камеру-одиночку, разорвала брызжущий ядом документ в клочья и бросила их в "парашу". Не от ярости, а от страха. Мне жутко было оставаться в камере с ним наедине. Его фразеология, дышавшая смертельной угрозой, оказалась для меня полной неожиданностью, хотя её очертания сквозили уже порой в протоколах, которые я подписывала. Говорила - я, но протоколы писал, а значит и формулировал Михайлов. В них было вроде бы то, что я говорила, но одновременно и не то. Большинство подследственных "доперестроечной" эры знаком этот злощастный фокус. Со мной на следствии тоже говорили как будто бы почти человеческим язы-

ком. Ничего похожего на вручённую мне "обвинилку" я от Михайлова не слышала. Правда, когда я сказала искренне мне сострадавшему тюремному надзирателю Васильеву-младшему, что нам обещают условное осуждение, он прошептал: "Верь им больше!.." Васильев, мой одноклассник, был переведен в тюрьму после госпиталя, по инвалидности.

Итак, далее следовал в моей рукописи железно логический, как нам тогда представлялось, набор фикций. Частично они были нам внушены, частично – выработаны самостоятельно, для временного, как потом оказалось, пользования. Думаю, что подспудно нами владела потребность обелить, оправдать нечто не подлежащее, как мы начинали подозревать, никаким оправданиям. Иначе (если не суметь найти оправдания) надо было бы, действительно, становиться антисоветской группировкой со всеми вытекающими отсюда ужасами одиночества, беззащитности и осуждённости всей советской машиной. И мы старались до последней возможности оставаться группировкой **коммунистической**. Это нас психологически защищало и укрепляло. Уж слишком неравным было бы противостояние и слишком горестным – разочарование, окажись мы способными дойти до конца сразу. Но многого мы и просто не понимали. Тогда виделось так:

«...ни одна диктатура в истории не была так заинтересована в усилении мощи своего государства, как эта. ... Когда диктатура есть диктатура класса, – то, во-первых, каждый её носитель скорее преследует интересы и выгоду своего класса, чем интересы всего производства в целом. Во-вторых, обладая в какой-то степени личной производственной инициативой и, следовательно, заинтересованностью, он скорее преследует личные цели, чем подчиняет себя достижению целей Системы.

Когда государственность не связана с классом, идеология класса не закрывает общесистемных производственных целей. Но государственность монокапитализма интересами производства с обществом в целом тоже не связана. Если при частном капитализме производственные интересы одного капиталиста дисгармонируют с производственными интересами всего государства, то в монокапиталистическом государстве интересы любого представителя его просто не есть производственные интересы и к результату труда никак не относятся. Диктатура объемлет производителей и самодовлеет..

...Здесь государственность приняла на себя функции организующих классов всех формаций: защитные функции феодалов, организаторские – капиталистов, и всю производственную инициативу общества, класса и человека. Теперь производство есть государство, а интересы массы трудящихся просто не связаны с производством, с продуктом труда: её занимает не труд, не продукт, а зарплата. Причина этому – не столько в том, что личная производственная инициатива подавляется сверху, сколько в том, что, лишённые прав на владение средствами производства, массы утратили **заинтересованность** в действии, **потребность** в инициативе (оба слова выделены тогда – прим. Д. Ш.), которые в частнокапиталистическом обществе были свойственны также

не массам, а узкому кругу капиталистов. Теперь же не только трудящиеся, а весь исполнительный аппарат монокапиталистической диктатуры (очень многочисленный, так как на нём лежит исполнение мнимым в четырёх направлениях: план, контроль, руководство, оборона) так же лишен производственной инициативы, как контролируемые им трудящиеся, и так же... мало склонен поэтому работать честно и добросовестно».

Всё-таки в этой несусветной путанице догадок, нелепостей и непонимания фундаментальных проблем сквозит кое-где живая и опасная для режима мысль. Здесь подчеркнуто, что государственность монокапитализма не выражает интересов общества. Государство-монокапиталист довлеет себе. Оно живёт и действует во имя своего выживания. Оно – самоцель, но при этом составляющие его люди не склонны работать честно и добросовестно. Почему это так и, главное, иначе быть не может, мы ещё не знали.

Но продолжим наше путешествие в прошлое:

«И только носитель государственной власти – диктатор – в силу условий подчинён в своих действиях усилению мощи всего государства. Он не связан ни с классом, ни с обществом, он соблюдает свои интересы и больше ничьи. Но суть его в том-то и заключается, что он есть диктатор, и если суть его именно в этом и заключается, то государство, где правит такой диктатор, будет им спасено. Вся сложная принудительно-поощрительная система монокапитализма, необходимая для того, чтобы людей, заинтересованных не в продукте труда, а в оплате его, заставить работать, им будет направлена на повышение производительности труда. Он не допустит никаких отклонений в сторону чьей бы то ни было эгоистической выгоды в ущерб производственным интересам. Эта задача решается просто: должен оплачиваться продукт, а не должность».

"Просто" – это у нас не только от "основоположников", но и от наших современников, вплоть до нынешних. Владимиру Ильичу для осуществления этого "просто" достаточно было "четырёх действий арифметики и фабричного опыта заводских рабочих" ("Государство и революция"), а также правильно реорганизованного Рабкрин (Рабоче-крестьянской инспекции). Центральному экономико-математическому институту АН СССР (ЦЭМИ) в 1967–85 годах требовались для этого система компьютеров и воз диссертаций. Генерал Руцкой и вожди реанимированной КПСС объясняют народу, как это просто, на языке жестов. Мудрено ли, что мы в 1943–44 годах проявляли столь же дремучую экономическую малограмотность? Однако продолжим наши откровения:

«Но, т.к. диктатор есть человек, а человек в разной степени может быть объективным и зорким, то постоянно существует опасность перерождения государственного эгоизма диктатора в животную трусость человека у власти. Тогда начинает оплачиваться не труд, не

продукт, а отсутствие качеств, опасных диктатору: ума, честолюбия, самостоятельности. Задача диктатора – использовать эти качества. Он, вместо этого, их в лучшем случае нейтрализует и игнорирует».

В нижеследующем отрывке не меньше тоталитарных подмен, чем в лозунгах орвелловского "ангсоца", в материалах его Министерства любви и Министерства правды. Но вот в чём, снова замечу, разница: здесь эти одиозные парадоксы произносит не циничный диктатор, не inferнальный Великий Инквизитор, не палачествующий функционер диктатуры, не лицедействующий идеолог. Их свободно и независимо постулируют самоуверенные ерши, которые вот-вот будут выловлены и брошены в уху.

Вот она, мазохистская наша логика /выд. тогда – Д. Ш. /:

«Понятие "идеальный диктатор" мы отождествляем с понятием "совершенная личность" и забываем при этом, что **лучший** диктатор есть лучший **диктатор**, а не человек с высочайшими личными качествами.

Точно так же представление о монокапитализме подсознательно связывается нами с единственно известным нам частным случаем этого строя – с социализмом. Мы помним, что социализм "задуман" как коммунистическая система, и идеальный монокапитализм представляем себе как **хотя бы** идеальную демократическую республику, в которой отсутствует частная собственность на средства производства. На самом же деле историческая сущность монокапитализма заключается именно в том уравнении производственных функций, в том подавлении инициативы, которые нас лишают свободы и творческой самостоятельности, а идеальный монокапитализм является самой жестокой деспотией. На практике идеальный монокапитализм есть идеальный диктатор, и характер организации зависит в огромной мере от качеств носителя государственной власти – от качеств диктатора.

Предполагать диктатуру альтруистическую и бескорыстную – трудно. Значительно более вероятно перерождение любого диктатора для народа в диктатора для себя, так как, став у кормила государственной власти, диктатор естественно отождествляет себя с государством, а не с народом. Чем глубже диктатор чувствует это тождество, – тем прогрессивнее его диктатура. Здесь, в сущности, совершенно теряет значение тот факт, движет ли диктатором честолюбие, заставляющее его быть нетерпимым к любым притязаниям на разделение власти, или он коммунист и подавление чьей-то свободной воли – для него это жертва. Имеет значение только то, насколько диктатор чувствует своё тождество с государством, насколько ясно диктатору, что мощь диктатуры – это мощь государства, а мощь государства – это мощь производства».

Итак, мы советовали товарищу Сталину быть ещё грознее, чем он был. Ещё всевидящее и всеслышащее. Мы призывали его решительней жертвовать при подавлении "чьей-то свободной воли" своим коммунистическим

альтруизмом (**его** альтруизмом). Да здравствуют Министерство любви и Министерство правды! Замечу, что Макиавелли мы тогда ещё не читали. Все схождения с классикой возникли из нашей преданности идее.

Вместе с тем, полной слепотой мы всё-таки не страдали и вне своих идеологических вывертов видели происходящее весьма отчётливо:

«Сущность советского монокапитализма определилась довольно быстро. Фиктивность демократизма стала бесспорной. Государством обеспечивается, в основном, тот круг, который служит ему защитой: высшее офицерство, высшая бюрократия, командиры промышленности и хозяйства, – причём обеспечивается не по труду, а по занимаемой должности».

Заметим, что сама должность зависит прежде всего от лояльности к политике диктатуры – ранее мы об этом упоминали.

«Независимость благосостояния руководителей от объективных результатов труда создаёт "боковую" инициативу в приобретении жизненных благ: жажда обогащения и привилегий превращает "аристократию приказчиков" в касту, девизом которой становится правило "услуга за услугу" – неписанный и непреложный закон советского производства и потребления».

Напомним, что "производство" – это для нас, в данном контексте, **всё**: и производство **любых** продуктов труда, и услуги, и то, что спустя двадцать лет мы бы назвали производством информации. Конечно же, о способах и возможностях оплаты "по труду" всех этих не поддающихся и поддающихся прямому учёту видов деятельности мы не имели ни малейшего представления. О процессах демократической саморегуляции такой оплаты – тем более. В критической части своих построений мы, как, впрочем, и все утописты, могли попасть в яблочко. В сфере же альтернатив, рецептов, конструкций и т.п. довлело всему ленинское "просто, как всё великое".

Итак:

«Внепроизводственные экономические зависимости и связи и равнодушные к результатам работы там, где приходится выбирать между собственной выгодой и интересами дела, превращают зависимость от командира, от производства в зависимость от человека, от произвола. ...Спасение тысяч и тысяч в том, что государственная собственность совершенно естественно не отождествляется ими с общественной, то есть с личной, объединённой с другими личными».

Определение "личная" в приложении к понятию "собственность" **объективно** было, конечно же, эвфемизмом, подсознательно призванным замечать абсолютно неприемлемое для нас тогда понятие "частная" (собственность). Мы не задумывались ещё над тем, как понимать это наше **"обще-**

ственной, т.е. личной, объединённой с другими личными"? Как технологически осуществить это объединение при отсутствии конкурентного рынка? Этот роковой для всех социалистов, включая марксистов, камень преткновения на пути нашей мысли ещё не возник. Продолжим, однако, самоцитирование:

«Государственная собственность – это или ничья, или чья-то, украденная у общества, и она поэтому расхищается сверху донизу при малейшей возможности. Человек, ворующий у государства, чувствует себя так же, как рабочий, ворующий у капиталиста. ... И даже свободней, так как капиталист – это человек и владелец, а государство безлично. ...в огромную безынициативную массу включились и непосредственные руководители производства, ценность руководителя перестала быть ценностью руководителя и превратилась в ценность приказчика. Неравноправие между рабочим и предпринимателем было оправдано в производстве инициативностью предпринимателя. Неравноправие между рабочими и приказчиками ничем в производстве не будет оправдано, кроме большей заинтересованности приказчика в результате труда. Но для этой заинтересованности нет никаких производственных оснований, и она может быть создана только законодательно, т.е. диктатором».

Итак, живые догадки причудливо сосуществовали с мёртвыми, но агрессивными штампами идеологической казёнки. И эту впившуюся в плоть нашей мысли колючую проволоку мы упорнейше, искренне, неподдельно силлись ("исторически", "диалектически", "объективно" и т.д.) оправдать. Вчитайтесь, преодолев путаность рассуждений, в непосредственное продолжение предыдущей цитаты:

«Может быть создана, но в советском социалистическом производстве просто исключена – оплатой труда по должности, вместо оплаты по результату труда. Государство–капиталист заинтересовано в том, чтобы быть сильным государством, и лишь постольку, поскольку мощь его слита с экономической мощью страны, оно подчиняет всю свою деятельность усилению именно производственной мощи. Но когда в нём животным (а не социальным) инстинктом самозащиты заслоняется эта простейшая социально–экономическая аксиома – единство мощи экономической и политической, – тогда возникают внепроизводственные зависимости, и тогда государству грозит катастрофа. Государство–капиталист (а в феодализме абсолютный монарх) обрекает себя на гибель, если истощает систему, так что как бы ни выглядела эта зависимость, – но государственность и абсолютизм существуют постольку и столько, поскольку и сколько в них будет нуждаться производитель».

Снова – те же прозрения и та же стена: "...капиталист – человек и владелец, а государство безлично". Поэтому воровать у государства – не

предосудительно, морально проще, чем у человека; социалистический "приказчик" тоже подчинён абстракции (государству), а не хозяину-собственнику. К тому же он так же бесправен, как рабочий. Поэтому и он не имеет никакой заинтересованности в результате труда. Для него имеет значение лишь одобрение его усилий вышестоящим "приказчиком".

А вот понять, что, в конечном счёте, и диктатор есть не более, чем верховный "приказчик" той же абстракции (диктатуры), что отсутствие чувства собственника и безынициативность, хотя и наличествуют, но не исчерпывают всех причин тупиковости монокапитализма, – мы ещё не можем.

В нашем сознании отсутствовало огромное информационное поле – картина прямых и обратных связей всех конкурентных рынков демократии. Мы не подозревали, что: человек, создающий вещь не для собственного потребления, а для продажи, как правило заведомо заинтересован только в том, чтобы вещь продать, и подороже, а не в её высоких потребительских качествах и дешевизне.

Если поставщиков всякого рода вещей и услуг **много**, то каждый из них не имеет иного выхода, кроме как понравиться потребителю больше, чем другие поставщики. Чем? Сравнительной дешевизной вещи, её лучшими качествами, ибо рекламой потребителя дважды не обманешь, доставкой в районы повышенного спроса и т. д. и т. п. Иначе поставщик разорится.

Если поставщик **один**, он будет держать свой товар в дефиците, производить его на нижнем пределе качества и продавать на высшем пределе платежеспособности покупателя.

Если он к тому же и единственный работодатель, то он и зарплату будет платить на выживательном для массы работников уровне. Поскольку государство – **монокапиталист** к тому же ещё и **монофеодал**, то принудить его ни к чему для него нежелательному безоружное общество не может.

Так как мы к этим элементарным вещам только начали приближаться, то говорить здесь о более сложных и фундаментальных причинах неизбежности развала социалистического производства нет смысла.

В нашем сознании **начисто** отсутствовала ещё мысль, что всю многосоставную и сложно взаимосвязанную систему конкурентных рынков частного капитализма приводит в движение именно тот, кто казался нам жертвой этого строя. Казался с тяжкой руки не только Маркса, но и всей бесконечно мною (нами) любимой гуманистической литературы. Америка с детства ассоциировалась в нашем сознании с дядей Томом и Джимми Хиггинсом, Англия – с "Принцем и нищим", с работными домами и долговыми тюрьмами, Франция – с "Маленьким оборвышем", с "Жерминалем" и т. д. и т. п. Я назвала лишь первое, что пришло на ум. О старой России – от Башмачкина до "Детей подземелья" – нечего и говорить ("кровавое воскресенье", "Ленский расстрел" были эталонами тирании, не говоря уже о декабристах и "Семи повешенных", – и это после всех гекатомб 1918 – 1940-х годов). Мы ведь уже читали очень разные книги. Но владело умом то, что вызвало жалость в детстве и отрочестве. И, кроме того, очень умело всё это селекционировалось: школой, семьёй, Госиздатом – и классика, и переводы, и современная литература. Западный труженик искони был для нас жертвой, вызывающей к нашей помощи. Между тем, посылки

старший брат моей мамы, эмигрировавший в 1902 году, посылал - из Америки - нам, а не мы - из СССР - ему. И мама дрожала от ужаса перед "органами", получая эти посылки, а в 1938 году от них отказалась. Но всё-таки "Блэк энд уайт" и "Стихи о советском паспорте" декламировались без иронии... Мы твёрдо ощущали своё преимущество: к "новокоммунистической стадии" ближе-то мы! Так важно ли, кто чуть лучше живёт сегодня? Разве жалкие преимущества, воплощённые в дядиных посылках, сравнимы с великолепием "царства свободы"? А оно почти наше.

Вышеприведенный монолог венчался главным гвоздём заблуждения:

«И самое главное, самое трудное в **очень тоскливой системе монокапитализма** заключается в том, что эта система необходима и исторически целесообразна не с точки зрения государственных деятелей, а с точки зрения поработённых ею трудящихся».

Я бы поставила детям пять баллов за выделенное мною **"в очень тоскливой системе монокапитализма"**. В этом эпитете заключался намёк на будущее спасение.

Ещё один небольшой отрывок:

«На читателя, никогда не думавшего о монокапитализме, эта статья, если он поверит тому, что в ней сказано, должна произвести тягелое впечатление. Самый естественный вопрос для человека, воспитанного в близкие к революции годы: "Что же делать для того, чтобы получился действительно коммунизм, а не монокапитализм, или социализм, который, вообще, ни то, ни другое?" **Несколько более вдумчивый (менее деятельный) марксист** должен задать вопрос: "Если это капитализм, если мы с вами это видим, то почему никто ничего не делает? Режим? Цензура? Никогда никого нигде не лишала слова цензура. Когда приходит потребность писать, появляется литература нецензурируемая (о не прерывавшемся ни на миг наличии таковой в стране и вне страны мы тогда ничего не знали и своих тетрадей к ней не относили. А ведь уже писали Шаламов и Солженицын, севший в тюрьму в том же 1944 году, что и мы. И пылали невидимые большинству соотечественников бессмертные строки, книги и жизни - Д.Ш., 1993). Когда приходит потребность действовать, появляется революционное действие. Существуют законы, значительно более строгие, чем законы, придуманные людьми, - объективные социально-экономические законы, закон производства. Если законы, придуманные людьми, перестают соответствовать объективным законам, - они (законы людей - Д.Ш., 1993) взрываются и перестают быть законами. Остаётся предположить, что в настоящее время они (друг другу - Д.Ш., 1993) соответствуют"».

Стилистически чужеродный своему контексту, своей эпохе **"более вдумчивый (менее деятельный) марксист"** (выд. Д.Ш., 1993) вплотную по-

дошел к самой сути проблемы. Фактически он спрашивает, в каком соотношении находится монокапитализм не с идеологией, не с "законами, придуманными людьми", а с объективными законами природы, в том числе и общества. И если он, этот "менее деятельный" (читатель, вы чувствуете иронию в определении полувековой давности?), чем большевики, марксист, не согласится в дальнейшем пренебречь ни одним изъяном своих успокоительных ответов на свои же каверзные вопросы, – он крепкий орешек этой проблемы раскусит. Лишь бы не слишком поздно: этот коварный строй так же опасно начать понимать слишком поздно, как бесполезно с решающим опозданием диагностировать рак.

В чём целевое различие между этим студенческим сочинением и антиутопиями XIX–XX веков? Достоевский, Замятин, Булгаков, Орвелл, Хаксли и др. в ужасе пророчат, будят, зовут опомниться. А здесь убежденно говорят их герои. Причём не отталкивающие, жестокие или тупые герои, нет: милые, чистые, не замаравшие ещё своих рук делом, инстинктивно "более вдумчивые, чем деятельные". Но всё же – ткачёвы, всё же нечаевы, всё же раскольниковы – список велик. **Из, действительно, наилучших побуждений** – я-то помню! И всё-таки "бесы", ибо, по убеждению этих страстно желавших добра юных людей, **уже прозревавших кошмар действительности**, всему человечеству следовало сквозь него быть проташенным! Раскольников, их ровесник, остановился, потрясённый жутью содеянного, на двух убийствах. Я уверена и уже писала о том, что главная мысль Достоевского и главный стержень бессмертия его книги – снятие гиперрационалистического расстояния между кабинетным разрешателем убийства и физическим убийцей. Достоевский заставил чернильного убийцу переступить через бездну и убить своими руками. Он лишил его как того оправдания, которое есть у солдата и палача ("я убивал не по своей воле"), так и того самоизвинения, на которое психологически опирается теоретик убийства ("я не убивал своими руками"). Великий художник продемонстрировал, что убивать – нестерпимо тяжело, что вменяемый человек, не садист, не дегенерат, не жертва аффекта, безнаказанно для себя убивать не может. Убийство повреждает убийцу: либо он останавливается, либо переходит в разряд нелюдей. Достоевский показал благонамеренным разрешателям убийства, **что это такое технологически, что им придётся сделать, выполняя свой замысел, как это происходит**. Разумеется, речь шла не о единственно возможной в данном конкретном случае самозащите и не о защите других людей, которых иначе защитить от смерти нельзя. Я знаю наверняка, что ни один из нас подобного испытания наших умствований не выдержал бы. Может быть, мы смогли бы убивать в бою, или убить убийцу, убить, защищаясь или защищая, не знаю. Но не "уничтожая классы".

Ещё один бродячий сюжет социализма. Бессчётные советские вербовки были совершенно правы, когда бесчисленным своим собеседникам, в ответ на отказ стать осведомителем, говорили: "Как же так? Ведь вы же советский человек?" Многие мемуаристы пишут о таких диалогах (см. выше, часть V). Прикажете ответить, что не советский? Мы были ещё советские. Но я просидела в мучительной для меня одиночке лишних два месяца (уже после суда), потому что дать подписку о "сотрудничестве" не согласилась.

Меня удержал опыт отца, ушедшего из жизни, чтобы не стать осведомителем. Я никак не могла назвать себя несуетским человеком: не без оснований я считала себя более коммунисткой, чем мой следователь. Но я честно сказала, что к этому виду деятельности не приспособлена. Узнаю о чём-то опасном для Родины (обязательно с большой буквы), – сама проявлю инициативу. Почему-то отстали. А ведь теоретически мы соглашались, что без "разведчиков" защитники правого дела ("наши") обойтись не могут. И пацифизм клеймили, и над ненасилием издевались вместе с Лениным ("Толстой как зеркало русской революции"). Но... вот это маленькое словечко иногда и спасает. Если пускает корни в глубине души.

Валька, самый, казалось бы, мужественный и волевой из нас, на пересылке первого лаготделения КазУИТЛК, на двадцатой колонии, уступил моральному (без физического насилия) давлению знаменитого опера Баканова, упомянутого Солженицыным в "Архипелаге", и подписку дал. Но тут же, в ужасе, рассказал об этом нам с Мариком. Мы тогда были некоторое время на одном участке. Очень сложные взаимодействия, вовлекшие в себя множество лиц, привели к тому, что начальник первого лаготделения, майор Факторович, ненавидевший Баканова, отобрал у него Валькину подписку и разорвал её на глазах у Вальки, наедине с ним, хорошо его при этом отmaterив. Больше опер нашего друга не вызывал. Валька и на следствии однажды сбился, едва не погубив своего лучшего друга, Ваню Воронина, вернувшегося с фронта без руки. Мы, в общем-то, говорили на следствии почти всё, полагая, что у нас нет тайн от советской власти. Но о сказанном **не нами**, да ещё один на один, мы старались не упоминать. Валька же процитировал опаснейшую реплику Воронина, произнесенную тем наедине с ним. Не знаю почему, но Воронина не посадили. Чего ему это стоило (и стоило ли) в смысле карьеры, тоже не знаю. Но он об этом эпизоде знал и рассказал о нём общему с Валькой их школьному другу. Значит, его вызывали. О Вальке, которого очень любил, Воронин говорил потом жестко. Кажется, они после нашего освобождения не встречались. Мы с Мариком этой Ивановой реплики (ночью, у обкомовских окон: "Эх, полоснуть бы по стёклам из автомата!") не слышали и подтвердить её не согласились. Думаю, что Вальку, математика, подвела не только нервность, не только испытанный в детстве ужас от ареста (потом – расстрела) отца и долгого пребывания матери в сумасшедшем доме, но и чрезмерная последовательность мышления. Если мы советские люди и по убеждениям – коммунисты, если мы признаём историческую целесообразность монокапиталистической диктатуры и полезность сверхдеспотизма "идеального диктатора", то наша воля и этика должны быть подчинены воле Системы и воле диктатора. Но и Валька сразу же опоминался и отступал перед нравственными мучениями, перед тем же "но"... Под грузом своего сообщения о Воронине и уступки Баканову он оказался на грани самоубийства. Эти две сдачи угнетали его всю жизнь и, думаю, укоротили её. Он с болью говорил о них со мной в Харькове, во время нашей единственной послелагерной встречи в 1965 году. Мир его душе (его уже нет).

Бог ли, случай ли уберегли нас от испытаний более жестоких, чем пятилетний срок. А может быть, нам удалось сравнительно быстро очнуться, потому что мы были участливы и сострадательны?

Троцкий писал в своей автобиографии: "Люди скользили по моему сознанию, как тени." Ленин цитировал – как прототип своего политического поведения – заливчатую фразу Наполеона: "Сначала ввязаться в серьёзную драку, а там посмотрим". Пушкин вычислил психологию мировоззренческих, нравственных и политических эгоцентриков раз навсегда: "Мы все глядим в Наполеоны: двуногих тварей миллионы для нас орудие одно". У нас не было в душах холодно-смертоносного безразличия к людям. По нашему сознанию люди, как тени, не скользили. Мы были жалостливы, хотя и пытались, насилуя себя, принимать "кровь на руках палача" за "кровь на руках врача". Помните? Столыпин тщетно призывал Думу не путать одно с другим. В отличие от радикалов, противостоявших Столыпину, – мы в душах своих не путали пыточных дел мастеров с лекарскими помощниками. Истины ради должна заметить, что наши идеологические извращения этому упорно противостояли.

Вернёмся, однако, к умствованиям тех лет. Почему мы решили, что монокапитализм освобождает общество от классовости и от деления на нации?

От классовости, по-видимому, потому, что, будучи выучениками марксистов, мы связывали классовость, в основном, с отношениями собственности на средства производства. Нет частной собственности – значит нет классов.

Уничтожение наций мы, очевидно, экстраполировали от своего абсолютного безразличия к национальному происхождению друг друга и окружающих. Национальная и расовая ксенофобия была, в наших глазах, одиозна в такой же мере, как людоедство. Не помню, чтобы кем-то из нас поднялся вопрос о национальной самоидентификации. А круг был смешанный, и многие семьи – тоже. О том, что все трое обвиняемых по нашему делу – евреи, заговорила на следствии при нас только одна из помощниц Михайлова, еврейка. Она укорила нас тем, что мы, евреи, выступаем против советской власти, давшей нам свободу и равноправие и спасающей нас от нацизма. Мы пытались объяснить ей, что против советской власти не выступаем. Да ещё жена Маленкова сказала матери Марика, когда та в Москве добивалась приёма у её супруга: "Если они – евреи, к Георгию Максимилиановичу не обращайтесь: он им ещё добавит." Ева Львовна Черкасская встретилась с госпожой Маленковой (впрочем, кажется, она носила другую фамилию) у знакомой дамы.

Нацизм воспринимался нами как массовое безумие, как воскресший "средневековый" (тоже – один из штампов советской начитанности) абсурд. До войны я с проявлениями антисемитизма лицом к лицу не встречалась. Вероятно, мы не знали истинного положения дел вне своего круга. В январе 1940 года, в десятом классе, получив на зимние каникулы двухнедельную путёвку в дом отдыха для старшеклассников, я услышала там от

своего нового приятеля, начитанного юноши из окраинного района Харькова, первое в моей жизни открытое теоретическое обоснование нелюбви окружающих народов к евреям. Это было страшно, но не убедительно. Я пыталась, вернувшись в город, втянуть этого юношу в нашу компанию. После нескольких встреч он перестал приходить. Интересно, как сложилась его судьба? Осенью 1940 года он, как и мои одноклассники (русские, евреи, украинцы, белоруссы, "половинки"), должен был уйти в армию. К чему берегу его прибило?

Раз уж пришлось к слову, замечу: чёткое ощущение своего еврейства никогда не доставляло мне душевного дискомфорта. Комплексов – ни превосходства, ни ущемлённости – у меня не было и нет. В моей семье – тоже. Антисемитизм изначально вызывал и вызывает у меня презрение к антисемитам, а не к себе и своим соплеменникам. Я как бы предчувствовала, ничего о том не зная, отношение к этой проблеме коренного израильтянина (сабры): "Вы меня не любите? На здоровье: я вас тоже не обожаю. Но своё право на достойную жизнь буду защищать. Для меня это проблема не дискуссионная." Сабра – вид кактуса со сладкими, но колючими плодами. Их надо очень осторожно очистить, прежде, чем съесть. Сабры считают повышенную заботу евреев о любви окружающих "галутным синдромом" (психологической печатью рассеяния). На том с этой темой и покончим.

"Уничтожение" (и классов, и наций) мы, конечно же, упаси Бог, не понимали и не ощущали как истребление. Слияние, правовое уравнивание, снятие различий, объединение, тождество – только не физическое уничтожение. "Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать", – вот оно, наше "уничтожение наций". И ещё: "Откуда знать ему, что с таким вопросом надо обращаться в Коминтерн, в Москву?"

Видели ли мы, что послереволюционный мир – плох? Ещё как видели! Но не могло же такое происходить без цели, без смысла! В конце концов, единственное, что от нас в ту пору в "этом безумном, безумном, безумном мире" (ведь жестокость – безумие) зависело, – это найти происходящему достойное объяснение и конечное оправдание. Посюстороннее, ибо потустороннее не имело места в наших умах. И мы на какое-то время его нашли:

«Монокапитализм снимает внутри государства неравенство производственных функций, и общество в целом, кроме диктатора, оказывается равносвободным или равнопорабощённым. Равноправие и равно-бесправие в человеческом обществе имеют один социальный смысл: они создают сознание равного с каждым другим значения, не подавляемого ничем, кроме чисто внешнего (неорганического) воздействия.

Монокапитализм оправдан ролью экспроприатора частной собственности, ролью организатора производства и **объединителя** наций.

Предел его исторической целесообразности – объединение наций в масштабах земли и доведение производственной техники до уровня, делающего возможным совмещение производительного труда с организационным и распределительным.

Остаётся последний переворот – переход организаторских функций всеземной государственности к свободному обществу производителей – и Земля возвратится к единству.

Совершенно естественная депрессия, наступившая после того, как ожидавшее освобождения общество, очнувшись от революционного экстаза, увидело себя потерявшим последние допустимые частным капитализмом намёки на производственную и личную инициативу, заставила думать, что сознательное разумное действие исторически снято; порабощённость извне заслонила единственную действительную освобождённость – освобождённость от класса, освобождённость от нации, принципиальную освобождённость от междукommунистической дифференциации.

Заставить людей, осознавших эту освобождённость, действительно чувствовать себя подчинёнными, уже не в силах никакая диктатура.

Если общество есть совокупность не классов, несущих различные производственные функции, а личностей, равных в своём значении, – освобождённому внутренне обществу как понятие чуждо неравноправие личностей.

Государственность выросла из нужд производства, и этими нуждами определится её продолжительность. И этими нуждами, то есть своей эгоистической выгодой, целесообразностью её для себя, человек оправдывает свою подчинённость. И перестанет её оправдывать, когда перестанет лично (общественно) в ней нуждаться».

Ну-ну...

* * *

Поскольку, повторяю, нам представлялось совершенно необходимым поставить творчество любимых писателей на твёрдую почву правильной идеологии, мне придётся вернуться к ещё одной рукописи.

Поразительно, с какой бесцеремонностью это маленькое идеологизированное чудовище (я), при более, чем слабом, знании истории, оперировало грандиозными историческими эпохами. Но готовые возникнуть **вопросы** иногда проглядывали и угрожающе посверкивали сквозь эту первозданную самонадеянность.

В разделе I будущей (так и не состоявшейся) книги о любимых писателях, называвшемся "Официальная идеология", писалось (выд. теперь – Д.Ш., 1993):

«Конечной целью борьбы этой партии (большевистской – Д.Ш., 1993) являлось создание бесклассового и безгосударственного коммунистического общества, **в котором все известные социальной науке движущие противоречия должны исчезнуть.**

Для достижения этой цели недостаточно было захватить политическую власть **и передать её пролетариату.** Ни отменить сверху классы, ни заменить государство всенародным контролем над производ-

ством и распределением (то есть уничтожить профессиональную бюрократию и заставить трудящихся совмещать труд бюрократический с трудом производительным) – при существовавшем тогда уровне развития средств производства и в окружении частнокапиталистических стран – нельзя было.

Нельзя было также практически взять курс на мировую революцию, так как советское государство не было в силах выполнить миссию завоевателя и объединителя. Кроме этой причины, известной партии, существовала вторая, не менее важная: **несвоевременность объединения, так как даже всемирное государство, руководимое коммунистами, на существующем уровне развития средств производства, предполагающем обязательное разделение умственного и физического труда, не могло бы избавиться от государственности».**

Маркс, Энгельс, Ленин и др. многократно утверждали, что техника и технология 1840-х – 1910-х годов **уже позволяют** обойтись без государственности. От всех возражений они только отмахивались. Мы их оппонентов не читали. И тем не менее в моих заметках не раз констатируется, что избавиться от государства ни в национальных, **ни в мировых масштабах еще невозможно. Технологически невозможно**, что для последовательного марксиста сакраментально: с базисом не поспоришь, ежели техника не позволяет, значит – всё. Кроме того, сам собой напрашивался и другой, более грозный, вопрос: не придётся ли убрать из предыдущего отрывка словечко "тогда"? Иными словами, на существующем ли уровне развития средств производства неизбежно разделение труда на организационно-управленческий и исполнительный или оно **в принципе** неустранимо? По крайней мере, на предвидимом отрезке истории?

В текстах, приведенных выше, мы упрямо пытаемся отыскать логику в действиях партии. Пятясь в историю (точнее – в идеологию, нами правящую) назад затылком, мы ещё не подвергаем сомнению Ленина, его этику, этику его партии. В сталинское время мы жили – ленинское знали, в основном, понаслышке, даже не поначитке. Отец одной из моих ближайших подруг, конечно, в 1937 году погибший, имел партийный билет с двузначным номером. Каждое слово Михаила Ивановича Лобанова было для нас свято. Наша подруга, его дочь, Тамара Лобанова, еврейка по матери, была убита нацистами вместе с тётей и двоюродной сестрой. Русская по паспорту, она пошла с ними на место сбора евреев добровольно. Её мать выжила – на Колыме. В те годы мы реконструировали ход мыслей условного Ленина по своему разумению и столь же схоластически преобразовывали его в социальную психологию сталинизма:

«Выход, подсказанный партии практикой, был таков: для защиты завоеваний трудящихся масс от анархии и от агрессоров надо создать переходное государство, в котором главное противоречие в экономике – частная собственность на средства производства – будет отсутствовать. Противоречия же между государственностью и производительным трудом будут сняты силой сознательности государственной власти, вы-

двинутой из толщи народных масс. Правительство, верное своим избирателям, и массы, уверенные в своём правительстве, смогут сознательно двигать историю. Это естественно и **правдоподобно** (выд. Д.Ш., 1993): открытые Марксом законы развития есть объективные истины. Если физик, усвоивший законы движения, может ...решать задачи и строить самые сложные двигатели потому только, что эти физические законы есть открытая им объективная истина, то человеческое сознание в состоянии аналогично использовать законы развития человеческого общества».

В этом отрывке тоже поблескивает, как далёкая молния, коварный вопросец, таящийся в одном словечке. Оно превращает утвердительное предложение в – по смыслу – условное: "...и это естественно и **правдоподобно**: открытые Марксом законы развития есть объективные истины".

Если не "**правда**", а только "**правдоподобно**", то само собою напрашивается перед "открытые Марксом" ещё одно угрожающе словечко: "**если**". Только подспудное сомнение ("если") может объяснить почему само собой написалось всего-навсего "**правдоподобно**"...

А далее следует одна из самых загадочных деталей нашего дела: почему нам дали только пять лет? Не вчитались? Не заметили записей на полях? Михайлов мог и не вчитаться: он смертельно и неприкрыто скучал над моими заумными каракулями. Но другие могли прочесть повнимательнее. Например, красавец Сакенов (см. историю моих с ним встреч во время следствия и её продолжение в моём мемуарном очерке "Тетрадь на столе"). Он-то явно был не тупица.

Итак, далее следовало (выд. Д.Ш., 1993):

«Это действительно так, и для этого необходимо: а) чтобы люди, используя исторические законы, способны были раскрыть все движущие противоречия **прежде, чем последние воплотятся в жизнь и деформируют сознание деятелей**. б) Чтобы людям, раскрывшим все движущие противоречия, после того, как последние воплотятся в жизнь и деформируют их сознание, ... выгодно было эти противоречия **общепользовно использовать**».

Много позднее, в начале 1960-х годов, я перечитывала в очередной раз одно из ленинских определений социализма (их у Ленина много; среди них встречаются и несовместимые): "...не что иное, как государственная монополия, поставленная на пользу всему народу". И тут вопрос, возникший передо мною в 1943 году, встал уже вполне чётко: **можно ли в принципе** (даже при её искреннейшем стремлении ко всеобщему благу и полновласти) поставить абсолютную государственную монополию "на пользу всему народу"? К тому времени ответ был аргументирован и другими, и мною достаточно строго: **нет, невозможно**. И объяснено – почему. Тогда же, в 1943 году, казалось, что надо спешить, пока они, эти абсолютные монополисты, нравственно (абсолютно же) не выродились в уголовников государственного масштаба /выд. теперь – Д.Ш., 1993/:

«Когда 25 октября 1917 года земля, орудия производства и сырьевые ресурсы объявлены были собственностью трудящихся масс, Ленин и партия, в самоотверженности которых нельзя сомневаться, считали, по-видимому, бесспорным, что разрешение главных противоречий даст им возможность идти к коммунизму, строя сознательно историю общества».

Слева, на полях, было добавлено: **"Ленин хочет, но не может"** (далее – два слова, решительно неразборчивых).

Зато нижеследующий абзац вполне читабелен:

«Когда в конце 1930-х годов в молодом поколении оформилось сознание несоответствия между догмой и фактами, Сталин и представители исполнительной власти, изучавшие Маркса и уже обладавшие достаточным материалом для обобщений, могли значительно легче, чем молодёжь, определить развивающиеся противоречия и доказать как историческую целесообразность государственности, так и паразитизм её институтов, и тождество социализма с капитализмом, и обречённость "новой" формации с её государственностью в конечном итоге.

С точки зрения коммуниста Маркса, такой поступок был бы вполне оправдан: более того – раскрытие новых противоречий лишь подтвердило бы его правоту.

С точки зрения диктатора Сталина, такой поступок – самоубийство, так как не построение коммунизма, а удержание и утверждение государственной власти являются его жизненной и исторической задачей».

А на полях ещё разборчивей отчеканено: **"Может, но сволочь"**.

Из содержания всего абзаца однозначно следует, что "может, но сволочь" – Сталин. Лихо? И за это – всего по 5 лет каждому? За анекдот с упоминанием Сталина давали десять. До чего хотелось бы думать, что кто-то там, на верхушке НКГБ Казахстана, люто Сталина ненавидел, а нас – пожалел. А может быть, заслонил нас от более соразмерной преступлению кары коллекция живописи, раздаренная отцом Марика, – А.М. Черкасским, крупным художником, – начальству периферийной столицы Алматы? И портреты, которые тот писал и дарил их высокопоставленным оригиналам?

Подумать только, что годом ранее моя лагерная подруга Клара Перлис получила расстрел, замененный по кассации десятью годами, за письмо первому секретарю ЦК КП Казахстана Скворцову, где она писала с болью и гневом о конкретных непотребствах, творимых в его партийной вотчине! А нам – пять лет?!

Всё-таки и по сей день мне думается, что проигнорировать прямое оскорбление Сталина за взятку никто не решился бы. Подношение взяли бы, но расправились бы во всю силу. Иное дело – из ненависти к тирану. Или и тут всё просчитано за нас Пушкиным: "Тьмы низких истин нам до-

роже нас возвышающий обман..." А они – попросту просмотрели. Но куда же девать Сакенова? Он – то все рукописи прочёл...

В моих заметках опять и опять, и долго потом, а у многих диссидентов и правозащитников – вплоть до "перестройки и гласности" – возникает мысль, что правда была бы коммунистам и Системе только полезна, что лгут они без всякой в том для себя нужды. С одной стороны, в моих заметках написано, что правда была бы для диктатора Сталина самоубийственной. С другой стороны, Сталин – "сволочь" не потому, что сохраняет Систему жесточайшими средствами (тут мы были, с некоторыми оговорками, с ним солидарны), а потому, что он лжет о Системе. Здесь мы были почему-то решительно против. Почему? Кто бы принял без сопротивления такую правду, кроме выдумщиков, подобных нам? Да и то: разве мы её знали – правду? Лишь малый краешек, уравновешенный "целесообразностью" нашей Схемы. Я думаю, что повседневная и повсеместная ложь, куда более близкая к нам, чем все эти отвлечённости, нам просто была нестерпимо противна.

В сущности же, как это ни парадоксально, и мы, и официальные идеологи решали одну и ту же задачу. Каждая сторона по-своему, из своих побуждений, пыталась приспособить догмы Утопии к реальности. Официоз – в корыстно-политических, камуфляжных целях. Мы – ради сведения концов с концами в набухающей несообразностями схоластике, которую тщились принимать за науку. Скорее всего, у нас не умещалась ещё в головах возможность такого злодейства, как бездумное, наугад, перекраивание – по живому – народного, а в перспективе и всечеловеческого тела. Откройся нам тогда inferнальная пропасть этой кровавой хлестаковщины, что мы стали бы делать? Может быть, и хорошо было для нас, что всё шло достаточно медленно, вместе со взрослением, что постижение безнадежности иллюзий происходило шаг за шагом.

То, что следует ниже, представлялось нам в то время венцом всего построения – финалом Схемы. На самом же деле это была только очень далёкая от пункта назначения глухая станция:

«Любое государственное устройство любой эпохи предполагает как характерные для него социально-экономические противоречия, так и уравновешивающую эти противоречия историческую целесообразность существования данного государственного устройства.

Историческая целесообразность государственной деятельности определяется:

а) степенью прогрессивности государственной деятельности с точки зрения класса, идущего к власти.

б) тем, насколько эта власть способствует усилению самого государства, существующего с момента своей победы только в силу того, что оно существует, и для того, чтобы существовать».

После этих весьма сбивчивых и путаных определений (их смысл сводится к тому, что государственность и общественный строй целесообразны, если

они прогрессивны по шкале нашей трёхстадийной Схемы) следовали финальные вопросы и ответы на них:

«Являются ли экономические отношения, защищаемые советским государством от внешней агрессии, действительно высшими экономическими отношениями по сравнению с экономикой государств-агрессоров? **ДА**.

Нуждается ли подчинённый класс в организационных услугах со стороны государства? **ДА**».

Обширный контекст этого рассуждения, который я не цитирую, свидетельствует, что, говоря о "государствах-агрессорах", мы имели в виду весь капиталистический мир, а не только воевавшие с нами тогда страны. Речь шла (для коммунизма - изначально) и об агрессорах потенциальных. "Подчиненный класс", он же - "класс, идущий к власти", обозначал в нашем "новоязе" всё общество, находящееся во власти монокапиталистического государства.

Потребовалось немало лет, чтобы эти решительные, всеискупающие "ДА" сменились не менее уверенными "НЕТ". Эта отсрочка - длиной во всю молодость - понадобилась не только в силу причин, о которых я уже говорил. Помимо всего прочего, душа и совесть обязывали исчерпать все доводы, способные, на наш тогдашний взгляд, оправдать немилую действительность.

Что-то приказывало нам не позволять себе никакого отрицательного пристрастия. Подсознательно нами владела презумпция правоты подследственного (марксизма), хотя мы, вероятно, и термина такого ещё не знали.

Ещё совсем недавно мне нечего было бы возразить человеку, пытающемуся доказать, что я невольно домьсливаю нашу тогдашнюю позицию, опираясь на пережитое и понятое гораздо позднее.

Но каким-то чудом в студенческие умствования 1943-44 гг. затесались странички из общей тетради 1939 года. Как она была захвачена мною осенью 1941 года в эвакуацию, поспешную и почти без вещей, - ума не приложу. На уцелевших её страницах - и мои рисунки (куклы и профили), и какие-то незаконченные монограммы, и отрывок пьесы, которую собиралась писать, и немецкая фраза, записанная на школьном уроке, посреди дневниковых записей. На одном из листков есть точная дата - 23 января 1939 года. Это девятый класс. На других присутствуют имена, уточняющие для меня время и место записи. Одна из них сделана вскоре после премиального пребывания в Украинском Артеке, в Лузановке, под Одессой. Я пробыла там шесть недель после восьмого класса, заняв первое место на Всесоюзном юношеском литературном конкурсе в честь двадцатилетия ВЛКСМ. Премию мне присудили за поэму о Щорсе, стихи о Сталине, о Долорес Ибаррури и о дружбе. Расшифрую некоторые имена в приводимых ниже отрывках.

Яша Хейфец - мой многолетний харьковский друг. Мы познакомились, когда я была в седьмом классе, а он - в девятом, в литературном кружке харьковского Дворца пионеров. Тогда в нашем кружке старшими были Бо-

рис Слуцкий, Михаил Кульчицкий, отбывшие вскоре в Литинститут ССП, в Москву, и другие будущие фронтовики, обретшие славу и её не обретшие. Среди последних – Давид Хейфец, старший брат Яши. И Давид, и самый младший в семье, Лёвка, погибли на фронте, как и Миша Кульчицкий. Яша был в плену, потом в гетто, бежал к партизанам, томился после войны в советском "фильтрационном" лагере для бывших военнопленных. Долгое время его родители думали, что потеряли всех троих сыновей: похоронки пришли на всех. Потом Яша нашёлся. Получивший третью премию на вышеупомянутом конкурсе, он писал забавные пародии, юмористические рассказы, скетчи, репризы для эстрады и цирка. Обстоятельства не дали ему зазвучать во всю силу.

Зинько (Зиновий) Рыбак, сельский юноша, писавший стихи на украинском языке, был моим другом по Артеку, лауреатом Всеукраинского юношеского конкурса.

Оба они: Зинько и Яша – стали для меня в ту пору символами безупречной и, главное, сознательной гражданственности. Мне казалось, что их не истязают сомнения, мучившие меня и моих ближайших друзей, имена которых не упомянуты здесь лишь потому, что их нет на этих листках.

С Зиньком мы после войны связей не восстановили. Яша оказался не более "твердокаменным" в своей "идейности", чем я.

Итак, вот первые письма этого наскального цикла (всё выд. тогда, 23 января 1939 года):

«Давно не писала. Последнее время политически наши сомнения **возросли до максимума**. Много думала, мечтала о книге, которую напишу. В книге напишу всё, **чем жили, как думали**. Атмосфера напряженнейшая, аресты немного стихли, но в народе ходят толки о повышении цен. Противно. Наблюдая за этими арестами, за тем, что арестованы многие бывшие отважнейшими борцами, за тем, как **лгут о "жить стало веселей"**, ...скрывая, что в стране трудно, и ещё за **многим лживым и не существующим в жизни, не могу быть твёрдо уверенной в правоте действий**».

Вот ещё один листик:

«Но сегодняшний разговор с Яшкой очень многое изменил во мне. Какое я имею право рассуждать, не зная ни политики, ни политической жизни, внешней и внутренней, не зная последних событий? Какое право я имею кого-то осуждать? Что фашистам каюк, что они подлецы – это я твёрдо знаю и понимаю, что Ленин был прав, что до последнего времени, до смерти Кирова всё было верно – я тоже знаю. В остальном я сомневаюсь. Но спорить я не имею права: у меня нет подготовки для спора. Я ничего не знаю... Отвратительно это сознавать. Может быть, я, как говорил Зинько Рыбак, не могу примириться с необходимой сейчас ложью и хочу знать больше, чем должен сейчас знать средний человек. Яша, Зинько, Сёмка (не помню, кто это. Ляндрес? – Д.Ш., 1993) – все по-разному, но твёрдо уверены

в своей правоте, и, вероятно, они правы. Но я – не знаю. Ни к какому выводу я не прихожу. Я только вижу, что я – ничего не знаю, ничего не знает и весь народ. Возможно, прав Зинько, и это необходимо».

К сожалению, в 1943–44 годах автор стал более самонадеянным, чем был в 1939–м. Ну, что ж, вся последующая жизнь ушла на то, чтобы по некоему ограниченному кругу вопросов иметь право сказать: я знаю, что говорю.

Я потому и назвала первую часть своего хождения в прошлое "Общиной по месту очеловечивания", что в той моей жизни существовала такая община. Хотя идеологически во мне в те ранние годы и доминировал большевизированный питекантроп с редкими проблесками неандертальца, но вне идеологии в нас пульсировала иная жизнь. Общиной, которая сделала нас людьми, а не штурмовиками, навсегда остался для меня мой дружеский круг. В него входили и те из семьи, кто был мне друзьями. Первой – мать (с отцом по малолетству сблизиться не успела). Книжки мы воспринимали так живо, что и они входили в этот освещённый в ночи круг. Отсюда вторая глава – "Мемуар о поэтах".

* * *

2. МЕМУАР О ПОЭТАХ

Звучит пароль: "я с улицы, где тополь..."
И отзыв, точно выдох: "...удивлен".
И будто где-то скрещивались тропы
И нас качал в пути один вагон.

"Вошла ты". Отзыв: "резкая, как "нате!" -
То облако над нами навсегда,
Как будто был один у нас фарватер.
Одни созвездья. Общая беда.

Сара Погрёб, из стихотворения
"Зиювио Гердту". Сб. "Я домог-
чалась до стихов", М., 1990.

Переход

В одном из бесчисленных, черканных-перечёрканных, вариантов моего вступления к заметкам о советской литературе (1943-44), набросков, раздумий есть вывод, оценить который, не оговорив наполнения терминов, невозможно. В нашей тогдашней риторике "пролетариат" – это не только рабочие, но и все те, кто не "государство", все не имущие ни собственности, ни власти. Они и воспринимаются нами как антагонисты государства, его потенциальные устранители из истории человечества. "Производительным" мы считали любой труд, кроме бюрократического и военного (по Фурье, по Марксу), хотя и тот, и другой в разумных пределах обществу необходим. Всё это были привычные советские штампы. Цитирую:

«Оправданное своими защитно-бюрократическими функциями, государство будет существовать, находясь в растущем противоречии с подвластными ему производительно трудящимися классами. Пролетариат нуждается в государстве – государство использует вынужденную терпимость пролетариата. Это не мирное сосуществование, а временный политический союз, в результате которого в обоих союзниках крепнут именно те "родовые признаки", которые мирно сосуществовать не смогут. В конце концов пролетариат и государство станут лицом друг к другу как единственные враги на Земле, последние и смертельные».

Всё-таки мы ощущали коммунистическое государство как смертельного врага – своего, писателей, о которых пойдёт речь ниже, людей вообще. Не случайно прорвалось в конце этого отрывка: "...как единственные враги на Земле, последние и смертельные". Столь страстно воспринимать абстракцию нельзя. Чувство наше (смесь неприязни со страхом) относилось всё-таки к данному конкретному беспощадному государству, чем бы мы,

опираясь на марксистскую "диалектику", ни оправдывали его существование и всевластие.

Но сколь простым делом виделось приведение к одному знаменателю **всей** разноголосой, разноликой, разноверной Земли! И как не возникало сомнения, что в конечном итоге победим "мы", а не наш "последний и смертельный враг"! В слепящем безумии Схемы крылась наша вера в непобедимость того, что казалось Добром. На коммунизме была маска Добра – вот что придавало ему, в наших глазах, такую силу. Разве это не утешительно? Людей соблазнил не звериный оскал, как в нацизме, а маска, скрывающая этот оскал.

Я подозреваю, что в писателях и героях, о которых будет сказано и не сказано ниже, нас поразил одновременно и близкий, и альтернативный нам **неидеологический человек**. Близкий – подспудно, альтернативный – осознанно. Ибо себя той поры я определила бы прежде всего как **человека идеологического**. Именно по этой причине нижеследующий отрывок из моих записок приходится переводить на нормальный язык, выковыривая редкие зёрна живого смысла из арматуры идеологического жаргона тех лет. По-видимому, я никак не могла разобраться в мировоззренческом "хозяйстве" любимых писателей. Иначе к чему бы после пространнейшего социально-экономического пролога, рассмотренного в первой части, снова и снова возвращаться всё к тем же вопросам? Вроде бы ни к чему. Однако вторая глава моего реферата о советских писателях начиналась так:

"..История не в том, что мы носили,
А в том, как нас пускали нагишом".

Б. Пастернак

«Мы говорим о приведении в человечество всех классов, об исчезновении национальных разграничений. Мы говорим, что предвидим объединение всех монокапиталистических государственных единиц в масштабах Земли в одно сверхгосударство и конечное снятие государственности.

Однако, если, с одной стороны, и класс, и нация, и государственность суть проявления внутриобщественной дифференциации, то, с другой стороны, – и класс, и нация, и государственность – это также и формы объединения, и после их растворения в обществе последнее внутри себя вовсе лишится внешних объединяющих институтов».

Надо понимать, что институты эти являются внешними – для лица, для человека. Для общества же – они внутренние. Речь шла о том (и это отчётливо проявится в последующих текстах), что в бесклассовом, безнациональном, безгосударственном обществе личность лишится своего группового контекста.

«Литература позднего капитализма – ярчайший пример того, как человек, подавленный классовостью, уходит из группы и возвращается к человеку как таковому».

Заметим: литературу мы знали тогда очень плохо, крайне селективно. "Поздний капитализм" и "поздний империализм" – это, очевидно, конец XIX-го – XX век. "Монокапитализм" – это советский период. Попробуем-ся всмотреться глубже штампов нелепого языка. И здесь, и во многих других фрагментах моих записок сквозила мысль, что человек возвращается от внешних для него социальных объединений к себе – единственной и неповторимой личности. Он перестаёт быть элементом группы.

«В литературе монокапитализма и позднего империализма нет активно положительного героя (характерно, что советский положительный герой, в том числе и революционер, и участник гражданской войны, – для нас положительными героями уже не являлись. – Д.Ш., 1993). Её охватило чувство отсутствия цели. И немудрено: человек был силён социально, когда он был членом и деятелем класса, до класса – рода, и только до рода – общества (а не стаи ли? – Д.Ш., 1993). Освобождённый от классовости и от национализма, он кажется даже себе самому лишенным идей, принципов, целей, нежизнеспособным и одиноким».

Какое-то провидение одиночества свободного, неидеологического человека здесь было. В этих и подобных (их много) словах мерцала весьма приблизительная догадка о суровости внестадного бытия в мире стад и стай. И пришло это чувство как из литературы, от тех немногих, кого мы к тому времени знали, так, по-видимому, и изнутри нашего мироощущения, нашего небольшого опыта. Расхожий в школьном литературоведении той поры "образ лишнего человека", которого надо было критиковать и одновременно поучать по причине его аполитичности и социальной пассивности, был для нас интуитивно притягателен. Мы чувствовали в нём нечто противостоящее эпохальной суете сует. В официальной школьной словесности "лишних людей" трактовали недоумками. А мы ощущали их взыскующими большего, чем могло предложить время, чем давала жизнь, в первую очередь – "направленческая", подчинённая идеологической тенденции. Мы удивлённо обнаруживали некий выпадающий из стандартных рядов своего времени характер во всех эпохах, с которыми успели книжно столкнуться. Супердинамичный американец Хемингуэя в чём-то совмещался с лежащим на диване Обломовым. Мы понимали: по их глубинному ощущению, расхождение ценности не стоят слишком больших затрат энергии.

Моя университетская (и по сей день) подруга Берта Глейх написала на первом курсе филфака работу «Василий Буслаев как фольклорный прообраз "лишнего человека" русской классики». Её заключительное по курсу фольклора сочинение (1941) было особо отмечено преподавателем. В чём состояло это родство? Девятнадцатилетнему автору сочинения виделось, что бесцельная удаль, сила, растроченная на пустяки, временами – пассивность, безучастность, граничащие с депрессией, проистекали у всех "лишних людей" из одного и того же горького ощущения: "И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, такая пустая и глупая шутка". То, что вывод – юношески-максималистский, нас не смущало: мы были

ещё моложе. Позднее к этим самоисключённым из общего ряда героям присоединятся Спекторский, и Кавалеров, и персонажи Хемингуэя, Олдингтона, Ремарка... Мы инстинктивно объединяли в своём восприятии людей, выпадающих из общепринятых идеологических, а отчасти и бытовых стереотипов и каркасов: кто – своего, кто – нашего времени. Не без некоторых оснований мы полагали, что всякое социально значимое действие ("даже еда", – писала я в одном из своих категорических рассуждений на эту тему) включает человека в какую-то из групп его времени. На нашем жаргоне это называлось – "в какой-то из классов междукоммунистической стадии". И если человек не может или не хочет входить ни в одну из такого рода общностей, он оказывается, в своём ощущении, одиноким, а для всех общностей – лишним (слова "аутсайдер" в моих записках нет). Он уходит от того, что его давит, или не занимает, или отталкивает, и остаётся в некоем социальном вакууме.

Я писала тогда о "лишнем человеке" "предбесклассового" и "предбездонального", как нам виделось, общества:

«Лишенный порабоцавших его тенденций и подавлявшей его групповой морали, человек ощущает себя аморальным и опустошённым. Неспособный бороться с закономерностью (? – Д.Ш., 1993) и не включённый в процесс прогресса (? – Д.Ш., 1993), он у себя отнимает своё уважение. Он теряет традицию, теряет руководящий этический кодекс».

Мы чувствовали и наблюдали: в условиях, которые мы называли монокапитализмом, социальные зависимости стали крайне жесткими и жестокими. Никаких независимых от государства классов и групп в этом обществе практически не существовало, законных – во всяком случае. Живя умом в ирреальной реальности своей Схемы, трагизм положения духовно свободного человека в нашей стране мы понимали достаточно чётко. И, что ещё важнее, мы его ощущали. Но питали свой ум иллюзией, что обнаружили потенциальный выход из этой безвыходности. Нас успокаивала надежда, что внеидеологическому и внеклассовому отщепенцу на самом-то деле принадлежит будущее. Мы утешались тем, что он на протяжении всей "междукоммунистической стадии" был одиноким странником из бесклассового грядущего дня:

«На смену капитализму в целом идёт коммунизм с его бесклассовым и безгосударственным обществом. Коммунистическая мораль – это мораль общественно-личная. Коммунизм действительно освобождает личность от всего, кроме её органических внутренних качеств и мировоззрения, сформированных всеми переворотами и потрясениями междукоммунистической революции. Переход к коммунизму вовсе снимает и уничтожает идеологию (классовое мышление) и заменяет её общественно-личным мировоззрением».

Хотя "общественно-личное мировоззрение" было такой же бессодержательной формулой, как и "общественно-личная собственность" марксизма,

нас эта чисто словесная выгородка утешала. Мы заполняли её пустоту всем, чем хотели заполнить. За ней нам виделось уже встающее солнце полной свободы мысли и действия. Добро, совесть, справедливость, равенство, правда – над наполнением этих слов мы не задумывались. Их смысл ощущался самоочевидным. А весь ужас реальности представлялся тоннелем, который неизбежно придётся пройти:

«Впечатление таково, что, снабжённый всеми обязательными и непреложными этическими, политическими и прочими нормами и привыкший считать эти нормы своим субъективно осмысленным достоинством, "лишний человек" лишается их, как лишаются зрения, выйдя на солнце после долгого пребывания в темноте. Естественно – первое, что приходит в голову, это мысль об утрате собственной личности. "Внеклассовый", внеидеологический человек воспринимает себя как нечто лишённое стержня, лишённое обязательного единственного направления (направление, исходящее из источника, стоящего выше земной реальности, в те годы пребывало вне круга понятий, которыми мы оперировали, – Д.Ш., 1993).

На самом же деле после всех изменений междукоммунистической стадии личность опять возвращается к праву на самоопределение, и если она приходит не к "сверхчеловеку", а снова к людям, то лишь потому, что суть человека и сила его – в объединении».

Ещё бы: нам ведь так хорошо было вместе. Значит, и всем будет так же славно, когда они станут "объединёнными".

Далее следует одна из осевых идей нашей тогдашней литературоведческой концепции. Цитирую:

«Даже психологу, избегающему вульгарной схематизации политэкономического анализа, при параллельном исследовании творчества лучших современных представителей литературы зарубежной и немногих нелгущих представителей литературы монокапиталистической (читай советской – Д.Ш., 1993), – становится ясной родственность их творческого метода, мыслей и настроения, родственность, необъяснимая вне признания социально-экономического родства формаций».

Именно это родство формаций автор заметок **должен, обязан** был истолковать в рамках и в русле **своей универсальной Схемы**. И ещё одно предварительное замечание: чувство исключительности, о котором будет сказано ниже, вернее – его потеря, его крах, остро переживаются подданными бывшего СССР и сегодня. Как на уровне: "Зато, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей", – так и на уровне: "Умом Россию не понять". Тогда, в 1943–44 годах, **в наших глазах**, нарастающее ощущение сходства между худшими сторонами прошлого (как нам его, это прошлое, представили в школьно-вузовской легенде) и современностью свидетельствовало о крахе веры в великую революцию. "Заграница" была для нас идентична российскому прошлому, ибо там революции не произошло. И мы

изо всех сил стремились доказать себе и другим, что ничего рокового не случилось и что крушение – мнимое. Итак, вернемся снова в 1943 год:

«Поколения, совершившие, пережившие и принявшие революцию, а ещё более – поколение, родившееся и воспитанное после неё, привыкли считать себя вне сравнения, вне прямой преемственности с людьми предшествующей эпохи, с окружающими их капиталистическими обществами. Чувство исключительности нашего положения, освобождённость, легализация революционных традиций, сохранённый старшими энтузиазм, единство долга, убеждений и чувств, свойственные нашим воспитателям, – всё это вместе могло бы создать деятельное, цельное и счастливое поколение. Но не создало, так как всё убывало, на наших глазах, в обратном порядке: воспитатели с их оптимистической убеждённостью в реальности победы, свобода, живость революционных традиций. Поскольку они заменялись пустотой, подчинённостью и лицемерием, то счастливое детство сменилось труднейшей юностью. И последним, уступив, наконец, эмпирическим доказательствам, начало колебаться оставшееся дольше всего бесспорным сознание исключительности нашего положения, исключительности именно как советских людей».

Интересно ещё одно тогдашнее "предпонимание", некое интеллектуальное предчувствие: уже тогда мы ощутили (см. ниже) утрату чувства своего державно-идеологического превосходства над остальным человечеством не только как потерю. Мы начинали смутно воспринимать её и как единение с миром, как возвращение в человечество, как **освобождение**, даже как некое **приобретение**. Признаться, при нынешней встрече со старыми рукописями меня это удивило. За долгие пятьдесят лет я успела забыть хронологию стольких заблуждений и прозрений. И теперь многое в этих черновиках видится как бы впервые. А в них было сказано чётко:

«Мне кажется, что нашим существеннейшим приобретением после многих потерь оказалась утрата своей обособленности, как бы ни сопротивлялись некоторые из нас этой утрате».

Мы решительно отделяли, как свидетельствуют эти заметки, **учение коммунизма от практики социализма (монокапитализма)**. На какое-то время это противопоставление было спасительным для наших иллюзий. Повидимому, свою задачу мы и видели в том, чтобы, испив без уловок, до дна, всю горечь разочарования **в официальной идеологии и практике социализма**, обнаружить на этом дне скальное основание безошибочной и безупречной **теории коммунизма** (не после XX или XXII съезда, не в годы "гласности", а в 1939-44 годах).

Я писала:

«Перед литературой советского монокапитализма были два пути: или слияние с официальной идеологией, несение функций её маскиру-

ющей оболочки, или трагическое одиночество опередивших. Первый путь казался, действительно, выходом, он обещал жизнь, и в него устремилась основная масса литераторов и людей искусства. Второй в конце концов обрекал на молчание или на смерть (последние три слова были тогда мною зачёркнуты двумя чертами, но читаются совершенно отчётливо – Д. Ш., 1993). Сначала не отдавая себе отчёта не только в трагизме, но и в опасности положения, а несколько позже – сознательно, к этому выходу пошло меньшинство. И первый выход оказался бесславной литературной гибелью, а трагический путь обернулся бессмертием».

Не знаю, как я тогда это поняла и решилась произнести, но вещественное доказательство (мой архив) лежит у меня на столе.

Человеческий язык этих нескольких строк дарован был нам пребыванием не только под опекой официальной нежити, но и в поле воздействия любимых писателей. Я подозреваю также, что и Маяковского, в том его сокровенном, что его убило, мы понимали лучше, ближе к его истине, чем, например, Ю. Карабчиевский. Он, как мне кажется, Маяковского не предвзято не перечитал и сокровенному в нём не поверил или этого сокровенного не увидел. А потому отхлестал убившего себя поэта по самым больным местам у него же выхваченными цитатами. Предлагая читателю эти цитаты, критик разрушил и время, и внутреннюю личность поэта, и весь её катастрофический эпохальный контекст. Точнее, все отрывки, эффектно цитируемые Ю. Карабчиевским в его книге, перемещены из контекста Маяковского в контекст Карабчиевского, из 1900-х – 1930-го годов – в 1980-е годы. Пастернак в "Охранной грамоте" склонил голову перед трагическим гением Маяковского. Современный критик не сумел стать в рост этой драмы. Ничего не поделаешь: каждый читает **свою** книгу, **свои** стихи, **свою** жизненную повесть. В моих черновиках много раз переписаны или записаны по памяти, с неточной пунктуацией и разбивкой на строки, одни и те же стихотворные строфы. Думаю, потому, что они лучше выражали моё "я" тех лет, чем могла бы выразить я сама. Они писались и переписывались **как своё**. В юности многое так переписывается. Вот образцы (сохраняю свою разбивку на строки и синтаксис):

Все эти сегодня стихи и оды,
В аплодисментах ревомые ревмя,
Войдут в историю как накладные расходы
На сделанное нами – двумя или тремя, –
говорит Маяковский.

Ты спал, постлав постель на сплетне,
Спал и, оттрепетав, был тих,
Красивый, двадцатидвухлетний,
Как предсказал твой тетраптих.
Ты спал, прижав к подушке щёку,
Спал со всех ног, со всех лодыг,

Врезаясь вновь и вновь с наскоку
В разряд преданий молодых.
Ты в них врезался тем заметней,
Что их одним прыжком достиг.
Твой выстрел был подобен Этне
В предгорье трусов и трусих, -

откликается Пастернак на смерть Маяковского.

Может, критики знают лучше,
Может, их и слушать надо,
Но кому я к черту попутчик?
Ни души не шагает рядом.
Как раньше свой раскачивай горб
Впереди поэтовых арб -
Неси один и радость, и скорбь,
И прочий людской скарб.
Мне скучно здесь одному, впереди, -
Поэту не надо многого, -
Пусть только время скорей родит
Такого, как я, быстроногого.
Мы рядом пойдём дорожной пылью.
Одно желанье пучит:
Мне скучно, желаю видеть в лицо,
Кому это я попутчик?!

Маяковский, Париж.

Напрасно в дни Великого Совета,
Где высшей страсти отданы места,
Оставлена вакансия поэта:
Она опасна, если не пуста.

Пастернак, из стихотворения "Другу".

Это стихотворение Пастернака, то полностью, то в отрывках, встречается в моих черновиках многократно.

Как мы читали Маяковского

«Поэт Владимир Маяковский назван Сталиным "лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи". Маяковский, застрелившийся в 1930 году, не был поэтом "нашей советской эпохи". ...Маяковский – бунтарь и искупитель – сложился до революции и был весь её предчувствием, её ожиданием, её трибуном. ...Трудно найти более яркий пример трагедии человека и поэта, шагнувшего так далеко вперёд в своей коммунистичности, как только могла позволить ему его бесконечная самоотверженность, и не сумевшего ни опуститься вместе со всеми, ни научить себя скептицизму» (1943).

Я и сейчас думаю, что Владимир Маяковский так и не научился глубочайше чуждому его природе скептицизму и не опустился до лжи. До штампа – да. Он гнул эти свои штампы и так, и сяк, изобретая ошеломительные словесные конфигурации. Для чего? Чтобы заставить **заданную себе и принятую всерьёз идею** звучать впечатляюще и убедительно, в том числе и для него самого. Я подчеркёркиваю: заданную **себе собою самим**. Этот виртуозно-изобретательный штамп появился тогда, когда в сознании возникло **сомнение**. До этого была ошеломительная новизна, а не виртуозный штамп.

Маяковский старался верить и убедить других, что непереносимая фальшь казённого слова исходит не от лживости самой его сути, а от беспомощности и нерадивости словотворцев. И потому искал для зла и неправды, которые тщился видеть добром и правдой, неодолимые в своей необычности слова. Но (и он не мог в отчаянье этого не ощущать) его слова постепенно становились броской и звонкой обёрткой пустоты, фикции. А то и хуже – Зла. Вместе со внутренней убеждённости в правоте слов умирала их сила. Пастернак ведёт хронологию этого перелома к смерти заживо от поэмы "150 миллионов", а воскресением Маяковского полагает вступление в поэму "Во весь голос".

Повторю: Маяковский не мог "научить себя скептицизму", отстраняющему человека от событий или приподнимающему его над ними. То, ради чего он звал к беспощадности, чтобы смертью смерть поправить (и, что страшнее всего, **не только своей смертью**), скептицизм исключало.

Если Пастернак, который потерял Маяковского-поэта на "150 миллионах", обрёл его снова во вступлении в поэму "Во весь голос", то для нас это "Вступление" и вовсе было Заветом. Мы твердили на все лады пастернаковское: "Ты спал, постлав постель на сплетне", и две последние строки стихотворения канонизировали нашу версию самоубийства поэта. В моих заметках перед цитированием этих строф я ставила не точку, как у Пастернака, а двоеточие, ибо для меня две заключительные строки объясняли и раскрывали предыдущий тезис. Кому было это знать, как не Пастернаку? И ещё мы без конца повторяли пастернаковские же строки из "Высокой болезни":

«А сзади, в зареве легенд,
Дурак, герой, интеллигент
В огне декретов и реклам
Горел во славу тёмной силы,
Что потихоньку по углам
Его с усмешкой поносила
За подвиг, если не за то,
Что дважды два не сразу сто,
А сзади, в зареве легенд,
Идеалист-интеллигент
Печатал и писал плакаты
Про радость своего заката».

Для нас это был прежде всего – Маяковский. Там, где Пастернак увидел самосожжение идеалиста-интеллигента ("Недвижно лившийся мотив/Сыпучего самосверганья" – там же), – Карабчиевский обнаружил садистоидного версификатора. Для нас же и после всех сенсаций 1980-х – 1990-х годов пастернаковское "Дурак, герой, интеллигент" остаётся в силе. Через десятилетия после первого прочтения этих строк нам очень многое досказали "Вехи".

Мы никогда не сомневались в том, что Маяковский был лириком и никем иным. Эпос давался ему плохо. "Нами лирика в штыки неоднократно атакована. Ищем речи точной и нагой. Но поэзия – пресвободнейшая штука: существует – и ни в зуб ногой". Для нас эта нарочитая полумальчишеская грубость звучала предвестием выстрела в себя. Не удалось "стать на горло собственной песне", **увиделось** (или **привиделось**? Этого мы тогда ещё не решили), что не из-за чего было и становиться, – и вот, выстрел.

Если Маяковский и понял по-настоящему, что совершается, то лишь под занавес. И вряд ли он понял, **почему** совершается. Иной мысли в нас не закрадывалось. Мы твердили заключительную главу поэмы "Про это" ("Вот он, большелобый тихий химик..."). И для нас, как и для него, "мастерская человеческих воскрешений" была посюсторонней, земной – пусть через десять веков – Мастерской воскрешения **человека человеком**. Но у нас, неграмотных, не было тех знаний, ассоциаций и реминисценций, которые были у Маяковского, человека другой, не советской, досоветской культуры, другого духовного языка. Для нас "новояз" нашей юности был естественен, и мы мерили своих поэтов на свой аршин. Он же насильно загонял себя в клетку, решетку которой были заданы яростно-атеистической Утопией. Он признал самоцензуру, продиктованную Утопией, своим долгом и вогнал себя, "архангела ломового" (Марина Цветаева), в железобетонную казарму. И крылья архангела бились и ломались о её стены.

На мгновенье отступлю от своих старых заметок. В статье "Дехристианизация культуры и задачи церкви" ("Новая Европа" № 1, стр. 33 – 34, 1993. Москва – Италия) Рената Гальцева пишет: "За последние два века – по Морису Клавелю, 'Два века с Люцифером' – культура, как мне представляется, шла не только под руку с этим бывшим ангелом света: она прошла путь от Люцифера к Ариману (по классификации духов зла, применяемой моим соотечественником и римским гражданином Вяч. Ивановым, путь от падшего ангела с опалёнными крыльями к демону распада, когда восставший дух уже растратил энергию заимствованной благодати, потерял ответ небес, от которых он оттолкнулся и с которых ниспал; когда этот бывший ангел света утратил обаяние бунтарской отваги и достиг в своём падении самого дна)".

Маяковский погиб в начале своего отпадения от Света, с едва опалёнными пламенем бездны крыльями. Мы понятия не имели тогда о языке, на котором говорит Рената Гальцева. Над нами ещё не было критерия нетленного, надлогического. И поэтому не было устойчивых ориентиров, кроме почерпнутых органически в семье и в книгах. Но в душах своих мы надеялись, что "ломовой архангел" (этого величия мы ещё тоже не знали) ещё взмыл бы в горний мир, если бы пережил момент прозрения, не убив

себя. Но и убив себя, он остался для нас поэзией, самораспятой на дыбе горчайшего заблуждения, роковой иллюзии: "За всех расплачУсь - за всех расплачУсь!" ("Про это"). Как потрясло нас и озарило прочитанное через много лет: "Здорово в веках, Владимир!" И тоже - от самоубийцы.

А Пастернак примерно тогда же писал:

«Мы были музыкой во льду.
Я говорю про всю среду,
С которой я имел в виду
Сойти со сцены и сойду...»

Но о Пастернаке - позже.

Кавалеров и другие

Снова и снова я перечитываю Юрия Олешу. Прежде всего - "Зависть". В моих старых заметках и Олеша, и "Зависть", и Кавалеров, и братья Бабичевы мелькают постоянно. Я хочу увидеть эту повесть нынешними своими глазами.

Тогда, в 1943 году, когда мы с Андрюшей Досталем дочитали "Зависть" в читалке Алма-Атинской библиотеки имени Пушкина и вышли на улицу, Андрей не увидел огней подходящего к остановке трамвая. В тот вечер он заболел куриной слепотой. Его единственный глаз переставал видеть после заката солнца. Валюша спасала его гематогеном из обкомовской аптеки и печёнкой из обкомовского распределителя. Зрение постепенно восстановилось, но потрясение не проходило долго. "Зависть" нас покорила и неизмерными по точности образными уподоблениями, и неожиданной новизной смысла. Я вспоминаю, как она захватила тогда же нашего ровесника Аркадия Белинкова (мы с ним так и не пересеклись ни в ГУЛаге, ни на советской "воле", ни в эмиграции: эвклидовой реальности жизни для пересечения наших почти параллельных судеб не хватило).

До того вечера в библиотеке мне писал об Олеше из Алма-Аты в Бухару и потом с фронта в Алма-Ату мой друг Женя Пакуль, вскоре убитый. Он переписывал поразившие его куски, вставлял в треугольные письма военного времени сравнения и метафоры Олеша, словно сам их придумал. В юности часто не отличаешь увиденного писателем от сущего в жизни.

По-настоящему оценить в своих заметках художественную уникальность Олеша я тогда не умела. Да и не стремилась: в отличие от Жени, я была занята тенденцией. Вот один из образчиков моего, с позволения сказать, анализа:

«Герой Олеша, Хемингуэя, Пастернака - лирический герой, то есть в огромной степени - автор. Ещё одного писателя можно присоединить к этим трём, и, по всей вероятности, ко многим другим: Ильфа в его "Записных книжках". В чём они сходятся? В первую очередь - ...в их видении внешнего мира, **которое и есть их идея**» (Выд. Д.Ш., 1993).

Всё-таки увидеть, что существуют писатели, да ещё блестящие, решающие не дидактическую и не идеологическую, а чисто поэтическую задачу, – это было для нас тогда свободомыслием. В этой и других подобных оценках, рассыпанных по моим заметкам, признавалось как самоценный эстетический факт воспроизведение художником своего мировидения, даже более узко: своего видения Вещи. Точный и свежий образ вызывал восхищение независимо от наличия или отсутствия идейной заданности или от её характера. Я писала тогда:

«Поражает любая взятая наугад фраза: "Я развлекаюсь наблюдениями. Обращали ли вы внимание на то, что соль спадает с кончика ножа, не оставляя никаких следов, нож блещет, как нетронутый; что пенсне переезжает переносицу, как велосипед; что человека окружают маленькие надписи, разбредшийся муравейник маленьких надписей: на вилках, ложках, тарелках, оправе пенсне, пуговицах, карандашах? Никто не замечает их. Они ведут борьбу за существование, переходят из вида в вид, вплоть до громадных вывесочных букв! Они встают – класс против класса: буквы табличек с названиями улиц воюют с буквами афиш". Юрий Олеша. "Зависть" (Кавалеров)».

Нас, патологически тенденциозных, поразило, что несколько писателей нашего времени сочли самоцелью и выходом для себя погружение в жизненный поток, спасение посредством этого погружения от жестокой бессмыслицы мира взаимоуничтожительных тенденций. Многократные констатации этого открытия перемежаются в моих тетрадях с бесчисленными цитатами. Вот некоторые из них:

«Мне всё равно, чем сыр туман:
Любая была, как утро в марте.
Мне всё равно, чей разговор
Ловлю, плывущий ниоткуда:
Любая была, как вешний двор,
Когда он дымкою окутан...»

Пастернак

«Лучше взять самое простое, самое обычное. Не было ключа, открывал бутылку с нарзаном, порезал себе руку. С этого всё началось.

...Медливший весь день дождь, наконец, начался. И так можно начать роман. Как хотите можно, лишь бы начать».

Ильф

«Я не поверил и притаился. Я не поверил, что человек со своим вниманием и умением видеть мир по-своему может быть пошляком и ничтожеством. Я сказал себе – значит, всё это умение,

всё твоё собственное, всё то, что ты сам считаешь силой, есть ничтожество и пошлость. Так ли это?» (Выд. Д.Ш., 1993).

Олеша

Если бы мы знали тогда обо всём, что ещё прочитаем у Олеша и об Олеше! Мы бы не отождествляли свободы Хемингуэя видеть, как хочешь, и жить, как хочешь, со страшной несвободой Олеша, с чередой самоотречений, которые составили его жизнь. Самоотречений не внешних – это бы ещё ничего: кого не ломали и из тех, кто покрепче телом и духом? Самоотречений внутренних – перед лицом фантома, Идеи. Но при чтении "Зависти" Олеша воспринимался нами таким же свободным, как Хемингуэй. Хотя и в "Зависти" он уже себя гнёт в три погибели. И всё-таки мы не без оснований объединяли нескольких писателей из числа нам известных в некий орден, которому, за бедностью нашего языка, давали вполне, как сказали бы ныне, "совковые" определения. Мы просто не умели не посоветски назвать крепнувшего в нас ощущения их негромкой, но неодолимой особы. Мы не переставали удивляться (в моих записках это отражено) тривиальности футуристов и других экстравагантных и демонстративных новаторов по сравнению с вышеозначенной некрикливой особью. Я писала:

«Мы считаем, однако, что Олеша и Хемингуэй – представители направления, качественно более резко отличного от обычного реализма, чем, например, символизм или футуризм».

Эпитет "обычного" в отношении к реализму в моей рукописи был зачёркнут и тут же восстановлен. Ибо речь шла, конечно же, о реализме **обычном**, то есть "критическом" ("социалистический" мы реализмом не считали, полагая его разновидностью классицизма, о чём тоже была у меня заметка). "Новый метод" мы воспринимали как реализм, **но не обычный**. Несколько позже я нашла для него определение "субъективный". Но это было в заметках уже лагерных, и они затерялись. Однако – продолжим:

«В одном состоянии человек видит так, в другом состоянии он видит иначе. В любом случае он прислушивается к себе самому. Но одни художники склонны свои впечатления **анализировать**, то есть в образах осмысливать их "вторично". Другие просто живут на листе бумаги, не повторяя своих впечатлений в очищенном, профильтрованном виде. Нас могут упрекнуть в том, что слишком большое место в характеристике автора мы уделяем техническому приёму, но в том и значительность нового метода, что он есть не приём, а мировоззрение».

И дальше:

«Вниманием автора овладевает **частность**. Из бесчисленных частных вырастает новое чувство мира: своеобразие частных – это такое

свойство, которое исключает понятия категоричности, групповой однородности. **Частность единственна и неповторима.** Возникает некое простое единство, так как все Вещи объединяются тем, что они суть Вещи и имеют неповторимые личные свойства. Вырастает понятие жизни единой, исчезает представление о несоизмеримых плоскостях: внешнее, внутреннее, живое, мёртвое, своё, чужое... ..Писатели, владеющие этим методом, считают (Олеша) своё умение видеть мир по-новому – силой своей, своим оправданием, своим определяющим качеством».

Вставленное мною в текст в скобках "Олеша" требует, чтобы вместо "считают" было написано нечто более сложное: "иногда осмеливаются считать" или "считают подспудно". Даже скорее не считают, а только чувствуют – вопреки собственному убеждению, что это неправильно, нехорошо. Если же они начинают над этим размышлять, то "понимают": без "прогрессивной идеи" и службы ей писатель не имеет морального права претендовать на чьё-то внимание. "Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан". Подспудно они, конечно же, осознают: гражданин, который поэтом может не быть, в разговоре о поэзии вообще не уместен. Но... Закавыка ещё и в том, что им, почему-то всё более любимым нами писателям, решительно не нравится то, что **должно нравиться**. И неприязнь к тем, кому **это** нравится, – неприязнь эта трактуется художником как постыдная (для него, для художника, он же – лирический герой) зависть.

«Новый творческий метод сводится, в сущности, к подсознательной или сознательной постановке собственной личности во главу угла. Причём не идеи своей, не своих догматических убеждений, которых и нет, а своих ощущений, своих впечатлений, своих непосредственных реакций на явления внешнего мира. При этом на явления всех категорий равно, считая мерою их весомости только значение их собственно для себя».

А мы твёрдо знали (и даже инстинктивно независимый Кавалеров, и эгоцентричнейший старший Бабичев, то есть Олеша, "знают"), что писатель должен быть не для себя, а для народа и человечества. И Вещи он должен поверять их ценностью для Идеи, причём вполне определённой, а не силой их на него воздействия. И даже его писательского, художнического, этического инстинкта для проверки смысла и ценности Вещей и Событий мало: проверка должна быть "исторически объективной". И если вольный стрелок Хемингуэй не стал бы печальничать о том, "что в дебатах потел Госплан", ему "давая задание на год", то всё же и он прекрасно помнил, где и за что погиб Байрон. И поехал в Испанию сражаться против франкистов. Правда, написал потом "По ком звонит колокол", а не "Испанский дневник". В 1943–44 годах мы, конечно, об этой книге Хемингуэя и о его конце ещё ничего не знали, как и он сам.

И всё-таки, вопреки себе, они чаще всего оставались прикованными к своему бессонному зрению. Юное ископаемое сталинской эры изъяснялось так:

«Хемингуэй, Пастернак, Олеша, если взять их творчество в самом характерном, в том, что их создаёт, – что представляют они собой политически, классово? Где та социальная группа, на которую они опираются? Какими социальными качествами они обладают?»

При этом духовный мой эмбрион неожиданно для меня, нынешней, оказывается способным на оговорку:

«В этих вопросах **говорит не только моя ограниченность** – ограниченность критика, требующего от художника обязательной классовой специфичности. В них сказался характер всей изучаемой нами литературы – литературы стадии, разбившей человечество на социальные группы и обусловившей мировоззрение человека интересами его социальной группы».

Признание "критиком" (а впрочем, намного ли старше был Добролюбов в год своей смерти?) своей ограниченности вселяет некоторую надежду. Но тут же на сцену выходит необходимость втиснуть тревожащую и покоряющую новизну в "трёхстадиальную Схему". Ибо мы не можем позволить себе мыслить явления "надстроечные" вне категорий "базисных". В том числе – и явления Духа. И возникает потребность дать новому для нас феномену ветхие наименования. Но сразу же приходится оговаривать и необычность того, что втискивается в привычные рамки:

«Если говорить о том, какое из литературных течений прошлого ближе всего этой новой школе, то, конечно же, импрессионизм. Искусство нетенденциозное, глубоко субъективное в творчестве нового направления приобрело лаконичность и сдержанность, строгость и внутренний такт».

В сумбуре прорезывается завтрашний термин "субъективный реализм". Возникает определение: "**реалистический чувственный субъективизм**". На этом листок обрывается, и следующего непосредственно за ним я не нашла. Но ближайший по смыслу, по почерку, по чернилам, по фактуре бумаги лист начинается так (надо думать, что речь идёт о тривиальных, в нашем тогдашнем понимании, писателях):

«Если можно сказать, что любое настроение, любое чувство, любая мысль возникают из бесчисленных частных влияний, из случайных толчков, исходящих извне и изнутри сознания, **так отфильтрованных и переработанных, что они изменяются до неузнаваемости, оставляя только некий осадок, и этот осадок обычно и становится**

тем, что мы называем образом, то новый метод воссоздаёт именно **первопричину** – факт, совокупность бесчисленных частных влияний, случайных толчков, рождающих мысль и эмоцию (Выд. Д.Ш., 1943). ...Олеша видит всегда деталь, для него характерно смещение перспективы – приближение, перерастание мелочи в грандиозность, постоянная растворённость в частностях (трава из рассказа "Любовь"). ...Хемингуэй тоже никогда не утрачивает способности **видеть**. Его полулирический герой, Фред Генри ("Прощай, оружие"), теряя любимую жену, но неотвязное свойство фиксировать детали картины не оставляет его даже в минуты всепоглощающего отчаяния: "Я думал, что Кэтрин умерла, она казалась мёртвой, её лицо, та часть его, которую я мог видеть, была серая. Там внизу, под лампой, доктор зашивал широкую длинную, с толстыми краями, щипцами раздвинутую рану. Другой доктор в маске давал наркоз. Две сестры в масках подавали разные вещи. Это было похоже на картину, изображавшую инквизицию. Стоя там и смотря на это, я знал, что мог смотреть всё время, но я был рад, что не сделал этого. Вероятно, я бы не смог смотреть, как делали надрез, но теперь я смотрел, как края раны смыкались в широкий торчащий рубец, под быстрыми, искусными на вид стежками, похожими на работу сапожника, и я был рад. Когда края раны сомкнулись, я вышел в коридор и снова стал ходить взад и вперёд". Ни одного слова о своём горе – и такой отчаянный, беспросветный ужас».

Увлечённые и зачарованные зрением Кавалерова, почему-то мы тогда заметили гениальной зоркости и дара слова старшего Бабичева, Ивана, неудачника, безобразника и ёрника. Может быть, потому, что в двадцать лет не по уму нам было постичь самоистязание, самоотречение и невольное упорство Олеша, единого в Кавалерове, в Иване Бабичеве и в бесплодных усилиях вынести им – обвинительный, а эпохе – оправдательный приговор. А возможно, ещё и потому, что Кавалеров был молод, как мы, а Иван Бабичев, в наших глазах несказанно стар? Только в 1960-х годах мне стали видны потуги Олеша явиться ещё и в образе Володи Макарова и завоевать Валю, дочь Ивана. Для этого моему поколению пришлось вдосталь нахлебаться баланды в одних зонах с Андреем Бабичевым и энтузиастами его поколения. Ведь эта эпоха съела и своих "удачников" первого призыва, и своих неудачников. За эти десятилетия и Олеша успел повитать сломленным духом в их камерах, бараках, у расстрельных ям...

Здесь мы оставим Кавалерова и других "не-членов какого-то социального класса", таинственно притягательных для заполитизированных до полу-смерти школяров. Обратимся к поэту, чьё влияние на мою судьбу не сравнимо ни с чьим иным художественным воздействием. Разве что – с пушкинским.

"И образ мира, в слове явленный..."

Мама привезла мне однотомник Пастернака 1934 года издания из Москвы примерно в 1936 году, когда я училась в шестом классе. Решительно не сумев в него вчитаться (и не очень стараясь: Алтаузен, Уткин и Жаров, привезенные тогда же, дались мне куда легче), я подарила Пастернака дочери маминой подруги Лиле Г., своей ровеснице, в день её рождения. Весной 1941 года, бросив очередное и в очередной раз мною заслуженное "дикарь-одиночка", Женя Пакуль заставил меня пойти и выпросить у Лили драгоценную книгу, так ею и не раскрытую. Я подарила однотомник ему. Поздним летом 1942 года, уходя на фронт, он оставил эту книгу мне. Через три дня после нашего ареста сплошь исписанную на полях моими и Жениными заметками книгу с тремя дарственными надписями (Лиле, Жене и мне) забрала у моей мамы Стэлла Корытная. Её арестовали одновременно с нами, но выпустили через три дня. Когда я в Москве попыталась разыскать Стэllu, в частности – и для того, чтобы забрать у неё нашу с Женей единственную общую вещь, – в "Мосгорсправке", где я искала её адрес, мне сообщили, что она умерла за год до этого (см. "Тетрадь на столе"). В Москве я была в 1965 году. Незадолго до этого я достала однотомник Пастернака издания 1936 года, но эта книга не несла на своих страницах отпечатка двух жизней, одной – навсегда ушедшей на двадцать втором своём году. Не знаю, для себя ли забрала Стэлла в июле 1944 года эту бесценную, как ни одна другая, для меня книгу или по требованию своих мучителей. Боюсь, что и мама, прочитав комментарии, которыми книга была исписана, сожгла бы её, как не раз сжигала восстановленные мною в лагере и тайком ей переданные мои заметки. Вероятно, и я бы делала так по отношению к своему ребёнку.

Заметки о Пастернаке, возвращённые мне КГБ Казахстана, далеко не полны. Даже для тех лет это не окончательные редакции моих докладов, прочитанных в студенческом научном обществе и на кафедре русской литературы КазГУ зимой 1943–44 годов. Здесь нет разбора отдельных поэм и стихотворений, нет изложения идей Леви-Брюля и попыток связать "новый метод" с "пралогическим мышлением", которое исследовал Леви Брюль (см. ниже). Я занималась попытками по-своему прочитать Пастернака до 1959 года. В Харькове, в горький час ещё одного расставания, я безумнейшим образом потеряла в очередной раз все свои тетради: стихи, конспекты исследований, статьи. Больше я к стихам Пастернака в этой плоскости не возвращалась, только читаю их.

Так или иначе, материалы, неожиданно вынырнувшие из бездны лет, позволяют мне документально восстановить достаточно многое. Повторю то, что писала в "Тетради на столе": при обсуждении моего только что дочитанного доклада профессор Н.Я. Берковский (эвакуация забросила его в КазГУ) настойчиво советовал мне продолжить занятия поэтикой Пастернака и отказаться от исследования его политических убеждений: это в поэтах – не главное. А тогдашний декан филфака С.М. Махмудов, на мой кафедральный доклад не пришедший (выручил грипп), напротив, когда почти

все студийцы собрались после доклада у него дома, обозвал меня гимназисткой за то, что не дала должного отпора Берковскому. Руководительница нашей студенческой студии, тогда – жена Махмудова, Э.П. Гомберг (по второму мужу Вержбинская), была на моей стороне. Я же не ответила на реплику профессора Берковского лишь потому, что сразу же протестующе зашумели студенты, заполнявшие небольшую аудиторию. Чётче всего мне запомнилось белое от ужаса лицо мамы, сидевшей в первом ряду. Помню ещё своё головокружение от голода и от восторга. Тогдашний заведующий кафедрой, профессор Коган, сказал, что после недавнего доклада профессора Берковского (тему которого я прочно забыла) на кафедре русской литературы КазГУ такого события, как мой доклад, не было. Могла ли не закружиться двадцатилетняя голова?

Сегодня, перечитывая свои сохранившиеся в "деле" заметки о Пастернаке, я почти не обнаруживаю в них криминала, даже по меркам тех кровавых времён. Вероятно, неоправимо сместились мои собственные критерии. Не вижу я в них и особой значительности и глубины, а лишь живую и точную симптоматику миропонимания нехудшей части моего поколения. Мне, нынешней, представляется, что одна только советскость моей фразеологии должна была исключить все подозрения в антисоветизме. Но ведь тогда было иначе: чрезмерная ортодоксальность считалась такой же ересью, как нелояльность. Колебаться надо было только вместе с "генеральной линией партии". "Талмудисты" и "начётчики" принимались не более благожелательно, чем "ревизионисты". "Нам не нужны умные – нам нужны послушные", – сказал первый секретарь Харьковского обкома КП Украины Ващенко юному гостю своей дочери, бывшему моему ученику, в 1960-х годах. Мы были не очень умными, но и отнюдь не послушными. А годы шли не 1960-е, а 1940-е.

Итак, всё началось с выяснения общественно-исторических взглядов художника, что при нашей тогдашней тенденциозности было неизбежным. Мне трудно сейчас определить даже порядок относящихся к Пастернаку моих записей, сколотых соответственно непонятной мне логике делопроизводителем первого следственного отдела НКГБ Казахстана, трудно установить хронологию вариантов. Постараюсь не повторяться, но удастся ли? Начну с чего-то похожего на конспект одного из моих университетских докладов зимы 1943–44 учебного года. Эти (порой комические и крайне самонадеянные) заметки назывались так: "Творчество Б. Пастернака. Подготовка к исследованию". Далее писалось:

«Это начало работы над автором, первая попытка уяснить себе, что я в нём сейчас могу увидеть. Анализ построен, в основном, на исследовании мыслей, а не формы (дихотомия "формы" и "содержания" была для автора заметок несомненной – Д.Ш., 1993). Это объясняется необходимостью прежде всего понять писателя как человека в ряду других людей, представить себе его эпоху в цепи других времён.

Есть у нас и очень распространена поэзия тоже современного, но вовсе иного, по большинству признаков, направления, чем поэзия Пастернака (много ли могла я обо всём этом знать, если даже зна-

менитых "известинских" стихов Пастернака о Сталине тогда не читала? - Д.Ш., 1993). По замыслу - это стихи о действительности, по степени внешней политической заостренности - это не просто злободневность, а календарная дотошность: дат, событий, юбилеев...» -
- на этом первый лист обрывается.

К этому "совсем иному", чем Пастернак, "по большинству признаков, направлению" автор ещё вернётся, и не один раз. Пока же он (на той же линованной бумаге, теми же чернилами) начинает свой текст сначала, но уже с рядом эпитафий, хорошо очерчивающих круг читавшихся им поэтов (в рукописи эпитафии пронумерованы):

- «1) Теперь разглядите, кого опишу я
Из тех, кто имеет бесспорное право
На выход в трагедию эту большую
Без всяческих объяснений и справок.

Н. Асеев. Глава о Пастернаке из поэмы "Маяковский начинается".

- 2) Люблю великий русский стих,
Ещё не понятый, однако,
И всех учителей своих -
От Пушкина до Пастернака.

Илья Сельвинский».

И далее - уже без нумерации:

«И вся Земля была его наследством,
А он её со всеми разделил.

Анна Ахматова, "Стихи о Пастернаке".

А в походной сумке - спички и табак,
Тихонов, Сельвинский, Пастернак.

Багрицкий».

Заголовок следующего варианта доклада выглядит так: "Борис Пастернак и современность". Меняются и подзаголовки: "Подготовка к исследованию" превращается в "Тезисы к докладу". Появляется новый эпитафий, в котором "лесенка" Маяковского превращена в традиционную строфу, записанную по памяти:

«Это время трудновато для пера.
Но, скажите, вы, калеки и калекши:
Где, когда, какой великий выбирал
Путь, чтобы протоптанней и легче?»

Думаю, я потому и не стала литературоведом, что меня всё-таки всегда более всего занимало **время** в творчестве и творчество **во времени**, а не само по себе. И если говорить о внешней стороне моей судьбы, то в этом "таинственная погибель моя" как **легального советского автора**. После освобождения из лагеря, даже в границах послесталинской "оттепели", заниматься легальной литературной работой я не смогла бы ни в одном из близких к моим интересам жанров. Публицист и педагог всегда брали верх над моими литературоведческими интересами. Продолжу, однако, цитирование "тезисов к докладу" и начну с того, на чём остановилась в предыдущем отрывке (о "календарно-злободневной" поэзии):

«...нет событий и юбилеев, кампаний и пр., на которые бы в поэзии такого типа не нашлось немедленных откликов. Я не делаю специального доклада на эту тему и поэтому не подбираю примеров, но имена корифеев такой поэзии общеизвестны: Лебедев-Кумач, Виктор Гусев и многие, многие другие. ...Чем способней к стихосложению поэты этого направления, тем, по-моему, они опаснее, то есть "влиятельнее". При чтении, например, стихов Симонова (лирических, то есть наиболее удачных) мелодичность и искренность заслоняют главное и мешают отложить книгу. А главное в следующем: при чтении всех подобного рода стихов, пьес и повестей создаётся упорное впечатление, что Маяковского, Пастернака, Багрицкого – одно из двух – или нет и никогда не было, или они дон-кихоты и неврастеники».

Слово "влиятельный" имеет в виду доверие читателей, а не номенклатурные связи и весомость перечисленных и подразумеваемых авторов. Всё-таки корифеи, о которых говорится здесь с таким презрением, – это ещё и фавориты власти, и первые лауреаты сталинских премий, и орденосы. На советских филфаках тех лет не принято было их ругать. Ироническое "неврастеники" – тоже щелчок по штампам литературно-критического языка тех лет. Сегодня приведенный выше отрывок звучит, как и приводимые ниже, вполне по-советски. Тогда эти слова заставляли студенческую аудиторию взрываться аплодисментами, а преподавателей кафедры – растерянно переглядываться или упорно смотреть в пол. Судите сами:

«Банальность, шаблонность и посредственность поэтических приёмов настолько распространены, что исключают мысль о внезапном оскудении страны талантами. Посредственные декаденты и футуристы писали значительно оригинальнее и смелее. Маяковского же вообще невозможно себе представить предшествующим Симонову или Маргарите Алигер. Это – первое. Второе – удивительная беспроblemность такого рода литературы. Словно с того момента, как замолк Маяковский, все проблемы времени свелись к проблеме роста, все трудности – к чисто практическим трудностям, к техническим трудностям, всё враждебное человеческой свободе, нашей свободе, нашло единственный оплот в троцкистах, в диверсантах и в немцах. И в остальном всё настолько хорошо и, главное, просто, что непонятно: почему гово-

рившие о трудности времени, мучительно постигающие и принимающие правоту времени, спорящие и отстаивающие её Маяковский и Багрицкий ломались в открытые двери?

...Маяковский, Пастернак, Багрицкий совершенно различны в творческих методах, по складу умов, по манере смотреть и видеть, но, читая их, видишь и чувствуешь одно и то же великое, героическое и трагическое время переворота и роста, ощущаешь, что это время действительно "трудновато для пера", понимаешь, почему оно "трудновато для пера". Багрицкий писал поэму о Феликсе Дзержинском, разумеется, уже в наши, послеоктябрьские времена. Почему в ней прозвучали такие строки, как монолог Дзержинского?

А век поджидает на мостовой,
Сосредоточен, как часовой.
Иди и не бойся с ним рядом стать:
Твоё одиночество веку подстать.
Протянешь руку – и нет друзей.
Оглянешься – и кругом враги.
Но если он скажет "убей" – убей.
И если он скажет "солги" – солги!»

(Того, что Багрицкий здесь, во имя идеи "века", иступлённо спорит с Моисеевым десятисливием, мы, конечно, и не подозревали – Д.Ш., 1993).

«Из этих трёх поэтов жив только Пастернак. Но всё-таки я не думаю, что днём смерти Маяковского или Багрицкого ограничивается то время, о котором они писали. Многое из того, что их взгляду доступно было уже тогда, только теперь развилось и развивается в нашем быту и в общественной жизни».

В предшествующем рукописном, а не машинописном варианте "тезисов" есть строки, не вошедшие в более поздний текст, но для полной картины нашего тогдашнего миропонимания весьма существенные. По-видимому, они продолжают мысль о беспроблемности и бездумности стихоплётов, противопоставляемых великим поэтам, идущим по непроторённым и трудным путям. В них говорится, очевидно, о высокой цене преданности, сознательно выстраданной художником. Вопрос о том, "выстрадается" ли при честном подходе к своему времени преданность или, наоборот, отрицание, пока не ставится. Но ниже неизбежно возникнет и он. До поры до времени речь вообще идёт не о притворстве, не о циничном приспособительном конформизме, не о лжи, а только о разновидностях преданности: бездумной или сознательной, автоматической или выстраданной. Слова: "или неприязню" (см. ниже) – были мною тогда же, при правке рукописи, вычеркнуты. Но я их ставлю в тексте, и даже выделяю, ибо они весьма симптоматичны. Итак:

«Значительно труднее быть справедливым к системе, упорно внушающей мысль о своём исключительном совершенстве и непогрешимости»

момости. ...Преданность, основанная на такого рода внушениях, опасна тем, что она не предполагает и не допускает никаких несовершенств. Первое разочарование чревато для такой преданности непрощающим нигилизмом. Перейти через этот нигилизм – это значит прийти к сознательному принятию **или неприятию** действительности. А то, что действительность далеко не идеальна, – бесспорно при первом объективном взгляде. О лжепоэтах я не говорю. Очевидно, что в такие времена не у многих хватает смелости думать серьёзно. Линия первой группы поэтов, о которой я говорила выше, – Маяковский, Багрицкий, Пастернак и близкие к ним наши современники, – это линия наибольшего сопротивления. Большинство же идёт по линии наименьшего сопротивления. Литературным течениям соответствуют течения общественной мысли и безмыслия».

И снова – кусок машинописи. Я узнаю мамин портативный "Ундервуд" с русским и латинским шрифтами. Все буквы одного размера, без строчных. Машинку прислал мамин старший брат из США в 1933 году. Осенью 1941 года мы эвакуировались так поспешно, что оставили машинку на письменном столике, в комнатике мамы. Там она после службы выстакивала бесчисленные страницы, и машинка подкармливала нас вплоть до войны. На ней я научилась печатать. Мама быстрее работала под диктовку, и скучнейшую обязанность диктовать делили со мной мои подруги. Служба, сверхурочное стенографирование, долгие часы над машинкой – так мама с её двумя высшими образованиями растила двоих детей. Мне, до гибели папы, она успела дать очень многое (всё то главное, что определило мою судьбу). Младший на пять лет брат, неуравновешенный и неординарный ребёнок, маму, погружённую в заботы о хлебе насущном, видел свободной редко. Я им не занималась, переполненная в безудержном детском и отроческом эгоизме своими радостями и горестями. Потом – каялась, каюсь по сей день, но что толку?.. Мамина сестра бежала из Харькова днём позже нас, с трудом нас разыскала в беженских потоках и привезла нам машинку. Мы её продали зимой 1943–44 года, чтобы купить на рынке баснословно дорогой тогда пенициллин. Так подарок старшего брата спас тётю от гибели из-за крупозного воспаления лёгких. А ко мне пришли через полвека последние строчки, отпечатанные в нашем доме на этой машинке:

«...принципиальность критика не должна быть фанатизмом и ограниченностью. Наша критика в стремлении к идеям так гиперболизирует иногда свою обязанность быть политически заострённой, что критический разбор превращается в ильфовскую мебельную фабрику им. товарища Прокруста. Пастернака в немногих предисловиях к его изданиям и выступлениям слишком часто укладывают в прокрустово ложе и, в зависимости от того, что удобней критику, – вытягивают по мерке или укорачивают по мерке. Делается это технически просто: выхватывается цитата, цитируется от острого угла до опасного поворота, ...и мысль критика подтверждается. Это повторяется два-три раза, – идейное лицо Пастернака выявлено. Мы с вами только собираемся

стать критиками, для нас это особенно важно: мы не должны по примеру такого рода литературоведов, которых не меньше, чем плохих поэтов, забывать о том, что писателя надо не только учить и привлекать к ответственности – у писателя надо учиться. ...Маяковского тоже схематизирует такого рода доброжелательность критики. У нас нет возможности проверить степень зоркости и правоты Пастернака и Маяковского так, как мы можем проверить, например, относительную (во времени и обстоятельствах) правоту Чернышевского. Один из них ещё жив, увиденное и пережитое ими ещё совершается и развивается...».

Писателя надо **"не только учить"** – это значит, что учить его всё же надо. Но **"не только"**. Уже – великодушно. "Правота Чернышевского" провозглашается нами примерно с такой же долей компетентности и ответственности, с какой слагают свои панегирики времени заклеймённые нами бездумные патриоты. Но пока что нас это не смущает: до Чернышевского мы ещё в истории общественной мысли **самостоятельно** не дотянулись. Это – далеко впереди.

Итак, мы хотели во всём **нелицеприятно** разобраться. Но при этом **почти** не сомневались, что найдём (не можем, не должны не найти) в происходящем высокоценное содержание, оправдывающий его исторический смысл. Мы уже сделали это **от собственного имени** в своей "трёхстадиальной Схеме", в статьях о монокапитализме. Теперь мы искали поддержки и подкрепления у любимых поэтов, своих современников. Они должны были оценить и раскрыть перед нами правоту времени **от своего имени**. Это избавило бы нас от сомнений, которые преследовали нас неотступно. Они должны были помочь нам уговорить себя, что всё идёт, "как надо". И мы уговаривали себя, толкуя их.

Мы не понимали ещё, что неотвратимо втягиваемся в ревизию своего верования, что мы уже не продолжение нашей святыни-революции, а ступень реакции на неё. Семья и книги спасли нас от "категорического императива" Багрицкого, наделив зачатками нормальной этики и вкуса. Опираясь на эти спасительные зачатки, мы Пастернаком живём, а читать Лебедева-Кумача не можем. Но мы читали своих любимцев не бескорыстно. Нам надо было понять, как совмещает несовместимое, например, Пастернак. Как он оправдывает происходящее? Тогда и нам стало бы легче производить эту операцию. И я писала:

«Борис Пастернак до Октябрьской революции, верней до того, как он стал писать об Октябрьской революции, прошел уже долгий и сложный путь, подготовивший его неоднократные переключения от основной его темы, "Сестра моя жизнь", к разбираемой нами теме – "Жизнь общественная". Нам важно отметить то обстоятельство, что ко времени таких переходов Пастернак в своём отношении к революции стоял на вполне определённой позиции: он был **за** революцию. Ценность общественных событий измерялась для него тем, насколько события отвечали его представлениям о революции».

Вся русская и советская интеллигенция, известная в ту пору нам (жертвам школьно-вузовских и госиздатских компрачикусов), была "за революцию". Но существенная её часть (это мы успели заметить) хотела, чтобы действительность отвечала её представлениям о настоящей, правильной революции. Поэмы Пастернака "1905 год" и "Лейтенант Шмидт", панегирики революции непобедившей (много позже Наум Коржавин скажет о героях революции победившей: "Но их бедой была победа: за ней скрывалась пустота"), как нельзя лучше воплощали грёзу интеллигенции о революции. И мы это чувствовали (Коржавин ведь наш ровесник). Недаром в моих заметках не раз встречается полный текст пролога к "1905 году" Пастернака. Прочитую этот пролог, чтобы читатель мог погрузиться в его настроение:

В нашу прозу с её безобразьем
С октября забредает зима.
Небеса опускаются наземь,
Точно занавеса бахрома.
Еще спутан и свеж первопуток.
Ещё чуток и жуток, как весть.
В неземной новизне этих суток,
Революция, вся ты, как есть.
Жанна Д'Арк из сибирских колодезь,
Каторжанка в вожжах, ты из тех,
Что бросались в житейский колодезь,
Не успев соразмерить свой бег.
Ты из сумерек, социалистка,
Секла свет, как из груди огни.
Ты рыдала, лицом василиска
Озарив нас и оледенив.
Отвлечённая грохотом стрельбищ,
Оживающих там, вдалеке,
Ты огни в отчужденье колеблешь,
Точно улицу вертишь в руке.
И в блуждании хлопьев кутёжных
Тот же гордый уклончивый жест:
Как собой недовольный художник,
Уклоняешься ты от торжеств,
Как поэт, отпылав и отдумав,
Ты рассеянья ищешь в ходьбе.
Ты бежишь не одних толстосумов -
Все ничтожное мерзко тебе!

(Пунктуация – по моему черновику).

О, как это было созвучно нашему настроению! Недаром в упоении повторяется мною последняя строка:

«"Всё ничтожное мерзко тебе!" – в этой строке кроются первые несоответствия между идеалом и реальностью, которые Пастернак должен был объяснить себе, чтобы сознательно принять действительность или не принять её.

Из этого определения он должен был исходить, преодолевая те прозаические, повседневные, снижающие и опошляющие революцию "детали", которые отражены им в третьем стихотворении цикла "К октябрьской годовщине" и в поэме "Высокая болезнь"».

Далее следует в моих заметках отрывок из "Высокой болезни" (сохраняю синтаксис своей записи):

Чреду веков питает новость,
Но золотой её пирог,
Пока преданье варит соус,
Встаёт нам горла поперёк.
Теперь из некоторой дали
Не видишь пошлых мелочей,
Забылся трафарет речей,
И время сгладило детали,
А мелочи преобладали...
Уже мне не прописан фарс
В лекарство ото всех мытарств.
Уж я не помню основанья
Для гладкого голосованья,
Уже я позабыл о дне,
Когда на океанском дне,
В зияющей японской брешу,
Сумела различить депеша
(какой учёный водолаз!)
Класс спрутов и рабочий класс.
А огнедышащие горы,
Казалось, вне её разбора.
Но было много дел тупей
Классификации Помпей.
Я долго помнил на зубок
Кошунственную телеграмму:
Мы посылали жертвам драмы
В смягченье треска Фузиямы
Агитпрофсожеский лубок.

Сколько понадобится лет, чтобы я сумела полностью раскодировать для себя октябрьский цикл, "Высокую болезнь", "Спекторского" и многое другое? И сколько лет дополнительных – чтобы нам стало жутковато от потрясённости тогдашнего Пастернака всего-навсего пошлостью и фарсом ритмальной советской словесности?

Ведь он знал уже, не мог не знать, что разворачивалось за этой пошлостью, за этим фарсом. Ведь он уже написал тогда "Столетье с лишним не вчера"!.. Но сила соблазна "труда со всеми сообща и заодно с правопорядком" была, по-видимому, настолько сильна, насколько и безнадёжна. Что же мы, ловящие каждую интонацию и проговоруку старших (и каких стар-

ших!), могли знать о бездне, в которую они уже давно смотрели? Разумеется, мы сразу же с радостью выделили эту укреплявшую нас защитную подоснову: всего лишь "пошлые мелочи" и "детали", всего лишь "ничтожное", но не злодейское же! Нашлись и другие утешительные соображения:

«Кроме того, эти чисто человеческие качества, которые Маяковским отмечались в отдельных лицах, а Пастернаком обезличенно, легко было отнести за счёт недостатков, предрассудков, пороков и прочих изъянов в людских характерах, за счёт тормозящей силы исторической, общественной и личной инерции. Недостатки эти, не зачёркивая общего смысла события, могут лишь придать ему характер не идеального подвига, а реального практического сдвига, характер земной, человеческий и осязаемый. Именно так преодолеваются эти преграды и Пастернаком (Выд. мной тогда - Д.Ш., 1993):

На самом деле - это лето
Намыкавшей влать зимы,
По всем окопам и совдепам
За хлеб восставшей и за мир.
На самом деле - это где-то
Поднятый ветром с моря рой
Горящих глаз Петросовега,
Вперённых в **неизвестный** строй.
Да, это то, за что боролись:
У них в руках метеорит...»

На этой строчке я прерву цитату.

У меня написано "**неизвестный** строй". Но в изданиях 1977 и 1985 годов напечатано "**небывалый**". Что это - моя описка или был и такой вариант? Перерыв в цитате понятен: строка, следующая за "метеоритом", требует особого комментария. А пока последуем за автором заметок:

«Предпоследняя часть "Высокой болезни" также свидетельствует о том, что "пошлые мелочи" и "детали" были Пастернаком преодолены:

Проснись, поэт и суй свой пропуск:
Здесь не в обычае зевать.
Из лож по креслам скачут в пропасть
Мста, Ладога, Шексна, Ловать!
Опять из актового зала
В дверях, распахнутых на юг
Прошлось по лампам опахало
Арктических Петровых вьюг.
Опять фрегат пошёл на траверс.
Опять, хлебнув большой волны,
Дитя предательства и каверз
Не узнаёт своей страны.

Всё выступление Ленина, предшествующее заключительному четверостишию "Высокой болезни", является блестящим доказательством того, что Пастернак, как никто другой, сумел стать в рост развернувшихся событий и не позволил частностям и деталям спрятать и заслонить "предание".

Однако прерванный нами в середине строфы отрывок из "Октябрьской годовщины" кончается следующими строчками:

Да, это то, за что боролись,
У них в руках метеорит,
И пусть он будет пуст, как полюс,
Спасибо им, что он открыт.
Однажды мы гостили в сфере
Преданий. Нас перевели
На четверть круга против зверя,
Мы - первая любовь Земли.

В издании 1936 года выделенные нами строки были изменены поэтом или цензурой. И в настоящее время выглядят так:

И будь он даже пуст, как полюс,
Спасибо им, что он открыт.

Еретический смысл, заключённый в первом варианте, был, таким образом, максимально смягчён.

Конечно, смягчён, и ещё как! "И пусть он будет пуст, как полюс", - предложение, в общем-то, утвердительное: "Ладно, пусть будет так, но..." Здесь предполагается, что метеорит пуст. Но, **"будь он даже пуст, как полюс"**, - это скорее условное предложение ("если бы даже он был пуст, как полюс, то и тогда..."). Нас ошаршили оба варианта. Значит, для Пастернака не исключено, что метеорит - пуст? Что вся ценность свершившегося - в порыве, в движении к нему, к пустому полюсу? "...мы гостили в сфере преданий" не без оснований было прочитано нами, как "мы гостили в сфере Утопии". Погостили - и возвратились в реальный мир. Правда, Утопия признана очеловечивающей, ибо всё же "нас перевели на четверть круга против зверя".

Предание - атрибут прошлого, а Утопия - атрибут будущего, но сфера у них общая - сфера мифа. Эту подспудную мысль мы и уловили. И она нас насторожила: нам надо было знать точно, пуст, по убеждению Пастернака, "полюс", открытый революцией, или не пуст?

Мои заметки многократно свидетельствуют и о том, как поразило нас ещё одно разночтение в двух однотомниках Пастернака. Цитирую:

«В поэме "Высокая болезнь" непосредственно за отрывком, посвящённым Ленину и утверждающим его историческую правоту, следуют строки, которые заключали поэму в издании 1934 года, но были исключены из издания 1936 года:

Я думал над происхождением
Века связующих тягот.
Предвестьем льгот приходит гений
И гнётом мстит за свой уход.

Остаётся только процитировать короткий отрывок из "Лейтенанта Шмидта", и явное беспокойство Пастернака по поводу развития и результатов революции станет, в глазах читателя, неоспоримым (напомню: всё это читалось мною в докладах 1943 – 44 годов в студенческом научном обществе и на кафедре русской литературы КазГУ – Д.Ш., 1993):

О, государства истукан,
Свободы вечное преддверье.
Из клеток крадутся века,
По Колизею бродят звери,
И проповедника рука
Бесстрашно крестит клятв сырую,
Пантеру верой дрессируя.
Так вечно делается шаг
От римских цирков к римской церкви,
И мы живём по той же мерке,
Мы, люди катакомб и шахт».

Нас не могли не приковать к себе эти пастернаковские строки, ибо они всей своей сутью совпадали с нашим глубинным ощущением неблагополучия времени. Вместе с тем, эта роковая смена одних и тех же тезиса и антитезиса, это кружение внутри фатально безвыходного цикла ломали нашу оптимистическую "трёхстадиальную Схему"! Причём, гениальный пастернаковский стих уже одной только своей музыкой был куда убедительней, чем "исторический" и "диалектический материализм", из которого наша Схема возникла.

И тут моя мысль (я говорю о своих набросках тех лет) обращается к двум романам, ставшим для нас, нескольких ближайших школьных друзей, настольными раньше, чем стихи Пастернака, в девятом-десятом классах (в 1939–40 годах).

Итак:

«Роман Анатоля Франса: "Восстание ангелов" сводит к такому же результату любой революционный переворот и заключается афористическим выводом: если бунтарь и мятежник (у Франса – Сатана), составивший против жестокого и ограниченного тирана (у Франса – Бога) побеждает, он превращается сам в жестокого и ограниченного тирана. Сатана Франса увидел свою победу во сне и отказавшись от уже подготовленного восстания.

К такому же выводу, но на другом, историческом, материале приводит и роман Франса "Боги жаждут", посвящённый Великой буржуазной революции во Франции.

Иными словами, вывод и у Франса, и у Пастернака выглядит так: идея свободы, победив, создаёт систему, которая, стремясь защитить себя, становится врагом свободы и уничтожает её внутри себя».

Нам предстояло ещё лет двадцать расти до существенной корректировки этого вывода: **не любая, а лишь утопическая идея**, победив и будучи не в силах ни при каких условиях реализовать свои – **по определению – невыполнимые** – обещания, создаёт систему, которая, стремясь защитить себя, становится врагом свободы и уничтожает её внутри себя. Так было бы много вернее. Но трудно было требовать от нас понимания этого факта в первой половине 1940-х годов. На один эпитет (**утопическая**) ушло полжизни. А в те поры досталось от нас и Пастернаку, и Франсу:

«Для просвещённого литератора XX века мысль о замкнутости цикла исторического развития недостаточно грамотна».

Хлётско, не правда ли? Избавил нас от неприятной необходимости дать тут же любимейшему поэту урок большевистской политграмоты сам Пастернак. Мы нашли спасительный выход и разрешение ото всех сомнений в неотразимом "Спекторском" и буквально уцепились за спасательный круг одной строфы. Цитирую весь отрывок, как он сохранился в моих заметках:

..Вот в этих-то журналах, стороной,
И стал встречаться я как бы в тумане
Со славою Марии Ильиной,
Снискавшей нам всемирное признание.
Она была в чести и на виду,
Но указания шли из страшной дали
И отсылали к старому труду,
Которого уже не обсуждали.
Скорей всего, то был большой убор
Тем более дремучей, чем скупее
Показанной читателю в упор
Таинственной какой-то эпопеи,
Где, верно, всё, что было слёз и снов
И до крови кроил наш век-закройшик,
Простёрлось красотой без катастроф
И стало правдой сроков без отсрочек.

(Выд. Д. Ш., 1993).

И мы намертво уцепились за "правду сроков" и за "красоту с катастрофами". И не только мы. У Олеши в "Зависти" самый положительный и коммунистически безупречный молодой герой, Володя Макаров, говорит своему приёмному отцу Андрею Бабичеву:

«...Революция была... ну как? Конечно, очень жестокая. Хо! Но ради чего она злобствовала? Была она великодушна, верно? Добра была – для всего циферблата.. Верно? Надо обижаться не в промежутке двух делений, а во всём круге циферблата.. Тогда нет раз-

ницы между жестокостью и великодушием. Тогда есть одно: время. Железная, как говорится, логика истории. А история и время одно и то же: двойники. ...главным чувством человека должно быть понимание времени» (выд. Д. Ш., 1993).

Это ли не "правда сроков", то есть **правда с отсрочкой, обусловленной, как говорится, железной логикой истории**? Это ли не "красота с катастрофами", которая обязательно станет в конце "циферблата" "красотой без катастроф"? Имелось у нас и ещё одно подтверждение догадки о "правде сроков" – в тех строках Пастернака, которые я уже цитировала: "...за подвиг, если не за то, что дважды два не сразу сто". Не сразу, но всё-таки в конце концов будет "сто"?

Вот как пересказ тех же иллюзий, но уже окончательно развенчанных, будет звучать (в тех же устах – моих) через двадцать пять лет:

«Невозможность прямого, открытого диспута долгие годы усугубляется ещё и страхом повредить дискуссией, даже конспиративной, не себе, нет, а Великой Непогрешимой Идее. Её гипноз, осуществлённый посредством лавинообразных потоков массивной, избыточной неправды и полуправды, обрушиваемых всю жизнь на каждого, преодолеть чрезвычайно трудно и не всем под силу.

Искренний и прозорливейший Пастернак восклицает: "И разве я не мерюсь пятилеткой, не падаю, не поднимаюсь с ней?" ... И тут же кается (перед собой, перед ближайшими, перед родиной и вечностью, а не перед властью): "Но как мне быть с моей грудною клеткой и с тем, что всякой косности косней?" И делает самоуничтожительный, но логичный вывод: "Напрасно в дни великого Совета, где высшей страсти отданы места, оставлена вакансия поэта: она опасна, если не пуста"!

Маяковский, отдавший себя, казалось бы, безраздельно коммунистическому мессианству, пишет: "Хорошо у нас, в стране Советов: можно жить, работать можно дружно. Только вот поэтов настоящих нету... Впрочем, может, это и не нужно?" И как искренне он себя ни смирял, "становясь на горло собственной песне", – в конце концов он убил эту непокорную песню, выстрелив в самого себя.

Для кого опасна "вакансия поэта", "если не пуста"?!

Кому не нужны настоящие поэты?!

По-видимому, всё той же Единственной, Великой и Непогрешимой Идее.

И это противоестественное величие, которое боится пророческого дара поэзии, в глазах третьего поколения непрерывно уничтожаемых и самоуничтожающихся литераторов, всё еще продолжает оставаться величием!

Таков гипноз повторения одного и того же комплекса догматов в течение жизни трёх поколений.

"Да, он наступил на горло собственной песне", – говорит К. Паустовский, и это ужасное, ничем не оправданное самоубийство духов-

ное, предшествовавшее самоубийству физическому, Паустовский (а мы привыкли его любить: он тонкий лирик, он порядочный человек, он не карьерист – таково общее мнение) называет "подвигом поэтического самопожертвования ради блага своей страны и народа"!..

Мне тоже случалось защищать свою противоестественнослепую веру в утопию, в неумелых юношеских стихах: "Но, ограждая высшие черты действительности, тягостной, как камень, мы зажимали собственные рты своими же горящими руками!"

Но не будем забывать и того, что к любой степени убеждённости примешивается в таких условиях и страх! Нормальная человеческая выносливость, нервная и физическая, не рассчитана на тоталитарные методы устрашения, подавления и мучительства человека. Убежденность под напором жизни уходит, а страх становится главным стимулом поведения.

Это говорит тогдашний Президент китайской Академии наук, писатель Го Мо-жо*: "Прошло более двадцати лет со дня опубликования 'Выступлений на совещаниях по вопросам литературы и искусства в Яньани' председателя Мао. Я читал их много раз. Иногда на словах я могу говорить о необходимости служить рабочим, крестьянам и солдатам, о необходимости учиться у них. Но всё это остаётся лишь на словах. Только говорить о марксизме-ленинизме, только писать о марксизме-ленинизме – это не значит работать по-настоящему, не значит претворять его на практике, не значит поступать согласно с указаниями председателя Мао, не значит овладевать идеями председателя Мао. ...Моя сегодняшняя речь – это выражение моего состояния. ...Я высказал то, что у меня на душе. Теперь я должен хорошо учиться у рабочих, крестьян и солдат, преклоняться перед ними, как перед уважаемыми учителями. Хотя мне уже за 70, но у меня ещё есть мужество и воля. Иными словами, если мне нужно повалиться в грязь, то я хочу это сделать, если мне нужно испачкаться мазутом, то я хочу это сделать. И даже если нужно будет обагрить тело кровью в случае нападения на нас американского империализма, то я также хочу бросить в американских империалистов несколько гранат. Таковы мои мысли. Сейчас нужно хорошо учиться у рабочих и крестьян, а если будет возможно, хорошо служить рабочим, крестьянам и солдатам".

От этой сбивчивой задыхающейся скороговорки (президента Академии наук КНР!), от этого стариковского бормотанья веет смертельным страхом – перед застенком, перед толпой озверевших подростков-штурмовиков. А мы говорим иногда, что Орвелл утрировал ситуацию. Заметьте: он предусмотрел её для своей родной цивилизованной Англии, а не для черной Африки...

А это – Юрий Олеша. Здесь как будто нет потери собственного достоинства: здесь всё искренне. Но тем более страшно и горько ...видеть, как дар художника корчится на аутодафе, зажженном в его соб-

* В 1960-е годы, в разгаре китайской "культурной революции"

ственном мозге: "И вот сейчас возник вопрос, в который упираешься, что называется, лбом, – вопрос о перестройке, вопрос о приобретении ленинско-марксистского понимания жизни. Я хочу перестроиться.

Конечно, мне очень противно, чрезвычайно противно быть интеллигентом. Это слабость, от которой я хочу отказаться. Я хочу отказаться от всего, что во мне есть, и прежде всего от этой слабости. Я хочу свежей артериальной крови, и я её найду. У меня поседели волосы рано, потому, что я был слабым. И я мечтаю страстно, до воя, о силе, которая должна быть в художнике, которым я хочу быть".

Послушайте, может быть, это издевательство? Может быть, это чудовищный гротеск в форме авторского монолога? Ведь Олеша был таким тонким стилистом! Не будем обольщаться. Ниже – мольба о доверии, об отсрочке, о праве "перестраиваться" самостоятельно, по своему разумению: "Я, конечно, перестроюсь, но как у нас делается перестройка? Вырываются глаза у попутчика и в пустые орбиты вставляются глаза пролетария. Сегодня – глаза Демьяна Бедного, завтра – глаза Афиногенова, и оказывается, глаза Афиногенова – с некоторым изъёмом. ...Я сам найду путь, без кондуктора... Я себя считаю пролетарским писателем. Может быть, через тридцать лет меня будут читать как настоящего пролетарского писателя".

Бог миловал: через тридцать лет его начали читать снова – как незабываемого Олешу, "Зависть" которого так и осталась – не панегириком номенклатурному "пролетарию", а горьким реквиемом российскому интеллигенту... Было отчего умереть. Он не умер, не убил себя, но большая часть того, что ему удалось опубликовать, изуродована авторским насилием над самим собой и цензурой, как ноги красавицы-китаянки – бинтами...

...Потом появился Самиздат, которого до второй половины 1950-х годов почти не было. Но до нелегальности надо дозреть, решиться на неё, переступить через свою естественную законопослушность, через инстинкт самосохранения, не говоря уже о технической трудности нелегальных действий в условиях такой диктатуры. Пока же человек до нелегальности и – тем более – до открытого сопротивления не дозрел и борьба идёт только внутри сознания, он подчинён диктатуре и разделяет её деяния, активно или пассивно...»

Все эти и многие другие, здесь не приведенные, отрывки из произведений и высказываний советских писателей в моей книге "Наш новый мир. Теория. Эксперимент. Результат" (1968, 1972 – Самиздат. 1981, 1986 – зарубежные издания) снабжены точными библиографическими ссылками. В упомянутой выше книге, разумеется, всё куда более проработанно, чем в косноязычных и противоречивых юношеских заметках с их прямолинейным социологизмом. Но, во-первых, здесь продолжает развиваться та же Тема. А во-вторых, была в тогдашнем нашем косноязычии ныне утраченная неподдельная свежесть – веяние наивности и непосредственности. Мы не резюмировали и не резонёрствовали – мы жили.

Но мы ещё и не позволяли себе додумывать до конца. Чаще же – не умели додумать, не были в состоянии понять всей глубины и обоснованности сомнений, одолевавших наших любимых художников. Мы ещё и поучали их – большей цельности, большей последовательности **в желании и готовности обмануться**. Но до чего трудно было себя обманывать:

«Исследователь (то есть я – Д.Ш., 1993) оправдывает лицемерие догмы и пороки системы – как единственную возможность ограждать от внешней и внутренней враждебности, защитить и сделать жизнеспособным прогрессивный социально-экономический строй. Без сомнения, идеальная государственная система, отвечающая требованиям исследователя и выполняющая все обещания революции, под действием сил прямой враждебности и бессознательной инерции обречена была бы на славную смерть.

Исследователь успокаивается на том, что если главный социально-экономический сдвиг (уничтожение частной собственности) сохранён, то все отклонения, сознательные и бессознательные, будут со временем выровнены.

Возникает формула "правда сроков" ("отсрочка правды"), возникает ссылка на историческую закономерность, на "весь циферблат", на "красоту с катастрофами".

На этом исследователь останавливается. **Всё то, чего он не смог оправдать, он относит за счёт своей подозрительности и своей слепоты.**

Роль раскрывателей его формул оставлена следующему поколению /слава Богу: кое что успело сделать и наше; выд. Д.Ш., 1993/.

Являясь по сути дела вопросом (как же осуществится "правда сроков"?), формула эта оставляет в создавшем её художнике глухую тоску и неудовлетворённость. Пастернак о Кавказе:

На эту красоту уставясь
Глазами бравших край бригад,
Какую ощутил я зависть
К наглядности таких преград! /Выд. Д.Ш., 1993/.
О, если б нам подобный случай,
И из времён, как сквозь туман,
На нас смотрел такой же кручей
Наш день, наш генеральный план!
Передо мною днём и ночью
Шагала бы его пята.
**Он мял бы дождь моих пророчеств
Подожвой своего хребта.** /Выд. Д.Ш., 1993/.
Ни с кем не надо было б грызться,
Не заподозренный никем,
Я, вместо жизни виршеписца,
Повёл бы жизнь самих поэм».

А сразу же после стихов Пастернака, посредине строки, мною крупными буквами было написано: "ГАМЛЕТ?!"

Ума не приложу: как мне тогда мог привидеться сквозь все завесы ещё не читанный нами пастернаковский Гамлет ("Гул затих. Я вышел на подмости...")? Такова, очевидно, магия пастернаковского стиха. Для меня, ныншей, это вопросительное восклицание оказалось полнейшей неожиданностью. А за Гамлетом следовало:

«О каких преградах идёт здесь речь? О преградах, мешающих принятию окружающего или дающих поэту право сражаться с системой? Последнее – вряд ли. Скорее поэт ждёт от преград не оправдания, а отклонения его пророчеств – тревожных пророчеств неблагополучия. Скорее всего – поэт жаждет **наглядных преград**, разрушив которые, можно было бы разом отбросить все не дающие ему покоя отступления от идеала и все компромиссы.

...Маяковский, обрушиваясь на прямых врагов и на всё то, "что в нас ушедшим рабым вбито", знал, кого обличать. **Прав он был в этом или неправ.** ...А Пастернак вынужден тосковать о наглядности преград, которые дали бы ему одно из двух: уверенность в правоте его пророчеств или уверенность в правоте событий» /Выд. Д. Ш., 1993/.

А после ещё нескольких страниц с отрывками из стихотворений Пастернака и их разбором следует допущение, что:

«...любое изображение этих отрицательных черт в настоящее время было бы направлено не против более или менее эпизодических частных, враждебных системе, а против самой системы. Она же становится всё более нетерпимой к любой критике, самой благонамеренной. К чему может формула "правды сроков" свестись теперь? Верить, повинаясь ей, что через некоторое время все искажения революционной правды, все отклонения от идеала, все несовершенства системы смогут быть ликвидированы ею самой и переболевшая самофальсификацией догма начнёт соответствовать действительности?

Если раскрыть эту формулу так, а не иначе, и отнести замедление её осуществления за счёт обстоятельств или воли умного руководителя, – регулятора хода общественного развития, – в таком случае остаётся только молчать и дать всему совершающемуся идти своим порядком.

Почему так? Потому что бороться против отдельных отрицательных частных уже бессмысленно, так как они давно перестали быть частностями.

...Есть ещё один выход: каждый да будет честен и добросовестен в исполнении своих служебных обязанностей, в партийном горении и в добывании хлеба насущного. Но политика малых дел споткнётся о вездесущую фольклорную поговорку "блат выше Совнаркома" и превратится в пожизненную битву с ветряными мельницами (такую жизнь быстро укоротят, дружок, – Д. Ш., 1993).

Последний выход: жить так, как живут другие, исповедовать государственную идеологию и ждать, пока кто-то сильный, кто-то дума-

ующий за других, найдёт обстоятельства благоприятными и отменит несоответствия между догмой и истиной. И тогда получится, что лица, пришедшие к такому выводу, проявляют себя абсолютно так же, как сознательные карьеристы и божьи овцы, не подозревающие о возможности каких бы то ни было сомнений вообще. Кольцо замыкается.

Куда же исчезла из русской литературы её традиционная критическая мысль, её подлинная революционная направленность? Объяснить отсутствие критической мысли цензурными ограничениями – невозможно: никакая цензура, никакой террор не могли подавить эту мысль на протяжении всего её исторического развития (а когда она видела такую цензуру и такой террор, деточка? – Д.Ш., 1993).

Первое, что должно при этом вопросе прийти в голову постороннему читателю, – это призвать к ответу автора настоящей статьи».

За этим, как мы знаем, дело не стало. Кстати, когда меня утром 14-го июля 1944 года привезли для обыска из общежития на улице Калинина, 101 (я ночевала у так и не пришедшей домой Стэллы), на улицу Центральную, 17, мне предъявили ордер на арест и обыск. Взглянув на него, я сказала: "Понятно..." – "Что – понятно?" – спросил несколько ошарашенный капитан Михайлов (он присутствовал при аресте). "Не слушайте её! – в ужасе закричала мама. – Она ни в чём не виновата, она не знает, что говорит!" А я добавила полуутвердительно-полувопросительно: "Это из-за моих тетрадей..." И аккуратно собрала все те листки, над которыми размышляю сейчас. Мне до сих пор кажется, что гражданин Михайлов был искренне озадачен видом преступника, торопящегося вручить следствию вещественные улики. Но я – то считала эти наброски доказательством честности своих намерений! Однако – продолжим:

«Автор же на месте читателя обратился бы к себе самому с такими словами: "Судя по всему вами сказанному, вы считаете себя принадлежащим к разряду людей, которых принято называть "критически мыслящими личностями." Как вы реагируете на происходящее? Как понимают происходящее те, от чьего имени вы говорите?" В том, как мы реагируем на происходящее, по этой статье разобраться нетрудно. Мы рассуждаем. Причём рассуждаем в достаточно ограниченном сообществе (весь университет, пединститут и соседний мединститут – ст. 58, п/п 10-11 УК РСФСР, – Д.Ш., 1993). Как мы **понимаем** происходящее? Правильней было бы поставить вопрос иначе: **почему мы не понимаем происходящего?**

...Основа строя – общественная собственность на средства производства (самое страшное всё ещё принимается за самое ценное, и "общественное" представляется синонимом государственного – Д.Ш., 1993) – сохранена. ...Вместе с тем, отклонения встраивают в плоть системы, они воспитывают поколения, и отменить сверху даже те из них, которые были проведены сверху же, едва ли будет возможно через несколько лет. В каком положении оказывается "критически мыслящая личность"?

Мешать срastанию, образованию защитного панциря системы – это значит подпиливать ножки стула, на котором сидишь. ...Но слишком часто шаг, увеличивающий самозащитную силу нового строя, является преступлением против того, что достигнуто ценой жизни и смерти многих героических поколений. Слишком часто система стремится защитить не столько возможность развить свои достижения, сколько себя самоё со всеми своими пороками и несовершенствами, забывая о своём назначении. И опять-таки, несмотря на это, бороться с системой – бессмысленно: это единственная осуществимая в настоящий момент форма защиты нового социального строя от враждебных сил.

Наблюдать и ждать того момента, когда равновесие между положительным и отрицательным смыслом событий нарушится в пользу отрицательного? В таком случае, какое имеет право эта "критически мыслящая личность" выносить свое мнение на широкое обсуждение в какой бы то ни было форме?.

Ну, а если этот момент будет упущен?..»

Смысл вышеприведенных строк достаточно горек для двадцатилетнего человека, тем более, что ответа на этот сакраментальный вопрос я в своих набросках не обнаружила. Все апологетические выводы наши, если ещё и встречались, то были уже наполовину самогипнозом.

"И творчество, и чудотворство"

В те времена не ведали о чуде.
Вещам, текущим зримою струей,
Пустых разгадок не искали люди:
Гром был рычаньем, молния - змейей.
И говорит преданий голос чистый,
Всех домыслов опровергая хлам,
Что наши предки были реалисты
И непредвзято верили глазам.

Из ранних стихов автора.
Конец 1940-х годов.

Мы всё-таки совершили визит в общину, прихватив с собой любимых писателей. Мы взяли их с собой для того, чтобы они подтвердили, что в их лице мир возвращается в Общину, но уже всеземную и навсегда. Что-бы они признали в себе гонцов из этой Общины.

Несмотря на своё доверие к почти ещё не читанным "первоисточникам", к советскому информационно-идеологическому муляжу, к селекциониро-

ванной литературе Госиздата, мы всё же решили познакомиться кое с чем лично и персонально. Если бы нас не арестовали так оперативно, мне не пришлось бы начинать чтение "первоисточников" наново ночами, при каганце, в глухом украинском селе Князеве. Впрочем, первый том "Капитала" и часть второго я успела прочесть до ареста. Но мы тогда и не спешили осваивать марксистскую классику. Как это было для нас, тогдашних, ни странно, мы решили начать не с "основоположников" и их признанных толкователей, а с немарксистов.

Сложилось так, что в алма-атинских библиотеках, кроме книг Энгельса (а начать мы хотели с изучения первобытного общества), нам удалось получить сочинения Моргана, Фрезера и Леви-Брюля. Всё это было захватывающе интересно. Но более всего прочего (каждого – с иной стороны) увлекло Валентина, Марка и меня "Первобытное мышление" Л. Леви-Брюля /Изд. "Атеист", М., 1930/ с предисловиями акад. Н.Я. Марра и В.К. Никольского). Но вот что странно: получив свои черновики 1939–44 годов, я не обнаружила в них ни одного листка с именем Леви-Брюля. А писала я тогда о его книге очень много. По-видимому, всё-таки многие страницы из моей доли "дела" были изъяты. Я уже говорила, что, возможно, они приобщены к "делам" Марка и Валентина. Но без впечатлений от "Первобытного мышления" Леви-Брюля мои воспоминания о нашей умственной жизни той поры были бы существенно неполны. Более того: остался бы незавершенным и собственно "Мемуар о поэтах".

С известными трудностями мне удалось получить то же издание перевода труда Леви-Брюля на русский язык. Всё, о чём будет рассказано ниже, кроме цитат из Леви-Брюля, явится, к сожалению, лишь очень тщательной реконструкцией давних размышлений, а не ими самими. При такой реконструкции не избежать произвольной самокоррекции. Но я приложу все доступные мне усилия к тому, чтобы сохранить верность прошлому.

Итак, чем же нас потрясла книга Леви-Брюля, центральную концепцию которой Марр и Никольский в своих предисловиях к русскому переводу 1930 года назвали "рабочей гипотезой"?

Тем, что, в наших глазах, она явилась дополнительным авторитетным обоснованием нашей собственной "рабочей гипотезы". И подтверждение это пришло, как нам тогда виделось, с неожиданной и совершенно вне-идеологической стороны. И уж во всяком случае – не по замыслу самого Леви-Брюля. Он в этой книге не соприкасался ни с русской поэзией, ни с марксистской социально-экономической формационной схемой.

Марк заинтересовался этой книгой в связи со своими занятиями лингвистикой и структурой логических операций, лежащих в основе языковых структур. Делиться читаемым было обыкновением всех наших дружб и романов. Марк был увлечён Леви-Брюлем, без конца о нём говорил – естественно, что книгу прочли мы все. Неожиданно для себя я усмотрела в "рабочей гипотезе" Леви-Брюля один из ключей к тайнам поэтики "субъективного реализма". Валентин только апробировал наши соображе-

жения. Как ни странно, выводы Леви-Брюля из его наблюдений над первобытным мышлением обернулись, в нашем истолковании, доказательством правоты "трёхстадиальной Схемы": от единства общинного – через многоплановую дифференциацию – к единству всемирному.

Всё ли в этой эйфории домыслов и обобщений (что ни день – то "открытие") оказалось бредом?

Я и сейчас думаю, что не всё. Но выдержало проверку временем совсем не то, что нам представлялось главным. Об этом, однако, ниже.

Обратимся к пришедшей ко мне из безвозвратного прошлого книге. Над её страницами я по сей день вижу горячие головы тех, кого уже нет и кто для меня хотя бы по этой причине уже никогда не изменится и не остынет. Поэтому остаётся дорогóй и книга – именно в этом старом московском издании, которое мы читали **вместе**.

В одном существенном вопросе мы с Леви-Брюлем раз и навсегда не согласились. А для него, последовательного позитивиста, как, впрочем, тогда и мы все, кроме, может быть, Вальки, этот вопрос был фундаментальным. Правда, иногда его можно было свести к расхождению терминологическому. И Леви-Брюль порой противоречил в этом вопросе самому себе. Он (с оттенком некоторой снисходительности – то ли старшего к младшим, то ли юности к старикам) называл первобытное мышление мистическим, то есть, в его материалистическом понимании, не основанным на реальном опыте, нарушающим принцип причинности. Мы с этим не соглашались. Мы видели в этом мышлении иное, чем наше, восприятие опыта и, в противоположность Леви-Брюлю, считали первобытное мышление сугубо реалистическим. На наш взгляд, первобытные люди целно, без тени сомнений и рефлексии верили своим непосредственным впечатлениям и ощущениям ("гром был рычаньем, молния – змеёй"). Леви-Брюль сам давал нам пищу для этого вывода. Он очень ярко и доказательно говорит о первобытном восприятии мира, иллюстрируя свои умозаключения массой конкретных примеров. И мы обращались к этой конкретике снова и снова. Леви-Брюль говорит об

«общей основе тех мистических отношений, которые так часто улавливаются между существами и предметами первобытным сознанием. Есть один элемент, который всегда налицо в этих отношениях. Все они в разной форме и разной степени предполагают наличие "**партиципации**" (**сопричастности**) между существами или предметами, ассоциированными коллективным представлением. Вот почему, за исключением лучшего термина, я назову **законом партиципации** характерный принцип первобытного мышления, который управляет ассоциациями и связями представлений в первобытном сознании. ... Я сказал бы, что в коллективных представлениях первобытного мышления предметы, существа, явления могут быть, непостижимым для нас образом одновременно и самими собой, и чем-то иным. Не менее непостижимым образом они излучают и воспринимают силы, способности, качества, мистические действия, которые ощущаются вне их, не переставая пребывать в них.

Другими словами, для первобытного мышления противоположность между единицей и множеством, между тождественным и другим и т. д. не диктует обязательного отрицания одного из указанных терминов при утверждении противоположного, и наоборот. ...Всё это зависит от **партиципации (сопричастности)**, которая представляется первобытным человеком в самых разнообразных формах: в форме соприкосновения, переноса, симпатии, действия на расстоянии и т. д. ...Вот почему мышление первобытных людей может быть названо **пралогическим** с таким же правом, как и мистическим. ... Это мышление ... не антилогично, оно также и не алогично. Называя его пралогическим, я только хочу сказать, что оно не стремится, прежде всего, подобно нашему мышлению, избегать противоречия. Оно, прежде всего, подчинено **закоу партиципации**. Ориентированное таким образом, оно отнюдь не имеет склонности без всякого основания впасть в противоречия (это сделало бы его совершенно нелепым для нас), однако, оно и не думает о том, чтобы избегать противоречий. Чаще всего оно относится к ним с безразличием. Этим и объясняется то обстоятельство, что нам так трудно проследить ход этого мышления» /Л. Леви-Брюль, "Пралогическое мышление", стр. 48 - 49/.

Многократно возвращаясь к предлагаемым Леви-Брюлем примерам "пралогического мышления", мы пришли к выводу, что оно вовсе не отнеслось к противоречиям безразлично. Напротив: если оно их обнаруживало, то страстно ими (противоречиями) потрясало. Именно потрясало, и именно страстно, всем существом, а не только умственно озадачивало. По свидетельствам многих исследователей, пралогический отклик не расслаивался на эмоцию и мысль, на впечатление и оценку. Точь-в-точь как в лирических образах Пастернака или Олеши, чувство и мысль пребывали в синтезе не только в миг восприятия, но и в отклике, в самовыражении воспринимающего сознания. И сколько ни рассекай этот итог (образ) скальпелем анализа, чувственно-умственный комплекс остаётся комплексом на любом срезе, сплав остаётся сплавом в любом измерении.

У нас сложилось стойкое впечатление, что пралогическое мышление не видело противоречия в том, в чём видели его Леви-Брюль и другие пришельцы из иной реальности. Иными словами, для пралогического мышления его реальность была непротиворечивой. В его Вселенной – в мире всеобщей прямой и взаимной сопричастности всего всему – отношения, которые кажутся нам алогичными, мистическими и т. п., были естественны и наиболее ожидаемы (вероятны). Это мы, наблюдатели, называем мистикой (в иной фразеологии – чудом) то, что для него тривиально. "Попутно убеждаешься: на свете ни праха нет без пятнышка родства. Совместно с жизнью прижитые дети – дворы и бабы, галки и дрова" /Б. Пастернак/.

Мир первобытного сознания, как и сознания детского, не расчлён на несоизмеримые плоскости, пространства, аспекты, измерения. Ему неизвестны категории и типы вещей и явлений, неспособные между собой непосредственно взаимодействовать и общаться.

Леви-Брюль называет синтетические чувственно-умственные реакции-представления пралогического мышления коллективными. Это справедливо, думалось нам, только с некоторыми оговорками. Действительно, подобного рода пралогика свойственна всему первобытному сообществу (коллективу). Безусловно, в человеческом сознании живёт и накапливается опыт предшествующих ему поколений. Первобытное человечество просуществовало многократно дольше человечества письменного-исторического и не могло не накопить массы устойчивых представлений. Однако эти же представления одновременно и глубоко субъективны, непредвзяты, не предуготовлены, нетенденциозны. Ибо, как уже было сказано, каждое конкретное соударение с фактом, с Вещью, с "не-я", служащее одновременно и стимулом личного поведения, не подвергается анализу, отделяющему умственную оценку от чувства.

Вернёмся к вопросу о реализме и мистике:

«Почему, например, какое-нибудь изображение, портрет является для первобытных людей совсем иной вещью, чем для нас? Чем объяснить то, что они приписывают им ... мистические свойства? Очевидно, дело в том, что всякое изображение, всякая репродукция "сопричастны" природе, свойствам жизни оригинала. ... Первобытное мышление не видит никакой трудности в том, чтобы эта жизнь и эти свойства были присущи одновременно и оригиналу, и изображению. В силу мистической связи между оригиналом и изображением, связи, подчинённой закону партиципации (сопричастности), изображение одновременно и оригинал» /Л. Леви-Брюль, "Пралогическое мышление", стр. 50/.

Леви-Брюль, по-видимому, отождествляет отношение первобытного человека к показанному ему исследователем портрету (или к собственноручному изображению существ, вещей и процессов) с отношением современного верующего к иконе или сакральной скульптуре. Между тем, мы не увидели снова в поведении первобытного человека, описанном Леви-Брюлем, никакой мистики (то есть никакого ощущения чуда и надпричинности), а только доверие к своему непредвзятому первичному восприятию. Портрет **только похож** на оригинал? **Это в наших глазах** только похож. **Мы знаем**, что он только похож (наш религиозный современник **верит**, что икона не символизирует оригинал, а сопричастна ему. **Верит, а не знает**). А в глазах первобытного человека портрет не только может, но и должен быть оригиналом, коль скоро наличествует в них столь потрясающая тождественность зримых черт. "Похож" и "тождествен" ещё не отделены друг от друга. Не накопились эмпирические стимулы к их разделению. **Зримое** это и есть для доверчивого "дикарского" и детского восприятия **суть, реальность**. Оно не "верует, потому что абсурдно", а видит и знает. **Опущение знания превращалось в веру, в мистику долго и медленно**. Перечитывая книгу теперь, я обнаружила (не помню, видели мы это тогда или нет), что Леви-Брюль говорит не о самых ранних типах мышления, а скорее о сознании, стоящем у истоков отвлечённых и обобщённых понятий,

у истоков превращения непосредственных впечатлений в мифы. Возможно, что, под давлением опыта, эмпирики, естественная, по исходному ощущению, взаимосвязь всего сущего уже стала нуждаться в некоем дополнительном обосновании. Тут и могло зародиться чувство причинно-следственного противоречия и начать складываться предпонятие мистического, ещё подсознательное. Возникла потребность в обрядовом действе, в котором

«сливаются живой индивид, предок, перевоплотившийся в нём, и растительный или животный вид, являющийся тотемом данной личности. Для нашего мышления здесь обязательно имеются налицо три отдельных реальности, как бы тесно ни было родство между ними. Для пралогического же мышления индивид, предок и тотем образуют нечто единое, не теряя вместе с тем своей тройственности» /там же, стр. 59/.

Нас, чьи дни были так же заполнены чтением, как и собственно жизнью, поразило постоянно встречающееся у Леви-Брюля выражение "понятие-образ" (то есть образ – он же и понятие, тезис, нечто не расчленённое и не могущее быть расчленённым на понятие и образ). Так, Леви-Брюль говорит о языках американских аборигенов:

«Всё представлено в виде образов-понятий, то есть своего рода рисунками, где закреплены и обозначены мельчайшие особенности (а это верно не только в отношении естественных видов живых существ, но и в отношении всех предметов, каковы бы они ни были, в отношении всех движений, всех действий, всех состояний, всех свойств, выражаемых языком). Поэтому словарь этих первобытных языков должен отличаться таким богатством, о котором наши языки дают лишь весьма отдалённое представление. И действительно, это богатство вызывало удивление многих исследователей» /там же, стр. 113, далее следует великое множество разноязычных примеров/.

Разве термин "образ-понятие", да ещё со специально оговоренной неповторимостью каждого такого "образа-понятия", не относим был без всякой натяжки к без конца повторяемым нами тогда стихам?

В образах и ассоциациях странно единого мира пастернаковской лирики дышала и первобытная свежесть, и рафинированная духовность. В сугубо личном возникало культурное свечение истекших тысячелетий и современности. И, главное (мы были в этом совершенно уверены), – "в родстве со всем, что есть," в синтетизме уместивно-чувственного отклика угадывалось мироощущение завтрашнего единого мира. Именно они, почти отщепенцы, не включённые в школьные программы, а не трагический Маяковский, шагали там, далеко "впереди поэтовых арб". И не в декларациях и лозунгах, в которых можно и заблуждаться, и лгать, а бессознательно предощущая и предвосхищая завтрашний день. А оно не могло не быть прекрасным – наше единое всеземное завтра (пока я это пишу, догорает Сухуми). Из их неосознанной принадлежности будущему пристокает, так нам казалось,

то жизнелюбие, которого мы не могли не чувствовать не только в ликующе-пантеистической неуязвимости Пастернака ("Но вещи рвут с себя личину, теряют власть, роняют честь, когда у них есть пять причина, когда у ливня повод есть!"), но и в неистребимом наслаждении оплётанного, растоптанного Кавалерова своим всеокупающим умением видеть.

В наших глазах, это были свободные и великодушные люди завтрашней **МИРОВОЙ ОБЩИНЫ**.

Естественно, что из немногих упомянутых мною здесь наших тогдашних впечатлений от книги Леви-Брюля едва ли не самым разительным оказалось воздействие одного его замечания, высказанного им попутно и вскользь:

«...мышление социальной группы эволюционировало одновременно с её институтами и её отношениями к окружающим группам»
/там же, стр. 311/.

Эта мысль позволяла поставить наших любимых писателей на твёрдую, стабильную почву – пусть не настоящего, а грядущего дня. "Дикари" мыслили так, как они мыслили, потому, что община не знала никаких форм внутренней дифференциации, кроме поло-возрастных, воспринимавшихся естественно, как собственное дыхание. "Междокоммунистическая стадия" разделила людей на классы, касты, страты и нации и расслоила их сознание своими бесчисленными антагонизмами. Она научила их абстрагировать и отделять типическое от частного, ввела в их умственный обиход понятия категорий, аспектов, измерений и несоизмеримостей. Но уже к середине XIX века прорезались в обществе контуры будущего всеединства. Соответственно – в нашем веке возникло в терминах различных наук обоснование единой подосновы всего сущего (субмикромир, тождество материи и энергии и т.д.). У нас было очень много об этом написано. Мышление, заключили мы, эволюционирует не одновременно с общественными институтами, а в предвкушении их неизбежной трансформации. Наши поэты воспринимают мир как единство сплошь сопричастных друг другу Вещей и Явлений, неповторимых и равноправных, потому что предчувствуют восстановление утраченного единства. Это звучало не совсем по-марксистски, зато красиво. И, главное, в высшей степени утешительно. Я не могу процитировать в этом очерке трёхсот семидесяти с лишним страниц и листов своих юношеских заметок. Но видится мне в них предпонимание того преломления трагедий XX (только ли?) века в литературе (и шире – в искусстве), о котором российская литературная критика заговорила массово, "во весь голос", сегодня. Мы знали немногих писателей и уж совсем не знали литературоведческих теорий своего времени и серьёзной литературной критики, не говоря уже о всевозможных философских этиках и эстетиках. Но, доверяясь десятку-другому всерьез освоенных нами писателей, мы почувствовали крушение прямолинейного оптимизма XVIII–XIX–XX веков. И не только на примере наших соотечественников, чей оптимизм крошился об утёс Утопии. Ремарк, Хемингуэй, Олдингтон кричали о том же. В 9 – 10 классах (1939 – 40 годы) мы с Володей Гольденбергом, уподобляя себя Тони и Кате ("Все люди – враги", или "Вражда", Р. Ол-

дингтона), чувствовали, что нас вот-вот разлучит такой же шквал, как тот, что разлучил их. Через десять лет я писала: "– Вашему прошедшему много лет? – Очень много. – Дата? – Даты нет. Родились на одной Земле Тони и Ката..." И мы понимали: герои Олдингтона, пройдя сквозь ад злобы и унижений, растеряв все надежды, кроме своей любви, встретились и остались в конце концов на острове своей первой встречи. Им было хорошо, **но им было горько**. Мы предчувствовали, что человек, остающийся человеком, не может быть полноценно счастлив без более общего? высокого? смысла жизни, чем только гармония двоих. Несколько позже, уже без Володи, который был на войне, мы сочили смерть Кэтрин, возлюбленной Фреда Генри ("Прощай, оружие!" Хемингуэя), и пронзительную тоску их счастливейших предфинальных дней свидетельством той же невозможности счастья вне Смысла, более жизнеупорного, менее хрупкого, чем одно только совершеннейшее одиночество вдвоём. С подачи Жени Пакуля, мне открылись Пастернак и Олеша. И уже после исчезновения в смерчах войны Жени в моих тетрадях появились десятки заметок о том, что когда человек уходит от жестокого хаоса жизни к себе, в себя, в своё зрение и ощущение мира Вещей и Встреч (не в злобу, не в ненависть, не в замкнутую на себя пустоту), он неизбежно входит в какую-то гармонию, в какое-то единство, более высокое и универсальное, чем оглушивший, обезоруживший его хаос.

Мы не знали ни тогдашних, ни, тем более, сегодняшних литературоведческих терминов. Но мы чувствовали (и я перечитываю свидетельства этому), что не авангардизм какого бы то ни было толка, а некий сверхреализм (у нас – то "импрессионистский", то "субъективный", то просто "новый"); у нынешних критиков – "постреализм") даст искусству возможность выжить. И внутри себя, и среди людей. И что именно он, этот – как угодно его назовите – реализм, нащупывает в хаосе спасительные духовно-бытийные координаты, которые пытается растворить в своём испуге и мазохизме капитуляция перед хаосом, от чего бы она ни отправлялась. Наши "субъективные реалисты", во-первых, ощущают огромность мира как утешение (по-видимому, себе в рост), а не как источник самоуничтожения, раздавленности. Во-вторых, они чувствуют сквозь бессмыслицу жизни **гармонию** этой огромности. В-третьих, ужас истории не отождествлён ими с ужасом Бытия. В-четвёртых, он не только не убедил их в бессмысленности высших императивов, но скорее наоборот: доказал им, что выйти из ужаса и не раствориться в хаосе можно, только не отрывая душевного взора от этих ориентиров. **Или не выйти** – но тем не менее следуя **их** закону. Почему – необъяснимо: такова органика высоких душ.

Те же, кого именуют то "детьми зла", то "постмодернистами" и т. п., раздавлены даже не ужасом Истории и не хаосом Бытия, а грязью, тяжестью, бессмыслицей **быта**. Они потеряли пропорцию. Плотность бессмысленности, грязи и зла в некое повествовательном объёме у них существенно выше нормы. Причём нормы не только высоких душ, воспринимающих как некое личностное начало гармонию Вселенной (у Пастернака: "...входили с сердца замيرانем в бассейн Вселенной, стан свой любящий обдать и оглушить мирами"), но и просто обычного человека. Расхожий

"постмодернизм" перенимает модель мировой "mass-media": стрессообразующее "рекламное" уплотнение ужаса по сравнению с его истинной плотностью в мире.

"Чернушник" – столько же "цветок зла", сколько и дитя страха. И совсем не случайно ярчайшие из тех, кого именуют "постмодернистами", невольно выходят на стезю "постреалистов": талант нащупывает истинное соотношение Смысла и Хаоса в Бытии; зоркое зрение улавливает мерцание вечных ориентиров; рука, ведомая здоровым инстинктом, подсознательно отыскивает поручни сострадания (не только "себе единственному") и поиска. Замечу вскользь: это относится к Шаламову не в меньшей мере, чем к Петрушевской. Те, кто верят самооценке Шаламова, ошибаются, как и он сам: в совокупности его стихов и книг – свет и во тьме светит. Непонятно – откуда, неведомо – как, но брезжит.

Постоянно к этому возвращаясь, я всё старалась сообразить: куда же могли попасть мои беспрепятственные письменные раздумья начала 1944 года о "трёхстадиальной диалектике" социального космоса и миропонимания человечества, если не в моё "дело"? И вдруг, в разговоре о выплывших из водоворота минувшего тетрадах, я вспомнила. Сначала я увидела сами записи, бумагу, буквы, более чёткие и крупные, чем обычно. Чистовик, а не черновик. Потом отчётливо возникло в памяти предназначение этого чистовика. Мы: Марк, Валюша и я – собирались переводиться в ЛИФЛИ (Валька оставался на физмате КазГУ, при своём учителе проф. Выгодском). Валюша и Марик учились на английском отделении, и я не помню, что их влекло в ЛИФЛИ. Возможно, я путаю, и речь шла о Ленинградском Инязе или университете. Но меня привлекал именно ЛИФЛИ, хотя я так толком и не решила, какой из трёх его факультетов: философии, литературы, истории?

Мы послали в Ленинград документы и заявления. К своим я и присовокупила рукопись. В ней не было размышлений об отношении Пастернака, Маяковского, Багрицкого (и моём) к Октябрьской революции. Это было подобие реферата о трёхстадиальной эволюции человечества от множества замкнутых дискретных общин – через цепь формационных переходов – к мировому единству. А от эволюции "базиса" проецировалась эволюция "надстройки". Воссоздавался единый "пралогический" мир сопричастности всего всему. Затем, по мере расслоения общества, возникал разделённый на несоизмеримые, неслиянные сферы и плоскости мир средневекового сознания, его устойчивых, жестких, "вечных" классификаций. Потом эта статика начинала струиться эволюционными потоками и переходами из одного состояния и бытия в другое. И, наконец, в науке – на её языках, в искусстве – через его непостижимые ходы – прорезывался образ единого, по-новому единого мира.

После суда нам дали короткое свидание с матерями. Мама показала мне вызов из ЛГУ – на 1944/45 учебный год.

Говорят, что в 1948 году там было крупное студенческое "дело" с десятилетними сроками в "особлагах". Так что мои пять лет в "мягкой" Алма-Атинской области можно считать большой удачей.

На папках приёмных комиссий вузов нет чёрного грифа (большими буквами): **"Хранить вечно"**. Мировоззренческая фантазмагория, чуть было не переселившая меня в Ленинград (я его так никогда и не увидела), не сохранилась. Прошли десятилетия, и то, что казалось нам главным, сужилось и опало, как убитая заморозками завязь. А оговорки, сомнения и второстепенные соображения налились жизнью. Не исключено, что одной из таких догадок было обнаружение чего-то родственного в таинстве возникновения первобытных, детских и поэтических образов мира. Ведь Пастернак и сам постоянно возвращается к тождеству детского и поэтического мироощущения. И в стихах, и в "Охранной грамоте", и "Детстве Люверс". А что есть "пралогическое мышление", если не детство разума?

* * *

Прошло очень много лет – и после нашего ареста, и после нашего освобождения, и после смерти моих дорогих "однодельцев" Владимира (Валентина) Рабиновича и Марка Черкасского. В 1997 году в моих руках оказалась "Переписка Бориса Пастернака" /Изд. "Художественная литература". М., 1990/. Первый её раздел составляет переписка Б.Л. Пастернака и его двоюродной сестры О.М. Фрейденберг. В предисловии "От составителей" (Е.В. Пастернак и Е.Б. Пастернак) сказано:

«Основное содержание книги составляет переписка Пастернака с его двоюродной сестрой Ольгой Фрейденберг, жившей в Петербурге и знаменитой своими работами по классической литературе. Впоследствии она стала заведующей кафедрой восточных языков Ленинградского университета» /"Переписка Бориса Пастернака", стр. 14/.

Человек моего (советского) поколения не может воспринять эту переписку во всей её содержательности. Ибо и в конце своих жизненных путей мы, в подавляющем большинстве случаев, неизмеримо беднее знаниями, чем авторы упомянутых писем в их 20 – 26 лет. 1917-й год пришелся на третье десятилетие их жизни, а мы родились в начале двадцатых. Не случайно в одном из писем 1954 года вырвался у Пастернака горестный вздох об их общей юности:

«Ах, как все мы были без надобности свободны, когда ещё ничего не значили и ничего не умели» /там же, стр. 274 – 275/.

И несколько раньше:

«Мы всё-таки, помимо революции, жили ещё во время общего распада основных форм сознания, поколеблены были все полезные навыки и понятия, все виды целесообразного умения» /там же, стр. 249/.

Не "помимо революции", а "после революции" Но ведь и почтовая цензура не спит. О лете 1945 года в послеблокадном Ленинграде О. Фрейденберг пишет:

«...Долгий пустой сон. Я доживаю дни. У меня нет ни цели, ни желаний, ни интересов. Жизнь в моих глазах поругана и оскорблена. Я пережила всё, что мне дала эпоха: нравственные пытки, истощение заживо. Я прошла через всё гадкое, – довольно. Дух угас.

Он погиб не в борьбе с природой или препятствиями. Его уничтожило разочарование. Он не вынес самого ужасного, что есть на Земле – человеческого унижения и ничтожества. Я видела биологию в глаза. Я жила при Сталине. Таких двух ужасов человек пережить не может» /там же, стр. 213/.

Ей, напомним, всего 55 лет.

Но творчество, а значит и жизнь ещё вернутся. Не потому ли брат и сестра оказались внутренне так стойки, что к наступлению мертвящей эпохи внутренняя свобода уже выстроила их внутренний мир?

Читая и перечитывая эту переписку, ощущая то зияющие пустоты в своём развитии, то странную общность с её авторами, я вдруг набрела на нечто обжигающее.

К чему сводилась суть этого потрясения?

Ольга Фрейденберг, занимаясь (очень широко и независимо) античными культурами и их истоками, в переписке с братом не раз говорит о том, к чему, "в потёмки тычась" (Б. Пастернак), чудом пробивались и мы. Правда, Ольга Фрейденберг была сосредоточена, в основном, на переходе от "пралогического" (в принятой нами терминологии Леви-Брюля) мировосприятия и самовыражения к становящемуся логическому. Мы же остановились на апогее того нерасчленимого конкретно-предметного и чувственно-умственного состава, который, на её глазах, уже превращался из актуального мировосприятия в миф. Но самым ошеломительным было то, что Ольга Фрейденберг так же, как мы, уловила и отметила некое тождество между мироощущением и мировоссозданием Пастернака и мировосприятием "пралогическим".

Сегодня не имеет значения то, на какие **выводы** нас подвигла владевшая нами историческая схема. Со временем мы увидим её нелепость и её отбросим. Но подарком судьбы оказалось для меня, сегодняшней, то, что родство обоих феноменов ("пралогического мышления" и поэтики Пастернака) мы тогда уловили не без оснований. Нам не судилось работать над этой проблематикой в зрелые годы. Но рука О. Фрейденберг словно поставила на наших юношеских набросках знак качества.

В письме Ольги Фрейденберг чете Пастернаков от 3 декабря 1924 г., а также в её комментарии к письму от 17 февраля 1928 г. есть разительные доказательства возможности нашей с ней не состоявшейся встречи. Правда, мы не считали "пралогическое мышление" мифическим. Нам думалось, что в мифы его представления превратились позже, когда приставка "пра" была отброшена. Я и сейчас так думаю. И тем не менее общего оказалось больше, чем расхождений.

Цитирую О. Фрейденберг:

«Я уже полным ходом писала свою "Поэтику", которую назвала Прокридой: я хотела поставить во главу угла мысль о различиях, которые оказываются тождеством. В Прокриде я впервые давала полную систему античных семантик. Я брала образы в их многообразии и показывала их единство. Мне хотелось установить закон формообразования и многообразия. Хаос сюжетов, мифов, обрядов, вещей становился у меня закономерной системой определённых смыслов.

Философски я хотела показать, что литература может быть таким же материалом теории познания, как естествознание или точные науки /там же, стр. 111/.

Мы тоже подчёркивали эту мысль. Но продолжим цитату:

«У меня есть претензия считать, что я первая в научной литературе увидела в литературном сюжете систему мировоззрения.

В сущности, речь шла о гносеологии. Сюжет получал у меня характер произвольный, непосредственно опережающий первобытное образное (мифическое) мышление. Он имел свои законы и в области формообразования, и конкретного содержания, потому что являлся исторически обусловленным мировосприятием, которое складывалось по законам образования.

В 1928 году Прокрида была закончена» /там же, стр. 111/.

Мы наверняка восторженно встрепенулись бы, прочитав тогда и следующие выводы О. Фрейденберг:

«Отделение субъекта от объекта – длительный процесс, отражением этого процесса в VII в. до н. э. стало – рождение автора» /там же, стр. 236; выд. Д.Ш./.

О. Фрейденберг считает, что лирика Пастернака (она говорит: "современная лирика" – мы твердо знали, что далеко не вся, а в редчайших случаях) снова

«снимает условную старую семантику и вводит многоплановость образов» /там же, стр. 237/.

Для нас же то, что ей видится как нерасчленимая многомерность образов **новой** лирики, было **возвращением** поэзии Пастернака к синтетизму "пралогикки".

Повторяю: я не из самодовольства или честолюбия так жадно ловлю и подчёркиваю приметы сходства некоторых наших впечатлений с идеями О. Фрейденберг. Недоучившись и поневоле всю жизнь оставаясь кустарём-самоучкой, я рада в старости обнаружить, что тогда, остановленные ордером на арест, мы стояли на плодотворных позициях. В чём-то наши поэтико-мировоззренческие гипотезы соприкасались с концепциями большого исследователя, Ольги Фрейденберг. Попади мы тогда не в тюрьму, а в ЛГУ,

мы бы могли стать её учениками. Но надолго ли? Тюрьма всё равно была за плечами и раньше или позже нас бы догнала.

Что же Пастернак? Какие-то тени и "промельки" (его слово) того, что мы в нём чувствовали, возникают то в одном, то в другом его письме. Так, 21 октября 1926 г. Пастернак пишет кузине:

«Идут годы, меняются основания и приложения собственного недомольства, несовершенные слагаемые горюются одно на другое, взгляд вперёд чаёт совершенств и теряется в этих гаданьях, и вот, пожалуй, лучшие из мгновений этой движущейся живой задачи на сложенье, — те, когда все частности перевешивают чувство живущей за всем этим беспокойной ворочающейся суммы. Тогда хочется дорассказать именно до неё, т<о> е<сть> начать болтать о себе, как раз так, чтобы эту болтовню, весёлую или грустную, обняла, повалила и стала над ней общая кантилена бытованья, человеческая повесть, больше того — её закон» /там же, стр. 105/.

Или (ей же, 21 октября 1932 г.):

«...жадно подчёркиваю твои строчки вроде "Процесса действий нет, а есть их плоскостное и одновременное <...> присутствие". "Единство проявляется только в отличиях". "В силу закона плоскостности, заменяющего процесс". "Образ порождается реальностью, воспринимаемой антизначно этой реальности" и пр. и пр. И как удачно ты себя формулируешь, какие находишь слова!» /там же, стр. 137/.

И ещё (ей же, 9 декабря 1949 г.):

«Больше всего остановила старая твоя мысль о возникновении лирики вместе с образованием социально расчленённого общества, о том, что "душа лирики" — реальный план» /там же, стр. 259/.

Но о нашем прочтении Пастернака я попыталась написать выше.

* * *

3. НА ВЫХОДЕ ИЗ УТОПИИ

Я знаю, вы не дрогнете,
Сметая человека,
Что ж, мученики догмата,
Вы тоже жертва века.

Б. Пастернак

Начав диалог со своим полувековой давности прошлым, я решила не расширять этих воспоминаний за пределы листков, сохранённых моими тюремщиками. Но не раз и не два я уходила в черновики за эти первоначально намеченные пределы. Ведь, за исключением десятка-другого страничек, всё, что ко мне вернулось, относится лишь к 1939 – 1944 (до 14 июля) годам, а прожиты 1923 – 1997 годы. Кроме того, тетради, изъятые при обыске и аресте, вмещают лишь малую толику пережитого и за эти пять лет (1939 – 1944). В них нет большинства тех, чья дружба и любовь, чьи письма, чья жизнь и смерть составили мою жизнь, мою судьбу. В них почти нет событий, кроме духовных. Я попыталась избавиться от этой узости. Но оказалось, что в таком случае в мой архив врывается другая книга, подчиняя меня другой задаче, другой иерархии воспоминаний. После многих раздумий, попыток и вариантов, я решила, что полустанок должен остаться полустанком. Я не смогу сосредоточиться на нём и на его особенности в моей жизни, если позволю себе войти в поток и двигаться в нём как его частица. Поэтому я откладываю в сторону уже написанные страницы другой книги и остаюсь в пределах изъятых при обыске листков.

Предупреждаю возможный вопрос: почему я думаю, что полувековой давности раздумья нескольких очень молодых тогда людей заслуживают внимания их нынешних современников, погруженных в совсем иные заботы? Потому, думается мне, что я, **единственная дожившая до настоящего времени из троих "однодельцев"**, не видела этих записок полвека и смотрю на них словно впервые – глазами человека 1990-х годов. С его позиций я и вижу в них кое-что бесполезное и небезынтересное. Мы ведь часто спрашиваем себя: "Как мы могли это допустить? Неужели мы ничего не видели?" И т. д. и т. п. Иногда спрашивают об этом нас, и тогда местоимение первого лица заменяется местоимением второго лица и глагол тоже меняет лицо. Автор обрётённых мною записок говорит на неоткорректированном языке того времени. Имеет смысл взглянуть, как это могло получиться и что понимали тогда искренние приверженцы Утопии.

Я думаю, что тематически ограниченный диалог между мной и моей юностью – это и есть тот жанр, который М. Чудакова определила как "идеологическую биографию". И я согласна с ней в признании за жанром "идеологической автобиографии" немаловажности для нашего времени.

Конечно, один сюжетный узел с несколькими входящими и выходящими из него обрывками нитей всей мировоззренческой эволюции человека моих лет вместить не может. В данный очерк не вошел, например, парадоксальный эпизод моего вступления в КПСС в 1957 году и исключения из неё –

- в 1968 (см. упомянутые выше "Тетрадь на столе" и "Моя школа". Изд. 1979 - 1990 гг.). Но всё-таки какую-то долю света на "идеологическую биографию" детей Утопии мои заметки с их неправленным языком прольют. И это, осмелюсь предположить, важно, ибо люди и много старше, и много моложе меня, и притом не самые худшие, ходили какую-то часть своей жизни в детях и пасынках Утопии, а не только в лицедеях своекорыстия и жертвах страха. Имеет смысл поразмышлять над тем, что двигало нами **внутри**, когда мы принимали за освобождение (или за историческую неизбежность на верном пути) всё более тугую петлю на собственных шеях и на миллионах шей. Мы ведь не относились ни к бездумным, ни к приспособленцам. Правда, мы не принадлежали и к тем, кому **посчастливилось** (да, именно посчастливилось, а не просто повезло) быть умными, чуткими и зоркими изначально. Сегодня я таких людей знаю, тогда - не видела. Мы казались себе пределом инакомыслия. Вероятно, более трезвые и дальновидные перед нами, неосторожными и наивными, не открывались. И правильно делали. Не поздно ли вглядываться в лабиринты прошлого? Пока глаза видят, - не поздно. При перечитывании моих заметок я вдруг отчётливо, как никогда ранее, увидела одну из главных причин наших духовных метаний из крайности в крайность. Не буду вдаваться в глубинные основы нравственной жизни своих родителей: мой отец умер, когда мне исполнилось десять лет (умер, чтобы не стать осведомителем), а мать нескоро открылась мне полностью. Но вот, на мой взгляд, одна из первопричин вышеозначенных метаний: правоту и неправоту, Добро и Зло мы взвешивали лишь на своих ладонях, потому что иных весов, непогрешимых и безотносительных, у нас не было. Я человек внеконфессиональный. Кроме того, жизнь отучила меня употреблять высшие слова всуе. Но сегодня я знаю: если "убей" и "солги" Багрицкого или "мы будем кастетом роиться у мира в черепе" Маяковского не были нами восприняты ни на грош всерьёз, а "за всех расплачУсь - за всех расплачУсь" (Маяковского же) впечаталось в сознание навсегда, то лишь по следующей, я полагаю, причине. Наши родители выросли и сформировались в среде, в которой вера в безотносительность Десяти Заповедей была ещё органической основой личности. Они знали, что идеала достичь нельзя, но для них ещё невозможно было себя и других этой мерой не мерить. Нам они передали эту безотносительность как, с одной стороны, бытовую, этический, а с другой - подсознательный духовный императив. В семьях наших друзей-неевреев столь же органически и бессознательно ещё бытовали христианские нравственные координаты. Они не помнились - они ощущались. Как совесть и честность. Когда же вмешивалась идеология, когда "польза" начинала оттеснять истину, когда "цель" выдавала indulgences любым "средствам", - когда "ум", "знание", "идея" заглушали органическую ноту совести и "абстрактное" человеколюбие, "всеядная" жалость побивалась "бульжником - оружием пролетариата", тогда на пути у камней, побивающих жалость и совесть, вставала, ещё одна стена - книги. Слава Богу, мы читали хорошие книги, классику, русскую и переводную. Книги, театр дарили нам то же противоядие - защиту от нравственной вневположности Утопии, что и наши семьи.

Как это ни странно, я усматриваю прямую связь между своими записками 1939–44 годов и уличным иступлением ветеранов и участниц маршей "пустых кастрюль" годов 1990–х. Конечно, они меня на первой же моей фразе послали бы, в лучшем случае, в Израиль, куда я давно и предупредительно переселилась. Но вот парадокс: я – то прошла большую часть своей жизни их дорогой и пренебречь этим не могу.

Записки эти начала писать советская школьница из потерявшей кормильца и очень стеснённой в средствах семьи. Студенткой стационара я была всего один год – в Харькове. В Алма-Ате я училась ещё два года (одновременно работая), а потом – тюрьма. Лагерь, село, алкоголизм первого мужа. Болезни, ребёнка и свои. Сельское учительство с заочной учёбой. Колхозные повинности – как для всех сельских служащих. Огород, хозяйство. Все удобства – минимум за пятьдесят метров от дома, вода – ещё дальше. Массовые больницы и тубдиспансеры. По возвращении в город – низкие оклады, низкие пенсии в семье. Покупка самых необходимых вещей в кредит, бесконечные долги "до получки". Вплоть до эмиграции – со вторым мужем, детьми и внуком – под угрозой второго ареста. Обретение в Израиле второго отчества было для нас щедрым и неожиданным подарком судьбы. Но не отдалилось и первое – для старшего поколения.

Итак, ветераны и женщины с пустыми кастрюлями были, по уровню жизни и сословному этажу, в течение долгих лет людьми моего социального слоя. Однако сродство моё с ними не только в многолетней общности быта, мирного (был ли он мирным?) и военного. Оно и в тех миражах, из-за которых они уже не только орут и колотят в кастрюли, но и дерутся. Вглядитесь в мои записки – и вы увидите одновременно и их перекошенные злым отчаянием лица, и мои нынешние книги.

Перечитайте мемуары кристально чистого человека – Петра Григорьевича Григоренко – и вы удивитесь тому, как медленно он шел к решению подвергнуть сомнению и анализу не только отталкивающую действительность, но и "великую эпоху" и учение, лежащее в её основании. Поворотом в его и моей судьбе стало решение идти навстречу сомнениям, а не убежать от них. Проверять любые слова и цели, невзирая на их святость. К счастью, к моим друзьям и ко мне потребность в проверке святых пришла достаточно рано. Мы успели в этой области поработать. Но ветераны и воительницы из уличных толп и пикетов – не люди умственного труда и не обучены чтению ради осмысления жизни...

Да и многие ли из них располагают инструментарием и установкой на такое пиршество духа, как последовательное размышление? Всегда и всюду – немногие, а в мучительной жизни "больших зон" XX века – лишь редкие исключения из правил. Некоторым из нас удалось сосредоточиться на честном, чего бы это ни стоило, поиске. Им – нет. Но и отключиться от происходящего они не смогли. И потому теперь они ищут психологической, эмоциональной компенсации и релаксации под знамёнами разномастных провокаторов, которые ищут и находят их. А мы пишем статьи и книги, которых они не читают. Мы не говорим на их языке. Мы к ним не обращаемся.

Всё сказанное выше не означает, что орущая толпа под чудовищными лозунгами и морем красного не вызывает ужаса и отвращения. Пока это писалось, мы повидали её вооружённой камнями и заточками, а "детей зла" - и среди убивающих. Даже тут, сидя у телевизора в своей тихой комнате, за тысячи километров от этой толпы и от затянутых в чёрную и пятнистую кожу "боевиков", я чувствую, что они движутся на меня, на моих близких. Но я не могу избавиться от мысли и ощущения, что это мы, образованные люди XX века, позволили и продолжаем позволять сводить их с ума.

Сумеет ли мы пробиться к их слуху, чтобы разделить с ними свой нелёгкий опыт? Убедим ли их оглянуться во гневе и замедлить бег? Ведь времени для проб и ошибок остаётся мало.

И ещё одно соображение по поводу того, стоило ли ворошить прошлое. Может быть, кому-нибудь мои записки и скажут: нет, образованные и не-образованные братья-совки, мы не были и в самые страшные времена бездумными запуганными животными. Оборотень блазил нас не своими клыками, а маской посюстороннего спасителя всего человечества, миражом всеобщего свободного благоденствия и братства там, в конце. И великие были соблазнены так же, как малые. Нынче же Оборотень клыков не прячет: он откровенен, как был откровенен нацизм. Сегодня он соблазняет цинично и нагло - **"Днём открытых убийств"** /Ю. Даниэль/. И если слабое оправдание - не увидеть клыков под маской, не распознать Зверя по повадке, то чем же, идя за ним, можно оправдаться теперь?

* * *

Так как часть нашей книги, именуемая "Дети Утопии", написана мной одной, Дорой Штурман, я должна сделать к ней маленькое дополнение.

В своё время московский журнал "Столица" потешался над множеством моих фамилий, выстраивая их в некий уголовный штамп: "Дора Штурман, она же - Тиктин, она же - Кравченко, она же - Шток..." Во избежание недоразумений - объясняю: моя девичья фамилия - Шток. С 1948 года до 1971 года я носила фамилию своего первого мужа - Кравченко. С 1971 года ношу фамилию своего второго мужа - Тиктин. Штурман - девичья фамилия моей матери. В литературе я ношу фамилию матери, чтобы хоть в малой мере оправдать её мучительную жизнь и преждевременную смерть.

* * *

КНИГИ Д. ШТУРМАН И С. ТИКТИНА

1. Д. Штурман. «Советская средняя школа 1949 – 1962 гг.». 109 стр. – Иерусалим: Изд-во Еврейского Университета в Иерусалиме. – 1978.
2. Д. Штурман. «Наш новый мир. Теория. Эксперимент. Результат». Изд. 1-е, 367 стр. – Иерусалим: Изд-во "Лексикон". – 1981. Изд. 2-е, исправленное и дополненное, 464 стр. – Иерусалим: Изд-во "Экспресс". – 1986.
Системный анализ теории и практики социализма.
3. Д. Штурман. «Мёртвые хватают живых. Читая Ленина, Бухарина, Троцкого». 560 стр. – Лондон: Изд-во "Overseas Publications Interchange Ltd." ("ОПИ"). – 1982.
Текстологический анализ миропонимания, политики и психологии главных вождей российского коммунизма.
4. Д. Штурман. «Земля за холмом». 255 стр. – Анн Арбор (США): Изд-во "Эрмитаж". – 1983.
Сб. статей о выдающихся деятелях российского диссидентства и неподцензурной литературы.
5. Д. Штурман и С. Тиктин. «Советский Союз в зеркале политического анекдота». Изд. 1-е, 468 стр. – Лондон: Изд-во "Overseas Publications Interchange Ltd." – 1985. Изд. 2-е, исправленное и дополненное, 543 стр. – Иерусалим: Изд-во "Экспресс". – 1987.
Собрание политических анекдотов 1920-х - 1980-х гг. с научным анализом каждого тематического цикла.
6. Д. Штурман. «Городу и миру. Публицистика Солженицына». 432 стр. – Париж – Нью Джерси: Изд-во "Третья волна". – 1988.
Анализ публицистики Солженицына.
7. Д. Штурман. «В.И. Ленин». 160 стр. Серия "Что нужно знать о?" Вып. III. – Париж: Изд-во "YMCA-PRESS". – 1989.
Анализ взглядов, деятельности и психологии Ленина 1917 - 1923 гг.
8. D. Shturman, «The Soviet Secondary School». 313 p. – London - New-York: Routledge P.N. – 1988.
9. Д. Штурман. «Марксизм: наука или утопия?». 161 стр. – Лондон: Изд-во "Overseas Publications Interchange Ltd." – 1989.
10. Д. Штурман. «Моя школа». 151 стр. – Лондон: Изд-во. "Overseas Publications Interchange Ltd." – 1990.
Автобиографические очерки.

11. Д. Штурман и С. Тиктин. «Экономика катастроф». 190 стр. – Лондон: Изд-во "Overseas Publications Interchange Ltd." – 1991.

Системный анализ советской экономики 1980-х гг., Чернобыльской катастрофы и ее последствий.

12. Д. Штурман. «О вождях российского коммунизма». Т. I – 432 стр. Т. II – 318 стр. Под общей редакцией А.И. Солженицына. Серия ИНРИ (Исследования новейшей российской истории). Выпуск 10. – Париж – Москва: Изд-ва "УМКА-PRESS" и "Русский путь". – 1993.

13. С. Тиктин. «Адом дымит Чернобыль». 160 стр. – Иерусалим: Изд-во "Земля за холмом". – 1997.

Анализ процесса Чернобыльской катастрофы и особенностей вызванных ею радиационных поражений.

НЕКОТОРЫЕ ОЧЕРКИ И ЭССЕ Д. ШТУРМАН

1. «Последняя операция профессора Бенды». "Обозрение" (Аналитический ж-л газеты "Русская мысль") 1985, N 15, стр. 29 – 35. Париж.

О роли мировой политической элиты в катастрофе европейского еврейства.

2. «Ни мёда мне твоего, ни укуса твоего». "22 Москва – Иерусалим" 1985, N 42, стр. 136 – 169, Тель-Авив.

О жизни и гибели Соломона Михоэлса.

3. «О национальных фобиях». "22 Москва – Иерусалим". 1989. NN 68–69. Тель-Авив.

4. «Размышления на крутом склоне». Альманах "Стрелец" N 1 (61), стр. 189 – 212. – Джерсей-Сити – Париж: Изд. "Третья волна". – 1989.

Мысли о "перестройке".

5. «На исходе чуда». "Новое Русское Слово" 24–25–26–27–30. IV. 1990. Нью-Йорк.

О событиях в СССР конца 1980-х гг.

6. «Солженицын: Россия прошлого и будущего» "Русская мысль" N 3906, 29. XI. 1991. Париж.

Доклад, прочитанный на конференции "Александр Солженицын, Старая и Новая Россия". 6 – 8. XI. 1991. Неаполь.

7. Цикл «Герои ленинского завещания». ж-л "Посев" 1991, NN 2 – 5; 1992, NN 1 – 6. Франкфурт-на-Майне.

Об одном из последних писем Ленина в Политбюро ЦК РКП(б), связанных с вопросом о его возможных преемниках

8. «Оппозиция как стержень позиции». "Русская мысль" N 3928, 8. V. 1992.

Диссиденты и Ельцин.

9. «Как победителям победить?». "Новое Русское Слово" 27. XI. 1992.
О послеавгустовской России.
10. «Они – ведали», "Новый мир". М., 1992, N 4, стр. 239 – 250.
Интеллигенция и власть в Советском Союзе.
11. «Человечества сон золотой». "Новый мир", М., 1992, N 7, стр. 121 – 153.
О социалистах-утопистах.
12. «Остановимо ли Красное колесо?». "Новый мир", М., 1993, N 2,
стр. 144 – 171.
Размышления публициста над заключительными Узлами эпопеи А. Солженицына.
13. «У края бездны. "Новый мир", М., 1993, N 7, стр. 214 – 232.
Корниловский мятеж глазами историков и современников.
14. «"В поисках универсального со-знания". "Новый мир", М., 1994,
N 4, стр. 133 – 184.
Анализ сборника "Вехи" (1909 - 1911).
15. «Дети Утопии». "Новый мир" М., 1994, N 9, стр. 181 – 205 и
N 10, стр. 162 – 195.
Анализ мировоззрения советского юношества 1939 - 1944 гг. по запискам автора, изъя-
тым у него при аресте (1944) и возвращенным ему (1992) из архива КГБ.

НЕКОТОРЫЕ ОЧЕРКИ И ЭССЕ С. ТИКТИНА

1. «Бабий Яр, апрель 1961». В сб. "Бабий Яр". Израиль 1981.
Посещение Бабьего Яра и прилегающих мест через месяц после прорыва плотины на
Куруевке и села.
2. «СССР и космос без лупы и компьютера». "Посев", 1982. N 10.
Франкфурт-на-Майне.
"Неделинская катастрофа" и некоторые другие тогдашние советские "космические"
тайны.
3. «Эволюция физика». "Посев". 1984, N 10. Франкфурт-на-Майне.
Об автобиографической книге учёного-ядерщика, эмигранта 1970-х гг., С. Поликанова
"Разрыв".
4. «Политические мокрушники за работой». "Новое Русское Слово"
12. IX. 1984.
О причинах уничтожения южнокорейского авиалайнера советскими ВВС в 1983 году.
5. «А уж это не гипноз». "Новое Русское Слово" 14. III. 1985.
О босоногих "огнеходцах", мощных твердотопливных ракетных двигателях и тепловой
защите космических кораблей при входе в атмосферу. Термофизические аналогии.
6. «Коричневое и красное». "Голос Зарубежья" 1994, NN 72-73, стр.
45 – 53. Мюнхен.
Сравнительное исследование германских антинацистских и советских политических

(антикоммунистических) анекдотов.

7. «Почему наше ухо к ивриту глухо». "Новое Русское Слово" 22.III.1-996 (сокращённый вариант). "Пятница" N 31, 2.V.1996 (полный вариант), Тель-Авив.

Сравнение "классического" двуязычного и ассоциативного методов обучения незнакомому языку с точки зрения теории передачи информации.

*

Более 500 статей обоих авторов опубликованы в различных журналах, сборниках и газетах мира, в основном, на русском языке. Ряд статей републикованы в переводах на иврит, английский, немецкий, итальянский, украинский языки.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
I. СОВОК В РАЗРЕЗЕ	7
II. "ЧИТАЙТЕ, ЗАВИДУЙТЕ "	45
III. ТАКОЕ КИНО	103
IV. "О ДОБЛЕСТЯХ, О ПОДВИГАХ, О СЛАВЕ"	141
Пролог	141
Начало начал	142
"...хорошая физика"	152
В спецзоне	184
Горький триумф	189
С поднятым забралом	192
Сахаров и Солженицын	203
Сахаров и СОИ	244
Эмоциональные комментарии	256
Интермеццо	262
И опять - СОИ	263
О подземных ядерных взрывах	272
Сахаров и Чернобыль	278
Оборванный взлет	282
Эпилог	307
V. СТАРШИЙ И МЛАДШИЙ	310
Тема	310
До встречи	311
Встреча	326
На развилке	350
Конец Главного	366
После ухода	384
VI. ДЕТИ УТОПИИ	388
1. Община по месту очеловечивания	388
2. Мемуар о поэтах	422
Переход	422
Как мы читали Маяковского	429
Кавалеров и другие	432
И образ мира, в слове явленный	438
И творчество, и чудотворство	457
3. На выходе из Утопии	470
КНИГИ Д. ШТУРМАН И С. ТИКТИНА	474
НЕКОТОРЫЕ ОЧЕРКИ И ЭССЕ Д. ШТУРМАН	475
НЕКОТОРЫЕ ОЧЕРКИ И ЭССЕ С. ТИКТИНА	476
СОДЕРЖАНИЕ	479